

# АДЫЛ ЯКУБОВ



## **СОКРОВИЩА УЛУГБЕКА**

роман

•

## **КРЫЛЬЯ ПТИЦЫ**

## **ДАВРОН ГАЗИЕВ- ГВАРДИИ КАПИТАН**

ПОВЕСТИ

*Перевод с узбекского*



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1986

Вступительная статья  
Л. ТЕРАКОПЯНА

Оформление художника  
Е. ГОЛЬДИНА

**Якубов А.**  
Я49 Сокровища Улугбека: Роман; Крылья птицы;  
Даврон Газиев — гвардии капитан: Повести:  
Пер. с узб. / Вступ. статья Л. Теракопьяна.— М.:  
Худож. лит., 1986.— 495 с.

Узбекский писатель Адыл Якубов — лауреат республиканской Государственной премии им. Хамзы — работает в жанре повести и романа — как на современные, так и на исторические темы. Среди произведений, вошедших в настоящее издание, известный роман «Сокровища Улугбека» — о жизни великого мыслителя, ученого XV века Улугбека.

Я 4702570200-212 109-86  
028(01)-86

ББК 84Уз7  
Я 49

© Состав, вступительная статья,  
оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

---

## ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ — ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ

Он был Тимуридом. Внуком Железного Хромца, «Потрясателя Вселенной». Но душа его тянулась не к мечу, не к захвату и грабежу чужих земель, не к завоевательным походам, а к знанию.

Его слава — это поражающая современников эрудиция: «В геометрии он был подобен Евклиду, а в астрономии — Птолемею».

Его слава — это блестящая плеяда талантов, работавших рядом с ним, под его покровительством: Кази-заде Руми, Али Кушчи, Мухаммед Хорезми, Гиясуддин Джамшид.

Его слава — это точнейшие астрономические таблицы, составлению которых он отдал десятилетия жизни.

Его слава — это изысканная архитектура медресе, возведенных им тогда в Бухаре и Самарканде; это его обсерватория — лучшая в тогдашнем мире, поглинное чудо инженерного и астрономического расчета.

Они и сейчас величественны, развалины некогда грандиозного сооружения. Глубокая траншея, прорезавшая холм, проложенные по ее дну дуги гигантского секстанта. Вырывающаяся из-под земли, набирающая разгон траектория каменных лент словно бы символизирует дерзость разума, его порыв в небо. Но траектория насильственно оборвана. И это тоже символ. Зловещее напоминание о ярости невежд, о слепом фанатизме, о ненависти к Улугбеку, повелевшему начертать на дверях бухарского медресе гордые слова: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки».

И нетрудно понять мотивы, которые побудили Адыла Якубова обратиться в романе «Сокровища Улугбека» к этой трагической судьбе и к этой трагической эпохе.

Исторический жанр в узбекской советской прозе сравнительно молод. Но, несмотря на молодость, достижения его значительны. Всесоюзную известность обрел опубликованный еще в 1944 году роман Айбека «Навои». Тогда, в годы войны, писатель обратился к прошло-

му, чтобы укрепить священное чувство патриотической гордости за свою землю, за свой народ и его культуру. Чувство, ставшее мощным оружием в борьбе с фашистским варварством.

Новая приливная волна исторической романистики относится к шестидесятым — семидесятым годам. Причем поднялась она не только в Узбекистане, но и во всех соседних республиках. Достаточно сослаться на книги А. Алимжанова, И. Есенберлина, Р. Касымбекова, А. Кекильбаева, С. Санбаева, С. Улуг-зода, Р. Хади-заде и других. И вот что хотелось бы сразу подчеркнуть — тематическое богатство, необычайную стилевую многоцветность прозы. Тут и разработка легендарных, притчевых сюжетов, и пространные хроники, и биографические повествования. Причины этого жанрового расцвета разнообразны: стремление понять истоки трудовой, народной этики, стереть «белые пятна» с карты истории, осмыслить вклад своей нации в мировую культуру. «Я знаю,— писал в одной из статей О. Сулейменов,— что отношения моего народа с другими складывались не только в плане грубых действий, но и в культурном, гуманистическом плане. Эти знания крайне нужны нам, сегодняшним, когда мы не мыслим своей жизни без такого плототворного сотрудничества, взаимодействия со всеми людьми, населяющими эту землю».

Вот и узбекская историческая проза семидесятих годов активно осваивала этот «культурный, гуманистический план» минувшего, те духовные ценности, в которых воплотился творческий гений народа. Таковы романы «Бабур» П. Кадырова, «Сокровища Улугбека» А. Якубова, «Зодчий» Мирмухсина. Их герои — поэт и полководец Бабур, ученый и правитель Улугбек, создатель бессмертных шедевров архитектуры.

Поэт и полководец, ученый и правитель... В самом сочетании этих слов скрыта некая двойственность, дисгармоничность. Двойственность, предостерегающая от упрощений, от идеализации, вызывающая к точности, объективности анализа. И примером такого исследовательского мастерства было для узбекских романистов искусство Сергея Бородина, выдающегося русского прозаика, связавшего свою судьбу со Средней Азией. Его трилогия «Звезды над Самаркандом» воскресила для читателей кровавые времена Тимура, времена разбойничьих захватов и неисчислимых народных бедствий.

Покоряя чужие земли, Тимур не обременял себя соображениями морали, не беспокоился об оправданиях.

Для внука Тимура Улугбека категории добра и зла, истины и заблуждения уже не были призрачными химерами. В одном из эпизодов романа А. Якубова Улугбек размышляет о сентенциях Абхари: «...что есть истина? — спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил: «Наука». «А что такое наука?» — снова спросили его. И он ответил: «Истина». А я бы добавил еще: «И добро...»

Хронологически книга Адыла Якубова как бы продолжает трилогию Бородина. От Тимура к его внукам и правнукам. Но продолжает по-своему: иная манера, иной круг тем, иная действительность.

В «Сокровищах Улугбека» нет столь характерной для «Звезд над Самаркандом» глобальности действия, сопряжения судеб стран и народов. Нет и детальной реконструкции биографии главного героя.

Перед нами — последние дни Улугбека. Смутные, скорбные дни назревающего переворота. Событийная фабула произведения динамична. Участвовавшие мятежи. Измены вельмож, которые еще вчера клялись в своей преданности. Колебания Улугбека между соблазном выставить городское ополчение Самарканда и недоверием к простолюдным. Ведь вооружить, «поднять чернь — значит еще больше поколебать верность эмиров». И наконец, капитуляция перед взбунтовавшимся сыном, глумление Абул-Латифа над поверженным отцом, над священным чувством родства.

Тимур остается в трилогии С. Бородина непобежденным. И все же на склоне лет завоевателя обуревают то ли тревога, то ли недоумение. Ибо время подтачивает фундамент империи, ибо нет веры в потомков. А коли так, то что были его дела? Суета сует.

Такой же гнев на непокорное, неукротенное время испытывает и Великий Повелитель из романа казахского прозаика А. Кекильбаева «Конец легенды». Утопивший в крови «половину вселенной», заставивший цепенеть от ужаса народы, он одинок на вершине своего могущества. И в этом одиночестве — признак бренности усилий, предвестие заката.

И Тимур, и Великий Повелитель — разрушители, а не созидатели. Это люди без будущего, люди, обреченные на проклятия потомков.

Улугбек же видит в грядущем своего союзника, восприимчика своих мыслей. Умирая, он с благодарностью гумает об учениках: «Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, нет, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения».

И все же в противоположность своему венценосному предку, герой книги А. Якубова уходит из жизни не победителем, а побежденным. Четыре десятилетия трудился султан Улугбек для блага Мавераннахра, «тратил наследство деда не для захвата земель... а благоустроивал города и дороги, возводил медресе и ханаки». Он старался быть милостивым, великодушным даже к своим противникам. Но вместо благодарности — ропот придворных, злоба духовенства, междоусобицы, смуты.

Однако Улугбек в концепции произведения не только обвинитель, но и обвиняемый. Писатель подходит к этой выдающейся личности с позиций историзма, не сглаживая, не затушевывая ее противоречий. Отсюда сложный нравственно-психологический рисунок образа.

И на страницах повествования не смолкает полемика об Улугбеке, перемежаются голоса одобрения и хулы. А. Якубов пробивается к объективной истине через разнобой субъективных оценок. К его персонажу устремлены взоры признательных учеников и разгневан-

ных святош, самаркандских ремесленников и зарящегося на трон будущего отцеубийцы Абдул-Латифа.

Да, Улугбек навлек на себя ярость невежественных улемов. Однако кузнец Тимур Самарканди тоже упрекает его: «Умный человек, ученый, мудрец, наверное, все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайны узнал... А зачем в последние годы войны затеял? Что не погедил, с кем? Войны да поборы истерзали дехкан...»

Эта полемика вокруг Улугбека переплетается в романе с его собственной исповедью. Отстраненный от власти, он придирчиво анализирует минувшее, перебирает в памяти четки лет. И суд над собой столь же строг, сколь и мучителен. Увы, далеко не все свои деяния может оправдать опальный султан. Разве не от его имени брошенные на усмирение бунта воины грабили кишлаки вокруг Герата? Разве не по его указу облагались непомерными поборами дехкане? И до сих пор печет стыд за случившееся на строительстве обсерватории. Не кто-нибудь, а он сам на глазах у почтенного Казизаде Руми избил каменщика, взроптавшего на скверную пищу.

Закатные дни Улугбека становятся в концепции романа днями катарсиса. Возвышения души над суетным, ее самоочищения. И не страхом окрашены прощальные раздумья, а мудростью сострадания.

Конечно, Улугбек был сыном своего времени, воспитанным как на скрижалях Тимура, так и на сокровищах культуры восточного ренессанса. Конечно, его гуманизм был ограничен сословными пред-рассудками, самими обязанностями самодержца. Писатель постоянно учитывает двойственность природы героя, расхождение интересов правителя и ученого. И «не перед султаном Улугбеком преклонялся» самый верный его последователь Али Кушчи, а перед просветителем, обогнавшим свою эпоху, перед дерзостью гения, посягнувшего на непререкаемость догм Корана, не убоявшегося обвинений в ереси и богохульстве. Гения, отважно заявившего, что религия рассеивается, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на все времена.

Для деспотов типа Тимура смысл жизни отождествлялся с безграничной властью, с безраздельным господством над подданными.

Для Мирзы Улугбека трон уже не был фетишем. И не утраты привилегий опасалась душа — расставания с обсерваторией. Единственная просьба к захватившему престол сыну — об этом: пусть сохранит секстант, «пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой».

Побежденный как государь, Улугбек побеждает как мыслитель. Приговоренный к смерти, он восходит к бессмертию.

Собственно говоря, мы видим великого ученого только в первой части романа. Вторая же часть озарена памятью о нем. Той самой памятью, которая, сокрушая запреты и клевету, пробивает дорогу в будущее.

Эпическое повествование А. Якубова охватывает массу событий,

персонажей, сюжетных линий. Это и расследование тайн заговора, и перипетии спасения библиотеки, и превратности любви дервиша Каландара Карнаки к Хуршиде-бану. Столь же разнообразны и интерьеры действия: дворцовые покои и мрачные подземелья тюрьмы, чертоги вельмож и темные улочки окраин. Чередование планов попеременно приближает к нам астронома Али Кушчи и отступника Мухиддина, шах-заде Абдул-Латифа и шейха Низамиддина Хомуша, Каландара Карнаки и кузнеца Тимура. Такая композиция создает многоцветную картину Самарканда, мозаику быта, нравов, обычаев, страстей.

Правда, писателю не всегда удается свести разветвленные сюжетные ходы к общему философскому знаменателю, выдержать тональность, заданную присутствием мирзы Улугбека. И тогда возникают досадные подмены: напряжение интеллектуального, нравственного анализа уступает место напряжению занимательной интриги, проникновение во внутренний мир личности — информационному описанию. Явно бесплотна, например, фигура кузнеца Тимура, призванного олицетворять глас народа.

Подлинный же успех сопутствует художнику там, где он верен своей исследовательской миссии, где он бережно чуток к реальности исторической хроники, к специфике тогдашнего противоборства света и тьмы.

Книга А. Якубова приблизила к нам далекую и грозную эпоху Тимуридов, обозначила нерасторжимые связи между прошлым и настоящим, преемственность гуманистических традиций. В узбекской исторической прозе это социально-аналитическое полотно по праву занимает место рядом с таким выдающимся творением, как роман Айбека «Навои».

Между тем обращение писателя к «преданьям старины глубокой» было в общем-то неожиданным. Слишком уж прочно его имя ассоциировалось с проблемами современности. На протяжении двух десятков лет.

Первая повесть Адыла Якубова, «Ровесники», увидела свет в 1951 году. Тогда ее автору исполнилось только двадцать пять лет. Однако короткая биография вместила в себя многое.

Позади было трудное детство, в годы отрочества работа в колхозе, где подростки заменили призванных на фронт мужчин.

Позади был добровольный уход в армию, участие в боях с японцами, пять долгих лет службы близ Порт-Артура. Служа годы он вернется к этим дням и заново переживет свое пребывание в армии в повести «Даврон Газиев — гвардии капитан». Об этой повести сам автор так сказал: «Гвардии капитан Даврон Газиев... Двадцать пять лет назад война свела меня с ним. Четверть века в моей памяти — его суровый облик и трудная судьба.

Не раз я брался за перо, но каждый раз дело не шло дальше первых страниц. Я страшился неумелого своего рассказа. К тому же не очень-то приятно вспоминать о собственных ошибках и проступ-

ках, хотя они — теперь я хорошо это понимаю — были мальчишескими выходками, ведь мне, солдатику газиевского батальона, не стукнуло тогда и восемнадцати лет...

А память о нем все требовала и требовала от меня: расскажи!»

Там, на Дальнем Востоке, А. Якубов и начал своих «Ровесников». Он писал, воскрешая в памяти пейзажи узбекской земли, голоса друзей. И память смягчала горечь разлуки с домом, с родными и близкими.

А после демобилизации — университет, созданные еще в студенческие годы рассказы для детей, жадная, каждодневная учеба у мастеров. Но позволю себе процитировать несколько строк из письма А. Якубова: «Из писателей, более всего повлиявших на меня своим творчеством, хочу назвать А. Кадыри и Айбека. Очень увлекался прозой Г. Гуляма, а потом уже оценил и А. Каххара. Я уж не говорю о русской классике. Ее я целиком перечитал в армии (была у нас хорошая библиотека, и я все свободное время проводил там)».

И еще одно обстоятельство, определившее формирование таланта. Это — журналистика. Став собственным корреспондентом «Литературной газеты», писатель много ездил по республике, бывал на заводах, на стройках, в колхозах. И встреча с реальной жизнью, с реальными проблемами воспитывала принципиальность, неприязнь к упрощениям, лакировке.

Вот и в своих произведениях — вспомним повести «Мукаддас», «Смятение» — А. Якубов стремился к острой конфликтности, к изображению борьбы характеров, к трезвому анализу послевоенного сельского бытия.

А пережитое в детстве и отрочестве особенно полно отозвалось в повести «Нелегко стать мужчиной» (1966).

Повесть примечательна тем, что в ней кристаллизовались особенности писательской манеры. Это пристрастие к многоплановому, многолинейному повествованию, позволяющему создать галерею характеров; это увлечение динамикой действия, резкими поворотами и осложнениями фабулы; это сочетание психологического и социального, нравственного исследования.

Словами: «Будем взрослыми!» — завершается и следующая работа писателя — «Крылья птицы» (1970).

И эта повесть — о повзрослении. Только молодежь тут другая, конца шестидесятых годов. И круг ее забот совсем иной. Не кусок хлеба, а творческая самоотдача, полнота самореализации.

Вся повесть А. Якубова настроена на волну диспута, диалога. Она от начала и до конца пестрит вопросами. Соприкасаясь с новыми явлениями, писатель и его герои пробуют разобраться в них, найти критерий оценки. А явления эти на каждом шагу ставят под сомнение привычное, то, что прежде казалось незыблемым.

Внешне писательская манера не слишком изменилась: то же чередование ракурсов, проблем, характеров. Все та же изобретатель-



ность в разработке интриги. И тем не менее трансформация художественного почерка очевидна. Только не внешняя, а внутренняя, глубинная.

Сложны проблемы производственные, сложны проблемы нравственные: аскетизм и потребительство, требования к себе и требованиям для себя. Но главное — сложны в произведении сами герои. Каждый — со своей программой, своей мечтой о счастье, со своей неудовлетворенностью.

Писатель относится к порывам и запросам своих персонажей без предубеждений. Ему важно выслушать каждого, сравнить все возможные резоны, проникнуть с поверхности фактов в их глубину.

Ах уж эти альтернативы: сельское — городское, архаичное — современное! Ах эти категорические или — или! Они сплошь и рядом не приводят к истине, но затуманивают ее. Истина для А. Якубова слита с человечностью, с гармонией индивидуального и общего, с уважением к личности. И подлинны только такие нравственные ценности и решения, которые раскрепощают и возвеличивают душу, высвобождают созидательную, творческую энергию. К этим ценностям, к этим решениям идут герои повести — Саяра и Хамида. Первая преодолевает искушения мнимой свободы от обязанностей, вторая порывает пути, которые лишали ее самостоятельности, обрекали на разлад с совестью.

Повесть «Крылья птицы», казалось, свидетельствовала о постоянстве интересов автора. Она закрепляла его репутацию исследователя современности, разведчика новых конфликтов. Как ни парадоксально, к историческому роману писателя тоже привела злоба дня. Дело в том, что на стыке шестидесятых — семидесятых годов развернулась дискуссия о судьбе книгохранилища Улугбека. По этому поводу в печати высказывались самые разноречивые толки. И, захваченный ими, А. Якубов намеревался создать чуть ли не приключенческую повесть об исчезнувших фолиантах, предложив свою версию событий. Однако в процессе работы титаническая фигура Улугбека оттеснила первоначальный замысел на второй план. Впрочем, отход от нынешней действительности был недолгим.

Опубликованный в 1978 году роман «Совесть» сохраняет в себе устойчивые генетические признаки прозы А. Якубова.

Как и прежде, художник создает прихотливую композиционную структуру, где у каждого персонажа есть своя сольная партия, где каждый поочередно попадает в фокус лучей.

Как и прежде, он равно внимателен и к событийной, и психологической канве.

Как и прежде, увлечен расследованием случившегося.

Концепция действительности в новом романе обрела многомерность, стала более трезвой и конфликтной.

А. Якубов стремится рассмотреть современность целостно, в неразторжимости мировоззренческих, этических, трудовых и семейно-бытовых коллизий. С отчетливой установкой на синтез связана в романе и масштабность изображений. Сюжетные тропы прочно

соединяют город и село, столичный научно-исследовательский институт и колхоз, райком партии и полевой стан хлопкоробов. И все же основа повествования — будни узбекского кишлака, его обитателей.

Последние работы писателя вызвали прочный интерес как в своей республике, так и за ее пределами. Они ощутимо подняли в узбекской прозе тонус социальности, конфликтности, психологизма, обогатили ее новыми характерами, новыми художественными решениями, усилили ее резонанс и авторитет во всесоюзном литературном процессе.

Л. Теракопян

# СОКРОВИЩА УЛУГБЕКА

роман







## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Было за полночь, и в обсерватории стояла гулкая тишина.

Али Кушчи, как обычно, еще с вечера занял свое место для наблюдений за перемещениями светил. Но на сей раз он не провел ночь в любимой напряженно-спокойной работе: какое-то недомогание томило его. Мавляна отложил в сторону астрономические приборы, привстал в кресле, и с этим его движением совпал неясный шум на верхнем ярусе обсерватории. Послышались чьи-то шаги.

Они не были похожи на мягкую, размеренно чинную поступь талибов, студентов медресе, юношей, чающих изучить науки о звездах, а скорее напоминали бесцеремонный шаг воинов — нукеров. Али Кушчи, подняв голову, остановил взгляд на маленькой, чуть более окна, двери, что пробита была наверху, у спуска к секстанту.

Дверца распахнулась, резкий стук нарушил тишину, и в помещении, залитое чернильной мглой, вступили два нукера с горящими факелами в руках. Хриплый голос повелительно произнес:

— Мавляна Али Кушчи! Великий султан Мирза Улугбек Гураган высочайше соизволил приказать, чтобы вы поспешили к нему в Голубой дворец!

Али Кушчи, приставив ладонь ребром к надбровью, силился разглядеть бородатые лица нукеров, но без успеха: слишком высоко над головами они держали факелы.

— Повремените немного,— попросил Али Кушчи.— Мне нужно сложить приборы.

— Простите, мавляна, но приказ велит поспешать. Кони ждут у ворот.

И нукеры, простучав подковками сапог по мраморным плитам, удалились. Отблеск их факелов на мгновение осветил позолоту стен, тут же исчез, и еще темнее стало в обсерватории. Только крупные белые звезды можно было различить через отверстие в потолке. Свет их проникал сюда, в обсерваторию,

и падал на секстант, установленный внизу, на эту открытую для устода Улугбека книгу, читая которую он разгадывал тайны движения далеких небесных светил.

Шагирд Улугбека Али Кушчи привык не торопиться в случаях важных и требующих душевной сосредоточенности; потому и теперь, зажав в руке короткую клиновидную бородку, он постоял минуту-другую, глядя на темный лоскут неба над головой.

Нукеры нетерпеливы, хотя и почтительны. Такими нередко бывают посланцы беды. Но что могло случиться в Кок-сарае — Голубом дворце именно сейчас, глубокой ночью?

Позавчера в предрассветную рань повелитель сам пришел в обсерваторию. Он не вычислял, не писал, не диктовал. Сел в любимое кресло, накрытое тигровой шкурой, и долго молча всматривался в темно-синюю бездну, полную крупных белых звезд. Читал судьбу.

Али Кушчи знал, что в нынешнем году, как и в год рождения Тимура Сахибкирана, надо ждать близкого противостояния владыки неба Юпитера и Венеры. Внук Тимура Улугбек, беспоконный треволнениями государственным, связывал с этим противостоянием какие-то свои надежды. Но чего он мог ожидать от судьбы, как видно, не благоклонной к нему?

Два года назад из далекого Герата пришла скорбная весть: умер отец Улугбека, могучий Шахрух, Шахрух-счастливец, как его называли, владыка, обогнавший в удаче и богатстве многих других наследников Тимура, а тем паче мятежников из некогда покоренных Сахибкираном племен и династий,— пришла эта весть в Самарканд, и вот уже два года не рассеиваются черные тучи зла и неурядиц над Мавераннахром и Хорасаном. Немало было тех, кто рвался к Тимурову престолу; не раз Шахруху приходилось помогать сыну утверждаться вновь и вновь над Самаркандом и всем Мавераннахром или отбиваться от бунтовщиков вассалов, от ферганцев и туркмен, от моголистанцев и кочевых узбеков, и вот, когда наконец выяснилось, что сабля устода острее иных и в государстве, можно было думать, установилось спокойствие, столь необходимое и для торговли, и для занятий астрономией и медициной, и для сочинения стихов и музыки, тогда-то и поднял оружие наследник Улугбека, собственный его сын Абдул-Латиф. С годами Улугбек становился все менее склонным к воинским утехам, но в начале месяца раджаб пришлось ему собрать войско и спешно выступить к Джейхуну. Однако смута и заговор, вспыхнувшие в столице в его отсутствие, заставили повелителя вернуться в Самарканд. Несколько дней как он здесь, а все ходят по городу подлые, сеющие страх слухи, будто конница мятежника Абдул-Латифа преодолела бешеную реку и подошла уже к Кешу.

Кто знает, может, так оно и есть, хотя досточтимый угод третьего дня в обсерватории не сказал о том ни слова. Угод Улугбек долго сидел тогда, сидел и молчал, углубленный в свои

думы, а потом, устало ступая по мраморной лестнице, поднялся на второй ярус в книгохранилище. Медленно и рассеянно, словно в забытии, обозревал в тот раз Улугбек бесчисленные книги, уложенные на полках от пола до потолка, множество редких и редчайших рукописей, собранных им здесь за долгие десятилетия управления Самаркандом. Устод, видно, вспомнил, стоя в библиотеке, покойного наставника своего Салахиддина Казизаде Руми, перелистал его «Математику», после чего, тяжело опустив голову, все также молча и тихо направился к выходу.

Досточтимый учитель, да смилостивится над ним всевышний, приходил попрощаться с обсерваторией, любимым детищем, созданием своим, — вот что понял тогда Али Кушчи и вот что последние два дня отзывалось в груди щемящей болью, не давая работать. Печальное лицо устода так и стояло с тех пор перед глазами Али Кушчи; несколько раз мавляна порывался пойти в Кок-сарай, но сделать это без приглашения не хватало духу. Теперь же сам устод повелел явиться ему, Али Кушчи, в Голубой дворец...

Али Кушчи намотал поверх темной бархатной тюбетейки чалму мударрисов, преподавателей медресе, надел парчовый жилет, поверху набросил на плечи белый чекмень из верблюжьей шерсти. Мысленно успокаивая себя, стал подниматься по крутым каменным ступеням...

Небо блестело, словно хорошо протертый темно-синий фарфор, перемигивались звезды, но месяц шагбан уже вступил в свои права. Было холодно, с гор порывисто дул ветер, деревья шумели, будто река на перекатах; старые тутовники и крепкие чинары скрипели, жаловались на приход осени.

Али Кушчи вышел во двор обсерватории.

У ворот стояли, дожидаясь Али Кушчи, воины с лошадьми. Один из них подвел нетерпеливо всхрапывающего коня и взял ученого под руку, чтобы помочь взобраться на скакуна. Но Али Кушчи сам нашел в темноте стремя, удержал норовистого коня, легко вскочил в седло: недаром мавляна носил имя Кушчи, что значит — ловчий-соколятник, и не раз на пышных охотничьих гонах султана мчался он на ретивом за добычей.

Вскоре цокот копыт раздался в ночи; один нукер поехал вперед, другой рядом с Али Кушчи. Так они пересекли речку Сиаб, поднялись на древние холмы Афрасиаба. Слева от них уютно замаячили высокие купола Шахи-Зинда, средоточия усыпальниц владык. Ночь была без луны, но лазурь куполов отражала свет звезд и разливала вокруг себя голубое мерцание. Откуда-то с кладбища, видимо из усыпальницы святого Кусамы ибн-Аббаса, догадался мавляна, донеслось до всадников уныло-распевное чтение Корана; голос был полон такой печали, что казалось, будто идет он из иного, потустороннего мира.

И в том мире кто-то стонал, и там кто-то жаловался на судьбу.

Все тут чудилось жутковатым, таинственным.

Впрочем, недолго так чудилось... Чем ближе к соборной мечети и к Регистану, тем чаще попадались воины у костров — по десятку вокруг каждого костра. Нукер впереди словно расчищал путь перед Али Кушчи. А выехав на Регистан, они увидели, что и вся эта огромная площадь полна воинов. Со стороны медресе Мирзы Улугбека — о, истинное украшение славного Самарканда! — ученому послышалось сквозь приглушенный шум человеческих голосов и звяканье оружия мрачное, самозабвенное пение — то дервиши из ханаки, что расположились напротив величественного медресе, начали свое раденье:

О аллах, о всемогущий,  
О создатель наш аллах!

Пение это будто не бога прославляло, а угрожало кому-то: может, так казалось потому, что над городом нависла опасность.

Али Кушчи и нукеры миновали Регистан и углубились в узкие улочки, образованные длинными рядами лавчонок под навесами. Выехали к Кок-сараяу. Высоченные зубчатые стены высились в ночи, как горы. Окруженный рвом дворец был похож на крепость, но Али Кушчи, глядя на купола за стеной, мрачные и черные, опять вспомнил об огромном кладбище, об усыпальницах владык Тимурова корня.

Во дворце — ни единого огонька. Ни один костер не горел у ворот.

Перед самым дворцом, в темноте, что хоть глаз коли, всадников остановила стража. В каменных фонарях чуть теплился огонь; латы слегка серебрились, и щиты были словно не совсем затененные зеркала; робкий свет порою выхватывал из тьмы наконечники длинных копий.

Прибывшие прошли первый ряд стражи, приблизились к громадным воротам, тут им снова преградили путь охранники с обнаженными кривыми саблями в руках. Нукер показал свернутую трубочкой грамоту, гостей пропустили в дарваза-хану, предвратное помещение для караульных. Звон тяжелых цепей и трудный скрип двустворчатых железных дверей — и перед ними проход во дворец, а на пороге знакомый привратник с таким же, как у стражников, фонарем.

Али Кушчи соскочил с коня. Нукер принял поводья. Привратник склонился в поклоне, осветил фонарем, пропустил ученого вперед.

Изнутри огромный двор слабо, но освещался. В мерцании огоньков открывались стены с нишами, ползли куда-то вверх высокие башни, в которых таились, как о том знал Али Кушчи, пушки и метательные орудия; налево виднелись приземистые, будто вбитые в землю, строения канцелярии, за ними огорожены были домики гарема, а сам дворец поблескивал золочеными куполами в правой стороне двора. «Угрюмо, как в Шахи-Зинда», — подумалось снова... И тихо было вокруг, лишь откуда-то



из-под земли доносился неясный гул: видно, в подземельях работали оружейники.

Привратник миновал мраморный водоем, окруженный кольцом душистых елей, и подошел к высокому с двумя массивными овальными башнями по бокам portalу главного здания. Стражники, что стояли по обеим сторонам входа, расторопно открыли деревянные резные двери, обитые блестящими медными полосами.

Узкий полутемный коридор вел в просторную, ярко освещенную комнату с мраморной лестницей в левом углу, что соединяла нижний и верхний этажи дворца.

Здесь их встретил сарайбон — дворецкий, неразговорчивый, замкнутый человек. Жестом пригласил ученого следовать за собой.

Зала на втором этаже тоже была пуста. Сарайбон, пройдя к двери напротив, скрылся в следующей зале — там обычно повелитель принимал гостей и устраивал советы. Из-за двери, на миг приоткрывшейся, до Али Кушчи донесся глуховатый голос устода: видно, Улугбек был раздражен и потому необычно резок. Но сарайбон плотно прикрыл дверь за собою, и голос исчез.

Али Кушчи не раз бывал в этой зале.

Тонкие языки пламени множества свечей, подобранных по размеру и толщине одна к одной, ярко вспыхивали и колыхались, отражаясь в золотом ободке люстры. По всем четырем стенам были развешаны ковры ширазской работы, а поверх них охотничьи трофеи и воинские доспехи повелителя... Над аркой небольшого оконца, что напротив входа, чуть выше украшенной камнями кольчуги, разветвились огромные — не охватишь руками — рога архара. Гордость устода! Он сам повалил этого архара во время осенней охоты в Гиссарских горах, и по его приказу могучие рога украсили изумрудами... А рядом над красным сафьяновым колчаном, полным длинных гибких стрел, распялена по стене тигровая шкура — добыча с берегов Джейхуна, когда повелитель возвращался домой после трудной хорасанской войны.

Тогда Улугбек, устав от тяжелого и совсем не победоносного похода, послал в Самарканд за Али Кушчи особого гонца. Приезд ученика к учителю оказался вдвойне счастливым. Не только беседами наслаждался устод. Во время охоты случилось так, что выскочил внезапно из густых камышовых зарослей на берегу вот этот тигр и кинулся на Улугбека. Али Кушчи, шедший неподалеку от султана в цепи охотников с луком наготове, первым опомнился и первым успел пустить стрелу. Непостижимое везенье, благосклонность судьбы! Стрела угодила точно в правый глаз зверя, яд подействовал мгновенно, и тигр, подпрыгнув высоко вверх, с ревом пал прямо к ногам устода. Не раз потом при сановниках Улугбек называл Али Кушчи своим спасителем. Кому ведомо зачем — может, для того, чтобы

оправдать свою милость к нему, дружбу с ним? Чтобы отвести зависть придворных от неродовитого мавляны?

Али Кушчи грустно усмехнулся. Вспомнилось, как некогда впервые переступил он по милости устода порог Кок-сарая: разволновался тогда столь сильно, что шагу не мог ступить дальше мраморного водоема во дворе. От робости, от священного трепета, как эту робость называют, у него колени дрожали, стоило только подумать, что здесь, в этих раззолоченных палатах, жил, вынашивал свои тайные мирозавоевательные замыслы сам Тимур Гураган, султан Сахибкиран, велевший именовать себя не султаном, а просто военачальником-эмиром. А ныне?.. Нет уже Тимура, потрясателя вселенной. И нет больше страха в душе Али Кушчи... Вот он снова в этом дворце дворцов, в чертогах того, пред кем трепетало полмира, в сердце же мавляны совсем иное чувство — горькая, щемящая боль. Нет, не оттого, что хиреет величественный Голубой дворец, что его не украшают военные трофеи. Вовсе нет. Сердце Али Кушчи тревожится за устода, над головой которого, совсем уже седой, поднялись черные тучи междоусобицы.

Отчего ополчилась судьба на Мирзу Улугбека? За что она мстит ему?.. Знает об этом Али Кушчи, знает, хотя боится сказать вслух... Устод сдернул покров тайны с небесных светил, открыл новые звезды, постигнул мудрое устройство вселенной, удивил мир своими познаниями, но не понял того, что давно уже понял он, смиренный мавляна Али Кушчи. Выше многого-многого в жизни поставил устод разум и не понял, однако, сколь суетна борьба за власть, сколь ничтожен смысл обладания тронном, да простятся такие мысли милостивым и всемогущим! Конечно, мысли эти еретические в глазах невежд, в глазах тех, кому не дано вкусить тяжких забот и светлых радостей разума, но мысли эти справедливы и праведны, ибо аллаху угоден вовсе не отказ от дерзости познания, не страх перед неведомым, а, напротив, именно дерзость и преодоление страха. Бесстрашен устод, истинно кладезь познаний, тот, кому, словно пять пальцев собственной руки, ясна история народов, династий, удачливых и неудачливых завоевателей... И при такой-то ясности ума не понять, что власть, подобно ветреной красавице, не остается верной до конца ни одному властелину, сколь бы удачлив, силен или страшен он поначалу ни был?.. Но, может быть, повелитель, да будет милостива к нему судьба, не захотел понять этого? Или, понимая, не нашел в себе сил отринуть соблазны власти, почести и радости трона?.. О, если бы он отдал себя, всего себя, весь свой пылкий ум, все дарования свои Науке, свет которой только и озаряет, только и возвеличивает само имя Человека! Почему так не случилось? Почему?

Двери распахнулись; дребезжащий дискант шейх-уль-ислама Бурханиддина долетел до ушей мавляны, прервав раздумья.

— Нет бога, кроме аллаха, а султаны, правители наши, его тени на земле. Повиновение законному повелителю — первейший долг подданных!

Слова верховного законника перекрыла разноголосица, но тут же и смолкла, знакомый властный голос произнес глухо, но внятно:

— Довольно споров! Слушайте приказ, повинуйтесь ему... Эмир Султаншах Барлас! Вместе с передовыми отрядами отправляйся в путь немедля!.. Эмир Султан Джандар! С основной частью конницы выезжай следом... Если аллах позволит, встретимся между Самаркандом и Кешем на перевале Даван... За участие в совете благодарю. Меджлис окончен!

Из покоев повелителя первым вышел Мираншах, даругá — градоначальник Самарканда. За ним теснились эмиры и вельможи в богатых красных, зеленых, синих халатах, в темных бобровых шапках. Лица у всех придворных хмурые. Мираншах на ходу одернул подпоясанный широким кушаком златотканый халат, чуть задержался, поправил пояс и саблю с золотой рукояткой, глянул исподлобья в угол на Али Кушчи и отвернулся. Еще раз поправил оружие. Полное круглое лицо его скривилось, но, ничего не сказав, Мираншах быстро пересек залу, и слышно стало, как он нарочито загромыхал по мраморной лестнице. Могучий телом, жгуче-черный бородач, любимец и ценитель женщин, эмир Джандар, придерживая кривую саблю, заспешил за Мираншахом.

Подобно этим вельможам ни один из следующих не ответил на вежливый поклон Али Кушчи. Лишь шейх-уль-ислам Бурханиддин протянул в сторону мавляны холено-белую, раскрытую, словно развернутый свиток, ладонь, то ли приветствуя таким странным жестом человека в углу, то ли просто распутывая нитку янтарных четок, которой обвита была рука законника.

Шейх-уль-ислам покинул залу последним.

И снова установилась тишина.

И в этой зале, и в соседней. И во всем огромном ночном дворце.

Может, досточтимый устод забыл, что вызвал Али Кушчи? Ведь столько трудных забот пало на его плечи!..

Но тут тихо приоткрылась резная дверь и показался Улугбек.

## 2

Вместо златотканого халата, обычно надеваемого для важных заседаний, на Улугбеке был коричневый простой суконный чекмень; голову покрывала темная шапочка, сшитая из трех кусков бархата (ее он любил носить в медресе и в обсерватории); широкие голенища сапог были чуть вывернуты, виднелся беличий мех подкладки. Улугбек стал у порога, нашел глазами Али Кушчи.

Во всем облике Улугбека — в его высокой, начинающей полнеть фигуре, в смуглом, медного отлива, узком лице, в прищуренном взгляде из-под густых белых бровей — была и затаянная сила, притягивающая к себе, и какая-то скрытая, ранее не знаемая Али Кушчи неуверенность.

Приложив руки к груди, ученик приблизился к учителю и почтительно склонил перед ним голову. Но Мирза Улугбек приостановил его поклон, обнял за плечи и повел к высоко спинным, покрытым шелковой тканью креслам, расставленным в правом углу залы.

— Пойдем побеседуем, сын мой...

Улугбек нередко называл своего шагирда сыном. Но сегодня и в голосе наставника, и в том, как мягко приобнял он Али Кушчи, чудилась некая особенная задушевность. Она — спутник скорби, подумал мавляна.

Султан хлопнул в ладоши. Снизу простучали сапоги, и перед ними возник дворецкий.

— Бакаулы не спят?

— Они всегда к вашим услугам...

— Кушаний и вина!

В ожидании яств устод сидел молча, чуть склонив к плечу голову и полузакрыв глаза. Узкое лицо его с выступающими скулами казалось худым и изможденным, на лбу и у губ сгустились морщины, в недвижных пальцах рук, брошенных на колени, чувствовалась усталость.

Али Кушчи хотел сказать что-то утешительное, но не мог найти слов. Улугбек же вдруг произнес тихо, будто самому себе:

— Сегодня во сне... я видел пира.

Перед глазами Али Кушчи предстал далекий весенний день.

На мраморном помосте во дворе медресе Улугбека в тени густой листвы чинар были разостланы ковры, ярко цветные в солнечных лучах. Талибы нарядились в лучшие халаты, они в волнении торжественном: сегодня встреча с мавляной Салахиддином Кази-заде Руми, им предстоит послушать великие истины непосредственно из благословенных уст знаменитого мудреца!.. Али Кушчи уже тогда был много наслышан о мавляне, да и читывал трактаты высокочтимого мудреца, и, надо сказать, трактаты сии, посвященные таинствам математическим, были таковы, что истинно стоило преклоняться перед тем, кто их написал, и не считать преувеличением восторженные рассказы об этом «Платоне нашего времени». В воображении рисовалась величественная и горделивая фигура старца, ясное чело святого.

На самом деле Али Кушчи увидел тщедушного старика с трогательно легким ореолом волос надо лбом и редкой бородкой клинышком. Белыми, как снег, были и брови старика, и ресницы, и его шапочка конусом, вроде кулоха, сшитая из трех кусков ткани. Даже чекмень на нем был белым-белым.

В тот весенний день мавляна Салахиддин Кази-заде Руми

поцеловал Али Кушчи, а Мирза Улугбек впервые милостиво пригласил его к себе в Кок-сарай.

О, сколько лет пролетело, сколько воды утекло с того дня, а стоит Али Кушчи закрыть глаза, как возникает перед ним ласковый старик, мудрец, да не исчезнет светлая память о нем! И снова чувствует Али Кушчи кожей лица своего прикосновение губ и щекотание шелковистой белой бородки...

Улугбек покачал головой, усмехнулся краешком губ.

— Во сне... покойный пожурил меня... Сказал, что я забросил науку ради неверной прелести власти, ради блеска трона... Желая владеть престолом, погубил, мол, свой дар!

Али Кушчи весь вострепнулся, не удержал восклицания:

— О, всемогущий!..

Улугбек быстро глянул на него, в глубоко посаженных глазах устода промелькнул вопрос. Чувствуя нарастающую неловкость, Али Кушчи заговорил:

— Пусть устод простит меня, но полчаса назад здесь, в этой зале, то же самое подумал и ваш шагирд...

Улугбек сидел, чуть сторбясь, не касаясь спинки кресла. Молчал. Постукивал по расписному низкому столику — хантахте алмазом золотого перстня. Белые мохнатые брови султана сошлись к переносице, и между ними пролегла глубокая складка. Взгляд был устремлен в одну точку.

Али Кушчи прервал свое признание: как физическая боль, его пронзило раскаяние: вместо утешения он еще больше ранил устода произнесенными словами.

— Мавляна Али,— заговорил Улугбек, не отрывая глаз от какой-то лишь ему ведомой точки в пространстве.— Раб божий, недостойный милости всевышнего, я почти сорок лет правлю Мавераннахром... И вот ты думаешь, что труды мои, затраченные на обеспечение спокойствия в стране, на благоустройство государственное, на улучшение хозяйства и приобретения в казну, напрасны и недостойны... Неужели и ты так думаешь?..

Скорбно-красноречивая, торжественная речь Улугбека неожиданно прервалась.

Да как он, Али Кушчи, посмел бередить душевную рану устода в столь трудный для него час? Али Кушчи сказал:

— Заслуги ваши, досточтимый устод и повелитель, и на поприще державном и в научных занятиях столь велики, что никто не может в них усомниться!

Улугбек нетерпеливо взмахнул рукой.

— Не надо, я все понимаю, Али... Но ход событий таков, что... ученые мужи, вы не понимаете меня, Али! Не оттого, что разум таких, как ты, меньше разума шахов и султанов, нет! Всевышний щедр: разум — лучший его дар человеку — отдан поэтам и ученым. Но одарил их он еще и такой чистотой, такой наивностью, что вы не в силах понять ни с чем не сравнимую жизнь тех, кто... обречен... править.

Улугбек словно задохнулся. Потрогал шею под бородой. Снова взмахнул рукой.

— Ты не подумай, будто боюсь я расстаться с престолом. Другого боюсь. Того, что все, накопленное мною за сорок лет — медресе, обсерватория, главное сокровище мое — библиотека, наконец, произведения мои, что писал, не замечая ночей, — все это пойдет прахом, будет пущено на ветер наследниками. — Последнее слово Улугбек произнес со злой горечью. — И еще одного боюсь... забвения боюсь. Того, что грядущие поколения будут гнушаться именем Мирзы Улугбека, внесут его в ряд прочих имен бесславных правителей... Кто будет знать, что Мирза Улугбек стремился разгадать тайны вселенной? Узнают ли про меня правду, мавляна Али?

С болью и состраданием ответил Али Кушчи:

— Досточтимый учитель! Верю, верю в то, что потомки будут знать правду, будут судить о вас в согласии с нею... И в чьих же суждениях правда, если не в суждениях людей науки, устод? А разве забудут они ваши заслуги? Разве может превратиться в пыль каталог звезд?.. Или не разум людской только и вечен в мире?!

Улугбек грустно улыбнулся.

— Ты уверен в этом?.. Ну, пусть будет так. Благодарю, Али.

В эту минуту послышались шаги, в зале показался дворецкий, а за ним толстяк бакаул — мастер-шашлычник, знакомый Али Кушчи по охотничьим пирам повелителя. Шашлычник нес серебряный поднос, на котором стояли ажурные кувшинчики и тонкие, точно из шелухи, китайские пиалы. Такие же серебряные подносы внесли затем помощники бакаула, и на каждом подносе шипел горячий шашлык, дразня острым запахом.

Улугбек последил взглядом за тем, как бакаулы расставляли кушанья, как потом, пятась и кланяясь, выходили из залы. За ними собрался было и дворецкий, но султан остановил его вопросом:

— За мавляной Мухиддином послал гонца?

— Гонцы уже вернулись, повелитель.

— И что же?

— Мавляна Мухиддин, оказывается, тяжело занедужил, повелитель.

— Вот как!.. Ну, ладно, ступай... Я сам разолью вино.

Дворецкий вышел, тоже пятась, прижав руки к груди.

— Гм... Тяжко занедужил... — повторил Улугбек и насутился. — Ты знал об этом что-нибудь, Али?

— Нет, досточтимый устод.

— Отчего же?

Али Кушчи смутился.

— Возможно, вы слышали, устод, о том, что этой весной я сватал дочь мавляны Мухиддина. За молодого мударриса по имени Каландар Карнаки. Но мавляна, а особенно отец его, хаджи Салахиддин... тот самый, известный в Самарканде

ювелир... отказали. С обидными словами меня выпроводили... С тех пор я не бывал в том доме... Об остальном вы знаете, угод.

Улугбек молча следил за игрой золотистого вина в хрустальном бокале... Да, он знал «остальное»...

Вскоре после сватовства, о котором рассказал Али Кушчи, мавляна Мухиддин отдал свою дочь за сына эмира Ибрагимбека-тархана. На той богатой свадьбе был сам Мирза Улугбек. Но, когда Улугбек повел потом войско против Абдул-Латифа, оставшийся в столице младший сын, Абдул-Азиз, придрался к чему-то и казнил ни за что ни про что эмирского сына, а молодую жену, дочь Мухиддина, взял в свой гарем. К произволу этого Улугбекова сына в городе привыкли, но такой дерзко незаконный поступок вызвал среди вельмож и богачей Самарканда взрыв недовольства, да такого, что султан-отец должен был, оставив войско, с берегов Джейхуна немедленно вернуться в город.

В первый же день после возвращения Улугбек пожелал увидеть Хуршиду-бану — так звали дочь мавляны Мухиддина.

— Дочь моя,— сказал Улугбек, взволнованный красотой и глубокой печалью пленницы.— Что случилось, то случилось. Я наказал сына за бесчестье, тебе нанесенное. А теперь... твоя воля — хочешь, возвращайся домой, хочешь... останься.

Хуршида-бану выбрала первое, а Улугбек хотел надеяться на второе. Ибо красота всесильна, и, может быть, в преклонные годы человек ценит ее больше, нежели в годы юности.

Эта встреча взволновала Улугбека потому еще, что он узнал о красавице раньше, до ее свадьбы, за год до последующих печальных событий. Как-то мавляна Мухиддин, ученик Улугбека, сказал, что его дочь весьма искусна в каллиграфии. «Если пожелаете, угод, она перепишет вам ваши труды...» Улугбек не очень поверил в эти слова, но все же отдал Мухиддину один из своих трактатов по истории. А спустя месяц — изумился, увидев его переписанным на тонкой шелковистой бумаге почерком, который и в самом деле был преисполнен редкой красоты...

Отчетливо, как бывает во сне, увидел сейчас мысленно Улугбек занавеску из прозрачного розового шелка, за которой, низко опустив голову, стояла пленница Абдул-Азиза, увидел водопад ее волос почти до ковра, руки ее, изящно-длинные пальцы с покрашенными хной ногтями,— руками она закрывала лицо от стыда и горя.

Словно пробуждаясь, Улугбек поднял голову и взглянул на Али Кушчи.

— Аллах свидетель, я не виновен в том зле... Говорили, правда, что я слишком легко наказал Абдул-Азиза, снизошел к его раскаянию, мольбам. Но что я мог сделать? Убить его? Как отрезать свой палец? Абдул-Азиз — родной сын, моя кровь.

— Понимаю, учитель... — кивнул Али Кушчи, а сам невольно подумал: «А Абдул-Латиф? Тоже ведь родной сын, а поднял меч на отца... Его тоже простить?»

— А что стало с тем поэтом, с Каландаром Карнаки? Я слышал, будто он оставил медресе, избрал удел дервиша. Это правда?

— К сожалению, правда, учитель. Каландар — человек редких способностей и смелых решений. После свадьбы дочери мавляны Мухиддина он, охваченный горем и яростью, надел рубище, на голову — кулох. Ныне, говорят, ходит по улицам, нищенствует, участвует в дервишеских радениях... во имя аллаха.

Улугбек сжал губы. Желто-золотистое вино, разлитое в бокалы, оставалось нетронутым; шашлык так и стыл неотведанным. Каждый из собеседников думал о своем. Улугбек глубоко вздохнул:

— О, грешные мы, грешные! — И, повернувшись всем телом к Али Кушчи, спросил неожиданно: — Найдутся ли надежные талибы среди твоих?

— Найдутся, устод, конечно, найдутся...

— Хорошо, если найдутся... Тогда перейдем к делу.— Улугбек положил на колено мавляны руку и снова пристально взглянул в лицо ученика.— Ну, ты знаешь, конечно, что небо Мавераннахра снова заволокли тучи междоусобицы. Тучи бунта, правильнее сказать! Старший сын мой Абдул-Латиф, кому я отдал прекрасный Балх, затеял против меня войну. Ему мало Балха, ему нужен Самарканд. Он перешел Джейхун и сейчас уже недалеко от Кеша... Ты слышал об этом, Али?

— Слышал, досточтимый устод! Но... нельзя ли надеяться на примирение? Если вы простите сыну его вину...

Улугбек пристукнул кулаком по колену Али Кушчи.

— Э, если б все решалось прощением... Если бы он попросил прощения, я простил бы его... Ради спокойствия в стране! Ради того, чтобы нам с тобой спокойно следить за звездами... Но ты не знаешь Абдул-Латифа, Али. Не знаешь! — Улугбек вдруг вскочил с места и нервно прошелся по зале.— Я вызвал тебя неспроста, Али. И то, что ночью, тоже неспроста, хотя сарайбону надлежало сделать так, чтобы они... вельможи мои... не видели тебя здесь.— Улугбек снова подошел к собеседнику, сел рядом с ним.— Мои сокровища: обсерваторию, библиотеку, рукописи свои, законченные и незаконченные, чувствую, что не закончу их теперь,— все это передаю в твои руки, доверяю их только тебе, Али, сын мой! Богатства бесценные, богатства разума человеческого...

Улугбек откинулся в кресле, сложил на груди руки.

— Но подумай, Али! Это опасное дело. Ты же знаешь устройство темных невежд, фанатики шейхи не любят меня.

— Знаю, устод, знаю.

— По силам ли будет тебе это бремя?



Лицо Али Кушчи залилось краской. Он поднялся.

— Вы сомневаетесь в своем ученике, досточтимый учитель?

— Нет, Али, нет,— продолжал Улугбек.— Сомневался бы, так не открывал свою душу тебе. Я только не хочу погубить тебя... Эти мнимопочтенные улемы, обделенные умом и жадностью маддохи, сколько лет уже точат они зубы на людей науки!

— Да, но мы живы по воле аллаха!

— ...И по воле... силы моей и страха их перед силой, Али. Пока их боязнь перевешивает их ярость.

Али Кушчи опустил глаза. Он знал, что такое ярость улемов и шейхов против тех, кто не схож с ними. Вот совсем недавно на кладбище «Мазари шериф» пришло человек двадцать студентов из медресе Улугбека предать земле тело безвременного скончавшегося от тяжелой болезни товарища своего, но, когда они приблизились к кладбищенскому холму, высоко неся гроб на вытянутых руках, в воротах появился шейх Низамиддин Хомуш, окруженный толпой мюридов и дервишей. Он преградил путь талибам, стал потрясать дорогой тростью, изрыгая проклятия и ругательства, совсем не приличествующие шейху:

— Прочь, убирайтесь прочь, нечестивцы, покуда сами целы. Прах нечестивцев не осквернит эту святую землю! Убирайтесь, или мы сейчас разможим вам головы, богоотступники!

Али Кушчи выполнял обязанности хассакаша, он вынужден был приблизиться к разгневанному донельзя шейху, попробовал вразумить его.

— А-а-а, и ты тут, мавляна! — исступленно закричал Низамиддин.— Вероотступник, нечестивец, поганая собака! Совратитель тех, кого вы приучаете заниматься богомерзкими делами, называя это наукой... Прочь отсюда, а то и тебе несдобровать... Испустишь здесь же свой нечистый дух!.. Во славу аллаха... гоните-ка их!..

— Ну, о чем ты задумался, Али?

Улугбек сидел перед Али Кушчи, сложив на груди руки, глаза его были прищурены. Прогнав видение, от которого похолодело у сердца, Али Кушчи поклонился и сказал:

— Повеление устода — закон для шагирда.

— Не то говоришь, Али. Это не повеление. Просьба. Потому и спрашиваю: не будешь потом раскаиваться?

— Устод...

— Ладно! — Требовательно-пытливое выражение в глазах устода смягчилось.— Следуй за мной,— и Улугбек открыл дверь в саямхану — залу для приемов близких гостей и для тайных советов.

В красном углу ее на возвышении было установлено высокое золотое кресло — трон. Горело в зале почему-то всего лишь несколько свечей; в робком дрожании света на стенных мозаиках, выложенных из лазурита, и на узорах куполовидного потолка

причудливо играли тени и отблески, придавая всему окружающему таинственную величавость, а может, так происходило потому, что Али Кушчи никак не мог отделаться от мысли, что именно здесь и, как говорили, в излюбленные предутренние часы сидел в холодных сумерках на золотом троне хромой потрясатель вселенной, сидел наедине со своими, до поры не ведомыми никому, алчными и мстительными замыслами. И казалось, что в этом чертоге еще витал его беспокойный дух и гневался из-за того, что здесь и в такой же час появился человек, низкий саном, столь далекий от государственных забот и не знающий ничего полезного для мирозавоевательных планов.

Улугбек прошел за трон, раздвинул темно-серый шелковый полог, что закрывал стену до самого потолка. Обнажились часть стены и дверца, обитая полосами кованой меди, совсем маленькая, так что в нее с трудом мог протиснуться один человек.

Улугбек извлек откуда-то из-за пояса связку ключей, чуть помедлив, отпер замок. Из овальной ниши они взяли по свече, зажгли. Пригнувшись, султан плечом толкнул дверь. За нею зияла темная пустота.

Не разгибаясь, Улугбек шагнул куда-то вниз, Али Кушчи сделал шаг вслед, задержал дыхание: затхлый воздух был слишком непривычен.

Держа свечу в одной руке, а другой ощупывая стену, стали спускаться в мрачный колодец. Наконец достигли дна. Показалась еще одна дверь. Улугбек отпер ее, и они вошли в узкий прямоугольный подвал. Стены тут были выложены черным камнем, с пола дуло ледяным холодом, потолок нависал над головой тяжелой глыбой. Каменная могила!

По углам подвала стояло четыре стальных сундука. Их приковали цепями к железным кольцам, ввинченным в пол.

И здесь царил все тот же мрачный дух. Казалось, где-то за сундуками, может, вон в том черном углу, куда совсем не дотягивается огонек свечи, затаился хромой властелин и тайно наблюдает за пришельцами, зловеще помалкивая до поры.

В руке Улугбека появился еще один ключ. Султан прочитал короткую молитву, беззвучно шевеля губами, поднес ладони к лицу в знак ее окончания. Потом вложил ключ в замок большого сундука, обернулся к Али Кушчи, показал глазами, чтобы тот помог.

Крышка сундука была до того тяжела, что и вдвоем они приподняли ее не без усилий. А когда с грохотом откинули крышку, полутемная комната озарилась будто костром.

Сундук был доверху наполнен алмазами, рубинами, жемчугами, изумрудами, еще какими-то камнями, коих Али Кушчи ни разу дотоле не видал. Они сверкали, переливались, заворачивали, испуская голубые, бирюзовые, пурпурные лучи, радуя глаз нежными переливами волшебной-прекрасной радуги.

— Из Багдада и Каира,— сказал Улугбек нарочито спокойно, скрывая собственное восхищение.— В этом сундуке трофеи деда, эмира Тимура, привезены сюда после победы над султаном Баязетом... Но ты не брезгуй ими. Возьми мешочек, Али.

— Для чего они мне, устод?

— Пусть послужат добру... Тебе не нужно богатство, знаю. Но без богатства, без денег чего мы достигнем? Так уж устроен мир... Пусть же и власть, и богатство служат добру, как я сказал.

С этими словами Улугбек стал разгребать драгоценности внутри сундука.

Под драгоценными камнями оказалось золото! Круглые слитки, словно крохотные пиалы, рядами поднимались со дна сундука, один ряд над другим, кверху доньшками. Они источали яркость и, казалось, даже обдавали жаром.

Улугбек вытащил один слиток, распрямившись, взвесил его на ладони, обрадованно сказал:

— Вон какой тяжелый... Все это мое! Наследство деда: он любил меня. Но, видит бог, я тратил наследство деда не для захвата земель, как внушал мне он сам, а благоустроивал города и дороги, возводил медресе и ханаки. Пусть же и впредь эти богатства послужат доброй цели! — повторил Улугбек.

Со дна сундука он достал небольшой, толстой красной кожи мешок и отсчитал в него десять золотых слитков, каждый размером в маленькую пиалу. Потом пригоршней ссыпал туда драгоценные камни. Протянул мешок шагирду.

Мешок был до того тяжел, что Али Кушчи с трудом удержал его в вытянутой руке.

Улугбек медлил закрыть крышку сундука, не в силах оторвать взгляда от сверкающей красоты камней, от жаркого пламени золота. Наконец обернулся к Али Кушчи:

— Пожалуй, ты не знаешь, с чего начать, как пустить это богатство в дело... Его надо превратить в деньги. Слава аллаху, мне удалось по-настоящему обеспечить деньги Мавераннахра. Это не те обесцененные монеты, что раньше мучили и казну и налогоплательщиков... Нужен честный меняла. Обратись к ювелиру хаджи Салахиддину. Передашь ему и сыну его, мавляне Мухиддину, он ведь друг тебе, мой привет и благорасположение мое... И еще раз извинение за поступок Абдул-Азиза...

Улугбек говорил сейчас совсем просто, не стараясь словами поддерживать высоту, на которую вознесла его судьба; так просто разговаривал он с Али Кушчи в обсерватории.

— Да, Али... Ты одна гора, на которую я опираюсь в своей беде, надеюсь, Мухиддин будет второй... Как я буду рад, если он позабудет нашу вину перед ним и дочерью. Достойная дочь у него. Передай ему все это.

— Исполню, устод.

Улугбек закрыл сундук.

— Остальное пойдет Абдул-Азизу.— И, словно извиняясь,

добавил: — Ты знаешь, он несчастный, немощный юноша, его гложет какая-то болезнь, не знаю, как его лечить...

Жесток, своенравен и неумен этот Абдул-Азиз, а вот поди пойми отцовское сердце. Мысленно Али Кушчи произнес: «О досточтимый устод! За что вы любите этого своего отпрыска, за что можно любить его, виновника стольких горестей? Немощный, несчастный, больной? А он, как и старший, мечтает о власти, с охотой бы вышел из-под отцовской державной руки».

Улугбек словно прочитал мысли Али Кушчи, что бывало частенько в их разговорах. Тяжело вздохнул.

— За себя не боюсь, Али. Дарованную творцом жизнь я прожил, плохо ли, хорошо ли, но прожил. Сверх меры, наверное, испытал и сладость и тяжесть власти. А вот как у них сложится жизнь, у сыновей, как отнесутся друг к другу без меня, после того, как умру? Думаю, думаю об этом, и сердце обливается кровью. Особенно тревожусь за младшего. Он больной, очень больной.

Али Кушчи отвел глаза.

— Да облегчит всевышний ваше бремя! — тихо пробормотал мавляна...

Наверху Улугбек предупредил Али Кушчи: никто не должен прознать о том, что унес мавляна из Кок-сарая. Посоветовал, как лучше, надежнее завязать в пояс халата драгоценный мешок.

— Какие еще будут приказы вашему слуге, досточтимый устод? — спросил Али Кушчи.

Улугбек устало провел ладонью по лицу.

— Ночь кончается, Али. Обо всем я уже сказал... Главным богатством своим всегда считал не трон, а труды для науки,— горячо, с болью и страстью сказал Улугбек.— Моя самая большая любовь — библиотека, кладезь мудрости. Участь этого сокровища, повторяю, в твоих руках. Кому принадлежит оно? Стране нашей и всему роду людскому, разуму человеческому, выше и долговечней его ничего нет на свете, это ты верно сказал... И помни: если создатель лишит меня, своего смиренного раба, поддержки своей, лишит трона и власти, если невежды восторжествуют в Мавераннахре, тебе сохранить это сокровище для будущего. И мое доброе имя тем самым!.. Может быть, книги придется вывезти осторожно, тайком из города, спрятать где-то в горах... Уже сейчас поищи мастеров, пусть срочно делают десять... пятнадцать больших сундуков. Ты понял меня, Али?

— Понял, устод!

Улугбек положил руки на плечи шагирда.

— Благодарю тебя, аллах! Пусть не повезло мне с родными сыновьями, зато ты для меня, мавляна, большая награда в жизни.

И Улугбек, как когда-то Салахиддин Кази-заде Руми, поцеловал в лоб Али Кушчи, до слез растроганного и до крайности расстроенного.

Учитель и ученик по-братски крепко обнялись на прощанье.

Проводив Али Кушчи, Улугбек вернулся в залу, увешанную охотничьими трофеями и оружием. Из всех других комнат дворца он больше всего любил эту — просторную и тихую, где часто читал, думал над научными загадками и сочинениями мудрецов и поэтов, а порою, устав, просто спал. Ему приносили постель из опочивальни, и он отдыхал в углу, затененном ширмами.

Сейчас в этом углу на маленьком столике так и стояли блюда, подносы, разнообразная еда: шашлыки, приправы, хлебные лепешки, вино — ни к чему из этого не притронулись ни Улугбек, ни Али Кушчи...

Доложили, что прибыл Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер из Улугбековой охраны; вчера он поскакал гонцом в Кеш.

Высокий и ладный красавец, Хусейн почти вбежал в залу, растрепанный, потный, даже не сняв остроконечного шлема; руки почтительно сложены на груди, но весь облик его яснее ясного говорил, что сейчас не до соблюдения ритуала: широкая грудь Хусейна вздымалась и опускалась, подобно кузнечным мехам, капли пота усеяли чернобровое лицо.

Воин пал ниц. Улугбек поставил на стол пиалу, побледнел.

— Что повалился? Вставай!

Хусейн легко приподнялся на колени.

— Не смею сказать, повелитель... Весть нерадостная...

— Говори же! — приказал султан.

— Неприятель и вправду в Кеше, повелитель. Градоначальник Кеша эмир Камалиддин отдал город без кровопролития.

Улугбек этого и боялся. Но, как всегда, когда подтверждались опасения, пусть и худшие, но подтверждались, у султана пропадала боязнь. Вместо нее появлялся гнев. Улугбек встал с кресла, прошелся по комнате. Глаза сощурены. Желваки ходят по скулам. Беспощаден. Крут. Бобо Хусейн Бахадыр опять пал лицом к полу.

— Вставай, вставай... Через час в поход! Чтобы все было готово, оружие, лошади, запас — все, все, слышишь?.. Правильно думаю? Говори!

— Воля повелителя — закон для подданных...

— Не о том спрашиваю! Правильно ли идти сейчас же, не собрав все силы воедино? Что думаешь, что скажешь?

— Правильно, повелитель. Времени терять нельзя... Только... ваш верный слуга полагает, надо бы поднять городское ополчение...

— Ополчение? Почему?

— Войска ведь немного, повелитель, и... город любит вас, верен вам, повелитель... Я говорю, город... простой люд городской... Военные отряды покорны воле эмиров, предводителей.

Улугбек задумался. Он понял намек Хусейна. Сам из низов, Хусейн и верил только им. Улугбек знал, чего стоит нынешняя преданность иных эмиров.

— Нет, не надо, Хусейн, — султан отрицательно покачал головой, — не надо. Что они смогут, ремесленники и чернь, против обученных воинов?.. Иди отдохни с дороги, Хусейн. Скоро опять в путь, а там...

Когда дверь за гонцом закрылась, Улугбек долил до краев пиалу вином и одним махом осушил ее до дна.

«Проклятье! Вот она, цена надежд!»

Да, он понимал, что войско Абдул-Латифа велико и что не будет Абдул-Латиф задерживаться перед Джейхуном: не тот характер, да и заповедь Тимура отлично известна его потомкам — используй время, когда ты сильнее, не медли. Быстрота увеличивает силу! Расчет Улугбека, не вполне, может быть, осознанный, и состоял в надежде на то, что у Кеша сыну придется задержаться, помучиться, чтоб взять город, потерять время, а стало быть, силы и, не исключалось, сторонников. А тут на тебе: без боя вошел! А ведь Улугбек считал Камалиддина одним из верных себе людей... Раз уж эмир Камалиддин изменил ему, то кому теперь верить, на кого опереться? Что делать с остальными военачальниками?.. И опять пришли на память слова деда, сказанные однажды в Герате, в саду «Баги джахан»<sup>1</sup>. Султан Шахрух произнес что-то возвышенное о верности какого-то военачальника Тимуру Гурагану, на что последний ядовито засмеялся и ответил: «Эмиры преданны, когда меч в твоей руке намного длиннее и острее, чем у них. Держи их в страхе и не доверяй им, сын! Преданность из страха иль преданность по разумному выбору — тебе какая в том разница? Из страха преданности достичь — это в твоих силах, а по разумному выбору — не от тебя зависит».

Улугбек не был с этим согласен... Раньше не был, а вот сейчас... Почти сорок лет он судит и рядит в Мавераннахре. Человечным стремился быть и с теми, между прочим, кто предавал его, кто за спиной козни чинил. Надвигалась беда, когда все решала сила, и что же? Где был их разумный выбор, этих эмиров? Чувствовали, что за ним сила, и оставались. Теперь почуяли силу молодого шакала и начинают перебегать к нему...

И что за напасть такая в последнее время — беда за бедой, неудача за неудачей. За что немилость судьбы? За море крови, пролитой дедом? Пусть аллах простит ему, внуку Тимура, такое кощунственное предположение, но ведь сказано пророком, что ничто не остается без возмездия в деяниях человеческих, особенно же кровь невинных. Только за что же его, внука, а не сына, не Шахруха, положим, карает небо?.. А внук так уж безгрешен, так уж человеколюбив был всюду и всегда? А завоевание Хорасана, гератские несправедливости, прорицание дервиша?

---

<sup>1</sup> Баги джахан — сад вселенной.

Мурашки пробежали по телу Улугбека.

Он вспомнил... Была тогда пятница, светлый, благочестивый день. Богослужению в соборной мечети Герата придавало особый блеск предшествующее событие — победоносное прибытие в город Улугбека, сына Шахруха, с войском. Перед мечетью собрались служители веры, вельможи, предводители крупных отрядов. Ждали Мирзу Улугбека. Он выехал из медресе Шахрухия; блестящая кавалькада миновала странноприимный дом, обитель дервишей, возведенный благословенным родителем Улугбека. И вдруг перед султаном появился, будто из-под земли вырос, заросший густым волосом, покрытый грязью дервиш, полусумасшедший, видно, — дико вращал глазами, махал руками, словно плавал, и кружился в каком-то ведомом ему одному танце. Всадники впереди рванулись к дервишу, пытаясь или прогнать с дороги, или потоптать конями. Улугбек остановил их, изъявил желание выслушать дервиша. Диванá свят, прогнать его грех, про то все знают. А этот дервиш, безусловно, дивана: гремя малютками-бубенцами, которыми было увешано его рубище, все так же странно приплясывая, он приблизился к султану, с пеной на губах восклицая: «О аллах, о всемогущий, создатель наш аллах!» Но между этими восклицаниями, сквозь кривляния и бормотания он говорил что-то, обращаясь именно к султану, и Улугбек не без труда, но стал разбирать его речь. А говорил дервиш, что воины султана — человеколюбца, справедливого и мудрого — клялись его именем и грабили, а то и убивали людей, ни в чем не повинных; что они опустошили кишлаки вокруг Герата; что они насильники, чуждые сострадания сирот, богохульники, обкрадывающие мечети и ночлежные дома, и что сам султан тоже насильник, сын отца-насильника и внук деда — трижды насильника, и потому, предрек дервиш, весь род Тимуров будет проклят во веки веков!

Улугбек все понял, но не захотел покарать дервиша. Ибо тогда пришлось бы объявить свите, за что караешь, недостойно же имени Улугбека карать лишь за то, что тебе загородили дорогу. Мирза Улугбек сделал вид, что не разобрал бормотаний диваны, стегнул коня и поскакал на торжественную встречу. Елей льстивых и лживых вытравил на первых порах из сердца горечь обвинений правдивого, и все-таки Улугбек хотел бы забыть проклятия и пророчества дервиша, хотел бы, но не мог забыть.

Да, тот поход на Хорасан поистине злосчастен. И тем еще, что показал, как отпадают эмиры и вельможи, — они подбивали его совершить этот поход, а когда удача не дала себя поймать, отвернулись от султана, а кое-кто начал рыть ему яму. За спиной, разумеется. В глаза продолжали угодливо кланяться, поддакивать, льстить. Поход на Хорасан был неудачным... Но его пришлось предпринять. Дражайшая родительница Улугбека Гаухаршод-бегим строила такие козни, что все государство покойного Шахруха готово было развалиться из-за распрей

наследников, а подействовать на неукротимую и надменную Гаухаршод-бегим, эту гератскую затворницу, как лживо она себя называла, можно было только напугав ее, а пугать могла лишь сила, войско, да чтоб побольше, пояростней да побезжалостней, чтобы войско напоминало Тимурово, вызывало трепет.

Улугбек закрыл глаза, совсем ушел в воспоминания. Он силится пробудить в душе хотя бы тонкий лучик теплого чувства к Гаухаршод-бегим. Но в воображении представала надменная женщина, и в старости красивая, с черным льдом глаз, с вечно подвижными пальцами, перебирающими четки. Ханжа, она ходила в темно-синем траурном платье, накрыв голову темно-синим платком, — в память, мол, о султানে Сахибкиране. Своими красивыми ручками она как хотела вертела Шахрухом, да витает дух его в раю по воле аллаха! А после его кончины своенравная правительница забрала всю власть над дворцом, наводнила его жадными к золоту и недалекими умом прихвостнями. Да и не только над дворцом! Герат стал гнездом раздоров... И стоило Улугбеку, до поры до времени остававшемуся в стороне, послать ей предупреждение, Гаухаршод-бегим обозвала его во всеуслышание распутником и начала подговаривать Абдул-Латифа поднять мятеж против родного отца.

Ну а что же Абдул-Латиф? Он жаждал получить престол. И нашел пути к тому, чтобы обеспечить перевес сил для достижения этого замысла. Он вступил в тайный сговор со столпами веры, с теми, кто косо смотрел на Улугбека-ученого, на Улугбека-просветителя, и прежде всего с шейхом Низамиддином Хомушем из влиятельнейшего ордена «Накшбендия». Фанатичные невежды шейхи отнюдь не забывали себя и ревностно следовали принципу «сила в богатстве». Они скрежетали зубами, но, пока у султана Улугбека была мощь, терпели, выжидая. И вот теперь их час настал...

Улугбек осушил еще одну пиалу вина, но это не пресекло течения безрадостных и, казалось ему, безнадежно леденящих волю мыслей.

Шагирд Али Кушчи сегодня обвинил его в том, что заботы о престоле он ставит выше служения науке... Ну, пусть не обвинил, пусть упрекнул, мягко, извиняя и извиняясь, пусть намекнул, но на самом-то деле виноват ли он, Улугбек, в этом грехе?.. Неужели не зачтутся ему, правителю, заботы, которые он приложил, чтобы не только самому заниматься наукой, но чтобы за ним пошли и другие той же благородной дорогой, неужели не зачтутся щедрые расходы на сооружение каналов, бань, дорог и в первую очередь медресе? Может, он обманывает себя, считая, что отличается от других владык?.. Но ведь отличается, ведь и вправду готов он уйти от власти и рад был бы стать мударрисом в медресе... По-детски наивен Али Кушчи, если полагает, что, случись такое, сыновья утихомирятся и дадут Улугбеку спокойно заниматься наукой, любимой наукой... Наблюдать планеты, вычислять их пути... А для этого смотри,



смотри в оба за земными делами! Вот и выходит: чтоб освободиться от забот, которые несет с собой власть, нужно позаботиться о том, чтобы власть твоя не шаталась... Да и кто ныне поверит в искренность желающего отказаться от власти?.. Если бы поверили!

Как ни мучительны, как ни безысходны были размышления Улугбека, силам человеческим поставлен предел: султан заснул. Уже засыпая, он подумал, что, выполни Абдул-Латиф единственное требование отца, он, отец, отрекся бы от престола в пользу сына. Но, когда яркосолнечным утром в Кок-сараяе собрались военачальники, Улугбек даже сам себе не напомнил про это; в крепкой кольчуге, препоясавшись длинным мечом султана Шахруха, что умел подчинять себе непокорных, султан Улугбек сел на боевого коня. Не разум — сила пусть решает спор!

Влечение куда более могущественное, чем тихая радость науки, призывало его к битве за власть.

И Улугбек покорился этому влечению.

#### 4

У ворот обсерватории Али Кушчи передавал поводья сторожу. Зашел во двор. Прислушался к затихающему стуку копыт: это нукеры поскакали обратно.

— Мавляна, вас дожидается ваша матушка, — сказал старик.

— Где она?

— В келье Книгочия.

Так прозвали Мирама Чалаби — любимого ученика Али Кушчи за то, что он дни и ночи проводил в книгохранилище за чтением.

Мавляна свернул к одноэтажному дому позади обсерватории, где жили талибы.

В келье Мирама Чалаби мерцала одинокая свеча. Хозяина в келье не было. На циновке в углу сидела, обняв колени, мать Али Кушчи — Тиллябиби. Она дремала. Али Кушчи хотел было, не тревожа ее, выйти обратно, но сон материнский чуток: Тиллябиби открыла глаза, проворно поднялась, подбежала к сыну и, взмахнув руками, словно птица крыльями, припала к нему.

— Где ты пропадал, ненаглядный сынок, верблюжонок мой? — Тиллябиби была из степного аула, и потому любимым ласковым словом у нее было «верблюжонок». Али Кушчи осторожно обнял старушку за хрупкие плечи.

— А сами-то вы, матушка? Откуда пришли в такую-то пору... ведь скоро утро...

— Обо мне беспокоиться нечего, да и в другой раз о том можно поговорить, а с тобой что приключилось, верблюжонок?.. Не таись от матери, расскажи.

— О чем, матушка?

— Ну, как же, как же... Кругом только и слышишь новости, одну страшней другой... Будто султана Улугбека уже лишили престола, а всех его приближенных и особенно шагирдов ждут разные суровые кары... А ведь ты...

Тиллябиби скорбно взглянула на сына вмиг повлажневшими глазами. Лицо ее, все в сетке морщин, с седыми прядями из-под платка, было полно безграничной любви и безграничной тревоги за сына. Теплая волна нежности к старой своей матери омыла сердце Али Кушчи. Осторожно обнимая мать, ласково поглаживая ее плечи, он провел Тиллябиби в глубь кельи, посадил на тахту, нарочито-беззаботно рассмеялся.

— Какой это негодяй врет так подло?

— Ты смеешься, верблюжонок?.. Вся махалля только про то и судачит... Ах, ты плохо разбираешься в жизни. Как говорил твой покойный отец на старости лет? «Чем дальше от сильных, тем лучше для низких». Сорок лет он служил верой и правдой повелителю Тимуру, а чего добился? Одни опасности да беды сулит близость к владыке, поверь мне...

— За меня бояться не надо, матушка, право слово, не надо.

— Как не бояться, как не бояться, верблюжонок мой?.. Ну-ка, скажи, что получил ты за службу султану Улугбеку, да сохранил его аллах? Что? Одними книгами только и обзавелся. И не женился-то из-за них, я думаю. Ни очага своего, ни детей...

— Аллах захочет, и все еще будет.

— Когда это будет, ты уж седеешь, верблюжонок... Видно, не доведется мне внуков понянчить, не благоволит аллах к тебе... Ты все с книгами возишься, все с книгами...

Как сумел, он успокоил мать, пригасил, ему показалось, ее тревоги.

Тиллябиби вскоре заснула.

Али Кушчи так и не прилег в эту ночь.

Рассвет был уже близок; от местечка Оби-рахмат доносились предутренние переключки петухов, взвизгиванья и тьяканье собак; небо заголубело немного, но звезды еще не погасли.

Мавляна все прохаживался и прохаживался по двору, наконец зажег свечу и поднялся на верх обсерватории. Его влекли к себе книги, и зрелище их было для растревоженного сознания словно чудодейственное лекарство: в книгохранилище сердечная боль отпустила Али Кушчи.

«Мир чистоты и мудрости,— чуть не вслух прошептал мавляна,— далекий от мира козней и страданий, который нас, увь, окружает». Но тут же и подумалось Али Кушчи, что не совсем он прав: ведь страдания человеческие, страдания тех, кто уже ушел, тоже запечатлены в этих свитках, запечатлены так же, как и радости людей, и светлые заботы разума, открывающего то, что до поры казалось тайной. Без страдания и сострадания нет ни поэзии, нет и самой науки. Только корысть не могла запечатлеть себя в этих созданиях разума и сердца.

Ни корысть, ни злоба, ни наглая надменность — низкие страсти, бесчеловечные вожделения.

Две просторные прямоугольные комнаты заняты были множеством высоких — с полу до потолка — полок. Эти полки и сами были воплощенной красотой: так прекрасно выглядят обработанное ореховое дерево, из которого они были сделаны, а тем паче прекрасна тонкая, изящная резьба на их поверхности. Старинные книги, редчайшие рукописи — поистине собранным здесь сокровищам нет цены!

Али Кушчи расстегнул чекмень, размотал два кушака под чекменем, вытащил тщательно завернутый мешок.

Как сказал устод? Без этого богатства не сохранишь и того, что на полках? Так ли? Многое может этот мешок, многое, это бесспорно. Но заменить книг и золото не сможет.

Ничто не сможет заменить, например, вот этих книг, стоящих на полках с правой стороны: целая библиотека, три ряда доходящих до потолка тяжелых томов в иссиня-черных кожаных переплетах. Это сам Тимур Гураган привез их, отняв у Баязета. Потрясатель вселенной, говорят, мало смыслил в науках, но цену, а лучше сказать, бесценность книг понимал. Эти ряды зывают к миролюбивым мудрецам — зывают своей неизученностью. Устод Улугбек все намеревался вызвать ученых мужей из Каира, Багдада, Дамаска, дабы они перевели эти труды и прокомментировали их. Можно было бы попробовать и самаркандцам... Но научные занятия требуют мира и спокойствия, а ни того, ни другого сейчас здесь нет. Время устода и его шагирдов уходит на иные заботы: не до комментирования.

Рядом с полками, на которых были разложены оберегаемые от пыли рукописи арабского Египта, высятся другие — с редкостными сочинениями из багдадского кладезя наук, академии «Хизонат уль хикмат». Чарующий свет источали их позолоченные цветистые узоры зеленых, красных и синих сафьяновых переплетов. Чуть поодаль в шкафах, стенки которых замысловато изукрашены резными изображениями животных и птиц, сложены книги из Китая и Индии, и каждая завернута в зеленый или желтый шелк.

Шесть лет назад, когда жив был еще Шахрух-счастливец, ревностно поддерживающий сына, в том числе и казною, достойный устод Улугбек пригласил — за плату золотом, иначе приглашение было бы с вежливостью отклонено — двух ученых мужей: одного из Индостана, другого из страны фарфора. По воле аллаха индеец вскоре оставил сей бренный мир, не успев довести до конца перевода знаменитого произведения индийских астрономов «Сидхаита». Что же до говорливого безбородого ханьца, то его судьба сложилась удачливее, ибо, на несколько лет став прилежным и сообразительным студентом в медресе Улугбека, он неплохо освоил персидский и тюркский языки, даже стал смешно лопотать на них, усердно занимался и арабским. Затем приступил к переводу на фарси́ и тюркй

привезенных из Китая книг и успел оставить три тома переводов по древнекитайской астрономии; дальше этих трех томов не пошло, китаец заявил, что соскучился по родине, куда и отбыл с караваном, шедшим на восток, естественно, взяв золотом плату за сделанное.

Ну, а наибольшим почетом пользовались в библиотеке устода книги и рукописи ученых, философов и поэтов Мавераннахра, что видно из того хотя бы, что шкафы, где они собраны, стояли на самом видном месте помещения и были заботливо и с тщанием инкрустированы. Каждая книга, а уж тем паче каждая старинная рукопись покоилась в особо обработанном кожаном переплете и в футляре из кожи голубых и бирюзовых тонов; золотым тиснением увековечены были на них благословенные имена авторов, и даже сейчас, в тусклом мерцании свечи, затейливая буквенная вязь этих имен сияет, подобно звездному свету.

А как ликует глаз твой и сердце твое, о смиренный мавляна Али Кушчи, один из немногих пригубивших мудрости великих, один из редких счастливцев — людей науки, при виде вон той большой верхней полки! Что там? — спросит кто-то. И наизусть, не глядя наверх, ты ответишь: там прежде всего шесть томов Абу Абдулла аль-Хорезми, причем три из них, судя по всему, и написаны его благословенной рукой; эти сокровища устод выписал из Багдада, из знаменитого «хранилища тайн», библиотеки «Байтул хикмат»... Рядом с Хорезми мудрейший и воистину все постигший Абу Али ибн Сина, двенадцать его томов, и среди них знаменитейшая «Книга исцеления», «Китоб уш щифо», а кроме того, три книги его стихов... Что еще? Шестнадцать томов великого разумом аль-Фараби и мудрейший из мудрых Абу Рейхан Бируни, чьи книги все в красном сафьяне, и лишь одна в бирюзовом, та, что излагает устройство вселенной, «Ал-Канун ал масъуди». А почему в бирюзовом? Да потому, что устод чаще других перечитывал ее и надо было выделить ее цветом, отличить от других... Ну а дальше — произведения, что запечатлели глубочайшие познания Ахмада ибн Абдуллы Марвази, и учителя математиков Ахмада ибн Мухаммада Фаргони, и мавляны Абул Вафо-ас-Самарканди, земляка нашего, и наставника звездочетов Гиясиддина Джамшида, и Насриддина Туси, — о каждом не будет преувеличением сказать как о мудреце мудрецов, и сие тем больше имеет оснований быть распространенным на благословенного Салахиддина Кази-заде Руми, что он ведь устод моего устода и тем самым, осмелюсь сказать, мой устод.

Да и как же он не твой благословенный учитель, пусть ликует его светлая душа в раю? Он заходил сюда, в эту сокровищницу знаний, и ты видел его! Он останавливался на том самом месте библиотеки, где ты сейчас стоишь, смотрел на ту же самую, ценнейшую из ценнейших полку, а перед тем, как раскрыть книгу, взятую с нее, закрывал глаза, шептал молитву, затем касался переплета устами и только после этого раскрывал

книгу — и ты все это видел собственными глазами и слышал, как устод требовал того же, что делал сам, от каждого юношиталиба, ибо, вступив в храм знаний, человек должен понимать, так говорил наставник, что самое великое, к чему следует питать благоговение, есть разум, а воплощается разум в книге, в слове.

И снова вспомнился Али Кушчи тот весенний день, когда повелитель-устод привел к ним, талибам, великого мудреца Салахиддина Кази-заде Руми. Улугбек был тогда в расцвете сил, полон дерзновенных замыслов. Златотканый блестящий наряд, серебристого цвета чалма, порывистые движения — все шло тогда к нему, молодило, выделяло среди людей. Рядом с ним старичок мудрец выглядел еще более старым и хилым. Но какое обаяние было у этого старца, как быстро покори́л он их всех! Досточтимый старец весь в белом и блистательный Улугбек заняли места под ветвями густой чинары. По просьбе повелителя наставник взял толстую книгу, завернутую в парчу, раскрыл ее. Он повел речь о математике, этом великом создании человеческого ума, о необходимости ее для изучения небесных светил. Али Кушчи читал эту книгу раньше, но впечатление от того, как объяснял ее сам Кази-заде Руми, было несравненно большим. О сложнейших вопросах старец говорил так просто, неотразимо логично, что Али Кушчи показалось тогда, будто слышит он не сложнейший трактат, а дивную музыку — она чарует душу, умудряя разум. И не один Али Кушчи, и не только повелитель, не только талибы, даже сановники, что прибыли в медресе вместе с султаном (хотя и то сказать, что им наука, зачем им математика, если не для подсчета барышей или убытков?!), даже они были захвачены уроком и слушали Кази-заде Руми в глубоком, почтительном внимании. Правда, когда султан Улугбек, поблагодарив наставника, спросил, всем ли все понятно, не одни только скромные талибы, но и важные сановники, потупив глаза, предпочли отмолчаться, чем вызвали печальную улыбку старца. И тогда Али Кушчи стеснительно приподнялся и, робея и заикаясь, отвечив, что беседа наставника понятна и принесла наслаждение.

Глаза мавляны Руми блеснули радостью. Мирза Улугбек же устроил Али Кушчи чуть ли не целый экзамен, более всего по геометрии.

Али Кушчи, к радости старца, все более воодушевленно отвечал султану. А султан вдруг подозвал его к себе и спросил уже о том, какого он рода, где учился, что мыслит о дальнейшей судьбе своей. Вот тогда-то мавляна Руми поцеловал Али Кушчи в лоб, коснувшись лица белой шелковистой бородкой...

Растроганный, вошел Али Кушчи в следующую рабочую комнату обсерватории. И здесь было множество книг, старинных, ценнейших. И здесь полки закрывали три стены комнаты, оставляя открытой лишь одну, обращенную на запад, к Мекке.

Тут были вывешены астрономические таблицы Улугбека. На плотной шелковистой египетской бумаге, словно россыпь золотых монет, изображения звезд. Можно не смотреть на небо: точной копией его была эта картина! Она притягивала к себе, чаровала.

Внизу под таблицей светились сделанные золотой краской пояснения, указатели, цифры.

В углу помещения измерительные приборы, два мягких кресла с высокими спинками (к таким спинкам привык Улугбек). Устод любил вечерами сиживать здесь, в этой комнате, читать, работать над самым дорогим своим детищем — звездной картой. Али Кушчи был с ним рядом. И труд мавяляны есть в чудесной таблице, висящей напротив. И не только в ней! Ведь Али Кушчи тоже собирал книги, манускрипты, помогал устоду находить редкости для библиотеки, уподобляясь искателю жемчуга в далеких странах южных морей... И сколь приятно и дорого, что вон там, на угловой полке рядом с шестью томами исторических сочинений устода стоят и его, Али Кушчи, книги!..

А что ж теперь? Неужели ему угрожает разлука с этим храмом знания, с этой обителью светозарного разума, где он научился жить подлинной жизнью духа, подниматься мыслью в сверкающую, облагораживающую человека сферу, что высоко парит над тяготами и суетами повседневного мира?

Именно здесь он понял: есть счастливые муки — муки познания, и нет выше и чище радостей, чем радости познания же!

Слепые невежды, о которых недавно с гневом и боязнью говорил устод, не раз обвиняли и его, Али Кушчи, в грехах против заповедей шариата, кричали о том, что он пьяница, чревоугодник, развратник. И это о нем, для кого не существует благ суетного мира, не существует, ибо нет у него желания обладать ими. Ведь он, Али Кушчи, и впрямь отказался от счастья иметь семью, детей, ибо думал, что они помешают его научным занятиям. О, бедная матушка правильно все объяснила, хотя, может быть, слишком просто сказала об этом... Ему уже за сорок, уже впереди брезжит конец жизни, мимолетной и брэнной, как у всякого человека. Будет ли у него на старости лет теплый очаг? Вряд ли. Вот эта обсерватория и есть его очаг. Без нее что будет он делать, куда денется?

Но Али Кушчи, хоть и называли его ученым-затворником, не относился к числу людей, находящих сладость в бездеятельной печали. Надо было подумать о том, как лучше выполнить наказ устода Улугбека. Пусть не пропадало у Али Кушчи пугающее чувство, будто остался он один на свете с таким немислимо трудным поручением, да что же делать, надо действовать!

Подняв над головой свечу, Али Кушчи еще раз огляделся. Всюду книги, книги... Нет, для них не хватит десяти — пятнадцати сундуков. Значит? Значит, досточтимый устод имел в виду выбрать из редких редчайшее, из драгоценных драгоценнейшее... Да, а кому заказать сундуки?! И куда же спрятать отобранное?

Начать с обмена золота на деньги. Идти к хаджи Салахиддину, ювелиру — это так только говорится «ювелир», он ведь владелец едва ли не всех ювелирных лавок Самарканда...

Али Кушчи взял несколько золотых «пиалок» и драгоценных камней, мешок запрятал между книгами и вышел во двор. Было еще рано, однако он совершил утреннее омовение, прочел предрасветную молитву — бомдод.

Али Кушчи был готов действовать.

## 5

Вершины Ургутских гор на горизонте слегка зарозовели, но сквозь редкие облака все еще виднелись на небе звезды. Ветер был прохладен и заставлял поеживаться; деревья вдоль дороги клонились под его порывами, а огромный сад «Баги майдан» встретил путника шумом, сходным с шумом реки.

Обычно месяц шагбан бывал в этих краях теплее; багряно-червонные сады и рощи Самарканда, увядая, дремали под ласкающими лучами осеннего солнца; по большаку мимо обсерватории тянулись на базар арбы с плетеными кузовами, полными дынь и арбузов; молодые джигиты несли на головах корзины, пламеневшие рубинами гранатов, желтевшие крупными грушами, каждая с маленький фарфоровый чайник; садовники гнали ослов, навьюченных ящиками изумрудно-золотистого винограда; бывало, в такие ранние часы, поднимая пыль до голубеющего неба, проходили отары овец, а то и караваны торжественно шагавших верблюдов, и колокольчики их пели о нескончаемости дорог, о притягательной силе благословенного самаркандского базара и вообще об этом украшении вселенной — славном городе Самарканде... Сегодня же на большаке, что бежал мимо обсерватории, мимо садов и дворов, отъединенных друг от друга глиняными заборами и зелеными изгородями, стояла непривычная для любого самаркандца плотная тишина. Будто не только люди, но и все живое чувствовало опасность, нависшую над городом, и потому перестали петь птицы, блеять овцы, мычать коровы. Даже собачьего лая не было слышно, будто и собаки попрятались в укрытиях, затаились в ожидании чего-то таинственно-страшного.

Миновав гробницу святого Кусамы ибн Аббаса, Али Кушчи свернул налево. От этого поворота дорога вела к Регистану. Пройдя немного, Али Кушчи услышал барабанный стук, трубные призывы карнаев, — звуки начала похода. Они нарастали, и чем ближе подходил мавляна к Регистану, тем яснее становилось ему, что это повелитель собрался на битву. Мысленно пожелал он удачи устоду, закрыв лицо руками, прошептал молитву-просьбу о даровании победы.

По широкой мощеной дороге мавляна двинулся к соборной мечети.

Со стороны странноприимного дома, расположенного напротив входа в Шахи-Зинда, он опять услышал дервишеское пение.

Показалась группа дервишей. Все в рубищах, все в треухах из козьей шкуры, кое-кто с дымящим кадилом в руке. Полужакрыв глаза, покачивая в такт пению лохматыми головами, дервиши брели нестройной толпой, но напев тянули согласнo, возвеличивая всевышнего:

О аллах, о всемогущий,  
О создатель наш аллах!

Тот, кто бренный мир избрал,  
В сердце бога потерял.  
В Судный день найдет беду —  
Он окажется в аду.

О аллах, о всемогущий,  
О создатель наш аллах!

Резкий запах гармалы из кадильниц бил в ноздри, уши болели от дервишеских возгласов «ху-ху», «ху-ху», которыми сопровождалось пение. Пританцовывая, группа дервишей прошла мимо Али Кушчи.

Пред вратами смерти ждущей  
Равны нищий, воин, шах...  
О аллах наш всемогущий,  
О создатель наш аллах!

Ожидая смертной сени,  
Словно труп живой, хожу.  
Этот мир подобен тени.  
Миром тем я дорожу.

Человек, ты горстка праха  
И о том не забывай,  
Помни день и ночь аллаха,  
Его имя восславляй!

О аллах, о всемогущий,  
О создатель наш аллах!

«Славить аллаха следует добрыми делами и трудом разума, а если и стихами, то уж явно не такими», — усмехнулся Али Кушчи, и тут взгляд его упал на шедшего последним в группе человека, высокого и плечистого. Дервиш оглянулся, поразив мавляну лихорадочным блеском глаз и огромной густой бородой. У мавляны дрогнуло сердце: Каландар Карнаки, тот самый, о ком сегодня ночью спрашивал устод!..

Каландар Карнаки украдкой кивнул Али Кушчи.

Или так только показалось мавляне?

Угрюмое пение дервишей, их пугающие вскрикивания постепенно отдалялись, замирали, а перед глазами застывшего на месте Али Кушчи все стояло лицо, заросшее густой бородой, все припоминался скорбный взгляд дервиша...



Каландар был родом из дальнего северного города Ясси, вернее, из крепости Карнак неподалеку от города. Лет двадцать назад он вместе с другими воинами приехал к Улугбеку, прося защиты от кипчакского хана Барака, который завладел тогда городами Сигнак и Ясси. В битве Улугбека с Барак-ханом Каландар проявил примерную отвагу и даже был, можно сказать, среди спасителей жизни Улугбека, ибо по воле аллаха повелитель потерпел в той битве жестокое поражение и должен был оставить поле брани.

Каландара ждала после этого дорога воина и военачальника.

Но то ли потому, что в той битве пали его близкие друзья-земляки, то ли потому, что трудно стало верить в благосклонность переменчивого воинского счастья к султану Улугбеку, а тем самым и в освобождение родного города, Каландар Карнаки пошел по другой дороге — науки и знания. Сменив доспехи воина на халат талиба, Каландар стал ревностно учиться в медресе Улугбека под наставническим оком мавляны Али Кушчи и мавляны Мухиддина. К занятиям математическим и астрономическим он оказался весьма способен, равно как и к сложению изящных стихов на языке тюрки. Последнему делу способствовала, видно, и любовь Каландара к дочери своего учителя Мухиддина — к юной красавице Хуршиде-бану.

Мавляна Мухиддин, проявив человечность, согласился было сделать бедного студента-чужестранца своим зятем. Но высокомерный Салахиддин-ювелир нашел, что молодой поэт — юнец, у которого ни кола ни двора, не пара для его любимой внучки. Сыну эмира он, конечно, не отказал. Это ведь не полуничий поэт!..

Переживая разлуку с любимой, мучась от обиды и бессилия, Каландар стал сторониться людей, а потом и вообще покинул медресе.

С тех пор Али Кушчи не раз встречал Каландара среди деревни, а его бывший ученик делал вид, что не замечает учителя. Затем Каландар куда-то пропал и вот только сегодня очутился на пути мавляны и впервые ответил, обернувшись, на взгляд учителя взглядом, кивнул ему. И что же значил его кивок: просто ли вежливость, свидетельство ли прежнего уважения... а может, угрозу? Или, напротив, знак предупреждения об опасности?

Может быть, все это почудилось Али Кушчи? Но нет, слишком выразителен был взгляд Каландара. При удобном случае следовало бы поразмыслить о происшедшем: ведь бывает так, что взглядом скажешь больше, чем словом, хотя Али Кушчи всегда предпочитал ясное слово бессловесному намеку.

Со стороны Кок-сарая все еще продолжал доноситься грохот барабанов и трубный призыв карнаев. Но улицы и дома безмолвствовали.

Обычно в эти часы уже выходили водоносы. Враги уличной пыли, они поливали землю водой из тяжелых кожаных мешков,

повешенных на шею; в эти часы делали свое дело подметальщицы площадей и улиц. А затем распахивались двери и окна бесчисленных торговых и ремесленных лавок, выстроившихся в два ряда по сторонам улиц, и кузнецы уже разжигали горны, бросали в огонь саксауловые полешки и хворост, стучали огромными молотами, звенели малыми — подковывали первых скакунов; и резчики камня усаживались на корточках и на низких скамейках перед глыбами и плитами, тесали, скоблили, долбили, и под их руками оживали орнаменты, радующие глаз даже тогда, когда узор предназначался для надгробия; и точильщики уже точили первые топоры и ножи, и мастера по костяным дорогим рукояткам для сабель и кинжалов не сидели сложа руки... Начинался трудовой день ковровщиков и ткачей, гончаров и столяров, жестянщиков и оружейников, тех, кто изготовлял сундуки, и тех, кто мастерил зыбки для младенцев — бешики. Стук, грохот, людской говор! А хлебопеки уже месили тесто, кондитеры приступали к варке халвы, шашлычники готовили жаровни, и вскоре горьковато-обольстительная волна запахов лепешек и шашлыка, вкуснейшей самаркандской самсы и жареного лука, пряностей и сладостей обрушивалась на путника, вызывала у него радужные мечтания, и кто, в самом деле, мог устоять перед соблазнами знаменитой кухни Самарканда, если не брать в расчет тех, у кого не было за душой ни гроша?.. Не раз приходил сюда Али Кушчи проветрить усталую голову, посидеть в спокойном местечке, где ему видно и слышно было все происходящее на этой улице, в этих рядах. Понаблюдать за работой мастеров, поговорить с ними, отведать свежей вкусной пищи — вот и отдых, вот и радость для маляны. И как же горько думать, что эта уличная жизнь, несмотря на пестроту свою и шумливость, спокойная, словно большая равнинная река, что она тоже сейчас под угрозой, как и жизнь владыки Кок-сарая и его приближенных. Страшно помыслить о том, как Абдул-Латиф, победи он устода, пригнет к земле эти лавки и лавчонки поборами и налогами, если попросту не ограбит всех этих кузнецов и ткачей, резчиков и ювелиров.

Али Кушчи прибавил шаг.

Через узкий переулок он вышел к небольшому майдану, посреди которого росла роскошная шелковица, выставшая пальми листьями целый золотистый ковер вокруг себя. По правую руку от дерева стоял богатый особняк, как водится, с массивными двустворчатыми воротами и маленькой калиткой-входом, но с необычной балаханой, чьи окна смотрели не внутрь, а наружу. Майдан был замкнут с трех сторон небольшими строениями, сложенными из плоских кирпичей. Это были торговые лавки, на каждой висел здоровенный, с лошадиную голову, замок. Жилой дом и лавки принадлежали знаменитому богачу ювелиру хаджи Салахиддину, то было его царство.

Али Кушчи постучал в ворота тяжелым медным кольцом, предназначенным для того, чтоб пришедший дал таким образом

знать о себе. Довольно долго не отвечали. Потом глухо послышалось:

— Торговли сегодня нет и не будет.

— Я из медресе... друг мавляны Мухиддина... Передайте ему, что пришел мавляна Али Кушчи.

Первое, что увидел Али Кушчи, когда ему наконец открыли, был какой-то смуглолицый великан, вооруженный саблей. «Ого, у хаджи своя стража?»

— Здравствуйте, устод.

Тихонько приоткрылась на веранде одна из дверей, и тоненькая, словно лоза, молодая женщина в темно-синем платье до щиколоток и с голубым шелковым платком на голове предстала перед Али Кушчи. Она остановилась у порога, потупив глаза и прикрыв лицо розовой кисеей.

«Вот так день выдался сегодня,— подумал мавляна.— Сразу с обоими влюбленными повидался за какие-нибудь полчаса».

— Пусть жизнь твоя будет долгой, дочь моя. Дома ли отец, да ниспошлет аллах вам обоим счастье?

— Дома, устод. Добро пожаловать к нам.

Через веранду Али Кушчи прошел в прихожую, а потом налево в знакомую комнату — опочивальню мавляны Мухиддина. Просторная эта комната с необыкновенным, редкой цены золотым светильником в хрустальных подвесках, что мог быть принят и за дворцовый, застлана китайскими коврами. На сложенных в несколько рядов шелковых одеялах — курпачах, на пуховых подушках лежал мавляна Мухиддин. Он не спал и, увидев гостя, столъ раннего и неожиданного, хотел было встать с ложа, но Али Кушчи опередил его:

— Ради аллаха, не беспокойтесь обо мне и простите, что тревожу в такую рань да еще занедужившего друга своего,— и, сказав так, заторопился к Мухиддину, присел на колени близ него, пододвинув под ноги себе одно из одеял.

Мухиддин, мужчина немолодой, ему перевалило за сорок, выглядел больным: худой и длинный, он лежал сейчас под дорогой собольей шубой, подогнув ноги в коленях, голову он повязал вышитым шелковым платком, а сверху надел остроконечную тюбетейку.

— Да ниспошлет вам аллах столь желаемое мной исцеление,— Али Кушчи поднял ладони к лицу.— Что сказал лекарь, мавляна?

Мухиддин приподнялся на локтях. Позвал слугу.

Лепешки были горячи и свежи, самса просто таяла во рту, мед, миндаль и кишмиш в тонких фарфоровых вазочках порадовали бы всякого любителя и знатока сладостей, а беседа дальше взаимных расспросов о самочувствии так и не продвигалась. Али Кушчи все время казалось, будто в комнате, знакомой ему, чего-то не хватает. И вдруг его осенило: не было книг на полках! Их заменили хрупкие китайские блюда, стоящие на ребре, прелестные пиалы в золотых ободках, серебряные подносы,

чеканенные по всему полю; изящные медные кувшины и кувшинчики перемигивались в солнечных лучах с разноцветными вазами и тарелками.

Али Кушчи оторвал недоуменный взгляд от полок вдоль стен, перевел его на полулежащего, почти закрывшего глаза свои Мухиддина. Недоброе предчувствие кольнуло Али Кушчи. Он не спросил, что случилось с книгами мавляны Мухиддина, вместо этого сказал:

— Вчера я был в Кок-сарая у устода.

Мавляна Мухиддин шевельнулся, открыл глаза, кашлянул тихонько:

— И к вашему слуге повелитель присылал гонца... Да что я мог сделать, кроме как обратиться к повелителю покорнейшую просьбу простить мне мой недуг, столь неуместный, но оттого не менее сильный...— Мухиддин почему-то покраснел, приподнялся с той же живостью, что и в начале встречи, стал настойчиво угощать гостя. О здоровье Улугбека он не спросил.

— Досточтимый устод передал вам свой привет,— сказал Али Кушчи.

— Да будет он в вечном здравии. Прошу, угощайтесь, откушайте этих яств, почтенный мавляна,— Мухиддин придвинул к Али Кушчи кушанья, разломил лепешку.

Не без холодности Али Кушчи продолжил:

— А вместе с приветом досточтимый устод высказал одно особое пожелание...

Пальцы Мухиддина, ломавшие лепешку, остановились.

— Пожелание? Какое пожелание?

— Да будет вам известно, уважаемый мавляна, сегодня утром повелитель пошел войском против сына своего, мятежника. Станем надеяться, что всевышний вновь не оставит милостью нашего устода и повелителя. И все же,— Али Кушчи тяжело вздохнул,— и все же... откуда нам, простым смертным, постичь волю аллаха... Если птица счастья — хумо бросит свою тень не на устода, а на шах-заде, на сына, что будет значить, что удача отвернулась от отца... то тогда... тогда на нас с вами, друг мой, повелитель возложил обязательство сберечь, укрыть самые ценные книги и рукописи из его... из нашей обсерватории.

— Укрыть?.. Не понимаю, где укрыть?

— Разумеется, в надежном месте, мавляна.

— Это место... мой дом, мавляна?!

И такой испуг мелькнул на лице Мухиддина, что Али Кушчи с трудом скрыл усмешку.

— Нет, друг мой, ваш дом не подходит для того, о чем мы беседуем. Ведь речь идет не об одной книге, и даже не о десятке книг: пять или шесть верблюдов не поднимут этогоклада.

Мавляна Мухиддин затеребил край скатерти, поигрывая перстнями.

— Коль скоро мой дом не подходит для укрытия столь большого числа книг, то чем же может быть полезен ваш

покорный слуга? Не понимаю, чего вы, почтенный друг, ждете от меня?

— Что ж тут непонятого, мавляна? — Али Кушчи уже еле сдерживал возмущение. — Устода считает нас с вами своими ближайшими шагирдами, он соблаговолил возложить на нас эту задачу. Разве воля устода не закон для шагирада?.. Я и пришел посоветоваться, как выполнить волю устода.

Огорченный таким поворотом дела, мавляна Мухиддин вымолвил:

— Прошу снисхождения к вашему слуге, мавляна, но задача кажется мне настолько трудной, что без совета благословенного родителя своего не рискую за нее взяться. Если вы позволите...

И Мухиддин, забыв о недуге, торопливо встал с одеял, сунул ноги в узенькие лодочки — кауши, сделанные из блестящей узорчатой кожи.

Мавляна Мухиддин оставил Али Кушчи одного.

Медленно вращая в пальцах расписную пиалу, Али Кушчи вспоминал день, когда хаджи Салахиддин устроил в своем доме пир, созвав всех ученых мужей Самарканда. Был повод: Мухиддин стал мударрисом в медресе Улугбека. Пир тот, нельзя забыть, удостоили посещением благословенный Салахиддин Кази-заде Руми и сам повелитель-устода. Ювелир выложил перед устомом редкие старинные рукописи, что собирались для мавляны Мухиддина долгие годы, и тем заслужил похвалу Улугбека... В сущности, все богатство этого дома, почет, коим умело пользовался его хозяин ювелир, — все это по милости султана, благоволившего к Мухиддину. Да, Мирза Улугбек высоко оценил знания и способности молодого мавляны: несмотря на молодость, сделал его мударрисом, положив немалое жалованье. Еще больше, может быть, выиграл отец: хаджи Салахиддин был зачислен в тарханы, и уж ему ли, освобожденному от всех податей и налогов, было не развернуться со своими финансовыми дарованиями! Мирза Улугбек дал ему грамоту, освобождающую даже от налога — тамги, обязательного, казалось бы, для всех торговых людей. Словом, хаджи Салахиддин милостью Улугбека превратился во влиятельного в Мавераннахре человека, не говоря уже о том, что стал самым большим, пожалуй, скупщиком и менялой денег в Самарканде. «Что же он предпримет теперь, когда на голову устода пала беда?» — подумал Али Кушчи.

Хаджи Салахиддин вошел в комнату неторопливо, приостановился у порога, чтоб внимательно оглядеть гостя. Опираясь он на белую трость слоновой кости, но двигался легко и непринужденно, несмотря на свои семьдесят лет. Была в ювелире скрытая, не заметная первому взгляду красота — в одежде безукоризненного вкуса и понимания своего возраста, в худобе лица, почти гладкого, без морщин, в статности, делавшей его, маленького ростом, гораздо выше, во взгляде, острота которого сравнивается обычно с орлиной.

Али Кушчи поднялся и отвесил вошедшему почтительный поклон.

Старик приставил к стене трость, любовно погладив ее рукоятку, инкрустированную жемчугом, неторопливо прошел на почетное место и опустился на курпачу. Али Кушчи и сыну указал, куда сесть — рядом, по обе стороны от себя.

Юноша-слуга появился в комнате, неслышно освободил скатерть — дастархан от серебряных подносов с едой, а потом принес золотые — с фруктами и сладостями. Пятясь и кланяясь, слуга покинул комнату, и только тогда Салахиддин произнес первое слово, повернув к гостю голову и внимательно взглянув ему в глаза:

— Давно не испытывали радости видеть вас в нашей убогой хижине, уважаемый мавляна. Но лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать!

«Убогая хижина» вызвала у Али Кушчи ироническую усмешку, но он вовремя успел погасить ее.

— Благодарю вас... Я пришел в ваш замечательный дом, почтенный хаджи, с радостным чувством друга и ради исполнения важного долга, о коем мавляна Мухиддин, наверное, успел сообщить вам.

Салахиддин-ювелир кивнул утвердительно. Отхлебнув душистого чаю из пиалы, неторопливо заговорил:

— Прежде чем обсуждать это дело, хотел бы сказать два-три слова, уважаемый мавляна... Знаете ли вы, что Мирза Улугбек лишился престола, а тем самым и возможности распоряжаться в государстве нашем?

Глубоко посаженные глаза старика из-под густых насупленных бровей впились в Али Кушчи.

— Недостойные слухи, почтенный хаджи! Ваш покорный слуга не далее как в эту ночь был во дворце у повелителя. А сегодня на рассвете войско султана Улугбека...

Ювелир нетерпеливо передернул плечами.

— А известно ли вам, что осчастливленный благосклонностью аллаха шах-заде Абдул-Латиф со своей ратью уже стоит на перевале Даван и все военачальники Мирзы Улугбека перешли на сторону сына?

О размерах беды Али Кушчи догадался еще ночью, глядя на своего повелителя. Но откуда так быстро узнал о состоянии дел повелителя Салахиддин-ювелир?

Али Кушчи вопрошающе взглянул на Мухиддина. Мавляна сидел отрешенно, втянув голову в плечи.

— Так вот, — продолжал ювелир, — теперь спрошу я вас, мавляна Али, хорошо ли подумали вы о том, как опасно в объясненных мною условиях житейских предприятие, за которое вы взялись? Да к тому же, — старик протянул пустую пиалу сыну, — пытаетесь вовлечь в него и моего сына.

Али Кушчи готов был возразить, но хаджи Салахиддин повысил голос:

— Да станет вам известно еще и то, что сокровища знаний, кладезь премудростей и прочее, про что вы так красноречиво говорили и что хотите спрятать, должно быть по вынесенному решению сожжено!

— Какой невежда мог вынести подобное решение?!

— Из сказанного мной следует,— ювелир не снизошел до ответа на вопрос Али Кушчи,— что тот, кто вознамерился бы уберечь книги от гнева праведных людей, верных исламу, есть нечестивец и заслуживал бы сожжения на костре... возможно, том же самом, где сгорят книги... Ибо решение то — фетва, оно не отменяется, раз вынесли его высшие духовные наставники наши.— Старик криво улыбнулся.— Подумали вы об этом, мавляна?

Плохо скрытая угроза была в словах Салахиддина: Али Кушчи непроизвольно пригнулся. Старик, властный, много видевший в жизни, вкусивший немало и радостей и горестей ее, умел влиять на людей так, как было ему нужно. И старик был прав, говоря о рискованности затеянного предприятия. Но было ведь ясно еще и то, что ювелир запугивал Али Кушчи, несомненно запугивал.

Али Кушчи выпрямился. Разве об опасностях не предупредил его и устода? Разве сам он не понимал, на что идет, принимая приказ, нет, не приказ, а поручение, просьбу, мольбу Улугбека?.. Что же, поддаться страху и запугиваниям, предать устода, перейти из медресе в мечеть? И шапку мударриса сменить на чалму имама — священнослужителя?

Хаджи Салахиддин по-своему объяснил молчание собеседника.

— Мавляна Али,— голос старика дрогнул, наливаясь ласковостью,— аллах свидетель, вы дороги мне не менее его,— старик протянул руку к Мухиддину и принял вновь наполненную сыном пиалу.— Ваша беда — словно его беда. Как отец, говорю, не играйте... с огнем, будьте осторожны, очень осторожны!

В искренность этих слов трудно было не поверить. И, если б не память о горестном лице устода, Али Кушчи, может быть, и поверил бы ювелиру, ибо великое это дело — опыт житейский на службе человека хитрого и умного, сведущего в сердцах других людей. Но теперь Али Кушчи успокоился и лишь злился на себя да вот на этих двух... вдруг ставших чужими людей, испуганных и жалко-хитрых.

— Благодарю вас за советы... отец мой. Ваш слуга преисполнен уверенности в том, что они даны искренне. Однако,— Али Кушчи проглотил комок, ставший в горле,— однако... не об обычных драгоценностях, не о золоте или камнях веду я речь с вами, а о жемчугах науки, знания, о мыслях тех, кто мудрее мудрых. Сорок лет великий устода Мирза Улугбек собирал свою сокровищницу, и вам ли не знать, сколь многотрудным было это дело. Это сокровище может делать простых смертных истинными сынами человеческими. Так, надеюсь, произошло со мной,

и думаю, что шагирд, который забудет хлеб и благосклонность устода, дарованные им знания, уподобится... слепцу, отец мой. И ваш слуга предпочитает сгореть на костре, разожженном невеждами, чем откажется от исполнения воли повелителя... Слово устода — закон для шагирда, не правда ли, мавляна? — обратился вдруг Али Кушчи к мавляне Мухиддину.

Тот все сидел не шелохнувшись, в прежней согбенности, и остроконечная тюбетейка склонялась все ниже и ниже.

— Мавляна Али, — пришел на помощь сыну старик ювелир, — счастлив человек, обладающий не только знаниями, но и красноречием. Вы сказали прекрасно. Слова ваши блестящи и многомудры... Но мудры они скорее мудростью талиба, только что переступившего порог храма науки, чем истинно ученого мужа, каким вы являетесь. Простите старика, мавляна, но где же присущая ученому осмотрительность и дальновидность в суждениях?

Старик погладил седые брови и, видя, что гость хочет возразить ему, снова повысил голос:

— Кому вы рассказываете о щедрости и заботливости Мирзы Улугбека? И кто спорит о том, как должен вести себя ученик, если он признает кого-то своим учителем?.. И зачем вы взываете к благодарности нашей, если знаете, как поступил с моей любимой внучкой сын султана? Иль вы не знаете этого?! Иль это можно простить?! Благосклонность Мирзы Улугбека!.. Не потому ли она и была оказана, чтобы загладить вину?

Али Кушчи приготовился сказать, что благосклонность была проявлена и до прискорбной истории, но старик вдруг на его глазах расплакался, скрыв свое лицо шелковым благоуханным платком.

— Устод не ведал о планах Абдул-Азиза, он наказал сына... и он просил передать вам еще раз свое сочувствие и извинения.

Салахиддин вытер глаза, взмахнул рукой.

— Что взять с извинения, мавляна? Разбитый сосуд не склеить, вдову не превратить в девственницу!

Али Кушчи вспомнил Каландара, оскорбительный отказ Салахиддина видеть бедного влюбленного мужем своей внучки. О ее ли счастье заботился тогда гордый богач?

— Что было, то было... отец мой, — Али Кушчи уже не сдерживал раздражения. — Но мы говорим о другом — о том, что нечестно оставлять в трудную минуту устода, прикрываясь подлостью другого человека, пусть и его сына!

Хаджи Салахиддин, старый лис, понял, видно, что надо решаться на завершающие слова.

— Мавляна Али! Каждый смертный волен поступать по своему, аллах же рассудит нас всех. Вы пошли на риск, воля ваша... Из-за сокровища, как вы назвали книги, ваш покорный слуга... и его сын, — кивнул Салахиддин на Мухиддина, — не поставят под удар спокойствие и благополучие своих близких. Это все, мавляна!



— О хаджи! Вы могли бы не опасаться того, что я вовлеку вас с сыном в это опасное дело. Я пришел к вам попросить немного денег... и, конечно, мудрого совета.

— Денег?

— Не пугайтесь, почтенный! Я не имею в виду взять у вас займы. Повелитель передал мне кое-какие камни, драгоценности, несколько золотых слитков, дабы обменять их на деньги, которые, надо полагать, мне пригодятся.

Хаджи Салахиддин весь встрепенулся, преобразился.

— Драгоценные камни, говорите? Что за камни? — подался вперед старик.

— Где вашему покорному слуге разбираться в камнях? Я могу только припомнить, что устод сказал о том, что камни остались у него от деда...

— От великого эмира Тимура Гурагана?! — Степенный хаджи Салахиддин даже подскочил на месте, щеки его залил румянец. — Принес ли уважаемый мавляна эти драгоценности с собой или припрятал?

— Разумеется, припрятал.

— Куда? — полушепотом спросил старик. — Ну, я имею в виду — в надежное ли место?

Перед Али Кушчи ожила картина: внутренняя комната в обсерватории, полки, полные книг.

— В надежное, уважаемый хаджи.

— Камни эмира Тимура! Да, мавляна, тут надо быть очень очень осторожным... О камнях слышал только я, мавляна! Даже он не слышал! — взмах руки в сторону сына. — Только я, договорились?.. Самое надежное место — мой дом. Мы сойдемся в цене, я думаю.

Али Кушчи отвел глаза от раздумывавшегося лица ювелира. «Правильно ли я сделал, сказав о драгоценностях Тимура Гурагана? Но как же иначе поступить? И кто обменяет мне драгоценности на деньги, если не Салахиддин? Его рекомендовал и устод, правда, вряд ли предполагая, что здесь так поступят с его посланцем».

Али Кушчи вдруг почему-то вспомнил о матери, приехавшей к нему сегодня, ее слова об опасности, которые угрожали шагирдам Улугбека.

И черный страх ударил холодом в сердце.

## 6

Мирза Улугбек ехал впереди своего войска на белом арабском скакуне — прошлогодний подарок правителя Багдада. Рати эмира Джандара и Султаншаха Барласа ушли вперед. Сам Улугбек вел несколько туменов, и, хотя в каждом не было точно десяти тысяч всадников, как полагалось по воинскому уставу, завещанному еще Чингисом, войско было большим, и степь

содрогалась; за воинами вслед тащились оружейники, дворцовые слуги, бакаулы в крытых арбах; ржание коней, рев мулов и верблюдов, звон оружия сливались в общий грозный гул, как при землетрясении.

Обычно сановники и военачальники окружали султана. Сегодня они приотстали, будто не желая мешать думам Улугбека.

В одиночку скакал и Абдул-Азиз. То, настегивая аргамака, мчался вперед, то пускал коня в галоп и уходил в сторону невысоких холмов, что тянулись в степи сбоку войска. Он старался казаться беззаботно-спокойным, но лицо, бескровное, бледно-желтое, словно тигровая шкура, наброшенная на его коня, мятущийся взгляд, сама беспорядочность движений — все выдавало волнение, взвинченность молодого шах-заде.

Но ничего этого не замечал отец.

Не обращал внимания Улугбек и на нетерпеливое желание своего скакуна, откормленного, застоявшегося без походов и охот, ринуться вперед, не разбирая дороги, птицей помчаться по степи, порвав удила. Напрягалась по-лебединому прекрасная шея коня, резко и вразброс гремели колокольца на его холке и маленькие серебряные колечки на оторочке седла, но ничего этого не замечал всадник. Он опустил на грудь отяжелевшую голову; рука с привычной твердостью сжимала поводья.

...Третьего дня, в обычную теперь для него бессонницу, Улугбек сидел в библиотеке, листая книги. И натолкнулся на одно сказание...

Однажды прославленный на весь мир падишах Индии выехал на охоту. Была с ним свита, был и сын, единственный наследник. Падишах, посадив любимого черного беркута себе на плечо, помчался вскачь по берегу реки, а за ним князья и воины. Вырвался падишах вперед, один из воинов и начал кричать: «Остановись, повелитель, там в зарослях тигры!» Но падишах не послушал воина и все так же вскачь углублялся в заросли. Вдруг из-под копыт коня прыснули две золотистые лисицы и кинулись бежать перед всадником. А он, отпустив поводья, дал полную волю бегу коня. Лисицы внезапно умножились вдвое, потом обратились в восемь, и некоторые на бегу оглядывались на падишаха и скалили зубы, будто в насмешку. И тогда разгневанный властелин выпустил любимого беркута. Но тот, — о, неожиданность! — не глянув на лисиц, взмыл вдруг ввысь и низвергся оттуда камнем на самого падишаха! Кинжалом пришлось отбиваться властелину, да тщетно: улучив удобный момент, беркут вырвал ему правый глаз; бросив оружие, падишах прикрыл руками лицо, опасаясь за левый, и тут-то заметил, что это не беркут терзает его, а родной, единственный сын, одетый во все черное. Сын, обратившийся в беркута!..

Вот полных два дня прошло, а не уходит из головы это сказание. Словно нравоучительная притча оно.

Или опять припоминается дурной сон, давний, четверть века прошло, как приснился впервые. Тогда еще кипчак Барак-хан выступил против него, Улугбека...

Приснилось тогда, будто он, молодой в ту пору правитель Мавераннахра, убежал к мавзолею хаджи Ахмеда Ясави, что возвышается в городе Ясси, убежал от нелюбимой жены своей Угабегим. Одетая в яркие китайские шелка, побежала она за ним, звеня тяжелыми индийскими серьгами и багдадскими браслетами. Догнала на верху мавзолея, вцепилась в платье его, бесстыдно предлагая себя ему. Улугбек кинулся вниз, но не упал на землю, а, став птицей, полетел по небу. Но и Угабегим превратилась в стервятника, возобновила погоню. И снова метнулся Улугбек под защиту лазурного купола мавзолея, как вдруг с треском распалось надгробие хаджи и послышалось грозное: «Эй, Мухаммад Тарагай! (Так и только так называл его дед Тимур, потрясатель вселенной.) Эх, внук мой, престолонаследник Мухаммад Тарагай! Куда же ты? Стой!»

И Улугбек увидел деда: торчмя торчал он из чужой могилы, увенчанный остроконечным шлемом, разъяренный и... черны — от одежды ль, от гнева?

«Султан Мухаммад Тарагай! На то ли я надеялся, сажая тебя четырнадцатилетним юнцом на престол Мавераннахра?! А ну-ка ответь, правитель, зачем я воздвиг мавзолей, столь громадный в этой бесплодной степи? Отвечай!»

Грозно говорил это дед, всегда столь ласковый с ним, любимым внуком. Улугбек ответил:

«Чтобы порадовать светлый дух благословенного святого хаджи Ахмеда Ясави».

«Порадовать дух?! — загремел Тимур. — Не знаешь! Скажу. Чтоб страх навести, понял? На чернь, во-первых! А во-вторых, на врагов моих извечных, золотоордынцев и кипчаков... Пусть смотрят на это до небес достающее надгробие, пусть трепещут перед мощью нашей и величием... Ну а теперь гляди вниз: кипчаки и калмыки топчут эту священную землю, — глаза Тимура метали молнии, — враги овладевают городом!»

И было так на самом деле: увидел Улугбек с мавзолея тучи пыли, языки огня, что облизывали дома и лавки, блеск сабель свирепых степняков.

«Мавераннахр в огне и дыму! — закричал исступленно Тимур. — А ты со своей бесстыдной прелюбодейкой... что делаете вы здесь? Знай же, я возвел тебя на престол, я же низвергну тебя с него!.. Или ты прогонишь врагов, или отдашь престол!»

И Тимур стал вдруг расти, расти, выскочил из могилы и пошел к нему, Улугбеку. Тот в ужасе проснулся, будто вынырнул со дна преисподней, весь мокрый от пота... А самое удивительное, что на рассвете того же дня к нему явились посланцы-джигиты из окраинного города Ясси, десять человек, прося помочь им, послать сильное войско против Барак-хана, что уже овладел их городом и соседним Сигнаком.

Неудачлив, ох как неудачлив оказался тот Улугбеков поход... И если бы не Каландар Карнаки, о котором он говорил ночью с Али Кушчи!.. Отважный воин-степняк Каландар спас его тогда от смерти, даже хуже, чем от смерти,— от плена. Что позорнее было бы для Тимурова потомка?! Каландар и его джигиты пробили тогда, в битве сигнакской, кольцо кипчакских воинов и, схватив его коня за поводья, вывели из окружения...

И давний дурной сон, и недавно прочитанная притча о черном беркуте — все одно к одному. «Неужели не будет удачи и в этом походе? О аллах, не лиши заступничества меня, раба своего!»

Уже в течение недели каждый вечер составляет он гороскоп — зойча, в движении звезд пытается предугадать свою судьбу, но она ускользает, покрывается туманом. То, что раньше казалось ясным как день, ныне лишается определенного толкования. Или небеса не желают открыть ему тайну грядущего, или собственный его разум ослабел, высох, словно река в зной.

...Улугбек поднял голову, оглянулся по сторонам. Солнца не видно в тучах пыли. На холмах вдали и на близких нивах, где все было скошено подчистую, в садах и рощах, мимо которых шла войско, нигде ни души. Точно перед набегом разбойничьей орды, все попряталось — и люди, и овцы, и собаки. Да и есть ли разница для кишлачника-дехканина, облагает ли его поборами войско победоносного Тимура, или справедливца-неудачника Улугбека, или лихая степная ватага...

Сизый туман скрывал вершины гор, гряда которых рассечена перевалом Даван, и дорогу, что вела к нему.

Там, за грядой, родные места Улугбека, земля предков. И дед и внук особо заботились о Кеше, городе, где в мавзолее Ак-Сарай, сооруженном по велению Тимура, покоится прах первых барласов<sup>1</sup>, зачинателей династии. А у подножия Давана дед разбил когда-то «Райский сад», «Баги бехишт». Там росли банановые деревья, пересаженные из индийской почвы, финиковые пальмы-египтянки, расточали дивный, истинно райский аромат китайские яблони; рощи душистых елей, росших ближе к горам, скрывали белых архаров, чьи рога нельзя было охватить и при полном размахе рук; в рощах бродили игривые тонконогие олени, газели с невинно-печальными глазами; в прозрачных родниках, в маленьких искусственных озерцах, полных хрустально-чистой воды, резвились золотые рыбки... Дед Тимур часто отдыхал в этом саду после походов: охотился в еловом предгорье, устраивал пиры, что поражали пышностью тех послов, которых благоволил приглашать сюда потрясатель вселенной.

Кто там сейчас, у горной гряды? Его ли военачальники или, может быть, уже и туда успели конники Абдул-Латифа? Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер, до сих пор не принес вестей, а послан ведь был еще ночью!

---

<sup>1</sup> Барласы — племя, из которого родом был Тимур.

Кто-то сзади подъехал к Улугбеку, прикосновением к колену вывел султана из задумчивости.

— Прошу простить, повелитель, но пора делать привал. Не то упустим время вечерней молитвы.

Да, верно. Солнце уже садится, сгущаются сумерки, в воздухе похолодало, и, как вчера, задул холодный ветер, заставляя людей поеживаться. Вон и Абдул-Азиз, недавно столь прыткий, сидит на коне угрюмо, кутается в соболью шубу: с самого рождения такой — то весь кипит, не зная, куда себя деть от волнения, то замыкается, становится будто не от мира сего.

— Где сарайбон? — крикнул Улугбек сыну. — Передай, пусть распорядится насчет привала!

Вскоре войсковые барабаны дрогмели остановку. По обе стороны от дороги разбили лагерь; воины собирались по десяткам и сотням, рассыпались по степи, там и сям загорелись костры; стали готовить ужин, и поплыл, согревая душу и тело, взбадриваемый осенним ветром запах кизяка, сухой травы, мигом собранного хвороста. Шатер султана — на добрую сотню человек — поставили под прикрытие Разбойничьей горы, на ее склоне, слева от караванной дороги. Ниже выросли палатки слуг. Они кололи саксаул, привезенный с собой, резали овец, бакаулы-повара готовили шампуры и мясо. К шелковому шатру султана в таких походах вечерами созывали всех эмиров и беков; на дастархан выставляли изысканные блюда, в золотых чашах плескалось вино, шипел разливаемый из бурдюков кумыс. Иногда приказывали явиться музыкантам и танцовщицам — тогда пир длился всю ночь. Сейчас же Улугбеку не до пиров. После вечерней молитвы он пожелал, чтоб его скромный ужин разделил с ним один лишь шейх-уль-ислам.

Шейх-уль-ислам Бурханиддин, сорокалетний мужчина без единого седого волоса в бороде, пользовался доброй репутацией среди близких Улугбеку людей. Он не был таким же мудрым и проникательным советчиком — мюршидом, как его отец, покойный шейх-уль-ислам Исамиддин, но, насколько мог и умел, поддерживал султана, предохраняя от козней и неистовства фанатичных улемов. Должность главного законника государства важна и уважаема, с ней приходилось считаться всем.

Бурханиддин, пройдя по мягкому ковру, брошенному поверх сухой травы, предстал перед Улугбеком.

От свечей, вставленных в переносный походный светильник, в шатре потеплело. Мирза Улугбек и Абдул-Азиз скинули верхнюю одежду.

По знаку султана шейх-уль-ислам занял место рядом. Лицо Улугбека было каменно-непроницаемым, печальным. Поникший сидел Абдул-Азиз.

— Что случилось, повелитель?

Тень удивления прошла по лицу Улугбека: к чему спрашивать, разве не ясно, что происходит?

— Ас-салотин зиллолоху фил-арз<sup>1</sup>!... Так сказано в Коране. По воле всевышнего все уладится, повелитель. Печаль не должна овладевать сердцем владыки!

«И этот думает про то же самое... Про то, что печаль моя от страха за власть, за обладанье престолом. Непонятливые души!»

Улугбек взглянул на Абдул-Азиза и, словно стесняясь его, произнес:

— Печаль не может не владеть сердцем того, кто вынужден сражаться против собственного сына.

Шейх-уль-ислам понимающе качнул головой. Закинул назад конец тяжелой, распутившейся немного чалмы.

— Конечно, конечно, повелитель... Но воля отца — закон для сына. И если последний не поступает согласно сей мудрости, а это мудрость и Корана и обычая, то родитель вправе по-своему судить отпрыска, проявившего непокорство.

Разве не знал Улугбек об этом праве? Знал, сам утешал себя этим правом, и все же слова шейх-уль-ислама несколько облегчили тяжесть, от которой страдала душа. А Бурханиддин, догадываясь, что сейчас надо говорить, продолжал степенно, рассудительно, будто внушая:

— Престол ваш, повелитель, и ничей, кроме как ваш! Держите же меч, поднятый во имя справедливости, во имя шариата, держите крепко, и да не задрожит ваша победоносная десница... Плохо, что нет вестей от гонцов, хоть мы целый день уже в походе. Что в Кеше? Что с нашими передовыми ратями? Есть сведения о них, повелитель?

И как раз в этот момент в шатер ворвался звук бешеной скачки, храп резко остановленного коня, яростные вскрики, видно, напуганных стражников. Кто-то вбежал в шатер; в полусумраке Улугбек не сразу разобрал, кто это был, а узнав, вздрогнул: «Эмир Джандар?!»

То же имя вслух выкрикнул шейх-уль-ислам.

Они не ошиблись: на краю ковра, недалеко от входа, пал ниц, нелепо откинув на сторону кривую саблю, эмир Джандар, военачальник Улугбека, предводитель одного из авангардных отрядов. Шлема на нем не было. На бритой голове резали глаз давние сабельные шрамы.

Улугбек позабыл о сдержанности, вскочил с места, закричал яростно:

— Что случилось?! Почему ты в таком виде? Где конница?!

Эмир Джандар оторвал лоб от ковра, выпрямился; смелости посмотреть в глаза султану у него хватило.

— Повелитель, вели казнить, но не могу скрыть жестокую правду: наш авангард попал в западню!

— Какую, где?!

---

<sup>1</sup> «Султан — тень аллаха на земле» (араб.).

— Хитрый Абдул-Латиф спрятал в засаде не меньше десяти тысяч воинов, они ждали нас уже на перевале. Мы подошли, они словно коршуны напали сверху... и сзади... и проглотили наших... Силы были неравны, повелитель.

— Где Султаншах Барлас?

— О смерти своей знаю, повелитель, об эмире Султаншахе нет!

Улугбек застыл посреди шатра темной каменной глыбой. При неверном свете свечей за спиной черна была его бобровая шапка с жемчугами, черно лицо...

— Что распластался?! — крикнул он Джандару. — Где шлем боевой, достойный эмир?.. Поправь саблю, вставай и убирайся!.. Полководцы! — тяжело задышал, двинулся, сжав кулаки, к Джандару. — Эмиры с сердцами зайцев!.. Бойтесь наследника моего!.. Ладно, я сам поведу на него войско... Убирайся, говорю!

Джандар, пятясь, выбрался из шатра. Подавив слепую ярость — дедово наследство, — Улугбек обернулся к Абдул-Азизу. Тоже заяц! Сидит весь бледный, нахохлился, челюсть дрожит...

— Ступай и ты! — обратился Улугбек к сыну. — Скажи начальнику охраны, пусть соберет сюда всех эмиров. Да живее! — Прошел к своему месту, все еще дрожа от гнева, в глазах, в раздутых ноздрях прямого носа — решимость, озлобленность.

Шейх-уль-ислам осторожно спросил:

— Какое решение принял наш повелитель?

— Будем сражаться!

— Да снизойдет на вас благоволение алаха!.. А где сражаться? Может, оставить здесь несколько отрядов во главе с достойными доверия эмирами, а главные силы отвести в Самарканд? Стены столицы могучи, а народ предан вам, повелитель...

Губы султана скривились в злой усмешке.

— Достойный доверия? Кто это? Назовите!

— Эмир Султаншах... и эмир Джандар... и...

— Еще?

— Нужно подумать, повелитель... Вам это виднее, чем слуге вашему...

— Э-э, виднее, не виднее... Слова, слова... Сейчас мы их всех увидим, верных эмиров, храбрецов.

Предводители туменов и тысяч один за другим вместе с придворными входили в шатер, занимали заранее известные, по издавна узаконенным правам знатности и порядка места. Первым вошел начальник войска правой руки эмир Идрис-тархан, мохнатобровый, волосатый и, как всегда, угрюмый: сел рядом с Бурханиддином. Толстый Искандер Барлас (живот словно шар), шумно дыша, явился вторым, просеменил по ковру, забился в угол потемнее. Эмир Джандар, теперь уже в шлеме, разукрашенном золотистыми насечками, увенчанном пером — знаком эмирского достоинства, ничем не напоминал того че-

ловека, что униженно валялся несколько минут назад на том же ковре, по которому сейчас прошествовал самоуверенно и высокомерно. По кивку Улугбека он сел чуть правее шейх-уль-ислама.

Расселись полукругом. В шатре установилось молчание.

«Вот они, надежда моя и оплот», — подумал Улугбек, оглядывая эмиров и вельмож красными от бессонницы глазами. В собольих и лисьих шубах, в дорогах парчовых халатах, в шапках бобровых или шлемах остроконечных, отделанных золотом, камнями, пояса-то, пояса тоже золотые, серебряные, у сабель рукоятки непростые — из слоновой кости, с драгоценными вкраплениями. От Улугбека их богатство, их высокое положение. Скольким обязаны они ему! Но, выходит, правы мудрецы, полагающие, что ничто так не подрывает твоей верности, как обязанность оплатить благодеяния, тобой полученные. На кого из сидящих здесь можно и впрямь положиться, на чью искреннюю преданность можно рассчитывать?

Надо было начинать совет.

— Почтенные эмиры и сановники! — Голос Улугбека был сдержанно-спокоен, звучал, как всегда, глуховато. — Скажу сразу о нерадостной новости. Авангард наш попал в засаду на перевале Даван. — Улугбек обвел взглядом сидящих перед ним: кто как воспримет эту весть? Но все сидели с опущенными глазами и не проронили ни звука. — Иные эмиры, вот самое нерадостное для меня, перешли на сторону бунтовщика-наследника... Это подло! Но говорю вам: кто испытывает страх перед шах-заде, неверие в силу мою, пусть тоже уходит. Клянусь аллахом, я не попрекну их ни своим хлебом, ни другими милостями...

Ни звука в ответ.

Улугбек иронически усмехнулся и продолжал:

— Да будет вам известно, что войско Абдул-Латифа превышает наше...

Первым не вытерпел эмир Джандар. Будто зашипел от оскорбительных намеков.

— Эмир Джандар? Что-то хотел сказать?

Джандар с несвойственным для себя проворством вскочил на ноги, поклонился.

— Что угодно будет нашему повелителю приказать, то мы и сделаем, воля благодетеля — закон... разве не так? Зачем говорить о перебежчиках... мы не они... разве не так?

— А что скажет эмир Искандер Барлас?

Тот поднялся, сложив руки на круглом животе, затараторил было:

— Прав, прав эмир Джандар... За всех нас сказал... Готовы, мы все... готовы, как один, выполнить вашу волю, повелитель... ваша воля...

— Моя воля? А ваша, ваша-то? Готовы исполнить — ладно, а где у вас собственные головы?



— В ваших руках, в ваших...— заученные ответы посыпались со всех сторон.

«Пока в моих... а сердца ваши коварные в чьих?» Снова всматривался Улугбек в своих сподвижников, в тех, кто должен быть сподвижниками. Обменялся взглядами с Идрисом-тарханом, с шейх-уль-исламом, другие отводили глаза. «Ждут, от меня решения ждут... Сами ничего не скажут».

Поерзал на месте шейх-уль-ислам Бурханиддин, но тоже промолчал.

— Воля моя такова: дадим бой шах-заде... Здесь дадим!.. Кто еще скажет что-нибудь, кто какой совет даст?

Ни звука.

— Кончим на этом! Готовьте свои отряды... Все свободны.

Эмиры, беки, вельможи только того и ждали — будто талибы по окончании урока, шумно повскакали с мест и, толкая друг друга, заспешили к выходу. Талибы? Лучше сказать, будто овцы, подумал Улугбек, давая знак задержаться шейх-уль-исламу. Остался и Абдул-Азиз.

Медленно прохаживался султан по ковру, не зная, что же теперь сказать, но чувствуя потребность в разговоре.

И снова топот коня за стеной, голоса стражи. Это гонец! Бобо Хусейн!

Шлем чуть сдвинулся от земного поклона, железная кольчуга зазвенела, когда воин пал на колени перед повелителем. Этот верен, этот не подведет, не предаст.

Улугбек дал возможность нукеру отдышаться.

— Ну, рассказывай...

— Повелитель... когда мы встретили бежавших... после битвы на перевале... то среди них увидели того, кто п о д с т а в и л наши передовые отряды под удар из засады.

— Где он?!

— Мы захватили эмира Султаншаха и двух его сыновей. Они хотели сбежать... Несмотря на то что эмир ранен, мы их... Мы не дали им сбежать, повелитель.

Улугбек зло посмотрел на Абдул-Азиза: эмир Султаншах был братом жены Ибрагима-тархана, сына которого беспричинно обезглавил шах-заде.

Абдул-Азиз съежился под гневным взглядом отца.

— Эмира я подвергну казни за измену и за кровь моих воинов... Но конницу не вернуть, вот что страшно, Бобо Хусейн. Что предпринять, как поступить теперь? Как ты думаешь, нукер?

Бобо Хусейн поднялся с колен, посмотрел прямо в глаза повелителю.

— Коли спрашиваете, повелитель, скажу. В открытом месте нам не одолеть шах-заде. Он умный, опасный противник. И хитростью действовать умеет. История с эмиром Султаншахом тому пример,— прозрачно намекнул Бобо Хусейн на то, что имеет в виду, говоря о хитрости наследника.— Надо

идти в Самарканд, повелитель. Среди народа Самарканда труднее... хитрить... Если уж сходитья с шах-заде врукопашную, то под стенами города. По милости аллаха, может, и победим... с помощью ополчения, повелитель. А не победим, так не все проиграем: за городскими стенами отсидимся.

Улугбек заметил, как подтверждающе закивал головой шейх-уль-ислам Бурханиддин. Услышал, как вполголоса, запинаясь, сказал Абдул-Азиз:

— Д-дельный сов-вет...

Ну, этот-то, ясное дело, боится брата: попади он к нему в руки, Абдул-Латиф не посмотрит, что брат, быстро устранил соперника. «Какой ужас,— подумалось Улугбеку,— и это мои сыновья!»

Противоречивые чувства боролись в душе султана. Он ведь сказал уже о битве, он дал приказ готовиться к бою. Но не один шейх-уль-ислам, вот и воин, опытный воин Бобо Хусейн советует отступить к столице. Бобо Хусейн уповает на ополчение. Но поднять чернь — значит еще больше поколебать верность эмиров. И все равно неясно, как одолеть Абдул-Латифа. Во всяком случае, рассудок подсказывает, что вдали от столицы сил у него, Улугбека, меньше и, если уж суждено им таять из-за измены, они будут таять здесь быстрее.

— Ладно, будь по-вашему! — Улугбек махнул рукой. — Абдул-Азиз, передай приказ — конницу прикрытия собрать воедино, она остается здесь под началом эмира Джандара. Остальным строиться и двигаться по прежней дороге назад к Самарканду...

Улугбек остался один. Какая эта по счету бессонная ночь? Скорее бы все кончилось! Так или иначе, но кончилось бы!

В шатре было душно, и Улугбек вышел наружу.

На востоке еле-еле начинало светлеть. Бледно-желтая полоска лишь слегка ослабляла свечение звезд, что густо рассыпались по всему небу. Яркие ночью костры потухли, войско словно растворилось в темноте, только палатки выделялись черными пятнами, да еще там, где пробивался робкий рассвет, можно было разобрать человеку с орлиным зрением движущиеся точки — пасущихся распряженных на ночь лошадей и верблюдов. Вблизи же ничего не разглядишь. Лишь звуки доносятся ясно: то звякнут стремяна какой-то лошади, то простучит колотушка ближнего часового.

Сложив на груди руки, Улугбек долго стоял перед шатром, смотрел на небо.

Звезды!.. Полвека уже влечет его к ним непонятная сила. Сколько часов отдал он наблюдениям за ними, и сколь радостны были эти ночи без сна!

Да, за полвека он стал кое-что понимать в их движении, неостановимом и таинственном. Чуть-чуть приоткрыл завесу этой тайны и думал, что, сделав это, приоткроет и тайны человеческих судеб. Вот уж где ошибся!.. Какие земные тайны мог он раскрыть, если злых вождедений у собственных детей

не смог заметить, не смог понять вовремя, а, поняв позже, оказался бессильным противодействовать!

На горизонте, там, где начинался рассвет, ярко вспыхнула любимая Улугбеком Зухра — планета Венера. Выше ее тускло-вато блестит Муштарий — Юпитер. Если год рождения человека совпадает с противостоянием этих двух звезд, значит, считают астрологи, такого человека никогда уже не покинет хумо — птица счастья. Дед Тимур в самом деле родился близко от года противостояния этих светил. Был ли он счастлив, дед? Наверное, был, хотя все зависит от того, как понимать смысл слова «счастье». Удачлив в битвах за власть, а потом в мирозавоевательных походах, да, удачлив был в этом эмир Тимур Гураган. Наверное, так удачлив будет и его правнук. Во всяком случае, на голову внука птица хумо что-то давно не садится.

Грохот барабанов и рев карнаев разорвал тишину военного лагеря, что досматривал последние предутренние сны. Быстро — как учил Тимур, а прежде него еще Чингис — поднималось по побудке войско. Лагерь зашумел, словно осиное гнездо, разворошенное палкой.

Птица хумо не любит тех, кто идет назад, да еще той самой дорогой, по которой шел сначала вперед. Своенравная птица не любит неудачников.

## 7

Каландар Карнаки должен был явиться к шейху Низамиддину Хомушу на рассвете, пред утренней молитвой. Каландар точно выполнил приказ, но вот уж и день подходит к концу, и прозвучал призыв на молитву вечернюю, а его все еще не зовут со двора к шейху.

Внутренний двор дома шейха с одной стороны соседствовал с кладбищем «Мазари шериф», с другой примыкал прямо к мечети. Но сегодня шейх даже мечеть не посетил: приемные покои его дома целый день были полны посетителей. То были священнослужители, вельможи, эмиры и беки; сквозь их толпу нередко проходили какие-то гонцы — их звали вне очереди. Без конца отворялись двустворчатые массивные ворота, что вели в первый, внешний двор, отделенный от внутреннего еще одним забором с калиткой.

Во внутренний двор Каландару так и не удалось попасть. Он сидел на помосте у водоема, который был вырыт посредине внешнего двора и украшен по бокам мраморной плиткой, сидел терпеливо, поглаживая холодный камень, неосознанно наблюдая за теми, кто входит к шейху и выходит от него; еще он следил за работой молодых мюридов. Осенний ветер, стихший было к полудню, в предвечерние часы снова задул, как и все последние дни, в прежнюю силу. Ветер покачивал стволы чинар и серебристых тополей, срывал листву с их ветвей,

разноцветный ковер лежал на площадке двора, на зеленой глади хауза, на клумбах, только дорожки подметали, тщательно и постоянно, мюриды. Гости шли по гладкой, точно полированной, земле.

Каландар отметил про себя, что до полудня к шейху приходили больше военачальники — надменные, словно раздутые от важности и самомнения; позванивали сабли на поясах, поблескивали из-под златотканых халатов блестящие панцири. А после полудня потянулись вельможи города. Прежде прочих явился со свитой, которой позавидует иной султан, сам даруга, градоначальник столичный, Мираншах; его злое красное лицо было под стать красной парче халата; в глазах Мираншаха Каландар заметил беспокойство и неуверенность. После визита градоначальника по двору проплыли горделиво и вальяжно, будто стая откормленных белых гусей, улемы, все в белых шелковых халатах поверх одеяний из лисьих шкур, все в белоснежных чалмах. Потом появился верховный судья — казий хаджи Мискин. Тощий, угловатый, решительный; на поклоны мюридов не ответил даже кивком; выбрасывая далеко перед собой длинный посох, казий направился прямо во внутренний двор.

Что-то долго задержался казий у шейха Низамиддина. Может быть, совсем забыл о Каландаре святейший шейх?..

Первая встреча с шейхом Низамиддином Хомушем произошла у Каландара Карнаки весной этого года. Потеряв Хуршиду-бану, пристав к дервишам, что жили в странноприимном доме неподалеку от Шахи-Зинда, Каландар твердо решил тогда, что путь отрешения от мира сего и есть его путь. Рубище казалось ему одеянием, единственно достойным человека, раба божьего.

Да, еще в медресе в часы странной, нежданно овладевавшей им тоски Каландар завидовал дервишам — их далекости от страстей и вожделий посюстороннего мира, крепкой привязанности их помыслов к миру потустороннему. Дервиши довольствовались лохмотьями, куском хлеба и пиалой простой воды; нищие, у них не было иных забот, кроме как славить аллаха. Не имея ничего, они и не жалели ни о чем.

И ничего не желали для себя — так представлялось Каландару тогда и чуть позже, после того уже, как он сам стал дервишем.

Вскоре, однако, Каландар убедился, что вовсе не все дервиши — ангелы в образе человеческом, вовсе не все. Вечерами, возвратившись в обитель после скитаний по улицам и базарам, дервиши преображались. Из смиренных становились злословящими и драчливыми, любящими властвовать над теми, кто послабее. Из бескорыстных и невождедеющих они превращались в алчных и обуреваемых порочными страстями. Не раз видел Каландар, как дервиши доставали откуда-то из складок лохмотьев зернышки анаши и закуривали этот дурман,

трепеща от предвкушения сладострастных видений, вызываемых им.

Из той, первой своей кельи Каландар решил сбежать, а потом — коварен ум, что понаторел в учении, — подумал, что увиденное им, может быть, тоже для него испытание, ниспосланное алахом, что не надо верить глазам, а следует предаться внутреннему созерцанию истины, которая скрыта бывает под коростой внешне видимого. И для такого самоочищения, для тариката, стал забираться в самую укромную часть помещения, в котором жили, ночевали, молились дервиши.

В день, когда он встретился с шейхом, было так: он молился вдали от всех, в самом укромном углу, под низкими сводами. Внезапно бормотание дервишей в комнате смолкло. Каландар почувствовал настороженную тишину, но глаз не открыл, продолжая медленно раскачиваться, думать о погружении в истину. Тут его кто-то сильно толкнул в бок: «Эй, проснись, очумел, что ли?»

Каландар открыл глаза. Увидел у порога в келью высокого старика, одетого во все белое, с длинной белой бородой. Группа мюридов за его спиной одета была тоже в белое. Косоглазый дервиш по прозвищу Шакал, главарь их группы — это он прервал моление Каландара, — закричал вдруг на него, выпучив глаза и показывая рукой на старика:

— Кому говорят, поднимись, невежа! Наш духовный отец, святейший шейх Низамиддин Хомуш пожаловал к нам, осчастливил приходом нашу убогую обитель!

Каландар поднялся, но низкие своды не давали возможности вполне разогнуться, так он и остался стоять, наполовину согбенный, не отрывая взгляда от шейха. Ему казалось, что и шейх смотрит только на него.

С порога шейх спросил, как его имя, какого он был звания или профессии.

— Нищий я, раб аллаха, — ответил Каландар. «Какая разница, как меня звали и кем я был там», — подумал он.

Шейх внимательно, как бы запоминая, оглядел Каландара с ног до головы и, ничего не сказав, покинул обитель.

На следующий день шейх Низамиддин Хомуш вызвал Каландара к себе в летний дом, построенный близ кишлака Багдад. Сидя у чистого родника на помосте, покрытом персидским ковром, шейх долго беседовал тогда с Каландаром, расспрашивал, откуда Каландар родом, почему решил уйти в дервиши. Решение это одобрил, о ханаке близ Шахи-Зинда отозвался неодобрительно, сказал, что переводит Каландара к дервишам, что обитали при «Мазари шериф», а главное, шейх приоткрыл перед собеседником тайну истинной роли ордена «Накшбендия» в жизни, роли вполне светской, но весьма удобной аллаху, ибо самоочищение хорошо, но более важно очистить сей бренный мир от тех, кто грязнит его, и праведно возмущение Каландара тем, что делают некоторые дервиши, а еще праведнее

будет, коли он, Каландар, послужит торжеству божьего дела не только среди дервишеской братии, но и вообще в городе, где развелось столько богохульников и богоотступников. Но об этом особо... сейчас же речь о том, что Каландар понравился благочестивому шейху, так понравился, что шейх не прочь сделать Каландара оком своим среди людей, и хоть обычно шейх не интересуется согласием тех, кем повелевает, но здесь ему хотелось бы услышать, как относится дервиш к этому предложению, свидетельствующему только и исключительно о доверии и благорасположении.

— Чистыми душами мир очистится, а ведь мы с тобой только о чистоте и печемся, не правда ли, сынок?

Месяца два назад шейх перевел Каландара к дервишам в ханаку при Гур-Эмире: оттуда легче держать под неусыпным наблюдением Кок-сарай.

И снова Каландар ночей не спал от сомнений и раздумий. Очищать мир — о, это надо, надо делать! Ибо грязь, и неверие, и корысть, и мздоимство, и попрание сильным слабого, и несправедливость — вот они, вокруг, повсюду. И, хотя по-прежнему Каландар убеждал себя, что лучший путь исправления жизни — это тарикат, умом и опытом война он знал, что силе можно противостоять только силой. Но одно дело — открытый бой, другое — доносы. Было в последнем поручении шейха что-то такое, что отвращало Каландара от ревностного исполнения приказа.

Правитель богоотступник? Может быть, но разве султан Улугбек распространял зло? В это не верилось. Вот сын султана, сынвья его... но он сам?.. Каландар вспомнил медресе. Богоотступник? Разум Каландара не соглашался с таким прозвищем Улугбека, сердце не могло забыть ни того, что Улугбек пришел на помощь его родному городу (воля аллаха, что усилия эти оказались тщетны!), ни того, как относился к нему Али Кушчи, любимец султана.

Каландар не выдал шейху ни своих сомнений, ни тем более того, что вовсе без тщания следил за Кок-сараем.

И сейчас, сидя у мраморного хауза во дворе шейха и наблюдая его гостей, Каландар мучительно размышлял о том, зачем позвал его шейх. Может, благочестивый недоволен, что Каландар ни разу не доложил о наблюдениях за Кок-сараем? Если шейх спросит о причинах такого молчания, что ответить?

Наконец калитка, ведущая во внутренний двор, открылась и показались белые гуси — улемы, предводительствуемые главным казием хаджи Мискином. Мюриды проводили их до самого выхода. Каландар поднялся уже с места, чтоб напомнить о себе, но тут опять раздался стук в ворота. Кто же теперь? Каландар оглянулся и вздрогнул: во двор к шейху вступил хороший знакомый Каландара, враг его смертельный, обидчик до могилы — ювелир хаджи Салахиддин!

Важно прошествовал Салахиддин мимо Каландара, гордый, надутый, что твой эмир, в богатейшей одежде из парчи, подбитой беличьим мехом, в лисьей шапке, украшенной жемчугом. Он и не глянул на нищего дервиша, одетого в лохмотья и старый козлиный треух.

И вот к этому спесивцу ходил устод Али Кушчи сватать Хуршиду-бану, создание, краше и чище которого нет во вселенной. Именно этот самодовольный индюк заявил тогда: «Нищий поэт, видно, заучился до помрачения ума. Чем сватать внучку Салахиддина-ювелира, подумал бы лучше о том, как самому наесться хоть раз досыта». Али Кушчи не пересказал своему ученику этих жестоких слов, Каландар узнал про них от другого человека. А устод всячески старался утешить влюбленного, отвлечь его от разговоров о любви и любимой. А мавляна Мухиддин? Сын ювелира несколько дней не мог прямо взглянуть на Каландара, своего шагирда, избегал его. Лицемер! Коль так унижительно породниться с поэтом, зачем учить его наукам и поэзии? И зачем было открывать у себя дома уроки для дочерей из богатых и родовитых семей, уроки, которые сам же Мухиддин и поручил вести именно ему, Каландару, бедному и незнатному родом?

Уроки, на которых впервые он увидел Хуршиду-бану.

Каландар стиснул зубы.

Где они, те счастливые дни, что провел Каландар в тихой светлой комнате мавляны Мухиддина среди полок с чудесными книгами? Хуршида-бану появлялась на урок в тончайшем шелковом платке на лице, бесшумно и легко проходила на свое место в ту часть комнаты, что предназначена была для высокородных учениц и отгорожена от преподавателя шелковой занавеской. Робкая вначале, Хуршида слушала Каландара постепенно все более увлеченно, потом она вовсе откидывала мешавший ей лицевой платок, и он видел ее разгоряченное лицо, большие, яркие и пугливые, словно у степной лани, глаза, он видел, как прекрасна она, как целомудренна ее красота... Недаром в этой комнате Каландар сочинил первые любовные стихи и улучил-таки минуточку, прочитал их Хуршиде-бану. Да и вообще она и только она сделала его поэтом, девушка редкой красоты и редкого ума. Да, да, и ума, потому что она, эта девушка, не знающая никаких горестей в жизни, этот полураскрытый еще бутон, оказалась пронизательнее Каландара Карнаки, мужчины, чье сорокалетие не за горами, воина, видевшего столько горестей и страданий, что, казалось, пора бы уж было перестать верить в возможность счастья.

Однажды вечером, вскоре после того, как Каландар объявил девушке, что пошлет сватов, Хуршида прислала ему со служанкой записку: просила встретиться в укромном месте, в саду, под старой орешиной на краю оврага.

Хуршида-бану пришла на свидание точно в назначенный ею час. На девушке были красные сапожки с тонким узором

на сафьяновых голенищах, плотный шелковый платок закрывал не только голову, но и плечи; поверх платка она надела бархатный мурсак, облежавший тонкую талию, в руках держала какой-то узел. Девушка вся дрожала, а Каландар, удивленный таким ее нарядом (была вечерняя прохлада, но так тепло одеться? Зачем?), никак не мог начать разговор. Хуршида заговорила сама, волнуясь, торопливо и сбивчиво: надо, мол, бежать немедленно, сейчас же бежать из дома, нечего думать о настоящей свадьбе, не бывать свадьбе, так подсказывает сердце, надо бежать, и она готова бежать с ним куда ему захочется, хоть на край света!.. А Каландар, растерянный и нерешительный, вдруг подумал... о достоинстве учителя, о ране, которую они тем самым нанесут мавляне Мухиддину; старое изречение «обитель учителя — что обитель родителя» вертелось у него в голове. Он хотел благоразумия, он верил в благородство людское — о, простак, недотепа, кого аллах наградил могучими мускулами, но вялым и ничтожным умом! Он сказал тогда Хуршидебану, что надо сначала послать сватов, сделать так, как полагается, а вот если ответ будет неблагоприятный для них, тогда решаться на побег. Девушка молча выслушала его, не перебивая, потом неожиданно вышла из-под ветвей старой орешины и побежала к своему дому. Но, не сделав и нескольких шагов, запуталась в каких-то кустах, упала, а когда Каландар подбежал и захотел помочь ей подняться, вырвалась и, рыдая, так и убежала, ничего не сказав ему. И остался Каландар один с тетрадкой в руках, малюсенькой, обшитой бархатом тетрадкой девушки, оброненной ею в саду при бегстве; вернулся Каландар в медресе, зажег свечу и с тоскою, горечью, злостью на себя прочитал выведенные золотой краской строки:

Как взор зовет глаза твои — того не знаешь ты,  
Как ночью я томлюсь: «Приди!» — того не знаешь ты.  
Ищу свиданья я сама, гублю себя сама.  
Как сохнет сердце без любви — того не знаешь ты.

Так, из-за жадности и жестокости людской, но еще из-за собственной легковерности и нерешительности лишился Каландар самого дорогого в жизни, остался с этой вот тетрадкой да с воспоминаниями, как нищий с пустым хурджуном.

А ныне он и есть нищий, дервиш.

Каландар крепко зажмурился. Он не разомкнул глаз и тогда, когда услышал, как вновь открылась, теперь уже изнутри, калитка внутреннего двора и оттуда в сопровождении мюридов шейха вышел хаджи Салахиддин. Не только Каландару надломил он крылья, он и внучку свою, которую любит, сделал непоправимо несчастной.

— Э-эй, проснись, раб божий! Отоспишься потом в своей келье... Тебя зовет святой шейх.

Молодой мюрид повел Каландара во внутренний двор. Там посредине тоже был выкопан хауз, облицованный разноцвет-



ными фарфоровыми плитками. На резных колонках помоста висели синие и красные фонарики — зажги их вечером, и фонтанчики станут тешить глаз разноцветными радугами. Но сегодня фонари не горели и помост был пуст.

Идя вслед за мюридом, Каландар увидел, что и окна в доме словно слепы: закрыты изнутри чем-то темным.

В прихожей мюрид без слов показал на дверь: ждут, мол, иди!

С тяжелым сердцем открыл ее Каландар.

Вся комната была завешена и устлана темно-красными и бордовыми туркменскими коврами. В углу, утонув в пуховых подушках, положенных на многослойную грудку шелковых одеял, возлежал шейх Низамиддин Хомуш. Белоснежная чалма, белая накидка-покрывало поверх черного бархатного халата — святость воплощенная, чистота! Черные четки в руке не двигались, глаза были закрыты, шейх будто дремал, но, лишь только переступил Каландар порог комнаты, только успел отвесить первый поклон, задвигались четки, приоткрылись глаза, пытливые, душу извлекающие наружу.

— Проходи, дервиш. Не стесняйся, сынок, поближе ко мне присядь.

Голос покойный, ласкающий, улыбка — сама мягкость, сама благосклонность.

Не опуская рук, почтительно сложенных на груди, Каландар на носках сделал два шага вперед и опустился перед шейхом на колени: слова приглашения такого почтенного человека не следует понимать буквально — рядом, да, но лучше все-таки коленопреклонным.

Мюриды пришли с кушаньями, самыми разными и приятными («Как тогда, в кишлаке Багдад», — напомнил себе Каландар), расстелили дастархан.

Шейх молча дождал окончания этих приготовлений. Когда дверь за мюридами закрылась, сказал:

— Как поживаешь, дервиш? Нет ли какой-нибудь просьбы ко мне?

— Слава аллаху, пирим<sup>1</sup>. Что за просьбы могут быть у отрешшегося от мира раба всевышнего? Не гол, не голоден — чего еще желать, пирим?

— Похвально, похвально, сынок. Аллах на том свете вознаграждает страдающих на этом... Угостись, сынок, ибо яства сии тоже плоды аллаховой щедрости.

Да, уж что так, то так. Ничто не возникает помимо воли аллаха. И нищета одних, и роскошь других.

Шейх молча перебирал четки; Каландар, склонив голову, тем не менее рассматривал комнату. Какие ковры кругом! На окнах за легкими шелковыми занавесями тяжелые бархатные, не пропускающие ни света, ни холода; люстра алмазно

<sup>1</sup> Пирим — обращение: отец мой духовный.

подсвечивает нежно расписанный потолок; в нишах стен блестят дорогая посуда, золотые и серебряные подносы.

«Все в руке аллаха, все по его воле, это так. Но зачем именно шейху, главе и наставнику нищих дервишей, пышное богатство, символ суетного мира? Иль не сказал святой хаджи Ахмед Ясави:

Кто богатством дом набил,  
Тот всевышнего забыл.

Тот, кто «все мое» сказал,  
Ворону подобен стал.

Он в грязи мирской погряз...  
Страшен будет судный час!..»

— О чем думаешь, что шепчешь, раб божий?

Каландар вздрогнул от внезапно ставшего властным и пронзительным голоса шейха, торопливо проговорил:

— Творю хвалу аллаху, пирим.— А про себя подумал: «Да простит меня всевышний за ложь». И еще об одном подумал: «Осторожней будь, внимательнее, Каландар!»

— Сынок,— голос шейха снова переливался радужной ласковостью.— Вызвал я тебя с целью возложить на твои крепкие плечи еще одно доброе дело... Коль у тебя нет просьб ко мне, то у меня к тебе есть... Но прежде хочу спросить тебя...

Шейх сделал паузу. Ну, так и есть, сейчас спросит про Кок-сарай. Что ответить, как лучше усыпить его подозрительность, его всеведение?

— Ты отказался от усад суетного мира, что ж, дело, богу угодное. Дервиши — рабы божьи, причем любимые рабы. Но скажи мне правду: не раскаиваешься ли в избранном пути? Не одолевают ли тебя сомнения, истинно твоя ли тропа дервишества?

Сердце упало у Каландара: нет, ничего не скроется от шейха, а тем более сомнения духовные.

— Молчание — знак согласия, дервиш. Не так ли?

Каландар поднял глаза на говорящего. Шейх сидел, чуть подавшись вперед грузноватой фигурой, лицо его притягивало, взгляд завораживал. Что за сила была в этом взгляде, всевидящем, заставляющем быть откровенным!

Каландар отрицательно мотнул головой, глядя в сторону.

— Нет, пирим, душа моя не жалеет о выбранном пути. Сомнения же... Я признавался уже однажды: горько мне от того, что многие дервиши не страшатся греха — злословят, играют азартно в кости, курят анашу, пирим... вместо того чтобы аллаха славить.

Шейх вздохнул.

— Ты прав, дервиш. Но что поделаешь? В любом стаде и при хорошем пастухе могут завестись паршивые овцы. Ни тебе, ни даже мне не исправить заблуждающихся братьев —

на то божья воля. И наказание им уготовано божье! А нам с тобой не с братьями воевать, а с врагами истинной веры. Потому-то и отбрось сомнения свои, молись, готовь себя к богоугодной борьбе. И шах и нищий равны перед аллахом. И кто ближе ему — нищий ли, даже тот, что предается греху, но в душе предан аллаху, или же шах, кто вроде бы и печется о благоденствии людском, но в душе отвернулся от бога?.. Молчишь? То-то и оно. Понял, какого шаха, правителя какого имею в виду?.. Он вероотступник! Ты знаешь Коран. «Ас-салотин зиллолаху фил-арз». Как понимать это изречение? Султан — тень аллаха на земле, но когда? Мирза Улугбек изменил заветам деда своего, Тимура Гурагана, — пусть милостивый творец, сделав его могущественнейшим повелителем в этом царстве, не откажет ему в благорасположении своем и в царстве загробном! Тимур ценил служителей веры истинной, а внук его нас унизил! Он тень аллаха, мы же свет его в суетном здешнем мире!.. Улугбек выбрал путь еретический, окунулся в улады грешные, астрономию свою и музыку поставил выше забот о тех, кто радеет за строгость веры... А чем все кончилось? Создатель отказал ему в заступничестве, ибо аллах справедлив и не прощает такого греха... Войско вероотступника потерпело поражение, и не сегодня, так завтра победоносный наследник Мирза Абдул-Латиф вступит в столицу! — Шейх не смог, да и не захотел, наверное, скрыть торжества: голос его зазвенел. — Ну, а мы, слуги, рабы божьи, как мы поможем свершиться божественному правосудию?

Каландар не поднял головы. Что ответить на вопрос шейха?

Султан Улугбек — вероотступник. Это он слышал не раз. Но даже если так, пусть аллах и накажет его, а может быть, и простит, ибо аллах не только справедлив, но и милосерден... Каландар знал о наступлении Абдул-Латифа, но чтоб сегодня-завтра тот появился в Самарканде? Можно себе представить, что тут начнется, сколько прольется крови, и невинной тоже, как привольно будет чувствовать себя демон мести, безжалостности... И почему святой шейх говорит так, будто ему одному известна воля аллаха, известно, кто вероотступник, а кто истинный мусульманин, будто ему и поручил всевышний судить людей?

— Что же ты молчишь, дервиш?

— Думаю о сказанном вами, пирим... И в самом деле, для создателя равны и нищий, и султан...

— Истинно так! И, даст бог, отныне будут закрыты наконец все еретические медресе, а нечестивцы мударрисы будут изгнаны, и воссияет тогда над Мавераннахром чистым солнцем вера наша. Аминь! — И шейх закрыл лицо руками, как бы в молитвенном экстазе.

Помолчали.

Каландару казалось, что шейх и сквозь пальцы не отнятых от лица рук следит за ним.

— Сынок,— обратился к Каландару шейх Низамиддин.— Обсерватория Улугбека есть обитель еретическая. Что делает ее такой обителью, спросишь ты. Я отвечу: более всего книги, собранные там, книги еретиков всей земли... Предполагаю, что султан-отступник захочет спасти их от огня праведного, и коли так, то найдется человек, который возьмется за выполнение такого поручения. Имею основания подозревать одного человека, нашего же дшегося для этой цели. Нечестивый Али Кушчи — вот этот человек! А средства — много-много золота — они тоже найдут... Уже нашли в сундуках вероотступника и развратника Улугбека!

Шейх собрал в горсть четки, яростно сжал кулак.

— Знаешь ли об этом? Видел, как уносил с собою Али Кушчи золото Кок-сарая?

— О смерти своей ведаю, об этом нет, клянусь аллахом!

Каландар не лукавил: он и в самом деле не был у дворца той ночью, когда к Улугбеку приходил Али Кушчи. Но глаза шейха все сверлили и сверлили дервиша, и теперь взгляд Низамиддина был колючим, недоверчивым, злым.

— За Али Кушчи надо следить. Неустанно! Неотступно! Понял меня?.. И не дай нам бог допустить, чтоб золото благословенного всевышним эмира Тимура уплывало из рук преданных вере и помогло богоотступнику осуществить его планы.— Шейх вытащил из-под подушки сложенный вдвое листок.— Вот гляди! Наш духовный вождь и воитель за веру святой ишан Убайдулла Ходжа Ахрар, провидя злоумышление, твердо наказывает нам не дать ему свершиться. Вскоре святой наставник будет здесь, он выезжает из Шаша к нам, в Самарканд... Ты понял, кому ты служишь, служба мне?

Каландар не страшился врагов, нападавших на него с саблями и копьями в руках. Сейчас же в словах шейха была такая мрачная, леденящая волю собеседника сила, что Каландару стало страшно.

— Что могу я сказать, ваш слуга? Наказ ваш священен для меня, пирим.

— Так и должно! Мой наказ — закон для тебя, наказ святого ишана — закон для меня. Этим мы держимся!

«Подглядывать за своим бывшим учителем? Доносить на него?.. Почему именно я должен отплатить неблагодарностью тем, кто приходил мне на помощь?.. Но как послушаться шейха, если он мстителен, всемогущ и наделен даром знать все о человеческой душе?»

— Держи в тайне то, о чем мы с тобой говорили. Чтоб ни один человек не прознал о наказе моем, пока наш благословенный Мирза Абдул-Латиф не воссядет на законный престол... Понял? Клянись!.. Смотри, ад уготован нарушителю клятвы!

— Клянусь, пирим...

— И да поможет тебе аллах!..— Снова руки шейха закрыли лицо, губы шепчут святые слова, потом шейх взмахивает

руками, показывает на дастархан.— Лепешки еще не остыли. Возьми с собою, дервиш.

Каландар положил лепешки за пазуху, пятясь, вышел из комнаты.

Тяжесть и низость поручения, привычка всегда выполнять то, что он обещал сделать, чувство справедливости, присущее Каландару и поправное ныне чужой и властной волей,— все это смешалось в его душе, терзало ее, ныло, будто незаживающая рана. Шейх не отстанет от него, нет, нет! Он с самого первого дня приковал его к себе. «За что я понравился ему?» — горько вопрошал себя Каландар, не ведая про то, что шейху он не только понравился, с первого же дня шейх понял — необходимо следить за ним, что сам наказ шейха о Кок-сарая был проверкой его, Каландара, верности ордену.

На обратном пути Каландар встретил группу бормочущих дервишей. В одном из них, что брел впереди, узнал Шакала. «И ночью бодрствует», — подумал он и, сам не зная почему, словно хмельной, потерявший путь к дому, вдруг свернул к кладбищу «Мазари шериф».

Ночь была холодной и ветреной. В крошечной тьме жалобно скрипели крепкие чинары, дуплистые тутовники, старые вязы,— казалось, в дуплах и на ветвях деревьев попрыгала нечистая сила, демоны и дэвы шептались, хихикали, плакали и стонали. Чуткое ухо Каландара уловило и человеческие голоса вдали: кто-то унылым распевом читал Коран, слышались глухие дервишеские «ху-ху», раденье, опять раденье, и в такой час раденье!

Каландар спотыкался о мраморные плиты, проваливался по колени в какие-то ямы.

«Прости раба своего, о создатель, о всемогущий,— шептал он исступленно.— Отрекаясь от суетного мира, от его скверны, разве я думал, что мне предстоит такое?.. Прости, о создатель, но разве справедливо толкнуть в яму того, кто приютил раба твоего, кто помог мне? По твоим ли заповедям поступает шейх, о аллах? Предан ли он, жестокосердный и высокомерный, тебе или только всуе произносит твое имя?»

Вдруг вспомнилось:

Все вы муфтиями стали,  
Ложь за правду выдавали,  
Черным белое назвали —  
Потому и в ад попали!

Ложь за правду выдавали... Не так ли поступает и шейх? О создатель, надоумь же раба своего — где она, правда, как отыскать ее?!

Извилистая тропа привела Каландара к громадной, уже наполовину сухой чинаре. Смутно белела под ее ветвями гробница; над плитой свесились рога архара с белой тряпицей на концах: украшение в день поминовения святых.

Каландар Карнаки подошел к гробнице, у изголовья ее преклонил колени. Разгоряченным лбом коснулся холодной каменной плиты.

Здесь покоился заступник всех нищих и обездоленных, святой пир Бахауддин-накшбенди. К нему пришел измученный Каландар, его заступничества, его наставничества возжаждал.

Всю ночь провел здесь дервиш, молился, взывал то к аллаху, то к пиру Бахауддину, просил предостеречь от грядущего неверного шага — уговаривал себя, смертного, себя, смиренного и неразумного...

## 8

Снова позвякивали колечки на седле Улугбекова коня, ослепительно блестя на солнце попона и позолоченный щиток, прикрывающий грудь белого арабского красавца, ритмично колыхалась нитка бус на его лебедино-прекрасной шее, и снова ничего этого не слышал и не видел повелитель, погруженный в пучину печальных мыслей. Вчера, еще вчера он негодовал и тревожился, теперь же сердце его было охвачено горьким равнодушием; если он и сожалел о чем-либо, то лишь о том, что доводы рассудка одержали верх над желанием дать сражение сразу же, постараться сойтись в сече лицом к лицу с сыном, посмотреть на него так, как умел это делать Улугбек — пронзительно, до самого dna чужой души, а там и пасть под ударом сыновней сабли.

Да, это правда, Мирза Улугбек недолюбливал Абдул-Латифа. С самого детства мальчишеского недолюбливал. Говорил привычно «сын мой», но без теплоты и ласки отцовской. Почему? Трудно ответить, да еще так, чтобы не винить себя.

С самого рождения своего шах-заде жил в далеком Герате у Гаухаршод-бегим. Она пестовала его до годов мужества. По образу и подобию своему. И дождалась благодарности. После смерти деда, Шахруха, Абдул-Латиф сразу же кинулся в борьбу за гератский престол — с наследником Алауд-давля, двоюродным братом. Бабушка была заключена «любимым воспитанником» под стражу. Когда об этом поступке сына узнал Улугбек, он чуть не задохнулся от негодования и отвращения. Но далек Герат и все-таки отходчиво отцовское сердце... тем более если задета и честь отцовская: Алауд-давля преуспел в борьбе, захватил и посадил в крепость Абдул-Латифа. Тогда-то и вмешался Улугбек, двинул войско на Хорасан. Поддержал сына. Мало того, после похода отдал ему, подарил, можно сказать, цветущий город Балх... Знал бы дальнейшее — и не подумал дарить. Спас змееныша — выросла змея гремучая!

Мирза Улугбек горько вздохнул, выпрямился в седле. Остановился у обочины. С невысокого холма осмотрел войско, пропуская его мимо себя.

Войско шло и по караванной дороге и вдоль нее, по слегка холмистой степи. «Мне говорят про ополчение, про городских простолудинов,— подумал Улугбек, возвращаясь от воспоминаний к нынешним заботам.— Вот мои вельможи погнажи дехкан на войну, а что толку?»

Воины впереди колонн расчищали дорогу для регулярных отрядов. Мешали же движению согнанные в войско селяне — плохо вооруженные (вместо копий и луков у многих просто дубины да топоры), в старой убогой одежде вместо доспехов, не умеющие держать строй, поддерживать походный порядок. «Непрытки! Такие-то выйдут против пятидесяти тысяч головорезов Абдул-Латифа? Не самоистребление ли?»

Толкаясь и переругиваясь меж собой, селяне беспорядочно и неторопливо освобождали дорогу. «Отпустить их всех! Пусть по домам направляются!.. На привале скажу эмирам и бекам»,— решил Улугбек и, стегнув плетью по крупу нетерпеливца коня, помчался вперед, снова в авангард войска.

Показался кишлак Димишк — нежно-розоватое пламя садов.

Отсюда до самого Самарканда непрерывно тянулась лента таких садов — розоватых, желтых, багряных, огненно-прекрасных осенних садов. Город близок. Напряги зрение, взглядишь в дымку — и кажется, увидишь лазурь и солнечно-золотые блики купола Биби-ханум, Гур-Эмира, медресе Улугбека... Родной, трижды любимый, до слез близкий город! Средоточие труда и красоты, науки и образованности... И его-то отдать в грубые чужие руки? А что будет с обсерваторией и медресе — детищами и любимейшими? Какая судьба ждет учеников, если падет он, учитель?

Улугбек дал волю норовистому коню. Удивленные и встревоженные, помчались за султаном приближенные. Так ворвались они в «Баги джахан» — «Сад вселенной» Тимура Гурагана, где завоеватель обязательно проводил ночь по возвращении из очередного похода: в столицу без этого не въезжал!

Широкая аллея вела от ворот сада прямо к дворцу. Листья засыпали и цветник перед дворцом, и закованный в мрамор водоем. Листья медленно кружились в воздухе, бесшумно, подобно легким птицам, опускались на землю. Листья увядания, осенние листья... Только виноград не сдавался на милость осени — был темно-зеленым, на высоких рамах шпалер и коридоров жемчужно светились тяжелые гроздья.

Улугбек скользнул взглядом по высоким стенам, что отъединяли этот рай от остального — обычного — мира, вошел в ворота, отдал поводья выбежавшему откуда-то из глубины сада нукеру. Не дожидаясь свиты, быстро пошел по аллее, потом свернул с нее к холму, где была гранатовая роща и находился родник самой прозрачной и чистой воды.

Совершил омовение. Прочел полуденную молитву. Присел отдохнуть на расстеленном суконном халате.

Воспоминания не отпускали его, никак не отпускали. И припоминалось сегодня чаще всего иного почему-то детство, далекие-далекие дни, когда он был еще совсем мальчуганом.

Как-то Тимур прожил в этих садах недели две подряд. Вот здесь, рядом с родником, был поставлен повелителю голубой шатер — этот цвет любили и дед, и самая милая Улугбеку бабушка из жен повелителя, Сарай-мульк-ханум. Вокруг голубого шатра расположились шатры поменьше: зеленый, розовый, красный, темно-синий. Для молодых рабынь-служанок, кротколицы и мягко грациозных в движениях, для поваров — бакаулов. Позади этого шатрового лагеря паслись на лугу белые кобылицы, в некотором отдалении от них играли красиво-дикие, оленеподобные жеребята. Мальчик Мухаммад Тарагай очень любил смотреть на них, но бабушка не пускала его к ним одного.

Сарай-мульк-ханум нельзя было назвать красивой: широкое лицо, к тому же плоскотоватое, вроде тарелки, нос пуговкой, резко раскосые глаза. Но для маленького Улугбека она все равно была лучше и красивей всех. Ее боялись, подчинялись степенности речи и тому, что с ней считался сам повелитель. А Мухаммад Тарагай совсем не боялся ее. Особенно любил он бабушкины руки, длинные белые-белые пальцы, унизанные золотыми перстнями, бирюзой, но ловкие в любой работе — вплоть до того, чтоб шатер обшить, до чего Сарай-мульк-ханум была охотница, и, когда бабка гладила волосы мальчонки, он млеет от полноты детского счастья защищенности и, словно стригунок, жался к боку женщины.

Иногда бабушка надевала фартук, шла доить белую кобылицу, сама делала отменный кумыс, остужала его в ледяной воде родника. Дед Тимур очень любил этот кумыс, приходил в шатер Сарай-мульк-ханум пить его...

За стенами сада слышалась тяжелая поступь пешего войска, перебиваемая топотом кавалерийских отрядов. Мирза Улугбек невесело усмехнулся, подосадовал на себя: там, за стенами, его заботы, а он тут сидит, от всех уединился, в воспоминания ударился. Был бы сейчас дед здесь, то-то рассердился бы на бездеятельного внука!

У ворот ждали султана Абдул-Азиз и шейх-уль-ислам Бурханиддин.

— Гонец прискакал, повелитель, — сдержанно сказал законник.

— Искандер Барлас послал его, повелитель, — угадав вопрос отца, сказал сын.

— Что за вести привез гонец? И почему так скоро доскакал до нас? — стараясь сохранять спокойствие, спросил Улугбек.

Ему подали свиток. Так и есть, вести были неутешительные. На рассвете войско Абдул-Латифа начало битву, у наследника отряды слонов, лошади пугаются их, да и перевес в силах огромный, отчего, сообщил эмир Искандер, он счел за лучшее



отступить по тому же направлению, по которому ушли главные силы повелителя-султана. Значит, что же? Выходит, вот-вот появятся арьергард, а за ним Абдул-Латиф? Выходит, не отступают они, не совершают рассчитанный заранее маневр, а просто бегут от преследования?.. Улугбек посмотрел на сына, на шейх-уль-ислама, на свиту. Там были и его племянники Абдулла и Абу Саид Мирза, в кольчугах, златоверхих шлемах, воюя куда там, только в глазах и движениях видна была опаска гонимого зверя... Боятся, и они боятся, и военачальники трусят, считая, видно, что дело уже проиграно. Боятся пока и его, султана, не перебегают к шах-заде, ждут. Чего ждут?

Улугбек нарочно повысил голос почти до крика:

— Скоро появится противник. У него в войске слоны!

— Что прикажет слугам своим повелитель? — Шейх-уль-ислам Бурханиддин попытался сгладить невыгодное для Улугбека впечатление от такого неожиданного взрыва.

— Да будет на все воля аллаха... Готовьтесь к бою! — приказал Улугбек.

Шейх-уль-ислам приблизился, поглаживая бороду, тихо произнес:

— А как же с планом уйти под защиту городских стен, повелитель? Самаркандские стены прочны...

— Но у противника есть не одни слоны, есть и катапульты, и тараны, разве не жалко всем вам города, который будет разрушен? — снова громко сказал султан.

Нервно поправив чалму, шейх-уль-ислам продолжал вежливо перечить:

— Аллах не выдаст Самарканд врагу, но воля ваша, повелитель... В соборной мечети прозвучит призыв, стар и млад поднимется на защиту столицы, благодетель... прошу извинить мое неразумие, но так мне кажется...

Неразумие. Конечно, неразумие. Нет, не подготовка измены. Шейх-уль-исламу можно верить, он хитер, но не коварен. Но истинно неразумие. Ложная надежда. Разум подсказывает, что здесь, на дороге, шансов на победу меньше, чем под городскими стенами. Но разум подсказывает, что и там шансов победить мало. Ворота города закрыть можно, но есть смысл закрывать их при добрых запасах пищи, оружия в самом городе. А где эти запасы?.. Да и не унижительно ли ему, внуку великого воителя, отступать, все время отступать, все время уступать? Хватит! Он сумеет показать этим трусам, дрожащим за свои золотые халаты, что он внук Тимура: пусть потеряет жизнь, но в бою... Что ж, он отдаст бунтовщику-сыну свою жизнь, но тому еще придется потрудиться, чтобы взять ее. Хорошо бы встретиться с Абдул-Латифом лицом к лицу, обменяться словами, как говорил в таких случаях дед Тимур.

Да, дед Тимур... Он учил: тебя преследуют, за тобой мчится вражеская конница? Отлично, отступай! Заманивай! А сам скрытно выводи для боковых ударов конные крылья, налетай,

замкни кольцо-капкан, руби безжалостно, а если к противнику придёт подмога, вот тогда двинь из засады свои ударные отряды... Да, дед умел воевать... А он, Улугбек?.. Как же тут развернуть фланговые крылья, здесь, на ровной местности, утопающей в садах? Неискусен звездочет Улугбек в ратном деле, вовсе неискусен. И все же без боя он своего поражения не признает.

— Повелитель...

— Обдумаем план... Там, во дворце... Зайдем туда. Подкрепимся. Выпьем вина.— Голос султана был спокоен, а в душе бушевало угрюмо-лихое отчаяние: «Пусть и перед смертью будет пир, а не скука!»

Но второй гонец не дал свершиться этому намерению — гонец на сей раз от преданного султану Бобо Хусейна. Известие было горше первого. Эмир Искандер так и не смог оторваться от преследователя. Тот действовал по заветам прадеда: левое и правое крыло обошли медлительную конную рать Искандера и Султана Джандара, навязали бой, часть арьергарда рассеяли (и «рассеялся» куда-то Султан Джандар, так что теперь остался лишь один эмир). Остальные быстро отошли к Димишку. У этого кишлака, сообщал Бобо Хусейн, мы с Искандером Барласом намереваемся дать бой, имея целью выиграть время для продвижения войска самого повелителя к Самарканду.

Судя по всему, Абдул-Латиф был сейчас от Улугбека на расстоянии двух-трех фарсангов. Для конницы расстояние пустяковое. Даже если эмир Искандер и Бобо Хусейн привлекут к своему поределому отряду все силы противника, много времени для того, чтобы с ними расправиться, не потребуется. Какое бы решение Улугбек ни принял, он должен был принять его незамедлительно!

И вновь Улугбек изменил свой приказ. Решил вернуть основную часть войска в столицу, под защиту крепких стен, но отделить еще одну рать, оставить ее на пути шах-заде, обязать начальствующего над нею эмира Идриса помочь тем, кто остался у кишлака Димишк. А сам... сам немедленно вернется в Самарканд. Там из-за городских стен вступит в переговоры.

Что Абдул-Латиф не согласится с тем, чтобы отец остался на троне, в этом не было сомнения. Но пусть он даст обещание не трогать обсерваторию, пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой. А чтобы заставить принять сына эти условия, подумал Улугбек, все-таки надо поднять горожан — неужели для того, чтобы воспрепятствовать отцовским занятиям астрономией, поэзией, музыкой, сын прольет кровь своих же, отданных ему Улугбеком подданных?

Надо было спешить, спешить!

Глаза сами собой закрывались — бессонные ночи сказывались. Улугбек посмотрел на Абдул-Азиза:

— Возьми с собой Абдуллу и Абу Саида. Скачите, не жалея коней, в Самарканд. Передайте Мираншаху мой приказ:

пусть готовится к обороне, пусть собирает знать в Кок-сараяе, придем мы, и сразу же — за совет...

Сказав это, порывисто поднялся с места, одним махом осушил чашу с вином. До дна!

Солнце зашло, но вокруг еще было светло. Снова поднялся ветер, да еще какой! Не ветер — прямо вихрь! Столбом взвилась пыль, мешая дыханию, сухие листья закружились в воздухе, лезли в глаза, царапали лица.

Улугбек хотел было взбодрить и без того резвого белого скакуна, но подумал, что теперь окружающие могут расценить это неверно, и натянул поводья.

Расстояние между Димишком и Самаркандом небольшое, фарсанга два. После Димишка шло селение Багдад, за ним — Кохира. Кишлаки прямо переходили один в другой, как и сады, виноградники, гранатовые рощи. Сейчас в селениях было пусто, будто на заброшенном кладбище. На узких улочках, зажатых с обеих сторон глиняными дувалами, и на перекрестках ни души.

Подступала темнота. Улугбек помчался вперед.

Недалеко от садов Кохиры услышал он топот лошадиных копыт, возбужденно-громкие голоса посланных вперед нукеров охраны. Что там случилось? Несколько всадников поскакали навстречу Улугбеку, остановились на полпути, выжидая чего-то.

Улугбек потянул саблю из ножен.

— Кто там?

— Простите нас, повелитель... Это мы возвратились... От Самарканда.

Из группы всадников отделился человек с каменным угрюмым лицом; это был сарайбон, он выехал вперед.

— Повелитель!..

— Говори!

— Ворота столицы заперты. Открыть ворота стражники отказываются.

— Ложь! — Улугбеку показалось, что он выкрикнул это слово, хотя произнес его хрипло-невнятно. На миг наступила тягостная тишина. Слышно было только, как шейх-уль-ислам Бурханиддин прошептал: «О создатель!» — да еще прерывистое дыхание Улугбека.

— Где градоначальник, где Мираншах? Он был у ворот?

— Нет, повелитель! Градоначальник отказался подойти к воротам.

— Прочь с дороги! — Улугбек хлестнул камчой белого скакуна, и благородный арабский конь, что не привык к такому обращению, взвился на дыбы. Заржав, он ветром понесся вперед...

«Ворота столицы закрыты! И это передо мной!.. Передо мной закрыты!.. И это мой город, мой Самарканд! Сорок лет я его

прославлял, украшая! Сорок лет... Где еще такие медресе, такие бани? С чем сравнится самаркандская обсерватория, самаркандские библиотеки?! И этот город осмелился не открыть ворот! О всевышний! За какие грехи мне такое унижение?»

Холодный ветер, от которого гудели сады, казалось, хотел остановить Улугбека, с яростью бил ему в грудь, пылью и жухлыми листьями хлестал по лицу.

«Один из самых доверенных, эмир Султаншах, изменил мне, эмир Джандар бежал, а Самарканд... а градоначальник Мираншах — думал опереться на него, как на гору — ворота закрыл!.. Проклятье, подлость, мерзость! Кому же тогда верить? Неужели все сгнило в моем государстве, творец? О, Самарканд, любимый и тоже, кажется, неверный, подлый город... Подлые люди!»

Улугбек только сжал зубы. Снова нещадно хлестнул коня. И белый скакун, остервенело грызя позолоченные удила, заржал дико и протяжно.

Из-под лошадиных копыт летели песок и мелкие камни и били Мирзу Улугбека в спину, били в лицо, но он ничего не чувствовал, кроме обиды, злой и горькой обиды на родной город, обиды, которая делала его нечувствительным к физической боли.

Сады отступили от дороги, она словно расширилась; окрестности чуть-чуть посветлели.

Через некоторое время появились впереди высокие зубчатые стены столицы. В сумерках казалось, что они доходят до самых небес.

Около глубокого крепостного рва, вода в котором высохла еще весной, Улугбека встретила группа нукеров. Среди них Улугбек увидел Абдул-Азиза и племянников. Все трое нервно разъезжали по краю рва то в одну, то в другую стороны.

Чуть помедлив, Улугбек пустил коня через ров. На пригорке перед воротами остановился.

Эти ворота были некогда отлиты по распоряжению Тимура. Сейчас они заперты наглухо! На двух сторожевых башнях маячили чьи-то мрачные фигуры; по мгновенному мельканию каких-то теней чувствовалось, что форты и бойницы тоже скрывают воинов, но никто не высовывался из-за укрытий по грудь или во весь рост.

Гнев и обида охватили Улугбека пламенем, жгучим и таким же высоким, как стены — до самого неба. Но тут, перед самыми воротами, это пламя вдруг ослабло, сникло, угасло. С трудом Улугбек поборол внезапную слабость. Подал знак сарайбону. Дворецкий прищпорил коня, пересек ров, подъехал прямо к воротам. Постучал рукояткой сабли о железную обшивку. Сверху послышался голос:

— Кто там?

— Я! — крикнул Улугбек. Снова забурила кровь в жилах. — Ваш повелитель Мирза Улугбек Гураган!

— После вечерней молитвы ворота закрыты перед всеми, будь то шах или нищий!

— Открывай, мерзавец!

Улугбек пустил коня на ворота. Горячий скакун взметнулся перед ними, с треском ударил передними копытами о железо, осел на задние ноги, попятился. Всадник едва удержался в седле.

Сверху снова послышалось:

— Простите, повелитель, но градоначальник дал строгий приказ не открывать ворота!

— Кто правитель в нашем государстве? Мои приказы должно выполнять беспрекословно и сразу. Открой ворота или беги за градоначальником, если тебе дорога голова, стражник!

Тут сверху, с башни, раздался голос второго воина:

— Руки коротки у тебя, чтоб снять голову стражнику. Позаботься лучше о своей, Мухаммад Тарагай!..

Кто это? У кого столь знакомый, хриплый и тонкий, змеиный голос? Кто посмел произнести такие слова? Улугбек на миг онемел в замешательстве — у зубца башни возникла фигура Султана Джандара!

И этот изменил! Куда ни пойдешь, всюду коварство и низость!.. Бросил войско, выходит... сбежал в столицу. Но каким путем так быстро сумел сюда добраться?.. Как успевают эти лицемерные негодяи, предатели снюхаться, спеться друг с другом?

Мирза Улугбек выпрямился в стременах.

— Эмир Султан Джандар! Один аллах знает, на чью голову сядет птица счастья. Лишусь я престола — твое счастье. Но если волей судьбы престол останется моим... запомни: я повешу тебя вверх ногами и снизу разожгу костер! — И, не дожидаясь ответа, повернул коня назад...

Потом... Потом ему кто-то что-то говорил, бурно и невнятно; из всего, что он слушал, но не слышал, Улугбек понял, наверное, одно только слово — Шахрухия, крепость Шахрухия, куда надлежало ехать.

Но в мыслях его все смешалось, все закрутилось, будто осенние листья на дороге под порывами вихревого ветра. Безразличие овладело душой Улугбека, и он уже не очень-то негодовал, когда Абдул-Азиз, поехавший на разведку, вернулся, тяжело дыша, бормоча проклятия, и сообщил, что крепость Шахрухия также закрыла свои ворота и что комендант этой крепости, туркменский бек Ибрагим Кулат-оглы, также отпал от Улугбека!

Конец, конец. Скорее пришел бы всему конец!

И Улугбек решил преклонить колени перед собственным сыном и любое, что судьба ниспошлет ему — жизнь или смерть, — принять из рук Абдул-Латифа с покорностью.

Али Кушчи пробудился мгновенно, едва только скрипнула — тихо-тихо — входная дверь. В дверном проеме, чуть менее темном, чем чернильный мрак внутри обсерватории, мавляна разглядел чью-то огромную и неподвижную фигуру. Пальцы Али Кушчи скользнули под подушку за кинжалом: если убийца один, еще посмотрим, чья возьмет.

— Кто там?

Пришелец молчал.

— Отвечай, эй, призрак!

— Это я, мавляна...

Али Кушчи привстал, еще раз взгляделся в темноту.

— Каландар Карнаки?

— Ну, хвала вам, мавляна, не забыли бедного талиба.

— Не приближайся, если тебе дорога жизнь!

— Не надо бояться, мавляна... Зажгите свечу.

— Говорю, не двигайся!.. Отвечай!.. Как ты сюда попал?

И зачем?

— Зачем? — переспросил дервиш и невесело как-то засмеялся.— Как зачем? За золотом, за чем же еще надо ходить в эту любимую обитель повелителя... Зажигайте свечу!

Али Кушчи сжал рукоятку кинжала.

— Вот оно что,— иронически протянул Каландар Карнаки.— Вы ли тот мужественный Али Кушчи, что убивал тигров? И где ваш прославленный здравый смысл, где ваша логика, верить которой вы учили нас, учеников?.. Вы спали, и, пожалуйста я убить вас, стал бы я дожидаться вашего пробуждения?

Али Кушчи сделал несколько шагов в темноте вдоль стены, нащупал в нише свечу, зажег ее. Вспыхнули узоры росписи на стенах, золотое тиснение книг на полках. Каландар Карнаки стоял по-прежнему у двери. Тень его, громадная и густая, качнулась в неожиданном поклоне.

— Ассалам алейкум, устод!

«Устод», «учитель». Что это, ирония, ложное смирение или искреннее приветствие прежнего Каландара, ученика?

Али Кушчи со свечой в руке приблизился к дервишу, оглядел его лохмотья; подняв свечу повыше, всмотрелся в лицо; Каландар не шевельнулся, он ответил на взгляд мавляны таким же долгим вопрошающим взглядом. Могучий ростом и сложением, Каландар выглядел неважно: в заросшем лице, в запавших светло-карих глазах усталость и болезненность. Еще бы, сколько тягот выпало Каландару на долю!

У Али Кушчи потеплело на душе.

Каландар пригнулся, взял вдруг обеими руками руку Али Кушчи, опустил на колени перед ним.

«Что это он? Зачем?»

— Спасибо вам, учитель.

Каландар наконец сел, безвольно свесив руки вдоль тела, устремил на Али Кушчи полные горечи и боли глаза.

— Скажите, каким человеком считаете вы, досточтимый, вашего бывшего шагирда, бедного нищего? Кто я, по-вашему?

В самом деле — кто он? Лишился родины — Ясси и Сигнак так ведь и остались за Барак-ханом, — стал воином, потом сменил саблю на перо, а воинские доспехи на скромное платье талиба. Теперь же дервиш, раб аллаха, восхвалитель аллаха, вместо медресе живет где-то в дервишеской обители, водрузил на себя козлиный кулох. Кто он теперь?

— Мой язык нем, дервиш. Вижу одежду, а что в сердце твоём, о том давно уж не ведаю.

Каландар тяжело вздохнул. Воскликнул:

— Я знаю, я!.. Овца, отбившаяся от стада, душа заблудшая... Есть правда в этом мире, учитель?! Венценосный Мирза Улугбек знает ли ее?.. Бесприютным чужаком, бездомным псом я был; пригрели меня, спасибо, низко кланяюсь. Но душа-то все ходила и ходила по чужим улицам, стучалась в разные двери, чтобы найти правду, не нашла ее ни здесь, ни в обители дервишей... У них, у нищих, ее тоже нет, там язык хвалу богу поет, в сердце корысть гнездо себе вьет... Все ложь, все обман. Или неверно я думаю, учитель? Ответьте! За этим я опять сюда пришел — за истиной, коли она есть!..

Неяркий свет свечи дрогнул на лице Каландара, речь его оборвалась.

Трудно было усомниться в искренности его мучений. Али Кушчи молча положил ему руку на плечо.

Каландар глянул на него снизу вверх.

— Скажите, вы никому не обмолвились, что тут прячете сокровища эмира Тимура?

Али Кушчи невольно воскликнул:

— Неужели ювелир?!

Прикусив губу, Каландар усмехнулся:

— Эх, мавляна! Доверие опрометчиво. Опасно за своего принять чужого. Старая лиса хаджи Салахиддин недолго хранил тайну... Истина, если и есть, в добром деянии она. Надо же и вам и султану Улугбеку отдать добром за добро; только от вас видел я его, а стало быть, видел и истину... Шейх Низамиддин Хомуш знает вашу тайну. Надо перепрятать золото и драгоценности, не то из рук вырвут золото, а с плеч снимут голову!.. Говорю правду, не сомневайтесь. Для того и пришел... Впрочем, — Каландар вновь глухо кашлянул, — не верите, так скажите прямо, гоните меня отсюда, я уйду беспрекословно.

Нет, теперь Али Кушчи не сомневался: привели сюда Каландара добрые чувства. Мавляна посмотрел на книжные полки.

— Ты толкуешь о золоте, о драгоценностях... Но вот эти богатства разве не дороже золота? Что будет с ними, если я покину обсерваторию?

Каландар тоже повел взглядом по рядам книг — многим-многим рядам книг на полках и шкафах. «Предать еретические книжки всех безбожников огню праведному», — вспомнились ему яростные слова шейха.

— Их тоже нужно спрятать, угод!

— Куда? Ведь их так много, Каландар, как спрячешь?

— В сундуки, в сундуки их и вывезти в другой город. И побыстрее! — Каландар вдруг быстро приподнялся. Почувствовал прилив сил: такое состояние было знакомо ему, воину, перед битвой.

— При Абдул-Латифе не вывезешь, — услышал он слова Али Кушчи.

— Верно! Значит, надо тотчас действовать, потому что шейх сказал, что не сегодня, так завтра в Самарканде будет Мирза Абдул-Латиф.

Каландар даже рассмеялся про себя: ну и сослужит он службу святому хитрецу шейху.

— Есть в обсерватории потайной выход?

Али Кушчи колебался лишь мгновение.

— Есть.

— Заберите свое золото и пойдете, — сказал Каландар почти повелительно. — Я знаю надежное место, учитель, но надо выйти отсюда незаметно, за мной тоже могут следить.

— Но куда мы пойдём?

— Не спрашивайте пока. Если доверились мне, зачем терять время на разговоры? Забирайте золото, поспешите!

Когда Али Кушчи вытащил из-за книг золото и драгоценности, Каландар весело удивился:

— Тут спрятали? Ай да мавляна! Трудненько было бы тут отыскать, трудненько...

Потом посерьезнел, быстро сложил золотые «пиалушки» в переметную суму, взял мешок в левую руку.

— Так куда идем? Светите, мавляна!

Темное сомнение шевельнулось в душе Али Кушчи. Или то неприятно подействовал приказной тон Каландара? Но отступать было поздно. Али Кушчи разулся, ощупал за пазухой кинжал в простеньких ножнах, поднял свечу и открыл потайную дверь; об ее существовании знал только он да еще повелитель-угод!

Под зданием обсерватории находился подвал, в середине подвала — колодец, накрытый большим круглым камнем, вроде мельничного жернова. Глубоким колодец не был, сажений пятнадцать, не больше, и внизу на одной из сторон находилось отверстие с небольшое окно. Если влезть в эту дыру, найдешь подземный ход, узкий, извилистый, как змеиный след. Пройдя его, окажешься... где же окажешься?.. Ах да, вспомнил — у обрыва недалеко от мостика Кухак.

Знать про все это Али Кушчи знал, но в колодец ни разу еще не спускался.



— Бисмилла рахмони рахим! Господи, благослови!

Обвязавшись веревкой у пояса, закрыв рот и нос шелковым платком, Али Кушчи начал спускаться первым. Вода в колодце доходила только до колен, но была ледяной. Али Кушчи торопливо ощупал стены, нашел камень — прикрытие лаза. Неприятная дрожь прошла по телу, когда открылось темное зияние потайного хода, которым, похоже, никто так и не воспользовался ни разу. Преодолев страх и брезгливость, Али Кушчи нырнул в лаз: затхлый, гнилой воздух затруднял дыхание, кругом свешивалась паутина, то ли сороконожки, то ли скорпионы во множестве ползали по сырým стенам, разбегались от тусклых бликов, бросаеmых свечой. Что-то холодное и липкое коснулось шеи Али Кушчи, и мурашки волной прокатились по телу. Каландар, казалось, ничего этого не замечал, двигался за Али Кушчи уверенно и все торопил мавляну.

Наконец темный узкий коридор, кажется, кончился, широкий бугристый камень перегородил путь. Али Кушчи посторонился, принял от Каландара хурджун, а Каландар крепко уперся ногами в основание боковой стенки коридора и плечом навалился на камень, стал ритмично толкать его, расшатывать. Али Кушчи хотел помочь, но и усилий Каландара оказалось достаточно: камень поддался, двинулся и с шумом выпал куда-то наружу.

Ударил свежий воздух. Запахло водой, хотя ручей на дне оврага высох. Они разыскали большой камень, не без труда подтянули его к выходу из потайного хода, кое-как заложили дыру.

Двинулись по руслу высохшего ручья. Теперь впереди Каландар. Али Кушчи все еще был настороже — Каландар вел его не в сторону города, а от города, к Ургуту. Свернули направо, пошли руслом Оби-рахмат. Трудно было идти, больно ступать по гальке, в лицо норовили попасть ветки тала, что рос на берегу. А Каландар все ускорял шаг... Али Кушчи снова и доверял и не доверял ему — уже не о том думал, что Каландара подослали враги повелителя, а о возможном безумии бедного дервиша. Да и насчет чистоты помыслов — почему тот сразу не сказал, куда им идти?.. Впереди черной массой возник какой-то сад, послышался равномерный шум воды в мельничных желобах. Не дойдя до мельницы, они опять свернули в сторону, стали продираться сквозь заросли и вышли к селению.

Каландар повел Али Кушчи по улочке такой узкой, что повстречайся на ней два верблюда, даже не нагруженные, они бы не разошлись.

«Кишлак Ногара-тепе!» — догадался Али Кушчи. Глиняные заборы — дувалы, балкончики-балаханы, до которых легко было достать рукой, дворы за стенами — все хранило угрюмое молчание; ни одна собака не тявкнула; только раз, проходя мимо чьего-то дома, услышали ои, как тяжело вздохнула в хлеву корова да зашуршала сеном овца.

Маленькая площадь, куда они вышли, замыкалась с одной стороны косогором, на котором росло два вяза. Каландар Карнаки оглядел площадь и шепнул:

— Пошли. Бегом!

Они перебежали площадь, стали под вязами. Только здесь можно было заметить крутизну склона, словно срезанного ножом.

— Идите за мной,— услышал Али Кушчи. «Куда?» — хотел было спросить, но тут и сам обнаружил какой-то темный проем, будто вход в землянку. И в самом деле, это был вход куда-то, настоящий вход, с железной дверью, в которую и постучал тихонько Каландар условным троекратным стуком. Они опять отступили в тень вязов, а дверь с осторожным скрипом отворилась. Каландар схватил мавляну за руку и, шепнув: «Пригнитесь!» — быстро втолкнул его в какую-то темную пещеру.

Еще не разогнувшись, Каландар сказал:

— Ассалям алейкум, отец...

— Ва алейкум ассалям,— ответил из глубины пещеры тягучий голос.

«Из одного тайника в другой! Право, не сумасшедшим ли стал этот дервиш?» — подумал Али Кушчи, продвигаясь в полной тьме вслед за Каландаром по коридору, узкому, как и тот подземный ход, в котором они были недавно. Но этот был намного короче. Впереди мелькнул огонек, и вскоре они действительно попали в пещеру, но уже не такую, как при входе, а огромную — конусом уходил ее потолок куда-то вверх, будто купол в мечети.

Загадка за загадкой. И в самом деле, куда он попал?

Шедший впереди Каландар остановился, почти совсем загородив нишу, в которой мерцал светильник.

Пещера была, оказывается, вполне обжитая.

— Я привел мавляну Али Кушчи, о котором вам сказывал, почтенный Тимур-бобо.

— Добро пожаловать в нашу убогую хижину,— донесся тот же тягуче-неторопливый голос из угла пещеры.— Добро пожаловать, сын мой Аляуддин!

«Голос» знал его имя? Еще одна загадка. И называет его сыном?

— Ассалям алейкум, почтенный отец.

— Да благословит тебя аллах, мавляна, проходи сюда, поближе ко мне.

Наконец-то глаза Али Кушчи попривыкли к темноте и смогли разобрать хоть что-то. Ну да, холм скрывал в себе жилище. Огромную пещеру и еще две поменьше; в правой были сложены кузнечные инструменты: молот, клещи, шипцы и наковальня («И жильё, и мастерская», — отметил Али Кушчи), а в левой пещере можно было разглядеть всевозможную посуду: котлы, кумганы, чайники, узкогорлые медные кувшины и кувшинчики и другую хозяйственную утварь — это была кладовая при жилище.

В большой пещере на высоком помосте сидел на расстеленной шубе, сложив под себя ноги, какой-то старик с бородою до пояса, истинно вызывающей почтение, хотя давно и не ухоженной. Голову старика прикрывала круглая войлочная шапка, в руках он держал длинную тонкую трубочку — чилим, из которой курят анашу. Старик сидел, завернувшись в овчинный полушубок, но с таким величественным видом, будто на нем было по меньшей мере султанское одеяние. Еще более поразило Али Кушчи, что за спиной старика на ровно отесанной стене пещеры висели две скрещенные сабли, а поверх них щит — словно у знатного вельможи! А в нише, рядом с саблями, были книги! Али Кушчи вдруг вспомнил, как однажды во время охоты — ну да, конечно, это было где-то неподалеку отсюда, среди ургутских холмов — они, угод и он, попали в какую-то пещеру: тоже почти скрытый вход, такой же узкий ход-коридор, такой же величины зала и потолок, словно купол, только тот был из мрамора, кажется, во всяком случае, столь гладкий, будто человеческая рука его шлифовала. Очевидно, таких пещер было в этой местности не одна, и человек помог природе, приложил умение и разум, так что получилось пусть не светлое и не вполне удобное, но в общем-то сносное и, главное, безопасное убежище. «Книги надо спрятать здесь, — пришла в голову Али Кушчи неожиданная мысль. — Здесь, в этой пещере!»

— Да не стой ты там, мавляна. Проходи поближе. Вот почетное кресло, — засмеялся старик, показывая на большой чурбак справа от себя. — Видишь, почтенный, полушубок на нем... И запомни, мавляна, на этом троне сиживал тезка мой, эмир Тимур Гураган, и вот из этого кубка, — старик повернулся к нише с книгами, достал большую медную чашу, — вот из этого кубка вина отвеждал, пробовал тут со мной анашу...

Вот оно что! Теперь Али Кушчи понял, к кому попал. На весь Самарканд знаменит был кузнец Тимур Самарканди, Уста Тимур, Мастер Тимур. Когда-то служил он эмиру Тимуру, ходил в его походы, а потом... что-то произошло с мастером потом, не припомнить, но слухи распространялись самые разные.

Впервые увидев старика своими глазами, Али Кушчи сразу отдал должное достоинству, с которым тот держался. Не без почтения присел мавляна на чурбак. А Каландар примостился прямо на земляном полу, у ног старика.

— Да, мавляна Али, сын мой... — медленно протянул Уста Тимур, — да, где вы сидите теперь, некогда сиживал эмир Тимур... бывало, бывало. А после него сидел там еще один властелин, шах из шахов — Шахрух-счастливец. — Старик улыбнулся краями губ, погладил нечесаную бороду. — Сидел, просил меня, упрашивал... слиток золота давал... хотел, чтобы и ему я сделал такой же меч, как родителю, тезке моему... Не ведал, что я клятву дал не делать больше ни мечей, ни сабель...

Да, ходили слухи, будто однажды Мирза Шахрух, прибыв в Самарканд, заказал одному умельцу кузнецу особую саблю, а тот отказался, и шах впал в гнев и приказал мастера того дерзкого вздернуть, да заступился будто за кузнеца Мирза Улугбек.

Внимательно и не без волнения посмотрел Али Кушчи на мастера: лицо Уста Тимура все в морщинах, и следы кузнечной работы остались на них уж, видно, до конца дней, а глаза чистые и зоркие. И сколько еще силы в ручищах, упирающихся в колени, во всей фигуре старика — мощной, но не грузной, широкой, но не рыхлой!

— А почему дали такую клятву, отец?

— Это длинная история, сынок... Был я оружейным мастером у эмира Тимура в войске. Неплохим мастером, про клинки Тимура Самарканди шла добрая слава. Однажды Тимур Гураган приказал мне выковать саблю из стали, чтоб могла она камни рассекать. Сделал. Отменная получилась сабля! В руках потрясателя вселенной и впрямь камни отсекала — будто бы не камни это, а курдюки овечьи... Золотым халатом одарил меня повелитель. Но судьба по-своему оценила мой поступок: как раз этой саблей эмир Тимур собственноручно отсек голову моему единственному брату. — Старик замолк, рукой закрыл глаза на минуту, потом поднес к лицу и другую руку, соединил их в молитвенном жесте. — На площади, перед самым Коксараем... Мой брат был мятежник, мавляна, один из сарбадоров, ну тех, что восстали против Тимура и вообще против богатых и знати... Смелый, как лев. И не любил богатств, полученных грабежом. Вообще богатства, считал, не нужны человеку... Много-много раз говорил мне брат, чтобы я бросил оружейное дело. Служишь, мол, кровожадному владыке, брат мой Тимур, совершаешь грех, муки ждут тебя после судного дня... Так говорил мне убитый эмиром Тимуром брат мой, мавляна... А я? Молод я был тогда, тщеславен, соблазн брал верх, так что продолжал я изготавливать для повелителя сабли, мечи, секиры. А вот когда увидел сам, своими глазами, как саблей, мной изготовленной саблей был убит брат мой... И кровь его текла на землю... его кровь и еще тридцати двух казненных, тридцати двух сарбадоров, тридцати двух молодцов... Я в ту же ночь сжег все дорогие халаты, подарки эмира Тимура. Сжег и ушел в горы... Я тоже дервишем был, — старик наклонился к Каландару, потрепал его по плечу. — Четыре года под дервишеским колпаком бродил по Бадахшану, Балху, еще дальше, в Герате, был. И еще дальше — в Багдаде был, паломником до Мекки дошел, так что я, не шути со мной, тоже хаджи, как и твой шейх, Каландар, а?.. И вот брожу, брожу и думаю, что так и не увижу больше родины, потому что вернись я — с жизнью распроститься придется. Ведь эмир Тимур ничего не забывал и мало что кому прощал, если против него шли. Да, вот хожу и думаю, что кости мои где-нибудь в чужой степи так и останутся добычей стервятников... Аллах помог, сам

аллах... Узнал я, что жестокосердый потрясатель пошел в новый поход, на Китай, и в походе том, ничего не свершив, умер... Услышал я про это, подпоясался потуже, крепче сжал посох и — вперед, Уста Тимур, в собственный поход на родину, а сладость родины, скажу вам, дети мои, только вдали от нее узнаешь по-настоящему. Как достиг Джейхуна — упал бездыханно, сын мой!

Старик смахнул слезу. Не веселило, видно, воспоминание, да и вся остальная жизнь не веселила старика. И Каландар сидел хмурый, наверное, вспоминал свой родной край. Помолчал старик, а потом вдруг перешел совсем к другому:

— Мавляна Али Кушчи! Раб божий Каландар кое-что рассказал мне о твоих заботах и тревогах... Ну, о тайне твоей, — пояснил Уста Тимур, перехватив недоумевающий взгляд ученого и обращаясь к нему совсем по-простому. — Я-то не пил воды в храме науки, но подметать дворы в разных медресе подметал. И не раз в Герате, в Багдаде, в Дамаске мударрисы устаивали простого кузнеца беседами. Глубокомысленные люди, и были среди них добрые и хорошие, мавляна. Говори, какая помощь нужна, Аляуддин. Что в силах моих, то сделаю.

Али Кушчи был по-настоящему растроган.

— Благодарю вас, отец. Просьба моя... Но сначала хотел спросить вас: известно ли вам, что наследник Мирза Абдул-Латиф, мятежник Абдул-Латиф, хочет отобрать престол и напал на Мавераннахр?

— Известно... Скажу так: сын, поднявший меч на отца, заслуживает кары всевышнего. И придет кара, мавляна!

— Да будет так, отец... Ну вот, вы знаете, что Мирза Улугбек не только правитель, но и ученый, создал не одно медресе, собрал множество книг и рукописей, жемчужин знания. Цены этим книгам нет, отец. И сокровища эти в опасности. Спасти сокровища повелитель поручил мне, слуге своему...

— Я про это слышал, мавляна... А про Мирзу Улугбека скажу, — старик закрыл глаза, помолчал, подумал, говорить ли, нет ли, — слабый он правитель, мавляна. Умный человек, ученый, мудрец, наверное все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайны узнал... А зачем в последние годы войны затеял? Чего не поделил, с кем? Войны да походы истерзали дехкан, мавляна, эмиры последнюю рубашку готовы содрать с бедняка — для побед государства, для славы его, так говорят. И ремесленникам несладко. Неужели мудрый султан не знает, что творят от его имени эмиры?

Прав Уста, тяжело дехканину, тяжело ремесленнику. Но тяжело от войны нынешней и самому султану. Большая беда пала на его голову. Это хотел объяснить кузнецу Али Кушчи, но Каландар опередил его:

— Отец, что толку спорить, знает или не знает Мирза Улугбек про своих эмиров. Мы же о сокровищах сейчас беспокоимся. — Каландар бросил взгляд на Али Кушчи. — Жемчужины знания в опасности.

— Истинно так, отец,— подтвердил Али Кушчи.

— Ну, что же,— старик вновь положил руку на плечо Каландара.— Сколько, говорил ты, сундуков нужно?

— Штук двадцать или около того, уста,— предупредительно подсказал мавляна.

— К какому сроку?

— Чем скорее, тем лучше.— Каландар кивнул на хурджун.— Там золото, сколько надо будет, столько и возьмете, отец.

Старик недовольно нахмурился. Золото, золото! Будто из-за золота он берет заказ. Торопится очень этот дервиш.

— Зайди через два дня после захода солнца,— сказал он Каландару.— Поглядим, как и что получится. А это закопай!

— Там золото, драгоценности, отец!

— Вот и закопай, говорю... Ну, хоть там закопай,— старик показал на пещеру-кладовую.— Или где хочешь. И не напоминай мне о нем. Мне что железо, что золото.

Каландар вырыл яму глубиной до колен, положил в нее хурджун, закопал, а сверху завалил разной хозяйственной утварью.

Словно гора с плеч свалилась — такое чувство облегчения испытывал Али Кушчи, когда вышел из пещерного жилища Уста Тимура. Они проговорили долго; оказывается, близился рассвет, о чем судить можно было и по бледности звезд на небе — ветер разогнал облака,— и по звукам, что раздавались в кишлаке,— петушиным крикам, собачьему лаю, рыданию ослов,— звукам наступающего утра.

Возвращались Али Кушчи и Каландар тем же путем, что и пришли, и с прежними предосторожностями. Не напрасными, потому что, когда они почти уже дошли до обсерватории, Каландар вдруг резко остановился, повернулся к мавляне и толкнул его в тень чинары.

Кто-то бродил вдоль оврага, бормоча:

— О аллах, о всемогущий...

Каландар, намеренно громко ступая, вышел вперед.

— Эй, Шакал! Что ты тут делаешь, кого вынюхиваешь? Дервиш что-то невнятное пробормотал в ответ.

— Запомни, Шакал, если ты шакал, то я — тигр. Будешь за мной следить, вырву твой косой глаз и заставлю тебя же его проглотить. Понял меня?

Каландар подождал, пока дервиш, чуть прихрамывая, отойдет подальше. Вернулся под чинару.

— Осторожность и осторожность, мавляна. Святой шейх ставит соглядатая за соглядатаем следить...

## 10

Уже два дня в одной из угловых комнат Кок-сарая терзается размышлениями Мирза Улугбек. Выходить отсюда ему запрещено.

Чуть ли не полвека проведя в Кок-сараях, Улугбек и не подозревал о существовании этой комнаты — холодной и сумрачной. Свет падал сюда из узкой щели сверху прямым, нерассеивающимся лучом. Холодное дыхание стен чуть задерживали ковры. Узнику — хотя его так не называли — дана была пара одеял. Кормить кормили хорошо: на столике вон они, шашлык остывший, хлеб, фрукты, в изящной фарфоровой чаше вино. Не те, кто посадил его сюда, повинны в том, что Улугбек голоден, тому причиной подозрительность самого повелителя... бывшего повелителя. Он так и не притронулся к пище, за двое суток пил только воду, сделал пару глотков — и все.

От голода и бессонницы мысли, конечно, путаются. И остается одно — лежать на одеяле посреди комнаты да смотреть на отверстие в потолке.

Чего только не передумал Улугбек, лежа на этом тюремном одеяле. Вся жизнь прошла перед ним — от счастливых лет детства до нынешнего безысходного положения, близкого, видно, к концу, к смерти. Ведь и на убийство может решиться его сын, престололюбивый и жестокосердый.

Вот ему, Улугбеку, уже за пятьдесят, из них почти сорок лет был он первым человеком в государстве, правителем, но спроси-ка его, что такое счастье, в чем оно и какую отраду узнал он, придя в сей бренный мир, спроси, и не ответит мудрец и ученый, султан и поэт Улугбек. Жизнь венценосцев похожа на дворцы, построенные по их повелению: издали переливаются теплыми красками, горят на солнце, ослепляя людей, а внутри — вроде этой комнаты — холод, мрак, сырость. И безлюдье.

Или интриги.

Сжирают друг друга люди, будто хищные звери. Гнездо заговоров и склок этот Кок-сарай! Единственное для Улугбека утешение души — наука, единственная радость — иное безлюдье, когда уходил он из Кок-сарая в обсерваторию, сидел там в уединении с астролябией в руках, наблюдал за бездонным небом, полным звезд, за его чарующей красотой.

Всевышний лишил его теперь и этого единственного утешения.

И снова, снова вспоминал Улугбек о деде, эмире Тимуре. Бури пронеслись после кончины Тимура над Хорасаном и Мавераннахром. Почему? Да потому, что возмездие за пролитый океан крови неизбежно. Неотвратимо. Если не настагает оно того, кто пролил эту кровь — а сам Тимур умер как раз перед исполнением своей цели: завоевать Китай, единственную великую державу Востока, что еще не была вытоптана его конницей, — то потомков карает. Потомки Тимура резали друг друга беспощадно, жестоко, злее хищных зверей. Это ли не кара, не возмездие? Тысячи и тысячи детей остались сиротами, тысячи и тысячи женщин вдовами после походов потрясателя вселенной — и не из-за этого ли резня среди тех, кто наследовал

Тимуру, не из-за этого ли разваливается его необъятная держава и новые реки крови льются в яростных братоубийственных войнах?

Совесьть Улугбека может быть спокойна. Сорок лет он правил Мавераннахром, завоевательных походов не предпринимал, ну разве что в юности и для того, чтобы не распалось государство, а не для того, чтобы расширилось. И в Хорасан ходил на закате жизни в целях обороны, иначе расколосось бы государство, съели бы Тимуровы родичи друг друга. А без него... что было бы без Улугбека, захвати власть эти бешеные племянники из Герата? Что станет с Мавераннахром и Хорасаном теперь... без него?

Вчера он передал Абдул-Латифу два послания, просил — просил! — позвать на беседу. Он хотел сказать сыну, что сам, сам отречется, по своей воле, в согласии с законом, который такие случаи предусматривал, ведь для народа важно, что власть передана, а не отнята у законного владельца, это должен понимать будущий правитель. А просить — просить! — Улугбек хотел одного: чтобы остаток дней ему позволили провести в занятиях наукой. И еще хотел Улугбек дать сыну отцовский наказ, как править страной: все-таки сорок лет, опыт! Он хотел предостеречь сына от неверных слуг, доказать, что быть справедливым и человечным не только угодно богу, но и попросту выгодно для правителя.

Оба послания остались без ответа.

Смерти Улугбек не боялся. Все смертны. Все приходит рано или поздно к своему концу, к исчезновению. За душу сына, коль посмеет тот склониться к мысли об убийстве отца, вот за что боялся Улугбек. Каким бы подлым мятежником ни был Абдул-Латиф, он ведь его, Улугбека, отпрыск, сын его! Люди проклянут отцеубийцу, всевышний не прощает такого греха...

Скрипнула дверь. Улугбек открыл глаза.

Страж вошел первым, потом пропустил повара — бакаула. Кормить султана еще кормят. Бакаул на тяжелом серебряном подносе нес миску шурпы, чайник, две румяные лепешки.

Поклонившись, толстяк бакаул поставил поднос на столик, не торопясь собрал остывший шашлык. Медлительность его движений поневоле привлекла внимание, и, когда Улугбек посмотрел на повара, тот странно помахал рукой над лепешкой, словно мух от нее отгонял, подмигнул при этом и, пятясь, отошел назад. Улугбек ничего не понял. Проводил повара взглядом до двери, а тот покачал головой и уже у самой двери приложил палец к губам.

Ушел.

Страж загремел снаружи сапогами, устраиваясь перед дверью поудобнее.

Что хотел сказать старый повар, слуга Улугбека? О чем-нибудь предупреждал? Видно, какая-то новая беда ожидает бывшего властелина.



Вкусный запах свежего хлеба вызывал головокружение. Султан проглотил слюну. Взял лепешку, разломил — будь что будет, отравят так отравят — и застыл от удивления; из разломанной половины лепешки торчала свернутая бумажка.

Незнакомец прежде всего познакомил Улугбека с тем, что происходит в городе. Светопреставление — так назвал он происходящее. Вчера в соборной мечети высшее духовенство объявило Улугбека врагом ислама. Правителем Мавераннахра провозглашен Абдул-Латиф, и теперь будут чеканить монету с его именем. Шах-заде взял под стражу многих благородных, а также некоторых эмиров и воинов Мирзы Улугбека. Иные уже казнены.

Автор записки, лицо, видимо, обо всем хорошо осведомленное, сообщал и о намерениях Абдул-Латифа относительно отца: предполагалось отправить его паломником в Мекку для замаливания грехов и последующего возможного возвращения в лаго истинной веры. Паломничество, только иного свойства, чем обычный хадж, — принудительное. Говорят, что в мечети во время проповеди к ногам Абдул-Латифа пал некий «правовверный мусульманин», Саид Аббас, и потребовал у «законного повелителя» отпущения за якобы невинно казненного Улугбеком отца своего. Бездоказательный иск нечестивца никто не решился отклонить, никто, кроме верховного казиза хаджи Мискина, коего протест потонул в яростном реве остальных улемов. Если иску Саида Аббаса будет дан ход, жизнь повелителя, и без того находящаяся под угрозой, повиснет на волоске. Вот почему, писал незнакомец, надо бежать, и, коль скоро Мирза Улугбек будет с этим согласен, пусть даст знать бакаулу. Тот усыпит стражу и — буде аллах позволит — выведет повелителя на волю потайным ходом.

«Западня, истинная западня!» — подумал Улугбек. О потайном ходе знал не только он сам и, как выясняется из записки, бакаул, но и шах-заде. Тот уже, ясное дело, поставил своих воинов около выхода из подземелий. Улугбек пойдет вслед за бакаулом и попадет прямо в их руки!

Улугбек прошелся по комнате. Взгляд его упал на разломанный хлеб. И снова подумалось: «Отрава!» Все, все отравлено — и хлеб, и мясо, и вино в фарфоровой чаше. Чего проще, отравить его, убрать так легко с дороги. «Ну а разве теперь мне не все равно? Не лучше ль умереть от яда, чем от рук палача по навету какого-то Саида Аббаса? Не лучше ли пасть по навету, но здесь кончить дни свои, чем расстаться с родиной, замаливать, скитаясь на чужбине, грехи, в которые сам не веришь, вызывая к себе ненависть и насмешки фанатиков, и все равно умереть, потому что ни этой ненависти, ни тем более отдаленья от родины не выдержать?!»

Что будет, то и будет! Пусть отравит... И все-таки кто написал эту записку? Ведь дело рискованное, если это не западня. Али Кушчи, мавляна Мухиддин? Ну нет, такие дела не под силу людям науки. На такой риск может решиться лишь воин. Как

Бобо Хусейн... Наверное, он... Так что же, попробовать бежать?.. Нет, он не будет пытаться бежать. Он правитель Мавераннахра. Он может отдать власть, но спастись бегством?.. Да и куда он может убежать, он, кто сорок лет был на глазах всех и каждого в стране... «Мне ничего не нужно, Абдул-Латиф! — мысленно обратился Улугбек к сыну.— Бери, все бери. Все твое. Только не опозорь в веках ни меня, ни себя позором черным!»

В комнате стало совсем темно. Снопик света, падавший сверху, погас. Сквозь отверстие в потолке, маленькое, величиной с ладонь, проглянули звезды.

— О, боже мой, — прошептал Улугбек.

Да что это с ним? Он не угадал этих звезд, он, астроном, что знал каждую, как свой палец... Какое же это созвездие? Кажется, Дубби акбар, или нет? Глаза его потускнели или, чего доброго, он тронулся разумом?

Мысли узника путались.

Улугбек, удрученный, собирался заснуть, но тут раскрылась дверь и в комнату вошли два воина, оба с обнаженными саблями. По серьгам в ушах Улугбек узнал уроженцев Балха. Какой-то незнакомый смуглокожий есаул появился вслед за воинами, отвесил небрежный поклон, слегка склонив голову в темно-зеленой чалме, и молча указал рукой на дверь.

Улугбек сдержал гнев, хотя непочтительность чужестранца была нарочитой. Узник накинул на себя шубу, вышел вслед за воинами.

Кромешная тьма наполнила дворы Кок-сарая; сторожевые башни, гарем, дворцовые постройки — все безмолствовало. Только в самом крайнем окошке одного из домов гарема чуть пробивался свет.

Перед глазами Улугбека возникло видение — красавица невольница с печальными васильковыми глазами, его последняя радость, последнее прибежище сердца... Любое существо стремится от холода к теплу — так и Улугбек, когда не знал, куда деть себя от тоски, от мучительных раздумий, стремился к этой кроткой девушке с печальными глазами и, завидев застенчивую ее улыбку, горящие смущением щеки, словно сбрасывал груз прожитых лет и тяжесть забот. Он с удовольствием слушал ее слова, радостно убеждался в том, что его тяга к ней отзывается и в ее сердце. Последняя, предзакатная любовь, ниспосланная для того, чтобы утешить его, последнее солнышко, способное согреть его душу, — даст ли всевышний возможность хотя бы еще один раз увидеть это солнышко? Мирза Улугбек заставил себя оторвать взгляд от окна...

Приемная зала была ярко освещена. В креслах с высокими спинками, расставленных вдоль стен, восседали служители веры, все одинаково одетые: поверх суконного золотистого халата покрывала из белого шелка, у всех белоснежные чалмы на

головах. Некоторые из улемов, завидя вошедшего Улугбека, по привычке торопливо встали, но под горящим гневным взглядом шейха Низамиддина Хомуша — он сидел в углу палаты — с той же поспешностью попадали в кресла.

Сановников не было. «Марофаа, — догадался Улугбек. — Религиозный суд. Но тогда почему нет шейх-уль-ислама Бурханидина и почтенного верховного казия хаджи Мискина? Неужели и на них осмелился поднять руку Абдул-Латиф?»

Шейх Низамиддин погладил свою белую холеную — каждый волосок блестит — бороду. Приподнял руку, призывая к вниманию.

— Раб аллаха Мухаммад Тарагай! — начал он, намеренно не произнося титула Улугбека. — Улемы Самарканда, служители истинной веры, мы собрались сюда, чтобы сделать объявление о высочайшей воле нашего повелителя Мирзы Абдул-Латифа, а также довести до сведения вашего фетву — решение улемов.

— А где сам наследник? Где мой сын? — перебил Улугбек.

Шейх откинулся назад.

— Наш благодетель и защитник престола счел грехом для себя лицемерие того, кто был властелином-вероотступником.

Улугбек побледнел, но заставил себя иронически улыбнуться. Сложив на груди руки, он почти надменно взглянул на шейха. Султан Улугбек был готов к бою.

— Раб аллаха! — воскликнул Улугбек, тоже намеренно не назвав титула шейха. — Кто из слуг аллаха вероотступник, а кто верует в него всем сердцем, про то не смертному знать, а только ему самому, всевышнему! Решать за аллаха то, что может решить лишь сам создатель, — не тягчайший ли грех против нашей истинной веры?

Сидящие в зале, словно по команде, повернули головы к шейху. Как он отобьет этот выпад? Шейх снова поднял руку и торжествующе потряс четками из темного жемчуга.

— Напротив, напротив! Назвать своими именами добро и зло, назвать вероотступником вероотступника, того, кто сбивает мусульман с праведного пути, — это не только не грех, но богоугодный поступок. Лишь невежда, погрязший в грехах, или хуже того...

— Лишь невежда не знает, что написано в Коране, — опять перебил его Улугбек. — Там же сказано: все хорошее и все плохое — все от аллаха! И раз это так, то в чем нарушил я заповеди аллаха?

Гул возмущения промчался вдоль стен, улемы повскакали с мест.

— Проклятие гонителю истинно верующих!

Шейх призвал к спокойствию тем же торжественным жестом руки. Но в красивых, засверкавших глазах его пылал плохо скрытый гнев. Он пригнулся, впился взглядом в султана.

— Самовольное толкование Корана — нет тяжелее греха!.. О, слепота, о, самомнение человеческое! Безбожник спорит

о боге вместо того, чтобы просить об отпущении грехов!.. Эй, раб аллаха! Вспомни-ка эту суру из священной книги: все, что содеяно аллахом — и милость, и щедрость, и муки, и страдания, — все, все справедливо, и нет у аллаха долга перед своими рабами!..

— Не мешает вспомнить и другую суру: «Дарю знание рабам своим для того, чтобы...»

— Довольно, хватит кощунствовать!

— И в самом деле, — шейх развел руками, показывая, что больше сдерживать возмущение собравшихся улемов он не в силах, — и в самом деле... Для того ли пришли мы во дворец, чтобы спорить с вероотступником о канонах веры?

Спазма ярости схватила Улугбека за горло, не дала свободно вздохнуть. С усилием сдержался. Перекрывая шум, громко произнес:

— Чтобы спорить о канонах веры, надо быть просвещенным человеком. На этот же суд, на эту лживую богопротивную сходку собрались не мудрые улемы, а темные души, недалекие умы и...

Зал задрожал от диких воплей: «Осквернитель веры!», «Да будет проклят вероотступник!», «Будь проклят!», «Во веки веков!» В таком шуме нельзя было слышать тонкого скрипа одной половины двустворчатой двери, что вела во внутренние покои, — она чуть приоткрылась и тут же снова закрылась.

Шейх Низамиддин Хомуш поплевал по сторонам в знак того, что отгоняет злых духов. Властно закричал:

— Раб гордыни! Ты, возгордившись, сбил с пути истинного многих мусульман. Ты научил народ развратной жизни, бражничеству, стихам и пляскам. Ты открыл медресе и заставил учиться — о, аллах, только чему?! — и мужчин, и женщин... Неужели этих грехов мало?..

— Но почему это грех, достопочтеннейший шейх? Нет ничего дурного в радостях жизни, если они умеренны. А уж тем более в учении. Ибо сказано: учиться знанию есть долг каждого мусульманина и каждой мусульманки... В Коране, как известно, сказано...

— Нет в Коране такого утверждения, нет!.. Не знаю!.. Довольно!..

— Нет в Коране, есть в хадисах. А там, вы знаете, собраны изречения пророка. — Улугбек уже откровенно смеялся. — Или, о святой шейх, слова пророка перестали быть законом для мусульман?

Шум внезапно смолк. И все улемы вновь повернулись к шейху. Тот резко пристукнул посохом, сжав хризолитовую ручку так, что побелели пальцы, выпрямился и, судорожно дергаясь всем телом, закричал как мог громко:

— Заклинаю... заклинаю прахом деда твоего, великого эмира Тимура, прахом отца твоего, Хакани Саида Мирзы Шах-руха — проси всевышнего о прощении тебе грехов, или...

— Вам, вам надо о том просить! — Улугбек сделал шаг вперед. — Мои грехи рассудит аллах, а вот почему вы вместо того, чтобы сидеть у себя в «Мазари шериф» и славить, славить аллаха — вот ваше богоугодное дело... почему вы вместо смиренной молитвы вешиваетесь в дела, вам не подсудные, в дела государства?.. Это вы, вы живете в блуде и роскоши... Вы алчете власти, вы плетете заговоры, вы желаете встать над законным правителем страны! Султан — тень аллаха на земле! Хоть это изречение Корана вам ведомо? Ведомо, но не хотите с ним примириться. Вот он, ваш великий грех!

Твердыми шагами Улугбек направился к двери: он-то видел, как она приоткрылась, догадался, кто за нею. Вид султана был страшен, бледное, как алебастр, лицо, горящие глаза, весь словно стрела, готовая сорваться с тетивы. Улугбек пошел прямо на улемов, что толпились возле двери, и ни один не посмел преградить ему дорогу. С силой толкнул он дверь, правая половинка ее ударилась о стену и снова захлопнулась, и тогда Улугбек рванул ее на себя, прошел в саямхану и притворил дверь за собой.

Абдул-Латиф едва успел отскочить от двери к трону.

Рядом с тронном в глубоком ярко-красном бархатном кресле Улугбек увидел ишана Убайдуллу Ходжу Ахрара.

Круглая золотая люстра посылала вниз лучи более десятка свечей, в боковых же нишах свечи не горели, при таком верхнем освещении лицо шах-заде казалось бесцветно-серым — какая-то безжизненная маска. Глубоко запавшие глаза, тонкие пальцы дрожали, выдавая смятение. Ишан Ходжа Ахрар был, напротив, воплощением спокойствия. Белая накидка поверх рыжего одеяния шейхов — джуббы — плавно стелилась по его полной широкой фигуре, спокойно, даже уютно устроившейся в кресле; конец чалмы, свисая на грудь, терялся в завитках черной, без единого седого волоса бороды, размеренно-спокойно двигались короткопалые руки, перебирая четки, губы шевелились — ишан молился, неторопливо, будто один у себя дома.

«И этот ворон успел прилететь. Верховный ишан из Шаша, давний мой «друг», — подумал Улугбек. Вслух же сказал:

— Простите, святейший, я хотел бы поговорить с сыном.

Ишан не прервал молитвы, не изменил позы. Но взгляд его перехватил Абдул-Латиф. Вздрогнув, шах-заде буркнул:

— В беседе обязательно должен принять участие мой пир, святейший ишан.

— Нет! — резко сказал Улугбек. — Я хочу говорить с тобой наедине, только наедине. Или ты отказываешь отцу в последнем его желании?!

Ишан оперся о подлокотники кресла, молча встал. Неторопливо направился к выходу. Полное лицо его дышало невозмутимостью, толстые пальцы по-прежнему перебирали четки — во всем этом чувствовалась властная сила, все это внушало: «Будь смелей, независимей, шах-заде!»

Ишан открыл дверь — и словно гул пчелиного улья донесся из приемной залы, дверь закрылась — снова стало тихо.

Улугбек облегченно вздохнул. Подошел к трону, провел рукой по обивке сиденья. Сел в кресло, которое только что занимал ишан. Глаза Абдул-Латифа напряженно следили за отцом, безжизненное лицо-маска оставалось недвижимым. Улугбек вдруг на миг ощутил жалость к сыну, отцовское желание уберечь его от зла нахлынуло на сердце. Надо найти, найти первое слово.

Гордость Тимурова внука не позволяла расслабиться, дать волю жалости.

Тишина угнетала обоих. Комната словно потемнела. Потемнели стены в нежно переливающихся узорах, потемнели ярко освещенные орнаменты на потолке, огненные ковры на полу, канделябры и свечи. Или это ему кажется оттого, что буря утихает в душе?

Абдул-Латиф вдруг подошел к трону, демонстративно уселся на него.

Пусть так. Он больше не хотел владеть этим тронном. Но, смотри, как неожиданно изменилось лицо сына! То ли сам трон, это вожаденное сиденье властителя, придавал ему силу, то ли что другое перевернуло душу, но взгляд Абдул-Латифа сразу приобрел твердость, в прищуре глаз — жестокость и решимость. Совсем как прадед, эмир Тимур! Правда, в облике деда на троне было больше спокойствия, а этот сидит на краешке и, кажется, разыгрывает спокойствие. Но все-таки не маска уже и нет знаков растерянности.

Улугбек оторвал взгляд от лица сына.

О, как меняется человек, когда садится на трон! Будто ты уже и не смертный, который, придет срок, уйдет. Будто и впрямь тебя уже все любят, а не делают вид, что любят, и будто не было до тебя тысяч и тысяч измен. Да что говорить, самому эмиру Тимуру изменяли!.. Вот он сидит, отпрыск Тимура, правнук его, важный, надутый, старается казаться страшным и несокрушимым и не знает, что все это призрак, сон...

Э-э, Мухаммад Тарагай, что это ты так безжалостно судишь о том, кто сидит рядом с тобой, но выше тебя? А тебя самого не лишаю ума-разума это золотое сиденье, не опьяняла возможность властвовать над подобными себе? Никогда, никогда? Не лги самому себе, Мухаммад Тарагай... И не забывай, что сын твой — вон там, на троне! Говорят, только конь снесет удар коня. Дай-ка лучше наставление сыну, слуга божий, не гордись собой, не проклинай его. Надо пожелать ему не плохого, а хорошего, как ты и хотел сделать!

Мирза Улугбек, подавив свою гордость, как только мог душевно сказал Абдул-Латифу:

— Шахзодаи дувонбахт!<sup>1</sup> Ты был наследником моего пре-

---

<sup>1</sup> Счастливей царевич! (перс.)

стола. Призови всевышний меня к себе, ты занял бы мое место на этом троне. Ныне, по милости аллаха, ты занял его при живом еще отце. По милости аллаха и по моей воле...

Шах-заде впился в поручни трона.

— Хвала вам, благодетель! Но все же вернее будет сказать, что трон этот достался мне против вашей воли. По милости аллаха, это верно. И благодаря моей смелости, благодаря моей сабле, отец мой!

«Вот он, беркут!» Улугбек плотно сжал губы. Отцовское желание предохранить сына от бед улетучилось, будто свеча погасла от дуновения резкого ветра. «Склоненную голову меч не сечет, так говорят. И приличия ради можно было бы не топтать моего достоинства. Но этот... стервятник...»

— Ты еще не овладел всем Мавераннахром, а мнишь, что перевернул вселенную. И знай, не в силе сила. На любую большую силу всегда находится другая, еще большая. Рано или поздно, но находится.

Шах-заде стал совсем белым.

— Почему это не овладел всем Мавераннахром? Народ страны весь под моей пятой!

— «Под пятой»,— передразнил сына Улугбек.— Гордец несмышленный! Были повелители посильнее тебя, и они считали, будто эта земля под их пятой. Земля наша все земля, а они где? Мавераннахр стоит на веки вечные, поставленный аллахом.

На тонких губах наследника зазмеилась ехидная улыбка — такая же, что была у старой ненавистницы Улугбека Гаухаршод-бегим. Гератская ухмылка, зловещая и коварная... Впрочем, ни при чем тут гератская ухмылка. Трон, трон портит, развращает, ослепляет людей. Знает ли этот заносчивый венцелюбец, что сказал когда-то мудрый Омар Хайям?

Бессмертных нет! Как много сильных в мире этом  
Уже ушло... И мы простимся с белым светом.

— Что шепчете, отец? Благословение покорному сыну?

— Благословение мое тебе не нужно, как видно. А скажу я тебе вот что, сын. Не будет тебе счастья на этом троне... Никому он не приносил счастья, даже эмиру Тимуру. Запомни это хорошенько.

Абдул-Латиф встал, желая кончить тягостную встречу.

— Если в том цель беседы, наставления вашего, то не стану утруждать ни себя, ни вас ее продолжением. Если хотите что-то еще сказать, говорите, а если нет,— голос Абдул-Латифа угрожающе понизился,— если нет...

— Погоди, повелитель... Есть у меня одно-единственное пожелание, которое и осталось мне высказать. Мое последнее пожелание... Ты хочешь изгнать меня из пределов Мавераннахра, да? Так лучше казни! Слышишь, осуди на смерть!

Комок подкатил к горлу. Улугбек замолчал.

Молчал и Абдул-Латиф. Наморщил лоб. Отвернулся от отца. Плечи опустились. Показалось, что он тоже чуть не плачет.

— Сын мой,— мягко обратился к шах-заде Улугбек.— Сын мой, скажи...

Абдул-Латиф молчал.

«Видно, думает, что в одни ножны нельзя спрятать две сабли. Да не хочу я быть саблей, не хочу, глупый. Лучше мне ослепнуть, чем видеть, как сын размышляет о том, чтобы убраться отца со своей дороги, да как получше, понадежнее».

— Сын мой, ты должен понять меня.

— Простите, отец,— заговорил наконец Абдул-Латиф,— но я не могу пойти против фетвы, вынесенной почтенными улемами. Говорят же, фетва улемов — что печать аллаха!

— Разве улемы — пророки, чтобы передавать нам, простым смертным, наказания всевышнего?.. Слово повелителя — закон для подданных, в том числе и улемов. Будешь их бояться — потеряешь трон!.. Пусть он твой, пусть власть, слава, почести — все тебе. Мне малое нужно — жить на родной земле и заниматься любимым делом в обсерватории своей. Куска хлеба, одного кумгана воды на день мне будет достаточно. Не бойся, я не буду сражаться за то, чтобы снова сесть на этот зло приносящий трон. Я хочу в оставшееся мне время закончить каталог звезд, дописать книги свои...

Шах-заде вдруг круто повернулся, заговорил так яростно, что кончики редких усов ошетинились, губы задрожали:

— Обсерватория, каталог звезд!.. Все ваши мударрисы — безбожники, вероотступники! Мне не раз говорили об этом истинные служители веры, которых вы унижали... За это, за это аллах покарал вас, лишил престола! А вы вместо покаяния — опять про обсерваторию?! — Абдул-Латиф повернул лицо в сторону Мекки.— О великий аллах! Ты слышишь его слова, ты видишь сколь закоснел сей раб твой в грехе, поддавшись гордыне, желая раскрыть тайны, которые ты счел недозволёнными для разгадки, о великий аллах, молю тебя, прости раба твоего грешного.

И Абдул-Латиф закрыл глаза, зашептал молитву.

Улугбек, пораженный, смотрел на сына. Он знал, что наследник фанатичен, ему говорили, что в Балхе, где правил Абдул-Латиф, притесняли просвещенных людей, но чтобы его сын до такой степени был темен! И жесток, и лицемерен!

— Шах-заде,— Улугбек опустил глаза, чтобы скрыть боль и гнев,— кого настигнет проклятие или прощение, о том судить не нам, смертным...

— Да, да, всевышний знает, все знает. Невинного не тронет, но кто поднимет меч против истинной веры — будь он нищий или самый могучий шах! — того аллах покарает так... — Абдул-Латиф сжал кулаки, голос его срывался на крик,— того он... того я... Это исчадие ада, источник ереси, обсерваторию — в пепел! Сожгу дотла!.. И хватит, хватит разговоров. Какой



вы мне отец? Где ваша щедрость?.. Я... я ли не выказал храбрости, я ли щадил себя в битве при Тарнобе.— Шах-заде не в силах уже сдержаться, выплескивал истинное, не скрытое приличием отношение к отцу, к родне.— Не я ли?.. А слава и добыча кому достались?.. Любимчику вашему Абдул-Азизу!

— Что ты говоришь?

«О аллах! Такой вот сумасшедший на троне Мавераннахра! Несчастливая страна!»

— Что ты говоришь?! Ведь Абдул-Азиз родной твой брат!

— Брат? Благодарю вас за такого братца... Благодарю... за такого отца! Кто взял мое золото из замка Ихтиериддина, золото, завещанное мне прадедом? Кто? Благодетель-отец!.. А-а-а... Всему есть предел, терпению моему тоже... Ну, отвечайте, где золото Сахибкирана Тимура, где?

Улугбек отпрянул.

— О каком золоте ты говоришь?

— А-а, будто не знаете? О том золоте, о тех драгоценностях, что эмир Тимур привез из Египта, Дамаска, Багдада! Где золотые индийские статуэтки? Передали? Своему любимчику передали, Абдул-Азизу, или безбожному Али Кушчи? Где он? Я его... я ему...

Взгляд Абдул-Латифа — взгляд безумца. Шах-заде почти спрыгнул с трона и пошел вперед, свирепо глядя на отца. Улугбек, отступая, свалил кресло. Грохот, видно, привел Абдул-Латифа в чувство.

— Где же он, ваш Али Кушчи? — уже несколько спокойнее спросил шах-заде, остановившись как вкопанный.

«Не знаешь. К счастью, не знаешь, иначе не кричал бы так, как только что кричал.»

— Не ведаю о нем...

— Я не верю, ни одному вашему слову не верю... Зачем звали к себе Али Кушчи перед походом, в самую последнюю ночь? Что передали ему?

Улугбек уже полностью овладел собой.

— Твои соглядатаи видели, как Али Кушчи приходил в этот дворец, так спроси у них, что я передал тогда Али Кушчи.

— Я знаю, что! Я хочу слышать от вас.

— Я пришел не за этим,— Улугбек выпрямился и посмотрел сыну прямо в глаза. «Не знаешь, иначе не так разговаривал бы со мной, беркут». — Я пришел дать тебе отцовское наставление... Оказалось, не оно тебе нужно, а золото. Золото, не тебе принадлежащее! Как и то, что добыто в битве при Тарнобе.— Улугбек властно вскинул руку, видя, что шах-заде хочет его перебить.— Издавна повелось: отцовское слово — закон для сыновей. Ты можешь не посчитаться с этим. Хочешь, выгони меня на чужбину, хочешь, казни, ты и на такое, вижу, способен. Все в твоих руках, потому что сила сейчас у тебя. Но что эта сила против отцовского проклятия, ты об этом не думал?.. Так знай: если тронешь обсерваторию, если тронешь моих

ученых, моих учителей и моих учеников, знай, прокляну на веки веков! И еще помни: ничто в мире не проходит без следа, ни один низкий поступок не остается ненаказанным, ни одна несправедливость неотмщенной... У меня нет больше слов для тебя. Зови теперь своего есаула!

Лицо Абдул-Латифа мелко-мелко дрожало. Он хотел было что-то сказать, но не сказал. Посмотрел на отца с нескрываемой ненавистью, отвернулся от него, помолчал минуту, будто колеблясь, крикнул:

— Есаул!

## 11

Сидя на осле, Али Кушчи свесился в сторону; в одной руке он держал поводья шагавших сзади четырех верблюдов, другою похлопывал ослу по шее, понуждая его двигаться побыстрей. Но это плохо удавалось. Замыкающий их караван Мирам Чалаби, семнадцатилетний талиб, краса и гордость медресе Улугбека, качался в такт неторопливым шагам своего «иноходца», который четко держал дистанцию по отношению к впереди идущему собрату.

Самарканд Али Кушчи с учеником покинули вчера в полночь. Путь лежал к Ургутским горам, все время вдоль высохшего ручья. Ехали до рассвета, утром остановились на привал в ореховой роще. Целый день продолжался этот привал: попадаться на глаза людям не следовало. С заходом солнца отправились дальше: по расчетам мавляны, можно было достичь Драконовой пещеры под утро, если всю ночь провести в движении.

Каждый верблюд тащил четыре сундука, скрытых в большой копне сена; встречные люди могли принять путников за дехкан или за пастуха с подпаском — они и впрямь смахивали на пастухов в своих темных чекменях, пастушьих войлочных шапках, надвинутых на лоб низко, до самых бровей.

Ночь была тиха. Над грядой гор впереди висел только что родившийся серп луны, который еле-еле освещал широкое русло, деревья по обеим его сторонам и те самые ореховые рощи, которые тянулись вдоль ручья. Спокойно, а жутковато!

Большого черного осли, то и дело спотыкавшегося о камни, но ходока неутомимого, а также верблюдов достали откуда-то для Али Кушчи Каландар и Уста Тимур. Под Мирамом семенил осел мавляны. Прокравшись в обсерваторию за день до их с Мирамом ухода, Каландар передал Али Кушчи мрачные слухи, которые целый день будоражили город: в соборной мечети собрались улемы, обвинили Мирзу Улугбека в неугодных богу деяниях, прочитали фетву о наложении запрета на все его противоречащие шариату начинания. Медлить было нельзя. Каландар сказал, что на следующий день с наступлением тем-

юты он приведет верблюдов, уже навьюченных порожними сундуками, велел быть к тому времени готовым — и людям, и книгам. Работа была адски тяжелой: раз сундуки нельзя было нести во двор обсерватории, а книги вынести к воротам, пришлось книги складывать в мешки и тянуть каждый мешок через подземный ход к выходу в овраг. Поэтому и пришлось посвятить тайну и приобщить к работе Мирама: одному совершить это дело Али Кушчи было бы не по силам.

А как непросто оказалось отобрать книги! Любую было жаль оставлять, любая казалась бесценной. Али Кушчи под нетерпеливыми взглядами Мирама брал книгу в руки, листал ее, вздыхал горестно и ставил обратно. Но произведения мудрецов Мавераннахра!.. Нет, их нельзя было ставить обратно на полки и в шкафы, эти тяжелые книги, переписанные по велению устода самыми искусными каллиграфами, обернутые в зеленый, красный и желтый сафьян. Редкие, истинно бесценные, к тому же родные создания! Но сколько же их! Как много! Одни произведения мудреца мудрецов Абу Райхана Бируни наполнили целый мешок: «Ал-Канун ал масъуди», «Мезон ул хикмат», «Китоб ус сайдана»<sup>1</sup> завернутая в розовый шелк... А ученейший из ученых Абу Али ибн Сина: большущие «Китоб уш шифо» и «Китоб ун нажот»<sup>2</sup>, жемчужины искусства врачевания, не помещались даже в мешке, равно как начерченные на шелковой бумаге звездные таблицы самого Улугбека и его же, не dokonченные еще переписчиками-каллиграфами исторические трактаты. Вместе с книгами Авиценны Али Кушчи сложил их в особый сундук, завернув предварительно в плотную парчу...

Книги, книги, книги... Вот любимый устомом трактат «Лугат-ат-тюрк», переписанный на коже серны. Вот «Математика», начертанная собственной рукой благословенного Кази-заде Руми... А вот в изящном золоченом переплете стихи Омара Хайяма, чьими математическими познаниями восхищается разум, а стихами утоляется жажда души... И рядом — в бархате — произведения великого создателя алгебры Абу Абдуллы Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми «Китоб алмухтасар фи хисоб алджабр мухобала».

Как же можно бросить здесь на произвол судьбы такие книги? Как можно подумать о том, чтобы оставить их, боготворимых устомом?

Отобранные Али Кушчи книги составляли лишь малую часть библиотеки Улугбека. Но и они заполнили сорок мешков. Али Кушчи и Мирам Чалаби перетаскали один за другим все мешки по длинному подземному лазу. Работу эту закончили они далеко за полночь, а незадолго до рассвета в овраге появились Каландар и Уста Тимур, которые привели верблюдов, навьюченных сундуками. Вчетвером дело пошло быстрее;

<sup>1</sup> Книги по астрономии.

<sup>2</sup> Книги по медицине.

каждый сундук — это три мешка книг, на каждого верблюда пришлось по четыре сундука; довольно долго возились с сеном; удивлялись неожиданному для себя открытию — оказывается, тяжелы бывают книги: самцы-верблюды, здоровенные и привычные к большим грузам, поднялись на ноги, пошатываясь, когда погрузка была завершена.

И вот со вчерашнего дня Али Кушчи и Мирам в пути. Верблюды хорошо отдохнули в ореховой роще, куда маленький караван скрылся при наступлении дня, — пусть места эти не очень-то многолюдны, но осторожность не повредит. Сыщики и доносчики могли рыскасть и тут. Ну а если с ними разминуться, то, хвала аллаху, Драконова пещера даст возможность сделать дело так, как нужно.

Эту пещеру Али Кушчи увидел впервые лет пятнадцать... нет, шестнадцать... шестнадцать лет назад. Стояла теплая осень, самое подходящее время для охоты на архаров, и Мирза Улугбек с придворными отправился к Ургутским горам.

Ранним утром нукеры, расседлав скакунов, уходили высоко в горы. Брала с собою натасканных собак. Отыскивали стадо архаров, окружали его, гнали вниз по намеченным дорогам. Придворные прятались в рощах арчи на склонах. Архары мчались с огромной скоростью мимо них, подставляя себя под стрелы. В забаве этой было мало удалства, зато добывалось много вкусного мяса: шашлыков готовили столько, что можно было пировать в шелковых шатрах до утра, что Улугбек и делал неоднократно. Правда, порою все это надоедало повелителю, и он с тремя-четырьмя приближенными сам поднимался в горы. Это было опасно, но тогда Улугбек еще любил бросать вызов опасностям. Так вот, однажды он и Али Кушчи с эмиром Арсланом и отправились в горы. Причем не пешими, как нукеры, а конными. День выдался хмурый, тяжелые тучи стлались низко над головой, поднялся резкий студеный ветер. Но Улугбек, бывший внизу в мрачном настроении, здесь, наверху, почему-то даже повеселел. Лебединошей скакун его, а скакун тот был белый, арабской породы, лихо преодолевал ручьи и речки, увалы и рощицы. Из желтизны и оранжевости ореховых и урюковых рощ они выскакивали на горные луга, сохранившие по-весеннему сочный зеленый цвет. Султан, лишь только спутники нагоняли его, прищпоривал коня и опять уходил вперед; казалось, охота была забыта, так захватила Улугбека красота этих мест.

Но тучи сгущались недаром: вскоре пошел дождь, да такой, что в один миг среди камней зазмеились все увеличивающиеся потоки. Мог быть и обвал, мог начаться и сель. Али Кушчи и Арслан в один голос стали просить повелителя вернуться, да тут из рощи, которую неподалеку пересекала их тропа, выскочили два архара и помчались, срывая камни, вниз, в сторону. Улугбек гикнул и — за ними, так, видно, и не услышав крик осторожного мавляны: «Устод, остановитесь!»

Архары скрылись в нижней части рощицы, вслед за ними исчез из глаз и Улугбек. Долго искал повелителя Али Кушчи, вымокший до нитки, исхлестанный ветвями. Выскочив из рощицы, увидел на склоне другого холма и архаров, и Улугбека, стремительно поднимающихся вверх. Уму непостижимо, как проскочили они через мгновенно возникший бешенный поток в лощине?

Быть беде! Али Кушчи отчаянно хлестнул и без того измученного коня, ринулся через поток, эмир Арслан же, как ни хлестал своего скакуна, так и остался на той стороне: конь заупрямился, да и только! Али Кушчи заметил это, уже преодолев поток; в лощине он только чувствовал удары камней, в воде — напряжение коня. И страх за устода.

Снова какая-то роща преградила ему путь, и снова сквозь нее! И грохот селя сзади, и тьма, вдруг павшая на землю, и тяжелый удар грома, от которого, казалось, должна расколоться гора, что поднималась перед ним.

Архары (а за ними конь устода) карабкались все вверх и вверх, казалось, прямо к снежным пикам, и там, где они прошли, оставались сломанные ветки, помятые кусты арчи и кизила. Всадник потерял из виду повелителя, а тут еще на пути закрыла полнеба огромная гранитная скала. Дождь поливал ее, струи воды смывали камешки. А что, если сорвутся не камешки, а камни? Где архары, где устод?

Али Кушчи взял коня под уздцы накоротке, так, осторожно оглядываясь, прихрамывая, обошел скалу.

С противоположной стороны скала обрывалась гладко стесанной пропастью. В страхе за себя (и за устода) Али Кушчи остановился на краю обрыва. Ему почудилось, будто кто-то там есть, внизу.

— Учитель!

— Али Кушчи, это ты? Взбирайся сюда, дорогой мой!

Голос шел не снизу, хвала тебе, всевышний,— сверху! Подняв голову, не обращая внимания на дождь, мгновенно заливший лицо, Али Кушчи увидел, что Улугбек стоит над ним у большущего скособоченного валуна. Туда можно было пройти.

Но только без лошади.

Мавляна оставил коня на месте, сам же начал карабкаться вверх. Поднявшись, обнаружил, что Улугбек стоит с непокрытой головой, насквозь мокрый, чекмень его даже уже не впитывает дождевую воду, стоит и... улыбается.

— Смотри под камень, вход... Пещера!

— Как вы, устод, и где ваш конь?

— Там, конь там,— Улугбек махнул рукой на обрыв, не отрывая глаз от входа в пещеру. Далекая молния снова блеснула, осветив окрестность.— Видел? Пещера, Али! Огромная, без конца и края,— почему-то восторженно зашептал Улугбек.— Пошли?

И, не дожидаясь, что скажет Али Кушчи, первым нырнул в проем.

Внезапно вылетевшие из глубины пещеры потревоженные сизые горлинки заставили вздрогнуть Али Кушчи. Когда глаза его свыклись с темнотой, он понял, что пещера эта, в самом деле гигантская, — обиталище птиц: так много было здесь остатков старых гнезд и разбросанных перьев.

— Кремень, Али! Надо найти кремень!

Али Кушчи ладонью на ощупь отыскал на полу пещеры два кремневых камешка, выдернул из рукава одежды клочок ваты для фитиля. С грехом пополам фитиль затлеял, подожди им какие-то ветки, мало-помалу разгорелся настоящий костер. Красноватые стены пещеры заблестали, в углу зазиял проход куда-то в глубь горы.

Али Кушчи привязал к сабле свою рубашку, зажег ее и с таким факелом двинулся вперед. Пройдя шагов пятнадцать по стиснутому с обеих сторон и кривому, словно змеиный след, ходу, он остановился перед каким-то темным провалом. Стояв в нерешительности, Али Кушчи снял с себя кушак, один конец его подал Улугбеку, держась за другой, спустился вниз — яма оказалась по грудь. Поднырнув в боковой проем, мавланя попал в новую пещеру, еще большую, чем прежняя. Просторная, эта пещера была и выше первой; стены ее отсвечивали белизной.

— Видишь? Как фарфор, — восхищенно прошептал за спиной мавланы Улугбек. — А там, смотри...

И Али Кушчи увидел, что из новой пещеры куда-то в еще большую глубину ведет еще одна яма-щель. Где же конец этой цепочке пещер и есть ли он вообще? Они облазили малую часть, сами не зная, зачем им это нужно.

Впоследствии они редко вспоминали загадочное подземелье, прозванное ими Драконовой пещерой, но стоило Али Кушчи попасть к Уста Тимуру, и давнее происшествие встало перед глазами, вспомнилось с удивительной отчетливостью.

Конечно, сокровища библиотеки Улугбека можно спрятать и в Самарканде. В конце концов, не для сырых и темных подземелий пишутся книги! Но сейчас... Сейчас будет лучше, если эти великие создания человеческого ума скроются в Драконовой пещере, подальше от недобрых глаз. О, аллах, сколько таких творений уничтожено людским невежеством! Сколько книгохранилищ было разорено, сколько прекрасных книг сожжено на площадях Рима и Багдада, Каира и Константинополя!

Да минует нас такая судьба, да пройдут скорее дни испытаний и несчастий и пусть на престол Мавераннахра вновь воссядет повелитель-устод!.. Если же нет, если шах-заде укрепит свою бесчеловечную власть, то... скройтесь здесь, книги, лежите в безопасности, как дитя в материнской утробе. Лишь бы он, Али Кушчи, не сбился с пути, лишь бы ничего не помешало ему по дороге.

Нет, Али Кушчи достаточно было побывать в каком-нибудь месте один раз, чтобы запомнить и место это, и путь к нему.

Вот оно, джайляу, на котором в ту давнюю осень они разбили шелковые шатры. Окруженное снежными вершинами, это джайляу полно сейчас особой, божественно прекрасной тишины. Лишь стрекотанье сверчков нарушает ее да рокот далекого ручья.

То самое джайляу, то самое. Ну конечно, ведь на склоне холма, среди арчовых зарослей, они поставили тогда шатры, а внизу, у ручья, паслись белые кобылицы, чье молоко шло на кумыс, столь желанный после обильных возлияний.

Пронеслись годы. И что исполнилось из того, о чем говорили они с устодом в ту давнюю охотничью осень?

Ничего не поделаешь: слишком жестокой оказалась жизнь, слишком немилосердным мир.

Али Кушчи снова вспомнил Салахиддина-ювелира, и на этот раз, как бывало всегда, когда он вспоминал черную неблагодарность, сердце заняло от горькой обиды. Ну ладно бы, если такими неблагодарными оказались только ювелир и его сын. А то ведь и другие...

В тот самый день, когда разгневанный мавляна вышел из дома хаджи Салахиддина, встретился ему по дороге какой-то нищий в старом лоскутном халате. На узкой улочке им предстояло разойтись, что и хотел сделать Али Кушчи, не обратив внимания на встречного. Но нищий вдруг попятился, сначала замахал руками, что невольно остановило Али Кушчи, а затем почтительно сложил их на груди. Странно дергаясь лицом, нищий заговорил:

— Э-э, мавляна Али Кушчи... Ассалям алейкум, хвала вам, хвала!

Али Кушчи не поверил глазам: в рубище нищего, в этой изодранной тюбетейке предстал перед ним известный в придворных кругах и во всей столице поэт Мирюсуф Хилвати. В последнее время Али Кушчи не видел его, и вот, оказывается...

— Что произошло, друг мой? Почему вы в таком наряде?

— Осторожность, осторожность, мавляна,— пропел Мирюсуф, озираясь по сторонам.— Береженого бережет всевышний. А благосклонный, отмеченный судьбою шах-заде может взять под стражу и посадить под замок не одного только родителя своего... Лихие времена, мавляна, ой лихие! Лучше уйти из города, лучше изменить облик... лучше исчезнуть на время с глаз людских.— И с этими словами Мирюсуф свернул в соседний узкий переулок.

«Родитель», «под замок», «шах-заде благосклонный», а ведь совсем недавно, на весеннем пиршестве у повелителя в «Баги майдан», пиршестве, на которое приглашены были и ученые, и поэты, и музыканты, пиршестве, где рекой лилось вино и стихи, где все наслаждались искусством танцовщиц и ими самими,— на том пиршестве Мирюсуф Хилвати с большим чувством прочитал стихотворение, посвященное повелителю-устоду. Али Кушчи до сих пор помнит:

Победоносный дед восславлен целым миром,  
Луч милостей его ловил богач и сирий.  
Шахрух, отец твой, был поистине счастливый:  
Для скольких душ он стал владыкой и кумиром!

Над троном поднялась теперь заря науки.  
Забыли все про горести и муки,  
Согласен танец звезд — твоих рабынь прекрасных,—  
И музыки его мы сердцем ловим звуки.

А теперь этот лизоблюд изо всех сил спасает шкуру!

И сколько их, льстецов и лжецов, среди придворных. Матушка Тиллябиби недаром плакала на плече мавляны, умоляя его покинуть город, спрятаться где-нибудь в укромном углу, переждать беду. Но он, Али Кушчи, шагирд Улугбека, его друг, не станет, не станет подобным какому-нибудь Хилвати, не отвернется от устода в тяжелую годину — он ведь не трус, он не мавляна Мухиддин. А если вдруг судьба повернется и снова окажется благосклонной к устоду? Что тогда будут делать, что запоют те, кто ныне изменил Улугбеку? Неужто опять будут низко кланяться, воспевать-восхвалять, презрев укору совести и делая вид, будто ничего и не было?

«Чему тут удивляться, чем возмущаться, Али? Разве неверность — не вечное проклятие рода человеческого? Люди подчиняются разуму — так следовало бы считать, — разуму и совести, разуму и добру. А на деле — и об этом говорили много раз многие-многие поэты и мудрецы — люди подчиняются лжи и богатству, мечу и трону. А коли так, надо, пожалуй, не очень-то рассчитывать на разум людской, на чувство добра, якобы извечно присущее людям...»

Не считает он и устода, даже устода, полностью безгрешным и всецело добродетельным. Конечно, чаще всего Али Кушчи видел Улугбека в часы мудрого спокойствия, столь приличествующего ученому человеку. Но были минуты, когда повелитель преображался в существо дикое, по-дедовски яростное и несправедливое, — минуты, не постигаемые разумом, объяснимые разве что и впрямь тимуровской своевольной кровью.

В памяти нежданно всплыла давняя сцена — ее Али Кушчи не мог вспоминать без содрогания и стыда, гнал, бывало, ее от себя, да вот сейчас почему-то дал свободу воображению.

Случилось это в тот далекий год, когда обсерваторию только начинали, закладывали фундамент, и они, молодые талибы медресе Улугбека, ходили помогать строителям. Водительствовал ими незабвенный Кази-заде Руми. Однажды подходили они к холму, где возводилась обсерватория, и уже издали слух их поражен был чьими-то отчаянными стенаниями, перебиваемыми яростными криками и руганью... кого бы? — повелителя, устода Улугбека! Зрелище, открывшееся взорам талибов, когда они со скоростью вихря взбежали наверх, было невыносимо: распаленный, весь какой-то взлохмаченный Улугбек, стоя на груди сваленных как попало кирпичей, избивал тяжелой плетью



с металлическим наконечником пожилого строителя-каменщика, согнувшегося, обнаженного до пояса. Руками каменщик пытался хоть как-то прикрыть лицо и голову, но и по бритой его голове, потным, дрожащим плечам и рукам, а уж тем паче по спине гуляла зловеще свистящая плеть, и темно-красные следы ее на человеческом теле были густы и страшны!

Кази-заде Руми поднялся на холм чуть позже талибов, так и остолбеневших при виде этого жестокого избиения. А наставник — в широко раскрытых глазах его, обычно скромно опущенных долу, на сей раз гнев, протест, смятение! — кинулся вперед и крикнул резко: «Повелитель! Недостойно... недостойно вас!»

Мирза Улугбек на мгновение замер с вознесенной плетью, обвел всех мутным, ничего не видящим взглядом, шагнул навстречу ученому, каким-то изломанным движением сунул ему в руку плетку, неловко повернулся и зашагал прочь. Кази-заде Руми тут же выронил плеть и брезгливо провел по халату кончиками пальцев.

Позже Али Кушчи узнал, за что так безжалостно избил старого каменщика устод. Оказывается, каменщик посмел пожаловаться ему на похлебку из гнилых продуктов. Не под настроение пожаловался, видно... А разве не знал Али Кушчи о насилии, которое чинилось воинами повелителя, что сгоняли сотни и тысячи дехкан на городские стройки, насилии, тем более известном Улугбеку? А тот знал и воспринимал как должное! А разнужданные порою пиршества султана — они ль говорили о благодравии и добросердечии повелителя?.. Нет, не перед султаном Улугбеком преклонялся Али Кушчи, не перед султаном...

Думы эти не мешали мавляне внимательно следить за дорогой.

Вот то место, где надо свернуть налево, к горам, — тут они свернули в далекий дождливый день охоты на архаров. Рассвет теперь близок: вершушки гор посветлели, сильнее засверкала, как обычно в предутренние часы, луна, будто ее протерли, начистили песком, а особенно ярка Венера, стоящая над лунным кругом.

Все круче и круче становились холмы, все медленнее шли верблюды, все тяжелее звучали сзади их вздохи: бух-бух, бух-бух. А перед самым подъемом к Драконовой пещере они вообще остановятся и придется перевьючивать сундуки на ослов и раз за разом гонять их вверх по крутизне.

Вот здесь они стояли с устодом, когда хлынул дождь. А вот и арчовые заросли, откуда выскочили тогда архары. Ни в чем не изменилась рощица — зеленая, такая же нарядная, будто прошло не пятнадцать лет, а пятнадцать дней... Вот где бушевал сель, остановив коня эмира Арслана. Ручей изменился. Тогда полноводный, а в селевой дождь сразу превратившийся в глубокую, безумную реку, он теперь почти обмелел.

Али Кушчи предположил верно. Перед крутым подъемом верблюды стали «бухать» уже надрывно, подниматься не могли.

Али Кушчи слез с осла. Размял ноги. Прошел несколько шагов вперед. Огляделся. Кругом тихо и пустынно. Нигде ни человека, ни животных. Только из арчовника доносятся птичьи перебранки. Воздух чист, напоен запахами арчи, барбариса, персидской рябины и еще каких-то горных растений, не известных Али Кушчи.

Мавляна оглянулся на Мирама.

— Слезай и ты, сынок. Приехали к пещере. Пусть лягут верблюды.

Глаза юноши при слове «пещера» вспыхнули, словно у нищего при слове «золото».

Верблюды легли на отдых, их привязали длинными прочными веревками к деревьям и кустам.

Али Кушчи, захватив заранее приготовленные фитили, полез наверх, к гранитным скалам, пробираясь через заросли кизила и барбариса.

Мирам Чалаби, все еще беспокойно озираясь вокруг, полез за ним.

Вот они, наконец-то, те громадные глыбы, каждая с купол соборной мечети, которые тогда, во время ливня, казалось, чуть что — и низринутся, упадут на вас, раздавят. Короток век человеческий, необозримо длинен век камня. Что этим громадам пятнадцать — шестнадцать лет? Миг... Ну-ка, обойдем их, как тогда. Осторожнее, не свалиться бы в бездну, подобно горячему арабскому скакуну султана. Несколько шагов вдоль края, теперь карабкаемся вверх, вон там стоял тогда угод.

Знакомый скособоченный валун-гигант.

Драконова пещера!

И стоило Али Кушчи подойти ко входу, из пещеры как тогда, пятнадцать лет назад, вылетела стая птиц, на этот раз галок. Мирам чуть не покатился назад, к пропасти. Но Али Кушчи ловко и крепко схватил его за руку. Улыбнулся. Громко, намеренно бодро сказал:

— Не бойся, сынок, тут нет драконов, хоть пещера и Драконова.

Зажгли фитили. Али Кушчи первым вошел в пещеру. Та же картина: в углублениях буро-красной стены птичьи гнезда (их стало больше), на полу остатки вывалившихся старых гнезд, перья, скорлупа яиц. И зола от того костра! И даже два знакомых кремневых камешка нашел Али Кушчи.

Так, вот поворот налево, темный провал, зев, ведущий в следующую пещеру. Пройдет ли сундук? Слава аллаху, пройдет, если обрубить несколько песчаниковых выступов по бокам проема.

И вторая пещера, та, чьи стены напоминали китайский белый фарфор, осталась без изменений. Огромная, пол ровный, вода ниоткуда вроде бы не капает. Да, сундуки надо сложить здесь, а ход закрыть камнем.

Али Кушчи вздохнул с облегчением. Будто бездонный овраг перескочил.

Вышли из подземелья, осмотрелись. Долина была залита солнцем, не по-осеннему ярким. Багряная листва барбариса подыхала огнем, темная зелень арчи переливалась, будто умытая. Меж валунов внизу верблюды казались тоже темными камнями. А величественные горы, на которые смотрел, раскрыв глаза от изумления, Мирам? Как прекрасны они в ярко-желтых, красных, багровых пятнах роц по склонам! Как великолепен, как непередаваемо красив мир!

Али Кушчи положил руку на плечо юноши. Мавляна тоже волновался, но по другой причине.

— Сын мой! Об этой диковинной пещере во всем Мавераннахре знают лишь три человека: Мирза Улугбек, я и с недавнего часа ты. Редчайшие сокровища, собранные со всего света предводителем ученых мужей, благословенным Улугбеком, мы скроем в этом подземелье. Если не мы, так другие люди из будущих поколений, счастливее нас, воспользуются этими сокровищами. Ну а до прихода этих лучших времен местонахождение сей пещеры мы обязаны держать в тайне. Пусть не узнают о ней не только друзья твои, но даже отец родной. Поклянись в том, сын мой, и да будет аллах свидетелем твоей клятвы.

Мирам Чалаби повернулся на запад, произнес клятву. Потом оба они прочитали молитву.

## 12

С Уста Тимуром Каландар Карнаки познакомился в начале своих дервишских странствий.

Каландар к тому времени покинул медресе, но злословие, сплетни и дразни дервишей были ему еще внове и ранили душу особенно остро. Однажды вечером он не пошел из-за этого в ханаку, а, выйдя из города, направился к кишлакам, расположенным вдоль течения речки Оби-рахмат. И на следующий день не повернул обратно, а все шел и шел от одного кишлака к другому.

В одном из них он увидел странного человека, сидевшего у пещеры на склоне высокого холма. Борода его пожелтела от кузнечного огня и дыма, в бесчисленных морщинах лба темнели следы сажи. Старик сидел под чинарой за починкой кумганов и медных чайников. Рядом на огне шумел черный кумган.

Каландара поразила красота и величавость старика. Понаблюдав за его работой, Каландар отвесил ему почтительный поклон и смиренно, как и подобает дервишу, попросил пиалу воды. Старик пиалу подал, но первой фразой его, когда оглядел он Каландара, была такая: «Смотри-ка, с таким саженым ростом и силищей в дервишах ходит, побирается!»

Каландар не ожидал подобного. Кое-как выпил горячего чаю, хотел было тронуться в путь. Но старик, не отрывая от него пронизательных глаз, спрятанных под мохнатыми бровями, задержал вопросом:

— Из каких краев будешь, дервиш, на самаркандца-то вроде бы ты не похож?

Нехотя сказал Каландар, откуда занесло его в столицу. Неожиданно разгладились морщины старика, лицо стало приветливее.

— Из города Ясси ты, стало быть, и так вот странствуешь чужаком в наших краях? Видно, не по своей воле, а? Какие же беды и печали пали на твою голову, странник, что ты покинул родной очаг, расскажешь, может быть?

И Каландар, почему-то тронутый живым участием старика, рассказал свою историю — всю, от начала до конца.

Старик слушал, прикрыв глаза и покачивая головой, а когда Каландар умолк, нашел слова утешения для него, тем главным образом, что сам рассказал, как еще в молодости присоединился к каравану, шедшему в Ясси, как побывал в этом городе, помолился у гробницы святого Ахмеда Ясави. Каландар умилился, вспомнил и повторил вслух старинное изречение, что украсило надгробье святого хаджи, и старик тоже умилился и назвал дервиша к себе в пещеру. В тот день старик так и не отпустил его от себя.

С того и пошло, Каландар стал частенько приходить к Уста Тимуру Самарканди. И каждый приход к мастеру приносил радость обоим. А когда понадобилось помочь мавляне Али Кушчи, Каландар, не колеблясь, привел его прямо к кузнецу. Правильно сделал, ибо узнал отзывчивое сердце восьмидесятилетнего мастера, его склонность делать людям добро. Уста Тимур сразу все понял и сразу же взялся помочь.

Не зная усталости, трудились Уста Тимур и двое его подмастерьев — два брата, ни на минуту не умолкавшие весельчаки Калканбек и Басканбек. Вечерами и Каландар приходил в пещеру-кузню, играючи орудовал пудовым молотом; Уста Тимур собственноручно изготовлял обручи, он же, когда сундуки были выкованы, отправился в кишлаки, что за Зеравшаном, и привел оттуда четырех верблюдов...

Немало удивился Каландар, когда проводив Али Кушчи и Мирама Чалаби и возвращаясь от сухого ручья в город, встретил неподалеку от ворот обсерватории Уста Тимура. Тот делал вид, будто понукает осла, а сам незаметно для возможных прохожих сдерживал его, явно тянул время, поджидая Каландара.

— Что случилось, отец? Почему вы здесь, а не у себя дома? — тихо спросил дервиш мастера, поравнявшись с ним.

— Будь осторожен, сын мой. Гляди в оба. Здесь бродит тень. Ждет тебя, мне показалось... Потому я и решил дожидаться тебя... Ну, пошел теперь, нечестивый, — пробурчал он, обращаясь к ослу. — Понял меня, Каландар? До свидания.

«Что еще за тень? Неужели выследили мавляну? Или это за мной пошла охота?» Каландар внимательно огляделся. Вроде никого. Тихо. Решил постоять под чинарой, что росла

прямо против ворот обсерватории. Там была естественная возвышенность, из которой талибы сделали что-то вроде помоста для сидения и лежания — супу́, и Каландар целую неделю проводил ночи на этой супе, наблюдая за обсерваторией, изредка посиживал на ней и днем, словно простой прохожий, часто бывало, вместе с другими прохожими. Теперь Каландар вытащил из дула чинары припрятанную заранее ветхую кошму, растелил ее на супе, под голову положил хурджун.

Через некоторое время он и в самом деле увидел около ворот обсерватории чью-то тень.

— Эй, кто тут шляется по ночам? — крикнул Каландар, постаравшись изменить голос.

Тень рванулась вперед, потом кинулась на другую сторону дороги, ближе к деревьям, и, перебегая от одного дерева к другому, помчалась в сторону «Баги майдан».

«Шакал! — догадался Каландар, подметив, что тень прихрамывает. — Сейчас догоню, прикончу на месте!»

— Эй, презренный, подожди! Стой!

Каландар выскочил из-под чинары, но куда там! Тень уже исчезла в саду, за дувалом.

Подумать было над чем, если этой тенью в самом деле был Шакал, а не какой-нибудь случайный прохожий. Ясно, что за обсерваторией установлена слежка. Да и за ним, Каландаром, наверное, тоже — не приведи аллах, если какой-нибудь доносчик высмотрел, что он, Каландар, провожал караван Али Кушчи.

Холодный страх ядовитой змеей вполз в сердце Каландара. На виду, рядом с другими людьми, он ничего не боялся и даже внушал бесстрашие другим, а вот когда останешься наедине с самим собой... Каландар рассердился на себя за такие мысли.

Снова забрался на дырявую кошму под чинару.

Весь следующий день не сходил он с кошмы. Подобрал под себя ноги, сидел, покачиваясь, творил молитву за молитвой, не отрывая, однако, полуприкрытых глаз от ворот обсерватории. Его не оставяло ощущение, что следят за ним, что где-то поблизости сгорнилась черная тень и не выпускает его из-под присмotra.

За этими каменными молчаливыми стенами, за величественным порталом, украшенным изящной резьбой и мудрыми изречениями, затейливая вязь которых искрилась на солнце причудливым свечением, — особая жизнь. Там, под бирюзовым куполом, на дворе, где под башнями расположились постройки, назначение которых непонятно простым, неученым смертным, люди и живут, и, кажется, дышат не так, как все, — по-особому. Он был приобщен одно время к этой странной, а на взгляд многих, и нечестивой жизни. Слушал мудрые речи Али Кушчи и мавляны Мухиддина, иногда же, если посчастливилось, самого повелителя-устода. Тогда в обсерваторию стекались все мударрисы Самарканда, философы, люди науки; бывали послы.

Собравшиеся не могли разместиться даже в огромном книгохранилище на втором ярусе. Каландар вспомнил Улугбека в такие минуты: необычайно ярко блестели глаза, на скуластом худом лице горели щеки, прерывающимся от восторга голосом повелитель сообщал что-то о сложных перемещениях небесных тел, об их путях... как они называются? да, орбиты!.. вычисляемых с помощью математики, называл звезды по именам — оказывается, у каждой звезды есть свое имя! Не все, что говорил Улугбек, и не всем, кто его слушал, было понятно, но редкий оставался равнодушным к волшебству его рассказов. А после речи повелителя быстрые и умелые бакаулы готовили плов и приглашали отведать его ученых, послов и даже талибов.

Каландар ладонью прикрыл глаза. Зачем, зачем променял он ту жизнь на душные кельи, на общество пьяниц, завистников, соглядатаев? Белая чалма мударриса казалась теперь олицетворением не одной только мудрости, но и нравственной чистоты, хотя когда-то он смотрел на вещи иначе, когда-то его коробило то равнодушие к жизни простых людей, та отрешенность от болей и печалей обычных смертных, что были свойственны многим и многим носителям знания. Но ведь и грязный дервишский колпак не делает человека сострадающим ближнему своему!

И потом, эта всечасная угодливость дервишей, их раболепство перед теми, кто знатен и богат (чего нет у людей науки!)... А знатные и богатые к нему, дервишу, относятся так, как к другим дервишам, — как к собаке, вечно ожидающей, что хозяин бросит ей кость.

Был случай, когда опять судьба свела его с Хуршидой-бану... На мгновение, увы...

Был случай...

Голодный и усталый, остановился он однажды перед роскошными воротами неподалеку от «Мазари шериф». Забубнил, как обычно: «О алах, о всемогущий...» Сторож вынес ему из дому похлебку, приправленную кислым молоком, и маленькую кукурузную лепешку. Уселся Каландар около ворот, съел похлебку, поднял было руку для свершения благодарственной молитвы, но тут из-за угла показался всадник, богато одетый, статный, а чуть позже под звон колокольчиков выехала кабульская арба. Каркас ее был покрыт красной парчой. Плотный полог полностью скрывал тех, кто сидел внутри.

Всадник выпрыгнул из седла, отдал сторожу поводья аргамака.

— Эй, дервиш! Ты насытился тем, что получил от добрых хозяев этого дома? Тогда иди-ка своей дорогой, дервиш!

Слова, сказанные таким тоном, не могли не задеть Каландара, но дервиш есть дервиш, смиряя свои желания — закон его жизни, и потому Каландар стерпел. Закончил молитву. Потом поднялся. Прошел мимо арбы. И вдруг из-за полога услышал голос, который он помнил бы, проживи даже сотню лет!

— Господин мой,— сказала Хуршида-бану, и Каландару послышались слезы в этом ее обращении к мужу.— Господин мой, я видела сегодня дурной сон и утром дала себе обещание... пожертвовать семь таньга святому Ходже Бахауддину... Прошу вас, дайте от меня эти семь таньга вот тому дервишу,— и красивая, снежно-белая в браслетах рука приподняла край полога, а нежные пальцы схватили бахрому и дернули ее, будто хотели оторвать. Каландар увидел, как задрожали эти пальцы, как, отпустив бахрому, стали словно искать что-то, звать кого-то, увидел, хотя все это длилось чуть больше мгновения.

Всадник кивнул арбакешу: давай, мол, трогай, раскрытые ворота перед тобой. Потом, нахмуренный и надменный, покопался в кармане, вытащил горсть монет и бросил их, не считая, на мощеную дорогу к ногам Каландара. А тот стоял, оцепенев, все еще растерянно глядя на опустившийся полог кабульской арбы. Звон монет смешался с шумом арбы, въезжавшей в ворота. Они тотчас захлопнулись, и Хуршида-бану, арба, занавес с бахромой, конь вельможи и сам вельможа — все исчезло за массивными воротами.

Что значило все это? Хотела ли она напомнить о себе или просто пожалела дервиша, независимо от того, узнала или не узнала человека в рубище и кулохе? Эти деньги — искренняя помощь, знак особого расположения или... или подачка, средство выказать свое презрение к нему, свое богатство и довольство? Нет, нет, голос Хуршиды был полон печали, а ворота богатого особняка захлопнулись зловеще. Так захлопывается клетка... Или вход в склеп.

В тот день Каландар то и дело возвращался к этим воротам и только вечером, сам не ведая как, очутился на кладбище Шахи-Зинда, но и здесь в его памяти все стояли арба с пологом, рука женщины, дрожь пальцев, стиснувших бахрому, звучал нервный голос. И вспоминались строки:

Как взор зовет глаза твои — того не знаешь ты.  
Как ночью я томлюсь: «Приди!» — того не знаешь ты.  
Ищу свиданья я сама, гублю себя сама.  
Как сохнет сердце без любви — того не знаешь ты.

Вскоре после этой нечаянной встречи Хуршида-бану попала в гарем Абдул-Азиза, а муж ее нашел свой конец на плахе...

Каландар обошел обсерваторию, вернулся к чинаре. Воспоминания терзали его, и даже топот копыт не сразу привлек его внимание. Четыре нукера неожиданно осадили коней у ворот; лошади загарцевали на месте после лихой скачки.

Каландар пришел в себя.

Кто это прибыл? Ба — эмир Джандар! Чернобровый красавец, покоритель женских сердец, храбрец военачальник, близкий к Мирзе Улугбеку! А что ему нужно тут, в обсерватории, эмиру, про которого говорили как про опору Улугбекову?

Один из всадников спешился, подошел к воротам, застучал в них рукояткой плетки.

— Эй, сторож, эй, Али Кушчи! Где вы там? Отворяйте!

Видно, сторож, не открывая, ответил, что Али Кушчи нет. Тогда все уже хором закричали, чтобы он отворил. Эмир Султан Джандар с нукером вошел внутрь. Двое других остались у ворот. Скорее эмир и нукер снова появились у ворот, все четверо вскочили в седла и помчались той же дорогой, что привела их сюда. За подкреплением, что ли?

Вот вам верность, вот вам честность! Выходит, и эмир Джандар, «опора Улугбека», переметнулся к врагам Улугбека! Если бы не так было, поостерегался бы он появляться в Самарканде, захваченном Абдул-Латифом... И, видишь, ищет уже Али Кушчи. Правда, сейчас ночь, вернее, самое начало рассвета. Но уж слишком открыто, не заботясь ни о какой осторожности, держали себя всадники, слишком громко кричали. Так ведут себя не те, кто скрывается, а те, кто ищет скрывающихся...

А вон та тень, опять тень, она ищет или скрывается?

Каландар осторожно слез с супы на землю, зашел за ствол чинары: тень двигалась по противоположной стороне улицы. Потом тень пересекла улицу, а Каландар, тоже держась темной стороны, последовал за ней, перерезая таинственному низкорослому человеку путь к отступлению. Не замечая Каландара, человек огляделся вокруг, осторожно приподнял медное кольцо на калитке, тихо, но внятно стукнул им.

— Опять стук,— услышал Каландар голос хрипатого сторожа,— опять стучат... Полуночники, не спится им... Кого носит по ночам?!

— Это я, посланец...

— Какой еще посланец? Сюда не велено никого пускать!

— Меня послал Мирза Улугбек,— человек явно боялся сказать хоть слово погромче.— Мне нужен мавляна Али Кушчи.

— Нет его, говорю же, нету! Куда девался, не знаю!

Человек постоял немного перед воротами, потом медленно двинулся обратно.

Каландар вышел из темноты.

— Стой,— властным шепотом остановил он незнакомца.— Какое дело у тебя к Али Кушчи? Ну, говори... если жизнь дорога. Я ему... передам.

Низкорослый человек от страха онемел. Он только все чертил перед собой маленькими ручками какие-то круги, будто отталкивал от себя что-то.

— Не бойся! Я шагирд Али Кушчи, понял?.. Ну, какое дело у тебя к нему?

— Ма... мавляну Али Кушчи желает видеть повелитель...

— Какой? Султан Улугбек?!

Человечек кивнул.

— Где же он сам?

— В саду «Баги майдан»,— промямлил человечек.

И, как всегда, Каландар сразу отбросил свои колебания.

— Поведешь меня к нему! Прямо сейчас, понял?



Нет ничего хуже неопределенности.

Как ни тяжела бывает беда, выпадающая на долю человека, он может терпением и выдержкой побороть ее. А неопределенность гложет человека, лишает сил, отнимает саму способность бороться или даже терпеть.

Улугбеку было очень тяжело услышать о своем изгнании из Мавераннахра; покинуть родину казалось немислимым, невозможным делом, но прошло время, и Улугбек свыкся с этой мыслью, потому что она была определенным исходом, а свыкшись, стал готовиться к предстоящему путешествию.

Его куда не переводили из той самой комнаты, неудобной и холодной, в которой он находился. И с этой угловой комнатой, так мало соответствующей его званию и его гордости, Улугбек стал свыкаться, ибо и тут ничего другого уже не ждал, и тут все было определено. На следующий день после разговора с Абдул-Латифом к Улугбеку явился новый сарайбон — дворецкий, темнокожий уроженец Балха с серьгами в мочках ушей. Дворецкий попросил Мирзу Улугбека начать готовиться к тому, чтобы покинуть пределы Мавераннахра, и обещал ни в чем не отказать из того, что необходимо для такой цели.

Улугбек не просил ничего лишнего. Теплая одежда, пищи дня на три-четыре, хорошая верховая лошадь — вот и все. Золото? Его не было у Улугбека, просить же золота у шахаде он не захотел. Да и зачем ему золото, простому паломнику, слуге аллаха? Откажут разве ему в куске хлеба и глотке воды, если он собрался в Мекку, к святым местам? Он был готов к смерти и даже думал о ней, о голодной смерти в начале пути, как об избавлении от бед, утолении давней-предавней жажды. Что на роду написано, тому и свершиться! Не перечить больше судьбе, а покориться ей — так стал думать теперь Улугбек о смысле жизни человеческой.

Всю ночь, прощальную, последнюю перед отправлением в путь Улугбек не сомкнул глаз. Как ни успокаивал он себя мыслью о смирении перед судьбой, голова лихорадочно работала, строила планы. Ну, доберется он до Мекки, выполнит долг, будет иметь право называться хаджи, а потом? А потом он отправится в Дамаск или Каир. Он непременно будет жить в каком-нибудь медресе, пусть простым подметальщиком на дворе, пусть так... Да и не будет он подметальщиком, имя его известно людям науки и в Дамаске, и в Египте, и в городе мудрости, как называют Багдад. Они не дадут ему пропасть, не дадут.

Мучило Улугбека только одно: то, что он покидает и, очевидно, навсегда, родной Мавераннахр, любимый, трижды любимый Самарканд, реку Зеравшан, на чьих берегах прошло детство. Странник — пусть странник, но странник-чужеземец — вот что терзало его, вот что болело неотвязчиво, как, бывает, болит рана, когда до нее дотрагиваются чем-нибудь острым.

После обеда сарайбон привел к нему человека лет пятидесяти, худощавого, на вид кроткого и спокойного. Улугбек сразу узнал его: Мухаммад Хисрав, паломник-хаджи, обитавший в Шахи-Зинда. Мухаммад понравился Улугбеку — улыбкой мягкой, не сходявшей с лица, манерой держаться, не подобострастной, однако, подчеркнуто уважительной, даже тем понравился, что борода у Мухаммада была, как бы это повежливее сказать... не густая, так, две-три волосинки. Выяснилось, что Хисрав дан ему в спутники. Выяснилось в разговоре и другое: уже сегодня после вечерней молитвы Улугбеку и Мухаммаду Хисраву надлежало покинуть Кок-сарай. Переночевав в «Баги майдане», они должны ранним утром отправиться в путешествие, о котором «осведомлен, конечно, высокочтимый Мирза», как добавил к сказанному дворецким Мухаммад.

«Не хочет, чтобы меня увидел народ», — подумал Улугбек о сыне, но обиды как-то вяло шевельнулась в душе, потому что иного, хорошего душа уже не ждала, а ждала она лишь определенности решений. Теперь решение было принято, ясное, недвусмысленное, надо было готовиться к выполнению его.

Улугбек оглядел одежду своего спутника: темный изношенный чекмень, скромная чалма, на ногах разбитые красное коже ичги.

— Не слишком ли вы легко оделись в столь дальнюю дорогу, хаджи?

Мухаммад Хисрав все с той же постоянной улыбкой ответил:

— Одежда султана не приличествует простому смертному, да и неудобна она в паломничестве, разве не так? Не ошибается ли ваш покорный слуга?

Улугбеку и этот ответ понравился, хотя ясно было, что спутник его в теплой одежде весьма нуждался, отправлялись-то они осенью, а не весной. О том Улугбек и сказал, когда явился к ним дворецкий. Мухаммаду Хисраву новая одежда была обещана.

Глубоким молчанием и непроглядной темнотой (бирюзовые купола стали совсем черными на фоне поздневечернего неба) проводил Кок-сарай своего бывшего властелина, которому было в нем не всегда радостно, почти всегда неуютно, но который прожил во дворце этом ни много ни мало — всю жизнь свою. Что оставляет он здесь, с чем жаль расстаться ему? Остановившись на минуту, Улугбек обвел взглядом дворцовую громаду, башни, уходившие ввысь, к звездам. Вон опять горит огонек в крайнем окошке гарема. Тихо звенит фонтан. Перемигиваются вокруг водоема каменные светильники, их слабое мерцание лишь подчеркивает темноту дворца.

Словно далекая звездочка, поблескивало окошко невольницы с печально-ласковыми глазами. Да полно, почему это он решил, что за этим окошком именно она, то солнышко, которое не жило и умиротворяло осень его сердца? Но хотелось думать,

что это она не спит. Может быть, читает... А если с ней-то как раз сейчас Абдул-Латиф?!

Мгновенно помутнело перед глазами. Улугбек вынужден был зажмуриться от внезапной боли в груди, прислониться к стене. Право победителя — жестокое право... Смешно, о чем это он думает в такую минуту? Ревность? С этим чувством отправляется он в путешествие к святым местам?

Сарайбон вежливо покашлял. Улугбек пошел к воротам.

Их ждали четверо всадников-нукеров с двумя запасными лошадьми, собранными в дорогу. Улугбек хотел перед тем, как оставить Самарканд, пройти по любимым улицам и площадям великого города, посетить Гур-Эмир, дабы отдать долг почтения памяти деда и отца, но всадники стали впереди и сзади паломников, и получилось так, что не паломники, а всадники определили маршрут: сразу вниз, к Регистану и далее к выходу из города.

«Отец! Ты простишь меня, ибо я в руках твоего безжалостного внука», — мысленно промолвил Улугбек. Он прочитал короткую молитву, прощальным взглядом обвел траурно-синеватый купол усыпальницы, потом сел в седло.

Они ехали шагом вдоль тихих улиц, вымощенных гладким камнем, сопровождаемые цоканьем подков. Дворы, окруженные глиняными стенами, и торговые лавки, мимо которых они проезжали, были немые. И это в осенне-праздничные дни, когда обычно город не спал до глубокой ночи, когда шум, и пение, и клики радующихся урожаю людей не смолкали чуть ли не до зари. Иные времена, трудные, тяжелые, беззвучные! Кладбище какое-то, а не город, не Самарканд, умеющий работать, но и веселиться тоже... Кстати, вот и звуки, нарушающие тишину, — увы, это всего лишь дервиши, столь любящие кладбища. Напротив медресе Улугбека — ханака, странноприимный дом, где они обосновались и откуда сейчас слышно их «ху-ху».

Улугбек придержал коня. Дадут ли ему возможность зайти хоть на минуту в свое медресе, попрощаться с ним, положить руку на плечо хотя бы одного талиба?!

— Не велено останавливаться! Стегните коня... повелитель.

Да, вот когда понял Улугбек, чем он стал теперь. Бедный, не по своей воле поступающий изгнанник, лишенный не просто власти, но и милости закона, человеческого и божеского. Бесцеремонный окрик — вот что теперь только и будешь ты слышать. И поступать, как велят тебе. И только в терпении находить утешение. Вот когда стало ясно, что и этот Регистан с медресе, и талибы, и шагирды, и сама возможность прийти сюда для высоких бесед и умственно-бескорыстных раздумий, что все это прошло для тебя и никогда больше не вернется к тебе. «За что, всевышний, за что ты отнял у меня эти бескорыстные радости, за что так жестоко покарал раба своего?»

Не задержались они и у соборной мечети, где следовало бы сотворить молитву путешественников. Остались позади и усыпальницы Шахи-Зинда... Они выехали на широкую каменную дорогу, что ведет к «Баги майдан». Отсюда можно завернуть к обсерватории, не доезжая до «Баги майдан». Но всадники еще до поворота пошли другим путем, пересекли Сиаб и стали подниматься на возвышенность. Что? И к обсерватории его не пустят попрощаться? Ну нет, он будет там — не до «Баги майдан», так после, он не уедет из Мавераннахра, не посетив своего детища!

У ворот «Баги майдан» четверка сопровождавших Улугбека нукеров передала его и Мухаммада другой вооруженной четверке. Те приняли от паломников коней, пригласили идти во дворец «Чил устун» — «Сорок колонн», что стоял посреди знаменитого сада; сам дворец был тоже знаменит, помимо прочего, китайскими изразцами по всем своим четырем стенам. Со второго этажа дворца — Улугбеку ли этого не знать? — прямо как на ладони видна обсерватория, а если пересечь сад и выйти не через парадные ворота, а через специальную калитку в стене, то до обсерватории можно было дойти очень быстро.

Горбатый старик — махарам, смотритель дворца, служивший еще Тимуру, встретил Улугбека подобающими поклонами. Сколько раз прислуживал он ему, и какое дело глухонемому старику с бородой до пояса, что там происходит у повелителей и детей их, — повелители остаются повелителями. Но бывший повелитель Улугбек жестом показал, что ему нужен всего лишь кумган воды — и ничего больше; бывший повелитель Улугбек даже не вошел в покои дворца, а, взяв кумган воды, удалился в сад, в самое глухое место, не приказав никому следовать за собой.

Наполовину облетевший осенний сад шумел размеренно тихо. Желтые листья светились на земле. Улугбек не стал терять времени, а, стараясь не шуршать листвой под ногами, быстро направился знакомой тропой к калитке, что выводила к обсерватории.

Но кто там идет за ним?! Старик? Улугбек резко обернулся: тихий, будто бесплотный ангел, щедедушный и улыбчивый, за ним крался Мухаммад Хисрав!

— Хаджи! Вы мой спутник в паломничестве или соглядатай?

— О, простите, простите, я ваш слуга... Аллах свидетель, я даже не мыслил следить за вами... Но вы идете к обсерватории, а горбун забеспокоился. Он ищет вас... он может поднять на ноги воинов...

Улугбек заколебался на мгновение, но потом твердо сказал, что не покинет Самарканда, не побывав в обсерватории и не узнав об Али Кушчи, с ним ему надо поговорить непременно.

— Тогда позвольте мне сходить за Али Кушчи. Я постараюсь привести его сюда. Иначе... поднимется тревога и вас станут искать.

— Почему же только меня?

— Их интересует, где вы и что с вами. До меня кому какое дело?

Улугбек решил довериться этому тихому и, кажется, верно-му человеку. Показал Мухаммаду, как пройти из сада к обсерватории, а сам вернулся назад. И вовремя, потому что и впрямь обеспокоенный старик горбун уже хотел звать воинов. Завидев Улугбека, он жестами и знаками стал выражать бурную радость и приглашать войти во дворец. Там на втором этаже он подготовил комнату-веранду, зажег свечи, расстелил одеяла, поставил столик с угощениями из мяса и фруктов.

С пиалой остывшего чая в руке Улугбек долго простоял на террасе, смотрел на небо, на сад. Серп луны висел над далекими горами Ургута, холодный, будто кусочек льда. В лунном свете осенний сад казался еще сиротливее. Не менялись только звезды — прекрасные, зовущие к себе. На самом верху неба опрокинулся ковш Большой Медведицы, ниже рассыпался Млечный Путь, а над лдышкой-месяцем, словно горячий уголек, Хулькар. Привычно подумалось о том, что вот уже сорок лет разгадывает он тайны звезд, думая, что и человеческие тайны тем самым разгадывает, но нет... их-то не разгадал и теперь сирым изгнанником продолжает дорогу жизни, помыкаемый, мучимый... Но ведь такова участь не его одного, бывшего властителя. Сколько простых, бедных людей живут жизнью вечно помыкаемых, их мучат владыки, они терпят, они терпели, может быть, и от него, Мирзы Улугбека, терпели так, как терпит он теперь от своего гонителя-сына. И, быть может, тогда обращались к всевышнему, прося защитить их, прося отомстить за слезы пролитые по его, Мирзы Улугбека, вине.

Или совесть и справедливость в самом деле, как говорили поэты, не может ужиться с обладанием властью? Властвовать над теми, кто подобен тебе, подчинять их своему произволу — это гадко, бесчеловечно, это от помрачения разума. И это наказуемо, да, да, наказуемо хотя бы уже тем, что все мы бренны и обладание властью для тебя временное состояние, к которому нельзя привыкать, если у тебя не спит совесть. Неужели, только став сирым и гонимым, человек может понять сирых и гонимых, сострадать им?

Усилии воли Улугбек попытался отогнать эти не радующие душу думы.

Он все вглядывался и вглядывался в серовато-призрачную темноту переплетавшихся ветвей, стараясь увидеть сквозь них контуры здания обсерватории. Вспомнилось давнее-давнее: вместе с наставником своим Кази-заде Руми он ходит по дорожкам этого сада, беседует о задуманном строительстве, обсуждает каждую деталь будущего величественного здания, а то присаживается на корточки, чтобы начертить что-то для наглядности вот тут, прямо на красном песке садовой дорожки.

Потеплело на душе от таких воспоминаний.

Вдруг стала перед ним и другая картина: молодой, сильный и, как все Тимуровы потомки, горячий и своевластный, он, султан Мавераннахра, он, ученый человек, избивает плетью старого строителя — несправедливо, злобно, безжалостно наказывает... а наказывать-то надо было не того, кто сказал ему правду о мытарствах простых строителей, а тех, кто кормил их гнилой пищей, наверное, не без корысти для своего кармана... Сколько таких, как тот старик, было согнано сюда, к холму, какие лишения пришлось претерпеть им?!

Стыд за теперь уже неисправимые несправедливости, им свершенные, добавил к мучительному ощущению того, что жизненный путь кончается, и волна раскаяния смыла с души Улугбека жалость к себе.

От невеселых мыслей оторвал Улугбека Мухаммад Хисрав. Он привел Каландара. Они прокрались по саду незаметно для воинов, большинство которых спали. Спал где-то в покоях дворца и горбун махарам.

— Ассалам алейкум, повелитель-устод!

«Устод! Он называет меня устодом? Кто же сам, этот дервиш?» Улугбек, стоя в дверях комнаты, взгляделся в пришельца, память сработала мгновенно.

— Каландар Карнаки?

— О, вы узнали меня, учитель! Узнали даже в этом рубище...

Все еще не приглашая гостя в комнату, Улугбек спрашивал:

— Ты покинул медресе, стал дервишем, да? Но тогда как ты попал в обсерваторию, что там делаешь?

Каландар усмехнулся.

— Соглядатайствовал, устод!

— Не шути, не говори загадками, дервиш!

— Нет, учитель, это не шутка,— Каландар поправил свой кулох.— Шейх Низамиддин Хомуш сделал меня соглядатаем. Дабы не выкрали без его ведома из обсерватории вероотступника Улугбека «еретические» книги, написанные такими же вероотступниками, каков он сам... Да еще приказано мне было узнать, где золото эмира Тимура и кто это отдал его мавляне Али Кушчи на богопротивное дело...

— Еще раз говорю, не шути со мной, дервиш!.. Коли таков был приказ и ты принял его к исполнению, зачем пришел к бывшему султану? В чем твоя цель?

Каландар помолчал, потом ответил серьезно и скорбно:

— Моя цель... в меру сил своих приносить добро людям науки.

Улугбек не уловил тона, в котором были произнесены эти слова.

— Продолжаешь смеяться, да?.. Человек оставил храм науки, стал своим среди невежд и гонителей науки, а теперь пожелал приносить добро людям науки? С чего бы это, дервиш, и как я могу поверить в такие превращения?

...Они долго говорили в ту ночь. Не сразу открылась перед Улугбеком душа Каландара, но, когда султан поверил в искренность дервиша, в чистосердечное признание им своей ошибки, когда узнал, какую помощь оказал Каландар Али Кушчи, Улугбек возблагодарил аллаха. «Вот она, чистая душа под грязным покровом одежды нищего,— подумал Улугбек.— Вот оно, служение истине и добру. А стало быть, и науке. Ибо что есть истина, спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил: «Наука». «А что такое наука?» — снова спросили его. И он ответил: «Истина»... А я бы добавил еще: «И добро...»

Припомнилось Улугбеку в беседе с Каландаром и то, что советовал сделать прямодушный и верный Бобо Хусейн,— поднять городское население, ремесленников, простой люд. Он тогда не послушал совета, не поднял «чернь», а в ней-то, может быть, и было его спасение, в ней чистота и добрая сила... Но что случилось, то уже случилось. Надо думать о завтрашнем, а не о вчерашнем.

Из рассказа Каландара Улугбек понял, что место, куда Али Кушчи тайно отвез шестнадцать сундуков с книгами, никому не известно, кроме самого Али Кушчи. Но он-то, Улугбек, должен знать его!

— Я встречаюсь с мавляной,— сказал Каландар,— передам ему ваше желание, и мы догоним вас в дороге, учитель.

— Нет, Каландар. Али Кушчи должен скрыться. Его будут искать, преследовать.

— Тогда я сообщу вам. Я найду способ...

«О всевышний, о жизнь! Вот как круто поворачиваешь ты передо мной ход событий! В трудный час, покинутый и одинокий, пришел ко мне когда-то этот простодушный джигит, теперь сердце его откликнулось на тревогу моего сердца, его боль слилась с моей... Благодарю, благодарю!»

— Благодарю тебя, Каландар... И прости меня. Прости мою вину перед тобой... Увы, я не спас твой родной город от Баракхана... Не уберег твою любимую,— на миг в памяти Улугбека предстала Хуршида-бану, невольница гарема, ее распущенные, длинные, до полу, волосы, печально-трогательная, беззащитная красота.— Много тягот пришлось тебе испытать, я добавляю тебе новые. Не знаю, смогу ли отблагодарить тебя за них я сам,— Улугбек положил руки на плечи Каландара,— но да наградит тебя всевышний за чистое сердце, за верность... сын мой...

## 14

Али Кушчи вернулся в Самарканд около полудня. Понукаемый пятками мавляны, осел весело бежал вперед, а его собрат, на котором восседал Мирам Чалаби — он теперь вел верблюдов,— несколько поотстал.

Каландар встретил учителя и ученика там же, где третьего дня проводил их,— у подножия горы Кухак.

Дервиш все эти часы после прощания с Улугбеком ходил взволнованный. Слезы султана, его руки на плечах Каландара — все это потрясло бывшего сурового воина и тоже бывшего теперь, если не по одежде, то по образу мыслей, дервиша. Каландар дал себе клятву во что бы то ни стало исполнить последнее желание повелителя-устода.

Вернувшись из «Баги майдан» к обсерватории, на свое наблюдательное место, Каландар довольно долго выжидал, не появится ли поблизости какая-нибудь сомнительная личность. Удостоверился, что кругом все тихо и спокойно, взял хурджун и осторожно спустился вниз, прошел оврагом вдоль высохшего ручья до места встречи с Али Кушчи.

Шел он ночью, во вторую ее половину, и все же неожиданно наткнулся — уже рядом с условленным местом — на двух табунщиков. Молодой и пожилой, они сидели, беседа о чем-то у костра, подкидывая в пламя сухие ветки. Дервиша с хурджуном на плече они встретили уважительно, напоили кумысом, угостили холодным мясом. Но Каландар словно и не ощутил вкуса питья и еды; он беспокойно вставал, уходил, возвращался (будто взглянуть на лошадей, пущенных табунщиком пастишь неподалеку). К утру поднялся на Кухак, благо гора была невысока, и увидел сквозь клочковатую пелену сизого тумана небольшой караван; тогда он признался табунщикам, удивленным его непоседливостью, что пришел сюда на встречу, и попросил коня. Пожилой табунщик разрешил взять иноходца.

Каландара, взволнованного и несколько запыхавшегося, встретили Али Кушчи и Мирза Чалаби.

— Что случилось, Каландар? — встревожился мавляна.

— Хвала аллаху! Все спокойно, устод.

Торопливо и сбивчиво рассказал Каландар о вчерашнем свидании с Улугбеком, о желании повелителя узнать, где спрятаны книги. Али Кушчи, не дослушав его, спросил:

— По какой дороге поехал повелитель?

— По дороге к Кешу...

— Дай мне своего коня, — приказал вдруг мавляна.

— Но... это не мой конь... и потом, Мирза Улугбек ведь сказал, что вам надо спрятаться... Да и сам я видел, что вас искал эмир Султан Джандар...

— Дай коня, говорю, или я пойду пешком!

— Но, устод...

— Ты сказал: устод. Пойми, что и я хочу видеть своего устода, не мешай мне, сын мой. Я не прощу себе, если не попрошусь с ним... Дай мне коня, Каландар!

Каландар недолго раздумывал, жажда немедленного действия снова захлестнула его.

— Тогда мы едем вместе. Я не могу оставить вас! Повелитель поручил мне оберегать вас, мавляна.

Каландар оставил табунщикам верблюдов как залог до возвращения двух коней. Взял у молодого табунщика чекмень



шапку, они пришлось впору. И, не теряя ни минуты, отправив с обсерватории одного Мирама, бывший дервиш и ученый пустились в путь.

Солнце поднялось уже на высоту тополя, оно, словно по распоряжению смилостивившейся над бедными людьми природы, грело не по-осеннему сильно. В небе распелись жаворонки. Но нежные белые паутинки, реявшие в прозрачном, все-таки не прогретом воздухе, напоминали, что весна далеко, да и лето прошло.

Али Кушчи и Каландар мчались степью, в стороне от обычной дороги. Надо было обойти Самарканд, но все равно его близость давала о себе знать. Степь была обжитой: то и дело им попадались пастухи и подпаски, лениво дремлющие в тени какого-нибудь холма; в золотистых рощах пестрели цветастые платки девушек и женщин, ветер доносил их голоса, крик и гам детей. Когда всадники спускались в ложбины, громадный высокостенный город скрывался из глаз, но, стоило выехать на косогор, он опять маячил перед ними и потом сбоку от них — по мере их движения в объезде Самарканда; с более высоких холмов они могли разглядеть, если бы остановились, даже отдельные дворы в городе, похожие издала на медные блюда, а сияние куполов мечетей медресе и усыпальниц сопровождало путников долго-долго.

Как мирны картины, встречавшие их, этих несчастных, гонимых сторонников Улугбека, будто и дела нет людям до бед и преступлений, творящихся за этой внешне безмятежной пеленой жизни. А люди на самом-то деле живут совсем не мирно, ненавидят, преследуют друг друга. Вот и с Улугбеком, повелителем-устодом, обошлось несправедливо, не по совести. Да, Али Кушчи предчувствовал это еще в ту ночь, когда устод неожиданно вызвал его к себе в Кок-сарай. Но то, что ему, ученому, астроному, не дадут даже близко подойти к обсерватории, которую он создал, — такой судьбы для Улугбека, судьбы изгоя, не предвидел и Али Кушчи... Если такова судьба повелителя, того, перед кем падали ниц, какой же будет его, Али Кушчи, собственная судьба? С ним и подавно церемониться не станут.

Почувствовав, как сердце его охватывает давний холодный страх, Али Кушчи обругал себя трусом и еще яростнее прищиприл коня. Даже на краю пропасти устод не позабыл о своем шагирде. «Велел оберегать меня, словно я особа, которой положены телохранители. Он не велел мне искать встречи с собой, но я не могу... не могу не услышать последних ваших напутственных слов, устод... Нет, нет, Али Кушчи не из низкого племени неблагодарных, не из тех, кто при виде чужого меча над своей головой трусливо бежит в кусты».

Через степь и рощи, через скошенные посевы и холмы всадники, сократив расстояние, выскочили наконец на дорогу, ведущую в Кешу. Но и здесь они пошли параллельно ей, по косогорам и полям. То навстречу им, то обгоняя их, мчались по дороге

воины, и тогда осторожности ради они спрыгивали наземь и держались так, чтобы с дороги их не было заметно.

Когда солнце стало клониться к западной части горизонта, они миновали Димишк, и тут зоркий глаз Каландара заметил на дороге четырех всадников впереди; выехали из Димишка, видно, незадолго до них, ехали очень медленно, будто нехотя.

— Стойте, мавляна, воины!.. Обернутся, увидят нас, поскачут — догонят. У нас лошади притомились... Спрячемся?

И в самом деле всадники остановились, оглянулись, и двое из них пошли назад, к ним!

— Спустимся в лошину? — полувопросительно сказал Каландар. Но тут Али Кушчи воскликнул:

— Устода!

Он узнал переднего всадника по светло-серой чалме, конец которой развевался на ветру. Передний всадник вдруг резко прибавил коню прыти. И Али Кушчи, в свою очередь, пришпорил коня, помчался навстречу.

— О сын мой, дорогой мой... О аллах, благодарю тебя за эту радость — за свидание с моим сыном,— Улугбек силился говорить, как обычно, спокойно, но голос дрожал и на ресницах блеснули слезы.

Али Кушчи прижался лицом к лицу устода.

— Учитель, как я рад, как я рад...

За время, прошедшее после их ночной встречи в Коксарае, Улугбек сильно сдал. Али Кушчи показалось, что лицо учителя покрылось множеством новых морщин — глубоких, глубоких морщин,— а одежда паломника старила Улугбека еще сильнее. Только глаза были те же: бездонные, пронизательные, полные боли, которая волновала сердце, и знакомой отцовской теплоты, притягивающей к устоде самые холодные души.

Сердцем уловив их состояние, Каландар взял коней под уздцы и отошел к Мухаммаду Хисраву, который вместе со спутниками остановился поодаль.

Улугбек, как бы смущаясь, вытер слезы концом чалмы, сказал:

— Ну, как с книгами?..

Али Кушчи коротко рассказал, где спрятаны книги.

— Драконова пещера? — Лицо Улугбека посветлело.— Помню, помню. А кто еще знает о месте, которое скрывает наши книги? — спросил Улугбек, подчеркнув слово «наши».

— Мой талиб Мирам Чалаби, да вот теперь надо будет раскрыть тайну перед Каландаром Карнаки.

Помолчав, устода спросил:

— А помог ли чем мавляна Мухиддин?

Али Кушчи хотел было сказать правду о неблагодарном, трусливом шагирде, но потом подумал, что не стоит ни Улугбеку приносить лишних огорчений, ни Мухиддина чернить, хоть было бы и поделом, как-никак двадцать лет вместе провели в одном медресе.

— Помогал... кое-чем...

Прикусив кончики усов, Улугбек понимающе кивнул головой.

Они расставались недолго, но трудно. Тяжко было на душе. Хотелось внушить друг другу надежду, но в чем она могла заключаться, где было искать ее?

— Сын мой Али! Я покидаю тебя, покидаю этот любимый край... Ты опора моя, я благодарю аллаха за милость, которую он явил, послав тебя мне в дни невзгод... Береги себя, скройся от ищеек и палачей... Бог весть, увижу ли я вновь нашу землю. Бог весть, что ждет меня на чужбине. Но если сбудутся мои надежды... и я... окажусь в медресе Каира или Багдада... если удастся продолжить свои научные занятия, то книги, сохраненные тобой... коли я не приду за ними и ты не придешь ко мне с ними... тогда я пришлю, может быть, человека к тебе, надежного своего человека... Жди. Да сохранит тебя всевышний, сын мой!

— А золото, устоа?

— О золоте не говори... Да сохранит тебя всевышний, Али, да сохранит...

## 15

Словно оживленный хорошей баней, став после встречи с Али Кушчи легким, подвижным, снова уверенным в себе, скакал Улугбек по дороге, ведущей к Кешу... Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения.

Но такое состояние духа, как это с ним теперь нередко бывало, продержалось недолго. В голову снова полезли мысли о бренности всего сущего, а более всего тяжелые и, увы, правдоподобные предположения, что все вокруг себя он видит в последний раз: и эти задумчивые поля с осенним шелком паутинок над ними, и обнажившиеся сады с желтыми коврами палых листьев понизу, и эти бурые косогоры в полыни и ковыле, и горы вдали, что закрылись белесым туманом. И уже не благодарение аллаху рождалось в его душе, а мольба униженная о том, чтобы всевышний ниспослал ему терпение и мужество.

С вершины одного из холмов, по которым вилась дорога, Улугбек увидел сзади себя вихрем скачущих воинов; впереди есаул, судя по украшению на шлеме, он размахивал копьем и, видимо, кричал, стараясь, чтобы Улугбек его заметил и остановился; впереди же себя, на холме пониже того, на котором Улугбек придержал коня, маячила еще одна фигура всадника — воина ли, отсюда не разглядеть было, но стоял тот всадник лицом к движению паломников. «Похоже на засаду», — подумал Улугбек, и сердце его дрогнуло от тревожного предчувствия, а потом зануло так же сильно, как и при расставании с дворцом. Поводья, которые он натянул изо всех сил, не дали ему упасть.

Боль прошла так же быстро, как и наступила, но предчувствие неотвратимой беды не покинуло Улугбека.

Подскакали воины. Есаул, человек с монгольским разрезом глаз, резко осадил своего боевого карабаира, приложил руку к груди, поклонился в седле. Второй заученно повторил его движения.

— Да будет счастливым путь, избранный вами, повелитель... Пусть аллах дарует вам вечную жизнь!

В улыбке есаула было притворство, в глазах его Улугбек уловил и холод и насмешку, столь не вязавшуюся с пышно-почтительными словами. Улугбек сделал вид, что принял приветствие всерьез:

— Да услышит вас аллах, сыны мои... Что скажете еще? Затем ли скакали вы из Самарканда, чтобы пожелать мне удачного паломничества?

Есаул снова поклонился.

— Еще я принес вам привет от луноликого вашего сына, благословенного шах-заде, что молится о своем отце и благополючи его.

— Спасибо и ему... что же он велел передать мне?

— Наш повелитель приказал, чтобы мы проводили вас с почетом, как подобает человеку вашего сана и вашей известности.

Улугбек выпрямился, прямо, глаза в глаза посмотрел на есаула.

— Мухаммад Тарагай не для того отправляется в святую Мекку, чтобы возвратиться потом снова на трон, поэтому султанские почести ему теперь ни к чему... Коли за этим скакал, то вернись и передай мои слова шах-заде!

Лицо есаула выразило крайнюю степень восхищения и одновременно сожаления, что невозможно выполнить сказанное таким достойным человеком, каков собеседник есаула.

— Хвала вашей скромности, ваш покорный слуга восхищен вами... Но луноликий наш повелитель, ваш сын и престолонаследник, строжайше напутствовал нас — не дело, если мудрый и благороднейший покинет Мавераннахр подобно какому-нибудь нищему. Венценосец дарует вам пищу и одежду, целый караван из трех верблюдов, прибыть они должны на рассвете... А пока мы любезно просим вас отдохнуть и переночевать вон там в кишлаке,— и есаул, подобрав ремень плетки, ткнул кнутовищем в сторону маленького кишлака, видневшегося слева от дороги, среди холмов.

Вместо ответа на приглашение Улугбек снова стал всматриваться во всадника, неподвижно стоявшего впереди; что-то было в нем знакомое, но слишком далеко тот находился, чтобы разглядеть его.

— Это не эмир Джандар?

— Эмир Джандар? — переспросил есаул, опять нехорошо заулыбавшись.— Что делать эмиру одному на пустынной кара-

ванной дороге? — И повернул коня к маленькому кишлаку, месту их ночлега.

«На вопрос не ответил и враз потерял всю свою приторную вежливость... Что еще понадобилось Абдул-Латифу от меня?»

Улугбек медленно поехал вслед за есаулом. Перед глазами маячили далекие горы. Снова пришли мысли о неизбежности смерти, о близости ее, только теперь успокоительные мысли. «Зачем дрожишь, Мухаммад Тарагай? Боишься потерять голову? Но много ли она стоит ныне — без трона, без собольей шапки, без знаков султанского отличия твоего от других людей?.. Кто, как не ты, говорил, что лучше скорее умереть здесь, на родимой земле, чем позже на чужбине?»

По обыкновению своему, он подтрунивал над собой, над своими страхами, но предчувствие близкого конца все сгущалось в душе и лишь в самом кишлаке, когда увидел он тонкий синий дымок над дворами, услышал блеяние и мычание овец и коров, вернувшихся с пастбищ, и плач детворы, и покрикивания мужчин, когда ощутил запах свежеевыпеченного хлеба, душа его чуть успокоилась.

«Будь что будет, — решил он. — Надо поесть, поспать хорошо перед завтрашней дальней дорогой, если аллах позволит пойти по ней».

Разместились все они — Улугбек, хаджи Хисрав, воины — в первом, стоящем на краю кишлака доме. Жильцов отсюда, видно, выгнали — ни в комнатах, ни во дворе не было никого. Поклажу Улугбека занесли в дом, потом увели куда-то их коней. Сами воины решили ночевать во дворе.

Чтобы успокоиться, Улугбек стал устраивать себе поуютнее ночлег: перенес хурджуны поглубже в комнату, зажег светильник в нише. Вместе с Хисравом разжег огонь в предназначенном для него месте — пригодился хворост, принесенный со двора.

Подходило время вечерней, предзакатной молитвы — намазгар. Улугбек пошел к выходу для того, чтобы во дворе совершить омовение.

Вдруг резко и громко хлопнула дверь на террасе. Через мгновение распахнулась дверь в комнату и на пороге появился великан в черном чекмене с огромным туркменским тельпеком на голове. «Саид Аббас!» — вспомнил вдруг Улугбек и отскочил к стене.

— А вот ты где! — закричал черный и, словно стервятник, кинулся к Улугбеку.

Сначала Улугбек изловчился и, собрав все силы, отбросил от себя Саида Аббаса, но тот вновь вцепился в него, норовя схватить за горло. Опять распахнулась дверь.

— На помощь!

Но есаул с монгольскими глазами не стал помогать султану; ударом ноги он свалил его и вместе с Саидом Аббасом упал

сверху на Улугбека. «Где хаджи? Чего они хотят, эти изверги?» — успел подумать Улугбек.

А хаджи лежал в углу, забился под чекмень, свернулся в клубок.

От острой боли где-то под сердцем Улугбек едва не потерял сознание. Ему заломили руки за спину, пиная ногами, поволокли из комнаты. «Как барана жертвенного... Где ты, Али? Зачем я отпустил тебя?» Боль все нарастала, тело уже не чувствовало ударов — болело внутри, сердце болело.

Улугбека бросили во дворе, на миг оставили в покое.

За это мгновение он услышал стук копыт (кто-то въехал во двор), и привиделось ему бездонное небо, звезды в разрывах черных, быстро проносящихся туч. А еще широкая-широкая степь, теплый вечер в степи, фигура деда, припадающего на левую ногу. А еще Сарай-мульк-ханум, белые, нежные пальцы ее в перстнях, голос ласковый, вроде журчащего ручья: «Не хочешь спать, стригунок мой, тогда полюбуйся на звезды. Это милосердные ангелы парят в небе, славят создателя. Полюбуйся, стригунок мой, полюбуйся...»

Сжав зубы от боли, Улугбек попытался читать молитву, но не смог сосредоточиться. Он приоткрыл глаза, и последнее, что увидел в своей жизни, был Саид Аббас, в яростном замахе вознесший над ним, полуживым-полумертвым уже, кривую саблю.

Последнее, что успел подумать Улугбек, было: «За что, создатель?»

И еще: «Прощай, Али, сын мой...»

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Мавляна Мухиддин охвачен предчувствиями тяжкими, неясными и потому особенно устрашающими.

После хуфтана — последней молитвы, свершаемой правоверными перед заходом солнца, мавляна вознамерился было прилечь. Но стук в дверь поднял его с постели. Наспех одевшись, Мухиддин со свечой в руке пошел открывать. Замирая от страха, приподнял засов: на пороге стоял отец, хаджи Салахиддин. Он тоже держал свечу, но одет был совсем иначе, нежели сын, — в белой чалме поверх остроконечной тюбетейки, в златотканом халате, будто собрался на некое торжество. Только вид у хаджи Салахиддина был не обычный торжественно спокойный, а такой, словно ювелир торопился на пожар. Он задул свечу, быстро прошел в комнату, но на почетное место не сел, а, стоя, кивнул сыну — закрой дверь! Мавляна набросил цепочку, молча взглянул на отца: колючие глаза Салахиддина приказали подойти ближе. Мухиддин почувствовал холодную дрожь.

— Твой любимый учитель... Мирза Улугбек, сын Шахруха, покинул сей бренный мир, — прошептал ювелир внятно и многозначительно.

Серебряный подсвечник беззвучно упал на тонкий шелковый ковер: мавляне Мухиддину не достало сил удержать его. Отец быстро нагнулся, схватил горящую свечу, поднес ее к бледному лицу сына.

— Ты понял, что я сказал?

— Когда это случилось? — тоже шепотом спросил мавляна.

— Вчера ночью... Его обезглавили!

— Кто?

— Кто?! — Хаджи Салахиддин рассмеялся ядовито. — Кто в силах был это сделать, тот и сделал... Его же отпрыск кровный, шах-заде Абдул-Латиф!

— О, милосердный аллах!

— Теперь жди, пойдет резня! — Ювелир сказал это убежденно и уже не приглушая голоса. Словно еще больше запугивал сына. — Теперь, говорю я, все родственники, все близкие бывшего властителя, все его учителя-нечестивцы и шагирды его, все, все теперь испытуют на себе гнев победителя шах-заде, всех он покарает, в темницы упрячет, в изгнание рассеет!

— За что же, отец?

— «За что же»? — Хаджи Салахиддин передразнил робкий шепот сына. — Вы же ученый муж, о мавляна, и не догадываетесь, за что? А разве когда-нибудь было иначе? Старый халат не для плеч нового владельца. Да и зачем он ему?.. Многих, многих шах-заде покарает, иные и обезглавлены будут, подобно покойному Мирзе Улугбеку.

Мавляна Мухиддин едва стоял на ногах — не будь здесь отца, который по-прежнему не садился и не приглашал сына сесть, он бросился бы на постель, зарылся бы в подушки: не видеть ничего, не слышать про все эти ужасы!

Мавляна закрыл глаза, зашептал молитву, поднеся руки к лицу.

Салахиддин-заргар чуть-чуть смягчился.

— Тысячу и тысячу благодарностей аллаху за то, что надоумил меня не порвать с шейхом Низамиддином Хомушем. Шейх был и остался моим пиром. А поверил бы и я... как ты, этому безбожному султану... не знаю, что спасло бы нас теперь... Я сейчас... да, да, на ночь глядя, отправлюсь к светлейшему шейху. Надеюсь, что и тебя позовут. И ты пойдешь! И бросишься к его ногам, умоляя о прощении грехов. Плакать должен и каяться, говорить, что шайтан сбил тебя с пути. И что уповаешь на милость аллаха! Понял, что я сказал?.. Не стой как пень, отвечай!

— Понял, благословенный...

— И скажешь еще, что давно отошел от всех мирских дел, от научных занятий, от сего бренного мира отошел... тайно, в душе, да боялся в том признаться еретiku султану...

— Благословенный, нужно ли такое? Ведь от повелителя — да пребудет душа его в райском саду! — мы видели только добро...

— Много добра видел?! Ну, тогда поднимись на минарет соборной мечети и кричи о том на весь Самарканд! — Салахиддин-заргар сжал кулаки, точно собирался ударить несогласного. — Видел добро? Безмозглый! А притеснения их? А Абдул-Азиз, да будет уготован ему ад?! Иль Хуршида не твоя дочь, это дитя, вымоленное мной у аллаха, светоч моих глаз, бутон моего цветника?

Мухиддин отвел взгляд от горящих яростью глаз отца. Медленно шевеля губами, произнес:

— Повелитель был в неведении о злодейских планах шахзаде.

— «Был в неведении»!.. Это ты в неведении! Тайны вселенной они познали, — издевательски рассмеялся старик. — Ничего вы не познали! И жизнь ты знаешь, мудрейший из мудрых, меньше темного простолюдина... Так запоминай, что говорят неглупые люди: завтра начнется резня и первой скатится твоя голова! Среди иных безбожных голов — твоя первой скатится, и дом твой будет первым предан огню! Первым!

Сын покачнулся, с трудом удержался на ногах, схватившись за спинку кресла. Хаджи Салахиддин поддержал его под локоть, усадил. Из ниши стеной вынул чайник и пиалу. Налил чаю Мухиддину. Тот, стуча зубами о край пиалы, сделал несколько глотков. Отец, остыв, пристальнее вглядывался в лицо сына.

— Прости меня, если так тяжелы оказались для тебя мои слова. Но думаю я не о себе — о тебе, о доме твоём, о семье... Над нашим домом черные тучи... Ты говоришь: вы видели хорошее. Верно, видели и такое от наследников эмира Тимура, — вот уж чья душа пусть возрадуется в раю! — видели мы всякое. И плохое тоже. А начнет шахзаде разыскивать людей, близких к отцу своему, найдутся доброхоты, укажут на тебя первого, на нас с тобой... Ты же не ребенок, думай как взрослый!

Мавляна Мухиддин сидел, подавленный, недвижимый. В слабом свете свечи лицо его казалось безжизненным. Хаджи Салахиддин скрыл тревогу за привычной суровостью и решительностью:

— Ну, я пошел к пиру... Если он вызовет тебя — утром ли, ночью ли, тут же прибудешь и скажешь шейху все, что надо. Так, как я тебе велел. И запомни: у нас нет другого выхода!

Нарочито четкими шагами Салахиддин-заргар направился к двери.

Еле доплелся до постели мавляна Мухиддин после ухода отца, разбитый и обессиленный, свалился на ложе. Не мог заснуть всю ночь. Стоило закрыть глаза — и в воображении предстал устод Улугбек, закрывающий голову руками от занесенной над нею сабли... Голова устода, залитая кровью, катилась в пыли



и прахе по земле, вращая глазами и что-то шепча, казалось, обращаясь к нему, Мухиддину.

Тогда вскакивал мавляна с ложа — в ужасе, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. И ходил, ходил по комнате до полного изнеможения. Но стоило лечь в постель, и снова видения преследовали его. Он и клял себя за слабость, за готовность сделать так, как велел отец, и убеждал в том, что именно так надо поступить, что устода уже нет в живых и, стало быть, нельзя счесть изменой ему слова «раскаяния», которые Мухиддин должен был сказать шейху.

Он вконец измучился и потому, когда на рассвете за ним пришел наконец от Низамиддина Хомуша посыльный, испытал даже некоторое облегчение.

## 2

Бомдод — первая молитва правоверных, на раннем рассвете.

Каландар после нее опять завернулся в старую кошму и улегся на супе: можно было еще подремать. Вскоре, однако, его разбудили. Он открыл глаза и увидел загадочную ухмылку Шакала.

— А, косой! Чего тебе?

— Мне? Золота! — Шакал тихо засмеялся. — Мне золота, а светлейшему шейху Низамиддину Хомушу тебя. Собирай манатки и спеши к шейху, дервиш!

Разминая затекшие ноги, Каландар не без смятения думал о том, что неспроста его разыскивал и разыскал-таки шейх, неспроста...

Всю ночь дул ветер, накрапывал дождь, а утром стало спокойно, свежо и чисто. Только холодно. И на безоблачном небе, быстро светлевшем, угасали последние неяркие звезды, — будто от холода.

В городе было пустынно, ворота и калитки под замками, и не из-за раннего часа, а, казалось Каландару, из-за черной беды, что уже несколько дней висела, распластав тяжелые крылья, над Самаркандом. Лишь по дороге на «Мазари шериф» попало несколько открытых мастерских — кузнецов да жестянщиков, — и как приятен их стук и грохот, когда вокруг тревожное молчание!

Мюриды Низамиддина Хомуша провели Каландара во внутренний двор сразу же. Каландар не успел даже определить по запаху, что варилось под чинарами в огромных чугунных котлах. Не задержался Каландар и во внутреннем дворе, с трех сторон окруженном пышно украшенными террасами; лишь минуточку любовался знакомым мраморным водоемом, серебряными его фонтанчиками, игрой воды, лившейся в отводное русло, выложенное цветными плитками, и тут же мюрид позвал его в светло-бирюзовую прихожую, а оттуда, отворив резную дверь, во внутренние покои.

Каландар, на миг задержав дыхание, перешагнул порог... Новое дело! В комнате, в почетном ее углу, по левую сторону от шейха, сидел на куче одеял старый ювелир хаджи Салахиддин! На белой чалме, на златотканом халате, на маленькой фарфоровой пиале, в которую он как раз в этот миг наливал чай, играли красные блики от туркменских ковров, что расстелены были по полу и развешаны по стенам комнаты. Узнал ли Салахиддин-заргар Каландара, неизвестно, на приветствие дервиша молча кивнул — руки были заняты пиалой. Шейх принял пиалу и тоже лишь кивком поздоровался с Каландаром; сделал глоток, отвел пиалу от губ.

— Присядь, дервиш!

Почтительно сложив руки на груди, Каландар опустился на колени там, где стоял, неподалеку от порога. На сей раз шейх не пригласил его подойти к скатерти.

— Какие вести принес нам из средоточия нечестивости? Что там происходит? Говори, дервиш.

Каландар слегка пошевелился, не переменяв позы.

— Все спокойно, мой пир...

— Спокойно, говоришь? Гм... А что узнал, что выведал про золото эмира Тимура, спрятанное там еретиками?

— Святой шейх, о том не ведаю...

— Голову подними, дервиш, смотри в глаза мне!

Каландар выдержал взгляд шейха.

— Говорю правду. По велению вашему смиренный слуга ваш неделю провел у ворот обсерватории, денно и ночью приглядывал за ней...

— И что же?

— Не заметил ни одной живой души, мой пир.

— А где был ночью третьего дня?

«Все знает!.. Знает?.. Или хочет поймать меня, запугать?»

— Той ночью... холодной, святой шейх... ваш слуга решил пойти к табунщикам, к ручью, обогреться у костра... И часу не прошло, как я вернулся.

— Так, так...— Шейх резко, почти неприязненно отбросил за спину длинный конец чалмы.— А книги, рукописи еретические, бесстыдные картины, все ли там на месте?

«Нет, ничего он не знает... И о делах Али Кушчи не осведомлен».

— Должны быть там, мой пир. Куда им деться, если и муха не проникнет без вашего разрешения в обсерваторию?

— Та-а-ак... А тот... ученик неправедного султана... как его... из памяти выскочило имя нечестивца...

— Али Кушчи,— подыграл Салахиддин-заргар.— Мавляна Али Кушчи, мой пир.

— Да, да... Али Кушчи... он где?

Каландару на миг опять показалось, что шейх знает все и лишь притворяется незнающим.

— Я неделю сидел у ворот. Этого человека не видел...

— Хвала тебе, дервиш, хвала, око мое!.. Золото на месте, еретические книги на месте, нечестивый шагирд нечестивого султана тоже, видать, на месте... Только на каком месте? И твое место где, дервиш?

Шейх побледнел. Приподнявшись, сунул руку под подушку, подложенную сбоку, вытащил трещотку, схожую с веретеном. На ее звук приоткрылась дверь, и показался знакомый Каландару мюрид.

— Здесь ли мавляна Мухиддин? Если здесь, пусть войдет!

Каландар искоса глянул на ювелира. Старик перехватил взгляд, но ни единый мускул на лице его не дрогнул.

Бесшумно отворив дверь, вошел мавляна Мухиддин. Невнятно прошептал приветствие, на цыпочках прошагал до места, указанного ему шейхом, сел — покорно, беззвучно. У Каландара Карнаки гулко забились сердце. Он побоялся посмотреть на мавляну — некогда одного из двух наставников своих в медресе; он смутно догадывался, что вот сейчас и произойдет то ужасное, ради чего позвал их сюда этот лис, этот жестокосердый хитрый шейх.

— Мавляна Мухиддин! Вам надлежит сейчас вот вместе с этим дервишем пойти в крамольное гнездо, — шейх не отказал себе в удовольствии усмехнуться, — в хорошо вам обоим известное крамольное гнездо... в рассадник нечестия и безверия...

Каландар видел, как под ударами слов шейха задрожали тонкие пальцы рук, скрещенных на груди мавляны поверх серого чекменя, как все ниже и ниже опускалась долу большая белая чалма, как все покорнее и раболепнее становилась поза.

— ...Так вот, вы, мавляна, пойдете немедленно в это гнездо... а почему вы молчите, мавляна?

Чуть встрепенулся мавляна Мухиддин.

— Ваши слова — закон для истинных мусульман, святой шейх.

— Ну, так вот... запоминайте, запоминайте, мавляна... Исчадие ереси, называемое обсерваторией Улугбека, равно как и медресе его, должно быть стерто с лица земли. Нам ведомо, что вы причастны, мавляна, к делам неправедным. Однако заблуждение слуг тех, кто назван тенями алаха на земле, можно искупить, коли аллах соизволит, и... мы надеемся, что вы, мавляна, богоугодными делами своими искупите грех прежних заблуждений!.. — Шейх приподнялся на подушках, подался чуть вперед. — Так вот, запомните, ни одна из еретических книг не должна исчезнуть оттуда, куда вы отправитесь! Все, все они, эти книги, не в духе нашей истинной веры, все рукописи, все бесстыдные, развратные картины — все это должно сжечь! Вы, мавляна, знаете эти книги, надо полагать, лучше многих. Идите вместе с этим дервишем, идите и все осмотрите: на месте ли эти книги, не спрятаны ли они какими-нибудь учениками султана-нечестивца... Ясно ли сказал я, мавляна?

— Ясно, — прошептал Мухиддин.

— И еще об одной тайне я осведомлен, — продолжал шейх. — Вероотступник Мирза Улугбек спрятал в гнезде своем сокровища великого, победоносного эмира Тимура — да возрадуется душа его в райских садах! Они в руках нечестивца Али Кушчи... Передайте сподвижнику своему Али Кушчи... — при слове «сподвижник» шейх глянул на Мухиддина и Салахиддина-заргара с усмешкой, — передайте ему: пусть не упрямится, а придет к нам за отпущением грехов, пусть молит аллаха о снисхождении, о прощении. Участь учителя его, Мирзы Улугбека, что возведен был на трон, но и сброшен с него, ибо избрал путь непокорства аллаху, да послужит для Али Кушчи уроком! Пусть знает, что благословенному шах-заде все о нем известно и что терпение повелителя не безгранично!..

Поднимаясь с одеял, мавляна Мухиддин почувствовал устремленный на него взгляд Каландара Карнаки: худое, болезненно-бледное лицо наставника вспыхнуло, даже кончики больших ушей, не прикрытых тюрбаном, покраснели. «Испугался меня или стыдно стало?» — спросил себя Каландар, пятясь и кланяясь и давая возможность мавляне выйти первому.

### 3

Не думал, не гадал мавляна Мухиддин встретиться с Каландаром Карнаки. Да еще где? У суфийского шейха, большого человека в ордене накшбендиев. Благо еще, стал Каландар дerviшем, человеком, что отвернулся от бренного мира и выбрал в удел покорство нищего и зоркость соглядатая, послушного тому же шейху. Иначе совсем было бы неумоготу отвечать на вопросы пресветлого шейха перед лицом третьего человека!.. А теперь новая забота — встреча с Али Кушчи! Как посмотреть в глаза Али, как передать благоразумные советы шейха?

Три всадника ждали мавляну Мухиддина у ворот. Только помогут ли они в его деле?

Мухиддин знал Али Кушчи. Если тот уж дал слово... если что-то решил... упрямство ослиное проявит тогда в исполнении намеченного. Не раз говорили они с повелителем-устодом про разум, да будет ли теперь разумен мавляна Али? Может, злоецый конец устода заставит и его подумать о разумном решении?

Хорошо, если так... Хорошо бы!..

Так и повторял всю дорогу до обсерватории мавляна Мухиддин: «Хорошо бы, хорошо бы», — а при виде высокого портала, дверей, ведущих туда, где прошла счастливейшая — что скрывать? — счастливейшая четверть века его жизни, эти слова словно вылетели из головы. Смело их волной страха перед предстоящим свиданием.

Ворота, к несчастью, открыл сам Али Кушчи. Темная феска прикрывала темя, длинный темный чекмень, несмотря на холод, распахнут на груди. Видно было: гостей таких не ожидал. Молча

посмотрел на всадников, на Каландара, на мавляну Мухиддина. Потом опять на всадников-воинов и на съездившегося в седле «сподвижника». Понял, кажется, зачем все они пожаловали сюда, усмехнулся.

— Добро пожаловать, дорогой мавляна!

Мухиддин, все еще сидя в седле, пробормотал, краснея:

— Светлейший шейх Низамиддин Хомуш повелел мне осмотреть книгохранилище, проверить сохранность книг...

— А я не знал, что вы теперь на службе у светлейшего шейха, — Али Кушчи насмешливо сощурился. — Но осмотреть книги можно только сойдя с коня, почтенный мавляна... И еще: вы приехали проверить книги, а для чего приехали ко мне эти славные воины?

Воин, рябоватый лицом и явно гордящийся длинным султаном на своем шлеме, насупился и важно ответил:

— Отныне мы будем стеречь это вместилище злых духов!

— Понятно: воины будут стеречь обсерваторию. А ты, дервиш?

Каландар приосанился, как то сделал только что рябой воин, сказал громко, выразительно:

— А я тут затем, чтобы сжечь эти греховные книги, написанные нечестивцами! Бросить их в костер!

— Несчастный, кто сказал тебе, что хранимые здесь книги греховны, что их написали нечестивые люди?

— Пусть вам скажет о том мавляна Мухиддин, он лучше знает, чем я!

«Молодец, Каландар, право, молодец! — мысленно одобрил находчивость дервиша Али Кушчи. — Что теперь скажет этот трус?» Вслух же Али Кушчи воскликнул:

— Как?! Вы, мавляна, привели сюда воинов, чтобы сжечь книги, сровнять с землей храм науки, в котором сами изучали науку о звездах и преподавали ее другим? Я не ослышался, мавляна? Этот безумец говорит правду?..

Мавляна Мухиддин — лицо белое, без кровинки — потоптался минуту-другую, съежась, будто от холода, потом расправил плечи, желая придать долговязой фигуре своей достойный вид, и двинулся к обсерватории, загребая ногами. Прежде чем протянуть руку к литым кольцам двустворчатой двери, снова остановился, постоял нерешительно перед входом; губы его непроизвольно зашептали что-то молитвенное.

Да, мавляна Али прав: почти четверть века, долгую четверть века он, Мухиддин, поднимался по мраморным ступеням в просторные помещения обсерватории, тихие, полусумрачные, и зимой и летом прохладные... Почти четверть века провел он рядом с секстантом и чудесными приборами, обращенными к небесной выси, у полок с бесчисленными книгами, и нельзя было остаться спокойным сейчас, вспомнив об этой долгой четверти века. Взглянул на столь хорошо знакомую блестящую дугу секстанта, что уходила вниз, на отверстие в овальном потолке,

откуда на чудо-секстант падали лучи звездного света, и сердце мавляны Мухиддина облила невыразимая горечь.

Было время, когда глаза его при помощи чудесных инструментов, придуманных самим устомом, сосредоточенно всматривались в вечное небо, и забывал он тогда о тревогах и заботах мира поднебесного, преходящего, и сердце его наполнилось великим восторгом от изумления перед тем, что открывалось ему, Мухиддину, и от способности своей вести беседу, долгую и тихую, с беспредельной вселенной, со звездами, мерцающими и вспыхивающими в бездонном пространстве, с таинственными — ему казалось, божественными — силами, которые придавали стройность и смысл всему, что видели глаза. Теперь он лишен таких счастливых минут и часов, теперь он исполнитель поручения, что недостойно мавляны, теперь в сердце его страдание и презрение к себе. О аллах! За какие грехи ниспослано тобой такое наказание?

Еще сильнее охватила его сердце печаль в книгохранилище. Оно выглядело так же, как раньше, когда посещал библиотеку повелитель-устод: от свечей, стоявших в нишах, исходил теплый, неяркий свет; блестело серебро подсвечников. На столике, выдвинутом перед полукругим кресел, сложены кипы книг, отобранных для неотложной работы, в углу на высокоспинном кресле посверкивали золотканый халат и тигровая шкура, темным пятном поверх нее — бархатная шапочка устода, словно только что вышел он отсюда и вот-вот вернется, сядет в любимое кресло, покрытое шкурой тигра, и, обратив лицо к своим верным шагирдам, поведет, как обычно, спокойно-степенную беседу о тайнах вселенной. Мухиддину померещилось, будто он и впрямь слышит глуховатый голос устода.

Превозмогая озноб страха и раскаяния в том, что ему сейчас предстояло делать, мавляна Мухиддин стал медленно шагать вдоль полок, сопровождаемый холодным и неотступным взглядом Али Кушчи, который остался стоять у дверей в библиотеку — неподвижная фигура, опирающаяся спиной о стену, сложенные на груди руки, нескрываемое презрение к «сподвижнику». Мухиддин не притрагивался к книгам и рукописям; ему не надо было ни пересчитывать их, ни поднимать взора вверх, к полкам под самым потолком (может, их переставили туда, самые редкие произведения?): сразу же обнаружил он, что наиболее ценные книги и рукописи исчезли. Вот угол, где с особым тщанием хранились книги и рукописи мудрецов и поэтов Мавераннахра, вместо завернутых в шелк знаменитых этих редкостей, здесь стоят другие книги... Он же знает все книгохранилище, можно сказать, наизусть!.. Вот особая полка, скрытая шелковой занавесью, — полка рукописей самого устода. Закрыв глаза, Мухиддин представил себе порядок, в котором они стоят: «Турк улус тарихи», четырехтомная история улусов тюркских племен; рядом на тончайшей бумаге «Таблица звезд», и тут же комментирующие их трактаты; выше, над полкой устода, — полка с кни-

гами сиятельного Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида: устод всю жизнь почитал своих учителей.

Обе эти полки тоже заставлены теперь другими книгами. Значит, Али Кушчи вывез самое редкое, спрятал куда-то. Куда? И как он мог это сделать один? И еще шейх говорил о драгоценностях, о золоте, и сам Али Кушчи говорил об этом, когда приходил за помощью... Куда же он спрятал золото?

Мавляна Мухиддин знал упрямство Али Кушчи, его последовательность в исполнении принятого — раз и навсегда! — решения. Он чувствовал сейчас, спиной своей ощущал, как растет, вскипает гнев Али Кушчи, что продолжал стоять у двери, наблюдая за ним, Мухиддином... Шейх ошибается, думая, что обещанием прощения развяжет язык Али Кушчи! Потому и не станет он, Мухиддин, передавать Али Кушчи слов Низамиддина Хомуша.

Мавляна Мухиддин долго еще бесцельно бродил по библиотеке, не зная, как поступить. Потом медленно направился к выходу, смиренно вобрав голову в плечи.

Али Кушчи закрыл собою весь дверной проем.

— Убедился ли досточтимый мавляна в том, что все книги... все крамольные книги на месте, в целости и сохранности?

— Да, да, все на месте, все в сохранности,— торопливо закивал мавляна Мухиддин.— Все, все на месте...

— И святому шейху будет доложено об этом именно так?  
— А?

Али Кушчи стиснул зубы. В глазах, устремленных на Мухиддина, были гнев, злость и отвращение.

— Шейх, говорю, будет знать о том, что здесь все на месте?

— Будет, будет... Я так и доложу.

— Вот что, мавляна! — Голос Али Кушчи задрожал.— Прошлой ночью от руки убийцы пал... наш повелитель... устод Улугбек. Известно об этом шагирду его Мухиддину?

Мавляна съежился, прижался к стене, словно ища у нее защиты от возможного удара.

— Все люди науки сегодня в глубоком трауре! Невежды маддохи торжествуют! Подлые, они убили нашего учителя, главу ученых... Что молчишь, мавляна? Молчание — знак согласия! Значит, знаешь про подлое убийство, знаешь... И в такой день вместо траура, вместо того, чтобы разделить горе просвещенных... прийти сюда, в эту обитель знания, чтобы готовить великие творения к костру!

— Али, Али! Дорогой мой друг! Но что же мне оставалось делать,— почти прорыдал мавляна Мухиддин.— Я не герой, я простой смертный, раб аллаха...

— Ну, так пойдй и доложи своему хозяину, раб: Али Кушчи спрятал лучшие... крамольные книги, их нет в обсерватории, нет! Скажи, что надо сжечь обсерваторию, дотла спалить!.. Только помни, душе невинно погибшего устода... убитого твоими новыми хозяевами... все ведомо, весь ты виден!

Мухиддин словно вжался в стену. Громко всхлипнул. Ладонью стал смахивать слезы с длинных ресниц. Губы кривились, бормотали что-то об «ужасной вести», о собственной несчастной судьбе, о том, что «разбитый кувшин не склеить». «Я ваш слуга, покорный слуга...» — то и дело слышалось из уст мавляны.

Али Кушчи отвернулся, сделал шаг в сторону.

И жалко было Мухиддина, и трудно верить в искренность его страданий. Память подсказывала случаи, когда мавляна Мухиддин оказывался в трудном для себя положении и вот так и отделивался — слезами.

Али Кушчи махнул рукой:

— Я все сказал, мавляна! Сказал, как ученому. Как почитаемому мной ученому. А как вам поступить, об этом спросите у своей совести!

И Али Кушчи прошел внутрь книгохранилища, мимо мавляны Мухиддина, глядя поверх него, будто не видя того, кого только что обличал.

Мавляна Мухиддин минуту-другую стоял перед распахнутой дверью, вздыхая часто и шумно, потом вытер лицо рукавом чекменя и медленно, пошатываясь, стал спускаться по лестнице...

Али Кушчи долго не мог успокоиться, снова и снова перебирал в памяти подробности разговора с мавляной Мухиддином. Он ведь не ждал ничего хорошего, тем паче не ждал помощи от этого труса, но как же трудно, оказывается, потерять веру в человека, с которым столько вместе пережито! Где-то на самом доньшке души теплился у Али Кушчи лучик надежды, и вот нынче погас тот лучик совсем. Шагирдом Улугбека остался только сам Али, один. И нету другого.

...Кто-то тронул мавляну за плечо. Обернулся. Увидел Каландара и Мирама Чалаби. Его ученики, его собственные ученики!

— Мавляна Мухиддин ушел?

— Ушел, устод.

— А воины?

— Один поехал с ним, двое внизу, у ворот. Стерегут нас. Помолчали. Али Кушчи все думал о горестном своем одиночестве.

— А ты почему не уходишь, дервиш?

Каландар подтолкнул локтем Мирама.

— Ваш покорный слуга был беззаботным нищим... А теперь... Если мавляна Мухиддин раскроет святейшему шейху тайну исчезновения книг, то... лишусь я всего, наставник!

Али Кушчи неожиданно для себя рассмеялся.

— Дрожьешь за сохранность старого колпака и лохмотьев? Не шутка, это большое богатство!.. Ну, а всерьез, куда хочешь податься теперь, дервиш?

— Теперь? — Каландар потер лоб треухом, пожал плечами. — К Уста Тимуру Самарканди, наставник. Знакомой доро-



гой, если позволите.— Он показал пальцем в пол.— Больше некуда мне! А вы, устод?

— Я? Нельзя мне уйти... Пусть резня, пусть темница! Своей волей отсюда не уйду. Да и свершается с каждым лишь то, что написано на роду!.. А вот Мирама ты взял бы с собой, держи.

Мирам Чалаби нахмурил брови, иссиня-яркие глаза его потемнели.

— Нет, нет, учитель! Где будете вы, там буду и я!

Али Кушчи встал с кресла, ласково обнял ученика за плечи. Потом достал из-за пояса-кушака связку ключей, отделил один.

— Пойдемте, друзья.

#### 4

Много часов не смыкал глаз шах-заде Абдул-Латиф. До вчерашней полночи не мог заснуть.

Вчера в полночь получил он наконец долгожданную весть от эмира Султана Джандара, посланного вслед Мирзе Улугбеку. А получив эту весть, которая словно гору свалила с плеч, шах-заде в радостном изнеможении упал в золотое кресло прадеда своего, эмира Тимура, и тут же заснул.

Сколько проспал, не помнит. Но показалось ему, что кто-то встал над ним, спящим, и от страха Абдул-Латиф сразу пробудился.

Свечи в подсвечниках на круглых поставцах почему-то не горели. Теплилась только одна свеча — в нише над дверью, слабо освещая лишь малое пространство у самого входа, а вся огромная комната полна была тьмой.

Сердце шах-заде стучало глухо и часто.

Абдул-Латиф поднялся с трона, осмотрелся по сторонам. Один ли он тут, в этой громадной сумрачной зале? Вдруг почудилось, будто кто-то прячется в темных углах и под раззолоченными стульями, выстроеными вдоль стен, кто-то неотступно рассматривает его через щелку, образованную тяжелыми занавесями за спиной, за тронем!

Нет, нет, это только почудилось!

«О создатель, милостивый и всемогущий! Прикрой раба своего крылом защиты!..»

Абдул-Латиф отпрянул от трона, постоял минуту посреди комнаты, слушая тишину. Преодолея оцепенение. На цыпочках, боясь темных теней в углах, прошелся вдоль стен, в каждой нише зажигая свечу. Помещение ожило, нежные орнаменты вспыхнули голубым и желтым:

Никого, нет никого!

Опять подошел шах-заде к трону, обессиленно уронил тело на сиденье, обхватил руками голову.

Что с ним такое? Почему сердце бьется, как птица в жестких силках?

Чего, чего он боится? Он же всех победил, все препятствия преодолел, он же теперь повелитель Мавераннахра, единственный, единственный! Всевышний явил ему — ему! — свою щедрость, свою милость, подвел его к вратам счастья!

Может, напугала весть, поступившая от Султана Джандара? Но ведь никто другой не ждал этой вести столь нетерпеливо и вожделенно — он, Абдул-Латиф, ждал ее, он! Ах, как он ее ждал! Всякий раз вскакивал, держа руку на груди, словно не давая сердцу выскочить, всякий раз, когда сарайбон — дворецкий появлялся с сообщением, что кто-то прибыл. Все ждал от дворецкого слов: «Эмир Джандар!» И раздражался, слыша другое имя. Уже за полночь было, когда в залу ввалился сам Султан Джандар с темным шерстяным хурджуном на загорбке. Зацепился эмир кривой саблей за дверь, тихо выругался, а войдя, отвесил неловкий поклон, не снимая мешка с плеч.

Сердце так и рвалось из груди шах-заде, когда он одеревенело прошептал:

— Говори!

Султан Джандар выпрямился, втянул живот, поднял голову. Ребром ладони провел по горлу.

— Голова отсечена от тела, повелитель.

Весь в холодном поту, шах-заде спросил:

— Где? — Он хотел спросить, где произошло убийство. Султан Джандар понял иначе, сбросил на пол — со стуком! — ношу, развязал веревку, начал копать в мешке руками.

«Нет, нет не показывай, не надо!» — беззвучно, взглядом приказал шах-заде. Эмир усмехнулся, снова выпрямился, резко, почти грубо осведомился:

— Где хоронить будем?

Долго ждал злой вести шах-заде, а о месте захоронения и не подумал.

— В Гур-Эмире?

Шах-заде смятенно покачал головой: ну уж нет, только не там!

— Хвала вам, повелитель! — загромыхал Султан Джандар. — Мы погрешили бы против веры, коль нечестивца положить в гробницу победоносного воителя. Предлагаю закопать его тело в его же крамольном гнезде — в медресе!

Шах-заде нетерпеливо махнул рукой:

— Делай как знаешь, только... побыстрей! И чтоб ни одна живая душа не узнала, ни одна!

Эмир, все так же неприятно улыбаясь, попятился к выходу, поволок хурджун за собой.

— Не беспокойтесь, заступник трона, все будет как надо... Люди умные говорят: хоть и видел, лучше сделать вид, что не видел...

Шах-заде помнит, что сразу же после ухода эмира он успокоенно произнес:

— Ну, слава аллаху, — и тут же заснул.

Успокоенно?

Как можно быть спокойным здесь, в этом сумрачном дворце? Вот снова что-то — или к т о т о — за спиной!

Шах-заде молнией сорвался с сиденья, резко повернулся к занавесям за тронем. Шевелится, вправду шевелится!

Он стремительно выхватил из ножен саблю, прыгнул вперед, не сводя одичавших глаз с шевелящейся ткани, рубанул по ней. Сабля задела замок потайной двери, звякнула приглушенно. Кусок занавеси упал на пол, приоткрыв железный лист, один из тех, которыми обита была дверца, уводящая в подземелье.

Никого... Никого нет, слава аллаху! Ему померещилось!

Абдул-Латиф вытер пот со лба и щек.

«Да что это со мной?.. В чем я виноват, если убит нечестивый султан, по несчастью, по насмешке судьбы называемый родителем моим? И не я, не я убил его! Саид Аббас, которого сам же отец и сделал врагом себе...»

И кто велел ему выступать против веры истинной, против могущественных улемов, столпов веры, против сеидов, потомков пророка?.. Гнева всевышнего не убоился, вознамерился постичь тайны вселенной, а она — престол аллаха, и недаром всевышний не дал нам права на постижение этих тайн... Вот потому и покарал!

А уж о нем, сыне-то своем, разве заботился покойный султан? Благословенный родитель? Нет, черствый, черствый чужак — так будет правильней! Ни разу не погладил в детстве, ни разу не прижал мальчика к груди своей, не помнит, не помнит Абдул-Латиф, чтобы к нему обратились со словами: «Сын мой!» Всю любовь, всю ласку свою — другому, Абдул-Азизу! Того-то любил и нежил. А Абдул-Латифа отдал на воспитание бабке, Гаухаршод-бегим. Властная эта женщина, даром что красоты неопишуемой, невзлюбила Абдул-Латифа. Всегда холодно улыбалась ему тонкими своими губами. Из всех внуков один у нее был любимчик — толстый увалень Алауд-давля, сынок Мирзы Байсункура, вот его она и ласкала, одаривала, ему была советчицей, доброй феей. А он, Абдул-Латиф, и здесь, в Самарканде, и там, в Герате, в громадном пышном дворце деда Шахруха чувствовал, что никому не нужен, никому не приятен. Так, сирота злосчастный. Обида на родных и неприязнь к ним — с детских лет!

А позже, когда пришла к нему ранняя возмужалость — возмужалость воина и властителя, — видел ли он что-либо хорошее от отца? Как бы не так! Благословенный родитель ущемлял его во всем, старался поднять повыше любимчика своего Абдул-Азиза. В сражении тарнобском под Гератом победителем оказался этот сопляк! Так распорядился сообщить всем и каждому их благословенный родитель. А ведь ту битву против Алауд-давля выиграл он, Абдул-Латиф; не примчись он тогда со своими всадниками в степь Тарноба, неизвестно, что было бы с братцем,

да и с самим родителем тоже. Ну, пусть так, пусть победил Абдул-Азиз... Но вот разбили Алауд-давлю, этого упрянца, снова захватили Герат. И кто взял добычу, что хранилась в замке Ихтиеридина? Родитель! У кого взял? У сына своего, Абдул-Латифа! Под предлогом, что казна истощена войной, все его богатства, подарки деда Шахруха, все сокровища, все золотые статуэтки, доставшиеся от прадеда, великого Тимура, — все это отец отправил в Мавераннахр! Ну, пусть так. Пусть! Не в богатстве дело... А вот когда неугомонный Алауд-давля, собрав новые силы, осадил Герат и Абдул-Латифа в Герате, подал ли благословенный родитель руку помощи своему сыну? Помог, называется! Герат остался у Алауд-давли, а его, Абдул-Латифа, отец отправил в Балх, в этот захудалый городишко, вроде кишлака!

Мирза Улугбек вернулся в Мавераннахр, распорядился: отдать старшему сыну жалкий провинциальный Балх, а младший... младший получил в руки великий город, столицу Самарканд!..

Чем больше обид припоминал шах-заде, тем живее играла кровь в жилах. И вчера он подстегивал себя такими же воспоминаниями. Сын, обиженный несправедливым отношением отца, сын, в ы н у ж д е н ы й взяться за меч во имя защиты истинной веры и во имя защиты самого себя, сойди он с этой тропы — и сомнения, неясные, а потому особенно пугающие, начали бы закрадываться в душу. А сомнения — первый шаг к воспоминаниям и о хорошем, что сделал ему отец, а за ними недолго и до раскаяния в том, что он, сын, причинил отцу.

И Абдул-Латиф все подстегивал и подстегивал себя воспоминаниями-обидами.

«Да, ничего хорошего я не видел от благословенного родителя. Только ущерб видел от него — моему богатству, моему полководческому дару, славе моей! А последняя наша встреча? Благодарил бы за великодушие, дал бы отцовское благословение, а что сделал отец? Напророчествовал дурное! «Сын, поднявший меч на отца, во веки веков будет проклят, лишен будет счастья!» Ишь ты, поднял меч... Кто первый из нас поднял меч?»

И тут подумалось шах-заде, что как бы там ни было, а его сыновним мечом убит отец. Страх снова обуял Абдул-Латифа. Отцеубийца! Есть ли слово страшнее?.. А если об убийстве, происшедшем этой ночью, узнает население Самарканда? Можно ли доверять мстительному Саиду Аббасу и эмиру Джандару? Да они из пустой похвальбы растрезвонят... И как неприятно усмеялся эмир, чуть ли не подмаргивал ему, повелителю своему! Сообщник сообщнику... Но из двух сообщников один всегда верховодит другим.

«И не зря Султан Джандар щерился, видно, думает, что теперь будет мной вертеть, как хочет... Кто знает об убийстве? Саид Аббас. Султан Джандар. Несколько воинов. Да, еще хаджи Мухаммад Хисрав. Ну, этого-то припугнуть как следует, и он скорее язык сам себе откусит, чем хоть слово скажет. А вот

с остальными как быть?» Шах-заде ужаснулся пришедшей тотчас мысли — жестокой и страшной. Но она, эта мысль, продолжала вызревать, она крепла, оттесняя иные мысли, и превратилась в конце концов в твердое решение: всех, причастных к убийству отца, убрать, уничтожить; поручить это сделать надо тому же Султану Джандару, а потом убрать и его.

Абдул-Латиф быстро пересек залу. Открыл дверь.

— Эй, кто тут есть?!

Дремавший на стуле сарайбон торопливо вскочил, поклонился.

— Простите милостиво, повелитель. Задремал.

— Гонца пошли к эмиру Султану Джандару! Пусть эмир прибудет немедленно!

Сарайбон отвесил еще более низкий поклон.

— Не позволит ли повелитель рабу своему свершить сначала молитву бомдод?

«Слава аллаху, выходит, уже утро наступило», — подумал Абдул-Латиф, чувствуя облегчение. Милостиво наклонил голову. Сказал негромко:

— Пусть и мне принесут воду для омовения.

Небольшая дверца вела из залы в укромную комнатку — махфихану.

Пройдя туда, шах-заде присел на корточки у выложенного мраморными плитками углубления в полу, совершил омовение. Потом снял халат и, как делал перед сражениями, расстелил его в углу, сел коленопреклоненно на золоченую эту подстилку лицом к Мекке. Зашептал слова молитвы. Потом долго еще сидел, прикрыв глаза, не меняя молитвенной позы, — подстеленный халат словно изымал его из суетного мира. Сосредоточенно вслушивался в тишину — так обращался к небесам, просил защиты, поддержки, душевного успокоения. И когда услоение начало приходить, когда решил он уже подняться, из соседней большой комнаты послышался шум, возня, приглушенные голоса будто борющихся друг с другом людей. Абдул-Латиф торопливо подобрал с полу халат и, на ходу набросив его на плечи, быстро пошел в залу, но достичь ее не успел: дверь распахнулась и в махфихану вбежал Абдул-Азиз.

Он был бос. Непокрытая голова его, наголо обрিতая, тряслась. Длинная, по колена, шелковая рубаха, до пояса разорванная, свисала с плеча. Глаза, полные ужаса, метались на лице. «С ума сошел! — пронеслось в мозгу Абдул-Латифа. Он невольно потянулся к сабле и сделал шаг назад. — Как же это он попал сюда из заточения? Кто выпустил? Кто впустил?.. И что с ним, чего он хочет?!»

Абдул-Азиз нетерпеливым жестом сорвал рубашку совсем, напроць; пальцы вцепились в волосы на голой груди. Не попадая зубом на зуб, заикаясь, спросил:

— Что... что ты сделал с благо... благословенным... ты... отце... убийца!

«Узнал! Узнал!! Откуда?! Кто ему сказал?»

Абдул-Латиф обнажил саблю: «Кинется вперед — зарублю!»  
Закричал громко, яростно:

— Эй, кто там есть? Сюда!.. Сарайбон!

— П-п-поднял меч на... родителя своего?.. Как же з-земля еще носит тебя, п-почему небеса не рухнут на т-твою голову?

Бритая голова брата тряслась все сильнее, глаза сверкали все безумнее. Стуча зубами, Абдул-Азиз двинулся вперед. Старший стал отступать к стене, выставив саблю и слегка пошевеливая ею. Но Абдул-Азиза это не остановило, он надвигался на брата, а тот уже ощутил лопатками твердую поверхность стены. Бросил халат, взмахнул саблей.

— А-а, п-подлый!.. отцеубийца!.. А-а, родитель мой!.. б-благословенный. Что ты сделал с ним? — выдохнул Абдул-Азиз прямо в лицо Абдул-Латифу и вдруг залился щедрыми, бурными, словно сель в горах, слезами; они вмиг затопили впалые щеки, исчезая в грязной, давно не расчесываемой бороде.

«Зарублю, зарублю! Пусть еще шаг сделает». Абдул-Латиф продолжал медленно отступать от брата — двигался вдоль стены, спиной ощущая ее твердость, неподатливость. Он уже достиг потайной двери, когда вбежали балхский приспешник и есаул.

— Хватайте этого безумца! Хватайте!

У сарайбона тоже был разорван ворот бархатного халата. Зачем-то рванув еще раз этот ворот, сарайбон бросился сзади на Абдул-Азиза, обхватил его за шею. Есаул привычным приемом стал заламывать руки младшему шах-заде. Абдул-Азиз тщетно вырывался.

— М-мерзок!.. м-мерзок!.. Гнушаюсь тобой!.. Ты не брат мне!.. Всеми святыми, пророком клянусь, — Абдул-Азиз захрипел. — За ноги п-повешу тебя! Вниз го-голо!..

— Уведите этого сумасшедшего! Вон его отсюда!.. Иначе зарублю!

Абдул-Азиза повернули лицом к выходу, стали выталкивать. Но, освободив одну руку, он уперся ею в косяк двери.

— Руби! Руби!.. Как отца з-зарубил!

Могучий темнолицый есаул оторвал наконец Абдул-Азиза от двери, выпихнул вон. И старший брат услышал, как младший тяжело упал наземь, а через мгновение вновь раздались яростные рыдающие проклятия:

— Отцеубийца! Гнев господи!.. покарает тебя!.. Земля поглотит отцеубийцу, сама земля!..

Потом послышался свист нагайки, стук закрываемой снаружи двери, и все стихло!..

Абдул-Латиф вошел в залу, где стоял трон. Присел рядом с ним прямо на пол, прислонил горячий лоб к холодным золоченым поручням.

«О аллах, защити меня, защити!.. Откуда узнал обо всем этом!.. свихнувшийся? Кто рассказал ему?.. А ведь кто-то рассказал! Какой-то дьявол донес ему весть в заточение. Значит,

и по всей столице она распространится не сегодня, так завтра, по всему Мавераннахру!..

А может, об этом уже узнали и два других наследника? Двоюродные братья — Мирза Абдулла и Мирза Абу Саид? По моей воле их тоже бросили в зиндан, но надо проверить, как они там... Проверить самому. Никому не доверяя! Страшная весть все засовы сорвет... Защити, создатель, обереги от недругов, от происков их, не дай опорочить имя раба своего! Весь дворец, весь дворец полон недругов. Кругом враги! В каждом углу Коксарая тени двуличных!.. На кого, на кого опереться, кому довериться в этой злосчастной стране?»

Долго сидел так шах-заде: лоб на холодных подлокотниках вождя трона, глаза закрыты, уста шепчут просьбу простить грехи, укрепить мужество и волю, а в сердце все тот же страх, в ушах все тот же хриплый голос брата:

«Гнев господ на отцеубийце! Сама земля поглотит тебя, сама земля!..»

Шах-заде вздрогнул, услышав тихий скрип двери. Эмир Султан Джандар! Явился наконец! Хитровато-проворные глаза, крупные чувственные губы, выпяченные будто в усмешке.

Абдул-Латиф вскочил с места, бросился к эмиру, вцепился в отвороты его одежды.

— Ну, обманщик!.. Развратник! О твоих похождениях знает вся столица, весь Мавераннахр!.. Кто распускает подлые слухи?

— Оплот милосердия... О смерти своей ведаю...

— Не ведаешь?! А что побледнел?.. — Шах-заде схватил вельможу за рукав чекменя. — Султана-богохульника, вероотступника казнил ты! Ты!.. А молва порочит меня!

Эмир Джандар отпрянул назад, произнес стонуще:

— Если была хоть капля неправды в том, что я сказал, пусть всевышний покарает меня, повелитель!

— Долой с глаз моих, лицемер! — Шах-заде отвернулся. Заложив руки за спину, быстро прошел в глубь залы. Дернул шнурок голубых занавесей за тронем, и они распахнулись, пропуская сверху, из окна под потолком, сноп солнечных лучей, от которых тотчас вспыхнули и бирюзовый этот потолок, и нежные краски настенных росписей, и багряно-червонные ширазские ковры на полу.

У Султана Джандара зарябило в глазах.

Скосив глаза, шах-заде глянул на вельможу. Голову-то эмир склонил, но все равно чудились в его фигуре ненависть к нему, шах-заде, и некая гордыня, какая бывает у человека, считающего себя несправедливо обиженным. «Вон он каков, единственный мой оплот. Брови-то как насупил!.. Нет, с ним надо осторожнее».

И вдруг, словно ничего и не произошло меж ними, шах-заде повернулся к Султану Джандару и сказал:

— Ну, мой эмир, поведайте обо всем... Как там... обошлось?

Почувствовав, что гроза миновала, эмир Джандар заговорил с облегчением, сразу поняв, о чем хочет узнать шах-заде.

— Похоронили, благодетель... Закопали тело в углу во дворе медресе... Ни одной живой души не было ни в самом медресе, ни вокруг. Никто не догадается ни о чем и никогда...

— Кто был с вами во время... похорон?

— Саид Аббас.

— Еще?

— Ну, эти нукеры... четверо...

Абдул-Латиф со значением взглянул на Султана Джандара, глаза в глаза. Понял ли эмир, что хотелось сказать и не хотелось говорить шах-заде?

Абдул-Латиф медленно подошел к Султану Джандару — близко подошел, лицом к лицу.

— Слушайте внимательно, мой эмир... Всех, кто участвовал в этом,— у шах-заде не поворотился язык произнести слово «убийство», отыскивая, чем его заменить, он наморщил лоб,— всех, говорю, кто был при этом деле... всех надо... убрать! — Абдул-Латиф сделал резкий мгновенный жест, проведя ребром ладони под подбородком.

В глазах Султана Джандара промелькнул испуг, усы будто встопорщились.

— Обезглавить?.. Всех?..

— Не о вас речь, эмир. Что вы испугались, оплот мой верный? Вы моя правая рука, гора, на которую опираюсь... Остальных... всех убрать! У нас нет иного выхода, мой эмир. Или их тайная смерть, или позор... на нас обоих... из-за молвы людской.

— Но, мой благодетель... разве султана убили вы? Разве не ясно, что вероотступнику отомстил за смерть родителя своего Саид Аббас?.. Это могут узнать все.

— Нет!.. Нужно молчание. Полное молчание... Надо казнить их всех... Где Саид Аббас?

— Он сидит у ворот Кок-сарая, ожидая часа, когда вы позволите ему припасть к вашим стопам.

— Нет! В зиндан его. Тотчас! И тех нукеров тоже... И немедленно, сегодня же им...— шах-заде опять провел ладонью по горлу.— Сегодня же... Вы поняли меня, мой эмир?

Эмир Джандар, побледнев еще сильнее, покорно склонил голову.

— Слово повелителя — закон для преданного слуги.

— Хвала вам, эмир... И еще одно. Что будут говорить о всех этих... делах самаркандцы, какая будет молва в народе — о том вы будете каждодневно докладывать мне. Ясна ли моя речь вам?

— Ясна, благодетель... Только вот еще...— Эмир Джандар взглянул опять на шах-заде с загадочной ухмылкой сообщника.— Никто лучше не осведомлен о слухах, которые ходят по Самарканду, чем шейх Низамиддин Хомуш. Нет такой молвы, которую



не слышали бы его мюриды, нет такой щели, куда бы они не проникли!

Шах-заде кивнул головой в знак согласия — он понял намек — и отпустил эмира. Подождал, пока не затихли его шаги по лестнице, подошел к трону и без сил опустился на него.

## 5

Минула неделя — первая неделя власти Абдул-Латифа, полной, никем не оспариваемой власти.

Всю эту неделю шах-заде не выезжал из Кок-сарая. Он даже не выходил из той самой залы, где стоял трон и куда был открыт доступ для одного только эмира Джандара да ближайших прислужников, приведенных Абдул-Латифом из Балха.

Не прошло и полных суток после разговора шах-заде с Джандаром — черной полночью эмир вновь явился пред очи властелина с хурджуном на плече. На сей раз в знакомом мешке грязновато-темного цвета была завернутая в кусок серой бязи голова Саида Аббаса.

Абдул-Латиф знаком приказал развязать хурджун, но когда эмир, насупленный и угрюмый, вытащил круглую бритую голову, всю в запекшейся крови, и, держа ее за куце свисавшую бороду, хотел показать шах-заде вблизи, тот не выдержал; холодная дрожь пронизала все естество его, и он закричал: «Убери, убери!» Не готовность эмира Джандара выполнить тотчас любой приказ взволновала шах-заде, а беспощадность доверенного слуги, и волнение это было волнением страха. Тем более следовало бы избавиться от эмира, но разве не доказывал он своей верности Абдул-Латифу? Да и не рано ли убирать эмира Султана Джандара, коль жив был еще брат, этот сумасшедший и опасный Абдул-Азиз? Кому, как не Джандару, следовало теперь поручить...

Избавлюсь от Саида Аббаса и успокоюсь, так думалось шах-заде раньше. Успокоюсь, потому как распространять слухи об убийстве Улугбека всего выгоднее было кровнику отца, этому самому Саиду Аббасу... Но вот шах-заде своими глазами увидел голову, круглую бритую голову, отделенную от туловища человека, поклявшегося отомстить султану Улугбеку, увидел, а успокоение все не приходило. Напротив, как ни старался он отвлечься, думать о чем-то другом, бритая голова в кровавых пятнах, со своей куцей, жалкой бороденкой маячила перед ним, хоть закрывай глаза, хоть нет — все равно; а задремав, он тут же просыпался, будто нарочно будил его кто-то, стоящий у изголовья. И какие-то таинственные тени, прячась, все клубились в углах залы, и от любого шороха сердце готово было разорваться в ошеломляющем стук.

Абдул-Латиф за эти несколько дней сильно похудел. Щеки его ввалились, глаза стали огромными, локти и плечи выпирали

из-под одежды, словно острые щепки. Надо было бы позвать табибов, рассказать о недуге. Но этого шах-заде тоже страшился — во дворце и в столице не должны были распространяться слухи о недуге повелителя, недавно столь победоносного и крепкого... Шах-заде порой искал спасения от смятенных чувств своих в вине, но помощь вина, как водится, была минутной; проходил миг облегчения, и вслед ему еще мрачнее, чем прежде, надвигались мысли, тяжелыми осенними тучами заволакивали сознание.

Подумал однажды Абдул-Латиф и о плотских радостях, о знаменитых красавицах из гаремов отца и брата. Абдул-Латиф знал, что брат сумел раздобыть некую несравненную красавицу, газель, да и только, впрямь газель... Опустошив несколько кубков крепкого вина, он решил было убедиться, так ли она красива и... прытка, та газель. Но тут помешал сарайбон, почтительно доложивший, что своим посещением осчастливил дворец светлейший шейх Низамиддин Хомуш.

Шейх был духовным пиром шах-заде. В борьбе против Улугбека всецело поддержал притязания старшего сына. Шейх знает все и вся — и о нем самом, и о том, что делается в Самарканде. Абдул-Латиф побаивался шейха и сейчас невольно встревожился — что скажет ему пир, зачем он пожаловал так поздно, после вечерней молитвы?

— Скажи, что жду!

Шах-заде поправил одежду, разгладил складки на груди и плечах. Придвинул золоченое кресло поближе к тронному, уселся на трон. Приосанился. Но, завидев в проеме отворенной двери высокую фигуру шейха, всю в белом — поверх зеленого бархатного халата белое покрывало, поверх остроконечной бархатной тюбетейки белоснежная чалма, — почтительно привстал. Чуть подождал в надежде, что сам шейх подойдет ближе и первым произнесет приветствие. Низамиддин Хомуш, однако, не торопился; медленно перебирая янтарные четки, испытующе смотрел на шах-заде, не отходя от порога.

Шах-заде встал, приблизился к пиру, склонился в полупоклоне, пригласил занять кресло возле трона.

Шейх не спешил. Он все сверлил взглядом своего духовного воспитанника, и красивое, удлиненно-благородное лицо наставника выражало если не прямое недовольство увиденным, то жесткую решимость исправить то, что он увидел.

Полузакрыв глаза, шейх прижал руку с четками к груди. Неторопливо произнес молитву. Затем рокоушим властным голосом задал вопрос, коего и опасался шах-заде:

— Что случилось, счастливейший из счастливейших? Или посетил тебя недуг?

— Нет, слава аллаху, все хорошо у меня, мой пир...

— Венценосцы тоже, бывает, страдают хворями.

Абдул-Латиф облегченно вздохнул. Шейх выдал ему разрешение на болезнь.

— Мучит головная боль, это верно...

— Болит голова? Просто болит или дьявол-искуситель смущает покровителя истинной веры, вносит смятение в его душу?

«Догадался! Ничто не скроется от его духовного взора».

— Если последнее, если, повторяю, смятение тревожит душу, то денно и ночью следует славить аллаха, чем и укрепиться. Смирением изгоняется сомнение! И необходимо, чтобы такое усердие, шах-заде, стало в и д и м ы м всеми, стало уроком для самаркандцев, которых вероотступники много лет совращали с истинного пути.

«Осуждает, что я заперся в Кок-сарая»,— подумал шах-заде. А шейх вдруг неожиданно спросил:

— Я слышал, что Саид Аббас в заточении. Зачем? Почему?

«Если б он услышал про дальнейшее, что бы сказал? А ведь услышит...»

— А затем... что он распространял всякие вредные слухи, задевающие честь раба аллаха, мой пир.

— Честь венценосца задевают слухи, распространяемые не Саидом Аббасом, а зловредными шагирдами султана-вероотступника, сын мой.

Духовный сын продолжал стоять перед наставником. Смятенный взгляд шах-заде был устремлен на спокойное лицо старца, на пальцы, сжавшие четки, на полузакрытые глаза; от благообразного лица веяло твердостью, а отнюдь не снисходительностью.

— Каких шагирдов имеет в виду светлейший шейх?

Шах-заде присел наконец на краешек кресла.

— Какие слухи зловредные ни рождались бы в народе, какие бы дурные дела и незаконные заговоры ни замышлялись... против трона...— шейх повел в сторону трона рукой в тяжелых четках,— все это идет от тех мудрецов, что избрали нечестивый путь, мой шах-заде!.. Правильно, богоугодно было к а з н и т ь султана-вероотступника, и это сделал сын мой духовный. Но бельмо на глазу осталось! Все эти ученики, что гнездятся в нечестивых медресе, в исчадии богохульства — обсерватории,— вот это бельмо!

Шейх смотрел снизу вверх на Абдул-Латифа, который сидел на тронном кресле прямо, тоже устремив взгляд в одну точку; лицо без кровинки, губы плотно сжаты, пальцы рук впились в колени.

— О милостивый и всепрощающий шах-заде!.. Ведь надо знать, кого прощать и за что... Ведомо ли шах-заде имя Али Кушчи?

Абдул-Латиф кивнул: ведомо.

— Шайтаноподобный шагирд сошедшего с истинного пути Мухаммада Тарагая до сей поры мутит умы, грязнит чистых! До сих пор сидит в обсерватории. Ваш пир, повелитель, услышал

худшую вестъ: сей вероотступник вывез оттуда святотатственные книги и где-то их спрятал...

— Где же?

— Ежели всепобеждающий султан не знает, как про то может знать раб аллаха? — Низамиддин Хомуш позволил себе чуть-чуть улыбнуться: незаметно, краешком губ. «Всепобеждающий султан — вот этот...» — подумал он иронически, но взгляд его, не отрывавшийся от лица Абдул-Латифа, выражал теперь смирение перед величием повелителя.

Льстивые слова прилились по нраву шах-заде. Шейх продолжал:

— И еще одна вестъ, шах-заде: из казны эмира Тимура, — да воздаст всевышний должное великому воителю за веру истинных мусульман! — из казны прадеда твоего пропали сокровища... Верно ли это?

Шах-заде кивнул: верно.

— Так вот, знай, шах-заде, султан-вероотступник отдал их своему нечестивому шагирду! Гордец Али Кушчи, сказывают, спрятал их в том самом гнезде богохульства — в обсерватории. Знают о том два человека. Один — прежний шагирд Мухаммада Тарагая мавляна Мухиддин. Раскаялся сей ученый. Смиренно признал пагубность прежнего пути и снова встал на истинный... Он жертва... А второй — раб божий дервиш Давулбек... Пожелаешь, пошлю его к тебе, послушным и преданным будет рабом.

— Осчастливьте меня этим, мой пир!

Шейх уперся в подлокотники кресла, поднялся... Выражение твердости, решимости сменилось на лице его выражением отцовской ласковости, благорасположения.

Шейх был очень, очень доволен беседой. Ну, разве можно было бы представить себе что-нибудь подобное раньше, при Мирзе Улугбеке? Улугбек просто не дослушал бы шейха, начал бы сам учить его уму-разуму, как необразованного, темного имама какого-нибудь. А шах-заде совсем по-иному держится... Сидит, внимает.

Шейх уже больше года находился с Абдул-Латифом в тайной переписке. Склонял его к мятежу тоже он, шейх. И все же побаивался, что почтительность шах-заде к нему — лишь до завоевания трона, а после как бы не выиграла в духовном воспитаннике прадедова кровь, Тимурово коварство, истовое желание ни с кем власти не делить... Но нет, шах-заде ныне смятен и податлив. Мягче шелка. Ох, благо, благо, коли и дальше так будет! Не приведи аллах, возгордится шах-заде, как и родитель его!

— Благословенный шах-заде, — голос Низамиддина Хомуша ласкал, нежил, обволакивал, — благословенный шах-заде, есть у меня еще один совет, коль вы сочтете нужным выслушать его.

— Слушаю вас, пирим. Раб аллаха всегда был внимателен к советам вашим...

— Султан — тень аллаха на земле, шах-заде... Благосклон-

ности аллаха удостаивается тот правитель, кто следует пути пророка и нигде не сворачивает с него. Потому Абдул-Латиф — султан, повелитель сего государства. И долженствует султану, ревнителю веры истинной, явить и гнев праведный. В зиндан всех этих людей науки! Всех, возмущающих умы и совесть!.. А все книги, что, как зараза, пришли к нам из чужих стран, в огонь! Все до единой!

Шейх не сдержался. Он начал кричать и размахивать руками.

— И пусть днем и ночью тебя снедает это богоугодное желание! Или ты уничтожишь нечисть и тем возрадуешь дух пророка нашего Мухаммеда, или вероотступники сбросят тебя с трона!.. Но не удастся, не удастся! Благословение высокого нашего учителя ишана Убайдуллы Ходжи Ахрара с нами... Ясна ли моя речь, шах-заде?

— Ясна, мой пир.

— И извергни отныне из сердца своего сомнения, ибо все правоверные Мавераннахра молят за тебя всевышнего! — воскликнул Низамиддин Хомуш. — Должно показать себя народу, шах-заде, а не проводить долгие часы уединенно в этих чертогах... Должно посетить гробницы святых, постоянно навещать мечети, а в главной, соборной, каждую пятницу проповедовать, дабы, видя и слыша своего повелителя, возрадовались бы истинно верующие. А смутьяны и нечестивцы убоялись бы, опять скажу, гнева праведного... Да позволит аллах свершиться всему этому!

Шейх поднес ладони к лицу.

Потом чуть враскачку двинулся к выходу. Абдул-Латиф хотел было проводить наставника, но тот остановил его знаком — нет необходимости...

Шах-заде почувствовал усталость. Но эта усталость была совсем иной. Успокоение пришло. Он знал это по сладкой истоме тела, по слипающимся сонным глазам. Приоткрыв их, удивился — эта громадная зала, казавшаяся ему недавно темной и враждебной, сияла, словно под солнечными лучами: и бирюзовые краски сводчатого потолка; и радостно-изящные, какие-то сладострастные даже росписи на стенах; орнаменты, изгибавшие свои золоченые линии; золоченые кресла вдоль стен; ширазские ковры на полу — золото, яркость, благородная светлая желтизна — разве все это не знак власти, удачливой силы?! Чего же ему бояться? Он воевал за эти золотые хоромы, за султанский трон. И вот он здесь. И еще воевал он за то, в самом деле, чтоб изничтожить всех нечестивцев! Он проявил жестокость? Но того и требовал шариат! Ему, Абдул-Латифу, некого и нечего бояться!

Громко застучал он колотушкой, призывая сарайбона, а когда тот явился, передал через него приказ: послать гонца к эмиру Султану Джандару. Пусть эмир сразу же отправляется в обсерваторию.

Схватить этого нечестивого Али Кушчи и его учеников! В зиндан их, немедленно в зиндан!

Примерно с неделю прожил Каландар Карнаки у Тимура Самарканди. И никуда не выходил из пещеры, нигде не показывался.

Днем Каландар помогал кузнецу: то раздувал мехи, то держал на наковальне тяжелую поковку, то сам стучал большим молотом, придавая раскаленному железу нужную форму.

Каландар научился чинить котлы, кумганы, чайники. Полюбил он и приготовление чая — дело не простое, а главное, с пользой убивающее время. Чаю нужно было заваривать много: в пещеру к Уста Тимуру по вечерам обычно собирались соседи-ремесленники — кузнецы, изготавливавшие подковы и гвозди, слесари, жестянщики, каменотесы, резчики по кости и дереву, чеканщики и сундучники. С небогатыми гостинцами навещались братья Калканбек и Басканбек, и тогда, казалось, вода в черном кумгане над огнем бурлила особенно сильно, и под стать ей живо бежала беседа. Новости из Самарканда не радовали, правда: мастерские ремесленников и лавки торговцев были все еще закрыты из-за страха перед грабежами, цены росли с каждым днем.

Беседа после «ахов» и «охов» снова сворачивала к последним дням Мирзы Улугбека, тем дням, когда еще можно было бы — особенно по мнению молодых собеседников и прежде всего горячих братьев-кузнецов — поправить дело.

— Повелителю надо бы собрать ополчение, кликнуть к себе таких, как мы! Да, да, бедняки, простые люди закрыли бы ворота Самарканда перед жестокосердным шах-заде! Мы бы не пустили его в город!

Каландар не перебивал Басканбека и Калканбека, молчал. Сразу вспоминались последние напутствия Мирзы Улугбека, слезы его при прощании с Али Кушчи и с ним, Каландаром, и больно сжималось сердце у дервиша, никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Каландар отходил в сторону, падал лицом вниз на земляной пол в углу пещеры и долго лежал там, неподвижный, будто отсутствующий. А Уста Тимур, обращаясь к молодым спорщикам, говорил, неторопливо растягивая слова:

— Молодо-зелено, молодозелено, и мало что вам понятно... Если ветер такой, что верблюда подымет, то козу-то и подавно... Попади город в осаду, кому трудней пришлось бы? Не шах-заде, нет, а таким беднякам, как вот вы да я. Знать бы взаперти похудела, а голоштаные дух свой испустили бы... Так что, сынки, помолчите уж про осаду-то...

За разговором время движется вроде и быстрее. Но ближе к зиме, известно, ночи длинней. Каландар долго-долго, обычно до самого рассвета ворочался с боку на бок. Несколько дней прошло, и ему, степняку, стало казаться, что гостеприимная пещера кузнеца слишком темна и слишком тесна. Он чувствовал желание немедля уйти отсюда, если не в степь, то в ближние

кишлаки и сады, пусть его поймают, пусть схватят. А то сидишь без дела, точишь-точишь слова... Но Каландар сдерживался. Он знал, что его в самом деле ищут. Знал точно, потому что в начале его сидения в пещере к нему явился по поручению Али Кушчи Мирам Чалаби и вместе с приветствием от мавляны передал строгий наказ быть осторожным и ни в коем случае не появляться в городе. Ведь когда он, Каландар, ушел из обсерватории, туда по горячему следу нагрянула дервишеская братия, искали не кого-нибудь, а его, Каландара. Шакал искал, самолично, рассказывал Мирам.

Стало быть, тут действовала рука шейха Низамиддина Хомуша.

В памяти встало разгневанное лицо мстительного шейха, и Каландару на миг даже здесь стало не по себе. Шакал ищет его, бегаёт, разнюхивает. Вот и неподалеку от пещеры не однажды слышалось гнусавое пение: «О аллах, о всемогущий...»

Нельзя уходить отсюда, нельзя. Надо пересидеть, переждать!

Но как это тяжело! Особенно вечернее бездействие, все эти повторяющиеся разговоры под медлительное позвякивание пиал, под бульканье воды, наливаемой из кумгана в чайники, из чайников в пиалы... Каландар вспоминал родной край, свой далекий Карнак, вспоминал степь и холмы в степи, в просторах которой протекло его детство, вспоминал речки с прозрачной горной водой, в которых он ловил рыбу и купался, урюковую рощу неподалеку от кишлака: весной мальчишки любили забираться на деревья, наедаться недозрелыми плодами. Не раз вспоминал Каландар и свою любимую младшую сестру (ее захватили кипчаки при набеге), видел ее живо, будто воочию: вот вернулась она в их родной кишлак Карнак, пришла на кладбище, что сбегает вниз по склону Караул-тепе, пришла, отыскала могилу отца и матери и плачет над ней, плачет... Милое заплаканное лицо видит перед собой Каландар. Слышит мольбу, к нему, старшему брату, обращенную: «Где же вы, брат мой, куда занесла вас судьба?.. Далеко ль от отчего дома? Если вы, братец мой старший, не сумеете возжечь светильник на могиле благословенных родителей наших, то кто же это сделает?!»...

Вот и сегодня, наверное, до самого рассвета ничего не получится у него со сном! Неотступно стоит перед глазами далекое, незабываемое...

Старая крепость Карнак расположена на взгорке между двумя речками — саями. Высокие глинобитные стены зубцами подпирали небо — по крайней мере, так казалось в детстве, — а ров вокруг крепости был бездонно глубок. Поселение за стенами было невелико, узкие улицы обойти быстрым ребячьим ногам не составляло никакого труда: один миг — и готово!.. Ранней весной на плоских крышах домов прорастала нежная зеленая травка, даже маки иногда поднимались — в ту пору на крышах

царствовала детвора: мальчишки запускали змеев, девочки играли в мячики, сваланные из шерсти. Когда устанавливалась теплынь, надо было ставить лицом к степи дозоры за одной из речек, на вершущке небольшой горы, так и прозванной Караул-тепе, «гора сторожевая башня». Под присмотром дозорных все мужчины Карнака, и стар, и млад, выходили на пахоту, сеяли ячмень и пшеницу, работали в садах и виноградниках. Но вот наливались первые, еще зеленые, плоды урючин, и в степи начиналась пора гуляний, праздничная пора. Молодые мужчины и женщины, а тем более девушки и юноши, как все радовались этим веселым дням!

Утро черного дня, когда налетели враги, похитившие любимую сестру Каландара, было утром такого именно праздника.

Каландару тогда исполнилось шестнадцать лет. Сильный, ладно скроенный, видный собой, он уже разжег костер в сердце не одной карнакской девушки.

В тот день отец ушел вместе с погонщиками верблюдов на базар в Ясси, а Каландар впряг в плетеную арбу лошадь — и сейчас помнится белая отметина на ее лбу, — усадил в повозку мать, сестру, соседских девушек и покатыл в сады на гулянье; а сады находились по ту сторону сая, около окруженного карагачами кладбища. Рукава засучены выше локтя, в распахнутой рубашке, подставив оголенную грудь утреннему ветру, лихо сдвинув набок тюбетейку, Каландар не ехал — летел, словно на крыльях, потому что среди девушек рядом с его сестрой была, тоже шестнадцатилетняя, красавица, чей образ не давал ему тогда покоя. Девушка эта в красной косынке на голове, в красном домотканом платье, которое очень шло ей, изредка поглядывала на Каландара, что беспечно поигрывал ивовым прутиком, подгоняя и без того резвую лошадку. И Каландар в свою очередь поглядывал украдкой на девушку, и, когда их взгляды ненароком встречались, большие пугливые глаза девушки делались еще больше, она отводила взгляд, заливалась кумачовым румянцем, а подруги громко хохотали, и начинались безобидные, веселые шутки, подтрунивания, шалости.

Целый день был тогда Каландар в каком-то легком, парящем настроении. Ему нравилось видеть сквозь зелень листвы мельканье синих, красных, желтых девичьих платков — как только они приехали в сады, девушки бусинками рассыпались по поляне, будто маки и тюльпаны украсили зеленую лужайку. Каландару нравилось разводять огонь для варки праздничных угощений, таскать женщинам-хозяйкам воду из сая, лазить по деревьям за еще незрелыми, но вкусными плодами, чтобы угостить детей и девушек. А больше всего нравилось ему, что в саду рядом с ним соседская девушка, лучше, красивей всех других. Она то и дело обращалась к Каландару, и не было ничего приятнее, чем принести воду ей, приготовить хворост для ее костерка, навстречу ее рукам и губам наклонить ветку урючины, и даже то было приятно, что, стояло Каландару подойти поближе,



она отпрыгивала, словно серна, исчезала в зарослях, и поди-ка поймай ее там!

Весенний день пролетел быстро. Засобирались обратно. Молодые женщины и девушки нарвали мяты, набрали в платки урюку, простоволосые, с вплетенными в волосы розовыми, сиреневыми, синими степными цветами, они казались еще красивей, чем прежде.

Ехали обратно, как водится, под песни, то задумчивые, то весело-озорные.

Немного успели спеть песен! Не доехав до речки, услышали, как гром с неба, крики караульных: «Эй, люди, спасайтесь! Враг, враг!»

А потом все потонуло в грохоте копыт.

Каландар нещадно стегал лошадь, арба гремела. Обернувшись, юноша увидел, как со стороны Караул-тепе выплеснулась темная конная лава. Сотня всадников, завывая, размахивая кривыми саблями и булавами, вскинутыми наголо, покатились вниз. Наперерез кинулись свои джигиты, но то была горсточка! Лава захлестнула их, поглотила, и вот уже первый терзающий душу женский крик, первый отчаянный детский вопль прозвучали на всю окрестность.

Каландар бросил поводья сестре. Чей-то привязанный конь в зарослях у самой речки бил копытом землю, чуя шум недалекой схватки. Одним прыжком Каландар взлетел на скакуна, веревка лопнула, конь взвился на дыбы. Каландар нагнал арбу — там была булава — и, не обращая внимания на крики девушек и громкое причитание матери, повернул коня навстречу врагам.

Их много тогда налетело на него, человек десять. Они были одеты в удобные для боя шерстяные темные чекмени, войлочные тельпеки закрывали их головы, рты раздирали воинственный крик: «Враг бежит, враг бежит!» Но Каландар не бежал.

Первым перед ним оказался здоровенный — не лицо, подушка! — степняк, яростно кричавший: «Враг бежит!» Лошади сшиблись, бешено заржали. На какую-то долю мига Каландар опередил вражеского воина с ударом — тот вывалился из седла, будто сбитый с головы тельпек. Успел свалить Каландар и второго всадника, но тут и по его голове пришелся удар булавой. Закрывая руками лицо, Каландар пал с лошади, искры посыпались из глаз, и то, что увидел он перед тем, как потерять сознание, был конь, окруженный вражескими всадниками и увлекаемый от места схватки. Через какое-то время Каландар пришел в себя. Показалось ли ему, или так было на самом деле, он не знает до сих пор, но он увидел, как мимо него промчались враги с перекинутыми через седла, звавшими на помощь девушками — сестрой и соседкой!

Почему, почему тогда он не умер?

Сколько тяжелых ударов судьбы пришлось на его долю и позже, сколько мытарств, тягот и унижений!

Неделю спустя после того стремительного кипчакского набега Каландар, еще не вполне оправясь от ранения, участвовал вместе с другими молодыми джигитами из родного кишлака уже в большой битве против степняков. Джигиты Карнака сражались как тигры, но судьба была немилостива к ним, да и силы врага намного превосходили их собственные. Там, в бою, недалеко от города Ясси, погиб отец Каландара, а сам он снова был тяжело ранен; спасли товарищи, сумевшие вытащить его из сечи, окровавленного, беспамятного.

С тех пор и началась его жизнь скитальца. Бесприютный чужак! Никогда не чувствовал он так остро смысл этих жестоких слов, как ныне. И вправду, что держит его теперь здесь? Хуршидабану? Это луч, который уже погас для него, звезда, которая закатилась. Завет, оставленный Улугбеком и Али Кушчи? Но это ведь не к нему, не к Каландару, обращен завет, и все, чем он мог помочь мавляне, все это он сделал... Да, надо подаваться в родные края. Пора! Ни землякам своим, ни себе не отыскал он здесь пользы, а зажечь светильник у могилы родителей, чтоб возрадовался дух отца и успокоился дух матери, его долг: не смог исполнить сыновний долг, когда родители были живы, исполни хотя бы после их смерти. И торопись с исполнением!

Утром за скромной трапезой Каландар раскрыл свои намерения старому кузнецу.

Уста Тимур Самарканди долго молчал. Рука его то сжимала желтоватую, продыmlенную кузнечным жаром и чилимом бороду, то бесцельно гладила латаную-перелатаную шапку из бараньего меха. Узкий сноп лучей падал сквозь отверстие сверху на морщинистое и землистое лицо старика, на высокий, в блестящих капельках пота лоб, на плотно сжатые губы, и грустным, очень грустным было это лицо.

— Каландар, сын мой,— сказал наконец старый мастер.— Когда ты впервые появился в этой неуютной лачуге, в бедной моей пещере, я обрадовался, очень обрадовался. Не было у меня сына, думал я, так вот бог наделил сыном меня, бедного, всеми забытого раба. Я радовался, что появился человек, который побеспокоится, чтоб над телом моим прочитали святой Коран, который затеплит свечу над моей могилой... Ну а теперь не знаю даже, что сказать тебе, сынок, в ответ на услышанное от тебя... Не знаю... А неволить тебя не смею.

Не знал и Каландар, что сказать старому мастеру, но чувствовал, что слова Уста Тимура, будто острые иглы, колют сердце. Но одно утешение старику может он все же высказать:

— Отец, могила ваша не останется без светильника, а душа без молитвы близкого человека. В Самарканде нет того, кто не знал бы, не почитал бы вас. Любой ремесленник... А Калканбек с Басканбеком?.. А мавляна Али Кушчи?

— Слава аллаху, сынок, слава аллаху, кое-кто помнит еще обо мне,— подхватил Уста Тимур.— Не чтобы разжалобить тебя,

говорю, и не для того, чтоб мешать тому, что ты задумал. Мои слова — моя любовь к тебе, Каландар... Тимур Самарканди хорошо знает, каково бывает человеку на чужбине. Недаром считает: лучше у себя на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном... Сыновнее почитание — святое дело и для молодого и для зрелого человека. Ты хочешь вернуться домой, хочешь порадовать дух родителей своих. Дай-то бог осуществить тебе эту цель... А путь тебе дальний и опасный. Что нужно, чем я могу помочь, скажи. Здесь, — старик показал на жилище, — все твое, если тебе что-то нужно. И скажи мавляне — пусть даст золота...

— Золота? Нет, отец, золота не нужно такому, как я. Вы сами не раз говорили: о доле бедного печется сам всевышний... Будет у меня хлеб в дорогу дня на два, ну, и соли — вот мне и хватит. Да и степь наша не голая, не пустая — и людей, и городов, и сел немало. С мавляной Али Кушчи я, конечно, попрощаюсь, но золота... мне золота не нужно.

Уста Тимур погладил колено Каландара твердой и широкой, как кетмень, ладонью, усмехнулся грустно.

— Эх-хе-хе, молодо-зелено... ты джигит, и сердце твое чисто, знаю. Но что же делать, коли этот желтый металл тоже нужен в жизни? И как еще нужен!.. Кому-то золото приносит беду, знаю, но, бывает, и почет, и уважение... Так что и джигиту нелишне золото. Знаю про это больше тебя. Что знает старик, того и ангел не ведаёт!.. А стесняешься, так я сам скажу мавляне Али.

Отъезду Каландара в тот раз не дано было, однако, осуществиться.

Он собирался выйти из пещеры поздним вечером, когда утихнут улицы, когда меньше вероятия встретить какого-нибудь нежелательного путника. Каландар хотел направиться к обсерватории, проникнуть в нее через уже известный подземный ход, попрощаться с Али Кушчи и вернуться тем же ходом к условленному месту, где ждали бы его братья Калканбек и Басканбек с конем. Уложены были в одну из переметных сум хлеб, соль, перец, толокно, в другую одежда и мелкая посуда, деревянная ложка, столь необходимые страннику; спрятан в надежном месте, но так, чтоб легко мог оказаться под рукой в случае нужды, добрый кинжал, сделанный самим Уста Тимуром и подаренный на дороге, «отбиться от лихого налетчика»; надел Каландар теплый чекмень, нахлобучил черный, бараньей шерсти тельпек — все это Уста Тимур принес откуда-то еще днем, — а выходить все медлил, все прислушивался за дверью к людским шагам по площади, к шуму, к звукам, которые не затихали там до позднего часа. Наконец Каландар решился, да и пора было — за полночь. Перетянулся поясом, вскинул на плечи хурджун. Подошел Уста Тимур, держа маленький светильник с горящим маслом. Приткнул светильник куда-то в нишу в стене, обнял Каландара, поцеловал в лоб. И только поднял

к лицу темные свои ладони старый мастер, чтобы сотворить молитву за благополучие в путешествии, в дверь тихо, но внятно постучали.

Каландар бесшумно отскочил в тень. Уста Тимур вновь взял в руку светильник и неторопливо пошел к выходу.

— Кто там не дает людям спать по ночам? — нарочито грубо спросил он, не поднимая засова.

— Прошу простить, Уста, это я, Мирам Чалаби.

— Кто-кто? Какой Мирам? — Старик повернулся к Каландару. Тот, скинув с плеч хурджун, одним прыжком пересек входной коридорчик.

— Отец! Это ученик мавляны... Разрешите, я сам открою!

Мирам, бледный, босой, без шапки, был похож на нищего с самаркандского базара. Слышно было, как он всхлипывает в темноте.

— Что, что случилось? — вскрикнул Каландар, уже чувствуя, что случилось что-то страшное.

— Учитель... учителя... в зиндан...

— Когда?!

Каландар выяснил, что вчера после вечерней молитвы — хуфтан в обсерваторию ворвалась четверка нукеров, перевернула там все вверх дном, а потом увела мавляну Али Кушчи. Матушка мавляны была при этом, она кричала, плакала, рвалась к сыну, бедняжка, а после того как увели мавляну, упала в обморок, и потому он, Мирам, не мог сразу же сообщить Каландару о случившемся: надо было посидеть со старушкой, хоть немного ее успокоить...

— Куда увели мавляну, узнал?

Мирам Чалаби кивнул. Еле слышно сказал:

— Узнал... В темницу Кок-сарая...

Светильник в руке Уста Тимура дрогнул.

«Что же делать? Как быть теперь?»

Вид у Каландара был решительный, грозный даже, но на самом деле дервиш был растерян. Понятно, что с отъездом придется повременить. Повременить? Да посмеет ли он вообще уехать, пока не решится, пока останется неясной судьба мавляны?

Каландар отер пот со лба; ему опять вдруг представилась сестра, сидящая у родительской могилы, ее жалобные причитания — только не по их собственным родителям, а почему-то по матушке мавляны — Тиллябиби.

Каландар посмотрел на Уста Тимура: старый кузнец стоял, беспомощно прислонившись к стене, смежив веки.

— Чего искали нукеры? Книги, что ли?

— И книги... И золото... Кричали, будто в обсерватории спрятано золото...

«Это мавляна Мухиддин! Он, он раскрыл тайну! Жалкий доносчик! Не ученый муж, а презренный изменник!»

Каландар, будто устав, тоже прислонился к стене.

«Что же делать?.. Надо остаться... Остаться... Но смогу ли я чем-нибудь помочь наставнику?.. Так что ж, уехать, потому что не можешь помочь? Это бесчестно... Вот их тоже, этого мальчишка и этого растерявшегося старика... ведь их тоже нельзя оставить сейчас...»

— Каландар, сын мой, этот талиб совсем замерз,— сказал старый мастер,— надо бы напоить его чаем.

— Да, да, сейчас...

«Нужно пойти к мавляне Мухиддину, схватить этого труса за горло, пусть он откажется от своего доноса!»

Планы, один другого смелей и отчаянней, роились в голове Каландара, пока он разжигал огонь, готовил чай.

В ту калитку... ту, садовую, откуда он проникал в сад, подошел к окошку Хуршиды-бану... Он пройдет через сад, проникнет из сада в гостиную мавляны Мухиддина... Ему бы только остаться с мавляной лицом к лицу, один на один, уж тогда он найдет, что сказать этому слезливому предателю... Да, да, надо сразу же, немедленно идти туда, в покои богача ювелира, надо брать их за горло, этих изменников, корыстолюбцев... Заставить мавляну Мухиддина отказаться от навета на Али Кушчи, иначе жизнь учителя повиснет на волоске и так легко будет оборвать этот волосок, так легко!

## 7

Хуршида-бану сидела в своей тихой комнатке и вышивала бархатный занавес. Но дело двигалось медленно, запасы ниток, узоры которых так красиво выглядят на темно-синем самаркандском бархате, почти не уменьшались: молодая женщина не столько работала, сколько прислушивалась к тому, что происходит на дворе.

А там раздавались настойчивые, повторяющиеся звуки шагов. Не чинные то были шаги отца, мавляны Мухиддина, а нервные, быстрые, сопровождаемые постукиванием трости шаги дедушки, хаджи Салахиддина. Да и не было дома отца. Недавно, после вечерней молитвы, его увели. Нагрянули нукеры из Кок-сарая и увели с собой куда-то. И деду не сидится на месте, он все ходит и ходит по двору, выглядывает то и дело за калитку и опять возвращается, громко стуча кавушами и тростью.

Каждый раз, когда дед выходил на улицу, сердце Хуршиды замирало, игла начинала особенно заметно дрожать в пальцах — не появятся ли снова эти грубые нукеры, не загремят ли опять бесцеремонно и нагло по дорожкам двора подкованные их сапоги. А их окрики, их резкие приказы! И отец, согнувшийся в низком поклоне, жалкий, дрожащий словно осиновый лист...

То, что произошло совсем недавно, напомнило ей другое событие, весной. Тогда тоже ворвались к ним в дом нукеры, тоже стучали сапоги.

Три месяца минуло после свадьбы. Хуршида, похоронив надежду на возможность счастья с Каландаром, начала при-выкать к мужу, нелюбимому, но, что ж делать, посланному богом хозяину своему, тому, кто кормил и одевал ее и кому она, чего нельзя было не почувствовать, нравилась. Однажды вечером муж пришел из Кок-сарая, где служил в какой-то канцелярии, бледный, объятый тревогой. И страх и страдание читались в его глазах. Он подошел к Хуршиде, сидевшей и в тот раз за вышиванием, поднял с места, долго и пристально вглядывался в ее лицо. Впервые видела его таким Хуршида. Подавшись назад, беспокойно спросила:

— Что случилось, господин мой?

Мирза не ответил. Притянул ее к себе, прижал, стал целовать лицо, глаза, руки, шею, но были это не поцелуи любви или вождения, а все та же непонятная ей и почти уже безумная тревога. Задышавшись, он оторвался от нее и вдруг стал резко, отрывисто приказывать:

— Быстро... Тотчас собери свои пожитки! А в шкатулку драгоценности!.. И потеплей оденься!.. Мы отправляемся далеко, далеко!.. Побыстрее! Спешу, спешу! — И выбежал из комнаты.

Хуршида заметалась среди сундуков с платьями и дорожной одеждой, шкатулок, где во множестве хранились украшения, натянула кабульские сапожки, повязала голову белым теплым платком из верблюжьей шерсти, собрала в небольшую шкатулку особенно дорожные вещицы.

В доме тем временем началась какая-то суматоха: слышались пугающие покрикивания, хлопали двери.

Приближались сумерки, и печально-высокий голос муэдзина — призыв к молитве — донесся от ближайшей мечети, но не до молитвы было в темном, без единого огонька доме мужа, только в комнате Хуршиды горели свечи.

Муж вбежал уже в лисьем малахае, в шубе, наброшенной на плечи, с нацепленной на бок саблей. Хуршида тоже была почти готова. Мирза снова кинулся к ней, стал целовать щеки, глаза, бормоча бессвязно, безумно:

— Зачем... зачем аллах подарил тебе такую красоту?!

И застыл на месте.

С внешнего, большого двора послышались шум, крики, звон оружия; вихрь этих звуков стремительно пронесся по двору внутреннему; грохнули двери дома; громко заплакали дети, заголосили женщины, зачertyхались грубые мужские басы. Мирза кинулся к дверям, ведущим в их комнату, судорожными движениями стал накидывать цепочку на штырь — руки дрожали, не слушались его. Грохот сапог раздался совсем близко. Кто-то сильно ударил ногой в дверь. Мимо головы Хуршиды-бану пролетел кусок разорвавшейся дверной цепочки и, жалобно звякнув, ударился о большое серебряное блюдо в нише.

Словно черный смерч, ворвались в комнату воины. Мирза выхватил саблю из ножен, но тут же был сбит с ног, несколько

человек упали на него. Вырвали оружие, стали бить, мять, ломать извивавшееся на полу тело. Остальные набросились на Хуршиду. Ей заломили назад руки, накинули на голову какое-то темное душное покрывало и, спеленутую, подхватили, подняли, понесли куда-то. Хуршида еще некоторое время отбивалась, выпростала на миг голову из-под покрывала, успев заметить, как мужу, брошенному лицом вниз на пол, связывают на спине кисти вывернутых рук тонким ремнем, а потом сознание покинуло ее.

Хуршида пришла в себя уже в Кок-сараяе.

Она лежала на ложе из мягких шелковых одеял; сводчатый потолок, казалось, нависал прямо над запрокинутой головой; вокруг по ярко освещенной зале бегали, суеутились молодые женщины, все в многочисленных, нежно позванивавших украшениях, бусах, браслетах. Они подносили к ее носу какие-то хрустальные флакончики, откуда пахло остро и терпко, терли лоб и щеки прохладной цветочной водой. Когда Хуршида-бану полностью осознала, где она, к ней явилась и госпожа гарема. Хуршиду чуть ли не силой заставили выпить пиалу вина, потом повели в баню.

В ту же страшную ночь к ней пришел Абдул-Азиз.

До сих пор Хуршида-бану, если вспомнит горящие вождением глаза шах-заде, его лицо, искаженное нервным тиком, его нескладное, длинное, малосильное тело, чувствует, как к горлу подкатывает тошнота...

Смахнув слезу с кончиков ресниц, Хуршида опять прислушалась к шагам во дворе. Но что это? Какой-то стук явственно донесся до ее слуха вроде бы с другой стороны. Будто кто-то постучал в окно, выходящее в сад?

Замирая от страха, Хуршида посмотрела на старую служанку, безмятежно спящую в углу комнаты: ждала-ждала, бедная, мавляну Мухиддина, который сказал, что скоро, мол, вернется, и не выдержала — заснула.

Хуршида на цыпочках подошла к занавешенному окошку.

Вот еще раз постучали. Так стучал когда-то Каландар, только он! Неужели?.. Что могло понадобиться дервишу Каландару?.. Хуршида оглянулась: старушка мирно спала, свернувшись в клубок, ровно ребенок... «Нет, это мне почудилось», — сказала сама себе Хуршида-бану, вдруг почувствовав острое разочарование, вспомнив сразу и то, как стучал когда-то Каландар в это оконце, и свою последнюю встречу с ним, у ворот; слезы снова навернулись на глаза. «Три раза подряд... небольшие перерывы... Так он стучал... А сейчас почудилось... Видно, это ветер... А в последний раз...»

Вот уж не думала она, что встретит Каландара в дервишеском рубище у ворот мужниного дома, хотя и слышала о том, что влюбленный в нее молодой мударрис оставил медресе и заботы грешного мира сего. Встретив Каландара, заросшего волосами, в ветхих лохмотьях, в старом-престаром треухе, она испытала

тогда и острую боль, и жалость, и даже испуг. Она сама не знает, зачем захотела остановить Каландара, зачем вскрикнула «господин мой!» и как нашлась с этим объяснением про дурной сон. Муж ничего не заподозрил, кроме желания воздать нищему за нищету. В ту ночь нетерпеливые ласки мирзы, его, как обычно, жадные поцелуи были для нее, словно горькая отрава. Муж скоро заснул, а Хуршида неслышно проплакала целую ночь, и все грезился ей Каландар — и тот, в рубище, но с глазами, жарко вспыхнувшими при ее возгласе «господин мой!», и прежний Каландар, поэт Каландар, читавший ей стихи, робевший обнять ее в те счастливые минуты, когда они оставались одни в доме.

Счастье, счастье, где оно теперь, ее счастье, и возможно ли оно вообще?

Но что это? Опять стук! Опять... Раз, два... три!..

А старая спит... Раньше она первой выходила узнать, кто пришел, не Каландар ли, а уж тогда и Хуршида летела на свидание... Еще раз постучали, и опять трижды: стук и маленький перерыв, стук и маленький перерыв.

Хуршида-бану торопливо повязала пуховым платком голову, накинула душегрейку, сунула ноги в изящные кабульские кавуши. Тихо выскользнула из комнаты, потом из дома, миновала огромный, как в самом Кок-сараяе, двор, еще освещаемый в поздний час каменными фонарями, и остановилась, тяжело дыша, перед калиткой в сад... Прислушалась. Всюду тихо, а из комнаты дедушки еле сочился тусклый свет, видно, уйдя в воспоминания, Хуршида и не услышала, как Салахиддин-заргар вернулся в дом и заперся у себя.

Женщина осторожно сняла цепочку и отворила калитку.

Никого! И дальше, у окошка ее комнаты со стороны сада — тоже никого. С замирающим сердцем двинулась она ведомой когда-то тропинкой к орешине. Вдруг там, у дерева, словно ветка хрустнула. Хуршида остановилась, вгляделась в темное пятно под деревом. Едва различила фигуру человека с треугольным колпаком на голове... Он! Каландар!

Вмиг обессилев, Хуршида схватилась за ветви тальника у арыка... Тень под орешиной шевельнулась, замельтешила в путанице ветвей.

— Не бойтесь, матушка, это я, дервиш Каландар, — донесся шепот. — Хуршида-бану?! Это вы, госпожа?

Хуршида несмело подошла к орешине, все еще не глядя на Каландара. Зачем-то разгребла накинанные у корней сухие ветки. Искоса посмотрела на стоящего рядом. Дервиш повернулся спиной к свету неполной луны, и потому, наверное, могучая фигура его и заросшее бородой лицо казались мрачными, отпугивающе темными. Нет, непохоже это замкнутое, нахмуренное лицо на светлое ласково-печальное лицо прежнего Каландара. Только глаза были знакомые. Как будто излучали свет.



— Простите меня, госпожа.— Каландар смущенно кашлянул.— У меня к отцу вашему... к мавляне Мухиддину... большое дельце... Нельзя ли позвать его?

И голос был другим — чужой голос, незнакомый.

— Его... его нет дома.— Теплый комочек слез подкатил к горлу.— Его увели в Кок-сарай... Нукеры приходили за ним.

— Нукеры? Когда?

— После вечерней молитвы... Четверо нукеров,— зачем-то добавила она.

А вот ее лицо для Каландара совсем не изменилось. Или в том виноват был лунный свет, что лился сквозь ветви старой орешины? Удлиненный овал, высокий чистый лоб, опущенные густыми ресницами глаза доверчиво и кротко смотрят из-под темных бровей, и все так же нежны губы, все те же маленькие ямочки по краям, чуть сверху, над концами губ... Нет, что-то все-таки изменилось в ней. Похудела, стала еще тоньше, стройнее.

Пристальный взгляд дервиша смущал Хуршиду-бану, она отвернулась.

Будто грустный напев звенел в душе Каландара, напев, который звенел в нем прежде, когда он встречался с девушкой наедине, думал о возможном счастье. Положив подбородок на сплетенные кисти рук, краснея и восторгаясь, слушала Хуршида его стихи, и эта ее поза, и стыдливая тяга ее к нему вызывали в душе Каландара ласково-грустный напев любви, более упоительный для него, пожалуй, чем призыв горячей, жаркой страсти.

«Не надо огорчать ее. Она ни в чем не виновата».

— Не бойтесь, госпожа, за отца. С ним ничего не случится!

— Да сбудутся ваши слова,— прошептала, все еще не глядя на него, Хуршида-бану.— Время уж за полночь, а о нем нет вестей...

— Уверю: ни один волосок не падет с его головы!

Хуршида уловила что-то такое в голосе Каландара, что заставило ее наконец посмотреть ему в лицо.

— Откуда вам знать?

— Я знаю, госпожа. Знаю! Потому что...

Ясные глаза смотрели на него, блестя то ли от слез, то ли от лунного света. «Не надо огорчать ее. Она ведь ни в чем не виновата. Зачем ранить ее сердце еще и вестью о черной измене отца?»

— Что ж вы замолчали?

— Потому что... будет лучше, госпожа, если вы не будете знать об этом...

— Почему же?

— Потому что... то; что знаю я, вам не надо знать... Это причинит вам боль...

— Но зачем же вы начали говорить, если знали, что это

причинит мне боль? — Хуршида-бану протянула руку и положила ее на согнутую в локте руку Каландара. — Говорите же, прошу, говорите, пусть даже меч занесен над моей головой!

Каландар опустил голову, он понял, что, промолчав, больше обидит, сильнее ранит ее сердце, чем сказав то, о чем решил было не говорить.

— Простите, Хуршида-бану, я очень, очень виноват перед вами...

— Не надо ворошить прошлое. Я не в обиде на вас. Все от аллаха...

— От аллаха! — Каландар рванул ворот рубахи, крепко потер шею, грудь. — От аллаха? Почему я не послушался вас, не согласился бежать с вами в свой край? Или почему не умер до встречи с вами где-нибудь в степи, раненный врагами в бою?.. Вот уж сколько месяцев терзаюсь я этим, Хуршида-бану... госпожа моя!

Хуршида промолчала: обиды оскорбленного сердца забылись, а сочувствие и тяга к Каландару и понимание того, что уже ничего не исправишь, все это разом нахлынуло на нее. Он каялся в своей вине перед ней, он излил свою печаль, и сострадание к нему было в ней сильнее всех прочих чувств. И она испугалась вдруг этого нахлынувшего чувства больше даже, чем загадки появления Каландара здесь. Испугалась, что не выдержит — сейчас зарыдает.

— Так что же все-таки вы скрываете от меня? — переспросила Хуршида-бану. — Говорите же! Не бойтесь за меня: чему быть — того не миновать!

Каландар все еще медлил.

— Госпожа моя... Известно ли вам, что Мирза Улугбек казнен?

— Когда? — Хуршида испуганно отшатнулась.

— Уже неделю назад... И пал он от рук убийц, по воле собственного сына, шах-заде Абдул-Латифа.

«О создатель...» Хуршида-бану закрыла глаза, зашептала молитву. Мгновенно вспомнилось: гарем в Кок-сарая, Мирза Улугбек за тонкой шелковой занавесью, приглушенно-печальный голос: «Я наказал вашего оскорбителя... Что случилось, того не поправишь... Ваша воля, оставаться в гареме или вернуться в свой дом». И, когда она сказала, что просит разрешить ей вернуться, Мирза Улугбек опять извинился перед нею, передал привет отцу, а потом с непонятной ей грустью добавил: «Вы еще молоды... и прекрасны, дочь моя. Да ниспошлет вам всевышний счастье, воздав за страдания». И снова добавил: «Дочь моя...»

Дочь моя...

Хуршида облизнула сухие губы.

— Это ли не конец света, если сын предает смерти своего отца! Как это... мерзко и страшно!

— Да, и страшно, и мерзко... Сыновья — исчадия мрака. Но отец их, устод, поверьте, госпожа моя, словно яркое

солнце, лучи мудрости его просвещали не одних мужчин, но и женщин...

— Истинно так, истинно,— прошептала Хуршида-бану.

— Устод Мирза Улугбек, желая сохранить сокровища, накопленные им за сорок лет...

— Сокровища?

— Да, сокровища науки — редкие книги, рукописи... вам, наверное, приходилось их видеть, госпожа?

— Приходилось... Я однажды даже переписала трактат повелителя...

— Так вот, за неделю до всего, что произошло... за неделю до... смерти своей он поручил судьбу этого сокровища мавляне Али Кушчи. Тот же, зная о возможных опасностях, принял меры предосторожности, и об этих мерах осведомлены были в столице всего три человека.

— И один из них... мой отец? — догадалась Хуршида.— И вы опасаетесь теперь, что отец выдаст тайну?

— У меня есть основания для таких опасений...

— Нет, нет! — испуганно воскликнула Хуршида-бану.— Он не свершит такой низости!

— И все же я хотел бы поговорить с мавляной об этом деле...

— Но я же сказала, что он... что его... Вы говорите, что отец вернется из Кок-сарая целым и невредимым...

— Да будет так!

— Если он вернется, я сама поговорю с ним. Я сама!

— Тогда... Позвольте слуге вашему наведаться сюда завтра!

Ответа на этот вопрос он не получил.

— Мне нельзя не прийти. Мне нельзя не поговорить с вашим отцом. Потому что не только сокровища знаний, но и... жизнь мавляны Али Кушчи в руках вашего родителя!

— Я поговорю с ним,— снова сказала женщина, но в голосе ее уже не было прежней уверенности...

Каландар не в силах был уйти. Ему хотелось взять ее руку, прижать эту нежную, беспомощную руку к губам, хотелось упасть на колени перед Хуршидой-бану и говорить о любви, о пожаре, который все эти месяцы бушевал в его груди, и молить, молить о прощении. Но она же сказала: «Я не в обиде на вас... Все от аллаха».

«Как странно и жестоко устроена жизнь... Кажется, ничем не обделил творец Хуршиду-бану. Все есть — и красота, и богатство, и знатное имя. А вот малого нет — счастья! Обыкновенного, человеческого, женского счастья...»

Молчание затягивалось. Это почувствовала и Хуршида. Мягко сказала:

— До свидания, и да хранит вас аллах...

— До свидания, госпожа.

Она слышала, как шуршали под его ногами листья, пока дошел он до края оврага в самом конце сада. Тогда и она

побрела обратно, домой. Сникшая, обессиленная, постояла у калитки. Прижалась лбом к холодной глине дувала, заплакала, сначала без слез, а потом наконец облегчающе обильными слезами.

## 8

О подвальных темницах Кок-сарая ходили легенды одна ужасней другой.

Но темница, куда привели Али Кушчи, ничем не походила, к его удивлению, на тесный и мрачный колодец, которым пугали воображение рассказчики легенд. Довольно сносная клетушка, ширина — две трети длины; по крайней мере, поначалу ему показалось, что «устроили» его даже просторно.

Ощупывая ладонями стены, неровные, бугристые, он обошел комнату. Ладно, роптать ему нечего. Самое плохое в том, что темница примыкала к дворцовой конюшне, откуда и сквозь каменные стены проникало трудно выносимое зловоние. А вот солнечного тепла эти стены не пропускали, так что было здесь и сыро, и очень холодно. Но что же сделаешь? Ведь его не на торжественный совет к устоду позвали в Кок-сарай, не на вечернее пиршество, не для занимательных и поучительных бесед в кругу поэтов и мудрецов — его привезли совсем в другое место и с совсем иной целью. Как было прежде, при Мирзе Улугбеке, так уже не будет... Один создатель знает, когда Али Кушчи выпустят из этой тесной кельи, да и выпустят ли вообще. Уйдет ли он живым отсюда или нет, а спасение было теперь одно, выход один — запастись терпением, терпением и терпением.

Терпением и выдержкой!..

Но выдержку обрести непросто. Как ни старался Али Кушчи унять себя, он уже томился здесь, томился, словно птица в клетке, он то и дело ловил себя на том, что нетерпеливо расхаживает из угла в угол, бесцельно растрачивая силы. В темноте он спотыкался, иногда ударяясь о стену то плечом, то даже лбом. Не один раз он зачем-то ощупывал массивную дверь, открыть которую можно было только извне; ему казалось, что в комнате не хватает воздуха и что он вот-вот задохнется. Потом он приходил в себя, замедлял шаги, призывал на помощь разум, убеждая себя, что необходимо терпение, терпение, терпение, что нет ничего другого, кроме терпения, а через минуту-другую вновь бегодня по камере, вновь муки бесплодных метаний. Наконец силы оставили его и он прилег на ветхую циновку, брошенную в угол.

И сразу же вспомнилась мать.

Вчера вечером Тиллябиби опять пришла к сыну в обсерваторию. От самого Ак-сарая, Белого дворца, что недалеко от Гур-Эмира, шла. И принесла любимое кушанье Али — плов с горохом. Он велел Мирану Чалаби разжечь очаг, сам расстелил

одеяла для того, чтоб матери удобнее было сидеть. Потом все втроем они расположились вокруг сандала, расстелили дастархан. Комнату заполнил ароматный запах плова, чуть посыпанного черным перцем и другими приправами. А потом... потом четверо нукеров... грубые их приказы одеваться, не мешкать, ничего с собой не брать, долго не прощаться! И враз обессилевшая, оцепеневшая мать... Откуда вдруг взялись у нее силы: она вскочила, метнулась к сыну, задержавшемуся у порога, обняла его, крепко обхватила за шею, вцепилась — не оторвать!

• Вспомнив ее объятия, беззвучные рыдания ее, слезы, что залили морщинистое лицо, Али Кушчи сжал кулаки и тихо застонал. Закрыв глаза, он долго сидел, не шелохнувшись, в углу своей, да, теперь с в о е й темницы...

Терзаться так было нельзя. Бессмысленно, неразумно растравлять раны. Суетливость — сейчас самый опасный его враг.

«И чего ты мечешься, Али? — вновь стал уговаривать себя мавляна. — Если ты страшишься зиндана, то зачем принял поручение устода, опасное поручение?»

Раз взялся за опасное дело по доброй воле, по велению разума и совести, раз ему нужно было во имя науки, во имя света разума сохранить для потомков сокровища Улугбека, пусть хоть один луч из лучезарного богатства, то... то чего же сейчас дрожать?»

Ну вот, он уже может и подтрунивать над собой:

«О ученейший мавляна, мудрейший из мудрых! А ведомо ли вам, что темница, где вы столь свободно передвигаетесь, где вы обладаете собственным ложем, есть всего лишь начало тех прелестей, кои ждут вас в дальнейшем? Кто, кроме всевышнего, знает, досточтимый Али, что еще придется вытерпеть тебе? Может, тот самый меч, которым обезглавлен был благословенный уstad, разлучит твое прекрасное тело с твоей мудрейшей головой, или, быть может, ты останешься жить... в этом или каком-нибудь другом, более удобном каменном мешке, сыром и темном, словно могила. Останешься жить, но с этой поры никогда уже не увидишь бескрайнего простора неба, мигающих в ночи далеких звезд... Останешься жить, но не обнимешь больше ни друзей, ни родных, ни матери!... Да, ты испытаешь все, что тебе суждено испытать!»

Опять прилив горечи поднял было его с циновки, но на сей раз он заставил себя остаться на месте. «Терпение, терпение, дорогой мой Али!.. Прошел ведь всего один день заточения, один, а сколько их еще впереди!.. Что ж с тобой будет, мудрейший из мудрых, если ты не наберешься терпения на годы, на годы!.. О нет! Если на годы, то молю, создатель, забери бедного раба своего сейчас, чем лишать его счастья видеть небо и звезды, проникать разумом, что ты дал ему, в их удивительные тайны!»

Али Кушчи явственно представились обсерватория, фигура учителя за работой, и будто стало светлее в узилище.

Усталость, вызванная государственными заботами, тоска, томившая сердце — все отступало, уходило прочь, когда устод приходил в обсерваторию. Он забывал обо всем, работал само-забвенно, обычно до рассвета. Иногда же, отрываясь от научных занятий, от наблюдений, брал в руки любимый танбур. Устод был настоящий виртуоз в игре на танбуре, тонкий мастер. Надев на указательный палец золотой медиатр<sup>1</sup>, Улугбек начинал слегка тревожить, пощипывать струны, и человек, слушающий этот разговор струн, вдруг замечал, как овладевает им светлая, тихая, будто осеннее солнце, печаль, как сжимается горло от внезапно подступивших слез, но слезы эти не разъедали душу, а, наоборот, смывали тоску и грусть, и хотелось под эту неизъяснимую печальную мелодию, творимую устодом, как же хотелось быть лучше, быть чище и добрей, чем ты есть.

Устод и сам не стеснялся слез, он вытирал влажные глаза и говорил, откладывая танбур в сторону:

— Удивительная сила в музыке... Часто я раскаиваюсь, что пришел в сей мир, часто соглашаюсь с теми горькими мыслями, что столь хорошо выражал достославный Омар Хайям:

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?  
Бегущей жизни смысл, увя, непостижим!

Но стоит услышать хоть однажды «Чоргох», и чувствую я, как исчезают эти мысли, чувствую себя чистым, словно ребенок, и хочется жить. Али, так хочется жить! Разве не счастье, сын мой, Али, услышать одну только эту мелодию? Да, истинно велик разум человека, если благодаря ему человек способен создать такую красоту.

Али Кушчи ощутил вдруг зуд в ногах. Снял ичиги, ощупал изнутри голенище, провел рукой по циновке и брезгливо отдернул ладонь: так и есть, к сырости пола, затхлости воздуха добавились теперь еще насекомые — блохи, клопы, тараканы...

Наверное, наступил рассвет. Чтобы проверить предположение, Али Кушчи постучал в дверь, желая испросить воду для предмолитвенного омовения. Ответа не последовало. Мавляна потер ладонями по сырой земляной поверхности пола, снял и расстелил на полу свой чекмень вместо молитвенного коврика, прочитал молитву.

А сколько в самом деле прошло времени с тех пор, как он появился в этом узилище? Наступил ли рассвет, или ему только показалось? И снова пугающая мысль: если так тяжело дожидаться первого рассвета в темнице, то что же испытывают узники, заточенные на всю жизнь?..

Мгновения тянулись теперь для Али Кушчи ужасающе медленно, и казалось ему, что отныне нарушен закономерный

---

<sup>1</sup> Медиатр — тонкая металлическая пластинка, приспособление для игры на щипковых инструментах.

круговорот времени, что в самой природе приостановилась извечная смена захода восходом, ночи днем, тьмы светом: все окружающее словно застыло недвижно и нерушимо. Были, конечно, признаки, по которым он догадывался, что время течет, что вслед за ночью приходит день: с вечера больше клопов и блох выползло из щелей; еще о движении времени говорило и маленькое, размером в ладонь, оконце в окованной железом двери — оно дважды за сутки, по-видимому, через равные промежутки в часах, приоткрывалось, и стражник подавал узнику воду в оббитой по краям глиняной чашке и овсяную лепешку. Невелика она была, эта лепешка, опрокинь пиалушку на нее, и лепешка спрячется. Али Кушчи умудрялся в первые дни заточения обходиться половиной воды, которую ему давали, другой же половиной увлажнял лицо и руки. А маленькую лепешку делил на три части, ел в три приема, да еще запивая глоточком сбереженной воды!

Кажется, на четвертый или пятый день, наверное, ночью, потому как, навоевавшись с насекомыми, он вроде бы и заснул, Али Кушчи услышал звон цепных запоров, жалобный скрип железной двери. Появились люди с факелами.

Свет факелов резал глаза. Али Кушчи прикрыл их руками. На пороге стоял есаул, косоглазый и со шрамом, рассекающим губы (где-то видал Али Кушчи этого человека?), рядом — эмир Султан Джандар собственной персоной, а за ними два воина держали факелы.

Чадящие факелы хорошо освещали крепкую фигуру эмира Джандара, его бобровый тельпек с красной кисточкой на маковке, знак эмирского достоинства, серебристо сверкающий пояс на синем суконном чекмене, красные сафьяновые сапоги. Султан Джандар сделал было шаг вперед, но, передумав, остался у порога в темницу. Чуть прищуренные глаза его вглядывались в темноту.

После нескольких мгновений молчания эмир Джандар, качнувшись крупным своим телом вперед, громко произнес:

— Мое почтение мудрейшему из мудрых Аляуддину ибн Мухаммаду Али Кушчи!

«Этот индюк смеется надо мной, — подумал Али Кушчи. — Предатель! Недавно был столь близок к повелителю, втерся в доверие. А теперь... Смеется надо мной, негодяй». Али Кушчи, хоть и знал, что играет со смертью, не сдержал колкого ответа:

— Рад лицезреть в этом райском цветнике правую руку великого повелителя, сиятельного султана Улугбека, эмира Султана Джандара-тархана!

Эмир Джандар поморщился и быстро, прыжком пересек темницу. Навис над узником, будто скала, готовая сорваться. Рука на эфесе сабли.

— Мавляна Али, — теперь эмир говорил медленно и жестко, без насмешки. — Эмир Джандар далек от премудрых наук, он всего лишь грубый воин. Но вы... но вас я уважал как мудрого

человека, истинно ученого... Приходится сожалеть, что я жестоко ошибся!

— Увы, наши ошибки схожи... Ваш слуга тоже считал вас одним из самых верных эмиров нашего повелителя, от коего видели вы немало милостей. Как жаль, что я столь жестоко ошибался!

Эмир был изумлен. На какой-то миг он испытал даже нечто похожее на восторг. А потом, наполовину вытащив из ножен саблю, повернулся к есаулу, грозно выставив вперед кончики красивых подковообразных усов, кивнул головой: веди, мол, узника!

Сам повернулся на каблуках, со стуком загнал саблю в ножны до рукоятки и, не удаивая больше никого взглядом, стремительно вышел из темницы. Есаул тихо, но внятно сказал:

— Идите за нами, мавляна!

Али Кушчи повиновался.

## 9

Вместе с приказом о заточении Али Кушчи в зиндан Абдул-Латиф отдал и другой: и без того отрезанную от мира обсерваторию и медресе Улугбека запереть на замок, всех талибов распустить по домам, а за учеными мужами установить неукоснительную слежку. Рука шах-заде, скрепляющая такое распоряжение именной печатью, не дрогнула: после визита шейха Низамиддина Хомуша Абдул-Латиф обрел желанное спокойствие. В столице и особенно в Кок-сарае жизнь постепенно входила в колею. По утрам к шах-заде являлись засвидетельствовать нижайшее свое почтение сановники и военачальники, беки и эмиры. Высокомерные эти вельможи, облачив телеса в парчовые, сверкающие рубинами и жемчугами халаты, в лисьи и собольи шубы (изукрашенные по верху опять же дорогой парчой), нахлобучив бровные или из серебристого беличьего меха шапки, а то и степные малахай, отороченные лисьими хвостами, приходили в Кок-сарай, в знаменитую залу приемов — саям-хану, выстраивались в ряды, словно нукеры на проверке, и покорно ожидали выхода главы государства. При появлении шах-заде сгибались в три погибели, отвечивали поклоны столь низкие, будто не молодого шах-заде встречали, а самого Сахиб-кирана, эмира Тимура Гурагана. А как чутко ловили вельможи каждое слово Абдул-Латифа, как старались, чтоб замечены были их восторженно-всепреданнейшие взгляды, к нему обращаемые!

Однажды утром пришли посланцы столичных купцов. Именные торгаши предстали пред очи молодого повелителя не с пустыми руками: дары унаследовавшему престол — горы шелковых, парчовых, суконных и всяких прочих тканей, токи индийского чая, фарфоровую посуду, изготовленную китайскими масте-



рами,— приволок на дворцовый двор небольшой караван верблюдов. А лишь удалились торговцы, пожелавшие шах-заде здоровья и счастья, долголетия и славы, сарайбон объявил, что для выражения своей преданности просит допустить его к повелителю поэт Мирюсуф Хилвати.

Абдул-Латиф кое-что слышал о поэте Хилвати, даже, кажется, некогда перелистал сборник его стихов. И хотя пора было отправляться в соборную мечеть, шах-заде, чему-то обрадовавшись, решил задержаться в саям-хане и принять поэта.

Толстый, округлый человек в длинном халате из ткани «банорас», доходившем до пят, и в ковровой острроверхой тубетейке пал на колени у самых дверей и принялся забавно прикладывать ладони то к полу, то к лицу. Суетливое это подобоострастие выглядело шутейно; шах-заде невольно засмеялся и милостиво позвал поэта к своему креслу. Но Мирюсуф Хилвати остался на коленях у порога; закрыв глаза, как бы не в силах вынести блеска, исходившего от того, кто сидел впереди на троне, поэт, не меняя позы, заговорил так быстро, будто губы его не успевали прикоснуться друг к другу:

— Ваш всепокорнейший и трижды смиреннейший слуга сочинил стихи, посвященные вам, светочу и обители справедливости, вам, перлу и бриллианту в короне великого султанства Мавераннахра, вам, падишаху изящного слова и его щедрому покровителю, и если благодетель соблаговолит услышать их, то я...

— Нельзя не обрадоваться, когда султан слова, поэт... Хилвати... преподносит нам свое творение.—Шах-заде улыбался так, как должен был, по его понятию, улыбаться истый покровитель изящного и душеспасительного слова.—Встаньте, встаньте, дорогой поэт!

Мирюсуф Хилвати наконец поднялся, правда едва не наступив на полу длинного халата и чуть не упав при этом — уже в прямом смысле слова — к ногам повелителя, что продолжал милостиво и снисходительно усмехаться. Но вот поэт оправился от замешательства, вынул скрытую до поры до времени под мышкой, завернутую в шелк книжечку, степенно откашлялся. Красные, подобно гранату, щеки его раздулись, и Хилвати громко произнес:

Победоносный прадед ваш прославлен целым миром.  
Меч гнева божьего, он был лучом на небе сиром!  
Султан безбожный дерзко длань на тайны бога поднял  
И был низвергнут тем, кто царствует сегодня.  
О славный правнук — веры меч, вас жаждет славить мир!  
Вы в перстне камень дорогой, сияющий сапфир!

Когда Хилвати добрался до последней строки сочинения, голос его совсем уж срывался на петушиный крик, а глаза с испугом и мольбой о пощаде воззрились на Абдул-Латифа. Шах-заде невольно воскликнул:

— Славно, славно сложено!.. Хвала вам, дорогой поэт, хвала!

Шах-заде знал толк в поэзии, сам порою занимался сложением стихов и даже написал собственный диван, не торопясь, правда, к известности, особенно в кругу шейхов и маддохов. Ну да, насчет сапфира в перстне у Хилвати не без ловкости было сказано, однако шах-заде нравились стихи тонкие, полные завуалированного смысла, а тут неприкрытое, откровенное подобострашие, поэтически неуклюжее к тому же. Но шах-заде, воспрянув душой благодаря усилиям Низамиддина Хомуша, имел намерение в не столь отдаленном будущем сделать и свой двор средоточием поэзии, отнюдь, конечно, не вольнодумствующей, как то было при отце-вероотступнике, но угодной богу, а что касается роскошных пиршеств — со стихами и музыкой, а не только с обжорством и пьянством,— то их тоже следовало возродить. И поэты на них были бы украшением не меньшим, чем танцовщицы-рабыни.. Так что пусть плоховаты рифмы у этого запуганного виршеплета, а все-таки первой ласточке и впрямь хвала!

Шах-заде приказал подарить поэту парчовый халат и пригласил Хилвати посетить соборную мечеть в собственной свите повелителя.

Да, сегодня он, шах-заде, новый повелитель Мавераннахра, должен был по совету шейха Низамиддина Хомуша посетить мечеть Биби-ханум, дабы обратиться к собравшемуся там множеству людей с первой своей — царственной — проповедью. Сегодня шах-заде вообще впервые после победоносного водворения в Кок-сарая покидал дворец, и потому был приказ усилить охрану, особенно же личную, многократно. Сарайбон подготовил больше полусотни всадников, к ним присоединилась обширная свита придворных. И, когда пышная кавалькада выехала за ворота Голубого дворца, все вокруг заглушил топот коней, казалось, по этому шуму и столбам пыли, поднявшейся над улицами, что едет целое войско. Впрочем, мало кто видел это великолепие: город был все еще пустынен, торговые и ремесленные мастерские, лавки, что тянулись от Кок-сарая до мечети Биби-ханум, были сплошь закрыты ставнями, и лишь кое-откуда, главным образом из мастерских, гончарных и каменотесных, доносился еле различимый стук, и даже на площадях, на уличных перекрестках народу было всего ничего. «Боятся? А кого боятся?» — подумал об этой невеселой и подозрительной закрытости города шах-заде. Было отчего смутиться, и он решил, что непременно прикажет градоначальнику Мираншаху открыть ставни всех лавок.

Проезжая через Регистан, Абдул-Латиф опять испытал неприятное волнение: взгляд его упал на пустую, до блеска вычищенную площадку перед медресе Улугбека, перед отцовским ненавистным медресе, и припомнилось почему-то, как на исходе ночи после убийства пришел к нему в покои со зловецким мешком Султан Джандар. И ухмылка его загадочная припом-

нилась... Страх снова пронзил всадника, он натянул поводья, вцепился в луку седла. Пришел в себя лишь перед соборной мечетью.

У высоких и массивных двустворчатых ворот мечети Биби-ханум шах-заде был встречен целой толпой сановников города во главе с Мираншахом и столпами веры — почтенными улемами, шейхами и прочими, впереди коих стоял Низамиддин Хомуш.

Молельный двор мечети — большой, тысяч на десять — был полон людьми. В одном углу двора сбились дервиши, в другом — просто нищие, чернь, голодранцы с ближайших базаров и улиц, но вся эта братия составляла меньшинство — сегодня в мечети, в основном, собрались люди почтенные — улемы, богатые торговцы, чиновники, знать, имамы окрестных мечетей; все они были в белом — белых чекменях и покрывалах поверх разноцветных парчовых и бархатных халатов.

Величественная, приятная глазу и сердцу картина!

Шейх Низамиддин Хомуш взял шах-заде под руку, провел его мимо склоненных долу белых тюрбанов к мраморной трибуне в центре двора. Великолепный портал здания мечети вздымается ввысь за спиной того, кто стоит на трибуне, а перед ним — мраморная подставка в виде огромной книги, на этой подставке святой Коран, «Калломуло-и-шариф», в золоченом переплете.

Люди ждали от шах-заде проповедь — хутбу.

И он произнес ее. Он на память приводил стихи из Корана, изречения из хадисов; проповедь же его состояла в том, что врагам ислама он пожелал гибели; далее он провозгласил, что отныне в Мавераннахре начался век истинного торжества веры, время счастья всех подлинных мусульман. Отныне и во веки веков! Последние его слова утонули в набежавшем, как огромная морская волна, грохоте совместного торжествующего возгласа множества голосов: «Илахи аминь!» — и гулкое эхо покатилося под своды.

Вслед за шах-заде к верующим обратился светлейший шейх Низамиддин Хомуш. Он объявил о том, что шах-заде взошел на престол по праву наследования и что, собственно, теперь он уже не шах-заде, не наследник, а первый повелитель правоверных мусульман, благодетель и благоустроитель государства, венценосец Мирза Абдул-Латиф. Шейх произнес долгую молитву в честь венценосца и повелителя правоверных, и, когда с уст его сорвалось последнее в молитве слово «аминь», мощный, тысячеустый возглас «Илахи аминь!» был ему ответом и продолжением, и снова дрогнули своды мечети, а с высоченного ее портала взмыла ввысь стая испуганных голубей.

Успех проповеди, моление в честь венценосца были для Абдул-Латифа ветром, унесшим из души гнилые листья последних сомнений в собственной правоте. Правда, были и неприятности. Доносчики принесли из Балха весть, что правитель Герата, Султан Мухаммад, коему Улугбек приходился

родственником, узнав об убийстве султана Мавераннахра, приказал собрать войско для похода. Но Мирза Абдул-Латиф, во-первых, послал к Султану Мухаммаду надежного человека с предложением о сохранении мира, а во-вторых, как опытный воин, он знал, что тот не пойдет в поход зимой и потому надо различать угрозы словесные от угроз реальных, подлинно опасных.

Многие сомнения исчезли из души Мирзы Абдул-Латифа, и потому был он деятелен и энергичен.

Но только... при свете дня!

А ночью... Никто не видел, слава аллаху, как ночами врывается к нему в душу страх, тупой, не рассуждающий, гнетущий страх: кто-то, казалось, входит в темную комнату, заносит над изголовьем оголенный клинок. Абдул-Латиф вскакивал с постели; бодрствовал долгие часы после такого пробуждения, замирал от каждого шороха, шарахался от каждой привидевшейся тени — и так до утреннего солнечного луча. В часы ночного бодрствования он терял способность рассуждать здраво, и ему мерещилось, что в столице уже созрел заговор и что во главе заговорщиков стоят... ну, хотя бы родичи, двоюродные братья Мирза Абдулла и Мирза Абу Саид. Не Абдул-Азиз, нет, не он, уже умерщвленный, а они, еще живые, стоят во главе заговоров; Абдул-Латиф знал, что они в заточении. Что с того, ведь заговорщики, горячил он себя, уже нашли пути к освобождению, а он, венценосец, о том пока не ведает. И тогда ему хотелось тотчас, ночью, обойти все тюрьмы, и особенно тот зиндан под Кок-сарам, где томились братья, но смелости не было спускаться в узилище.

При свете дня страхи и опасения рассеивались. Но не сразу. Утром, после здакой бессонной ночи, шах-заде смотрел подозрительно на всех эмиров и беков, приходивших с приветствием, и если кто-нибудь, не выдержав его тяжелого взгляда, отводил свой, подозрения Абдул-Латифа усиливались. Если встречал он ненароком своих придворных в каком-нибудь укромном месте дворца, в его многочисленных сумрачных коридорах и залах, то, будь они даже из Балха, доверие к ним пропадало: их тихий шепот, само укромное место — для чего это, если не для козней? И против кого, кроме него, кроме обладателя престола, могли быть эти козни?

Так смятение вновь и вновь овладевало Абдул-Латифом.

Однажды шейх Низамиддин Хомуш, который догадывался, что шах-заде больше всего боится заговоров и даже ищет заговорщиков, вновь повел речь о нечестивом Али Кушчи. Что мавляна сидел в зиндане, это верно, но он ведь не переставал быть от этого нечестивцем и возможным, вполне возможным заговорщиком. Ибо кто же, как не они — тут шейх подал Абдул-Латифу список, на котором стояло два столбца имен и названий, — ученые и книги, не эти нечестивцы, являются возмутителями спокойствия, а стало быть, и заговорщиками? И ведь до сих пор не преданы

огню книги, благодаря коим эти нечестивцы сбивали и сбивают правоверных с пути истинного. Надо быть осторожным, посоветовал шейх.

Беседа эта случилась утром, когда шах-заде и шейх возвращались из соборной мечети. При слове «заговор» Абдул-Латиф вздрогнул. Он хотел было приказать тотчас доставить к нему на допрос Али Кушчи, — на допрос стражайший! — но, подумав, перенес дело на вечер, перед возможным приходом ночного недуга своего.

В тот вечер он быстрее обычного поставил подписи на всех бумагах, что принес ему начальник дворцовой канцелярии, отпустил всех приближенных, ибо допрос он хотел предварить беседой с преступным мавляной с глазу на глаз, и послал эмира Джандара за Али Кушчи.

Уселся на трон.

Задумался.

Странно, предстоящая встреча волновала Абдул-Латифа. Ему приходилось несколько раз встречаться с Али Кушчи — на торжественных пирах в Кок-сараяе и в саду «Баги майдан», на отцовской охоте, устроенной по возвращении султана из Герата в Самарканд, а однажды шах-заде был свидетелем беседы отца и мавляны о загадках небесных светил. Шах-заде помнит: печать вдохновения лежала тогда на челе Али Кушчи. Шах-заде знал: честность, прямота и спокойное благородство этого человека притягивали к себе многих. Мавляна был высок и худощав, но от него веяло силой; лицо его — высокий лоб, широковатый книзу нос, глубоко посаженные глаза — было простодушно, неродовито, но дышало твердой, непреклонной волей, умом и отвагой.

Некогда шах-заде заинтересовался и, можно даже сказать, увлекся этим человеком. Не снизошел, правда, до того, чтобы самому искать случая поговорить с Али Кушчи, но трактаты мавляны по астрономии и геометрии велел тогда же принести ему для ознакомления и прочитал их все, обнаружив и знание дела, воздав должное обширности знаний ученого и убедительности изложения.

Да, в словах шейха есть истина, есть: Али Кушчи опасен и трижды опасен, если станет заговорщиком. Родитель-веротступник, что вознамерился спрятать нечестивые книги, и впрямь не нашел бы человека, надежнее и вернее своего шагирда! А сейчас он, Мирза Абдул-Латиф, намерен наконец побеседовать с этим ученым мужем, чья известность охватывает весь Мавераннахр, весь Хорасан. Али Кушчи, правая рука Улугбека, его истинный ученик, познал тайны звезд, а стало быть, и тайны человеческих судеб... нет, не беседу бы с ним вести, а допрос ему учинить, пыткой вырвать еще одну тайну — куда исчезло Тимурово золото и богохульные книги?!

Но не удивительно ли: с того часа, когда сегодня утром светлейший шейх произнес имя Али Кушчи, этот человек никак не уходит из мыслей и все больше хочется шах-заде лично

увидеться с мавляной, поспорить с ним, переспорить, убедить и... и склонить его на свою сторону.

Вот было бы дело, если б Али Кушчи сам, по-хорошему покался в своей вине, указал, где спрятаны нечестивые книги, его и на службу в диван можно было взять. Да, неплохо, неплохо, коли рядом с новым властелином сего дворца, прославленного от запада до востока, будет восседать в совете и этот ученый муж, некогда самый одаренный ученик вероотступника султана, а ныне наперсник его, Абдул-Латифа, — поборника веры. Среди приближенных будет стоять по утрам, низким поклоном встречать, сложенными смиренно на груди руками... Вот тогда, пожалуй, придет конец гнусным слухам, заговорщицким шепотам по закоулкам Кок-сарая... А вслед за Али Кушчи разве не придут к нему, Абдул-Латифу, и другие шагирды Улугбека — математики, поэты, историки? Вот ведь пришел Мирюсуф Хилвати, но что он стоит, этот слишком подобострастный виршеплет, по сравнению с шагирдами отца?..

В соседней комнате послышались тяжелые шаги.

Эмир Джандар!

Шах-заде взволнованно сжал пальцами гладкие поручни тронного кресла.

Резные двери с узором из золоченых накладных полос осторожно приоткрылись.

— Узник здесь, благодетель.

Абдул-Латиф удовлетворенно кивнул головой. Султан Джандар понял этот кивок как знак разрешения для Али Кушчи войти.

Войдя в залу, Али Кушчи остановился у порога; голова закружилась, он прислонился к стене, смежив глаза.

Абдул-Латиф вспыхнул, как порох. Он хотел закричать: «На колени, эй, ничтожный!» Но что-то удержало его от крика. Может, любопытство — так странно здесь никто себя не вел перед лицом властителей.

Шах-заде всматривался в Али Кушчи. Чекмень из темной простой шерсти, старый изношенный колпак на голове; губы плотно сжаты; грудь чуть приоткрыта; руки бессильно свисают вдоль тела — зиндан не проходит без последствий. И все же Али Кушчи почти не изменился, нет, он все тот же, сухощаво-подобранный, твердый и прямой Али Кушчи, и эти полузакрытые глаза, будто и не видящие хозяина залы, — это не просто признак физической слабости, это... дерзость! Не изменился мавляна Али Кушчи, не изменился; разве в бородке клинышком — такие у них у всех, ученых мужей, — появилось несколько больше седины, чем помнит шах-заде.

«Такой же гордец, как и благословенный родитель, не меньше!» — уже со злостью подумал Абдул-Латиф.

Али Кушчи, словно в ответ, открыл глаза, откачнулся от стены, попытался выпрямиться. Свет резал глаза. Мавляна снова принужден был зажмуриться.

«Надо привыкать постепенно, а то зрение потеряешь... Яркая зала, как и тогда, яркая... Увы, недели две назад, даже меньше того, на троне в этой зале сидел угод, человек, достойный рая! Сидел, изливал мне, Али Кушчи, боль души своей, высказывал свои последние желания... А теперь на том же троне отцеубийца! Душегуб!.. И лицо его мне противно. Усы вздрагивают, глаза встревоженные, беспокойные. Серый цвет лица — признак тайной нехорошей болезни... А вот что в глазах шах-заде? Страх? Скорее, бесноватость какая-то, одержимость... Надо выпрямиться, надо поклониться... ну, да ладно... не буду себя пересиливать».

«Так и стоит с закрытыми глазами. Такого венценосца, как я, не страшится!»

Абдул-Латиф уперся в подлокотники кресла, приподнялся, полунасмешливо и одновременно властно сказал:

— Мавляна Али, не для того ль, чтобы поспать, вы пришли в саям-хану? Откройте глаза, мавляна!

Али Кушчи собрался наконец с силами, выпрямился, посмотрел на шах-заде, прикрыв глаза козырьком ладони.

— Простите, шах-заде. Привыкшие к темноте глаза мои не выдерживают сияния этого чертога.

— Выйти из той темноты — это, мавляна, в ваших руках, — произнес Абдул-Латиф намеренно многозначительно.

«Нельзя считать тебя властелином-глупцом. Тебе не чужды, оказывается, и лисьи повадки», — подумал Али Кушчи. А вслух сказал:

— Простите, не понял ваших слов, шах-заде.

Абдул-Латиф слез с тронного кресла, бесшумно прошелся по горящим многоцветной радугой коврам. У дверей задержался, совсем близко от мавляны. На болезненно-сером лице Абдул-Латифа, в глубоко запрятанных желтоватых глазах промелькнуло что-то такое, что сделало вдруг сына похожим на отца, напомнило Али Кушчи грустное лицо устода.

— Мавляна Али, я весьма уважаю вас как знаменитого ученого... Потому и хочу спросить: кем вы, мудрый человек, считаете меня?

Голос звучал печально, скорбно даже.

«Что он хочет от меня, этот жалкий отпрыск великого отца? Разжалобить? Смягчить мне душу, дабы проще потом прибрать ее к рукам?»

Али Кушчи отвел взгляд от опечаленного лица шах-заде, уставился в пол.

— Почему не отвечаете мне, мавляна? — обидчиво сказал шах-заде. — Ну, знаю, знаю: считаете вы меня... неблагодарным сыном, что вступил в борьбу с благословенным родителем за обладание... вот этим тронном. Больше того, за тирана считаете, за сеятеля смуты, за невежду, который ненавидит людей науки!.. А я... а я... — Он с шумом глотнул воздух и вдруг замолчал.

Али Кушчи по-прежнему глядел в пол, на ковры ширазской работы.

Шах-заде сказал все правильно: Али Кушчи считал его, да и был он на самом деле главарем невежд, темных и опасных, захватчиком престола, сеятелем смуты в стране, мракобесом, что навесил замки на врата науки и просвещения. Но самое страшное — убийцей собственного отца. Непонятно было только, зачем такой человек льет слезы, старается выгородить себя перед ним, перед бедным узником, кого ненавидит, кого бросил в заточение.

— Но я... не хотел того... Если я, покорный слуга аллаха, сверг с трона родителя своего, то... ради веры, ради истинной веры нашей, мавляна, решился я на такой шаг... Знаю: мой родитель — ваш устод. Я же для вас ничто, но выслушайте... Что оставалось мне, коль отец не соблюдал заповедей Корана и шариата, вел себя нечестиво? — Словно боясь услышать возражения, шах-заде повысил голос. — Нет! Нет у меня намерений попирать просвещение и науку, мавляна. Но разве позволено во имя науки забывать о всевышнем?

Али Кушчи с трудом поборол в себе желание оборвать шах-заде. Сдержанно, тихо он обратился к Абдул-Латифу:

— Лишь всевышний непогрешим, шах-заде. Вы говорите о том, кого всевышний призвал уже из этого мира в мир вечный, и судить о поступках того, кто ушел от нас, тяжкий грех...

Он все еще не смотрел на шах-заде, но все равно почувствовал, как от этих слов передернуло собеседника.

Оба замолчали.

— Ну, что же сделаешь теперь, — вздохнул наконец шах-заде, — теперь, после того как кровожадные убийцы свершили это преступление... Аллах свидетель, мавляна, от той вести у меня чуть разум не помутился, а сердце облилось кровью. Я велел схватить всех убийц, мавляна, всех их обезглавить! Всех!

«Ну и коварный деспот, ну и лицемер!»

Али Кушчи поднял тяжелый взгляд на отцеубийцу. Тот стоял теперь у самого трона, одна рука на подлокотнике, другая на рукоятке сабли.

«Хватит! Надо кончать это лицедейство!»

— Шах-заде! Для чего вы говорите обо всем этом мне, несчастному узнику?

— Чтобы... чтобы такой ученый муж, как вы, знал истину!

«Истину?! Чтоб знать истину? Нет, чтоб скрыть ее!»

Али Кушчи ничего не сказал больше, он вновь смотрел вниз, на ковры, хмурил брови, и в этом молчании — так чудилось шах-заде! — были несогласие, бунт, мятеж!

— Я знаю, я хорошо знаю, что думают, чем дышат ученые мужи... И цели их ведомы мне, мавляна!

Это была угроза, плохо скрытая угроза.

— Шах-заде! — Али Кушчи помолчал, пытаясь взять себя в руки. — Истина... вы же говорили о ней... Если сказанное вами



истина, то не важно, что станет говорить об этом ученый люд. И не надо бояться, что они будут думать о сказанном вами... Истина остается истиной, что ни говорили бы о ней люди. И если ваша цель...

— Моя цель,— перебил шах-заде, поняв, что мавляна на пределе сдержанности,— моя цель в том, чтобы сказанное мной... а оно есть истина... донести до каждого правоверного! И чтобы так было, я, ничтожный раб, нуждаюсь в таких, как вы, мавляна.

«Хитро! Жестокосердый властитель стал вдруг ничтожным рабом».

«Ну, хорошо,— мелькнуло в уме шах-заде,— я унижусь перед тобой, но крепко запомню это унижение».

— Я приношу вам свои извинения, уважаемый мавляна. Мои неразумные эмиры без согласия и даже без ведома моего бросили вас в зиндан. Ошибка, которую я хочу исправить... Отныне ваш сан и ваше место будут еще выше, чем прежде...

Али Кушчи живо представил себе место нынешнего своего пребывания: холод и темень, шершавые каменные стены, клопы и блохи.

— Я предложил бы вам, мавляна, будь на то согласие ваше, должность диван-беги. Начальника дивана! Или, если захотите, станете историком, летописцем при нашем дворе. Кого пожелаете из ученых, поэтов взять к себе в помощники, берите! Единственное занятие ваше будет — писать о делах, которые мы намерены совершить в нашем государстве.

«Писать о твоих «государственных» делах?.. Значит, скрыть твои преступления, отцеубийца, твои злодеяния, твою жестокость. Эти поэты, эти историки, которых я позову, должны будут славить тебя в касыдах, в летописях, выдавать черное за белое? Таким увидят тебя следующие за нами, грешными, поколения? Нет, нет! Как взгляну я тогда в страшный Судный день в глаза устоду!»

Шах-заде снова приблизился к Али Кушчи. В бледном лице, в провале глаз Абдул-Латифа мавляна уловил просящую, жалкую улыбку.

— Простите, шах-заде, но я не историк, чтобы писать о делах государственных...

— Но вам и не надо будет писать. Вам предстоит руководить другими. Хотите, к услугам вашим будут прославленные летописцы, которых мы вызовем из Герата.

— Но прославленные летописцы не нуждаются в руководстве вашего не сведущего в этом деле слуги.

— Ладно! Не летописцем, так звездочетом будете, дворцовым астрологом. Уж это-то ваше дело, мавляна?

— Увы, извините меня, но в гороскопах я тоже несведущ...

— Довольно! — Холодное пламя опалило глаза шах-заде.— Мне известно, в чем ты сведущ, нечестивец! И подлые замыслы твои ясны, заговорщик! Ты... ты шайтан в образе человеческого! Это ты совратил с истинного пути родителя моего. Это ты

изгнал из его сердца аллаха, всемилостивейшего и всемогущего!.. Еретик! Вероотступник!

«О творец! Неужели судьба всех ученых Мавераннахра зависит теперь от этого деспота, от этой обезумевшей твари?»

— Где золото?! — неожиданно спросил шах-заде.

— Золото?.. Какое золото?

— Я говорю про те слитки золота, которые были выкрадены... слышишь, выкрадены из казны эмира Тимура и отданы тебе!.. И еще: где крамольные книги, что передал тебе султан-вероотступник?

— Шах-заде, это про отца? Про родителя своего говорить, что он веро...

— Отвечай, шайтан!.. Отвечай, я тебя спрашиваю!.. Чего добивался, пряча языческие книги? Чтоб было чем сбивать правоверных с пути истинного? Чтобы множить ряды еретиков? Отвечай, нечестивец! — Шах-заде подскочил к Али Кушчи, схватил его за ворот, брызгая слюной, продолжал выкрикивать: — Какая была у тебя цель, когда прятал золото? Для чего?! Чтоб было чем платить тем, кто в заговоре с тобой? Против меня! Чтоб лишить меня трона!!

На миг Али Кушчи испугался пены на губах шах-заде. И впрямь сумасшедший. Тело мавляны словно одеревенело, но душа не поддавалась страху. Он готов был стряхнуть с себя руку шах-заде, ударить его! Вдруг представилась ему почему-то мать, старая Тиллябиби, на холодном полу, под ногами нукеров. Что будет с нею? Что с ней сделают?.. Но ненависть заставила прогнать из сознания это видение.

— Уймись, шах-заде! Зарубить своей саблей хочешь — руби. Или прикажи сгноить меня в зиндане. А ворот мой оставь и руками своими не касайся меня.— И крепкими — когда-то их называли железными — руками Али Кушчи оттолкнул от себя шах-заде.

Абдул-Латиф попятился, чуть было не упал, наткнулся на тронную ступеньку, с трудом удержался.

— Сарайбон! Эмир Джандар!

Толкаясь от усердия и мешая друг другу, в залу ввалились эмир Джандар и запыхавшийся темнолицый сарайбон в не закрученном до конца зеленом — такие носят в Балхе — тюрбане.

— Вон этого дьявола! Уведите его! В кандалы, в кандалы! И пусть сгниет в зиндане!

И, тяжело дыша, к эмиру Джандару:

— А где второй, тот... который...

— Мавляна Мухиддин? — подсказал эмир Джандар.— У ворот, здесь... Жаждет выразить свою преданность...

— Веди его сюда... А этого дьявола... вон!

Али Кушчи, услышав про мавляну Мухиддина, задержался у дверей. Эмир Джандар и сарайбон кинулись к нему сзади,

попытались заломить руки. Али Кушчи резко рванулся, обернулся: Абдул-Латиф стоял посреди залы, глаза безумные, на губах и на кончиках усов пена.

— Шах-заде! — Али Кушчи уперся рукой в дверной косяк. — Мы, видно, не увидимся больше, потому скажу тебе напоследок: ты хочешь изничтожить жемчужины — ученых, выпестованных твоим благословенным отцом, нашим великим устомом! Призываю дух его в свидетели: или ты откажешься от такого подлого замысла, или... будешь проклят, будешь презрен родом людским во веки веков!

— Это ты будешь... ты будешь презрен, богохульник!.. Где нечестивые книги, где?! Земля, говорите, круглая, а? Это созданная аллахом ровная земля — шар, а недвижные звезды, горящие камни, созданные аллахом против дьявола... это... они движутся, да?.. Шайтан! Бес! Коран читай, Коран...

Шах-заде все стоял, раскачиваясь, закрыв глаза, сжав кулаки, и желтоватая пена пузырилась на его губах.

— Тебе ли учить меня, как надо читать Коран? — Али Кушчи задыхался от ярости. — Не веришь в учение о небе, не веришь отцу своему, великому усту? А меня, ученика устода, хотел сделать звездочетом? Зачем же тогда? Где же логика?

— Вон его, вон!

— Остановись, эмир! Я сам выйду отсюда! — и Али Кушчи пинком ноги отворил двери саям-ханы.

## 10

Мавляна Мухиддин сидел в подвальном помещении предвратной караульни. Точней сказать, не сидел, а метался, кружил по комнате, то и дело спотыкаясь о какие-то старые доспехи, седла и сбрую, что, закончив срок своей службы, разбросаны были по углам этого помещения. В подвале было темно, и мавляна Мухиддину казалось, что он попал в самый настоящий зиндан...

Да, это ничем не напоминало Мухиддину прежних посещений Кок-сарая, куда его вызывали для приятных бесед с устомом. Те беседы протекали в нарядных покоях, когда сидишь, бывало, на мягких шелковых и парчовых одеялах... А тут! Мавляна Мухиддин сжался весь, когда услышал какой-то писк под ногами и сообразил, что это крысы. Он кинулся к двери, стал яростно стучать по железу немощными кулаками, дергать за медные кольца, кричать, кричать, кричать!... Чтобы потом, вспотев от усталости и бессилия, от мысли, что его погребли здесь, в этом вонючем сыром подвале, упасть коленопреклоненно на земляной пол и по-детски, навзрыд, заплакать...

Стирая со щек и бороды слезы, он стал думать о том, что не случайно очутился в сей холодной могиле, что это наказание за тяжкий его грех перед всевышним. И поделом, и поделом тебе,

разжигал он себя,— вместо того чтобы денно и ночью творить молитву во славу аллаха, просить об отпущении своих прегрешений, он, ученик султана-вероотступника, дерзал заниматься нечестивыми науками! Он, ничтожный, поднял взгляд на небо — престол вседержителя и всесоздателя, не в молитвенном преклонении поднял, не для умиленного восхищения тайнами божественными, а с необузданным желанием проникнуть в них умом смертного... А разве совсем недавно не свершил он еще одного греха? Вместо того чтобы убоиться всевышнего, его праведного гнева, кого он убоился? Неблагодарного раба божьего Али Кушчи!

Опять забегали по полу меж седел и доспехов крысы, и опять волосы поднялись дыбом на голове мавляны. Он снова метнулся к двери, хотел снова стучать, но, подняв кулаки, замер: кто-то, кажется, спускался по ступеням в подвал, да-да, спускался, потому что шаги слышались все явственней. «О создатель! Яви свою милость... Пусть за мной придут, пусть позовут меня...»

Раздалось звяканье ключей в замке, громыханье цепи; дверь, скрипя, приоткрылась. Два стражника с факелами объявились на пороге.

— Мавляна Мухиддин!

— Тут, тут я! Тут, ваш покорный слуга!.. — Мавляна бросился к стражнику, припал к нему.

— Э-э, стой, мавляна, иль умом тронулся?! — Стражник чуть не уронил факел. Правой рукой схватил мавляну за плечо, скомкав в кулак ткань чекменя. — Стой, говорю... А ну, следуй за нами!

— Готов, готов,— бормотал мавляна. Он поднимался по ступеням вверх, ощупывал холодные стены, боясь свалиться, и, когда очутился наверху, опять заплакал, чем немало удивил стражников. «О благодарю, благодарю тебя, создатель... неужели я снова вижу белый свет?»

Из караульного коридора стражники вывели мавляну Мухиддина во двор Кок-сарая. Они шли мимо каких-то навесов, мимо конюшен, мимо спусков в какие-то подвалы, откуда их обдавало жаром, оглушало стуком молотов, бьющих по наковальням... А какое небо простерлось над двором Кок-сарая! Оно полно было звезд, а полумесяц над куполом дворца блестел, словно был чеканки настоящего золота!.. Мавляна Мухиддин потупил взор. «Опять не удержался, грешник... Прости раба своего, создатель, слабого и греховного раба своего!»

Ему приказали прибавить шаг.

Куда они шли, он не знал, и потому, попав вдруг в роскошные палаты, где от сотен свечей струился яркий свет, где ноги утопали в ворсе роскошных ковров, словно не по земной тверди ты шел, а парил над землею, попав вдруг сюда, усомнился, яв ли все это, не спит ли он, находясь на самом деле по-прежнему в мрачном подвале. Он подумал еще о том, что хорошо, если бы сном оказалось все его «приключение» — и подвал с визгом крыс

и эти роскошные залы, через которые он проходил, поторапливаемый войнами, двигаясь куда-то, к цели, ему неведомой.

Наконец в одной из зал дворца перед резными дверями, искусно инкрустированными жемчугом, мавляна увидел представительного, важного вельможу в халате из синей парчи. Где-то он встречал этого человека?.. А, в доме эмира Ибрагим-тархана! Это Улугбеков военачальник... ну, да, его зовут эмир Султан Джандар!

Краснощекий бородач эмир не без жалости оглядел мавляну.

— Застегните пуговицы, мавляна... И поправьте чалму. Сейчас войдем к повелителю.

Мавляна Мухиддин быстро застегнул пуговицы на чекмене, непослушными руками поправил тюрбан. Султан Джандар за эти мгновения успел войти в тронную залу и выйти оттуда. Знаком показал: входи!

Это было тоже будто во сне: у золотого кресла, где совсем недавно восседал Мирза Улугбек, на сей раз стоял, напряженно вытянувшись во весь свой высокий рост, хмурым молодой человек. Лицо его было болезненно-серым, кончики редких усов странно подрагивали. Широко расставленные ноги и скрещенные на груди руки усиливали впечатление воинственности, веявшей от всей его фигуры.

Мавляна пал на колени, потом ниц, лбом к полу.

Хмуρο поглядев на распластанного, шах-заде без слов, движением брови как бы спросил Султана Джандара: «Это он и есть, мавляна Мухиддин?» Эмир кивнул, он, мол, и есть!

— Гм... — Абдул-Латиф не предложил мавляне подняться, он продолжал, полунасмешливо прикусив губу, разглядывать ученого, не смеявшего посмотреть на нового властелина... Впервые видел шах-заде мавляну Мухиддина, хотя почитывал некогда и его сочинения, что пользовались, пожалуй, не меньшей, чем сочинения Али Кушчи, славой. И представлял себе их автора пронизательным длиннородым мудрецом, гордым и высокомерным. Абдул-Латифу хотелось, чтобы отступивший от своих прежних убеждений мавляна, вчерашний крамольник, был таким же высокомерным гордецом, а то и посильнее, поупрямее самого Али Кушчи. А перед Абдул-Латифом... мешок какой-то валяется у ног, тряпка, чтоб ноги вытирать об нее.

Шах-заде нарочито медленными, мелкими шагами подошел к мавляне Мухиддину, навис над распростертым на ковре телом.

— Встаньте, мавляна!

Ученый поспешно приподнялся, согнулся в поясном поклоне, да почти так и остался стоять, словно не до конца переломленный прут. Лишь краешком глаза, робко, снизу посмотрел он на Абдул-Латифа. Тот перехватил взгляд. Ах, какие красивые, нежные глаза были у мавляны Мухиддина! Словно очи красавицы, подумалось шах-заде, с густыми ресницами, глубокие, чистые.

— Почему вы дрожите, мавляна?.. Пойдемте-ка сядем...  
В кротких красивых глазах мелькнуло удивление. И все равно был в них страх, страх неизбывный.

— Б-б-благодарю, сиятельный... повелитель... Ваш слуга принес к ногам вашим раскаянье свое...

— Ну, ну... Проходите, мавляна, проходите. Присаживайтесь.— Шах-заде пересек залу. По-прежнему улыбаясь той самой милостивой своей улыбкой, указал мавляне на кресла в углу, покрытые шелком.

При виде усмехающегося шах-заде понимающе улыбнулся у дверей залы и эмир Джандар.

Мавляна Мухиддин, все еще как бы не доверяя любезному приглашению, засеменял вслед шах-заде, встал в углу залы, у кресел, и только после вторичного приглашающего жеста хозяина несмело присел на краешек одного из них. Шах-заде уселся напротив.

— Мавляна, я когда-то изучал ваши труды по математике и астрономии...

Он еще не кончил фразу, а мавляна Мухиддин стремительно поднялся и встал перед шах-заде, как осужденный, склонив голову.

— Простите меня, повелитель! Шайтан попутал несведущего раба вашего, сбил с пути истинного!

Мирза Абдул-Латиф брезгливо поморщился. Не этих слов он ожидал в ответ. Мавляна должен был защищать свои убеждения. Как Али Кушчи. Шах-заде желал показать этим гордецам ученым, что он тоже немало смыслит в тех тайнах, знанием которых они гордятся, смыслит настолько, чтобы потом наставить их на путь истинный, коль скоро Мирза Улугбек, или шайтан, как сказал этот робкий мавляна, сбил их с этого пути.

— Гм... стало быть, шайтан сбил вас с пути истинного?..

— Точно, он, повелитель!

— Выходит, что вы теперь не разделяете тех мыслей, в которые недавно верили?

— Не разделяю, повелитель, не разделяю.

Шах-заде бросил взгляд на эмира Джандара. Тот заулыбался ответно, всем видом выражая свое мнение: «Да, мавляна неплохой, неплохой человек».

Абдул-Латиф отвернулся недовольный... Этот хилый мавляна готов, видно, беспрекословно подчиниться ему, в другой раз подобное подобострастие лишь порадовало бы шах-заде, ныне же раздражает.

Интерес Абдул-Латифа к Мухиддину сразу погас. Хотел было отдать приказ Султану Джандару увести пленника, но вспомнил о спрятанных книгах.

— Очевидно, вы осведомлены о числе книг в обсерватории, мавляна?

Собеседник часто-часто закивал, преданно и кротко.

— Тысяч пятнадцать — шестнадцать. Или даже больше, повелитель.

— Какие исчезли, знаете?

— Трудно не знать... Все самые редкие и ценные.

— Надо говорить — самые нечестивые! — чуть вспыхив, поправил Абдул-Латиф.

— О, простите меня, повелитель!.. Истинно так! Нечестивые, самые нечестивые книги хранились особо. Среди них те, что доставлены были из Китая, Египта, Индии, Рума... Отдельно хранились книги, написанные теми, кто жил в Хорасане и здесь, в Мавераннахре, их тоже было несколько тысяч, и все эти книги...

— А откуда вам известно, что их вывез Али Кушчи?

Мавляна торопливо облизнул губы.

— Мавляна Али Кушчи собственными устами признался мне в том, повелитель.

— И в том, что спрятал золото и драгоценные камни, тоже признался собственными устами?

— Истинно так, повелитель, собственными...— Мавляна запнулся.

— Когда это было?! — Шах-заде стремительно подскочил, двумя руками надавил на плечи мавляны Мухиддина, пресекая попытку тоже подняться с кресла.— Говорите, не тяните, мавляна!

— Устод... то есть Мирза Улугбек... нет, султан-вероотступник...— мавляна совсем растерялся,— за неделю... за неделю до... низложения своего поручил Али Кушчи сокрыть... Это греховное дело поручил... А мавляна Али Кушчи осведомил вашего покорного слугу об этом поручении.

Шах-заде выпрямился, вновь скрестил на груди руки.

— С какой же целью он сделал так?

— Чтобы и меня... меня тоже притянуть к исполнению... греховного намерения!

— А вы? Не согласились?!

— Истинно не согласился, повелитель!.. Всевышний уберег...

— Хм...— Шах-заде полуобернулся к эмиру Джандару. Эмир подобрался, вытянулся в струнку.

— Привести Али Кушчи, благодетель?

Услышав это имя, мавляна Мухиддин пугливо посмотрел на эмира. «Не надо, не надо»,— молили его глаза.

— Мавляна Мухиддин не виноват, это все дьявол Али Кушчи...— Султан Джандар попытался прийти на помощь сыну знаменитого богача-ювелира.

У шах-заде снова странно запрыгали кончики усов.

— Нет,— сказал он твердо.— Сюда не надо. Отведите мавляну Мухиддина к тому безбожнику! В одну темницу их! Пусть-ка мавляна Мухиддин поговорит с нечестивым Али Кушчи, пусть заставит его признаться в свершенных грехах!.. И уж тогда приведете их ко мне обоих вместе.

Мавляна Мухиддин сполз с кресла к ногам шах-заде.  
— Милосердия, милосердия прошу, повелитель!  
— Убрать!  
И шах-заде брезгливо отвернулся в сторону.

11

Салахиддин-заргар до утра не сомкнул глаз, ожидая сына. От любого шороха стучало сердце и взгляд устремлялся на дверь. Но не было ни самого мавляны Мухиддина, ни вестей от него. Значит, оставили в Кок-сарае, а что значит «оставили», Салахиддин-заргар знал.

Старик не находил себе места. Его Мухиддин — болезненный, с детства ослабленный многими недугами, нежен и прихотлив, словно девушка. Что же с ним будет, коли попадет он в сырую темницу, кишашую насекомыми? Сколько дней выдержит?.. О, аллах, неужто на склоне дней своих он, хаджи Салахиддин, будет разлучен с единственным сыном, светом очей, надеждой своей? Коли случится несчастье с Мухиддином, то долго ль протянет он сам, человек того возраста, когда одной ногой стоят еще на земле, а другой — в могиле?.. И кому рассказать о нагрянувшей беде?

Единственно — шейху Низамиддину Хомушу. Правда, его, шейха, волю исполняя, хаджи Салахиддин и оказался в нынешнем трудном положении. Но к кому же еще пойти за помощью, за душевным успокоением?

Ничего другого Салахиддин так и не придумал, хоть думал до утра.

Прочел утреннюю молитву. Надел теплый, из верблюжьей шерсти чекмень; на голову, поверх скромной бархатной тюбетейки, навертел шелковую чалму. Взял из ниши шкатулку. Из груды изящных сверкающих украшений выбрал два перстня — оба золотые, один с бирюзой, другой с алмазом, вправленными в металл.

Так повелось, что при посещении светлейшего шейха ювелир расставался с какой-нибудь дорогой вещицей; ныне одной не обойтись, взял две.

Небо начинало светлеть. Верхушки высоких тополей в саду уже заблестели, хотя солнце еще не взошло. Постукивая неизменной своей палкой, Салахиддин-заргар медленно пошел по двору под виноградными лозами. Приблизился к воротам.

— Дедушка, дедушка! — послышалось сзади.

Легко одетая, с небрежно брошенной на лицо кисеи, к нему подбежала внучка. Хуршида-бану была бледна, в глазах бессонная ночь, губы подрагивают, вот-вот не сдержит слез.

— Дедушка, куда вы?.. Куда вы уходите, оставляете нас одних?

Любимая внучка, как всегда, растрогала старика.



— Дитя мое, я скоро вернусь. Ты не бойся... Я иду справиться о твоём отце.

— В Кок-сарай? — Голос Хуршиды снизился до шепота. — Ой, нет, не надо! Не ходите в Кок-сарай, бабушка!

— Нет, я иду в другое место. — Старик помрачнел. — Надо же узнать, что с твоим отцом...

— Ему будет очень трудно, я знаю, очень трудно. — Хуршида-бану закрыла обеими руками лицо и заплакала.

Салахиддин-заргар насторожился. Сдвинул брови.

— Что ты знаешь?

— Али Кушчи в темнице, говорят. И еще говорят, будто шах-заде собирается всех ученых мужей бросить в зиндан...

— Кто тебе это сказал? — прикрикнул Салахиддин, глаза его округлились от вспыхнувшего гнева, куцая борода воинственно задралась. — Кто сказал, откуда услышала такое?

Хуршида-бану виновато потупилась.

— Я услышала об этом... случайно... я...

Слезы женщины — оружие, действующее и на стариков. Ну как деду было не смягчиться?

— Не бойся, дитя мое, не плачь... В зиндане по велению шах-заде будут не все ученые мужи, а нечестивцы, что подняли меч на истинную веру. Твой же отец ничем подобным не прогневил всевышнего... Иди, иди, делай свои дела, а я буду делать свои!

Старик поцеловал внучку в лоб.

«Откуда все-таки она узнала злосчастную весть?»

Во внешнем дворе сторож грелся под навесом у ведерка с тлеющими углями. Завидев хозяина, он торопливо поднялся, стал выбирать из связки на поясе нужный ключ.

— Постой... Хочу спросить... Ночью никто к нам не приходил, не стучал?

— Нет, господин мой. Не то что человека не было, муха не пролетела.

— Ну, ну... Все равно будь начеку! Если кто появится без моего позволения, тебе отвечать!

До самого кладбища «Мазари шериф» не давал ему покоя тот же вопрос — откуда узнала внучка про Али Кушчи?

На открытой площадке перед домом шейха горел костер, около него грелись дервиши. Другая группа неподалеку кипятила воду в котлах.

Бывало, ювелира почти сразу звали к шейху, не давая ждать во внешнем дворе. На сей раз у шейха, видно, было важное свидание с кем-то высокопоставленным — и по внешнему и по внутреннему дворам усадьбы мюриды ходили на цыпочках, переговаривались вполголоса, без конца проносили в дом серебряные подносы со снедью. То и дело мимо Салахиддина-заргара шли прямо во внутренний двор без приглашения угрюмые нукеры и какие-то незнакомые, надменно глядящие прямо перед собой дервиши.

Пришлось-таки посидеть, обождать, пока наконец тоненький, словно девушка, совсем молоденький мюрид не пригласил его проследовать в дом.

Ох, не услышать бы сейчас от шейха безрадостной вести! Старик придержал мюрида за руку.

— Есть кто-нибудь там, у моего пира?

— Да. Сегодня изволили пожаловать к нам светлоликий ишан Ахрар, пир нашего пира.

Салахиддин-заргар невольно ощупал в кармане золотые перстни. Недаром он взял два перстня! Доброе предзнаменование!

И, подумав так, испытал вдруг чувство облегчения.

...Ишан Убайдулла Ахрар восседал в просторной салахане на самом видном и почетном месте. Шейх сидел справа от него, тоже на груди шелковых одеял и тоже с четками в руках. Рядом с ладным, не потерявшим и в преклонные годы стройности шейхом ишан, широкоплечий и грузный, напоминал приземисто-закругленную киргизскую юрту. Белая борода шейха и рядом черная, как смоль, курчавая, без единого седого волоса борода на груди ишана... Каждый был и лицом заметен: строгие черты просветленного лица у шейха и мясистое, носатое, щекастое, румяное — у ишана. И внимательные, словно притягивающие к себе взгляды обоих...

Салахиддин-заргар преклонил колени, подобострастно произнес все слова почтительного приветствия. Ишан Ахрар бегло глянул на него, продолжая перебирать четки. Шейх ответил, как полагается, словами молитвенными. А затем неожиданно спросил:

— Что скажешь нам, хаджи Салахиддин? С чем пришел?.. Маловато времени у нас для тебя — вот пожаловал наш духовный отец из Шаша, удостоил нас чести лицезреть его и беседовать с ним о законах шариата, о делах первостепенно важных.

Ювелир еще раз склонился в почтительном поклоне.

— Благодарение аллаху за явленную милость — за то, что привелось мне припасть к стопам покровителя и защитника моего, прославленнейшего ишана, известного щедротами своими.

— Так говори же, хаджи... — снова заторопил гостя шейх. Это было против обыкновения и потому страшило ювелира. — Что нового в городе? Какие вести среди торговых людей?

— Этой ночью, мой пир, — решил заговорить о своем Салахиддин-заргар, — ко мне в дом пришли нукеры... и увели с собой сына моего единственного... мавляну Мухиддина. Он еще не вернулся, мой пир.

Шейх тонко улыбнулся.

— Видно, понравился повелителю, раз не вернулся.

— Мой пир!

— Или, может, тут другая причина? Может, твой непостоянный сын при встрече с нечестивцем Али Кушчи в дворцовом зиндане забыл про то, в чем каялся здесь, в сем доме?

— Этого не могло случиться! Раскаянье сына у ног ваших было чистосердечным и полным!

— Чистосердечным и полным?! — вдруг вмешался ишан Ахрар. Его глаза гневно засверкали.— Когда можно было ему верить, сыну твоему, богохульнику?.. Да, да, богохульнику, ибо иначе нельзя назвать человека, стирающего сомнения свои до того, чтобы усомниться во всемогуществе творца всего сущего. Сын твой хотел проникнуть мысленным взором в таинственное царство вседержителя и всесоздателя... Почему же ныне он, любимый ученик султана-вероотступника, отказался от заветов своего учителя, как ты говоришь?

Хаджи Салахиддин охватил ужас. Только каяться, снова и снова каяться — лишь в этом было спасение.

— Безгрешен один аллах,— пробормотал он.— Простите, простите неразумного, заблудшего раба божьего!

— «Заблудшего, неразумного»! — передразнил его Ахрар, раздувая ноздри.— Я хорошо знаю тебя, ювелир! Хорошо знаю... Теперь ты уверяешь нас, что во всем раскаиваешься, а откуда пришло к тебе богатство, если не из щедрых рук вероотступника, покровителя твоего?

— Мой пир, покорность и преданность слуги вашего могут подтвердить многие... да и очевидна она...

— Ты не спорь, а лучше молись о спасении души сына!.. А о милосердии проси господя, только господя... Участь всех, кто пытался усомниться в могуществе творца, кто стремился совращать правоверных с пути истинного, участь всех нечестивцев будет столь же плачевной, как и твоего грешника сына! Всевышний не забывает про мщение тому, кто возгордился!..

Салахиддин повалился в ноги, коснулся лбом ковра. Ужас словно обручем сдавливал голову, язык не слушался, но молча старик кричал только одно: «Не лишай милосердия своего, аллах, пощади!»

— Иналахо маассобирин... Аллах с теми, кто терпелив...— Это произнес уже шейх Низамиддин Хомуш.— Будь терпелив, хаджи Салахиддин!

Шейх достал из-под сиденья трещотку, потряс ею. Юный мюрид возник на пороге комнаты.

— Пришел ли божий нищий Давулбек?

— Он здесь, пирим.

— Скажи, пусть заходит.

Салахиддин-заргар не поднимал головы. Лишь по звуку догадался, что кто-то вошел в комнату и пал рядом с ним. Робко покосился на того, кто со столь громким рвением приветствовал ишана и шейха. Вместо нищего, оказывается, приложил лоб к пышному ковру косоглазый есаул из Кок-сарая: кривая сабля гулко стукнулась ножами о незастеленную часть пола, в глаза ювелира так и лез железный воинский шлем на склоненной голове.

— Ну, дервиш, принес ли ты вести о беглеце?

— Нет еще, мой пир...

— Это ты-то не можешь, старший среди дервишей и с некоторых пор есаул-баши во дворце? А я считал тебя проворным...

— Моя вина, пирим... не осталось такого места в столице, где бы я не побывал, такой щели не осталось, в которую не пролез бы.

— Что еще за беглец? — спросил ишан.

— Нечестивец Каландар Карнаки. Третьего дня я говорил вам о нем, мой пир... Он сбежал в день гибели султана-вероотступника и до сих пор не найден.

— Жаль.— Ишан Ахрар недовольно покачал головой.— Доверять тому, кто побывал в руках султана-вероотступника...

— Не доверять, мой пир... я испытывал его, за ним следили... вот он.— Шейх кивнул на Шакала.— Ну-ка, оторви лоб от ковра... И ты, заргар!

Шакал приподнялся, положил руки на колени.

— Если сама земля поглотит этого дьявола, все равно я найду его, мой пир!

Шейх Низамиддин Хомуш повернул разговор в сторону от неприятного и для себя русла:

— Ну, хорошо, хорошо, ищи!.. А теперь посмотри направо. Знаешь этого человека?

Шакал не повернул головы, только искоса оглядел стоящего рядом с собой на коленях человека. Осклабился.

— Во всем Мавераннахре нет того, кто не знал бы достопочтенного.

— Так вот, сын достопочтенного ювелира, мавляна Мухиддин, говорят, брошен в зиндан... там у вас в Кок-сарае. Это известно тебе?

— Да, мой пир. Мавляна Мухиддин находится вместе с нечестивцем Али Кушчи.

— Почему? Или его не допрашивали?

— Допрашивали...хвала мавляне, он повторил те покаянные слова, что говорил здесь, у вас.

— Почему же тогда он в зиндане?

Шакал пожал плечами.

— Так решил повелитель... Пусть, мол, мавляна Мухиддин заставит раскаяться и Али Кушчи, тогда их вместе и освободят!

Салахиддин-заргар застонал. Он снова хотел пасть к ногам шейха, но грозный возглас ишана остановил его.

— Верно, верно сделал шах-заде! — Ишан поднял руку с четками, словно для того, чтоб исхлестать ими человека, который осмелился бы возразить.— Верно! Так с ними и надо поступать, с богохульниками! Не прощать их, а карать! — Ишан откинулся на подушки за спиной.— Твой сын, заргар, ел плов из одной чашки с этими вероотступниками! Не боясь гнева творца, сочинял неугодные богу трактаты! Он должен, должен теперя понести наказание! И чем сильнее оно будет, тем скорей

очистится его душа, погрязшая в грехах... И не плакать по сему поводу надо, заргар, а благодарить творца!

— Пир мой, вы не знаете Али Кушчи...

— Знаю! Всех я их знаю! — Ишан снова выпрямился. Не поворачиваясь, занес руку за спину, поправил подушки. — Я знаю и шах-заде, заступника истинной веры... И вытри, вытри глаза, заргар, не бормочи о помощи и милосердии. Милосердия надо просить у бога, только у него одного. Денно и ночью моли его об отпущении грехов... И да сбудется твое моление. Ну, встань, заблудший!

Поднимаясь, хаджи Салахиддин посмотрел на шейха, но тот как бы в смущении отвел взгляд в сторону...

С трудом нашел выход в этой хорошо освещенной комнате старый ювелир. Шатаясь, пошел через прихожую, на мгновение привалился к стене отдышаться. Рука, растиравшая грудь под чекменем, случайно нащупала перстни. «Так и не отдал!.. Идти снова? Нет, нет!.. Нести их обратно? С ними домой? Дурной знак, ох какой дурной!.. Что же будет с нами, что будет?»

## 12

Каландар пришел в пещеру кузнеца Тимура Самарканди в полночь. Вернулся и молча лег лицом вниз на полушубок, расстеленный возле наковальни. На вопрос кузнеца «что случилось?» ответил коротко:

— Мавляна Мухиддин тоже в зиндане, отец.

Говорить, рассказывать подробности, проклинать шах-заде — ничего не хотелось. В мыслях своих Каландар все еще был в саду Салахиддина-заргара. Все стояло перед ним лицо Хуршиды, омытое слезами, и голос ее продолжал укорять, хотя и сказала она, что ни в чем его не винит.

Нынче он вторично пошел к мавляне Мухиддину, снова стучался в знакомое окно, выходящее в сад. С замиранием сердца услышал, как отворилась калитка. По легкому шороху кавушей узнал: идет Хуршида.

Он стоял все под той же старой орешинной. Хуршида была одета по-другому, чем прошлый раз. Поверх длинного, до самых щиколоток платья на ней был черный мурсак, вместо платка голову покрывала черная бархатная накидка, и даже тонкая-тонкая кисея на ее лице показалась Каландару иссиня-черной. Под стать настроению, видно, оделась; стояла молча, прямо, склонив голову под тяжелой накидкой.

Предчувствуя худшее, Каландар спросил:

— Да будет все хорошо у вас, госпожа моя... Вернулся ли домой мавляна?

— Нет...

Хуршида-бану подняла голову, посмотрела на дервиша. Глаза ее были печальны и, показалось Каландару, холодны.

— Почему? — спросил он и тотчас догадался, что вопрос неуместен.

— Откуда мне знать?.. Только... не думаю я, что они бросят в зиндан человека, который предал... будто предал мавляну Али Кушчи!

— Простите меня, госпожа...

— Вы говорили... вы уверяли меня, что нечего опасаться за него... Отца не тронут, даже волоса его не коснутся... Так где же он?!

Каландар отвел взгляд.

— Разве не все мы ошибаемся?.. Простите меня...

— Да, мой отец человек слабый. Его легко напугать. Зиндан, угроза оставить его там — это ведь в самом деле страшно. И все же, бог свидетель, отец не поступится своей совестью. Он не предаст друзей!

Мягкая, покорная, Хуршида могла быть гневной и резкой, Каландар знал это.

— Простите меня, Хуршида-бану, — только и мог повторить он, — я-то думал, несведущая душа...

Хуршида словно не слышала его.

— Слабый, невыносимый, больной, как же он перенесет зиндан? Рассказывают ужасы... Бедный отец!

Каландар не мог ни оправдаться перед Хуршидой за то, что посеял в ее душе семена недоверия к отцу, ни помочь чем-нибудь этой милой сердцу женщине, что спрятала лицо в ладони, в белые, нежные, прекрасные свои руки — и не для того ли, чтоб не видел он ее слез? Дважды в жизни он обидел Хуршиду, и теперь особенно трудно было приблизиться к ней, говорить слова утешения.

— Ну, полноте, госпожа, не надо плакать, — наконец сказал он, презирая себя за то, что не может найти нужных слов. — Не будем терять надежду.

Хуршида продолжала плакать, безутешно, беззвучно.

— Мы не будем сидеть сложа руки. Придумаем... что-нибудь придумаем, госпожа моя.

В глазах, обращенных к Каландару, вспыхнула искорка надежды. И тут же угасла.

— Дедушка бедный... Не знает, куда идти, у кого просить помощи.

— Да, трудно, всем трудно — и людям науки, и простым людям! Этот безжалостный новый властитель, видно, решил бросить в темницы всех, кто держит факел просвещения. Но суждено ли сбыться тому?

Не этих слов, нет, конечно, не этих утешений ждала от него Хуршида. Но что он мог сказать определенного? Пока ничего...

Хлопнула садовая калитка, показалась тень женщины, за нею еще одна тень.

— Хуршида! Где ты, дитя мое?

— Это за мной! — Хуршида оперлась на руку Каландара. Видно, в испуге. Ее рука была горяча и дрожала.

Каландар пожал эту дрожащую руку. Почувствовал, как всего его охватил жар. Вдруг обнял ее, прижал к себе. Хотел нежно поцеловать в лоб, но не выдержал — задыхаясь, стал целовать ее в губы, глаза, шею...

Вновь раздался тревожный голос, зовущий Хуршиду. Она же стояла, будто не слышала, что ее зовут, прижав горящее лицо к груди Каландара.

— Мы найдем выход, найдем,— прошептал Каландар.— Я приду еще, приду! — И, сказав так, подался назад, скрылся в темноте ветвей, словно растворился в ночном саду.

Уже в овраге за садом услышал, как отозвалась кому-то Хуршида:

— Я здесь, здесь! Иду...

Как помочь Хуршиде? Как помочь наставнику своему Али Кушчи? Чем помочь и себе самому?

Каландар пробирался глухими проулками и все думал, думал об этом. Ночные дозоры заставляли его менять направление пути, от каждого дальнего факела он поспешал куда-то в сторону, и вскоре так запутался, что вовсе потерял представление о том, где находится.

Потом вдруг обнаружил, что все это время кружил, что очутился в конце концов неподалеку от дома Али Кушчи, возле Ак-сарая. Давнее желание проведать Тиллябиби удобно было осуществить как раз сейчас, ночью, во тьме. Лишь бы не напугать старушку!

Ну а что он ей скажет? Что готовит подкоп в зиндан, куда заточили Али Кушчи и мавляну Мухиддина?.. Чем утешит ее?

Поборов сомнения, он все же навестил Тиллябиби и сам был не рад, что навестил. Больная, в сильном жару, с закрытыми глазами, она металась в постели и бредила. Приняла Каландара за сына, все гладила рукой лицо его; на минуту сознание будто вернулось к ней, она открыла глаза и убедилась, что это не сын, что это другой человек, и, не узнав Каландара, откинулась на подушки, закричала в страхе, а потом опять забылась, забредила...

...Каландар закутал голову чапаном. Воспоминания замучили его.

Братья Калканбек и Басканбек тормошили его, невесело шутили: вставай, мол, ничего не сделаешь в этом бренном мире. «Вернуть разум безумному может один лишь аллах!»

Каландар оставался недвижимым.

Время было далеко за полночь, когда братья собрались уходить. И тут вдруг постучали в дверь пещеры. Уста Тимур пошел со светильником в руках разузнать про позднего гостя, долго расспрашивал кого-то в коридоре, потом появился вместе с Мирамом Чалаби.

— Этот юноша привел к тебе какого-то человека из медресе Мирзы Улугбека... Может, поднимешься, сын мой?

Каландар приподнялся. Мирам почтительно поздоровался с ним.

— К вам Мансур Каши, его послали талибы медресе, все талибы...

— Послали ко мне? — удивился Каландар. — Зови тогда, раз ко мне.

Мансур Каши был самым молодым из мударрисов в медресе Мирзы Улугбека, но его уважал сам устод за ум, глубокие и обширные знания. Непривычно было видеть Каландару, что такой гость почтительно приветствует его, да так почтительно, будто перед ним не бывший талиб этого медресе, не дервиш недавний, а некий достославный ученый муж. Приход Мансура Каши не мог не радовать: еще не перевелись, значит, честные люди!

Старик кузнец оживил горячие угли в жаровне, подкинул туда ветви саксаула, постелил на помосте войлок, пригласил гостя садиться. А Мансур Каши все оглядывался по сторонам: что и говорить, «зала» была непривычна. Каландар успокоительно положил ладонь на колено мударриса.

— Так вы говорите, что вас послали ко мне люди науки и талибы? Откуда прослышали они о вашем покорном слуге?

Мансур Каши улыбнулся, погладил коротенькую свою бородку.

— Слава о вас распространилась по всему Мавераннахру... — заученно сказал гость и добавил не без лукавства: — Особенно, шаир, после того, как вы оставили отшельничество и оказались вновь под крылом мавляны Али Кушчи... Люди науки знают о вас и уважают вас! — Это Мансур Каши сказал уже всерьез.

Их было приятно услышать, эти слова мударриса Мансура Каши. Но и горько от этих слов было тоже. «Велика ль польза от того, что я вновь под крылом мавляны Али Кушчи, коль ничем не могу помочь ни ему, ни другому своему наставнику, ни женщине, которую люблю!»

Все же Каландар превозмог себя, спросил спокойно, словно уверен был и в собственных силах, и в силах собеседника:

— Так что говорят среди ученых мужей, расскажите нам, друг мой.

Мансур Каши, свыкшись с обстановкой, глядел теперь неотрывно на пламя костра.

— И талибы, и мударрисы пребывают в тяжелой скорби, шаир. Ведомо, что все медресе ныне закрыты, и как сложится судьба ученых людей, неизвестно. Впрочем, доброй судьбы не ждем.

— Пребывать в скорби — много ли блага от этого занятия? Печаль лишь обессиливает.



— Верные слова! — горячо вмешался вдруг в их беседу Мирам Чалаби. — Но поговаривают, будто ученые люди решили вызволить из заточения Али Кушчи! Не знаю, почему не говорит о том мавляна Каши.

Мансур Каши с опаской взглянул на двух братьев, Калканбека и Басканбека. Они сидели у костра, поддерживали огонь. Каландар успокоительно улынулся, давая понять, что эти люди свои. Каши в ответ кивнул, но голос все же понизил, когда начал рассказывать:

— Да, Мирам говорит правду. Вчера вечером ко мне пришли талибы, несколько человек, с таким предложением — вызволить из темницы мавляну Али. Головы свои, мол, не пожалеем, в огонь бросимся, на все готовы... Если б знать, говорят, в какой стороне зиндан, мы бы подкоп сделали!

— Ай да молодцы! — не выдержал Калканбек. — Настоящие джигиты! Как по-твоему, Басканбек?

— И по-моему, молодцы... Думать-думать, весь ум расте-ряешь! Действовать надо! — Басканбек щелкнул ногтем по медному кумгану, ловко выхваченному им из огня. — К таким джигитам с храбрыми сердцами и мы бы присоединились, правда, Калканбек? Вот наш брат Каландар думает, думает. А что придумал? А мы?.. Скажут делать подкоп — будем копать! Скажут: саблю наголо — будем рубиться! Разве не так, а, Каландар-ака?

Каландар невольно рассмеялся.

Ну и впрямь молодцы джигиты, сами всегда бодры и других могут подбодрить. Но представляют ли они себе, что такое мощная крепость с высокими зубчатыми стенами, и как ее сторожат, эту крепость, и сколько там дозоров, вроде тех, что попадались ему сегодняшним вечером по дороге?

— Чему засмеялись, Каландар-ака? — спросил Калканбек.

— А тому, — ответил за Каландара Уста Тимур, будто угадав его мысли, — что... не знаете вы, кто строил эти зинданы... И Кок-сарай, и темницы в нем строил сам эмир Тимур. А он понимал толк в этом деле!

— Так что же, будем сидеть сложа руки? — снова загорячился Мирам Чалаби.

— Молодежь права, — прервал свое молчание Каландар. — Надо искать выход. Надо найти выход! И побыстрее!

Старый кузнец сидел спокойно. Поглаживал ладонью правую щеку, запачканную сажей, пристально всматривался в костер, будто не замечая, как вытянулись лица молодых людей, как крепко сжал голову Каландар, словно силой заставлял себя думать. Пышные ровные усы старика дрогнули, брови нахмурились.

— Смирный раб божий, я тоже много раздумывал, как же нам отыскать выход... — Старик говорил, как обычно, медленно-рассудительно, ни на кого не глядя, только на костер, на языки огня. — Я смог прийти к одному... Узников спасет, уж если что и спасет, золото!.. Золото! И ничто другое.

— Золото? — переспросил Каландар. — Подкуп, значит?

Установилась тишина. Калканбек от кузнечных мехов пересел поближе. Все сбились в тесную кучку, будто боясь прослушать хоть слово из того, что им скажет сейчас старик.

— Золото... Подкуп... — подтвердил он. — Больше ничего не поможет. Запомните, сыны мои, средь эмиров и беков, кто сейчас предан шах-заде, нет таких, кого нельзя перекупить. Забросить бы крючок с хорошей наживкой — и кто-то зацепится. Надо лишь подумать, кого цеплять. И золота не жалеть. Голова Али Кушчи дороже всякого золота... Я не удивлюсь, коли узнаю, что Мирза Улугбек заранее подумал об этом. Видать, он и впрямь был мудрым и глядел далеко вперед.

Старик повернулся к Каландару: не выдал ли ненароком тайну? Но лицо Каландара было непроницаемо. Он сразу понял, куда клонит Уста Тимур. На мгновение удивился, что такая простая мысль не пришла в голову ему самому, и сейчас же лихорадочно стал прикидывать, кто может клонуть на золотую наживку. Шакал, вот кто! Как-то вечером недавно он издали видел Шакала. Есаулом стал этот Шакал! На голове теперь носит не трех драный, а литой военный шлем, на поясе кривую саблю, под седлом у него крепкий аргамачище. И так важно, самоуверенно восседал на нем Шакал, что Каландар присвистнул... Да, прав старик, надо забросить удочку. Шакал клонет!

Мансур Каши, видно, по-своему объяснил бесстрастное молчание Каландара.

— Если необходимо золото, мы придумаем, как его найти. Соберем! Никто из ученых и талибов, думаю, не откажет нам!

— Дело не в одном золоте. Найдется ли рыба? Такая, что нам нужна.

— И рыба найдется, — Мансур Каши опять невольно покосился на братьев-кузнецов. — Ваш слуга знаком с одним человеком... из важных вельмож... его имя... эмир Султан Джандар... наш дальний родственник.

— Эмир Султан Джандар?! — Каландарова бесстрастия как не бывало.

— Эмир Султан Джандар? — Старик тоже удивился. — А говорят, что он-то и есть карающая рука шах-заде!

— Ну, тогда это не рыба, а кит! — развеселился Мирам Чалаби.

— Этот кит сожрал половину Самарканда!

— Пойдет ли он на приманку?

Все заговорили хором, перебивая друг друга. Уста Тимур молитвенно поднял руки, устанавливая тишину.

— Не будем бояться, дети мои. Вряд ли такая ненасытная акула не пойдет в наши сети за у в е с и с т о й добычей!.. Пусть же всевышний даст нам удачливую ловлю, аминь!

Эмир Султан Джандар вернулся из Кок-сарая и улегся в постель, чтоб вздремнуть. Но и мгновения, кажется, не прошло, а уж слуга осторожно тронул за плечо.

— Господин! К вам гонец из Кок-сарая.

Султан Джандар с трудом открыл глаза.

— Из Кок-сарая, говоришь? Ну, зови! — И опять сомкнул вежды эмир Джандар, опора нового властелина. Вот уже несколько месяцев нет покоя этой опоре ни днем, ни ночью... В любое время суток поднимают его с постели гонцы шах-заде, будто и не эмир это влиятельный, не Султан Джандар-тархан, отпрыск древнего знатного рода, а так, чиновник какой-нибудь, человек на побегушках.

А ведь он, Султан Джандар, истинно опора шах-заде. Он освободил нового владыку и от старого повелителя, султана Улугбека, и от брата кровного, шах-заде Абдул-Азиза, что не давал Мирзе Абдул-Латифу спокойно спать по ночам...

Подумав про это, Султан Джандар вздрогнул: не призрак ли сейчас войдет сюда убиенного шах-заде, младшего из братьев!.. Как он рыдал тогда, в последний свой час, этот Абдул-Азиз! Будто ребенок!.. Султан Джандар все глядел на дверь, превозмогая внезапное оцепенение. Да, новый властелин многое свершил его, эмира Султана Джандара, рукой... И все-таки не доверяет! И завел еще в последнее время обычай — не спать по ночам, «государственными» делами заниматься. И все должны быть начеку — а вдруг позовет, вдруг весь диван переполошит? А если дел нету, устраивает пиры... Это бы еще куда ни шло, только и пиры его противны, как поступки, как он сам. При Мирзе Улугбеке в зале для пиров, бывало, собирались знаменитые поэты, мудрецы, танцоры и танцовщицы услаждали зрение, музыканты — слух. А этот один как сын или позовет сновника, но не угощает, а молча пьет. Молча и ты сидишь, опрокидываешь чашу за чашей. Нудно, тоскливо! Если музыкантов велит кликнуть, то приказывает играть лишь грустное, тягучее, да чтоб тихо, а сам все сидит, раскачивается, глушит себя вином.

Шах-заде приглашает его на свои «веселья», приглашает. Наравне с приближенным каким-нибудь из своей своры, притаившейся сюда, в благословенный Самарканд, из Балха. Подает тебе из собственных рук кубок с вином, на роже так и написано: цени, мол, эмир, честь, которую тебе оказывают.

Аллах всемогущий! На то ли он надеялся, когда отвернулся от Мирзы Улугбека и отдал славный меч в распоряжение шах-заде?

Султан Джандар рассчитывал, что Абдул-Латиф только для вида будет занимать трон, а управлять Мавераннахром, держать в страхе и трепете страну будет он, эмир Джандар. И думалось, виделось, грезилось тогда: все беки, все эмиры, вся знать,

торговцы, сановники покрупнее и чиновники помельче, все, все будут обивать порог Султана Джандара, кланяться будут Султану Джандару, сложив почтительнейше руки на груди... И власть его будет невиданной, и хоромы его в столице ни с чьими другими не сравнятся по великолепию, а в гареме визиря окажутся самые знаменитые красавицы. И во имя того, чтобы осуществились эти вождения, эмир выполнял все, что ни приказывал ему шах-заде, шел на любые преступления.

И что же? Ни слава, ни положение Султана Джандара, ничего не приумножилось. Напротив, иные вельможи стали косо смотреть на эмира, потихоньку злословить о нем... Ну а о приумножении богатства лучше и не думать!.. Последним средством поправить дела была женитьба старшего сына на внучке знаменитого ювелира хаджи Салахиддина.

Любимая внучка ювелира, увы, конечно, не первой свежести бутон, в скольких руках мужских побывала, ну да ничего, и красавица писаная до сих пор, говорят, а главное, очень уж казна дедушки красива, а этот кутила и мот, старший сын, неисправимый игрок в кости, сумеет и эту казну потрясти, как вытряс уже немало из отцовской. И хаджи неплохо было бы при покровительстве эмира, и эмиру хорошо породниться с ювелировой казной!.. Осведомленные люди сказывают, что любимой внучке дед уготовил все состояние свое.

Султан Джандар хотел уже сватов послать к ювелиру, но сумасшедший шах-заде зачем-то бросил в заточение отца красавицы, мавляну Мухиддина. И, как ни старался Султан Джандар выгородить мавляну, не смог помочь. Не смог, хоть некоторые и думают при дворце, что он все может... И еще думают, будто эмир Джандар — причина всех гонений, заточений, казней. А он... о, аллах! Он не знает, как сам-то остается в живых...

Ну да, он, как и многие другие эмиры, был недоволен бесславным походом в Хорасан, откуда вернулись без добычи. Всех раздражало, что султан Улугбек больше думал о звездах, а не о своих верных эмирах, раздражали и притеснения, которые чинил им несдержанный в страстях Абдул-Азиз, любимый сын повелителя. Вот почему он, как и большинство эмиров, взял сторону Абдул-Латифа. Но Абдул-Латиф оказался хуже отца своего. Ничем не порадовал он эмиров: ни крупными дарениями, ни высокими чинами, благодаря которым можно было бы приумножить богатство. Шах-заде, выяснилось, признает одних шейхов-богачей, поклоняется, прямо поклоняется своему пиру Низамиддину Хомушу, одного его и слушает... Улемам хорошо, да эмирам-то каково? Вон даже шейх-уль-ислам Бурханиддин в тени. Впрочем, шейх-уль-ислам, наверное, сам ушел в тень, замкнулся, отгородился от всех, выжидает.

А он, эмир Джандар... Шах-заде, видно, спятил. Каждый день смотрит, смотрит эмиру в глаза — не верит ни словам

его, ни поступкам, следит за ним исподтишка, ловит ехидными вопросами, хочет поймать врасплох...

Султан Джандар встал наконец с постели. Тяжко, долго вздыхал, растирая широкую волосатую грудь. Тут тихо приотворилась дверь и вошел Шакал.

«Вот еще одного соглядатая ко мне приставили», — подумал Султан Джандар. Грубо спросил:

— Ну, что за неотложное дело среди ночи, косоглазый?

Шакал заулыбался угодливо.

— О том спросите нашего... милостивого повелителя, господин мой.

Султану Джандару захотелось обложить посланца самыми грубыми ругательствами. С трудом сдержался. Отвел взгляд в сторону. Стал надевать на тело, не освеженное достаточным сном, тяжелые воинские доспехи, будто на брань, но так приказывал являться шах-заде.

Мягкий, вкрадчивый, откуда-то сбоку, раздался голос Шакала:

— Мой досточтимый эмир! Вы, я знаю, не доверяете своему преданному слуге. И ошибаетесь во мне, господин. Мне самому не по душе дела наследника.

«Наследника? Не повелителя, а наследника?.. Что это значит? Какая цель у этого косоглазого, что захочет, так совратит и самого шайтана?»

Этот дервиш давно был известен Султану Джандару. Встретив его во дворце в одеянии есаула — это вместо рубища-то! — эмир очень удивился, потом догадался, что тут не обошлось без шейха Низамиддина Хомуша. Его слуга, его доносчик этот бывший дервиш! Ухо надо держать с ним остро!

Медленно затягивал эмир Джандар на своем огрузневшем животе пояс. Не глядя на Шакала, спросил, будто не понимая:

— Про какие дела говоришь, косой?

— Да про всякие разные, мой эмир... Вы-то опора ему, а чем отблагодарены?

«Моими словами говорит, моими! Но что же все это значит? Сочувствует он мне или губит?»

Было отчего разволноваться. Вчера пришел к эмиру молодой Мансур Каши, родственник. Говорил о том, что есть люди, недовольные шах-заде, что кругом неспокойно, что голод в столице и в торговле застой. А потом исподволь стал спрашивать о мавляне Мухиддине, мавляне Али Кушчи. Намекал, что ученые мужи могут многих-многих денег стоить. Выкуп, стало быть, предлагал за них. Эмир рассердился, угрозил зинданом за такие разговоры, потом почти выгнал гостя, хоть и родственником тот был. Ну а теперь вот еще один... в сердце Султана Джандара запускает руку... Что-то пронюхивает, на что-то намекает, змей плутоватый!..

Медленно-медленно пристегивал эмир Джандар к поясу саблю. Лица к Шакалу так и не повернул.

— Удивляешь ты меня, косой. При Мирзе Улугбеке был ты нищим попрошайкой, вечно голодный слонялся по самаркандским улицам... А теперь? По милости... наследника ты теперь есаул. Чего, кажется, еще человеку желать? А?

— Говорят, господин, и так: звание высокое, да скатерть на столе пуста...

— Есаулу да ее не заставить яствами?

— Тогда позвольте напомнить еще одну пословицу, милостивый эмир: один конь не поднимет пыли... И для хлопка нужны две ладони... Есть у меня к вам дело...

— Что за дело? Почему замолчал?

— Одно дело... выгодное. И пугаться не следует — люди верные, очень верные...

«Верные люди? Верное дело?.. А может, и вправду в столице уже поспел заговор, а я, эмир Султан Джандар, не знаю о нем? Недаром приходил Мансур Каши... И где-то ведь скрывается любимый воин Улугбека — Бобо Хусейн Бахадыр. Одно его имя вызывает у шах-заде дрожь. И Мираншах крутит в последнее время, замышляет что-то. А шейх-уль-ислам Бурханиддин и подавно не приходит с поклоном: отодвинули в тень, а в тени самое место для верного дела... Осторожность нужна. Поспешность может боком выйти... Надо все разузнать. А опираться на бесноватого шах-заде все равно что на тень опираться».

Султан Джандар резко повернулся к Шакалу, схватил его за ворот.

— Коль жизнь дорога, отвечай прямо: кто поручил тебе испытать меня?.. Ну?! Не шейх ли светлейший?.. Сам шах-заде?.. Говори! Брюхо распорю и кишки намотаю на шлем! Говори, шайтан!

— Пусть меня покарает аллах, если лгу!.. Пощадите, эмир, коть дайте досказать...

— Досказывай!.. Есть заговор?

— Нет, господин мой! Есть деньги, много денег. Есть золото, драгоценности.

— Все черные дела начинаются с золота и драгоценностей!.. И на какой улице их просыпали, эти золото и драгоценности?

Султан Джандар слегка сдавил горло Шакала.

— Хватит зенками-то вращать. Всю правду давай, шайтан!

Шакал, задыхаясь, прохрипел:

— Мавляна... Мухиддин и мавляна Али Кушчи... они... Их надо...

«Вот это стервятник! Так ненавидеть ученых, как ненавидят их приспешники шейха, и на тебе, за золото ученых-то решил вызволить этот шайтан... Только кто же даст за них золото и драгоценности, не Салахиддин-заргар?.. И Мансур тоже умеал на выкуп двух ученых, большой выкуп».

Эмир разжал пальцы, поправил сползший к низу живота

пояс с саблех. Отодвинул с пути есаула. Прошел, прямой и настороженный, к двери.

— Заруби себе на носу, косох! Кто стоит в двух лодках, обязательно свалится в воду... Эмир Султан Джандар не прощает своей чести за золото и драгоценности!

...Днем шел снег и было тепло, а к вечеру стало студено. Это эмир почувствовал сразу же, выйдя из дому в ночную темень. Кони у ворот застоялись и теперь взяли с места вскач. Каменная дорога зазвенела под копытами, брызгами полетели ледяные осколки замерзших луж.

Самарканд, подобно кладбищу, был пуст и черен. Не слышалось ни колотушек сторожей, обычно как раз в это время обходивших улицы, ни тихого позвякивания сбруи на лошадях ночных дозорных, что с недавних пор высматривали кого-то, освещая городские перекрестки чадящими факелами, ни разу не встретились всадники и дервиши, которые обычно днем и ночью бродили по городу, так что и в самое неурочное время можно было насладиться их песнопениями во славу аллаха.

Шакал следовал за эмиром, чуть приотстав, и с тревогой поглядывал на его фигуру, казавшуюся в седле темной каменной глыбой.

Тревога есаула была понятна: а ну как эмир Джандар передаст шах-заде его слова? Не должен бы вроде, да кто их знает, сановников этих?.. А слова насчет спасения ученых мужей вырвались у него, у Шакала-то, случайно. Почти случайно. Во всяком случае, не в таких условиях он хотел их произнести и не так, как оно вышло. Но в последние дни столько всего произошло с есаулом, что, право, и жалеть не надо, что открыл он перед эмиром тайные помыслы разных людей.

Неделю назад Шакала снова позвал к себе шейх Низамиддин Хомуш. Как всегда, расспросил подробно обо всем, что случилось в Голубом дворце со дня последнего вызова — о переписке шах-заде с другими властителями, о делах дивана, о взаимных кознях военачальников. Дотошно узнавал шейх о тех вельможах, эмирах и ученых мужах, кого бросили в зиндан, а также и об отпущенных обратно на свободу. Словом, отчет за неделю, полный, подробный. Казалось, что отчетом этим шейх остался доволен. Но в конце разговор свернул опять на Каландара Карнаки, до сих пор не только не пойманного, но и не найденного, и наставник сурово изругал Шакала. Он, шейх, сделал Шакала дворцовым есаулом, приближенным к самому повелителю, а есаул никак не может найти и словить какого-то бродягу. Это ли не позор? Это ли не обманутое доверие?

Шакал ушел от шейха в печали и тревоге.

Та ночь была безлунно-темной. Шакал хлестал коня, словно вымещая на животном свою обиду, — несправедлив шейх, несправедлив!

Он ведь старается, он очень старается, а Каландара поймать вовсе не просто.

Шакал снова стегнул коня, но тут же и придержал его: у странноприимного дома он услышал знакомое пение дервишей. Что-то шевельнулось в его душе. Есаул! Почести! Выгоды! Все это суета сует.

Шакалу захотелось вдруг зайти в ханаку, вдохнуть раздражающе приятный дурманый запах гармалы, посидеть вместе с теми, кто оставил суетные заботы мира сего. Не лучше ли, пусть и в рубище, в лохмотьях, быть душевно спокойным, влиться в толпу дервишей, покуривать анашу, творить хвалу всевышнему? Тяжелый камень невыполненных обещаний, упреков, загадка исчезновения Каландара — все это свалится с души, и поминай как звали!

Он зашел в ханаку.

В полутемном помещении под сводчатым потолком одни плясали в самозабвении, другие молчаливо застыли за кальянами, третьи, роясь в лохмотьях, пересчитывали собранные за день монеты. «Сколько пришлось им стучать в двери людские», — почти с умилением подумал Шакал.

Его заметили. И что тут поднялось! Кто стал бранить Шакала — он, мол, еретик, нечестивец, покинул дорогу богоугодную; кто в восторге, смеясь, гладил его воинский шлем, его кольчугу, хватался за прочное и недешевое сукно одежды; иные же искренне радовались его приходу, быстро сунули ему в руки чилим, пригласили отведать благовонной анаши. То ли анаша была очень крепка, то ли Шакал уже немножко отвык от нее, но после двух-трех затяжек перед глазами его поплыл туман, туман, туман, и все тревожнения улетучились, и все заботы, и все переживания, и словно иной мир принял его в свои объятия.

Эх, какая была у него жизнь раньше! Шакал надел чей-то старый треух, выпил пиалу кукнары — вот это зелье! — и пустился в пляс, священный танец дервишей, что именуется зикром... А потом снизошло на него исцеляющее размышление, он вспомнил свою полную страданий и унижений жизнь и нашел, что такой она осталась и во дворце, и подстегнутый хмельным зельем, дымом анаши, одурманенный, он долго плакал над своей обидно бедной радостями жизнью, плакал, пока не заснул в каком-то темном углу.

Сколько он проспал, Шакал не помнил. Не сразу сообразил, пробудившись, где это он. В помещении горела только одна коптилка; накидав на себя всякого тряпья, прижавшись друг к другу, дервиши спали на циновках, брошенных кое-как на земляной пол. Шакал отыскал саблю, шлем и кольчугу. Вышел на воздух. Стояла полночь. Он определил это по созвездию Плеяд — хоть и не знал того названия их, которые знал Улугбек, — прямо над головой, будто пригоршня горячих



углей, светили Плеяды. Хорошо, что конь послушно стоял неподалеку, привязанный к какой-то жердине, ждал, перебирая ногами от холода.

Дорога от «Мазари шериф» до Кок-сарая шла мимо оголенных садов, прежде чем сворачивала в узкие улицы квартала ремесленников, а потом и приземистых торговых рядов. Глухие места проезжал ночью Шакал. Пустынны были сады и виноградники; пустынна базарная площадь; вымерли торговые ряды. Вдоль речушки располагались кузнечные, плотничьи, столярные мастерские. Ни звука и тут. Почему-то стало страшно. Шакал хлестнул коня. Миновал последнюю лавку кузнечного ряда и столкнулся с тремя всадниками! Ночные стражи? Шакал так и подумал сначала, и подался влево, давая им дорогу. Но всадники приблизились, придержали коней рядом с его конем. Засада? Шакал поднял своего скакуна на дыбы, хотел повернуть назад, но тут его ударили! Он продолжал натягивать поводья, руки у него были заняты, и один из всадников беспрепятственно накинуд ему на голову просторный шерстяной мешок, тут же дернув веревку, стянул горловину. Шакал только и успел, выпустив поводья, схватиться за рукоятку сабли, но руку перехватили, заломили за спину.

Все остальное сохранилось в памяти так, как, бывает, застревает в ней зловещий сон. Так бывает еще и от курения анаши: замутненные картины следуют одна за другой.

Проскакав фарсанга два, его стянули на землю, втащили в какую-то пещеру или могилу; вокруг плотным кольцом стали люди то ли с темными лицами, такими, что не разобрать было этих лиц, то ли просто на них были надеты маски. По голосу одного из похитителей Шакал узнал — «вайдо!» — Каландара Карнаки.

С большим трудом понял Шакал, чего от него хотели эти люди в масках. Что-то про ученых мужей спрашивал Каландар, говорил, что надо их выволить из зиндана, а если нельзя выволить, то хоть облегчить участь.

Шакал тут мало что мог сделать. Судьбы узников каменных подвалов в руках зиндан-беги, надзирателя темницы, и подчинен этот начальник самому повелителю, только ему! Но к нему, к есаулу, все обращали и обращали призывы и вопросы, сулили богатства, и тут вспомнил Шакал про эмира Джандара. И, вспомнив, искренне, хотя торопливо и сбивчиво, заговорил о том, что да, он постарается помочь людям, заинтересованным в этом деле, сделает все, что в его силах. Только — и тут он снова представил в мыслях своих эмира Джандара, — только нужно золото, много золота!

И тогда человек в маске, похожий на Каландара, ну да, сам Каландар, присел к полураспластанному на земле пленнику и сказал, прямо глядя на него, что ради спасения ученых мужей не пожалеют золота! Сказал так твердо, что Шакал сразу поверил. Каландар сунул ему в руки Коран и потребовал на

святой книге поклясться, что тайного умысла Шакал никому не выдаст, что будет отныне их человеком. Чьим, этого Шакал не понял. Понял одно — не султана Абдул-Латифа.

«В награду же,— услышал он дальше,— ты получишь жизнь и... золото».

Ему вновь надели мешок на голову, вновь связали за спиной руки, вновь потащили куда-то.

Шакала оставили в зарослях тугая на берегу Зеравшана, в этом он убедился после того, как похитители развязали ему руки, освободили от мешка и ускакали прочь.

Они ничего не взяли у него: ни коня, ни сабли, ни шлема.

Шакал взобрался в седло, все еще не веря в спасение, огляделся вокруг. Рассвет был близок. Уже можно было увидеть очертания горы Кухак, где Каландар назначил ему следующую встречу.

Несколько дней после этого происшествия есаул ходил сам не свой. То он собирался пойти к шейху и, пав к ногам его, рассказать все, как было. Но вспоминал пещеру, похожую на могильный склеп, людей, окруживших его кольцом, себя внутри этого кольца, жалкого, словно раздавленного наполовину, вспомнил Каландара, клятву свою на Коране, мешок, брошенный на голову. «Если нас предашь, запомни — никуда не уйдешь от расплаты. На небо полезешь, и оттуда стащим тебя. За ноги!» Эти стащат.

То овладевала им решимость и вправду помочь Каландару и людям, заинтересованным в освобождении ученых. И незаметно Шакал расспрашивал о том, что имело отношение к их «делу». Вскоре убедился он, что без эмира Джандара нельзя даже войти в подвал, где томились мавляна Али Кушчи и мавляна Мухиддин. Эмиру Джандару туда открыт доступ как приближенному к повелителю лицу. Стало быть, можно было с ним вместе...

Исподтишка присматриваясь, Шакал понял, что эмир обеспокоен чем-то, недоволен. Быстро сообразил чем: ждал многого от наследника — дождался малого от нового султана. И Шакал решил.

Вот только случая не мог выбрать подходящего, чтобы закинуть удочку для нужного разговора.

Нашел было сегодня случай, да неудачно что-то получилось: эмир проявил настороженность, не раскрыл сердца...

И снова при взгляде на массивного всадника, ехавшего впереди, у Шакала засосало под ложечкой: не оказаться бы по милости эмира одним из узников того самого зиндана, откуда они с Каландаром взяли вызволить ученых мужей. Бросят туда его, бедного есаула, на съедение клопам, или еще хуже — отсекут голову, как это сделал со своим отцом, с самим султаном Улугбеком, сын его, нынешний повелитель. И аллаха не боялся!

Мирза Абдул-Латиф лежал на боку, подперев рукою голову. Шелковые одеяла нежили теплом. Голова приятно кружилась от выпитого вина. Глаза все чаще обращались к выходу из этой залы, что несколькими коридорами была связана прямо с гаремом.

Горка шашлыка, приготовленного из перепелов, хрустальный китайский графин, наполовину наполненный золотистым вином, стояли перед Абдул-Латифом на хантахте.

Эмир Джандар, войдя в залу, сразу обратил внимание, что свеч зажжено мало, зала погружена в полумрак, и может быть, из-за этого, а может, из-за позы, в которой лежал шах-заде, ощутил какое-то смутное беспокойство. Он сложил руки на груди, хотел опуститься на колени у порога, но шах-заде поманил к себе. Эмир подошел, выдержал взгляд красных от бессонницы и вина глаз повелителя, услышал обычный его первый вопрос, будто не расстались они лишь несколько часов назад:

— Ну, эмир, что нового? Какие вести принес из столицы?

Эмир Джандар отвел глаза от колючего взгляда шах-заде.

— Благодарение аллаху — все спокойно, благодетель.

— Если... все спокойно, то... почему же глаза от меня прячешь?

Надо было улыбнуться, и эмир Джандар выдавил из себя улыбку.

— Мои глаза не выдерживают сияния лица повелителя...

— Лиса! — засмеялся Абдул-Латиф. — Умеешь льстить, умеешь... Только знай, эмир, — шах-заде улыбался хмельно, малоосмысленно, — знай только... я насквозь тебя вижу... все, что у тебя в душе, вижу. И что в твоём сердце, какие там... цели, тоже вижу.

— Нет в моем сердце иных целей, чем умножать вашу славу. Чтоб правление ваше было все лучезарнее и лучезар...

— Хватит!.. — Шах-заде не дождался конца славословящей фразы. — Я устал... эмир... Устал от государственных забот. И душа моя, эмир, жаждет забот... иных. Как говорят поэты, жажду вдохнуть аромат розы!

Шах-заде вытащил из-под подушки золоченую трещотку, взмахнул ею. На призывный стук тотчас явился темнолицый сарайбон.

— Передай главной госпоже гарема, пусть придет сюда!

И, когда сарайбон исчез за дверьми, обратился к Султану Джандару:

— Я слышен про одну розу, эмир. Слава ее велика... И моя душа захотела вдохнуть аромат этой розы.

Твои глаза, моя газель, мне душу опаляют.  
Твои уста, как два цветка, рубинами сверкают.

А? Каковы стихи, эмир? Твой повелитель понимает толк в сложении стихов... Да ты пей, эмир!

— Стихи превосходные, благодетель.— Эмир единым духом осушил чашу.

Вино не принесло успокоения, не освободило от предчувствия чего-то дурного, что должно было случиться.

В каком цветнике растет эта роза, чей аромат хотел бы... вдохнуть лучезарный султан?

В покой вошла госпожа гарема. На лице, как полагается, прозрачный кисейный платок голубого цвета. На загнутых носках отороченных золотым шитьем каблушек красовалось по жемчужине. Руки на пышной груди. Нежно прозвенели в поклоне украшения. Хмельной взгляд шах-заде задержался не без удовольствия на ее пышных бедрах, ясно обозначавшихся сквозь тонкий шелк шаровар.

— Описание той розы пусть нам даст госпожа гарема. Проходите, ханум, присядьте к нам.

Движения этой женщины при всей ее полноте были бесшумны и изящны. Она не подошла, подплыла к сидящим мужчинам, присела перед шах-заде почтительно и в то же время готовно, столь же игриво-почтительно приняла пиалу, что протянул ей, улыбаясь, Абдул-Латиф, а другой рукой проворно, так что перстни блеснули на пальцах, откинула кисею с лица. Как положено, чуть пригубила, выгнув шею, напружинив стан,— вся почтительность и вся истома, что читалось в глазах, устремленных на повелителя.

Эмир Джандар украдкой — но неотрывно — глядел на ее налитую, словно спелое яблоко, фигуру, на жаркую полноту рук, угадываемую за легкими рукавами, обнажившихся, когда красавица брала пиалу, на ее манящие груди, высоко вздымавшиеся под сукном красного мурсака; эмир облизнул вмиг ставшие сухими губы, проглотил комок в горле.

Шах-заде усмехнулся, заметив волнение эмира.

— Ханум, опишите-ка нам ту, розоликую...

Госпожа гарема свела тонко изогнутые брови, меж которых устроилась темно-синяя, искусно посаженная родинка.

— Эмиру, может, и не пришлось видеть ее, но слышать о ней он уж наверняка слышал. Я говорю о той, что шах-заде Абдул-Азиз отобрал у сына Ибрагимбека.

Вот оно что! Эмир быстро взглянул на шах-заде, в мыслях пронеслось: «Что еще придумал этот изверг?! Мир полон нераскрывшихся бутонов, а он хочет цветок не первой свежести. Нездоровая страсть? Нет! Это месть! Месть брату, которого... уже нет в живых! О, ужас!»

У шах-заде при упоминании имени Абдул-Азиза улыбка исчезла, будто соскочила с лица.

— Ну, что же ты молчишь, эмир?

— Мне... приходилось слышать об этой розоликой, повелитель... Но...

— Что?

Эмир вытер со лба капли пота, искоса посмотрел на госпожу гарема. Шах-заде понял этот взгляд как просьбу говорить наедине, сделал женщине знак выйти. Та неохотно направилась к дверям.

Шах-заде нетерпеливо спросил:

— Так что ты хочешь сказать, говори!

— Благодетель! Эта роза побывала в чужих руках, и не в одних... Не просто так ведь сидела она в гареме шах-заде Абдул-Азиза.

Услышав снова имя ненавистного брата, Абдул-Латиф рывком поднялся с одеял, отбросил прочь пуховые подушки. Вмиг побледнев, проговорил, кривя губы:

— Вот я и... хочу попробовать... что за роза знаменитая свела с ума этого ублюдка, чтоб он в могиле перевернулся, любимчик султана-вероотступника!

Эмир попробовал незаметно отодвинуться, но взгляд собеседника будто пригвоздил его к месту.

— Ну, что замолчал, эмир? Говори дальше!

— Да, да, вы правы, благодетель,— пролепетал эмир Джандар что-то совсем несуразное. Приходя в себя, добавил уже осмысленно: — Ваше желание закон, и да сбудется оно!

Вдруг счастливая мысль, словно луч, вспыхнула в голове:

— Только... только ведь роза эта, повелитель, из цветника мавляны Мухиддина, она оттуда... Взять в гарем дочь того, кто заточен, удобно ли это для султана султанов?

На лбу шах-заде собрались морщины, тонкие усы нервно дрогнули.

— А как там мавляна Али Кушчи? Не признался?

— Признается тот, кто боится аллаха, а этот нечестивец упрямый...

— Ну, вот что! — Абдул-Латиф снова упал на подушки, вытянул перед собой кулаки.— Не признался, так пусть и сгниет в зиндане! А мавляна Мухиддин... отпусти-ка его из зиндана, эмир!

Сказав это, шах-заде взял со столика пиалу, доверху наполнил ее вином из графина; протягивая пиалу эмиру, подмигнул.

— Только тебя одного, эмир, потчую из рук своих. Помни об этой чести.

— Благодарю вас, благодетель мой. И пусть всевышний щедро осыплет вас милостями своими, аминь!

— Аминь... Так когда же приведешь к нам ту розоликую?

Султан Джандар с трудом улыбнулся, поборол острый гнев, что впился когтями в сердце.

— Позвольте дать совет, повелитель... Надо неделю подождать, пока семья успокоится. Салахиддин-заргар очень влиятельный человек среди торгового люда, и к тому же ему благоволят светлейший шейх Низамиддин Хомуш... Следовало бы,

благодетель, постараться не задеть чести старого ювелира, послать вельмож.

— Ну что ж, ты сам и пойдешь, эмир! — Шах-заде пьяновато рассмеялся. — Уж выпроси мне ее, ха-ха-ха!.. Только смотри, будешь пялить на красавицу глаза, выколю их тебе, ха-ха-ха...

«У шайтана и шутки шайтаньи! — подумал эмир Джандар, и эта мысль не оставляла его ни в то короткое время, которое он провел тогда с совсем уже хмельным шах-заде, ни когда покидал покои властелина. — Вот, вот чего я добился, отпав от султана Улугбека, — одни несчастья, одни неудачи... Породнился, называется, поправил свои дела... Последняя надежда, а он, «благодетель», эту надежду как фарфоровую чашку о камень!.. Что же мне делать? С кем посоветоваться?.. Да, а что это за верные люди, о которых болтал косоглазый дьявол давеча? Не воины ли Бобо Хусейна Бахадыра? Про них ведь ходят какие-то слухи по городу...»

В одном из помещений дворца эмир натолкнулся на бодрствующего сарайбона: голубые глаза балхца смотрели на Султана Джандара удивленно и несколько недоверчиво.

— Где тут косой Шакал? Его ищу...

— Шакал?

— Косоглазый есаул! — Султан Джандар прижмурил один глаз, пальцем повел веко на сторону.

— А... он во дворе, со стражей.

— Ладно, я сам его найду!

И, с трудом умеряя чувство нетерпения, Султан Джандар тяжело шагнул к выходу.

## 15

— Снова за свое, мавляна, снова жалобы? Уже три месяца вы льете слезы — и какую пользу от этого получили? — Али Кушчи стоял в привычной позе: руки на груди, держится прямо, не опирается, только слегка прислоняется к холодной каменной стене.

Из темного угла послышался слабый, плачущий голос:

— Польза?.. Была бы польза, если бы вы согласились со мной...

— Сожалею, но согласиться не могу.

— Это не что иное, как упрямство, мавляна. Из-за гордыни, из-за упрямства погибнете здесь — и себя погубите и меня, слабого, сраженного недугом друга своего.

Этот тонкий голос, полный мольбы и жалобы, будто тупой нож, которым тебе ковыряют, ковыряют грудь... Али Кушчи поднял руки, прикрыл уши... Вот уже больше двух месяцев так: стенания и упреки, упреки и стенания.

От них Али Кушчи страдал едва ли не больше, чем от голода и холода, от гнилого запаха сырости, от клопов и блох,

чьи нашествия вызывали невыносимый зуд во всем теле, постоянный, не уменьшавшийся.

В первый день он сам расчувствовался, прослезился, потом несколько дней подряд успокаивал мавляну Мухиддина, словно малого ребенка.

Кто знает, что стало бы с мавляной Мухиддином без Али Кушчи, который ухаживал за больным, успокаивал его, поддерживал в нем ясное сознание. И не только словом действовал — большую часть еды своей отдавал ему, ночами укрывал собственным чекменем, а сам, дрожа от холода, все мерил и мерил шагами узкую темницу, до самого рассвета ходил, до пробуждения Мухиддина.

В одну из таких бессонных ночей Али Кушчи осенила одна счастливая мысль.

Уже несколько лет Али Кушчи был занят большой книгой. Он намеревался осветить в ней самые сложные вопросы астрономии. Первую часть успел закончить при Улугбеке — то было, по существу, лишь вступление к дальнейшему. Книгу он назвал «Рисолаи дар фалакият», что в переводе с фарси означает «Трактат о небесных телах», а первая часть подробно излагала весьма важные для астрономии геометрические понятия: точка, прямая, ломаная, плоскость, параллельные линии и плоскости, наконец, учение о круге и прочих криволинейных замкнутых фигурах. Без этого нельзя было переходить к движению небесных тел... Не успел перейти ко второй части Али Кушчи.

Так надо закончить ее здесь, в зиндане!

Вечерами и в начале ночи, когда мавляна Мухиддин впадал в дрему, Али Кушчи, вышагивая по узкой темнице, заставлял себя думать, рассчитывать, оттачивать выводы. Без бумаги, без чертежных инструментов было трудно, очень трудно. Представить в воображении прямые и ломаные линии орбиты, плоскости вращения — одно, а вычислять, точно устанавливать их связи — совсем другое.

Как бы ни сложна, ни изнурительна была такая работа, — Али Кушчи сразу и не без радости понял, — она успокаивает душу, уводит от мрачных мыслей. Порою он, занятый законами неба, совсем забывал, где находится. Все печали рассеивались, все заботы о себе и даже — неутрачивающая рана сердца! — думы о матери отодвигались куда-то далеко, далеко...

Вот и сегодня, стоило только мавляне Мухиддину заснуть, Али Кушчи позабыл обо всем, кроме одного трудного вопроса: как и почему воздействует расположение планет на смену времен года, от которых так много зависит в нашей человеческой жизни. Но Мухиддин почему-то проснулся и снова принялся стенать. Али Кушчи был особенно раздражен тем, что ему помешали в ответственный миг размышлений. «Жалкий человек, — подумал он, — а еще считается ученым! Какой же ты ученый, если не стремишься узнавать новое и во имя этого не

можешь проявить терпения?.. А ведь недавно мавляна Мухиддин блистал умом, и заслуженно, особенно в математике...»

Али Кушчи воззвал к аллаху — пусть падут на голову любые беды, но только не такая вот жалкая слабость, из-за которой я перестану быть ученым!

Опять послышался из угла жалобный голос:

— О мавляна, мавляна! Какая же и кому польза от вашей непреклонности, от вашего упрямства? Кому, кому нужны теперь наши книги, эти еретические книги?..

Словно пощечину дали Али Кушчи.

— Что вы сказали? Еретические книги? Где ваша совесть, сподвижник мой, как позволила она вам произнести такое?!

— Не говорите, не говорите о совести!.. Не напиши мы противных шариату книг, разве уготовил бы нам всевышний эти муки? За свои грехи расплачиваемся, мавляна!

— Да, конечно,— усмехнулся Али Кушчи,— если аллах захочет, то сегодня же и освободит нас от этих мук!

— Истинно так, истинно... Если не будем противиться больше шах-заде и покаемся, в грехах наших покаемся!

— Где логика в том, что вы говорите, дорогой мой? Ну, допустим, я, ваш покорный слуга, спрятал, спрятал крамольные книги, чем свершил, как утверждает надменный шейх, грех против шариата. Я свершил грех — я и несу наказание. А вы?.. Ведь вы отвернулись от устода, не придали значения его завещанию, мало того, вы раскрыли тайну этого его поручения и тайну исчезновения книг из обсерватории. Так?.. Так... Тогда почему же и вы подвергаетесь наказанию, за что?

— Ваш покорный слуга, видно, и в аду будет гореть из-за вас... из-за в а ш е г о греха?

— Нет! — выкрикнул Али Кушчи, задыхаясь.— Нет! Не из-за моего, из-за собственных! Вы попрали волю устода Улугбека, предводителя ученых! Нет... не перебивайте меня, мавляна! Не сокрытие книг, перлов ума человеческого, от невежд и фанатиков есть грех... а, напротив, уничтожение разума — вот величайший грех!

— Кто собирается уничтожать книги?

— Кто? Вы не знаете кто?.. Для чего же эти книги, жемчужины светлого разума, обзывают еретическими, нечестивыми? Как поступают у нас с нечестивыми, мавляна? Их у б и в а ю т...— Али Кушчи тяжело, с шумом вздохнул.— Бедный устод! В каком несчастном веке он родился! Один был светильник под небом Мавераннахра...

— Светильник! Ангела вы сделали из него...

— Нет! Он не был ангелом. Он был правителем, властелином. И жестоким, и несправедливым бывал... Но все познается в сравнении, мавляна! И по сравнению с этим фанатиком он и впрямь светильник!..

Минуту стояла тишина. Потом снова из темного угла за-сочился ручеек стенаний и жалоб.



— Верность учителю, верность учителю... Во имя этой верности вы не щадите себя. Хорошо. Похвально. Меня не пожалели во имя все той же верности. Хорошо! Сердобольно. Но пожалели бы хоть свою старую мать! Каково-то ей сейчас!

Али Кушчи ничего не ответил: мавляна Мухиддин ударил по самому больному месту.

С того дня, как нукеры увели его в зиндан, он ни на минуту не забывал о матери, и все время в сознании жила и мучила картина: упавшая на каменный порог в ужасе, мольбе старая женщина, вскормившая его. Иногда видение это было особенно отчетливым, и Али Кушчи терзался особенно сильно.

Али Кушчи замолчал надолго. Заныло сердце, прижав руку к груди, он присел у стены, оперся спиной о нее.

Вспомнилось безмятежное детство. Лето, поездки на крытой арбе, когда мальчиком выезжал он вместе с отцом и матерью собирать дыни. Поручая урожай Али любил больше всех других.

Али Кушчи был уже взрослым парнем, настоящим джигитом, отличался удалью и на скачках, и в козлодранье, и в лихой игре с мячом — човган, а мать все опекала сына, не отходила от него и, бывало, с криком «осторожней, верблюжонок» бросалась прямо в гущу скачущих джигитов, рискуя быть сбитой с ног и раздавленной горячими конями. Али Кушчи стыдился перед товарищами, что мать так опекает его, всякий раз уговаривал, просил ее не поступать так, будто он малое дитя, даже ссорился с ней, но толку от всего этого не было, и, глядишь, следующая игра, а мать тут как тут, и опять — «осторожней, мой верблюжонок», и опять бежит она за их лихой юношеской ватагой...

Тягучий голос мавляны Мухиддина прервал нить воспоминаний:

— Вижу, причинил боль душе вашей, мавляна. Простите меня великодушно.

Снаружи послышались чьи-то шаги. Зазвенели тяжелые запоры. Из темного угла донесся шепот Мухиддина:

— Будь защитником раба своего, создатель!

Низкая и узкая железная дверь приоткрылась. Надсмотрщик и за ним двое воинов вошли в темницу. Нет, то были не простые воины — в слабом свете свечи, что держал надсмотрщик, можно было различить лица Султана Джандара и косоглазого есаула. Последний взял свечу из рук надсмотрщика, поднял ее повыше.

— Эй, мавляна Мухиддин! Где вы тут?

Ни слова в ответ.

— Онемел, мавляна? — громче и грубей спросил есаул. — Очнись, милостью повелителя нашего ты освобожден! Поднимайся!

— Что? Что вы сказали мне? — Мавляна Мухиддин закопошился в своем углу, все еще не показываясь в кругу света, исходящего свечой. — Освобожден? Я?.. Да, да, сейчас,

сейчас я...— И что-то все искал в темном углу, бормоча себе под нос бессвязное.

— Давай мавляна, выметайся из зиндана! — весело закричал косоглазый. Повернулся к Али Кушчи. Тот вжался в стену, бледный, немой. Есаул окинул его взглядом снизу вверх, казалось услышав, как молится, молится в душе мавляна о милосердии, о милости всевышнего, и не проронил ни слова. Только повел как-то странно глазами, будто намекая на то, что рядом, мол, Султан Джандар, ослабился и повернул к выходу.

«Значит, мне ничего... значит, мне оставаться тут, в этой холодной могиле!»

Дверь скрипнула. Грохнули запоры. Бледный лучик из-под двери быстро исчез; вскоре стих и шум уходивших по коридору людей.

В изнеможении Али Кушчи упал на циновку.

Неужели прав мавляна Мухиддин и небо карает его, Али Кушчи, за непреклонность, за гордыню?

Но тотчас же он прогнал эту мысль. Можно наказать того, кто остался верен велению долга и совести, но можно ли, справедливо ли одарить милостью другого, кто предал, кто отступился, кто впал в низость неблагодарности?

Али Кушчи прижал лоб к бугристо-неровной поверхности стены, отчаянно, уговаривая себя, зашептал:

— Терпение, Али, терпение!.. Чему быть, того не миновать... Что судьбой предначертано, то и очи увидят! Так говорят в народе. Терпение, Али, терпение!

## 16

Хуршида проснулась на рассвете; во дворе слышались громкие голоса, топот людей, словно нарочно бегавших с целью произвести побольше шума. Постель старой кормилицы пуста.

Скорее наружу!

Со двора видны были освещенные окна мехманханы, и тени обнимающихся людей четко рисовались на занавесках. «Отец вернулся!» И Хуршида, забыв, что едва одета и что в комнате для гостей полно мужчин, молнией кинулась туда.

Отец... это был точно — отец. И в то же время человек, непохожий на отца — заросший волосами, глаза ввалились, худой, как щепка.

Старик, да, да, отец стал стариком!.. И всхлипывал, всхлипывал, как малый ребенок, нет, как старик, из тех, о ком говорят, что он от старости уже умом тронулся.

Хуршида, заплакав навзрыд, бросилась к отцу, прижалась лицом к его груди.

Дом Салахиддина-заргара мигом превратился в обитель и слез и радости, тем более ликующей, чем быстрее высыхали слезы. Уже в саду резали и свеживали барана; уже повара,

засучив рукава, готовились к своим приятным делам и заботам — нет торжества без хорошего шашлыка и доброго плова! Уже первый сосед, прослышав о возвращении мавляны Мухиддина и о прощении его повелителем, направил стопы свои к богатому дому, прокладывая путь и для других поздравителей, что приходили в течение всего дня,— соседи, знакомые, родственники близкие, родственники дальние, купцы-лавочники и оптовые торговцы, ремесленники и люди духовного звания, даже иные поэты и бывшие талибы. Не было им конца, как и любопытству их!

Отец выбрил голову, подправил бороду и усы, накрутил пышную чалму, белизна которой, правда, особенно подчеркивала бледность его исхудалого лица. В златотканом халате сидел в саям-хане, принимал поздравления, словно больной после выздоровления.

А дед, тот сразу же, как сын вернулся, стан распрямил, и недоуменно-обиженную мину с лица согнал, и походку вновь приобрел прежнюю — степенную, надменную, в чем могли убедиться все приходившие к нему в дом, ибо с каждым он беседовал лично, каждого лично провожал до ворот — ну, разумеется, если гость был хоть сколько-нибудь влиятельным, но ведь только такие и считались здесь гостями. Каждому хаджи Салахиддин сообщал, что сын его не просто прощен, но, очевидно, и п р и б л и ж е н. И радостно за деда и почему-то тревожно за отца, за себя становилось Хуршиде-бану, когда доводилось ей видеть и слышать все это. И слова Каландара, безжалостные по отношению к отцу, вспоминались ей. И все чаще думала она, лишь схлынула первая радость, об Али Кушчи: «Вышел ли и он из темницы? Неужели нет?.. Но тогда почему отец на свободе, за что его выпустили?» Нет, нет, отец не такой, как о нем говорил Каландар!.. Если бы прав был тот, кого она по-прежнему любит, если б он был прав, то не лежал бы отец целых три месяца на вонючей подстилке в зиндане, терпя такие страдания, что из-за них не узнать его!

Расспросить бы самого отца, сбросить бы груз с души! Но все новые и новые гости шли к ним в дом. И каждого прими, каждому удели время.

Нынче, правда, народу поубавилось. В доме несколько потухло. К вечеру, однако, прибыли опять важные гости, похоже, из придворных.

И вокруг этих трех-четырех вельмож забегали, засуетились хозяйка, многочисленная челядь. Наконец гости ушли, все стихло, даже, как показалось Хуршиде, зловеще тихо стало. Сам Салахиддин-заргар надел соболью шубу с суконным верхом и, несмотря на сильный ветер, дождь и мокрый снег, отправился куда-то, велел слугам крепко запереть ворота и ложиться спать, не дожидаясь его.

В комнату Хуршиды-бану пришла няня, заплаканная почему-то, напуганно-молчаливая. Пришла и сразу улеглась в постель.

Хуршида чувствовала: опять что-то случилось, какая-то новая беда пала на голову... Чью? Отца? Или дедушки?... Или она коснулась ее самой, почему бы иначе не сказать о беде и ей, Хуршиде? Почему от нее что-то скрывают?

Она поколебалась и нерешительно направилась к отцу, зная, что тот не спит — окна большой комнаты по-прежнему были освещены.

Отец, нахохлившись под теплым чекменем, накинутом поверх другой одежды, сидел, перелистывая большую книгу в желтом сафьяновом переплете. Углубился, видно, в чтение, потому что сначала не заметил дочери. Хуршида тихо подошла, садясь на маленькую низкую скамейку перед ним, колыхнула подолом платья пламя свечей в серебряном подсвечнике, и отец испуганно вскинул голову.

— О, это ты? Садись, садись, дочка.

Лицо его было бледным, бело-серым. Большие глаза, хотя и светились лаской, в глубине, где-то на самом дне, таили страх.

Теплый комок слез подступил к горлу Хуршиды-бану.

— Ой, как вы исстрадались, отец, сколько муки натерпелись!

Мавляна Мухиддин поправил бархатную тюбетейку. Как всегда, тихо сказал:

— Поблагодарим справедливого и всемилостивого... Я вернулся к тебе живой и невредимый...

— Да, тысячу благодарений аллаху за то, что вы избавились от тяжелой беды,— прошептала Хуршида и смолкла. Ей было очень жалко отца, но и про слова Каландара она помнила. Желая забыть их, помнила и ничего не могла поделать с собой. Ей хотелось убедиться в том, что слова неверны, несправедливы, но для этого надо было спросить отца кое о чем, а спросить она не решалась... А спросить было н а д о!

— Отец,— голос Хуршиды задрожал,— отец, вы один находились в страшном подземелье?

Закрыв глаза, мавляна Мухиддин отрицательно покачал головой.

— Нет, доченька, вместе с мавляной Али Кушчи... ты ведь знаешь его...

Хуршида побледнела, изменилась в лице.

— А мавляна Али Кушчи... этот досточтимый ученый, тоже вышел на волю?

— Увы, дитя мое, этого не случилось... он все еще там, в зиндане...

— Отчего же, отец?

Мавляна Мухиддин еще сильнее съежился под чекменем, словно за ворот рубашки ему бросили кусок льда. Почему она спросила его об этом? И так горячо!

Дочь опять уловила мелькнувшее в глазах отца выражение испуга, но не одного испуга — еще и настороженности.

— Видно, так было угодно богу, дитя мое,— произнес мавляна наконец и отвернулся. Увядшее серо-белое лицо его чуть-чуть порозовело.

«Все правда, все правда! — металась мысль Хуршиды.— Каландар сказал мне правду!»

Будто смерч сдвинул и перемешал чувства в ее душе.

— Ему там очень плохо, отец?

По-прежнему не глядя на дочь, мавляна Мухиддин кивнул головой — теперь утвердительно.

— Очень... очень плохо... Очень тяжело, доченька.

— За что же мучают его?.. Почему не выпустят из зиндана?

Лицо мавляны Мухиддина вновь приобрело бело-серый оттенок, и черты его отвердели, заострились, словно сделанные из алебаstra.

— Виноват он сам... сам мавляна, дочь моя!.. Он слишком упрям. А в такое-то время...— отец опасливо покосился на темное окно, понизил голос,— в такое время нельзя упрямиться... На престоле Мирза Абдул-Латиф. Нельзя, никак нельзя упрямиться...

— Отец, я слышала недавно...— Хуршида на миг замолчала, заметив, как вдруг холодно и отчужденно стало лицо отца: глаза прищурились, губы плотно сомкнулись.

Хуршида опустила взгляд, но продолжала:

— Слышала недавно... говорят, что мавляна Али Кушчи... спрятал множество редкостных книг из библиотеки нашего благодетеля, покойного повелителя Мирзы Улугбека...

— От кого ты это слышала?!

Дочь продолжала рассматривать узоры ковра на полу. Не от замешательства, нет, а от нежелания ответить отцу.

«Все правда, все...— думала Хуршида.— Мавляна Али Кушчи сидит в зиндане из-за книг и... из-за отца».

— Я спросил, откуда ты услышала про книги?

— Многие говорят...

— Кто они, эти твои «многие»?

— Кто-то из соседей... из подруг, с кем я училась когда-то...

«Для этого я ее учил? Не послушался добрых людей. И вот тебе, выучил! Слишком умна стала. Ученая! Выучил на свою бедную голову!»

— Подруги! С кем училась когда-то? — Мавляна Мухиддин возвысил голос.— Мирза Улугбек, которого ты назвала нашим благодетелем, был гордец, не признавал святого шариата. Он сбил с истинного пути немало женщин, внушил им, что получать знание есть долг... якобы долг и мусульман и мусульманок. А это грех! Тяжкий грех! Понятно?

«Грех? А как же такой мудрый и занимательный, как сказка, трактат повелителя, который я прочла, а потом любовно переписала? То была история Мавераннахра. И поручил переписать эту историю отец! Тогда это был не грех?»

Хуршида вдруг расплакалась.

— Отец! Что с вами стало, отец?!

Она закрыла ладонями лицо, соленые капли просачивались сквозь тонкие пальцы, украшенные перстнями, скатывались с уголков губ, задерживались на округлом подбородке...

«Оплошал! Не гладко вышло... не надо было хулить ни Мирзу Улугбека, ни Али Кушчи... Она ведь помнит, как я отзывался о них раньше... Неужели теперь не только Али, но и любимое дитя мое станет презирать меня?»

Мавляна подумал с горечью: кто же теперь искренне пожалеет его, извинит ему слабость?

Мысль о собственном одиночестве так растрогала мавляну, что он и сам прослезился.

— Полно, доченька, полно, не напоминай мне про страшные мои дни! Да не пошлет аллах никому из смертных такие муки, что я изведаль... Что ж делать, доченька? Судьба моего друга мавляны Али Кушчи не в моих руках. Твой отец слабый и больной человек...

Но чуткий с детских лет мавляна Мухиддин знал сейчас, что ни слова, ни слезы его не трогают сердца дочери. Ему было и стыдно, и горько, и боязно — все вместе. Он хотел поговорить с дочерью подтверже и не смел поднять голову: он-то знал то, чего еще не знала Хуршида! Сегодня поздние вечерние гости сообщили ему о желании шах-заде иметь в своем гареме новую розу и о том, что эта честь выпала на долю его дочери. Ее надлежало приготовить к этой вести, но он не мог сразу приступить к такому щепетильному делу. Уж если отец, Салахиддин-заргар, не смог, ушел куда-то на ночь глядя за советом, то ему и подавно не просто будет сказать Хуршиде о «чести», выпавшей на ее долю.

Опять Кок-сарай, опять гарем... сначала Абдул-Азиза, теперь Мирзы Абдул-Латифа, «милостивого повелителя»!

Мавляна Мухиддин не смел послушаться, стал сам себя убеждать, что ему истинно оказывают честь.

Потому и испугался мавляна, когда пришла к нему дочь, — не был готов передать ей новость. А уж теперь и совсем непонятно, как подойти к нужному разговору, чем залить пламя негодования, которое, он предвидел, охватит Хуршиду-бану.

— Не о том мы говорим сегодня, доченька... не о том... Прости меня, но сам повелитель пожелал... Тебе об этом скажет кормилица, иди к ней, иди... И прости меня...

Смерч вдруг улегся в душе Хуршиды-бану. Осталась опустошенная, голая земля. Она еще не знала, какая беда пала на нее, но при виде отца, так круто повернувшего разговор, беспомощно плакавшего в платок, подносимый к глазам и носу, поняла, что беда огромна.

Шатаясь, она вышла под остервенелый ветер, под дождь и снег. Скрипели, безнадежно стонали старые деревья в саду. Двор был пуст. Лишь от ворот невнятные долетали голоса сторожей.

Она пошла на эти голоса, не зная зачем, не чувствуя холодной влаги, струившейся по одежде и телу, и вдруг страшная догадка пронзила ее всю, и, чтоб не упасть тут же, она схватилась за подпорку для виноградных лоз.

«Прости меня, но сам повелитель пожелал... Я слабый и больной человек...» — закружились слова отца... И эти важные гости из Кок-сарая. И беготня слуг в доме... Суетливость деда, ушедшего куда-то в такую непогоду...

В памяти ее всплыло лицо Абдул-Азиза, бледное, бескровное, с трясущимся от слабости и вожделения подбородком!

«Бежать! Сейчас же!.. Кинуться в Зеравшан! Повеситься!.. Только не гарем! Только не сидеть, не ждать... Этот дом проклят, проклят!»

И под ледяными струями дождя Хуршида-бану побежала к себе.

Скорее, скорее!

...Али Кушчи поднялся с циновки: надо было походить, немного размять отекавшие ноги. Дважды обошел он узкую, будто клетка, темницу; ослабевшие, исхудавшие ноги едва держали его, и приходилось останавливаться, сгибаться, чтобы растереть их; но стоило наклонить голову, как начинала она кружиться, и Али Кушчи в изнеможении приваливался спиной или боком к спасительной стене.

Он закрыл глаза, и словно в насмешку тотчас пригрезилась картина: мавляна Мухиддин среди своих домашних, в тепле, закутывается поплотнее в соболью шубу, тянет ступни к огню сандала — от этой картины собственные ноги заныли еще сильнее, нестерпимая, тупо ноющая боль загнала его вновь на циновку. Но сидеть на ней все равно что сидеть на льду. «Сырой и холодный пол погубит мне ноги», — подумалось узнику. Но ведь не прстоишь день и ночь напролет стоймя...

Склониться перед шах-заде, пасть ниц, указать дорогу к Драконовой пещере — и тут же тебе избавление от этой мрачной, похожей на могилу темницы, тут же очутился бы и ты в светлой и теплой комнате, и ноги твои, протянутые к очагу, покрытые шелковым одеялом, покоились бы на решетке сандала, нежились бы в тепле, источаемом угольями. Тогда и трактат свой излюбленный, про светила, про их движение... в тепле, в уюте закончил бы... Ведь сказал же Мирза Абдул-Латиф, что сделает тебя историком при дворе.

Появятся новые книги, уже о «великих милостях» Мирзы Абдул-Латифа, книги, тобою написанные, книги, которые принесут тебе то, чего у тебя никогда не было, — богатство. А слава... будет слава, пойдет о тебе слава... только другая!

Али Кушчи мотнул головой, будто гонимый этими мыслями, быстро, отчаянно зашагал по темнице.

— Сундук золота будет стоять у тебя в углу,— саркастически произнес он вслух и подумал: «О аллах, да что это со мной?.. Избавь от наваждения, поддержи меня, продли терпение мое».

Он снова помотал головой. Собрав всю волю, переключился мыслями на трактат... На чем он остановился в прошлый раз? А, на затмениях... Бывают затмения планет. Луны. Солнца... Полные и частичные — «кусуфи кулли, кусуфи джузьи». Затмение происходит из-за взаимосвязи движений земли и луны относительно Солнца. Это ясно как день... Кому ясно? Ему? Ученым мужам? Улемы содрогаются от одного только слова «движение».

Али Кушчи припомнил: споры о движении звезд, о чем он сейчас думал, желая найти своим выводам строгую математическую форму, шли еще при жизни досточтимых учителей Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида. Тогда еще не было обсерватории устода, и потому о расположении и времени перемещения светил можно было говорить лишь приблизительно. За двадцать лет устод — истинно достойный рая! — создал весьма полную таблицу движения небесных тел, их верхних и нижних стояний. Вот если бы таблицы эти были сейчас здесь, под рукой, он легче обошелся бы тогда без пера и бумаги!

Драконова пещера предстала пред мысленным взором ученого. И заветный сундук, где покоятся до поры до времени (о творец, до какого времени? до какой поры?) сорок шесть таблиц, обозначающих местоположение тысячи двадцати двух звезд в небесном пространстве по временам года. Как любил устод рассматривать эти таблицы, просто рассматривать — не только работать с ними. Нанесенные золотой краской на бумагу звезды казались живыми, будто сошедшими с настоящего темно-синего небесного свода на этот, нарисованный столь искусно.

Али Кушчи попытался вспомнить таблицы, точно воспроизвести их вид в уме — это оказалось свыше сил. Зато припомнилась сразу же стычка шестилетней давности, происшедшая между повелителем-устодом и шейхом Низамиддином Хомушем, может, потому припомнилась, что, странное дело, слова шейха точь-в-точь совпадали с теми, что услышал он недавно из уст шах-заде.

Была тогда пятница — джума, — день самых больших, самых торжественных молений за неделю. Улугбек и его свита, в которой был и Али Кушчи, торопились, завершив охоту, в соборную мечеть. Но, увы, опоздали, как ни торопились. У ворот мечети султана встретил шейх-уль-ислам Бурханиддин, провел их во двор: проповедь уже была прочитана, но для молитвы время еще оставалось. Они быстро совершили омовение, приступили к молитве, но тут во дворе раздался какой-то шум. Властный голос воззвал несколько раз: «Эй, правверные!»

Али Кушчи был ближе к двери, чем остальные из свиты устода. И как ни старался сосредоточиться на молитвенных



словах, то, что происходило рядом, во дворе, все больше отвлекало его от богоугодного дела. А во дворе властный голос, все больше распаясь, обличал, гремел, призывал кары небесные на... кого?.. да на него, в частности, на Али Кушчи, потому, как гремел голос, много, много развелось в столице лжемудрых ученых мужей, предерзостно покусившихся на сокрытые от человека тайны неба — царства творца, и не только себя совративших с пути истинного, но совращающих и других правоверных мусульман.

Все это слышал, конечно, и Улугбек. Закончив молитву, он порывисто встал с колен. Бледное лицо его, гневно и плотно сжатые губы промелькнули мимо Али Кушчи, который поспешил за ним из мечети. Они увидели стоящего на открытом в глубине двора айване шейха Низамиддина Хомуша, а перед ним толпу улемов в белых покрывалах и в белых чалмах; пред ними-то шейх и витийствовал, красивый, статный, в то время более стройный, чем ныне, в одной руке неизменные четки, в другой все та же, что и ныне, любимая трость. Увидев повелителя, шейх не дрогнул, напротив, гневного красноречия его будто прибавилось, он красиво взмахивал тростью, красиво играл глазами, а когда Улугбек приблизился, воскликнул:

— Да будет сам повелитель наш свидетелем истинности моих слов!

Устод взошел на айван, остановился поодаль от говорившего.

— Не понял ваших слов о кощунстве ученых мужей, шейх.

— А разве не великое кощунство, о заблудший раб аллаха, считать, будто земля, сотворенная всевышним ровной и плоской, есть шар?

Устод еще крепче сжал губы. Помолчав, молвил:

— Простите, светлейший, но истину эту задолго до нас... пятьсот лет назад доказал мудрейший Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни.

— Сей Мухаммад, надеюсь, не пророк Мухаммад, и потому его слово...

— Он не посланник бога, но разумом своим славен во всем мире!

— Но он не пророк и не сын пророка, продолжаю утверждать я!.. А кто надоумил ученых мужей, кто, если не дьявол, внушил им сравнения царства всевышнего — неба — с океаном, а свечей аллаха — звезд — с рыбами в том океане?

Улугбек нетерпеливо перебил шейха:

— Нет, не дьявол толкнул моего шагирда Али Кушчи на такое сравнение. Он собственным умом дошел до этого сравнения. А что в нем кажется вам страшного?

— Вот видите, вот видите.— Шейх оставил насмешливый вопрос Улугбека без ответа.— Венценосец мусульман и его шагирды...— воззвал он снова к улемам, стоявшим пред спорящими со склоненными главами и бородами.— Венценосец

мусульман и его шагирды освободили сердца свои от слов святого Корана, где сказано: «Ва лакад зайиана ас-самоад-ад-дунё бимасохибия ва жаханноха...» — «Мы украсили небо над миром светильниками, сотворив их из камней, чтобы бросать ими в шайтана...» Вы, видно, забыли сей стих, повелитель?

— Нет, стих этот у меня на памяти, светлейший шейх. Но не забыли ли вы, для чего всевышний дал рабу своему, человеку, разум — не с той ли целью, дабы он добывал им знания, оказался способен к размышлению?

— Истинная правда, для этого! — раздался вдруг возглас шейх-уль-ислама Бурханиддина. Поправив чалму, он хотел было тоже выйти из толпы и присоединиться к спорящим на айване. Но шейх, будто не в силах совладать с гневом, закричал, распахнув руки, как бы не подпуская к себе святотатца:

— Прочь, не смей подниматься сюда, шейх-уль-ислам! Пристало ли шейху-уль-исламу топтать каноны нашей веры?!

— Ну, хватит лицедейства! — Улугбек тоже повысил голос. — Ваше дело, шейх, сидеть в ханаке и заниматься тарикатом! Духовное самоочищение не только подобает вам, но и весьма необходимо. От вас все смуты, низкие наветы, разговоры. А заговорщиков... за ними я посылаю воинов, их хватают и бросают в зиндан. Знайте это, шейх!

И повелитель-устод, как помнит Али Кушчи, сошел с айвана, а растерянный шейх замкнул уста, ибо взгляд его, обращенный за поддержкой к улемам, стоявшим внизу, наткнулся на ряд белых турбанов, склоненных в поклоне перед всеильным в те времена Мирзой Улугбеком. Ни звука не пророчили улемы!

Учитель, придя вечером того же дня в обсерваторию, все никак не мог успокоиться — вглядывался ли он в таблицы и в небо, медленно прохаживался ли по библиотеке, с губ его то и дело срывались вздохи и одно лишь слово: невежды, невежды, невежды...

Да, это он, Али Кушчи, некогда действительно сравнивал небо с океаном, а звезды с рыбами, чтобы не говорить прямо о подвижной сфере небесной, и образ этот, помнится, вызвал улыбку понимания и похвалу учителя...

Ну хорошо, он и теперь не склонится перед Абдул-Латифом, перед невеждами. Устоит! Но ведь сил его хватит ненадолго, он погибнет здесь, в этой темнице-скорлупе. Тогда-то что будет с сокровищами Драконовой пещеры? Кроме него, тайну знает Мирам Чалаби. Но он всего лишь юноша, талиб, не вышедший еще из несовершеннолетия. Что сможет Мирам Чалаби без него, Али Кушчи?

Узник откинулся к стене, расслабил мышцы: тяжелая усталость отзывалась в каждой клеточке тела, пригибала к полу.

Али Кушчи снова хотел лечь на циновку, но тут скрипнуло смотровое окно в двери. Он подошел к двери, зная, что сейчас окошко откроется и в снопике лучей, пробивающихся через отверстие, что не больше ладони взрослого мужчины, он увидит

протянутую лепешку. Так случилось и на сей раз. Только... только лепешка была непохожа на ту, что обычно ему давали. Та была из ячменя, размером с пиалу, а эта — тукáч, из кукурузной муки, толстая, круглая. Окошко не закрылось тут же, как обычно, и Али Кушчи выглянул в коридор. Стражник — было чему удивиться! — не прогнал его, а, молча сделав какой-то непонятный знак, просунул в отверстие небольшой чугунный кумган.

С кумганом и лепешкой в руках Али Кушчи отошел в угол, где расстелена была холодная циновка. Поставил кумган на пол и, не присаживаясь, разломил лепешку: не потому, что очень хотел есть, в последние дни голод породил уже безразличие к еде, а скорее, чтобы убить время. Разломил тукáч, и — впрямь будто услышал всевышний его моления!.. — увидел в изломе двух половин хлебца свернутую в тугую трубочку бумажку («Записка?!»), малюсенький кинжальчик и карандашик.

Гулко и быстро застучало сердце. Превозмогая боль в ногах, мавляна подбежал к двери — странное дело, глазок еще не был закрыт с обратной стороны. Узник прижался спиной к двери, так, чтобы его не было видно, если посмотреть из коридора внутрь темницы, развернул бумажку («Точно, записка!») и в слабом снопике света прочел: «Дорогой устод! Мы и днем и ночью молим аллаха, чтобы даровал он вам здоровье. Это первое. Второе: хотим знать, что нужно нам сделать, чтобы облегчить страдания, павшие на вашу долю. Напишите об этом на обратной стороне этой записки. Выпив воду из кумгана, засуньте листок в его носик — кумган вынесут верные люди и передадут нам. Мы вам верны, как отцу. Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы... Надеемся, и да исполнит аллах желаемое нами! Ваши шагирды».

Али Кушчи почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Растроганно усмехнулся. «Ну вот, только слез не хватало, мавляна Али!»

Кто же эти верные «ваши шагирды»? Мирам Чалаби? Слишком молод Мирам. Мансур Каши? Вряд ли, уж больно тих и смирен мударрис, а это написала отчаянная голова. Каландар, ей-ей, Каландар, бесстрашный удалой степняк Каландар! А кинжальчик, видно, от Уста Тимура Самарканди...

Только что же он будет с этим кинжальчиком делать? Карандаш заточивать?.. «Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы...» В чем смысл этих слов? В том ли, что смельчаки попытаются сделать подкоп?

У Али Кушчи внезапно закружилась голова. Теперь уж ему совсем не усидеть на месте! Держась за бугристо-шершавую поверхность стен, он опять обошел всю клетку.

«Нет, невозможно пробить эти камни, сделать проход в гранитной породе! Мечта пустая!.. «Надеемся»? Но кто, кроме простаков, никогда не видевших вблизи темниц Кок-сарая, может надеяться проломить этот гранит? Его перетаскали, его

сложили здесь тысячи и тысячи рабов самого Тимура Сахибкирана!.. Шагирды мои, вы не знаете, что такое кок-сарайский зиндан!.. И тебе, мавляна Али, взрослому и, как я слышал, разумному человеку, не надо надеяться на подкоп. Надо одно: длить и длить терпение свое, мудрейший из мудрых!»

Оконце еще посылало ему снопик света. И Али Кушчи на обратной стороне записки написал всего лишь два слова: «Бумага. Карандаш». Подумав, добавил: «Мать, Тиллябиби». Потом одним духом осушил кумган, спрятал бумажку так, как его научили, подошел к двери, слегка постучал и, когда оконце в двери приоткрылось пошире, протянул кумган сторожившему воину.

## 18

Слух о побеге несравненной красавицы, внучки Салахиддина-заргара, быстро распространился по Самарканду и достиг ушей самого властителя. Эмиру Джандару было приказано отыскать беглянку во что бы то ни стало. Однако неделя прошла, и никаких вестей от Джандара по сему поводу Мирза Абдул-Латиф не получил.

Вот и сегодня шах-заде вынужден был послать гонца к эмиру, хотя сегодня, правду сказать, не такой день, чтобы тревожить себя из-за какой-то красавицы, пусть и несравненной. Сегодня накануне предзакатной молитвы должно было состояться сожжение еретических книг — церемония, угодная всевышнему и поучительная для подданных, ибо ничто не укрепляет прочности власти так хорошо, как зрелища ее видимого всемогущества.

Шейх Низамиддин Хомуш и другие священнослужители давно наставляли Мирзу Абдул-Латифа на свершение сего угодного всевышнему дела. Но шах-заде все не мог решиться, все откладывал и откладывал день сожжения. Несколько раз приезжал он в брошенную всеми обсерваторию, сидел в библиотеке на втором этаже, даже отобрал и взял с собой во дворец несколько книг. И каждый раз при взгляде на высокие, до потолка, полки, уставленные множеством книг, или рассматривая редкие рукописи, завернутые в тонкие шелка, он испытывал какое-то волнующее чувство, сострадание, что ли, в котором не мог признать не только улемам, но и самому себе. Он способен был понять, что слава отцовского книгохранилища заслуженна. Он хоть и воспитывался в ханжеском Герате, под окном набожного деда Шахруха, но изучал помимо наук духовных науки светские, интересовался изящными предметами, какова, например, поэзия. Его, пусть и не сильно, интересовали и астрономия, и математика. Сколько же здесь было ценных книг, и астрономических, и математических, и поэтических, несмотря на то что Али Кушчи скрыл ценнейшие!

Посещения шах-заде обсерватории, его времяпровождение там, в очаге ереси, не укрылись от внимания шейха Низамиддина

Хомуша. И вот не далее как вчера он внезапно явился в Кок-сарай для очередной душеспасительной беседы.

Шейх начал издали, но насупленный вид его говорил больше слов. В конце концов он прямо сказал, что шах-заде, воспитанник его, положил конец многим последствиям правления нечестивого родителя своего, но все же решительного удара по ученым-вероотступникам не нанес. Винить его шейх не стал, а просто передал шах-заде послание из Шаша, от ишана Убайдуллы Ахрара. Сей благочестивый муж писал резче, нежели шейх Низамиддин говорил. Призывал к тому, чтобы нынешний венценосец не проявлял никаких, даже малейших колебаний в борьбе против богохульников за дело, угодное аллаху. Если бы и саблю следовало обнажить опять против смутьянов и нечестивцев, свивших себе гнездо в Мавераннахре, то он, ишан, и на это благословляет Абдул-Латифа. Кстати, это возрадовало бы светлый дух великого воителя за веру, прадеда шах-заде, эмира Тимура Гурагана.

После такого послания нельзя было откладывать сожжение книг. Назначено было оно на вечер следующего дня. Абдул-Латиф хотел было, правда, пересидеть столь важную церемонию в Кок-сараяе, однако шейх, вновь нахмутив брови, разъяснил властителю, сколь необходимо его собственное милостивое присутствие во время оной. И вообще следовало бы, подсказал шейх, чтобы на сожжении нечестивых книг присутствовали все видные сановники, военачальники, вся верхушка улемы, а также бесполезно наличие ученых и поэтов, всех обучавших и обучавшихся в медресе Улугбека. Поучительно своими глазами увидеть, как славно пылают в праведном огне еретические книги, да и в беспощадности властителя, радеющего за веру, правверным подданным тоже не вредно воочию убедиться!

Желание пира надо было удовлетворить.

После того как шейх Низамиддин Хомуш оставил дворец, Абдул-Латиф вызвал к себе диван-беги и есаул-баши и приказал им на завтра послать в обсерваторию двести всадников и выставить оцепление вдоль всех улиц, что протянулись от обсерватории до Кок-сарая.

Приказ был выполнен, сановники, военачальники и прочие, кому надлежало присутствовать на церемонии, тоже были оповещены в срок. Все было готово.

А тревога не оставляла шах-заде.

Он не мог разобратся в природе этой тревоги. Вспомнил неожиданно о своем желании получить в гарем новую розу, чтобы еще таким образом наказать покойного брата, вспомнил и подумал, что нерасторопность эмира Джандара и есть причина тревоги. А потому и послал гонца к эмиру в неподходящий для любовных утех день.

Но, отдав последнее распоряжение по всем сегодняшним делам, он наедине с самим собой не мог обманываться в природе своей тревоги — не одной сегодняшней, а постоянной.

Боязнь за себя, за свое место на троне — вот в чем было дело.

Сев на трон, он из прежних вельмож и чиновников кого отстранил от ведения дел, кого бросил в зиндан, а кого и просто казнил. Столь же сурово поступил с учеными мужами. И все медресе закрыл!

Навел, кажется, повсюду порядок. А тревожно сердцу, все равно тревожно. И трон словно качается под ним. И эмиры шепчутся подозрительно. Плетут заговоры обиженные и не удовлетворенные им сановники. И где-то скрывается, где-то точит и точит боевой свой клинок против него Бобо Хусейн.

Еще не может он, властитель Мавераннахра, спокойно спать по ночам в своем Кок-сараяе. Стоит смежить веки, и видится кто-то входящий в спальню с обнаженной саблей, мститель видится, и властитель просыпается, дрожит, сдерживается, чтобы не кликнуть стражу, не выдать своего страха. Просыпается и уже до самого утра бодрствует.

Может быть, сегодняшнее богоугодное дело, на которое получено благословение — фетва не только самаркандских улемов, но и самого высокочтимого ишана из Шаша, может быть, оно приведет к тому, что всевышний сжалится над ним, смиренным рабом своим, и подарит душе его мир и отраду?

Хорошо бы!

Тихонько приоткрылась дверь. Шах-заде резко повернулся на звук. Косоглазый есаул стоял на пороге — этому есаулу, рекомендованному самим шейхом, он разрешил приходить прямо к себе, не оповещая сарайбона.

— Ну, где же эмир Джандар?

— Милостивый повелитель! Эмир Джандар... занемог. Лежит в постели!

— Своими глазами видел?

— Своими собственными, всемилостивейший...

— Что ты ими мог увидеть, косоглазый шайтан? — Шах-заде зло усмехнулся. Поднялся. Подошел к есаулу. — Ну а новости про эту... беглянку развратную есть?

— Никаких, повелитель...

— Опять нет, опять нет! Вы когда-нибудь принесете мне приятные вести?.. Что мавляна Мухиддин?

— Мавляна... — Есаул склонил голову к левому плечу, искоса и робко взглянул на шах-заде. — Мавляна Мухиддин, говорят, потерял разум, повелитель. — И в ответ на недоуменный взгляд властелина, добавил прощом: — Ну, с ума спятил... Про то я услышал впервые от нукера, что ходил на обыск, а сегодня и сам видал мавляну на Регистане: голова непокрыта, глаза безумные, в одной рубашке по площади бегал. А потом, говорят, хаджи Салахиддин забрал его домой, кандалы на руки и ноги набил, слуг сторожить приставил к нему.

— Бедняга! — неожиданно вырвалось у шах-заде. Он поморщился, посмотрел на Шакала, добавил: — Но... сам он вино-

ват. Так будет со всяким, кто предаст душу дьяволу... А ты ступай. Скажи, пусть придворные будут наготове: скоро поедем!..

Известие, полученное от косоглазого есаула, еще больше разбредило душу шах-заде. Но, когда Абдул-Латиф вышел из холодных покоев Кок-сарая на свежий воздух, а день был на удивление теплый, от обильного снега, что выпал с неделю назад, и следа не осталось, он вдруг почувствовал облегчение, которого так долго и тщетно ждал. Тепло, светло, солнечно, и даже молодая травка, оказывается, проступила уже на обочинах улиц, на плоских земляных крышах, поверх глиняных дувалов. И ветки тальника, росшего вдоль говорливых арыков, пошли помаленьку краснеть, наливая живительным соком почки. И ветер с гор, ласково-теплый, нес с собой почти не слышный и все-таки уловимый аромат весны; горьковато-волнующие запахи полыни, дикого лука и степного ковыля смешались в его дуновении.

Шах-заде дышал, дышал полной грудью. Перед его просветленным взглядом вставали почему-то картины далеких гератских зеленых холмов. В свите деда своего, Шахруха-счастливец, Абдул-Латиф каждую весну выезжал в холмистую степь под Гератом — на место козлодраний, скачек и прочих лихих игр-состязаний. Озорным он был в юности, ох каким озорным!

Шах-заде, улыбаясь воспоминаниям, ударил камчой вороного, тот нетерпеливо рванулся вперед; за султаном и приближенные отпустили поводья, и мощные улицы загрохотали под копытами лихой скачки.

Как в молодости!

Только тогда, в молодые годы, никто не охранял его особу. А теперь по обеим сторонам улиц от Кок-сарая до самой обсерватории стояли через каждые пятнадцать — двадцать шагов наряды копыеносцев, а неподалеку от пути следования повелителя в переулках и закоулках теснились конные ратники, одетые в кольчуги.

Мирза Абдул-Латиф, хоть и понукал коня мчаться еще быстрее, успевал сквозь частокол копий с трепещущими на ветру флажками, поверх шлемов стражников видеть глаза, лица покорных ему тысяч людей. Согнанные, они стояли молча, опустив взгляды, у заборов, в переулках, в дверных проемах лавок и мастерских; дети сидели на крышах, и в их глазах он ловил тот же страх, но еще восторженное изумление пышностью его поезда. Сердце шах-заде задрожало в ликовании. Оно было сейчас — сам нашел это поэтическое сравнение, — словно глубокое самаркандское небо. Оно было лазурное, его сердце! Не зря, не зря он сражался за Мавераннахр, за этот великий город Самарканд! Стоило, стоило не один, а сто раз рискнуть жизнью ради того, чтобы промчаться по улицам Самарканда, великого из великих городов, столицы непобедимого предка своего — эмира Тимура, промчаться и увидеть

колени преклоненные толпы, склоненные головы. Сладостна власть и величественна!.. Вот сейчас он может остановиться и приказать всем этим людям: падите в поклоне еще более низком! Целуйте землю, по которой проскакал мой конь! И падут! И будут целовать землю!

Пусть кто-нибудь посмеет не выполнить его повеления...

И перед обсерваторией была тьма народу. Невообразимый шум навис над площадью!

Сотни дервишей, размахивая кадилами с дымящей гармалой, качая в такт песнопению своими островерхими колпаками, тянули заунывно-стройно: «О аллах... о наш создатель...» Обычные нищие и убогие попрошайничали, протягивая к людям, заполнившим площадь, костлявые руки. Все прибывало и прибывало людей со всех четырех сторон, и все звонче и раздраженней звучали окрики конных стражников с обнаженными саблями, что пытались навести хотя бы подобие порядка в толпе. А на минаретах обсерватории били барабаны, сотрясал воздух рев медногорлых карнаев, способный потрясти и землю и небеса!

Двустворчатые ворота обсерватории были распахнуты: дорожку, ведущую от них в глубь двора, оставили свободной, а по обеим сторонам ее выстроились знатные люди Самарканда. Хоть и тепло было, стояли они в суконных тяжелых чекменях, лисьих и собольих шубах, в бобровых шапках. В руках имамов и улемов священные книги.

По правую сторону от входа воздвигнут высокий деревянный помост, застланный коврами и одеялами, — это место для столпов веры, шейх Низамиддин Хомуш уже там. Помост окружен белыми мантиями и чалмами знатнейших из улемов и дорогими одеждами виднейших из государственных мужей. Жемчуга на шапках, золотые рукоятки сабель, серебро поясов — все блестело так, что не сразу разберешь лица. Впрочем, градоначальник Мираншах был виден и в такой толпе.

Прямо перед помостом, если смотреть по линии, ведущей ко входу в здание обсерватории, гора саксауловых веток и поленьев, а на них груды и груды книг. Их будет еще больше, потому что из помещения обсерватории выходят все новые служки и выносят все новые и новые книги, нарацивая гору...

Шах-заде пошел от ворот по дорожке прямо, потом повернул направо. Знать и духовенство у помоста расступились перед ним. Низамиддин Хомуш поднялся навстречу, приглашающим жестом указав на кучу одеял, где надлежало воссесть шахзаде, потом почтительно прижал руки к груди. Не сводя глаз с взошедшего на помост Мирзы Абдул-Латифа, шейх сказал одному из улемов:

— Пусть впускают сюда тех ученых и поэтов, кто отступил от истинной веры! Пусть они увидят своими глазами, как будут гореть греховные книги!

Ввели во двор десятка три талибов, бедно одетых, беспо-



койных, напуганных. Преподаватели медресе, еще в одеяниях мударрисов, стали рядом с учениками, поодаль от помоста.

— Начнем? — повернулся к Абдул-Латифу шейх. В ответ кивок головы.

Шейх поднялся во весь рост. Продолжая перебирать в пальцах тяжелые янтарные четки, поправил белую мантию, скрыв ею обнажившееся черное пятно бархатного халата. Сделав шаг вперед, к краю помоста, он обратился к народу с проповедью. Не торопясь, отбирая каждое слово, шейх заговорил о том, сколь существенным благодеянием будет сожжение еретических книг, что собрал в этом нечестивом гнезде обсерватории человек, отступивший от веры истинной вместе со своими шагирдами. И пламя костра, который изничтожит сии книги, могло бы уничтожающим смерчем пасть на головы всех согрешивших — да, так оно и будет, если рабы аллаха, совращенные искусителями-нечестивцами, не станут денно и ночью молить всевышнего об отпущении грехов своих, так оно и будет, ибо уповать можно лишь на милосердного аллаха, на то, что в милости своей он вернет их на путь истинный... Илахи аминь!

И огромная толпа громко, будто одним выдохом, повторила:

— Илахи аминь!

Абдул-Латифу почудилось, что восклицание это потрясло и стены безбожного гнезда — обсерватории, и весь город.

Сиятельный шейх принял из протянутой руки дервиша факел. Передал шах-заде. Второй факел взял для себя. Твердыми шагами спустился шейх с помоста, зная, что шах-заде пойдет за ним.

Абдул-Латиф не думал, что сожжение книг начнет он сам, даже не хотел этого, но проповедь пира, единодушные возгласы одобрения толпы, здесь собранной, торжественная мрачность ритуала — все это словно причастило его к некоему божественному волеизъявлению, взволновало его религиозное чувство, и потому твердыми шагами последовал он за шейхом к горе ветвей и книг. С молитвенной дрожью он первым протянул горящий факел к сухим ветвям в основании горы. Хворост тут же вспыхнул. Шейх добавил огня. И в один миг большущий язык красного пламени устремился вверх, по-змеиному шипя и разбрызгивая вокруг искры. Еще миг — и гора книг скрылась в дыму и огне. Летели, рассыпаясь, искры, трещали, корчились переплеты, пеплом оседали страницы.

— Илахи аминь! — снова дружно грянула толпа.

Пение дервишей, гул людского одобрения, потрескивание сучьев — словно теплая, размягчающая, снимающая напряжение волна окатила душу шах-заде.

Он закрыл глаза. Ему казалось, что мягкая ласкающая волна вздымает его все выше и выше, но нет, не волна, он сам распростер крылья и летит, летит, купается в теплом и голубом поднебесье.

— О аллах! Прости меня, раба своего! Не пожалей милостей своих для меня, дай мне отраду, — шептал шах-заде.

Что-то заставило его вернуться к реальности, открыть глаза, какой-то переполох. Костер горел по-прежнему ровно и сильно, полыхал вовсю, трещал, разбрасывая снопы искр. Но многие смотрели уже не на костер, а на ворота. Там продолжалась непонятная свалка, слышались невнятные крики и проклятья: «Держи его», «Не пускай!», «Стой!»

Но, растолкав всех, прорвав заслон, во двор медресе вбежал босоногий и простоволосый человек с всклокоченной бородой, в рубахе с оторванным рукавом и разодранной до пупа. Юродивый, сумасшедший? Да, но... это был мавляна Мухиддин!

Абдул-Латиф почувствовал вдруг резкое головокружение, непонятный страх замкнул его уста, судорогой прошелся по мышцам лица.

Мавляна Мухиддин, сверкая глазами, кинулся к костру, остановился на полпути, застыл, а потом, вскинув руки, схваченные в запястьях железной цепочкой, начал по-дервишески пританцовывать на месте. Так же внезапно он прекратил танец, отвернулся от костра, закричал:

— Правоверные, эй, правоверные! Этот костер — пламя адское! Кто изгонит из своего сердца всемогущего аллаха, кто ступит на тропу ереси, тому гореть вот в таком огне! Смотрите, смотрите, рабы аллаха! В таком огне будет гореть нечестивый, впавший в ересь! Смотрите, запоминайте, правоверные!

— Схватите безумца! — повелительно выкрикнул, перекрывая общий шум, шейх Низамиддин Хомуш.

Мавляна Мухиддин завертел головой, будто стряхивал с нее горящие уголья, затем безумным взглядом уставился на шейха и вдруг, радуясь чему-то, заверещал тонко, пронзительно:

— Эй, правоверные! Смотрите, вот он, нечестивец Али Кушчи! Вот он, отыскался, проклятый всевышним, вот он, бежавший из зиндана, вот он... Держите его, держите!

Стражники накинулись на мавляну Мухиддина, попытались свалить его наземь. С неестественной силой мавляна отбросил их от себя, сделал несколько шагов к помосту, продолжая кричать:

— Али Кушчи! Это ты, кяфир, вероотступник! Держите его, люди! Держите!

Белая пена выступила на губах мавляны, дикая, безумная сила полыхала в зрачках.

Шах-заде невольно подался назад. Опомнился, рука дернулась к сабле. Сам крикнул:

— Да схватите же этого безумца!

С заломленными назад руками, как-то нелепо вывернув колени, мавляна качался, пытаясь вырваться из рук стражников. Смотрел он при этом на Мирзу Абдул-Латифа, только на него. Так казалось самому Абдул-Латифу.

— Ага-а-а... — вдруг тонким пронзительным голосом закричал мавляна. — Вот ты где, отцеубийца..! Эй, правоверные! Я на-

шел отцеубийцу... Я нашел того, кто убил своего благословенного родителя Мирзу Улугбека!.. Хватайте его! Держите его! Отцеубийцу в адский огонь! В огонь его, в огонь!

На миг площадь онемела. И простой люд, и вельможи, и почтенные имамы и улемы, и сами стражники. А через минуту перед очами тех, кто сидел на помосте, предстал пробившийся сквозь толпу Салахиддин-заргар. Подбородок его дрожал от сдерживаемых рыданий, в глазах слезы, один конец чалмы развязался и волочился чуть ли не по земле.

— Пир мой, пир мой, простите, простите! — захлебываясь, говорил хаджи, обращаясь к шейху. Подскочил к сыну, которого стражники наконец повалили на землю, но старика грубо оттолкнули. Мавляну Мухиддина поволокли по земле. Он сучил ногами, скованными руками пытался за что-то зацепиться; голову, разбитую о камни, заливала кровь, а из уст безумца все еще летели хриплые зловещие слова:

— В огонь отцеубийцу, правоверные, в огонь его!..

Хаджи Салахиддин, припадая на ногу, бежал за стражниками, пытаясь схватить за рукав то одного, то другого; он рыдал, умолял о чем-то, напрасно рыдал, тщетно умолял...

Площадь, народ, стражники с ювелиром и его сумасшедшим сыном — все вдруг закружилось перед Абдул-Латифом. В глазах почернело. Боясь, что вот-вот упадет, он схватился за плечо шейха, придвинулся к нему, как бы прося защиты.

— Держитесь прямо, сын мой. Очи всех людей устремлены сейчас на вас, — прошипел шейх. Подняв высоко голову, он оглядел сверху вниз толпу, воскликнул торжественно и властно: — Правоверные, истинные мусульмане! Вы все свидетели, вы сами все видели: кто предался ереси, кто поддался гордыне, тот заслужил кару всевышнего и п о л у ч и л ее! Сие отмщение небесное!

Шейх говорил еще долго, властно, вдохновенно, и не слышал его, пожалуй, лишь один человек — шах-заде. Он слышал другие слова: «Эй, правоверные!.. В огонь отцеубийцу... в огонь!..»

## 19

Каландар Карнаки все сидел и сидел, преклонив колени, у свежего могильного холмика, маленького, будто похоронили в нем ребенка. Закрыв глаза, он читал молитву.

— Вставайте, шайр, времени мало у нас, а мертвую не воскресить и молитвой.

Каландар знал, кто произнес эти слова: шагах в четырех-пяти под тенью вяза примостился, поджав под себя ноги, Мирам Чалаби.

Еще раз прочел молитву Каландар, поднес ладони к лицу, поднялся.

Рассвет был уже близок, сквозь редкие облака мерцали, быстро слабея, звезды; над кладбищем тихо плыл голос чтеца

Корана. «Как похож этот голос на голос Али Кушчи», — подумалось Каландару... Да, наставнику и следовало бы читать Коран над могилой матери, наставнику, а не его ученику. Но, увы, наставник в заточении и потөму долг ученика...

Бедная старушка! Вихрь беды налетел и сбил ее с ног. Тиллябиби так и не оправилась от болезни. Она угасала, словно догорающая свеча, и все глядела, глядела на двери и, стоило им скрипнуть, вскакивала с места со словами: «Мой верблюжонок, это ты, ты!» И вот жизнь ее, мучения ее прервались.

Каландар не сразу узнал о смерти матери Али Кушчи. Все последнее время он лихорадочно искал возможности спасти учителя. Каких только планов не придумывали они с Уста Тимуром! И ничего иного не смогли придумать, кроме того, что пришло в голову старому мастеру сразу же: с помощью Шакала склонить на свою сторону одного из стражников. Склонить-то склонили, но для того, чтобы кое-что он пронес к Али Кушчи в узилище, и только!

Каландар мучился от бессилия, а тут еще, как сель в горах, как град на голову без шапки, весть об исчезновении Хуршиды!

О причинах, что толкнули молодую женщину на столь отчаянный поступок, Каландар узнал все от того же Шакала. А затем новая весть: о сумасшествии мавляны Мухиддина, о том, как вырвался он из дому на сожжение книг, и про крик его, что разнесся по всему Самарканду: «Отцеубийца!.. В огонь отцеубийцу!»

Исчезновение Хуршиды-бану ударило Каландара тяжелым молотом. Сидеть в пещере Тимура Самарканди было теперь совсем уж немоготу. Каландар ушел к подножию горы Кухак, целыми днями лежал в зарослях камыша на берегу Зеравшана. Глядел в небо, думал о судьбе своей, о том, как несчастно складывалась вся его жизнь.

Он даже на свадьбу Калканбека не поехал.

Калканбек, помолвленный с дочерью своих дальних родственников, очень звал его поехать в горы Ургута — брата, Уста Тимура и его звал. И Уста говорил, что надо поехать, проветриться, освободить сердце и голову от безнадежных мыслей. Но Каландар отказался наотрез. Не до свадьбы ему сейчас, не до радостей — даже радостей друга!

С наступлением темноты Каландар покидал заросли камыша, устало поднимался по склону Кухака на заранее обговоренное с Шакалом место встречи. Шакал брал то, что приготовлено было для мавляны Али Кушчи, много чего обещал, требовал еще больше денег — и все оставалось до следующей встречи без изменений.

Правда, вчера Шакал пришел очень взволнованный, нетерпеливый, сказал, что будто уговорил наконец эмира Джандара действовать, повлиять на бека, ведающего зинданом. Весьма возможно, они в скором времени выведут мавляну потайным

ходом из заключения. Но для этого нужно золото, много золота. Пусть Каландар готовится к скорой встрече с мавляной.

Каландар тут же вернулся к Уста Тимуру и вот там узнал, что скончалась Тиллябиби. И что, кроме Мирама, никого не было на похоронах старушки: сын в тюрьме, сам он отсиживался в камышах, Уста Тимур и братья не вернулись со свадьбы. Мирам Чалаби и какие-то очень дальние родственники предали земле тело Тиллябиби...

...Словно с могилой собственной матери, прощался Каландар с могилой Тиллябиби. Несколько раз останавливался, оглядывался, уходя с кладбища.

Вороной аргамак с белой отметиной на лбу (пятьдесят золотых монет отсыпали за него Шакалу!) пасся в карагачевой роще, за кладбищем. Здесь Каландар и Мирам расстались. Отсюда он поехал... Но куда? Куда ему ехать?.. Мысли все еще были заняты образом бедной старушки, потом перенеслись к его родной матери, такой же любящей, тихой, ласковой... Ее-то могила осталась совсем без присмотра, пожалуй, вся травой заросла... Только позавчера, вспомнил он, только позавчера он получил первый ответ от наставника... Всего четыре слова: «Бумага. Карандаш. Мать, Тиллябиби»... Все мы грешные, только создатель безгрешен. Но если и грешен в чем-то мавляна, то уж мать его, чем она виновата?.. Просто тем, что любила сына? И вот сгорела, словно свеча от ветра, от беды, выпавшей на долю сына.

На берегу по-весеннему бурной реки Каландар придержал коня. Надо было опять скрываться в камыши. Не хотелось! И он повернул коня к горе Кухак. Выбрал на дороге холмик посуше, поднялся на самый верх, здесь слез с коня, стреножил его, прилег на траву.

Солнце еще не поднялось, но робкая, нежно-розовая кисея уже застлала вершины гор, осветлила их, приблизила к глазу; все ярче и гуще становилась она, воспламенялась, краснела, и вскоре весь горизонт был объят огромным костром; ликующее-радостное, поднималось над землей весеннее солнце!

Трава намокла в густой росе. Или ночью дождик прошел, а он и не заметил? Утренний ветер колыхал траву, то зеленым шелковым покрывалом пригибая к земле, то взерошивая гривой необъезженного скакуна. Нежно-зеленые холмы, снежная розовость горных вершин вдалеке, серебряная лента реки внизу — как это все похоже было на его родные края! Ну, разве не так же зеленеют сейчас невысокие холмы вокруг кишлака Карнак? И не так же готовятся к таинству раскрытия лепестков и листьев урюк и персик в густых карнакских садах? Вот если б вызвать мавляну Али Кушчи из зиндана, получить его благословение, да и махнуть на родину, благо весна, благо теплые дни впереди!

Махнуть? Без Хуршиды? Даже не узнав, где она, что с нею?

Не раз Каландар видел во сне возвращение свое в родные края, но в снах этих всегда вместе с ним была и Хуршида. Лежа

в полутемной пещере Уста Тимура бессонными ночами, он часто воображал себе, как они едут вдвоем, седло к седлу, по бескрайнему степному раздолью к желанному отчему порогу... Хуршида в чабанской шапке, мужском чекмене — молодой пастух, да и только, а иначе не обезопасить ее от недобрых глаз! Лицо озарено радостью, слышался тихий, но счастливый смех... Да, счастливый, несмотря ни на что, счастливый... Он может вызвать на ее лице радостную улыбку и счастливый смех. Две последние встречи под старой орешинной в саду хаджи Салахиддина подсказали ему, что оскорбленная душа Хуршиды-бану, истерзанная и, казалось, надломленная, умершая, не умерла, не сломалась, что она может воскреснуть, что она... вновь потянулась к нему, Каландару... Счастье... Их счастье было возможно, если бы не новый и уже, видно, непоправимый удар!

Подлый отцеубийца! Сгореть бы тебе со всем своим гаремом! Десятки, сотни невольниц — из Герата, из Балха, из Самарканда! Нет, он позарился на его единственную любовь...

Бедный народ! За что тебе достался этот дьявол в облике шах-заде?

Да, его беда не единственная.

Третьего дня ночью, когда Каландар был у Уста Тимура, чтоб прихватить кое-что из одежды и оружия, а братья-кузнецы собирались ехать в горы за невестой Калканбека, в кишлаке вдруг раздались шум, грохот, лошадиный топот и крики людей. Братья не выдержали, выскочили из пещеры, Каландара удержал старый мастер. Калканбек тотчас вернулся с криком: «Где наши сабли?.. Воины шах-заде грабят кишлак!» Каландар тоже схватил саблю, выскочил наружу. В кромешной тьме куда-то с криком бежали люди. Женщины плакали... Выяснилось, что воины шах-заде, словно банда разбойников, налетели, ограбили дочиста крайние дома кишлака, прихватили чью-то дочь и умчались.

В ту ночь в пещеру Уста Тимура, не сговариваясь, собрались мужчины со всей махалли. Пришли кузнецы и гончары, каменотесы и резчики по дереву; пришли и кишлачники, робкие, тихие дехкане, среди них отец похищенной девушки, маленький человек, ростом в аршин, с морщинистым лицом в кулачок. До рассвета просидели они в пещере, говорили — и все об одном: плохо в стране, насилие кругом, сколько можно терпеть? Говорили: в городе закрыты торговые лавки, замолкли мастерские ремесленников — что от работы толку, коли нет покупателей. Из пригородных кишлаков дехкане в город не едут — средь белого дня на дорогах грабят, — и самаркандские базары, знаменитые самаркандские базары обезголосели.

Сколько же можно терпеть? Не пора ли подниматься рабоботающему люду?

Странно иль нет, а первым такой вопрос задал морщинистый маленький дехканин. Его поддержали другие — пора, мол, пора. Но Уста Тимур, хранивший до того молчание, охладил их пыл, рассудительно заметив, что рано подниматься, силы слыш-

ком неравны пока, не надо зря проливать кровь человеческую. Надо собирать силы.

Каландару, прежде согласному со старым мастером, казалось теперь, что Уста Тимур был неправ в своей рассудительности. В молодости люди дерзки, к старости мудрая осторожность может превратиться в излишнее спокойствие. Правы ремесленники — надо поднимать людей, идти штурмом на Кок-сарай! Каландар был готов повести их, пусть и мало надежды на успех, пусть он и сам погибнет в битве. Но ведь в битве! А не в прозябании, когда ты должен только сидеть и ждать, сидеть и ждать.

Да и к чему теперь ему жизнь, и жизнь ли это, когда оборвались или вот-вот оборвутся последние нити, из-за которых стоило жить, из-за которых жизнь не до конца опостылела ему?

Рывком вскочил Каландар на ноги, с лихорадочной поспешностью взнуздal коня, пустил его вскачь вниз, не разбирая дороги, невзирая на крутизну холма. Заросли камыша впереди словно пылали — так яростно освещало их красным пламенем весеннее солнце...

Когда в сумерках Каландар поехал на очередную встречу с Шакалом, он почти уверился в том, что эмира Джандара удасться подкупить и что эмир, в свою очередь, подкупит тюремщика. Тогда придет решающая ночь. В самом деле, должна же она наступить? Разве мало повидал он на своем веку продажных, падких на золото, на выгоду вельмож, эмиров, чиновников?.. А в глубине сознания теплилась и еще одна мысль — о Хуршидебану. Почему-то казалось, хотя для этого не было никаких разумных оснований, что сегодня он услышит от Шакала что-то новое и о ней. «Все может быть, все может быть...» — заклинал себя Каландар.

Он долго ждал Шакала. Сидел, обхватив руками колени, невидящими глазами уставясь в темноту.

Наконец сверху, по склону горы, что-то зашуршало, будто под мягкими сапогами захрустели сухие сучья. Каландар вышел из-под ветвей тутовника; на светло-синей полосе неба, четко окаймлявшей изгиб склона, спустилась тень человека.

Каландар пошел вверх, навстречу.

— Шакал, ты?

— Я, дервиш...

Они сошлись.

— Чего же ты молчишь?

— Вести нерадостные, дервиш, оттого и молчу.

Собеседник Каландара тяжело дышал, будто после торопливой ходьбы.

«Или от страха?» — подумал Каландар.

— Все равно давай выкладывай.

— Мирза Абу Саид бежал из зиндана. В Кок-сараяе тревога, дервиш.

— Кто бежал?

— Абу Саид... Ну, племянник покойного повелителя, Улугбека. Он ведь тоже томился в зиндане.

— А когда сбежал?

— Один аллах ведает. Вчера шах-заде прошел по всем темницам и обнаружил, что Мирзы Абу Саида и след простыл. Надсмотрщик сам попал в зиндан... ну и переполох повсюду...

— А где эмир Джандар?

— Наверное, занят тем, что свою шкуру спасает.

Все, все пошло прахом! Столько усилий — и все на ветер! На ветер несколько месяцев борьбы, надежды, подготовки! «Бедный устод!» — горько, чуть не вслух произнес Каландар. Прямо из сердца рвалось спросить про Хуршиду — о ней-то какие вести? Но не спросил. Сдержался. Прощедил только сквозь зубы:

— И это все, что ты мне принес сегодня, лис?

Сжав кулаки, долго-долго вглядывался в небо, в его темную холодную глубину. «За что на обездоленных новые беды, почему на страдающих сыплются новые страдания?»

В разрывах легких весенних облаков равнодушными льдинками поблескивали звезды.

«Нельзя верить ни этому небу, ни этим звездам, ни падким на золото эмирам... Где Уста Тимур, Калканбек и Басканбек?»

И, словно забыв о Шакале, Каландар зашагал, спотыкаясь о камни, к своему коню.

## 20

Гонец из Кок-сарая прибыл к Султану Джандару явно не ко времени: в гостиной эмирова дома собрались пять-шесть человек, тоже эмиров, сидели, тихо беседовали друг с другом, ожидая Мираншаха и шейх-уль-ислама Бурханиддина. Ворота были на замке, двери в комнату крепко заперты, тяжелые темно-синие бархатные занавеси плотно закрывали окна, так что ни один лучик света не вырывался во двор — да и много ли света даст единственная свеча, что горела в обширной мехманхане? И все же слово «гонец», принесенное верным слугою, оглушило и ослепило собравшихся. Гости повскакали с мест, сбились кучей. Эмир Джандар сам прислуживал гостям — он так и застыл у порога изваянием в белой рубахе и пестром банорасовом халате. Не потерял присутствия духа один лишь Бобо Хусейн Бахадыр — он тоже был здесь, любимый Улугбеков нукер; быстро дунул на свечу, неслышно подошел в темноте к хозяину, властно шепнул:

— Заприте залу снаружи! Сами пройдите в другую комнату, ложитесь в постель... не забудьте снять халат!.. Пусть гонец своими глазами увидит вас в постели!

Но гонец не захотел увидеть захворавшего эмира на одре болезни. Слуга, вышедший к гонцу сообщить о том, что эмир занедужил, тотчас вернулся обратно.



— Там дворцовый сарайбон... ну, тот, темнолицый, из Балха. А с ним десять всадников. Он сказал, что должен привезти вас во дворец, будь вы даже при смерти... Или вы сами выйдете, мой эмир, или... боюсь, они ворвутся в дом...

Султан Джандар соскочил с постели.

— Пойди скажи: сейчас, мол, выйду. И прикажи седлать коня! Погоди! Видно, случилось что-то недоброе в Кок-сараяе, пусть гости не расходятся, а притаятся и ждут моего возвращения.

Темнолицый из Балха, недовольно хмурясь, ожидал Султана Джандара у ворот. Он пропустил эмира вперед, поехал следом, за ними цепочкой вытянулись всадники.

Ночь была темная, но не тихая, как бывает обычно в столь поздний час. Порой из улиц и переулков выплескивался конский топот; какие-то всадники с факелами мелькали то впереди их кавалькады, то сзади, то сбоку — тоже гонцы, что ли? Тени пеших соглядатаев то и дело возникали на протяжении всего их пути во дворец.

Что-то случилось! Несомненно, что-то случилось! Серьезное что-то.

Что же?!

«О аллах, сохрани, убереги меня от гнева этого безумца!» — молитвенно воззвал к всевышнему эмир. Предчувствие беды навалилось на него... Вот уже с месяц, как он не появляется в Кок-сараяе. С того самого дня, как исчезла «роза из цветника», дочка сумасшедшего мавляны Мухиддина.

Боясь гнева Мирзы Абдул-Латифа, Султан Джандар тотчас слег в постель, всем гонцам отвечали, что эмир тяжело захворал. Даже на сожжении книг он не был, хотя прослышал, конечно, о безумном мавляне Мухиддине, о его словах, обращенных к шах-заде и ставших притчей во языцех всего Самарканда, в том числе и вельмож, сильных мира сего... И все больше, надо признаться, стало приходиться их в дом эмира Джандара. Приходили будто справиться о его здоровье, и любой всенепременно заводил речь про события во дворе обсерватории: кто осудительно по отношению к мавляне, а кто осудительно по отношению... И эмир Джандар не без удивления убеждался, что недовольных повелителем среди беков, эмиров, чиновных людей больше, чем он предполагал. Говорили, что вера и правда в служении наследнику престола, когда тот вел борьбу с отцом, не поощрены как должно. Что Мирза Абдул-Латиф вверил себя лишь Низамиддину Хомушу, и даже произносились слова о человеке, попавшем в когти черных улемов: прикажут улемы шах-заде лечь — он ляжет, прикажут встать — встанет... И многие из мудрых уже давно держатся в стороне от шах-заде, взять хоть того же шейх-уль-ислама... А во дворце нет ни благочестия, ни спокойствия.

Эмир долго колебался, прежде чем решил собрать влиятельнейших из недовольных. Он хотел поглядеть на их единодушие, и, коли в самом деле они единодушны в своем недовольстве,

тогда... Что тогда, об этом эмир боялся признаться и самому себе...

И вот этот вызов во дворец!

«Пронюхал, пронюхал, отцеубийца! Все! Конец. Полетит голова высокородного эмира, будто срезанная с грядки тыква. Вот уж верно — из-под дождя да в град попал! От Мирзы Улугбека — в руки головореза... Истинно, ничто не остается безнаказанным! За невинную кровь султана Улугбека — кровь Султана Джандара, за ту голову — мою собственную?..» Эмир пошатнулся, чуть не упал с коня, но удержался за луку седла.

Вот и площадь перед дворцом; эмир не спешил, охал, нарочито громко стонал. Стражники отошли от костра, освещавшего ворота Кок-сарая, приблизились, узнали эмира, поддержали под руки, помогая слезть с коня.

Эмир и вправду горел, словно в лихорадке. Но прошел сквозь ворота сам; задрав подбородок, прошагал через двор; лишь перед тем, как войти внутрь дворца, задержался на миг, стараясь унять дрожь в коленях.

Сарайбон распахнул перед ним двери в саям-хану, и эмир Джандар, почтительно сложив на груди руки, вошел. Шах-заде стоял посередине комнаты. Ноги широко расставлены, будто для того, чтобы прочнее было стоять, а лицо... о, всевышний, какое страшное лицо было у шах-заде — болезненно-белое, как всегда, оно покрылось синими пятнами, с синими мешками под глазами. А глаза острые, колючие! А самое страшное — голова трясется мелко и часто, как у брата было, у Абдул-Азиза.

Эмир Джандар согнулся в поклоне. Застыл, не желая выпрямляться, не желая вновь увидеть трясущуюся голову. Услышал, как приблизился к нему шах-заде, сквозь свистящее дыхание его разобрал:

— Ну, эмир Джандар, где же Мирза Абу Саид?

— Мирза Абу Саид? — непонимающе повторил Султан Джандар, поднял глаза и тут же опустил их: синие пятна на бескровном лице, трясется, трясется голова! Словно труп ожил!

— Что ж ты молчишь? Я же спрашиваю тебя: где Мирза Абу Саид?

— Абу... Саид... в зиндане, повелитель.

— В зиндане?! Тогда пойди туда и приведи его! — Абдул-Латиф обеими руками вцепился в эмиров халат. — Приведи немедленно! Тотчас же!

«Сбежал! — мелькнула догадка. — Значит, сбежал! А ведь тоже наследник!»

— Благодетель мой, о смерти своей ведаю, об Абу Саиде нет. Вы же знаете, милостивый, тяжкий недуг свалил меня в постель!

— Недуг?! — зарычал Абдул-Латиф. — Недуг, говоришь?.. Разжирел, как осенью кабан, и жалуешься на болезни. Лежишь в постели, а сам плетешь сети против меня!

«Знает! Знает или вопит наобум?»

— Ну, отвечай! Снюхался с Абу Саидом или не успел?!  
— Аллахом клянусь...  
— Аллахом?.. Тогда клянись, что разыщешь этого смутьяна! Схватишь и бросишь к ногам моим!

— Брошу, повелитель...  
— Сегодня же бросишь!  
— Сегодня же, благодетель!

Абдул-Латиф отпустил халат эмира. Шатаясь, пошел к трону. Эмир Джандар шумно вдохнул воздух, оперся о стену. Сил не было и у него.

Глаза закрыл, и тотчас предстали его воображению гости, что затаились сейчас в его доме. «Сегодня же бросишь его к моим ногам!» Ладно, брошу, только бы вырваться отсюда, от этого бесноватого. А там... я тебе «брошу», я тебя научу отличать, где зло, где добро».

Эмир открыл глаза. Абдул-Латиф иступленно загремел золотой колотушкой. Вбежал сарайбон.

— Эмиру Джандару из придворных нукеров... человек десять... Двадцать! Сколько спросит! Эмир поймает сегодня же этого сбежавшего дьявола... Абу Саида!.. И приведет ко мне — сюда! — закованным в цепи!

Мановением руки шах-заде отпустил эмира. Поманил сарайбона. Темно-зеленая чалма балхца приклонилась к устам повелителя.

— Приставь соглядатая! — прошептал шах-заде. — Этот выросший на сале змеи хитрец может предать, переметнуться к Абу Саиду. Случится так — твоя голова с плеч! Понял?

— Все понял, повелитель.

— Погоди! — Мирза Абдул-Латиф остановил сарайбона, метнувшегося было к дверям, взглянул ему в лицо, но, будто забыв, о чем хотел сказать, отвел взгляд, долго смотрел в одну точку.

Сарайбон терпеливо ждал, что скажет шах-заде.

— Ну, ладно, иди! — Шах-заде махнул рукой. И, к удивлению сарайбона, добавил как бы невзначай: — Да, передай начальнику тюрьмы, что я хочу видеть мавляну Али Кушчи. Пусть его приведут ко мне...

## 21

Мавляна Али Кушчи не знал, что и подумать: кукурузные лепешки перестали передавать ему. А со вчерашнего дня забыли и про ячменные, и про кумган с водой. Что это означало? Решили уморить голодом? А он-то размечтался, думал, что вот-вот завершит главу своего трактата «Рисолаи дар фалакият» и передаст ее верным шагирдам. Вложит в кумган, и пойдет его мысль на свободу. Не тут-то было. Видно, и тюремщики не дремали, разнохали про переписку.

В последнее время ноги мавляны сильно распухли, к прежней боли прибавилась новая, не отпускаящая ни когда он сидел, ни когда ходил по своей тесной клетке. Часами растирал он опухшие суставы, сжав зубы, массировал колени, лодыжки, бедра. Устав, валился без сил на циновку, но долго лежать не мог: промозглая сырость опять набрасывалась на его ноги, словно зверь, терзала их. Али Кушчи вставал, хромя, обходил темницу вдоль стен. Надеясь забыть про боль, начинал рассуждать вслух, продолжая свой трактат. Но что-то плохо выходило: мысль, оказывается, тоже не всеильна, ее в конце концов могут одолеть голод и боль... Иногда горячий жар поднимался по телу, окутывал сознание. Возникла туманная пелена, сквозь которую виделись то мать, вся в слезах, ее потускнелые, блеклые глаза, то устод Улугбек, то наставник Кази-заде Руми — и тот и другой обращали к нему свои советы, странное дело, по тому сочинению, над которым он размышлял здесь, в зиндане. Подчас они спорили с ним, поправляли его, и удивительно, что, когда жар спадал, когда мавляна понемногу приходил в себя, поправки и советы эти припоминались отчетливо и зримо, и, надо сказать, были эти советы и поправки всегда полезны.

Сегодня боль скрутила особенно сильно. Она пронизывала его тело до кончиков пальцев на руках и ногах. Али Кушчи горел в жару. Показалось ему, что дверь в темницу приоткрылась и вошел повелитель-устод, приблизился к нему, склонился над ветхой циновкой.

— Что с тобою, сын мой?

— Как видите, учитель, совсем одолела меня болезнь,— ответил Али Кушчи, пытаясь подняться и вновь опрокидываясь навзничь.— Совсем одолела...

— Мне очень, очень жаль тебя, Али. Это я виноват во всем, я взвалил на твои плечи слишком тяжелую ношу. Пойди повинись перед шах-заде, упади ему в ноги. Иного выхода нет, Али...

— О учитель, не надо так говорить. Я скорее умру здесь, в этой готовой могиле, в холоде и голоде, чем предам вас, предам в руки шах-заде вашу... нашу... тайну.

Но Улугбек просунул ему под мышки руки свои, приподнял его с циновки.

— Нет, нет,— бормотал Али Кушчи,— если предам... как предстану перед вами? Как посмотрю в ваши глаза... в день Страшного суда?

Устод, не обращая внимания на эти слова, продолжал тащить, поднимать Али Кушчи. И вдруг изменившимся, грубым голосом закричал:

— Да вставай же, говорят тебе!.. Поднимись! Тебя зовет солнцеликий повелитель Мирза Абдул-Латиф!

«Какой солнцеликий?..» Али Кушчи с трудом расклеил ресницы, отрешаясь от видений. Двое воинов пытались поднять его, ухватив под мышки, третий с факелом в руке стоял у по-

рога. До скрипа стиснув зубы, Али Кушчи все-таки выпрямился. Чтoб не упасть, привалился тут же к стене, прошептал:

— Воды!

— Эй, воды,— обратился один из воинов к тому, что стоял у порога.

Тот прокричал это слово в глубь темного коридора.

Одним махом осушил Али Кушчи чашу с водой — холодная, она обожгла его внутренности, но голова, кажется, прояснилась. «Зачем я понадобился шах-заде? Опять допрос? Или перед пыткой он желает посмотреть, в каком я сейчас жалком виде?»

Мавляна не хотел показывать своей слабости, хотел выйти сам из зиндана, однако ноги плохо слушались его, дыхание спирало, и тогда нукеры подхватили его под локти и чуть ли не понесли на руках.

Так миновал он длинный, казалось, бесконечный, подземный коридор, но наверху, отдышавшись, собрав всю волю в кулак, пошел сам. Медленно, медленно, но сам.

Во дворе стояла еще темень, а близость рассвета все равно была ощутима: по отдаленным рыдающим вскрикам ослов, петушинуму пению, по предутреннему ветерку, что донес до него незабываемый, желанный запах весенних трав. Звезды еще мерцали довольно ярко, и у водоема Али Кушчи остановился, посмотрел в небо, на горящие уголья Плеяд и Большой Медведицы, натертый до полного блеска алмаз Венеры, стоящий точно под прямым углом к перпендикуляру минарета... «Близок рассвет, упоительно прекрасны эта земля и это небо, и этот ветерок, как хочется надышаться им всласть... Прекрасна свобода, прекрасен мир божий. И низки, жестоки, немилосердны люди». Али Кушчи пошатнулся, нукеры кинулись к нему, снова подхватили под руки, но он слабым жестом отстранил их и со словами «я сам» шагнул дальше...

Увидев Али Кушчи у дверей саям-ханы, шах-заде проворно покинул тронное кресло, пересек залу и остановился рядом с ученым.

— Ассалам алейкум, мавляна!

«Что это с ним? Лицемерит? Снова лицемерит?» Но лицо шах-заде вызывало жалость: красные от бессонницы белки косящих глаз, заостренный нос, мертвенно бледная кожа. Растрепанная редкая борода, неприбранные, вздохмаченные усики. Движения суетливы, и весь он какой-то смятенный.

«Нет, сейчас он не лицемерит...»

Али Кушчи вздрогнул от резкого звука колотушки шах-заде, призывающего слугу. И тотчас, не выждав даже времени, пока мавляна ответит на приветствие, Абдул-Латиф заговорил, обращаясь то к Али Кушчи, то к явившемуся по вызову сарайбону:

— Управляющий зинданом проявил жестокость... Превысил мой приказ, переусердствовал... Уважаемый мавляна натерпелся

мучений. Увы, увы!.. Немедля отведите досточтимого в баню. Дайте ему новое платье, накормите — и сюда, сюда, ко мне. Прошу ко мне, уважаемый...

Заложив руки за спину, в добром расположении духа после милостивого распоряжения, которое он отдал относительно Али Кушчи, шах-заде кружил по зале. Впрочем, облегчение душевное было минутным и прозрачным, скрывающим глубоко подавленное настроение.

Боязнь врагов и беспомощность перед судьбой снова завладела Абдул-Латифом. Случай, что произошел на церемонии сожжения еретических книг, до сих пор казался ему зловещим предзнаменованием. Болезненные видения, подозрительные шорохи теперь стали чудиться уже не только по ночам, но и при свете дня.

Ему было чего опасаться!

Лазутчики доставили шах-заде перехваченное письмо из Хорасана от двоюродного брата Султана Мухаммада. Адресовано послание это шейх-уль-исламу Бурханиддину, а главное, упоминались в нем имена Мирзы Абдуллы и Мирзы Абу Саида, отпрысков Тимурова древа, которые тоже могли претендовать на трон. Абдул-Латиф ничего определенного не мог вычитать из письма брата — оно, видно, было зашифровано так, чтобы понял его лишь тот, кому письмо предназначалось. Но одно то, что письмо это было адресовано шейх-уль-исламу, этому гордому, державшемуся независимо даже после поражения Улугбека законнику, насторожило шах-заде. А самое страшное — это упоминание про Абдуллу и Абу Саида, двух братьев по крови, которых он больше всего боялся и потому со дня своего воцарения держал в зиндане.

В зиндане? А может, уже и нет, может, они давно сбежали, а он сидит здесь, на троне, не ведая об этом?

Прихватив с собой зиндан-беги и есаул-баши, преодолев отвращение и страх, он спустился в подземелье Кок-сарая, отправился в самый дальний конец, туда, где в мрачных темницах грозный прадед Тимур Сахибкиран заживо гноил заклятых своих недругов. Путь был бесконечный, по-змеиному извилистый. Впереди шли нукеры с факелами. Отблески огней, пробегающие по неровным темно-бурым стенам, затхлость воздуха, непредвиденность поворотов, молчание и тяжесть дворца, навалившегося на этот узкий подземный ход, внушали невольную робость даже ему, шах-заде, тому, кому все это служило. Стражник тревожно заморгал, руки его затряслись, когда открывал двери в темницу Абу Саида. Долго возился он с замком. Есаул-баши оттолкнул стражника, вырвал у него ключ...

Свет факелов залил темницу, и... шах-заде пошатнулся, будто его нежданно ударили в грудь: узника не было. Длинная цепь, вделанная одним концом в гранитную стену, свободно змеилась по земляному полу.

Стражник подрубленно пал в ноги шах-заде, обнял его сапоги, прижался к ним лицом.

— О смерти своей ведаю, повелитель, а о бегстве... пленника... нет! Поверьте, поверьте мне!

— О смерти ведаешь? Ее и получишь! — Абдул-Латиф что было сил пнул стражника кованым сапогом, тот откатился к стене. Шах-заде вспрыгнул на него, стал яростно топтать тело, стараясь бить в лицо. Стражник руками пытался прикрыть голову и низ живота, харкая кровью, кричал, умолял простить. Но и крики и кровь лишь еще больше разъярили шах-заде. Он бил и бил, все стараясь попасть в лицо и живот. Стражник наконец перестал извиваться, завалился навзничь, потеряв сознание, раскрыв окровавленный рот и раскинув в стороны руки. Только тогда шах-заде перевел дух, взглянул на тех, с кем пришел сюда. Они торопливо отвели глаза. Покосившись на бездыханное тело стражника, шах-заде и сам почувствовал тошноту, отвращение и, круто повернувшись, выскочил из темницы.

Весь Кок-сарай был поднят по тревоге.

Больной эмир Джандар был доставлен к властителю. Обещал поймать беглеца. Но что толку от этих силой вырванных обещаний? Шах-заде не верил, что Абу Саида найдут. Сомнений больше не было: заговор существует. Неясно оставалось другое: кто стоит во главе заговора? Шейх-уль-ислам Бурханиддин или кто-то другой? Если он, то кто из эмиров и сановников поддерживает его, кто близок к нему?.. Кто остался верен шах-заде? На кого можно опереться, кому довериться? Даже те, что пришли сюда из Балха, и те начинают косо смотреть на него, на своего благодетеля!

Внезапно Абдул-Латиф вспомнил, что сказал ему когда-то прямо здесь, в приемной зале для гостей и советов, отец, Мирза Улугбек. Этот трон, сказал тогда отец, никому не приносил счастья. Даже прадеду, потрясателю вселенной! И потому будь осторожен с мечом. Одним мечом нельзя удержать трон за собой, как нельзя насильно заставить женщину быть верной тебе. «Неужели моления султана-нечестивца дошли до всевышнего? Неужели небеса вняли отцовым слезам? Нет, нет, хоть он и родитель мой, но не может, не должно быть прощения властелину, поднимаемому против истинной веры!» — думал Абдул-Латиф, но, думая так, знал, что лжет, самому себе лжет. Он знал, что Улугбек не был врагом веры, знал он и то, что не за веру воевал против отца. Шах-заде манил трон, влекла к себе упоительная отравка — сладость власти, безраздельной, полной, могущественно не считающейся ни с чьей иной волей.

За такое вожделение и следовало держать теперь ответ.

Но если так... то каким же будет этот ответ? Что именно ждет его впереди и когда? И нельзя ли обойти судьбу? Этот вопрос заставил Абдул-Латифа подумать об искупающей многие грехи силе милосердия, а подумав о милосердии, вспомнить про Али Кущи.

И, когда вошел сарайбон и сообщил, что мавляна вернулся из бани, шах-заде вновь почувствовал некое облегчение.

Абдул-Латиф поправил на себе одежду, разгладил пояс в рубиновых камнях, собравшийся в складки. Подошел к трону. Сел.

Руки его на подлокотниках тронного кресла мелко дрожали, сердце билось учащенно.

— Скажи, пусть входит!

Дворецкий ввел в залу Али Кушчи, поддерживая его под руку. Мавляна сделал несколько неуверенных шагов — так ходят в самом начале выздоровления больные, долго пролежавшие в постели. Наклонил голову — то ли в знак приветствия, то ли от болезненной слабости.

Шах-заде внимательно оглядел мавляну.

На ногах Али Кушчи новые, из желтого сафьяна сапоги; теплый добротный чекмень скрывает худобу тела; черный бобровый тельпек на голове делает выше ростом.

«Постарались одеть как надо». Шах-заде сделал знак сарайбону, чтобы тот оставил их вдвоем.

— Как теперь чувствует себя уважаемый мавляна? — Голос шах-заде был необычно мягок и участлив.

«Неужели и впрямь усовестился?»

— Благодарение всевышнему... жив-здоров.

— Вас покормили, мавляна, как надлежит? Может быть, пригубите немножко вина?

Али Кушчи не сразу ответил. После горячей бани и сытного обеда тело расслабилось, ноющие ноги едва держали его. А глаза слипались так, что, разрешив шах-заде, упал бы сейчас на пол, на ковер, и тут же заснул бы.

Из ажурно расписанного кувшинчика Абдул-Латиф налил кубок доверху.

— Отпейте, мавляна. Вино взбодрит вас.

«Ну что ж, почему и не отведать?»

Рука плохо слушалась мавляну. Тем не менее кубок он удержал и, мало того, осушил, все вино выпил, до капли. Абдул-Латиф принял кубок из его руки, обошел залу и поставил в одну из стальных ниш.

Помолчали. Шах-заде ждал, когда окажет действие вино, выпитое Али Кушчи. Глаза мавляны вскоре и впрямь заблестели, щеки оживились румянцем. Он уже свободнее осматривал залу. Абдул-Латиф придвинул ученому одно из мягких кресел, сказал вкрадливо:

— Садитесь, садитесь, мавляна.

Внутренне усмехаясь, Али Кушчи сел: вино прояснило сознание, а не затуманило его. Даже боль в ногах приутихла.

Мирза Абдул-Латиф продолжал стоять перед мавляной и все смотрел ему в лицо.

— Почтеннейший мавляна! Вы, может быть, недоумеваете, зачем я пригласил вас к себе. Что за странная любезность, не правда ли, если вспомнить, что произошло между нами раньше.



Но выслушайте, прошу вас, выслушайте. Когда я... когда мне пришлось отправить вас в заточение... я не думал, что мои слуги так... перестараются в исполнении моей воли... Примите мои извинения, мавляна!

«Не думал?.. Ну да, не думал. И, направляя к отцу своему убийцу, тоже не думал, что тот отрубит ему голову...»

— Поверьте, видя ваше теперешнее состояние, я испытываю глубокое сожаление. Смотритель зиндана мною наказан, он сам ныне в зиндане! Исполнители воли властителя должны быть чисты перед ним, не превышать того, что они обязаны делать... Но безгрешен один всевышний, не правда ли, мавляна? Может быть, не только зиндан-беги, но и я по неведению своему свершил грех, обидев вас... Надеюсь, вы простите меня!

«Лицемерит или впрямь какая-то беда пала на голову этого человека? И немалая, видно, если властитель просит прощения у беззащитного узника!»

Али Кушчи заметил, как переменялось выражение глаз шах-заде — с пытливое на жалостно-кроткое. «Властители не просят прощения у таких подданных, как я!» — хотел сказать он в ответ, но под просительным взглядом Абдул-Латифа сказал другое:

— Я хотел бы узнать о цели столь любезного приглашения.

Шах-заде смешался, побледнел сильнее прежнего и несколько резче, чем ему хотелось, произнес:

— Мне нужен гороскоп. Я должен знать свою судьбу... и судьбу государства, мавляна!

Абдул-Латиф поймал недоуменный взгляд Али Кушчи и, боясь, что его перебьют, заговорил скороговоркой:

— Если я непоследователен, то... простите меня и за это, мавляна. Не буду скрывать от вас — ход событий таков, что не могу я не думать, что меня ожидает... Не могу! Вам-то известно, как тесно связана судьба государства с судьбою венценосца... А вам ведомы тайны будущего, тайны звезд, мавляна.

Али Кушчи устало закрыл глаза.

«Что мне сказать тебе, тебе, отнявшему и трон и жизнь у родителя своего, у великого мудреца?.. Изменчива жизнь властителей и властолюбцев... Спрашиваешь о судьбе своей, но разве не ждешь ты ответа, заранее благоприятного для себя? Разве истину хочешь ты знать?.. Бедный, гонимый человек, вроде меня, уподобляется путнику в сказке: пойдет направо — встретится со львом, налево — попадет в пасть дракона... А судьба твоя ясна и без гороскопа: кто поднял меч на отца, проклят во веки веков, и нет для него спасения!»

Вслух Али Кушчи сказал:

— Да простит меня шах-заде, я уже давно оставил астрологию...

— Полноте, — шах-заде нервно засмеялся. — Ваша слава прорицателя широко известна.

— Забыл я, все забыл...

— Вспомните, мавляна!..

— Но тяжкий недуг одолел меня, отнял силы. В таком состоянии я ничего не смогу — ни вспомнить, ни истолковать.

Не дослушав мавляны, Абдул-Латиф загремел колотушкой.

— Мы вас вылечим, мавляна. Лучшие табибы будут лечить вас. Вам разрешено будет поселиться, хотите — здесь, хотите — в обсерватории, где хотите. К вашим услугам будут лучшие бакаулы, самые расторопные слуги. Мы быстро восстановим ваши силы... — И вошедшему сарайбону: — Отведите мавляне самую уютную, тихую, самую светлую комнату в Кок-сарае. И пусть сегодня же мои личные лекари осмотрят его. И повара пусть готовят по желанию мавляны.

Уже выходя из залы, Али Кушчи вспомнил предостережение матери: подальше, подальше от владык, верблюжонок мой, и от гнева их, и от милости. Вспомнил и мысленно улыбнулся. Что ж, он испытал гнев этого властелина, испытает, видно, и милость его.

## 22

Эмир Джандар в нетерпении расхаживал вокруг небольшого шатра, неприметно поставленного в тени деревьев на берегу сая. Услышав топот копыт, обернулся.

То был Шакал. Из-за редких горных елей, что покрывали пологий склон, показался буланый иноходец, на котором без седла восседал есаул. В руках он держал поводья породистого эмирского карабаира — конь Султана Джандара не очень охотно шел в поводу вслед за буланым. Но трудность эта, видно, не тревожила Шакала, он широко улыбался. «Ишь, доволен чем-то, шайтан косоглазый», — вскипел заждавшийся Султан Джандар, устремляясь навстречу есаулу и поигрывая тяжелой плеткой с серебряной рукоятью.

— Где ты там слоняешься?!

Шакал как бы и не обратил внимания на грубость эмира. Прищурившись, заулыбался еще шире, растянув рот и впрямь до ушей.

— Ваш слуга видел диво дивное, мой эмир!

— Брось ты свои выдумки, не до них! Снаряжай побыстрее коней! Опоздаем на совет!

Злость его была оправданной: Шакал отправился за конями раньше полудня, а сейчас уже вечерело. А дело было такое... Через этот сай прошел табун, и лихой конь эмира, что был стреножен поблизости, порвав путы, умчался за табуном. Шакалу пришлось, не успев заседлать своего буланого, кинуться в погоню. Он догнал табун довольно далеко отсюда, у горной речки, неподалеку от кишлака Куйган-тепе. Лихой карабаир эмира, откормленный и злой, заставил Шакала попотеть, прежде чем

дал себя словить. Пришлось загнать коня во двор одного садовника, чей дом был расположен внизу, у самого подножия холма. Подняв шум и пыль, ломая плетеную изгородь, Шакал наконец поймал буйное животное, а потом, когда давал лошади остынуть, крепко вцепившись в поводья, натянутые на руку, он и увидел то самое «диво дивное», которым хотел заинтересовать и задобрить Султана Джандара. Диво это — молодая женщина, богато одетая и до необычайности красивая. Шакал видел ее всего миг — она показалась на балахане и тотчас скрылась в испуге, заметив, что ее увидели. Шакал вывел коня со двора, и уже у ворот молнией вдруг ударила догадка: это же... это же дочь мавляны Мухиддина, провалиться ему на месте!

Такая красавица в тонком шелковом платье, в расшитом золотой нитью покрывале на лице — откуда она здесь, в горном бедном кишлаке, в полуразвалившемся доме садовника? Нет, не иначе это и есть Хуршида-бану, хотя Шакал ни разу до того не встречал красавицу.

В самом деле, почему бы ей не быть Хуршидой? Известно, что сбежала она из родительского дома вместе со старой служанкой — нянькой своей, а нянька была из Чор-су, то есть той части Самарканда, где проживало много пришельцев как раз из этих горных мест. И вот, помогая и себе, и госпоже своей, служанка могла забраться сюда, в далекие от чужих глаз края. Почему так не могло быть? Очень даже могло!

Этим-то своим мыслям, этой своей догадке и улыбался Шакал, когда вел к хозяину иноходца Султана Джандара.

Грубость эмира, не пожелавшего узнать о «диве дивном», огорчила было Шакала, но, подумав, он решил, что, может, это и к лучшему. Продать тайну сразу — значит, чаще всего, продать ее дешевле, чем нужно. Стоит подождать!

Через некоторое время эмир Джандар вышел из шатра, готовый скакать на «совет», как он сказал, а точнее, на сборище заговорщиков. Вырядился, как в Кок-сарай на прием: парчовый халат, серебристый широкий пояс, дорогая сабля! Покажешься бедным — можешь прогадать в сравнении с другими сановниками-заговорщиками.

Все еще насупленный, эмир подошел к коню и с помощью Шакала вознес грузное свое тело в седло.

День был на исходе, но громадное зарево на белизне горных вершин еще не погасло, отсветы его большими плоскостями желтого и розового цветов окрашивали прозрачно-зеленые подножия гор, склоны более пологих, чем горы, холмов, что поросли арчой, свежей после недавнего дождика, водную рябь сая, полного и шумного в это время года. В лучезарной прозрачности лежали ложины меж холмов, и казалось, что каждая травинка соткана из золотых нитей, и весь покров травы растилался зелено-желтым шелком, золотисто блестел, подвластный ветру. В синеве неба, где-то там, куда глазу человеческому

не проникнуть, пели жаворонки; от скал и холмов доносились горловые клики горных фазанов. Эти птицы попадались и в низине: выскакивали чуть ли не из-под копыт, шумно взлетали, но собственная тучность не давала им возможности лететь долго и они снова падали в траву.

Эмир всякий раз вздрагивал он неожиданного шума, производимого фазанами при взлете, чертыхался яростно, а потом снова погружался в свои мысли, все думал и думал о том, что случилось с ним в последнее время, и о том, чему следовало бы, по его мнению, случиться.

Побег Абу Саида был звонком, предупреждающим, что пора пришла.

Настало время подумать о себе, спасти себя, и вот уже больше двух недель Султан Джандар околачивается здесь, в глухих, забытых аллахом местах. Он, а с ним Шакал. Шейх Низамиддин Хомуш, а вслед за шейхом и шах-заде что-то недоверчиво стали посматривать на верного есаула. Береженого, известно, и всевышний сбережет. И Шакал подался сюда же. Зелень тогда лишь принималась расти, а нынче травы до колена, горный урюк уже с горох... Плохо вот только, что в горах этих диких они и живут, словно дикие животные: боясь, чтобы его не выследили, эмир что ни день меняет стоянку, кочует из долины в долину, прячется по пещерам или в иных укромных местах. На дне ущелий, оврагов разбивает свой старый неприметный шатер. А Шакал должен охотиться: днем на фазанов да кекликов, по вечерам на более крупную дичь. Бывали удачливые вечера, когда из того или другого кишлака приносил он барана, козла, но промысел этот становился все более опасным не потому, что уменьшилось число «нерасторопных хозяев», а потому, что взимателей податей в кишлаках увеличилось. Дехкане их, понятно, не любили, наиболее ретивым оказывали сопротивление, и тогда сборщики податей подкреплялись воинской охраной, доблестными нукерами властителя, в чьи руки Шакал никоим образом попасть не желал...

Эмир Джандар тоже не просто отсиживался в этих глухих предгорьях. Раз в три-четыре дня он исчезал куда-то темной порой. Потом стал брать и Шакала, только близко не подпускал, чтобы не узнал, с кем именно эмир встречается. На таких «советах» Шакалу доверяли стеречь коней. Любопытство Шакала пылало, но, кроме того, что собеседники эмира тоже беглецы эмиры, недовольные шах-заде, Шакал пока об этих «советах» ничего определенного сказать не мог.

Не раз думал он о том, что эти пять-шесть человек вряд ли сумеют причинить ущерб властителю с его многочисленным войском, и, коли по правде, не раз прикидывал, не вернуться ли ему, верному слуге, в Кок-сарай.

Сейчас он тоже размышлял об этом предмете, поглядывая на мощную спину ехавшего впереди эмира. «Ишь, ослиный упрямец, грубиян! Сидит, юрта в седле!.. Можно и безголовой

эту юрту сделать,— подумал Шакал, и от такой мысли мурашки пробежали по телу.— А что? Вернуться в Кок-сарай, пасть к ногам шах-заде, все рассказать. Ну а ты, почему ты убежал с эмиром Джандаром? Как почему? Искал красавицу, дал себе обет не возвращаться, пока не найду. И нашел!»

Тут мысли спутались. Пожалуй, за это сообщение шах-заде его и простит. Простит, но и только? Красавицу себе возьмет, а ему, верному есаулу, что?.. Не больше ли ему, бедному, от эмира перепадет?

Шакал хлестнул коня, догнал эмира. Султан Джандар угрюмо взглянул на него. Повернули вверх, к холмам. За одним из них вился ручей, что вел к кишлаку Куйган-тепе.

— Там, на другой стороне сая, кишлак Куйган-тепе,— предупредил Шакал.— Многолюдный кишлак...

— Знаю! Молчи! — Султан Джандар придержал коня у одинокой арчи.— Кишлак на той стороне, а на этой... Взберись-ка на холм, на самую макушку, огляди нашу сторону. Увидишь усадьбу. Если там будут гореть два костра, быстренько дашь мне знать. Понял, что ли, шайтан косоглазый?

— Понял, господин...

Вечернее багряное зарево угасло, и долина погрузилась во тьму. Сверху уже нельзя было разобрать ни ленты сая, ни кургана, подле которого, как объяснил эмир, была нужная усадьба. На дальнем от холма берегу в кишлаке зажглись первые огоньки. Шакал, держа лошадь в поводу, хотел было спуститься с вершины холма, как вдруг где-то впереди, в густой тьме, вспыхнул костер, да такой, что, несмотря на расстояние, смутно замаячили в его свете чьи-то тени рядом с огнем. Потом зажегся второй костер, осветил ворота и всадников возле них. Шакал хотел сказать об этом, но нетерпеливый эмир сам поднялся на холм, взгляделся в костры, коротко, будто рассерженно, бросил:

— Прибыли эмиры... За мной!

Поведение Султана Джандара, его открытое признание того, что раньше скрывалось — «прибыли э м и р ы», — смутило Шакала. Видно, кончалось их двухнедельное осторожничанье. Но раздумывать, как поступить, было уже некогда. Шакал тоже пришпорил коня и быстро достиг ворот усадьбы. Здесь их встретили всадники, группа незнакомых есаулу воинов. Они помогли эмиру Джандару слезть с седла. Спрыгнувшему с коня Шакалу эмир сказал строго, но тихо:

— Не отходи от ворот. Следи, кто будет приходить... Чтоб точно знать, кто приходил, кто уходил!

И, хлопая плетью по голенищу сапога, двинулся во двор, растворился в темноте.

Шакал привязал коней к высоким кустам тала, заросли которого спускались до воды... Ага, вот еще какие-то всадники. Шакал затесался в группу нукеров, помогавших всадникам спешиться, взял за повод коня одного из прибывших и чуть не вскрикнул от удивления: всадником с клиновидной бородой

и в большой чалме был не кто иной, как редко появлявшийся в Кок-сараяе шейх-уль-ислам Бурханиддин!.. Вот оно что! Ва! Да тут и самаркандский градоначальник Мираншах! Тут и... Сердце Шакала учащенно забилось: Мираншаха встретил у входа в усадьбу стройный воин в особенно ладно сидящих доспехах. Любимый нукер Мирзы Улугбека Бобо Хусейн Бахадыр! Он исчез сразу же, как пал Мирза Улугбек. Его очень старательно искали люди Мирзы Абдул-Латифа, в том числе и... эмир Султан Джандар, искали, не находили, впадали оттого в неистовство и отчаяние! А теперь вот... Что тут будут делать все эти люди, сильные мира сего? Какие сделки затевают? Вот так «совет»!..

Шакал прошел в глубь двора, расстелил в углу на траве чекмень, прилег на него.

Должно быть, все, кому надлежало прийти на «совет», пришли, потому что воины в воротах погасили факелы. Были погашены и костры во дворе, только в углу чуть светились угли, на которых жарили шашлык. От шашлыка, призванного утолить голод эмиров и беков, шел, распространяясь по всему двору, приятный запах, и Шакал проглотил слюну.

Он лежал на спине, Шакал-есаул, глядел на звезды небесные и думал, думал.

Нет, сейчас он думал не о выгодной продаже своего секрета. Светлые звезды, казалось ему, подмигивают, будто дразнят человека. Будто сами они живые существа, которые знают людские секреты. Мирзу Улугбека называли властелином звезд, он был великим ученым, познавшим тайны звезд, а кто знает чьи-нибудь тайны, тот... Улемы лыстили в глаза Улугбеку, а за глаза проклинали. Они ненавидели его и боялись... И впрямь: из тех, кто враждовал с мудрецом Улугбеком, ни один не остался без кары. Так или иначе, но отмщение их настигло. Саид Аббас, убийца султана, как его покарал аллах! А разные эмиры и беки, что наплевали в ту самую солонку, из которой отвеदывали соли Мирзы Улугбека? Многие из них получили по заслугам. Теперь, похоже, мщение настагает и шах-заде.

Шакал даже съезжился от страха, но не из-за таких крамольных мыслей, а потому, что вспомнил недавнее свое желание прийти с повинной в Кок-сарай. Нет, отцеубийца не та опора, на которую стоит рассчитывать. Если уж на «совет» собрались и Мираншах, и шейх-уль-ислам Бурханиддин, и Бобо Хусейн... и этот, ослиного норова, эмир Султан Джандар... Нет, видно, дни благоденствия для шах-заде сочтены.

И странная печаль овладела при этом соображении сердцем Шакала... Будто мрак охватил долину. И долиной оказалась его душа. Да не долиной, а ущельем, расселиной в скалах, меж двух гор, меж двух огромных костров. Как выйти на волю из этой расселины?

Не помнил Шакал своих родителей. Единственное, что помнил с детских лет — самаркандский базар. Громадный! Прославленный от запада до востока! Там он был водоносом. Там он

подметал в торговых рядах, в караван-сараях. Там был истопником в бане. Не было такого низкого ремесла, которым он не занимался бы. Не было переулка с дурной славой, где бы он какое-то время не обитал. Воровал. И грабил. И даже убивал по найму, не зная, кого, не зная, за что. Пожелав исправиться, замолишь свои грехи, стал дервишем, но и в дервишеском уединении не нашел спокойствия для себя. Несмысленным юнцом попал в руки к одному знаменитому вору. Усталым взрослым человеком — в руки шейха Низамиддина Хомуша. Стал соглядатаем, доносчиком презренным!.. А теперь вот всецело зависит от этого свирепого, упрямого, словно осел, эмира.. Уже за сорок перевалило, а что видел в жизни хорошего, светлого? Явился в сей грешный, в сей грязный и лживый мир, а зачем?

Шакал неожиданно почувствовал на губах соленый привкус. Он плачет? А почему бы и не поплакать? Почему бы и ему не перестать жить греховной жизнью, не выбраться куда-нибудь из этого города, залитого кровью тысяч невинных?..

— Эй, есаул, спишь, что ли? Снаряжай коней! Гости расходятся.

Шакал поспешно вскочил на ноги. Он не спал, он мечтал, и, судя по небу, мечтал довольно долго: полная луна, подобно огромному золотому блюду, уже сияла над цепью гор. В нежном сиянии этом мир вокруг преобразился. Будто омылась молоком лощина, уходящая вдаль между холмами, темные сады по ту сторону сая, журчащий откуда-то сверху ручеек, кони, пасшиеся вокруг усадьбы, горы вдали, горы... Минуту стоял в изумлении перед открывшейся вдруг красотой ночи есаул, словно стряхнул с себя дивный сон, когда кажется, что попал ты в иной мир, минуту стоял, а потом вышел к коням, очарованно-медленно стал подтягивать их подпруги, и лишь громкий шум у ворот заставил руки его двигаться побыстрее.

Он подвел коней к воротам, посторонился, потому что со двора, на белом, лебедино-белом скакуне выплыл из темноты Бобо Хусейн Бахадыр; за ним тронулся градоначальник Мираншах и сиятельный шейх-уль-ислам Бурханиддин. Воины стояли в стороне, почтительно сложив на груди руки, а сильные мира сего степенно прощались с эмиром Джандаром, который вышел вслед за ними. Заметив в темноте Шакала, эмир зло буркнул:

— Ну что, опять заставляешь себя ждать? — и всунул ногу в стремя. Один из нукеров кинулся помочь, но эмир, оттолкнув его, хекнул и рывком вскинулся в седло.

...Султан Джандар горячил коня до самого подъема на холм. Поднявшись, остановился, долго смотрел вниз, туда, где темнели в лунном свете очертания кургана и где ловко спрятались от глаз усадьба.

— Ну, узнал ты тех, кто приезжал?

— В темноте разве разберешь, господин мой? — как всегда, состорожничал Шакал.

— Притворяешься, шайтан косоглазый,— сказал Султан Джандар, но уже без прежнего раздражения.

— Клянусь аллахом...

— Да ладно! — Эмир улыбнулся довольным.— Пожаловали туда, где мы были недавно, досточтимый Мираншах и сиятельный шейх-уль-ислам Бурханиддин! Понял теперь, почему я так торопился и тебя поторапливал?

— Понял, понял, мой эмир! — Шакал подъехал поближе и доверительно прошептал: — Что порешили на совете? Скоро ли избавимся от жизни обиженных скитальцев, господин мой?

— Наберись терпения, есаул! — почему-то развеселившись, громко произнес эмир Джандар.— Потерпи, потерпи и не только скитальцем не останешься, а, глядишь, побываешь в гареме шах-заде, наобнимаешься там с красотками всласть!

«Дни шах-заде сочтены, сочтены».

Настал, видно, миг, когда стоило рассказать эмиру про ту красавицу, что была им замечена в доме садовника.

Стоит ли, однако? Ведь совсем недавно думалось о другом — о высоком, о чистом, но сожаление такого рода мелькнуло и скрылось у Шакала, и если он ничего не сказал о красавице, то из-за обычной своей осторожности.

«Не будем торопиться, не будем торопиться... Поспешешь — добрых мусульман насмешишь. Всему свое время», — так подумал он. А вслух, захихикав в ответ на шутку эмира, сказал:

— Не знаю, сдержит ли эмир свое обещание... это, значит, насчет пообниматься с красавицами из гарема, но... ваш слуга не останется в долгу, благодетель мой!

## 23

Шах-заде приехал в «Баги майдан» ненадолго. Всего лишь проветриться, осмотреть сад, так он думал. Но в Кок-сарай возвращаться вдруг не пожелал.

В полдень пронесся над садом ливень. Все заиграло после него, все помолодело, посвежело, расцвело, будто невеста после купанья. Омытые щедрой влагой кипарисы нежно переглядывались друг с другом через дорожки аллей. Сквозь арчу можно было видеть кипень цветов — белых, желтых, фиолетовых, красных, и в чашечке каждого блестками горели прозрачные капли, как вино в тонкостенных миниатюрных пиалах.

Сад звенел соловьиными трелями, точно под каждым листом, каждой веткой прятались соловьи, точно стоворились они своим восторженно ликующим пением перекрыть всех других птиц.

Здесь, в раю «Баги майдан», печали отпустили сердце шах-заде. Спокойно расхаживал он по дорожкам, заводившим в самые отдаленные уголки сада, вслушиваясь в мягкое поскрипывание красноватого песка под ногами. Кружил вокруг цветников,



разбитых в виде месяца и звезд и ухоженных с особой любовью и тщанием.

Ходил и вспоминал свое детство. Торжество, устроенное однажды отцом в его, отрока, честь в этом райском саду. И состязания поэтов, и пиршества отцовские, знаменитые багдадские пиршества с участием сладкогласых певцов и лучших танцовщиц.

Слезы навернулись на ресницы Абдул-Латифа.

Вспомнилось, как однажды приехал он сюда на какой-то праздник из самого Герата с дедом Шахрухом, да удостоит его аллах рая! Точно такая же стояла погода, теплая, весенняя. Он ехал на лихом скакуне, и все тянуло его в головную часть каравана — огромного, тысяча всадников одних сопровождающих, — а там легкие кабульские арбы везли бабку, величавонадменную Гаухаршод-бегим, и ее двор — приближенных, слуганок и невольниц. Прекрасные, юные, они волновали его сердце, а то, что их лица были скрыты под шелковыми покрывалами, еще больше разжигало воображение шах-заде. Абдул-Латиф гарцевал близ крытых арб, а то, в нетерпении нахлестывая армага, срывался вперед, обгонял караван. Дед Шахрух не любил быстрой езды, его лошадь тихой иноходью несла повелителя, давая ему возможность степенно беседовать с ехавшими рядом столпами веры. Однако же у молодых внуков удаль не возбранялась, а поощрялась — в виде лихой скачки, джигитовки, фехтования.

Вечерами большой караван останавливался в широкой степи у подножия холмов. В высокой траве ставились многоцветные шатры; ярко вспыхивали костры, и знаменитые гератские бакаулы показывали свое искусство в приготовлении шашлыка из молодого барашка и душистой шурпы, приправленной травами, приятными по аромату и полезными по лечебным свойствам. Тогда стоянка каравана напоминала юному шах-заде лагерь огромного войска, и мысли его уносились вдаль, манили в походы, завоевания. Абдул-Латиф вздрагивал от ржания коней, уведенных попасть в степь, от призывно-нежного смеха невольниц в близких шатрах, от мелодичного перезвона их украшений; он лежал на спине, вглядывался в звезды, разбросанные по всему пространству степного неба, и жизнь казалась ему прекрасной, безмятежной, открытой для исполнения желаний. Душа жаждала побед на полях брани, славы и доблести, женского восхищения и власти, власти! И в седьмом, самом дурном сне не могло ему тогда присниться, что власть, престол принесут ему не славу и счастье, а страдания и горе.

О, как много бы отдал он теперь за то, чтобы вернуться к нему отважно-безмятежные настроения юности!..

Неспешно, словно не желая расставаться с воспоминаниями, столь далекими и столь приятными, зашагал Абдул-Латиф к дворцу «Сорок колонн» — «Чил устун». Подойдя поближе, он невольно залюбовался радужной игрой света на китайских изразцах,

которыми были выложены стены дворца, лишь четыре тонких минарета по углам, неподвластные этой игре света, взмывали вывысь, четко лазурные на фоне неба.

Шах-заде прошел сквозь строй слуг и охраны, медленно пересчитывая ступени, поднялся на второй ярус дворца. В роскошно обставленной комнате его встретил темнолицый сарайбон с серьгой в мочке правого уха. Абдул-Латиф не обратил внимания на его низкий поклон. Вышел на айван, огороженный частоколом причудливых реек-балясин. Не заметил шах-заде и шелковых одеял, умело сложенных посередине террасы перед низким столиком, уставленным яствами. Шах-заде смотрел в сад. Отсюда, сверху, тот выглядел еще прекраснее со всеми своими цветниками и краснопесочными дорожками. Отсюда, сверху, четко просматривались сквозь тонкую розоватую дымку дальние цепи гор, а вот Самарканд из-за деревьев разглядеть было нельзя — только одно здание, вернее, купол его переливался в лучах заката. То был купол стоявшей на возвышении, как бы на одной плоскости с дворцом обсерватории Улугбека.

— Да простит меня повелитель...— услышал шах-заде несмелый голос,— но... пришло время возвращения в столицу... скоро запрут городские ворота.

Возвращение в столицу? А зачем ему возвращаться в Кок-сарай? Нет, нет, сегодня он заночует в этом райском саду. И может быть, здесь вовсе избавится от гнетущей тоски.

— Есть вино? — спросил шах-заде, не сводя глаз с далеких гор.

— Вино?.. О, есть, есть, повелитель!

Через минуту он вернулся. Абдул-Латиф все смотрел на горы.

— Прошу вас, пригубите, повелитель.

Терпкое золотистое вино шах-заде выпил залпом. Стоя все еще спиной к сарайбону, протянул цветастую китайскую чашу: повтори! После второй чаши сказал, повернувшись наконец лицом:

— Сегодня заночуем здесь. Повара тут?

— К вашим услугам, повелитель.

— Скажи, пусть приготовят шашлык из перепелок!

— Будет исполнено!

— Да не торопись. Вот еще что...— Шах-заде поставил чашу точно в центр хантахты.— Пошли-ка в Кок-сарай гонца с повелением моим госпоже гарема прислать нам сюда певиц и рабынь помоложе. Вместе вкусим блаженства.— Он игриво подмигнул дворецкому.— Выберешь себе, какая приглянется.

— Благодарю, повелитель!

Шах-заде сам налил в чашу вина из хрустального графина, выпил снова залпом, щепотью взял с блюда каких-то ягод, закусил. Потом прилег на одеяла, оперся на локоть, рукой подпер голову.

Темнота наконец победила вечернюю зарю. Сквозь редкие

облака были видны теперь первые, робкие еще звезды. Шах-заде прислушался к топоту ног внизу — то слуги кинулись выполнять приказания сарайбона. А вскоре теплая истома начала разливаться по телу, расслабляя мышцы. Шах-заде вытянул руку, положил голову на подушку, смежил ресницы.

Сон вначале был добрым, приятным. В Кок-сараяе, в помещении, примыкающем к гарему, шел пир на весь мир. Все эмиры и беки, все сановники и охранники были тут и славили его, Абдул-Латифа. Слуги мелькали среди гостей с блюдами на вытянутых руках — яства, вина, фрукты. У дверей музыканты из самых известных пленяли слух мелодиями. Тонкая кисея отделяла помост для танцовщиц; они грациозно изгибались, мягко ступали в ритме танца, четко, в такт позванивали украшениями, и кисея ничуть не скрывала их прелестей, она не препятствовала их томных взглядам, зажигавшим у гостей сладострастные помыслы.

Внезапно веселье было прервано появлением эмира Джандара.

— А, он тут! — закричал шах-заде. — Хватайте этого подлого заговорщика! Он скрылся! Он бежал! Он роет нам яму!

Несколько эмиров, что сидели неподалеку от входа, выхватили сабли из ножен, подскочили к Султану Джандару. Но тот отстранил их и приблизился к шах-заде.

— Защитник престола! Ваш слуга не помышляет о заговорах...

— Где же ты пропадал тогда?

— Ваш слуга скитался по горам. Он охотился за газелью для своего благодетеля... И сегодня я принес ее голову вам! Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов, почувствуете себя как в раю!

И с этими словами оборотился к дверям, кивнул. Двери распахнулись, вошел какой-то незнакомый воин, неся на вытянутых руках большое золотое блюдо, сверху накрытое белой скатертью.

Эмир Джандар взял это блюдо из рук воина, протянул шах-заде.

— Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов!

Шах-заде приподнял скатерть и... закричал в ужасе: собственная его голова, окровавленная, с ощерившейся, навеки замершей улыбкой, смотрела на него... Шах-заде выбил блюдо из рук эмира, и голова покатила по полу, оставляя за собою кровавый след.

Истошным воплем прервался сон Абдул-Латифа.

Из соседней комнаты, где музыканты настраивали чанги и сетары, прибежали на крик сарайбон и слуга.

Они увидели шах-заде, обнявшего левой рукой колонну айвана, а правой сжимавшего рукоять обнаженной сабли. Шах-заде раскачивался, как пьяный, грозя вывалиться через перила. Глаза его дико блуждали. Сарайбон и слуга так и застыли у входа на айван.

— Что... что случилось, повелитель?

Голос дворецкого словно отрезвил шах-заде. «Сон... Это был сон»,— наконец понял он и сразу как-то обмяк, оторвался от колонны и, сделав шаг навстречу слугам, закрыл глаза. И тотчас зловещее видение вновь предстало взору — ощерившаяся голова на золотом блюде опять уставилась на него,— и шах-заде в ярости почти полного безумия замахал саблей, наступая на прибежавших. Сарайбон и прислужник, пятась, отступили внутрь комнаты. Шах-заде вошел туда следом, все еще бессмысленно размахивая саблей. Музыканты и певицы, что стояли у противоположных дверей, кинулись наутек, вниз, на первый этаж; девушки-рабыни замерли в ужасе, и лишь одна, совсем молоденькая, жавшаяся к своим товаркам, закричала в голос, кинулась было бежать, запуталась в шелковой занавеси и закричала еще громче.

Этот крик привел шах-заде в себя.

Он сделал шаг назад к выходу на айван. Опустил саблю.

— Вон, вон отсюда! — гаркнул он.— Все убирайтесь! Вон из дворца!

Полуобнаженные невольницы вспугнутыми ланями выскочили из комнаты, их туфельки стремительно простучали по мраморной лестнице.

Шах-заде отвел глаза. «И там голые, и здесь голые. Сон ли это был? Кончился он или нет?.. Прости, прости своего бедного, несчастного раба, всевышний!»

Он остался один. Вложил саблю в ножны. Оглядел еще раз опустевшую комнату.

«Благодарение создателю, то был сон! Сон!.. Эта окровавленная голова... как она покатилась по полу!.. О, аллах, какие же еще беды уготовила мне судьба?.. Судьба?»

Это слово напомнило ему о гороскопе.

«А где этот Али Кушчи? Мы же уговорились продолжить наш разговор».

Шах-заде хлопнул в ладоши. В дверях возникла фигура сарайбона.

— Гонца в Кок-сарай!.. Немедленно... Пусть доставят сюда мавляну Али Кушчи!

Сарайбон осмелился войти в комнату.

— Повелитель, но сейчас уже за полночь, ворота в городе навверняка заперты.

Шах-заде нетерпеливо завертел головой.

— Какое мне дело?! Дай гонцу мою грамоту, скрепи ее печатью... Или мчись сам! Хоть из-под земли достань! Мавляна должен быть тут. Все! Выполняй!

Больше всего Абдул-Латифу хотелось сейчас лечь на курпачу, закрыться одеялом по макушку, постараться забыться сном. Но сна он и боялся, знал, что лишь закроет глаза, и опять будет щериться отрубленная его голова.

Шах-заде осушил еще одну — уж какую за ночь? — чашу с вином. Все думал опьянеть. Но на сей раз мусаллас не помогал.

Медленно тянулось время.

Абдул-Латиф непроизвольно ловил каждый шорох, каждый легкий звук внизу и на лестнице, ведущей сюда. Вот-вот, казалось ему, войдет Султан Джандар с блюдом-подносом, накрытым скатертью!

Блуждая взглядом по стенам комнаты, он увидел книги, стоявшие в небольшой нише как раз над дверью, что выводила на айван. К ним, видно, давно никто не притрагивался: куполовидная ниша запылилась, цвет зеленых, красных, желтых переплетов померк.

Шах-заде взял толстую книгу в зеленоватом переплете. Золотое тиснение извещало, что у него в руках книга великого Низами Гянджеви.

В молодости, обучаясь в медресе, Абдул-Латиф любил читать звучные, как музыка, стихи Низами, его мудрые дастаны и рассуждения. Мудрость приносит успокоение душе, подумалось и теперь, и не без поспешности раскрыл он книгу наугад, жаждая прочесть что-то такое, что сняло бы тяжесть с сердца. Пробежал первые строки, попавшие на глаза, и... покачнулся. Будто тяжелой булавой ударили по шлему: все загнуло вокруг, закружилось, померкло. Том выпал из рук. Желая удержать его, Абдул-Латиф непроизвольно вырвал несколько страниц, и они рассыпались по ковру, а сама книга покатилась... Опять покатилась! И из зеленой стала вдруг красной, окровавленной... Он с силой сомкнул веки, боясь разомкнуть их, увидеть голову на полу... Но что там голова! Таинственные строки, прочитанные им, золотые буквы не исчезали из памяти, все стояло, извиваясь, перед глазами.

Чем кончались два бейта, открытые им наугад и потому обозначавшие его судьбу, этого он не помнил. Зато начало... начало... оно было пострашнее окровавленного видения... «Отцеубийца не протянет и полугодом на престоле...» Эти слова каленым железом жгли мозг шах-заде.

«Отцеубийца не протянет и полугодом на престоле...»

«А я... сколько я сижу?» Он слотнул слюну и стал судорожно подсчитывать. «Тогда был... шагбан. Сейчас? Сейчас раббидулаввал... Значит, прошло... шесть месяцев!»

Шах-заде пал на колени там же, где стоял. Горестно застонал:

— Значит, я грешен, и ты, создатель, караешь меня? Грешен... что казнил крамольников, свернувших с пути твоего, сеявших смуту в души правоверных рабов твоих?.. Что сжег еретические книги, созданные вероотступниками?.. Вразуми, вразуми раба твоего — в чем мой грех?!

Он плакал, целовал пол, молил о ниспослании милосердия. И были слезы его жалки, а слова невразумительны.

Когда Али Кушчи был разбужен среди глухой ночи, он сразу догадался о причине: «Это шах-заде... будет снова настаивать, чтобы я предсказал ему судьбу».

Мавляна очень не хотел этой встречи. Он знал об отсутствии за собой дара предвиденья, необходимого для астролога. Дожив до седых волос, Али Кушчи так и не уверился в том, что такой дар возможен, хотя и не отрицал его в других людях. Во всяком случае, он не желал обманывать, делать вид, будто обладает таким даром. Но ведь нескладно получалось — шах-заде две недели кормил, поил его, содержал на всем готовом, в хорошо протапливаемых светлых комнатах и, понятно, ожидал хотя бы из-за таких хлопот благоприятного предсказания, а он, Али Кушчи, никоим образом этих надежд не оправдывает. Нескладно, право слово, нескладно!

Али Кушчи удивился, когда нукеры вывели его из Коксарая и помогли взобраться на арабского скакуна. Путь их сначала был к площади Регистан.

Теплый день сменился ветреной студеной ночью. Тучи закрыли небо, и пустынные улицы встретили всадников холодом и клубами пыли.

«Куда это они везут меня? — удивленно подумал Али Кушчи. — В такую ночь только и свершать убийства! — Но одернул себя: — Полно, мавляна, не дрожи от страха... Хуже того, что с тобой уже было, не будет!»

Воины, ехавшие впереди, повели его за городские ворота, свернули налево, миновали какие-то овраги и арыки, сады и поля, и вот она наконец, прямая широкая дорога. Али Кушчи узнал ее. Еще бы! Это была дорога к обсерватории... «Неужели они едут в обсерваторию? Зачем? Что-то они замышляют... Что? Как мне подготовиться?»

Но нет, трое всадников — воин спереди, воин сзади, и он, Али Кушчи, в середине — свернули снова влево, не доезжая до обсерватории. Теперь дорога вела только к «Баги майдан». Сюда они и прибыли. У ворот Али Кушчи был встречен темнолицым сарайбоном, который не проронил ни слова, а сразу же повел его во дворец. Молчание сарайбона не сулило ничего доброго, и вообще этот огромный сад, что шумел, как лес, обьятый тьмой, показался Али Кушчи почти зловещим.

Внизу «Чил устун» был погружен в темноту, а из окна второго яруса падал сноп яркого света, который выглядел тоже каким-то холодно-неживым, может быть, потому, что весь дворец хранил глубокое молчание.

Сарайбон поднялся по мраморным ступеням вверх. Али Кушчи следом. У каких-то дверей, сначала чуть-чуть приоткрыв их, сарайбон пропустил ученого вперед.

Комната была ярко освещена; в глаза бросились пестрая куча одеял и хантахта с яствами, и лишь во вторую очередь Али Кушчи заметил в углу склоненного в молитве человека, припавшего лбом к полу, да так и замершего.

Шах-заде!

У порога валялась книга в зеленом переплете и белели на красном ковре странички, видно, вырванные из нее.

Али Кушчи не без удивления взглянул на сарайбона. Тот пожал плечами и, непроизвольно пригнувшись, словно передрознивая позу шах-заде, прошел чуть вперед. Тихо произнес:

— Повелитель, мавляна Али Кушчи здесь...

— А? Что? — быстро обернулся к ним шах-заде. На бескровных запавших щеках его, неприбранно торчащих усах, всклокоченной бороде блестели слезинки. — А-а, да, да... мавляна Али Кушчи!.. Добро пожаловать, мавляна, добро пожаловать...

Шах-заде торопливо поднялся с пола, качнулся, сделал два-три шага навстречу, задев ногами сабли столик.

— Рад, рад вас видеть, мавляна, весьма рад...

Он почти заикался, и движения рук его были беспорядочны, как у безумного человека.

«Если и безумец передо мной, — подумал Али Кушчи, — то не такой, как раньше, не буйный, а скорее надломленный.. Что происходит с этим несчастным?»

Дрожащей рукой шах-заде указал на книгу, зеленешую на ярком ковре, брезгливо и со страхом, словно это была не книга, а скорпион, приказал сарайбону:

— Возьми... Брось в огонь!

Сарайбон вложил в книгу вырванные страницы и молча покинул комнату. Шах-заде вскинул на Али Кушчи глаза, все еще полные слез:

— Достопочтенный мавляна! Я просил вас составить мой гороскоп. Вы осуществили мое пожелание?.. Что говорят звезды?

Обращение было любезным, на лице Абдул-Латифа задержалась, будто приклеенная, улыбка. Жалкое подобие улыбки.

Али Кушчи отвел взгляд. Почувствовав жалость к этому опустошенному человеку, тихо, почти робко сказал:

— Простите меня, шах-заде... Но ведь я признался вам однажды, что не сведущ в астрологии.

— Нет, нет! — Шах-заде испуганно взмахнул обеими руками. — Не может быть, чтобы вы, столь известный ученый муж, были не сведущи в звездах...

В голосе его звучала мольба. Али Кушчи помедлил с ответом, подбирая такие слова, чтобы не ударить ими больную душу Абдул-Латифа:

— Прошу простить, шах-заде... Если пожелания ваши касались бы геометрии... расположения небесных светил, я, возможно, оказался бы полезным для вас... А вот...

— Вы постигли тайны звезд! Значит... должны быть сведущи в их воздействии на нашу судьбу. Тайны звезд — это и тайны астрологии.

— Прошу простить меня, это не так...

— Нет, так. Так!.. Вы знаете, знаете, что мне суждено, что суждено государству моему. Все знаете, мавляна. Только не желаете сказать мне об этом!

Шах-заде отступил на шаг. Правая рука легла на рукоять сабли. В глазах мелькнуло уже знакомое выражение лишающей разума беспощадности. Вот-вот взорвется, закричит, позовет воинов. Прикажет: «Кончайте с этим вероотступником!»

«Что же делать? Сказать, что смотрел на расположение звезд, составил гороскоп, благоприятный его будущему? Но это ведь ложь! И дважды ложь, потому что сделаю вид, что разбираюсь в том, в чем не разбираюсь!.. Нет, недостойно ученому заниматься обманом. И потом... судьба отцеубийцы написана была на его челе давно, в тот миг, когда поднял он меч на родителя своего!»

Али Кушчи безмолвно стоял перед шах-заде. Ожидал взрыва. Был готов ко всему.

Но взрыва не последовало. Шах-заде закрыл лицо ладонями, вновь плачуще заговорил:

— Сжальтесь надо мной, мавляна. Почему вы такой непреклонный?.. Знаю, вы верите сплетням, наветам недругов моих... Что ж делать, если на долю моего отца, вашего устода, выпало то, что случилось? Я покарал тех, кто поднял руку на его особу!.. Что я мог еще предпринять? В чем вина моя, мавляна? В сожжении крамольных книг? Может быть, я ошибся, но это было сделано во имя веры и справедливости-и-и! — И шах-заде совсем зашел в плаче.

Он по-прежнему был униженно-просящим, но слова про «крамольные книги» погасили луч тепла, который почувствовал было к шах-заде Али Кушчи.

«Нет, не крамольные книги то были, а факелы истины и красоты, а без этих факелов и страна, и сам ты, невежда, погрузились во мрак!» Так хотелось крикнуть в лицо шах-заде. Но при взгляде на трясущиеся плечи и льющиеся слезы Абдул-Латифа Али Кушчи сдержал свой мятежный порыв.

— Мне приснился сегодня сон,— вдруг круто повернул разговор шах-заде.— Очень дурной сон, мавляна, очень дурной...

И опять Абдул-Латиф спрятал в ладони лицо, словно не желая еще раз увидеть то, что ему привиделось во сне.

Простонал тяжело. Замолчал.

Али Кушчи не знал, что делать. Сострадания к Абдул-Латифу не было в его сердце, но смотреть на рыдания и болезненные конвульсии мучающегося человека всегда тяжело.

— Прошу прощения, шах-заде,— сказал мавляна Али Кушчи как можно мягче.— Но я, ваш слуга, не достоин дара



принести вам облегчение, успокоить вашу душу. Лучше бы мне удалиться. Разрешите, шах-заде?

Не ответив ему, шах-заде вдруг опять повалился у стены на пол, стал бить молитвенные поклоны, приговаривая что-то невнятное.

На цыпочках Али Кушчи вышел из комнаты. В конце крутых ступенек, уже внизу, услышал надрывный крик Абдул-Латифа:

— В чем мой грех, скажи, о создатель?!

Али Кушчи ускорил шаг.

Внизу сарайбон, ходивший с заложенными за спину руками, вопросительно посмотрел на Али Кушчи. Теперь тот пожал плечами, а сарайбон приложил палец к виску: дескать, с ума сошел властитель, не так ли?

Али Кушчи пошел каким-то коридором, мимо дверей, из-под которых пробивался робкий свет. Слышались брэнчание музыкальных инструментов, тихий женский смех. «Все продолжается...— подумал Али Кушчи,— музыка, любовная игра, простые заботы людей, которым никакого нет дела до страданий венценосцев. И это, наверное, справедливо».

Сарайбон толкнул одну из боковых дверей и скрылся за нею. Странно: ни с собой не позвал мавляну, ни передал с рук на руки нукерам, которые сопровождали ученого в «Баги майдан» из Кок-сарая.

Али Кушчи очутился в саду.

Сад чуть посветлел, поредел на небе тучи, и ярко светились звезды, последние перед скорым утром. Громадный сад трепетал от наслаждения соловьиным пением, как будто доверху наполнявшим его. Вокруг дворца ни души. На веранде под куполом, что стояла в центре одного из цветников, мирно храпели нукеры, те, что доставили его сюда. Вновь пожар плечами, Али Кушчи пошел по аллее в глубину сада.

Он не переставал думать о шах-заде, видеть его жалкое в слезах лицо, слышать надрывные стенанья и моления.

«Кто сказал, что в этом мире, в этом брэнном нашем мире нет справедливости? Кто бы ни сказал так, он или сознательно лжет, или добросовестно, но горько заблуждается. Есть справедливость, есть правда! Свершивший зло, будь то шах или нищий, не останется без возмездия. И, чтобы понять эту истину, человеку дан разум и дана совесть. Возмездие настигнет и того, кто не захочет понять эту истину, и дважды потерпит тот, кто чинит зло своекорыстно и потому отвергает эту истину!.. Вот что сейчас происходит с отцеубийцей шах-заде!»

За спиной Али Кушчи услышал грузноватый топот: нукер.

«Опять зовет шах-заде? Или боятся, что я от них сбегу?»

Али Кушчи повернул обратно, навстречу встревоженному воину.

Но нет, нукеры повели его не в «Чил устун», а к воротам.

Помогли влезть на коня. Видно, предстояло возвращение в Кок-сарай. Подумал он при этом не о временном своем светлом жилье в Кок-сарае, а о зиндане. Туда, поди, и сунут снова!

Двое нукеров ехали обочь его, один справа, другой слева.

Али Кушчи, словно прощаясь, вглядывался в небо, полное звезд, не спеша всматривался в высокие тополя по обеим сторонам пути, в темную массу садов, в холмы, покрытые росной травой.

Прекрасен сей мир, прекрасен! Прекрасны плакучие ивы, что стоят на берегу арыка, красуются, точно юные, нежные невесты, скромно опустив голову; и прекрасны эти белые тополя, на чьих листьях поблескивают, словно драгоценности, капли влаги; и пение птиц прекрасно, и тихое, издавек бляенье проснувшихся овец, и прекрасен горьковатый дымок, невесть откуда примешавшийся в эту пору не ушедшей еще ночи к благоухающему ветру степей, что доносит запахи молодой весенней травы.

И всего этого он будет лишен, опять лишен, когда его бросят в каменный мешок...

Вдруг тишина опрокинулась, разбилась вдребезги. Яростный топот копыт! Четыре всадника вымахнули из низины, из камышовых зарослей, стремительно подскакали к ним. Над головами готовые к бою сабли; лица скрыты черными кожаными масками. Нукеры не успели обнажить оружия, как на них набросили мешки, свалили с коней.

Один из нападавших схватил за поводья лошадь Али Кушчи.

«Откуда нагрянули эти разбойники?» — успел подумать мавляна, но коня его стегнули, гикнули, свистнули, и мгновение спустя Али Кушчи оказался в самой гуще камышовых зарослей. А схвативший его лошадь за узду великан сорвал с лица маску, обернулся...

— Каландар Карнаки!

— О наставник! — Каландар перегнулся через седло, широко раскрыл объятия. — Видно, чисты были наши помыслы, раз им суждено осуществиться и мы встретились!

Али Кушчи все глядел, будто не веря, на лицо Каландара, заросшее и суровое, на его глаза, в которых блеснули слезы. Потом перевел взгляд на двух других «разбойников», вышедших из камыша уже пешими, не на конях.

— Мирам, сын мой! Мансур Каши!

— Устод!

Еще два джигита в черных масках подошли к Каландару, о чем-то спросили.

— А, привяжите их к какому-нибудь кусту. Да так, чтоб не скоро их распутали. И побыстрее, Калканбек, побыстрее, Басканбек, времени у нас в обрез!

Торопливость Каландара была оправдана. В небе гасли

звезды, поздняя ночь все заметнее переходила в раннее утро.

Они не успели отъехать и ста шагов, пробив себе дорогу через камыши, как услышали снова топот и ржание коней. Отряд шел из «Баги майдан». Каландар и его спутники спешились. Спрятались в зарослях.

Десяток всадников показался на большой дороге, их было хорошо видно в светлеющей полосе горизонта. Всадники миновали место, которое было для Каландара и его молодцев засадой, стали подниматься вверх по мощеной дороге.

Но что это? Неожиданно на той же дороге сверху выросла еще одна группа всадников и тут же, заметив первую, с диким криком понеслась ей навстречу. «Видно, не одна была наша засада», — подумал Каландар.

Те, кто ехал от «Баги майдан», остановились, замешкались, кое-кто уже повернул коней обратно. Это была ошибка. Второй отряд, с обнаженными саблями, смерчем налетел на первый, и некоторые воины его пали, не успев выхватить клинков из ножен.

— Поедьте, наставник, — сказал Каландар. — Здесь и нам оставаться опасно!

Али Кушчи всматривался в сечу. Он заметил шах-заде в первом отряде, заметил! «Я видел сон, мавляна, очень дурной сон», — вспомнилось Али Кушчи.

На дороге звенели сабли, ржали кони, яростно кричали люди...

Да, среди тех, кто подвергся нападению на дороге, был и Мирза Абдул-Латиф.

С десятью нукерами и сарайбонами выехал он из «Баги майдан», когда небосвод только-только начинал светлеть. Ни на минуту в течение всей ночи не заснул больше шах-заде, и потому, наверное, казалось ему, что вокруг стоял холодный туман и небо мрачно нависло над головой. Шах-заде ехал впереди и все время вздрагивал, то прищпоривая, то придерживая скакуна: какие-то тени чудились ему по сторонам от дороги, под ветвями тополей.

Часто озирался он на своих балхцев, на смуглых носатых воинов, каждый из которых был украшен большой сергой. Встречаясь взглядом с властелином, воины натягивали поводья, замедляли бег своих коней. Они робели и пяtilись, а он хотел видеть другое — поддержку, готовность в их глазах, а не почтительную робость. Злясь на них, недогадливых, трусливых, шах-заде хотел остановиться, развернуться, потоптать их всех конем, но надо было торопиться в Кок-сарай, где он, так вдруг стало ему казаться, избавится от навязчивого ночного кошмара своего.

Показались холмы Афрасиаба, перегораживающие гори-

зонт зубчатые крепостные стены. Там под древней стеной безводный ров. Вот проедут его и, можно сказать, будут уже в Самарканде.

Но как раз в тот момент, когда шах-заде первым приблизился ко рву, с правой стороны, до поры скрытые холмами, выскочили на пригорок, а потом и на дорогу всадники. Черным смерчем полетели они на отряд шах-заде, да и были все всадники черные — в одинаковых темных чекменях, лохматых темных шапках — тельпеках, а на некоторых черные маски.

Странное оцепенение сковало шах-заде. Поднял коня на дыбы, но не поскакал, однако, ни навстречу черному вихрю, ни назад. Он видел, как заворачивали своих лошадей его верные балхцы, но не последовал за ними, а стоял на месте, смотря, как приближается к нему смерть.

Вот черный вихрь с диким криком перемахнул через сухой ров, вот два всадника выделились из него, первыми, настегивая коней, вылетели на дорогу.

Один из них — он срывает с себя маску! — это Султан Джандар. А второй, кто так похож издали на воина во сне, на того самого, кто вошел в залу с золотым блюдом... о аллах, это Бобо Хусейн Бахадыр! Нашелся! Вот он, его упорный, злокозненный враг!

Шах-заде схватился за рукоять сабли, вновь поднял коня на дыбы. Он будет драться!

Но кем-то пущенная на скаку стрела впиалась в его плечо, заставив согнуться от боли. Так и не вытянув сабли из ножен, хватая ртом воздух и нелепо размахивая руками, Абдул-Латиф стал сползать с седла.

«Все? Конец?.. Неужели это конец?.. Всему конец — трону, власти моей, славе... жизни?»

Шах-заде тяжело рухнул наземь у ног коня. Новый приступ боли впиался ему в сердце, он перевернулся на спину...

Конь исчез из поля зрения.

Все исчезло, кроме неба.

Бездонное и багровое небо простиралось над ним.

Кровавое море. Огненные облака.

«А кто этот человек, который спускается с облаков? Он в сверкающем — глазам больно! — златотканом халате, в красной чалме, будто в крови ее искупали! Даже усы его красные... Все красное! Все в крови!.. Кто этот человек?..»

О, простите, простите меня, благословенный родитель!»

## 25

...Каландар рвался в горы Ургута, просто рвался! Уже несколько дней как места себе не находил!

Ошеломляющую новость привез ему Калканбек со своей

свадьбы: у соседей невесты, в горном кишлаке Куйган-тепе, появилась некая молодая богатая женщина, самаркандка, убежавшая из родного дома. Вместе со служанкой-няней она скрывается в горах от преследований. Никто не знает ее имени. Так что нельзя было быть уверенным, что это Хуршида-бану. Хозяева домика, где она жила, держали язык за зубами. Но не было и оснований думать, что это не она. Наоборот, то, что женщина бежала из Самарканда, то, что при ней старая нянька, что поразительна красота беглянки... Да, не случись тут удобной возможности освободить наставника, он, Каландар, давно бы уж был в Ургутских горах!

А освобождение, слава алаху, прошло как по маслу!

Как только Али Кушчи обосновался в пещере Уста Тимура Самарканди, куда его доставили «похитители», Каландар объявил о своем решении поехать в Ургутские горы. А оттуда домой, в свои степные края... Если слухи не подтвердятся и таинственная беглянка окажется не Хуршидой, он, Каландар, прямо оттуда махнет домой — с него хватит Самарканда! Если же — да поможет в том аллах! — встретит он свою любимую Хуршиду, то они тем более не вернуться в Самарканд, а переждут, пока все утрясется в этом вечно беспокойном городе. И пережить будут тоже в родных краях Каландара.

— Ну а если ты уедешь без нее, а она только потом отыщется? — обескураженно спросил Уста Тимур, который, как и все друзья Каландара, не мог свыкнуться с мыслью о предстоящей разлуке.

Каландар развел руками.

— Если узнаю, тогда прискачу, отец...

— Узнаешь... и на крыльях прилетишь,— грустно пошутил Калканбек, которому предстояло проводить Каландара в горы.

Они собирались отправиться в полночь, чтобы к рассвету быть в кишлаке Куйган-тепе.

Вечером, когда стемнело, Каландар и старый мастер поехали вместе с мавляной Али Кушчи к могиле Тиллябиби. И месяца не прошло с часа ее кончины, а могила уже поросла травой.

Али Кушчи долго, до густых сумерек сидел над могилой. Молча, не шелохнувшись, Каландар смотрел на ссутулившегося мавляну, на его закрытые глаза и беззвучно шевелящиеся губы и думал с замиранием сердца о старом кладбище в Карнаке, у подножия Караул-тепе. Там без призора была другая могила — другой матери.

Ни слова не обронил Али Кушчи, возвращаясь с кладбища. Молчал Уста Тимур. Молчал, не находя слов утешения, и Каландар.

Подходил час отъезда, а все собравшиеся в пещере Уста Тимура люди смотрели на мавляну и молчали. Знакомые Каландару ремесленники, зашедшие для того, чтобы попрощаться

с ним, тоже не нарушали молчания. Каландар взглянул наконец на старого мастера, сидевшего у наковальни. Тот понял его взгляд, поднялся, подошел к мавляне, который выбрал самый темный угол в помещении. Что-то шепнул ему. Мавляна встал, приготовился сказать напутствие Каландару. Но помешали явившиеся в пещеру Мансур Каши и Мирам Чалаби. И Каландар вновь задержался с отъездом.

Мансур Каши рассказал, что победившие заговорщики выставили для всеобщего обозрения и надругательства голову шах-заде на воротах медресе Улугбека. На трон посажен — прямо из зиндана! — шах-заде Абдулла. В городе вроде бы спокойно. Все попрятались в свои норы, но нашлись любители, которые ходят на Регистан смотреть эту пугающую новинку — отрубленную голову бывшего властелина Мирзы Абдул-Латифа. Многие, конечно, радуются тому, что произошло, но никто не знает, что их ждет завтра — лучшее, чем было, или худшее.

Каландару припомнились строки четверостишия, и он произнес их вслух:

Тот, кто на золоте едал,  
Кто с трона всем повелевал,  
Простому смертному подобно  
Безгласным трупом тоже стал.

Уста Тимур удовлетворенно усмехнулся.

— Истинно так: «Безгласным трупом тоже стал...»

Али Кушчи как бы в размышлении тихо добавил:

— Только до этого крови человеческой пролил реку и подлостей свершил целую гору... Ах, эта изменчивая сладость власти! Огнем готовы себя сжечь за нее эти властолюбцы! У скольких жизнь кончалась так же, как у шах-заде, а урок все не впрок! — Мавляна посмотрел на Каландара. — Впрочем, о Мирзе Абдулле я слышал хорошие мнения, говорили, что человек этот добронравен. Может, для него будет поучительна судьба кровожадного отцеубийцы? Может, он постепенно и медресе откроет? А, шаир?

Каландар понял намек. Но, слушая свое сердце, все больше убеждался, что душою он уже в родном Карнаке. И вместе с Хуршидой — да исполнится эта его мечта! Он и сейчас, среди этих близких, дорогих людей видел в воображении, как едет с Хуршидой по зеленым холмам, по цветущей степи.

— О наставник! Да будет так, как сказано вами... Только мне никак нельзя оставаться. Надо ехать на родину!

— Почему, почему? — взволнованно заговорил Мирам Чалаби. — Не всегда же темная туча будет висеть над Самаркандом!..

Мансур Каши тоже принялся было уговаривать Каландара остаться, но его перебил Уста Тимур:

— Как говорится, лучше в родном краю быть чабаном, чем на чужбине султаном... Дети мои! Не невольте Каландара, пусть он сам выбирает, как ему поступить... Он мне сына родного заменил, и очень не хочется расставаться с ним, но ведь на родной сторонке и жаворонок — райская птица! Мой сын, я вижу, истосковался по земле предков. Отпустим его...

И старый кузнец воздел руки для напутственной молитвы.

Али Кушчи достал припрятанный в пещере хурджун. Протянул Каландару пригоршню драгоценных камней и похожий на пиалушку с невысокими стенками слиток золота.

— Пусть золото Улугбека служит доброму делу! — воскликнул Али Кушчи с чувством. — За все твоё добро тысячу и тысячу раз спасибо тебе, Каландар! Не суждено будет мне еще и еще отблагодарить тебя, так пусть воздаст тебе всевышний за добрые дела твои...

Вот и остался позади Самарканд. А мысли Каландара все еще были с ним, этим удивительным, вечным городом, с его людьми. Печальное лицо наставника... Трогательное напутствие Уста Тимура... Он не забудет их никогда!.. И сейчас душа его бродила по улицам и площадям самаркандским, по его бесчисленным переулкам и тупичкам. Мысленно попрощался Каландар с обсерваторией, с медресе Улугбека — сколько лет, л у ч ш и х лет жизни провел он в их стенах! Молодым юношей он приехал в Самарканд. Покидает, когда ему перевалило за сорок и на висках проступила седина. Двадцать пять годков был он самаркандцем, и каких только мытарств не досталось на его долю! Но всевышний удостоил его и милостей своих, редких, не всякому доступных милостей: в этом великом городе стал он шагирдом больших людей, больших мудрецов — Мирзы Улугбека и Али Кушчи. И еще благодарение создателю за то, что он не допустил вступить на путь измены. Да, он, Каландар Карнаки, выполнил долг ученика перед учителями своими... А как он мучился, как терзался, когда этот прохвост Шакал исчез и казалось, уже ничем и никогда не помочь Али Кушчи. Но прав был старый мастер-кузнец: среди приближенных шахаде нет таких, кто не продался бы за золото. Нашелся другой есаул. И вот вчера наконец наставник получил свободу. Из его, можно сказать, рук получил, рук Каландара Карнаки.

Теперь можно спокойно ехать на родину.

Спокойно? А если весть, принесенная Калканбеком и породившая у Каландара столько надежд, неверна, если беглянка, что прячется в кишлаке в горах, вовсе не Хуршида? Спокойно ли поедет он тогда домой? Сможет ли вообще уехать, так ничего и не разузнав о любимой?

Неясное, темное предчувствие томило Каландара. Болело в груди, и чем дальше отступал Самарканд, тем сильнее давала знать о себе эта непонятная, прежде не возникавшая боль.

Каландар и Калканбек ехали уже несколько часов. Ночь перешла во вторую половину, мягкая, черная, словно бархат, ночь. Каландар поднял голову. Звездное небо сияло над ним. Рассыпал золото свое Млечный Путь. Над ним чеканные очертания Большой Медведицы. Ниже горсть горячих угольков — Плеяды. Венеры — звезды утра — еще не видно, но уже слышались лай собак и первые крики петухов. Потом вершины гор озарились, будто от пламени огромного костра. То луна, большая, круглая, багровая, вступила в права, и все вокруг в ее свете стало еще более величественным и таинственным.

Каландар подстегнул коня... Удивительно: за последние недели две трава в степи вымахала так, что пешеходу доставала до колен. Даже лошади скакать было непросто... На его родину весна приходит позже, чем сюда. Там трава сейчас ниже, но вдоль берегов Сайхуна пламенеют первые тюльпаны. Это уж точно... Алым ковром лягут цветы перед ними, перед Хуршидойбану и Каландаром, когда счастливая пара направит коней в родной Карнак... Если направит!

Взошла Венера. Еще заметней посветлел горизонт.

С холма на холм ехали всадники.

Вот впереди засверкала извилистая речка, за нею смутной массой темнели сады. Каландар обернулся к спутнику. Тот подбодрил своего коня, подъехал ближе, утвердительно кивнул головой: да, это и есть кишлак Куйган-тепе.

Опять нахлынула на Каландара неясная боль. Он спрыгнул с коня, в ручейке, бежавшем к речке, вымыл руки, ополоснул лицо. Свершив омовение, прочитал молитву — бомдод. Сердце билось встревоженно.

Они прибыли слишком рано, кишлак еще спит. Хуршиду он может и не увидеть сразу. «Да что ты городишь? — оборвал себя Каландар. — Мы же поедем не в дом садовника, а в дом невесты Калканбека».

— Кончили молиться? Поехали, Каландар-ака.

Каландар открыл глаза, посмотрел вдаль. Туда, где над пологими холмами на фоне светлеющего неба глухой стеной поднималась темная полоса зеленых садов.

Щемящее предчувствие беды не проходило. Досадуя на себя, Каландар рывком поднялся, легко вскинул сильное тело в седло и, борясь со все возрастающим чувством тревоги, пустил аргмака вскачь.

## ЭПИЛОГ

Осенний день восемьсот семьдесят второго года хиджры. Большой караван — сто верблюдов — вышел из Самарканда утром, в час первой трапезы, в полдень миновал реку Даргом, и к трапезе обеденной открылась перед ним бескрайняя степь.



Ровная, она уходила до самого горизонта, разнообразили ее лишь плоские пригорки, полуразвалившиеся старинные крепости, небольшие, дворов пять-шесть, кишлаки и редкие, не то что в пригородных кишлаках-садах, купы деревьев.

Во главе каравана ехали четверо всадников. Четверо замыкали караван.

Могучие самцы-верблюды везли главные тяжести; ярко сверкали на солнце и мелодично в такт движению звенели медные колокольчики на шеях величавых животных. Много было в караване лошадей, в том числе благородных кровей, а также ослов и мулов... Люди в караване тоже были очень разные: важные вельможи, гарцевавшие на конях, в то время как жены их восседали в крытых шелком арбах, богатые купцы и купцы победнее — уж, конечно, без них и караван не караван; охрана, необходимая во всяком сколько-нибудь дальнем пути; бедный люд оседлал ишачков; дервиши топали пешком — поднимали пыль, покачивали дырявыми своими колпаками, славили аллаха.

Резко выделялись в караване двое в темных бархатных тюбетейках — знак мударрисов, — на которые были накручены легкие чалмы, в белых халатах — ридо — без рукавов поверх суконных чекменей. Один по возрасту подошел, пожалуй, к семидесяти, но выглядел бодро, снежно-белая борода подстрижена коротко, да и весь вид его прибранный, не по-стариковски подобранный. Второму, видно, лет пятьдесят, но он тоже выглядел моложе своего возраста, может, из-за отсутствия хотя бы единого седого волоса.

Благообразный худощавый старик, сдвинув широкие брови, что столь шли к его смуглому волевому лицу, напряженно всматривался то назад, туда, где остался Самарканд, то в гряды Ургутских гор, что тянулась по правую сторону от каравана; спокойная иноходь коня, на котором ехал старик, давала возможность для такого разглядывания, но во взглядах всадника были и беспокойство, и какая-то нерешительность.

Караван пересекал очередное плоскогорье, когда неподалеку показался кишлак Карнаки-тепе, и тогда старик свернул налево и стал отъезжать от большой караванной тропы.

— Мавляна Али Кушчи! Куда вы?

Благообразный старик обернулся, крикнул:

— Не опасайтесь за меня, есаул. Не сбегу!

Есаул чуть смутился, прокашлялся, потом снова крикнул:

— Боюсь, чтобы вы не отстали от каравана, почтенный.

— Не беспокойтесь. Я помолюсь и догоню вас.

Воин проехал вперед, а спутник старика приотстал и присоединился к нему. Али Кушчи, приставив ладонь к бровям — старый, привычный жест, — долго вглядывался в Ургутские горы. Вдохнул, слез с коня. Спутнику своему сказал:

— Мирам Чалаби подъедет сюда. Вы, мавляна Каши, ожидайте его здесь, хорошо? Я же скоро вернусь.

Медленно зашагал он вниз по ложине, к поляне у подножия холма.

«Вот она, та низина, то самое место!» Да, и тогда стояла осень. Только поздняя осень. И тогда был вечерний час, малооблачное небо... Они с Каландаром Карнаки, опасаясь нукеров шах-заде, спустились в эту малозаметную низину, укрылись тут, а потом узнали среди всадников повелителя-устода, и он сам догнал их, не дал выехать вновь на опасную дорогу. Вот здесь, на этой поляне, долго стояли они, обнявшись, и устод опять говорил о своем последнем желании. А на следующий день горестная весть, жестокая весть потрясла Самарканд, и не только Самарканд, весь Мавераннахр.

Да, да, будто это было вчера: звучат наставления устода — вся его надежда на него, на Али Кушчи... Впрочем, в тот последний, роковой час устод Улугбек вспомнил и про любимца своего, мавляну Мухиддина...

Али Кушчи закрыл глаза. Жуткое, навеки запечатленное видение вдруг встало перед его взором...

Во мраке достиг Али Кушчи дома хаджи Салахиддина. Сколько бы Мухиддин ни совершил недостойных поступков, Али Кушчи не мог не навестить его, узнав о расстройстве разума мавляны, о том, что тот закован в цепи.

Странно, двустворчатые, обитые железом ворота в особняке ювелира, обычно накрепко запертые и с тщанием охраняемые, стояли распахнутыми. Под навесом у ворот, где всегда дежурили сторожа, было пусто. Огромный, как дворец, дом ярко освещен; по двору сновали женщины с кумганами и тазами.

«Что тут происходит? Стряслось что-то?» Али Кушчи поспешил к согнутому маленькому старичку, вышедшему во внутренний двор. Этот тщедушный старичок и был тот самый гордый, знаменитый ювелир хаджи Салахиддин! Увидев Али Кушчи, он разрыдался:

— Помогите нам, мавляна... Лекарь... Там лекарь!

Али Кушчи несмело открыл дверь в комнату мавляны Мухиддина.

Возле постели, на которой бесчувственно лежала, рассыпав волосы по подушке, молодая женщина, суетилась старушка и сидел на корточках худощавый человек в островерхом белом колпаке табиба. Он быстро обернулся к вошедшему Али Кушчи, развел руками, сказал что-то старушке.

Это была нянька Хуршиды-бану, а молодая женщина — о, аллах! — сама Хуршида. Что сказал табиб, этого Али Кушчи не слышал, но тотчас догадался, когда через мгновение весь дом потряс вопль старухи.

На пороге появился Салахиддин-заргар, спотыкаясь, сделал несколько шагов и плашмя рухнул перед постелью внучки.

— О-о-о! Цветок моего сада! Увял, увял!.. Почему я не умер вместо тебя?! О-о моя последняя надежда! Кому теперь я отдам... все это? Этот дом. Все, что есть в этом доме... О, несчастный я!..

Дверь с резким стуком распахнулась, и в комнату вбежал мавляна Мухиддин. Рубашка его из грубой ткани была разорвана и обнажала костлявую грудь. Высоко задрав куцую бороденку и странно подергивая головой, мавляна Мухиддин рассмеялся и сказал:

— Свадьба? Что такое? В нашем доме свадьба, а меня на нее не приглашают?

Он перевел взгляд с застывших в ужасе женщин на постель. Мгновение стоял, всматриваясь. Потом в глазах его мелькнуло что-то осмысленное. И лицо преобразилось трижды: лицо безумца, отталкивающее, дикое, лицо человека, сильно напуганного, наконец, лицо страдальца. Мавляна Мухиддин вновь посмотрел на Али Кушчи, на отца, на женщин, на постель.

— Доченька!!

Мавляна Мухиддин простер к телу Хуршиды руки, опутанные цепью, споткнулся о таз, с грохотом упал на пол и забился в припадке...

Али Кушчи незаметно вышел из комнаты.

А через час его постигло еще одно горе. Али Кушчи узнал о гибели Каландара: его незабвенный друг, его шагирд пал в неравной схватке с воинами Джандара, которыми, как потом говорили, предводительствовал какой-то Шакал. Каландар нашел в горах свою возлюбленную и тут же потерял ее — теперь уже навсегда. И Хуршида не выдержала позора, уготowanego ей эмиром Джандаром, не захотела пережить любимого, погибшего, защищая ее от воинов эмира. Старая нянька доставила Хуршиду домой, и здесь, уже дома, она приняла яд.

Али Кушчи устало опустился на землю. Он вновь подумал о том, что часто мучило его в последнее время, что он старался отогнать от себя и что все-таки не уходило из глубин сознания. Он думал о том, что жизнь несправедлива и милосердие создателя не доказывается жизнью, которою живут добрые, честные люди, и что разум, в могущество которого он верил свято, вовсе не всесилен и не может объяснить сколько-нибудь понятно, почему создатель всего сущего обрушивает меч правосудия то на таких кровожадных убийц, как шах-заде Абдул-Латиф, то на невинные жертвы, вроде Хуршиды-бану, на добрых и чистых людей, подобных Каландару. «Если есть правосудие в том, что ты всех наказываешь одинаково, а бедных и чистых к тому же чаще, чем жестоких и алчных, то есть ли в правосудии таком милосердие, человечность и справедливость? А если их нет, то правосудие ли это?»

Да, сколько лет прошло с тех пор! Сколько воды утекло!

Сколько событий пронеслось над миром, сколько людей покинуло его, этот бренный мир! А земля, небо, горы, повитые тончайшей пеленой тумана, все те же. Не двадцать лет, а двадцать дней, да что там, миг какой-то пролетел, а грустное лицо учителя стоит перед тобой живое, видишь его печально-задумчивый, отрешенный взгляд, а закрой глаза, и почувдится, что слышишь его голос, глуховатый, проникающий в душу.

Прощаясь двадцать лет назад с Али Кушчи, повелитель-устод признавался ему здесь в этой низине у холма, что главная боль его сердца — неуверенность в том, увидит ли он еще раз свою родную землю, вернется ли в родимый край. А сегодня это главная боль сердца самого Али Кушчи. Он решил уехать из Самарканда, и боль эта теперь ни днем, ни ночью не покидает его.

А решил он уехать из Самарканда, любимого, трижды любимого, потому, что...

Двадцать лет он ждал, что рассеются тучи мрака над Мавераннахром. Двадцать лет жил в царстве тьмы, стараясь по мере сил следовать заветам устода. Скрывая труды свои от фанатиков-невежд, написал трактат по астрономии (да, да, тот самый, что начат был до зиндана, продолжен в зиндане), трактат по математике, комментарии к книгам устода. Горение свечи Улугбека, как мог, поддерживал. То Мирза Абу Саид, взошедший на престол после брата, то сам ишан Ахрар, власть которого так и не кончалась, а богатства росли неимоверно, пытались выманить у него тайну клада сокровищ Улугбека — и прямо, и через доверенных своих лиц; его заманивали почестями; ему грозили казнь. Нет, он не поддался ни на посулы, ни на угрозы... Но есть ли польза в этой его преданности памяти учителя? Лучшее, что создал великий астроном Улугбек, все еще неизвестно людям, науке. Оно скрыто. Его нельзя показать мудрецам Мавераннахра. И выходило: для того чтобы довести до людей науки великие открытия устода, надо было уехать из отчего края.

Нет, хотелось бы думать, что оставляет он не народ, не землю, которая услышала его первый младенческий крик, а оставляет он властителей этой земли и этого народа, недалеких умом фанатиков. Надо было ехать, потому что и помереть было можно, так и не доведя мысли учителя до тех, кто их понял бы и оценил по достоинству. Благо еще, что достопочтимые Абдурахман Джами и Мир Алишер Навои протянули ему из далекого Герата руку помощи, ходатайствовали, чтобы ему разрешено было выехать туда. Славные люди! Но... как невыразимо тяжело уезжать... как тягостна мысль, что он, может быть, не увидит больше отчего края. Не слабый характером, Али Кушчи не удерживал слез, когда думал об этом.

Не сдерживал он слез и сейчас, в этой низине, на поляне, где последний раз видел незабвенного устода.

«Всевышний, я согласен на все невзгоды, что ждут меня в чужих краях, но молю тебя об одном: пусть прах мой будет покоиться здесь, в этой земле!»

Так он воззвал к небесам.

Потом стальным ножом, подаренным некогда Уста Тимуром, вырезал из почвы кусок земли. Он добавил эту горсть к другой, с могилы матери взятой, завязал дорогой мешочек потуже в пояс и пошел к условленному месту.

Там стояли двое: Мансур Каши и сравнительно молодой рыжебородый и голубоглазый мужчина в одежде мудар-риса.

— Ассалям алейкум, устод!

— Здравствуй, здравствуй, сын мой, Мирам. Вижу, хурджун твой полон. Все ли в порядке в Драконовой пещере?

— Все в порядке, все книги на месте. Я, как вы сказали, открыл лишь один сундук устода Мирзы Улугбека. От каждой рукописи взял из него по одному списку, а из рукописи «Таблиц» — три...

— А из книг достойного рая Кази-заде Руми?

— Здесь со мной одна книга его «Математики», одна книга по геометрии светлейшего Гиясиддина Джамшида, учитель.

— Похвально, сын мой. И все сундуки на месте?

— На месте.

— И вход ты хорошо закрыл?

— Хорошо закрыл, учитель.

— Благодарю тебя... Прошу, перенеси хурджун на моего коня.

И снова все смотрел и смотрел Али Кушчи на Ургутские горы, словно отсюда хотел увидеть Драконову пещеру. Но горы плохо были видны; день уходил, и облака, недавно редкие, густели на глазах.

Шагирды стояли перед Али Кушчи, склонив головы.

— Все, все помню... До сих пор помню. Перед той злое-щей ночью мы стояли вот здесь с устодом, и он поручал мне беречь спрятанные сокровища... Теперь я поручаю это вам. Всегда помните: сокровища, где собраны жемчужины разума мудрецов, необходимы если не этим, то будущим поколениям, потомкам нашим. Придет день, когда царство тьмы рассеется и над родной землей засияет солнце... Я не теряю надежды, что успею вернуться к тому радостному дню. Если же нет, если суждено мне умереть на чужбине, то вы передайте тайну сокровищ Улугбека своим доверенным шагирдам, а они — своим. И так от наших сыновей к сыновьям наших сыновей оно и пойдет, пока не дождется счастливого племени, при котором взойдет солнце над Мавераннахром! Тысячу раз благодарен я судьбе за то, что у меня такие шагирды, как вы. Если я чем-нибудь и когда-нибудь обидел вас, простите меня и благословите в путь...

Мирам Чалаби и Мансур Каши проводили его до большой караванной дороги. Поднимаясь на холм, Али Кушчи оглянулся назад в последний раз. Шагирдов своих он увидел, они долго махали ему вслед. А Самарканда увидеть уже не смог. И садов не увидел. Не потому лишь, что все это было слишком далеко, а потому еще, что слезы застлали глаза Али Кушчи. Он решительно смахнул их с лица и направился догонять караван.

1971—1974



НОВЕСТИ







# АДЫЛ ЯКУБОВ

## КРЫЛЬЯ ПТИЦЫ

*Перевод В. Тендрякова*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Акрам вошел в комнату и тут же заметил на письменном столе, под чернильным прибором листочек:

«Мама и гости уехали на вокзал. Вас не дождалась, боялись, что опоздают к поезду. Я в институте. Задержусь. Сегодня после лекций на факультете Убайджана интересный диспут, что-то о современной семье и о любви. Вас пригласить не решаюсь, зная ваше отношение к подобного рода «плетениям словес». Ваша Саяра».

Акрам отошел к окну, задумался. Ветер перебирал яркую листву урючины, росшей перед балконом, и в ее густой зелени, как китайские фонарики, уже зажглись первые огоньки зреющих плодов.

Как неловко все получилось! Мать-то ладно — простит. Но жена брата, другие гости из кишлака... Что они подумают? Сам ведь звал, уговаривал. Сколько времени собирались погостить в городе, и когда наконец приехали, он не смог принять их по-человечески. Надеялся, что сможет провести с ними весь день — с утра возьмет такси, поедет по городу, купит подарки, сам проводит к поезду...

Еще утром, выходя из дому, он был уверен, что только покажется в институте и тут же возвратится. Но вышло иначе. Неожиданно вызвал к себе директор, Султан Касымов, и попросил текст доклада, с которым Акрам выступал на техсовете еще весной. Речь шла о новом проекте главного архитектора института Зафара Бабаева. План смелый, пожалуй, даже дерзкий, полная архитектурная перестройка одного из самых больших кишлаков Зерафшанской долины. Но... в глубине души Акрам считал, что именно он лучше других знает и понимает, чем живет нынешний кишлак, что в первую очередь нужно его людям. План Зафара с его ультрамодными архитектурными решениями казался Акраму красивым, даже талантливым, но совершенно лишённым реальной почвы. И что это вообще за девиз? «Удобно — следовательно, красиво и современно!» Этакая игра словами хороша для Дома моделей. Длинные юбки? Удобно и, следовательно, красиво. Короткие? Удобно и, следовательно, современно...

Тогда, на техсовете, Акрам резко выступил против проекта Зафара Бабаева. Он отчетливо помнил, как директор института одобрительно кивал головой. Но открыто не поддерживал, видно, колебался.

Зачем же именно теперь Касымову понадобился доклад Акрама?

Перед тем как отдать доклад, Акрам вновь внимательно просмотрел его, кое-что уточнил, кое-что переписал вновь.

День пролетел незаметно. Теперь уж кайся не кайся — не поможет. Гости уехали. Акрам вздохнул, прошелся по комнате, и тут взгляд его вновь упал на записку Саяры.

«...Задержусь... Вас пригласить не решаюсь...» Конечно, Акрам не питал особой симпатии к подобным диспутам. Но ему просто захотелось разыскать Саяру, побыть с ней рядом.

Молодой поэт Убайджан был дальним родственником его жены. Он учился на филологическом факультете.

Эх... Ну к чему Саяре, будущему врачу, этот диспут? К тому же государственные экзамены не за горами!

Акрам взглянул на часы, накинул пиджак и вышел из дома.

С трудом пробившись сквозь плотную стену студентов, толпившихся даже у входа в зал, Акрам остановился. Зал — переполнен. Судя по гулу голосов, диспут был в разгаре. Вокруг Акрама возбужденные лица, отовсюду выкрики. Кто-то безуспешно пытался навести порядок. На сцене, над кафедрой, обитой зеленым сукном, возвышался «бюст» полного, не по возрасту раскрасневшегося человека с пышной седой шевелюрой. Его голос, густой и напряженный, перекрывал шум в зале. Упершись руками о кафедру, оратор горячо доказывал:

— Есть русская культура, есть немецкая, французская, испанская... Есть, наконец, наша национальная культура — узбекская. Кто станет отрицать это? Никто! Народ донес ее из глубины веков... Я готов широко открыть двери перед западной культурой. Добро пожаловать, Шекспир! Гете! Милости просим в наши самые дальние кишлаки. Но к этой ли культуре тянется наша молодежь? Увы! С горечью я должен сказать, что многие наши парни и девушки хватаются за самое наносное, что есть в западной культуре, — внешний лоск. Они стыдятся обычаев отцов...

Взгляд Акрама скользил по рядам, отыскивая Саяру. Наконец он нашел ее.

Седой домулла продолжал доказывать что-то свое, но Акрам уже не слышал его.

Саяра сидела возле больших окон, выходящих на улицу, окруженная друзьями. Акрам узнал почти всех. С одной стороны Саяры — девушка с высокой копной красновато-рыжих волос, Нилуфар. С другой — Убайджан, рядом с ним — изящная, похожая на подростка девица с коротко стриженными волосами.

К своему удивлению, Акрам узнал в «девице-подростке» Шахисту, дочь самого уважаемого человека из их кишлака.

Шахиста тоже училась в мединституте. Наверно, и ее Убайджан притащил на этот диспут. Впереди, вполоборота к ним, сидел рослый загорелый парень. Длинные вьющиеся волосы, рыжеватая борода, красиво обрамляющая узкое нервное лицо. Акрам видел его впервые. Не обращая внимания на домуллу, бородач оживленно рассказывал что-то девушкам, вероятно, очень смешное, потому что они с трудом сдерживали смех.

Акрам нахмурился и отвел от них взгляд. Шум зала вновь обрел реальность. Взволнованный голос домоллы:

— Вместе с паранджой вы отмечаете учтивость и скромность, стыдливость и благочестие...

Зал взорвался веселым гулом голосов.

Высокий девичий голос с молодым задором выкрикнул:

— Чем мы перед вами провинились, уважаемый домулла? Почему вы утверждаете, что у современных девушек-узбечек нет скромности? Чем мы вам не любы?

Другой девичий голос:

— Несправедливо! Нам достается, а ребята вновь сухими из воды выйдут — а ведь у доброй половины из них замашки настоящих баев!

Домулла помолчал и вдруг заговорил тихо, грустно:

— Мне по сердцу современные девушки-узбечки, но я не могу закрывать глаза на правду. Мне больно, когда я вижу развязность и легкость нравов, короткие солдатские стрижки вместо прекрасных кос, когда в речах слышу скрытую дерзость вместо почтительного внимания... Не знаю, возможно, мы, старики, отстали от жизни...

— А что!.. Это идея!

— Неправда! Домулла в тысячу раз лучше, моложе душой всех наших феодалчиков в джинсах!

Домулла устало махнул рукой и, сутулясь, сошел с кафедр.

— Слово Шавкатджану! Дайте слово кинорежиссеру Шавкату Ходжаеву!

Акрам узнал голос жены. Невольно поморщившись, он посмотрел в сторону веселой компании. Громко скандируя, компания настойчиво выкрикивала:

— Слово Шавкатджану!

Парень с бородашкой, что сидел впереди, добродушно отнекивался.

Тогда молодой преподаватель, который вел этот диспут, объявил:

— Слово нашему молодому поэту Убайджану Джуманиязову!

Под аплодисменты и одобрительные возгласы Убай поднялся на трибуну.

Немного нескладный, длинный и сутуловатый, Убайджан

смущенно оглядел зал и неожиданно улыбнулся, будто вспомнил что-то смешное и давно забытое. Эта открытая улыбка так не гармонировала с первым впечатлением хмурости и суровости его широкого скуластого лица, что в зале в ответ тоже заулыбались. И тогда Убай, видно, совсем успокоившись, заговорил:

— Слушал я уважаемого домуллу, его добрые советы и вспомнил одну историю. Заранее прошу извинить, если она покажется вам слишком длинной, но я все же хочу рассказать.

В нашем кишлаке жили две сестры. Обе они были — что греха таить — очень хороши. Ну, и мы все, кишлачные парни... как бы вам объяснить...

— Все ясно, влюблены были по уши!

Убайджан ответил широкой белозубой улыбкой.

«Да, видно, он славный парень!» — подумал Акрам.

Он встречался с Убайджаном у родителей Саяры, не раз видел его мельком вместе с Шахистой, но поговорить с ним как-то не приходилось.

«О ком это он? Уж не про Шахисту ли с Хамидой?» — но тут же Акрам понял, что речь идет о других.

— Шло время, сестры вышли замуж. Не могу сказать, чтоб им повезло. Мужья им попались неотесанные, своенравные, деспотичные. Словом, не в двадцатом веке им место. Старшая сестра терпела, терпела грубость и издевательства, а потом и решила: хватит! Развелась с ним и уехала учиться. А младшая покорно сносила все. Из последних сил выбивалась, всю работу себе на плечи взвалила — и по дому, и в колхозе... Не было в кишлаке человека, кто не хвалил бы ее. Насколько старшую сестру не миловали, настолько младшую возносили...

А теперь слушайте, что было дальше. В прошлом году старшая сестра вернулась в кишлак. Она стала зубным врачом, вышла замуж за парня, который вместе с ней учился в институте. И сама она помолодела, похорошела, так что младшая сестра выглядела перед ней просто старухой.

— Выходит, наш поэт-то в старшую был влюблен!..

Это было сказано настолько невпопад, что все возмущенно зашикали на шутника:

— Эй, ты там... Помолчи!

— Тиш-ше!

Убай благодарно кивнул и, мягко улыбнувшись, продолжал:

— Словом, конец у этой истории таков... Теперь весь кишлак с уважением говорит не о младшей, а о старшей сестре. Вот я и хочу спросить уважаемого домуллу: кто из этих двух женщин более достоин уважения? Старшая, что отстояла свое человеческое достоинство, или младшая, которая, боясь сплетен и пересудов, покорила невежественному мужу и стала его рабыней?

Вихрь восторга пронесся по залу. Особенно бурно ликовала компания Саяры: «Молодец, Убайджан!.. Умница!..»

Одна Шахиста сидела молча, нервно перелистывая страницы книги.

Акрам еще раз взглянул на Саяру и с нарастающим раздражением подумал: «До каких пор она будет вести себя, как семнадцатилетняя девчонка?» Он решил наконец подойти к жене, но в это время заметил домуллу, который шел по проходу к дверям. Он шел не спеша, гордо вскинув седую голову, всем своим видом показывая, что не считает себя побежденным.

Уже у выхода навстречу домулле поднялся высокий молодой человек и пошел за ним следом. Это был Зафар Бабаев. «Он еще что тут делает?.. Ах да, здесь же Нилуфар! Домулла — будущий тесть Зафара!» — подумал Акрам.

Увидев Акрама, Зафар на минутку приотстал от домуллы, весело подмигнув приятелю:

— И ты, значит, приполз, старик. Караулишь свою Саяру? Ну как тебе наша молодежь? Палец в рот не клади! А Нилуфарто, а!.. Дочь против отца! Вот молодежь...

— Повзрослеют.

— Я говорил домулле, чтоб не выступал. Так нет, не послушался. Вот и получил... Кстати, зайди в институт. У директора на твое имя телеграмма.

Зафар кивнул в сторону домуллы, показывая, что больше не может задерживаться, и скрылся за дверью. Акрам так толком ничего и не понял.

Колокольчик председателя настойчиво требовал тишины.

— ...Слово нашему гостю, молодому кинорежиссеру Шавкатджану Ходжаеву!

Шавкат встал и, поглаживая свою рыжеватую бородку, не торопясь, уверенным шагом направился к трибуне. Акрам проводил его взглядом и поднялся с места. Почему ему неприятен этот молодой человек? Почему ему вдруг стало неинтересно все, что происходит в зале? Он поймал себя на мысли, что ему неприятно смотреть, как неестественно возбуждена его Саяра.

Телеграмма! Что еще за телеграмма? От кого?

Телеграмма была из кишлака.

«Двадцать восьмого мая состоится торжественное открытие дворца. Возникла необходимость внесения некоторых уточнений проекта кишлака. Просим командировать Акрама Халикова сроком неделю. Председатель колхоза Тураб Икрамов».

Акрам придвинул телеграмму к Султану Касымову.

— Что скажешь?

— Коли нужно — поезжай. О чем разговор? Да не забудь передать от меня привет раису. Занятный человек этот председатель колхоза! Помнишь, как он тогда на техсовете разошелся? Горяч парень! Проект-то нашего Зафара с голой жен-

щиной сравнил! Как тебе это нравится? — Директор рассмеялся, хлопая своими густыми, как у девушки, ресницами.

— Для красного словца было сказано.— Акрам нахмурился.— Ты же отлично понимаешь, что это несерьезно.

— Серьезно или несерьезно, но согласись, что в этой шутке есть и доля правды.— Директор перестал смеяться, добавил уже другим тоном: — Да, кстати, я распорядился, чтоб один экземпляр твоего доклада отправили в министерство, а другой в Госкомитет по строительству.

— Зачем?

На гладком, выхоленном лице Султана, который, казалось, только что вышел из парикмахерской, появилось выражение усталости, веселые искорки в глазах потухли.

— Знаешь, ты оказался прав, тысячу раз прав, мой друг. Проект Зафара ничего общего не имеет с теми нуждами, которые сегодня испытывает кишлак!

«А ты только теперь это понял?» — подумал про себя Акрам, но смолчал. Грустно покачивая головой, Султан продолжал:

— О том, что ему нелегко работать в нашем институте, я давно догадываюсь, хоть у него и московский диплом... Не кажется ли тебе, что мы все несколько переоценили способности Зафара?

— Почему? — Акрам пожал плечами.— В том, что Зафар талантливый архитектор, я не...

— Талантливый, талантливый! Тоже нашел словечко!.. Уж больно легко ты раздаешь эпитеты! — перебил Султан с неожиданным раздражением.— Не знаю, талантлив он или нет, но вот вирус карьеризма в нем прекрасно прижился, это я хорошо вижу! Тут я его раскусил!

«Вот тебе и на! Метили в верблюда, а попали в осла!» — подумал Акрам, взглянув на покрывшееся красными пятнами лицо Султана.

— Что случилось, что за черная кошка между вами пробежала?

— Тут дело не в наших отношениях, а в принципе! — Султан поднялся с кресла и, нервно теребя лацканы пиджака, принялся ходить из угла в угол просторного, покрытого ярким бухарским ковром кабинета.— Знаешь ли ты, что Зафар самовольно, без нашего согласия, отнес свой проект в Госкомитет? Да, да, именно тот проект, который был раскритикован на техсовете. Мало того, он выставил его на обсуждение молодежи в Союзе архитекторов. Черт знает что! — Султан поморщился, будто увидел перед собой что-то скользкое.— А ты говоришь — талант! Не знаю, как ты, но я не мыслю себе талант без душевной доброты, честности, искренности. Вот что я ценю в первую очередь. А твой талант ведет себя так, как будто все мы тут, кроме него, сплошные тупицы.— Султан распаялся все больше, его жесты становились размашистей. Казалось, он старался

убедить не только Акрама, но и самого себя.— Члены техсовета, особенно ты, говорили очень дельные вещи! А этот мальчишка!..

— М-да...— Акрам взглянул на возбужденное лицо Султана и отвел глаза.— Положим, Зафар поступил неправильно. Но, извини меня, я хочу задать тебе один вопрос.

— Ну?

— Раз ты так активно против его проекта, почему же тогда, на техсовете, не высказал определенно своего отношения? Выходит, если бы не история с Госкомитетом и Союзом архитекторов...

— Вот тебе на! — Султан театрально раскинул руки и рассмеялся.— Понимаешь, все моя проклятая деликатность подводит. А потом, подумай сам, дорогой: ведь Зафар не просто архитектор и даже не руководитель мастерской, ведь он — главный архитектор института! Что же мне оставалось делать? Не пристало нам, двум руководителям, на техсовете грызться меж собой.

— А для чего же тогда техсовет — чтоб комплименты друг другу отпускать или говорить о принципиальных вещах? — Акрам едва скрывал свое раздражение.

— Теперь и будем говорить принципиально. Согласен? — произнес Султан примиряюще.— Сдаюсь! Конечно, ты прав. Что греха таить — смалодушничал, нужно было тебя поддержать! — Вся круглая фигура директора излучала добродушие.— Вообще я понял, что недостаточно ценил тебя, твою прямоту!.. Да, да...

Акрам смущенно заерзал.

— Благодарю за комплимент!

Но тут распахнулась дверь, и в комнату буквально влетели две девушки, сотрудницы института. Они изо всех сил старались казаться спокойными, но трудно им было скрыть переполнявшую их радость.

— Извините нас, Султан Касымович. Мы пришли,— начали они хором и, смутившись, смолкли.

Касымов стоял, скрестив на груди руки, и исподлобья наблюдал за ними:

— В чем дело?

Девушка с прической, напоминавшей минарет, сделала шаг вперед и выпалила на одном дыхании:

— Наш проект... вернее, проект Зафара Бабаевича, получил премию на Республиканском конкурсе! — Лицо ее расцвело в улыбке.

— Проект получил вторую премию,— добавила другая девушка и, смутившись, опустила глаза.

Акрам взглянул на Султана. Прикусив губу, он стоял в какой-то странной растерянности. Однако в следующее же мгновение Султан овладел собой и, подмигнув Акраму, шагнул навстречу девушкам.

— Поздравляю! Откуда сия радостная весть?

— Только что звонили из Союза архитекторов,— ответила девушка с высокой прической.— Мы еле отыскали Зафара Бабаевича. И теперь, Султан Касымович... Надо отметить...— Сбившись, девушка поправила челку и рассмеялась.— Пойдемте все вместе к Зафару Бабаевичу и вы, Акрам Халикович... По бокалу шампанского... Такая радость...

Не успела она договорить, как вновь открылась дверь, и на пороге появился сам Зафар с двумя бутылками шампанского в руках.

— Кто тут еще нас не ценит? Признавайтесь! — весело крикнул Зафар, со стуком расставляя на столе бутылки.— Мы — мастера на все руки. И авторитет института поднимаем, и сами себя угощаем! Себя не похвалишь — от вас не дождешься! Султан расхохотался.

— Ишь, разошелся, расхвастался! Смотри, чтоб вместо благодарности я тебе выговор не вцепил. За самостоятельность, чтоб в следующий раз плановой институтской работой занимался, а не изобретал бы себе индивидуальные проекты.

— Ага, что я вам говорил? Нас здесь не поняли. Нет пророка в своем отечестве. Покинем сей кров негостеприимный. Будем пить сами! — Подмигнув девушкам, Зафар схватил бутылки.

— Нет, нет, я пошутил! Очень, очень рад за тебя! — Султан обнял Зафара.

Акраму стало неловко, и он поспешил отвести взгляд. Споры спорами, а Зафар, безусловно, способный архитектор. Акрам крепко пожал руку Зафару, а тот в порыве радости заключил его в объятия.

— Не сторонись, не сторонись, раз ты не хочешь, я тебя сам обниму... Ты знаешь, я люблю тебя, люблю за твою... горячность, прямоту!..

Акраму стало неловко, и он постарался поскорее высвободиться из объятий Зафара.

Пробка шампанского ударила в потолок. Поздравления, звон бокалов — все слилось в один радостный, беспорядочный гул.

День отшумел, и на город с его многоэтажными домами, густолиственными чинарами, нежными акациями и серебристыми тополями, выстроившимися вдоль улиц, медленно опускался прозрачный летний вечер. Зной спал, повеяло прохладой. С каждым мгновением сумерки становились все гуще, тени длиннее. С мягкой грустью природа ждала ночи.

Акраму не хотелось идти домой. Ему нравилось так бездумно брести по улицам, прислушиваясь к голосам вечернего города. Его подхватил людской поток — этот многоликий поток, подчинявшийся своим, только ему ведомым законам, был буквально наэлектризован смехом и улыбками. Славные лица, сплетенные пальцы рук, сияющие глаза — все дышало молодостью



и красотой. Казалось, сам воздух был напоен любовью. Повинуясь общему ритму, Акрам свернул в городской парк и очутился перед входом в молодежное кафе.

Обвитое виноградом и сине-розовыми цветами повилики, залитое изнутри светом стеклянное кафе напоминало аквариум, а пестрые пары, плавающие в такт музыке, казались диковинными рыбами. Акраму не хотелось заходить внутрь, он знал, что в кафе душно и тесно, и решил свернуть к столикам, стоящим на открытом воздухе. Проходя под навесом виноградника, он невольно остановился. В углу, самом дальнем, слабо освещенном, укрывшись за виноградной лозой, стоял... земляк Акрама, младший брат председателя колхоза Турабджана Икрамова. Напряженно, не отрываясь, смотрел он сквозь прозрачную стену кафе.

— Муратджан? Ты что здесь делаешь?

— Да так... — Муратджан затравленно оглянулся и, как-то странно дернув длинной тонкой шеей, попытался проскользнуть мимо Акрама.

— Подожди, что с тобой?

— Запрещается, что ли, бывать в кафе? — с вызовом ответил Муратджан и кинулся в темную аллею.

Акрам с недоумением посмотрел ему вслед, затем перевел взгляд туда, куда только что смотрел Муратджан, и все понял. В кафе, недалеко от дверей, сидела та самая шумная инстинтутская компания. И на самом видном месте — Убай и Шахиста!

Сразу припомнились слова Турабджана: «Мой братишка совсем потерял голову от Шахисты, сестренки твоей первой любви — Хамидыхон. Боюсь, что он ее проворонит, как ты старшую. Уж больно вы с девками мягки. Таким часто от ворот поворот дают!»

Акраму стало жаль парня. Но тут как раз он увидел свою жену и сразу же забыл о Турабджане. Рыжебородый режиссер, чуточку утрированно поклонившись Саяре, пригласил ее на танец. Саяра поднялась и вошла следом за ним в круг танцующих.

Акраму вдруг очень захотелось повернуться и уйти. Он понимал, что это мальчишество, глупость, но ничего не мог с собой поделать. Ему стоило большого труда пересилить себя и войти. Саяра увидела его, оставила Шавкатджана и, радостно улыбаясь, бросилась навстречу мужу.

Парни, сидевшие за столиком, поднялись, приветствуя Акрама, освободили ему место рядом с женой.

Шавкат встретил Акрама как старого знакомого:

— Вот кого можно назвать истинно современным мужчиной! Красавица супруга развлекается с друзьями в кафе, а Акрама хранит олимпийское спокойствие. Bravo! Равнение на Акрама-ака, товарищи мужчины!

Акрам не сразу нашелся, что ответить. Смеясь, его опередила Саяра:

— Просто жена ведет себя так безупречно, что нет никаких оснований для ревности. Супруга Цезаря вне подозрений, не так ли? — Все рассмеялись.

Саяра усадила Акрама рядом, была так заботлива и нежна, что у Акрама потеплело на душе.

«И чего я на них взъелся?... — подумал Акрам. — Наверное, после диспута не хотелось расходиться, решили посидеть в кафе... А я...»

Шавкат и Нилуфар соревновались в остроумии. Убай снисходительно посмеивался, выпускал колечками синеватый дым сигареты, изредка бросая острое словцо...

Одна Шахиста сидела смущенная и тихая. Короткая стрижка «под мальчишку» очень шла к ее смуглому удлинённому лицу. Легкая и миниатюрная, она походила на кинозвезду с обложки журнала «Экран». Акраму было занятно наблюдать, как заливались краской лицо и шея девушки от шуток не в меру расходившегося Шавкатджана. А тот, видимо тоже наслаждаясь смущением Шахисты, адресовал ей все новые и новые комплименты. Подражая домулле, он деланно вздыхал о потерянных «сорока косичках», так украшавших некогда узбекских девушек. При этом он театральным жестом показывал на стриженую головку Шахисты. Весело подмигивая, он говорил об утраченном послушании и покорности. Саяра и Нилуфар хохотали.

Акрама стала раздражать легкость, с которой Шавкат высмеивал то, что действительно было ему дорого. Может быть, там, на диспуте, домулла несколько сгущал краски, говорил о старинных обычаях, забывая о добрых чертах современной жизни. Однако... Черт возьми! Ну что плохого в том, что женщина женственна, скромна?! И зачем высмеивать «сорок косичек»? Совсем недавно борода была символом старого, отжившего. А нынче борода вновь входит в моду. Значит, дело не во внешности. Вот Нилуфар. Ведь домулла — ее отец! Шавкат открыто подтрунивает над ним, а ее буйной радости не видно конца. Разве это хорошо!

Убай первым понял, что Шавкат хватил через край. Стараясь унять не в меру расходившегося друга, пытался перевести разговор.

— Домуллу можно понять, — начал Убай примиряюще. — Для доброй половины тех, кто сидел на диспуте, культура действительно представляется в виде внешнего лоска, экстравагантных фильмов, крикливой музыки. А это имеет столь же малое отношение к современной культуре, как и сорок косичек к пережиткам прошлого. Вы со мной согласны, Акрам-ака?

— Внимание! Слово представителю среднего поколения, — шуточно воскликнул Шавкат. — К барьеру, Акрам-ака!

Акрам почувствовал на своем колене легкую и предостерегающую руку Саяры.

— Диспут отменяется! Поищите себе другого представителя «среднего поколения». Вы обратились не по адресу,— быстро парировала Саяра. В ее глазах, обращенных к Акраму, была немая просьба: «Не ввязывайтесь в спор, мне это неприятно». «Похоже, что собственная жена боится, чтоб я не выглядел смешным,— подумал про себя Акрам.— Незавидное положеньеице».

За столом возникла неловкая пауза. Саяра сидела, потупив глаза. Убай возился с очередной сигаретой.

Акрам вдруг почувствовал, что в кафе душно и что он устал и давно хочет домой. Все молчали. Одна Нилуфар вдруг горячо кинулась в спор:

— Саяра права, надоели эти диспуты. И вообще — о чем спорить? Надо открыто сказать, что мы просто не желаем жить по дедовским законам. А то иногда просто забываешь, в каком веке живешь. Посмотрите, что творится утром в троллейбусах и трамваях. Лезут с хурджунами, толкаются, скандалят. Особенно эти... из кишлаков. Ну до чего неотесанный народ!

Акрам старался смотреть в сторону и сердито думал: «Что ты, милая девушка, знаешь об этом неотесанном народе? Тебе бы хоть часть его забот». Он вновь почувствовал на своем колене ладонь Саяры и больно сжал ее. Неожиданно для себя Акрам перебил Нилуфар:

— Я что-то не возьму в толк, о чем вы так горячо болеете — о порядках в троллейбусах?

Нилуфар вспыхнула:

— Вы отлично знаете, Акрам-ака, о чем я говорю. Вам, как и моему отцу, не терпится приручить нас, взнуздать.— Нилуфар резко повернулась к Акраму. Глаза ее загорелись молодым озорством.— А если хотите знать правду,— в вас говорит обычный мужской эгоизм. Вам просто не нравится, что мы сидим здесь, в кафе, а не дома, что нам тут вот приятно и весело. Больше того, вас возмущает, что мы пытаемся судить о вещах, которые, по вашему твердому убеждению, недоступны женскому уму. Сознайтесь, разве я не права?

Нилуфар смотрела на Акрама с вызовом.

«Неужели она все-таки втянет меня в этот бессмысленный и ненужный спор? Сколько еще воды утечет, пока эта красивая девушка поймет, что, собственно, такое — земля, на которой она родилась, и что такое добрые вековые привычки, которые сейчас ее отпугивают, как огонь шакала. Здесь ли выкладывать свои взгляды на жизнь, перед нею ли их отстаивать?..»

Акрам посмотрел на Нилуфар и вдруг невольно улыбнулся — смешно было всеерьез принимать детский вызов этой милой взбалмошной девчонки!

— Милая Нилуфар,— сказал он примиряюще,— вам возражать опасно. Сразу угодишь в ретрограды. А потом замаливай свои грехи, доказывая, что ты не верблюд.

Все облегченно засмеялись, радуясь наступившей разрядке. Нилуфар удовлетворенно закивала Акраму своей высокой прической, снисходительно принимая его капитуляцию. Уже более спокойно, но столь же настойчиво она продолжала:

— Согласитесь, Акрам-ака, что жизнь сейчас предъявляет совершенно иные требования. Например, возьмем литературу. Смогла ли она рассказать о нашем поколении?..

— Увольте,— замахал руками Акрам, внутренне досадуя, что его никак не хотят оставить в покое.— Не берусь судить о вещах, в которых мало разбираюсь.

— Пусть скажет Убайджан,— настаивала на своем Нилуфар.

— Хватит, хватит, ради бога,— с некоторым опозданием вступилась за мужа Саяра.— Я вас сейчас всех примирю. Я ведь ясновидящая.— Саяра вскочила со стула, подошла к Убайджану, положила ему руки на плечи и заговорила нараспев: — Знайте, люди, что у этого отрока большое будущее, он создаст великую поэму и прославит узбекскую литературу. Столь же славен ваш второй собеседник.— Она театральным жестом указала на Шавката.— О его фильмах вскоре заговорят во всех уголках нашей планеты!

Убай и Шавкат вскочили со стульев и шутливо преклонили колени, принимая благословение Саяры. Впервые за вечер весело и залиvisto рассмеялась Шахиста.

— Только с одним условием,— воскликнул Шавкатджан.— Вы, Саяра, должны осчастливить мир исполнением главной роли в моем фильме!

Саяра покраснела:

— Где уж мне, старухе, быть актрисой! Пригласите лучше Нилуфархон и Шахисту!

— Обязательно. И для Нилуфархон в сценарии есть очень интересная роль. А о Шахисте я могу только мечтать, да боюсь грозного Убая.

Не успел он закончить фразы, как грянул джаз, и огромный стеклянный аквариум вздрогнул от этого звукового шквала. Откуда-то сбоку к столу подскочил маленький человек с лысиной и поклонился Нилуфар. Следом за ними встал Шавкатджан и протянул руку Шахисте. Та бросила испуганный взгляд на Убая. Он притянул ее к себе и полушутя-полусерьезно произнес почему-то с кавказским акцентом:

— Нэ довераю кинорежиссерам!

— Ну вот! — Шавкат трагически вскинул над головой руки.— Еще один феодал! Саяра, выручайте.

— Не знаю, разрешит ли мой повелитель? — в тон ответила Саяра.

Взгляд Акрама встретился со смеющимся взглядом жены.

— Ваше смирение заслуживает награды,— невольнo включаясь в общую игру, сказал Акрам.

Но когда Саяра и Шавкат, в такт модному танцу подер-

живая руками, начали наступать друг на друга, когда в глазах жены он увидел радость, даже азарт, в груди его что-то стало давить, сильно и тупо. Он понимал, что нельзя поддаваться глупой ревности, но ничего не мог с собой поделать. Для него сейчас казались оскорбительными и эта механическая музыка, и этот странный танец. Вдруг нестерпимо захотелось встать, крикнуть что-то обидное и злое, пнуть заставленный тарелками стол — и уйти прочь.

Раздался голос Зафара:

— Вот так удача! Вся компания в сборе!

Зафар с девушками, которых Акрам оставил в кабинете у Султана Касымова, и еще с несколькими сотрудниками, уже слегка «подогретые», стояли в дверях кафе. Не теряя ни минуты, Зафар принялся командовать.

— За работу, друзья, за работу! Раз, два — взялись! Дружно! Этот стол двигайте ко мне! Второй — рядом. Так. Теперь — стулья!

Вокруг Акрама началось оживление и дружная возня. Один из приятелей Зафара, не дожидаясь прихода официантки, побежал к буфету, девушка с прической, напоминающей минарет, что-то оживленно шептала на ухо Нилуфар. Та сначала разыграла молчаливую обиду (отчего не ей первой Зафар сообщил о таком важном событии!), потом оттаяла, потянулась к Зафару. Они расцеловались.

Один Акрам был в стороне от общего веселья. Видимо, почувствовав его настроение, Зафар спросил:

— Что так мрачен, старина? Брось! Посмотри, сколько красивых молодых лиц. Поверь мне, жизнь хороша. И я искренне рад, что ты здесь. Мы ведь друзья, правда? Давай выпьем! — Зафар обнял Акрама. — За твои успехи, коллега!

Акрам понял — Зафар сейчас счастлив, ему не терпится со всеми поделиться своей радостью, быть щедрым и великодушным.

Акрам поднял рюмку. Ему тоже захотелось сказать Зафару теплые и искренние слова. Но тот уже приглашал танцевать Саяру.

— Сегодня я ни от кого не хочу слышать отказа. Саярахон, окажите честь вашему верноподданному.

— Тебе с удовольствием окажет эту честь Нилуфархон! — произнес Акрам и смутился. «Да что со мной сегодня в конце концов происходит?»

Саяра, побледнев, поднялась и подала руку Зафару. Настроение у Акрама окончательно испортилось. Все танцевали. За сдвинутыми столами остались Убай и Акрам. Даже Шихисту, несмотря на ее отчаянное сопротивление, затянули в круг.

Поэт пересел ближе.

— Вы сегодня не в духе, Акрам-ака?

— Устал.

— Не принимайте все так близко к сердцу. Простите, что я вмешиваюсь, но, поверьте, ничего плохого здесь не происходит. Наши девушки молоды, хороши собой, и, наверное, нам надо только радоваться этому.

Акрам молчал. Где-то в глубине души он чувствовал, что этот сдержанный парень прав. Но ему было неприятно, что молодой Убай заметил его слабость и разговаривает с ним как с равным, а может быть, и с долей превосходства.

«Нужно уйти!» — сказал он себе и встал, увидев, что Зафар подводит Саяру к столу.

— Пора домой.

— Посидим еще немного. — Саяра просительно взглянула на мужа.

— Какая муха тебя укусила? — вмешался Зафар. — Веселье только начинается. Не будем портить себе и другим настроение. Увести сейчас очаровательную Саяру — значит обокрасть нас. — Он заговорщически подмигнул Саяре. — Не бойтесь, Саярахон, мы за вас будем стоять насмерть.

Саяра беспомощно улыбнулась и взглянула на мужа просительно и предостерегающе.

— В таком случае счастливо оставаться. А я пойду... — бросил Акрам и быстро зашагал к выходу.

«Господи, я веду себя хуже, чем обиженный мальчишка! А ведь я старше их всех. Ну зачем я обидел Саяру? Зачем испортил вечер людям?» Досадуя на себя, Акрам чуть ли не бежал по аллеям парка.

Народу в парке поубавилось. На скамейках, в тени деревьев, прижавшись друг к другу, сидели влюбленные. Теплый вечерний воздух был напоен крепким ароматом цветущего миндаля. Акраму этот запах был знаком с детства. Вспомнился далекий горный кишлак, где он бегал босоногим мальчишкой. Весенний ветер с гор почему-то отдавал терпким привкусом цветущего миндаля. Акрам вздохнул всей грудью и пошел медленнее. Ветерок приятно освежал лицо, возбуждение постепенно улеглось, и Акраму, который еще совсем недавно был обижен, раздражен, считал себя преданным Саярой, сейчас совсем не хотелось возвращаться домой без нее.

И так всякий раз: сначала расшумится, как ребенок, а потом ходит, точно в воду опущенный, мучается, не знает, как помириться. Когда он только избавится от своей вспыльчивости? Давно пора научиться владеть собой. Если тебе Саяра не по нраву, то почему в свое время не женился на той, которую тебе сватала мать? Она бы исправно готовила тебе обед, нянчила детей, охраняла бы твой покой и уют.

Дойдя до чинары, растущей в конце дальней аллеи, Акрам невольно остановился. Здесь он когда-то встретился с Саярой. Был такой же теплый летний вечер... Нет, кажется, это было

немного раньше. Урюк еще только начинал цвести. В белом коротком платье и туфлях на высоких каблуках, с нежными цветами урюка в пышных волосах, она шла к Акраму вот по этой дорожке. Лицо Саяры светилось, и сама она вся была похожа на только что распустившийся прекрасный цветок. Она шла все быстрее и быстрее и, наконец, не выдержав, отбросила назад длинную толстую косу и побежала к нему.

Чувствуя бешеный стук сердца, Акрам стремительно шел навстречу ей. Тогда все деревья в парке и даже эта старая чинара — все было объято весенним цветением.

А познакомился он с Саярой чуть раньше, на пятидесятилетнем юбилее ее отца — профессора. В черном вечернем костюме, торжественный и разгоряченный от произнесенных в его честь тостов, Абид Юнусович сам подвел Акрама к стайке девушек, среди которых была его Саяра.

«Прошу любить и жаловать любимого моего ученика — Акрамджана Халикова. Надеюсь, он не зазнается, если я скажу, что его, как я полагаю, ждет блестящее будущее. По крайней мере, я в это верю. Так что, девушки, делайте выводы», — добавил он шутливо.

Саяра сама пригласила Акрама на танец, а он, обычно робкий и застенчивый, был в тот памятный вечер в ударе. Ему все давалось легко и просто. Он шутил, смеялся, заражая своим весельем окружающих. Помнится, Саяра не отходила от него, ее не смущали даже шутки подруг: «А Саяра, кажется, уже сделала для себя выводы».

В тот вечер, когда, обняв тоненькую талию девушки, он кружился по залу и ее милое лицо было так близко, что он невольно касался губами нежных прядей волос, ему казалось, что никогда до этого он не любил, что не было в его жизни Хамиды, и только сейчас впервые он узнал, что такое — любить, быть счастливым!

Стоило Акраму подумать про Абида Юнусовича, как на душе стало легче. Захотелось тут же, немедленно повидаться со славным стариком, и он свернул к дому тестя.

...Ворота открыла мать Саяры, Мавжуда-апа. Чуть слышно произнесла: «Проходите», — и ушла в дом.

«Какой еще комар укусил и ее?»

Проходя по узкому коридору, Акрам заметил в ярко освещенной гостиной знакомого домуллу. Он сидел у окна, на почетном месте, и что-то возбужденно доказывал Абида Юнусовичу. До Акрама донеслось:

— Нет, никак, Абид Юнусович, не могу согласиться с вашим мнением, увольте — не могу... Не ожидал встретить в вас противника...

— Вот, кстати, появился молодой человек, которому, кажется, небезынтересно вас послушать, — произнес Абид Юнусович вместо приветствия Акраму и, усмехнувшись, вышел из комнаты.

Впервые Акрам услышал от тестя колкость и удивленно посмотрел ему вслед.

Домулла, засунув руки в карманы брюк, стал расхаживать по комнате.

— Так вот, речь идет о сегодняшнем диспуте,— начал он, остановившись наконец и скрестив руки на груди.— Мне помнится, вы тоже там были? Насколько я знаю, вы человек серьезный, поэтому мне, ука, особенно ценно узнать ваше мнение о диспуте.

Акрам пожал плечами. Странно! Хотя он сочувствовал домулле, слова его, манера держаться, его размеренный голос — все сейчас почему-то вызывало раздражение.

— Откровенно посмеиваться над пожилым человеком, который двадцать лет проработал в этом институте!.. Как вам это нравится? Все-таки это неуважение. Так мы далеко пойдем... Только не подумайте, что во мне говорит оскорбленное самолюбие! Нет, дело не в моей персоне лично, ука... Я опечален теми сдвигами, которые происходят в нашей молодежи! Сдвигами со знаком минус.

Полные щеки домуллы вздрагивали, карие, обычно добрые, глаза обиженно поблескивали.

— Удивляюсь вашей терпимости, ука! В наше время комсомол был не таким инертным. Мы не боялись называть вещи своими именами. Не знаю, если так дальше пойдет, то что станет с нашими нравственными принципами? Надо, чтобы комсомол...

Акрам невольно улыбнулся.

— Простите, домулла, но мне уже за тридцать... И вообще, что, собственно, произошло? Не сгущаете ли вы краски? Может, потому молодежь и не поняла вас. Даже Нилуфар, ваша дочь...

Домулла, будто споткнувшись о слова Акрама, остановился.

— Неужели вы думаете, что, печаясь за других, я стану выгораживать свою дочь? — Горестно покачив головой, он продолжал: — Если хотите знать, самую острую боль мне причиняют моя родная дочь и мой будущий зять.

Акрам отвел взгляд в сторону. Ему казалось, что в домулле он увидел свое зеркальное отражение. Не был ли он достойным «заместителем» домуллы там, в кафе? Ему стало не по себе. В гостиную вошел Абид Юнусович. Домулла взялся за шляпу.

— Вижу, что в этой семье у меня нет единомышленников,— сказал он с наигранной веселостью.— И этот молодой человек на вашей стороне, так что у меня нет другого выхода, как удалиться.

— Полная капитуляция! — рассмеялся Абид Юнусович.

— Нет. На языке военных — это временное отступление, вызванное соображениями тактики! — Домулла церемонно раскланялся.



Абид Юнусович вышел проводить гостя, затем вернулся в комнату, устало опустился в свое старое глубокое кресло и задумался.

— Странные мы люди,— произнес он, помолчав.— Столько пережили на своем веку, а все никак не можем научиться философски смотреть на жизнь. Часто забываем, что жизнь — это не застойное болото, а стремительно несущаяся река. Как еще мы боимся ее крутых поворотов и быстрин!

Абид Юнусович резко вскинул голову и, сощурившись, пристально посмотрел на Акрама.

— Подумать только. Преподаватель пришел всерьез жаловаться мне на молодежь. Послушаешь его, можно подумать, что мир перевернулся. Никак не могу понять, почему наша молодежь должна брать себе за образец именно этого человека? Почему она должна исповедовать обязательно его взгляды, придерживаться его мыслей?.. Будто сегодня в институте был какой-то диспут, а?

— Я был на нем,— ответил Акрам.

— Что ж там такое случилось? Почему мой коллега поднял такую панику? Поверить ему — так добрую половину студентов надо выгнать из института!

Лицо Акрама залилось краской. Ему казалось, что разговор идет не о домудле, а о нем самом.

— Как вам сказать? Конечно, поднимать панику не из-за чего. Правда, участников диспута никак не упрекнешь в избытке вежливости!

— Знаю! — сказал Абид Юнусович.— Холодно-рассудочная голова — собственность стариков, и, видит аллах, какую иной раз дорогую цену мы за нее платим! А молодой скакун тем и хорош, что горяч и норовист. Не подавлять, а развивать мы должны в нашей молодежи самостоятельность, обостренное чувство справедливости, правдолюбие, непримиримость к рутине, к карьеризму! У нас растет замечательная смена. Поделом ему, старому ворчуну, сегодня досталось. Радоваться надо, а не горевать! — Послушайте меня, Акрамджан,— неожиданно сменил тему разговора Абид Юнусович.— Я не хочу вмешиваться в ваши семейные дела. Однако... Саяра сейчас со слезами пришла домой. На расспросы ничего не отвечает. Что еще случилось?

Акрам сглотнул комок, невольно ставший в горле. Что он мог ответить? Что Саяра плохо вела себя в кафе, шутила и смеялась с друзьями, танцевала?

— Кажется, я немного погорячился...— начал Акрам сбивчиво.

Абид Юнусович грустно покачал головой, вздохнул.

— Молодежь, молодежь... Хочу предостеречь вас от своих ошибок. Ведь и я тоже был молод, и не все в моей жизни делалось так, как хотелось бы мне сейчас. Нужно быть помяг-

че, Акрамджан. Во всяком случае... Как бы мелкие стычки не превратились в большую ссору... Поговорите с Саярой... Легче тушить маленький огонь. Не дожидайтесь, пока разгорится пожар...

Саяра лежала в кабинете отца на диване, повернувшись лицом к стене. Чай, принесенный матерью, давно уже остыл.

Демонстративно бросить ее в кафе! И какое у него было нехорошее, злое лицо! Еще минута — и она бы разревелась от унижения и обиды. Наверное, кое-кто ждал этого. С какой жалостью и сочувствием все смотрели на нее. Только этого еще не доставало! Едва сдерживаясь, она выскочила из-за стола. Поднялись все, но Зафар остановил их.

— Сидите, сидите. Я отвезу Саярухон и быстро вернусь.

Голубая «Волга» Зафара стояла у ворот парка. Зафар открыл дверцу, засмеялся:

— Приедете домой раньше Акрама и зададите ему взбучку за опоздание. В наше время шутки плохи с женами!

— Если можно, отвезите меня к родителям, — попросила она.

Легко, словно бы играючи, ведя «Волгу» в потоке мчащихся машин, Зафар заговорил, как показалось Саяре, фальшивым, неискренним голосом:

— В жизни все бывает, Саярахон. Акрам хороший парень, прямой, честный. Хотя... — Зафар тихо рассмеялся, — он из тех, кто вчерашний плов любит больше свежего. Я думал, что это у него только в архитектуре. Вы представляете наше ремесло.... Не знаю даже, как назвать. Наука?.. Нет! Искусство? Впрочем, это неважно. Важно другое. Сейчас, мне кажется, наше дело приближается к революционному скачку. Скоро — да, да, очень скоро — не только здания в городе будут выглядеть не так, как сейчас, но и сами города преобразятся. А Акрам не хочет понять этого.

— Чтобы понять, человеку, наверно, кое-что нужно, — тихо произнесла Саяра.

Зафар, чуть-чуть скосив глаза, спокойно ответил:

— В студенческие годы Акрам считался одним из самых способных. Не знаю, почему он отказался тогда поехать в Москву. Я, например, не жалею, что поехал. Москва есть Москва. Просто подышать ее воздухом и то славно...

Саяра усмехнулась:

— Как он мог поехать, когда я повисла на его шее!

— Вы повисли на его шее или он на вашей? — спросил Зафар и вдруг застенчиво улыбнулся: — Вы знаете, все мы, молодые аспиранты, были влюблены в вас!..

— Спасибо, хоть и не верю этому, — сказала Саяра и покраснела. Как бы Зафар не подумал, что она кокетничает, напрашивается на комплименты.

Зафар рассмеялся.

— Я бы доказал истинность своих слов, но, к сожалению, мы уже приехали.

Саяра постояла у ворот, пока красные огоньки машины не растворились в темноте, и нехотя вошла во двор. Слова Зафара об Акраме растревожили ее. Она даже не приласкала дочку, с радостным криком выбежавшую ей навстречу. Молча прошла в кабинет отца, бросилась на диван и дала волю слезам.

Когда она поступила в институт, Зафар, молодой аспирант, был похож на мальчика, только что окончившего школу, а Акрам уже отслужил в армии. Он был высокий, по-военному подтянутый. Лицо открытое, скуластое. Ее подруги считали его неотесанным и угловатым. А Саяре все в нем нравилось — молчаливость, простодушно-кишлачный облик...

И она тайком от всех мечтала стать Лейли<sup>1</sup> этого странного Меджнуна.

Нет, Саяра не жалеет о своей любви. Зачем зачеркивать то светлое и радостное, что было у них! Она не может себе простить лишь того, что так рано вышла замуж. Надо было оглядеться, подождать год-другой. Уже в конце первого курса она вынуждена была бросить институт — родилась дочь. Потом снова поступила... Вот уже шесть лет она заботится о муже, о ребенке. Неужели молодость позади? А чудаковатый муж творит свои чудачества! Такие, как Зафар, в два счета, шутя защитили диссертации, а Акрам — с превеликим трудом, и то лишь через пять лет. Не нашел общего языка на кафедре — перешел в проектный институт. И здесь все чудит. Зачем? Вроде бы с искрой божьей. Чересчур принципиален?.. Зафар — тоже. Учился вместе с Акрамом, вернулся из Москвы кандидатом, сразу стал главным архитектором проектного института. У него уже много работ, за свои проекты он получает премии, он в почете, у него собственная машина... А ее чудаковатый муж всего лишь руководитель мастерской... Без коня, но с седла не слезает! Гнет свое. Говорит людям в глаза правду, «всегда правду, чистую правду». Также мне хобби! Кому это понравится? Как он не видит, не замечает, что во многом молодежь уже обогнала его. Он и о Зафаре не очень-то лестно отзывался, считает, что тот пошел работать в институт сельского проектирования только из-за высокой должности, а жизни кишлака совсем не знает.

Как она раньше была наивна! Верила всему этому. Сегодня наконец у нее раскрылись глаза! Если молодой ученый предлагает смелые, необычные решения, значит, он отрывается от жизни? Пытается наладить работу в институте, который долгие годы топтался на одном месте, — непременно карьерист! Если он не ханжа, не на словах, а истинно смотрит на женщину, как на равную, — дамский угодник. Вот она — примитивная «философия» Акрама. Зато годами корпеть над диссертацией,

---

<sup>1</sup> Лейли — героиня памятника средневековой литературы народов Азии «Лейли и Меджнун», в основе которого лежат древнеарабские сказания.

с молодыми держать себя стариком, ревновать жену и с опаской смотреть на новый фасон платья, новую прическу — дозволено и даже похвально. Почему она должна все терпеть от этого человека? Только лишь потому, что он ее муж?..

Саяре уже казалось, что до сегодняшнего дня она жила в потемках, не догадывалась, не знала, что где-то рядом есть другие люди, легкие, остроумные, естественные в обращении. Ироничный Шавкатджан, мягкий веселый Зафар — как они не похожи на прямолинейного, тяжеловесного Акрама. Она выносила грубую ревность Акрама потому, что думала: ведь любит. А любит ли? Любящий человек не может так поступить. Бросил, выставил на посмешище! Лучше бы схватил за руку, силой вытащил из кафе! Пусть бы показал свой шальной характер. Все-таки это было бы лучше...

Вновь вспомнив, как он, ни разу не обернувшись, демонстративно вышел из кафе, Саяра судорожно всхлипнула.

— Саяра, послушай меня... Саяра, — тихий нерешительный голос.

Она резко поднялась на диване. Акрам стоял немного наклонившись и протянув к ней руки. Темное скуластое лицо, решительные складки в уголках губ.

Саяра почему-то испугалась, что его руки заденут ее, отодвинулась к стене. Сжавшись в комок, обхватила руками колени.

Акрам болезненно и виновато улыбнулся.

— Саяра, — едва выговорил он. — Прости меня. Не будем ссориться...

Саяра чуть не застонала от обиды. Не за себя — за него. Вот тебе и цельная натура!

Она ниже опустила голову и плотнее прижалась к спинке дивана.

— Саяра...

— Уходи!

— Саяра, нам надо поговорить. Видишь, я к тебе первый...

— Первый? — Она взглянула на него и вдруг нервно засмеялась. — Ты — первый! Да, да! Там, где не нужно показывать свою волю и самостоятельность, наконец, просто силу, — там ты первый! Ты первый там, где косность и самодовольство... Ты...

Она глядела в упор и говорила, говорила обо всем, что передумала сейчас, что наболело на душе: о его самовлюбленности, чудовищной самоуверенности. Она бросала в лицо Акрама упреки один больше другого. У него побелели скулы...

Саяра, вымещая обиду, забыла все, забыла даже обиду, нанесенную Акрамом, она упивалась своим голосом, наслаждалась его растерянностью, его унижением. И ее понесло, как щелчку в горном потоке... Нисколько он не талантлив! Он тряпка, тугодум, за его внушительной внешностью ровным счетом ничего интересного не кроется...

Акрам, замерев, смотрел на жену: пылающие щеки, кричащийся рот, черные провалы зрачков. Акрам смотрел и чувствовал, что все с грохотом рухнет: любовь, семья... Любви, значит, не было. Не могло быть, если скопилось столько разрушающей ненависти. Дочь? Если пока она его не ненавидит, то все еще впереди, мать научит... Все ломается, рушится, летит в пропасть. Кому нужны его сомнения, творческие поиски, его работа. Даже жена их не щадит!

— Ты мне напоминаешь брошенную мечеть. Величественные купола, арки, а внутри — паутина и мрак...

— Саяра, опомнись!..

— Знал бы ты, как жалок в сравнении с другими. Посмотри на Зафара, на тех, кто был сегодня со мной...

И вдруг Акрам почувствовал, что ее лицо утратило обычные размеры, расплылось, вот-вот потонет в широко распахнутых глазах. И в нем проснулся дикий и безудержный гнев первобытного мужа, вспомнившего, что он — хозяин дома и этой женщины.

И он, бросившись вперед, ударил ее по щеке.

Она дернулась всем телом, замолчала, цепenea, заливаясь мертвенной бледностью.

— Ты...— Она судорожно прижала руку к щеке.— Ты...— И вдруг рванулась на него грудью.

— Мало тебе? Бей еще!..

Акрам в ужасе попятился.

Дверь распахнулась, на пороге показалась Мавжуда-апа. Неверной рукой она оперлась о косяк двери, выдохнула: «Ой, отец...» и в следующее мгновение стала медленно опускаться на пол. Появился Абид Юнусович, неловко подхватил жену.

Акрам смотрел то на сотрясающуюся в плаче Саяру, то на свою ладонь, то снова на Саяру.

Выводя из комнаты пошатывающуюся жену, Абид Юнусович обернулся:

— Уходите из моего дома и немедленно! Вон!..— Он гневно махнул рукой.— Слышите? Уходите!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

На слабо освещенном перроне Акрама встретил его младший брат Нартаджи. Он был молод, высок ростом, но уже заметно начал полнеть. Немного робея, Нартаджи почтительно поздоровался с Акрамом, словно не с родным человеком, а с важным гостем из столицы.

— Председатель сам хотел встретить вас, но его неожиданно вызвали в обком. Хорошо, что приехали, ака. Торжества ожидаются большие.

— С чего бы это? — несколько удивился Акрам.

— Как с чего? Во всей области нет такого замечательного дворца.

У вокзала их ждала новая грузовая машина. Шофер открыл дверцу, но Акрам, заметив в кузове женщину с ребенком, уговорил ее перебраться в кабину, а сам залез наверх и прилег на сухое сено. Нартаджи пристроился рядом. Машина тронулась, и небо, полное звезд, качнувшись, стало медленно вращаться, как в большом планетарии.

Акрам положил руки под голову. В детстве он любил лежать на дворе и, укрывшись теплым одеялом, вот так же, не мигая, смотреть на звезды.

Молчание нарушил Нартаджи.

— Хорошая у вас, брат, специальность. Завидую! Дворец получился великолепный. Спереди сад, сбоку озеро — такая картина, что просто ахнешь. Огромное дело вы сделали, ака! Огромное!

Акрам улыбнулся! Нартаджи с детства любил выражаться восторженно и несколько высокопарно. Акрам попытался представить себе Бака-Булак, дворец рядом с озером, и на душе его посветлело.

Это озеро питали десятка два родничков, поэтому вода в нем была чистая, как слеза. Озеро окружено крупными карагачами и зарослями джиды. Посредине — на островке — огромная чинара. Когда-то молния расколола ее на две части, из которых одна продолжала расти вверх, а другая накренилась к воде. Мальчишки вскарабкивались на пологую часть ствола и прыгали в воду вниз головой или прятались среди ветвей платья девочек, поднимавших визг на весь кишлак.

Теперь на берегу этого озера по проекту Акрама был сооружен Дворец культуры.

Улыбаясь в темноте, Акрам попытался представить себе дворец, но мысли его опять прервал Нартаджи.

— Сказать правду, мы очень вами гордимся, брат. Часто вас вспоминаем. Только вот...— Нартаджи замялся.

— Ну? — насторожился Акрам.

— Нет, ничего, — смутился Нартаджи. — Пустяки. Да вот говорят, что... гостей из кишлака вы принимаете не очень охотно. «Невестка нажаловалась», — догадался Акрам.

— Я не говорю про наших, — словно прочитав его мысли, сказал Нартаджи. — Нож свою рукоятку не режет. Наши и словом не обмолвятся и другим виду не подадут. А вот друзья ваши...

Акрам вздохнул, но ничего не ответил. Он и сам знал то, о чем говорил младший брат. И это его часто мучило. Каждый раз, когда Акрам приезжал в кишлак, земляки чуть ли не на руках его носили. А он в своей городской квартире никогда не мог ответить им тем же. Из-за этого он часто ссорился с Саярой. Уж очень у нее вид... Нет, она не избегает гостей. Просто она уж чересчур современна, смущает своими клипсами и оголен-

ными руками сельских простаков. Если сказать правду, дело не в Саяре. Сами односельчане, стоило им войти в его квартиру с до блеска натертыми паркетными полами, полированной импортной мебелью, растерянно топтались у порога, не решаясь ступить на разостланный по полу ворсистый ковер невиданных блеклых тонов. Явятся в гости, а потом пользуются первой же возможностью, чтобы улизнуть. Нартаджи себе этого не предвставляет. Несмотря на молодой возраст, он хорошо знает все обычаи старины и пользуется среди односельчан авторитетом, как почтенный старец. Многие обращаются к нему за советами. Ни свадьба, ни похороны не обходятся без Нартаджи. Акрам сам всегда прислушивался к словам младшего брата. Но сейчас Нартаджи задел его за живое.

— Это нелегкий вопрос, брат,— ответил он.

— Знаю, ака. Чужому человеку я бы этого не сказал. Но вы мой брат. Я знаю, что в городе вас уважают, да и наши аксакалы тоже относятся к вам хорошо. Но мне хочется, чтобы ваш авторитет был еще выше. И тут мне кажется, наша невестка...— Он замялся, пытаясь подыскать слово поделикатнее...— Мне кажется, что вы позволяете ей немножко больше, чем нужно.

— Ладно, брат,— отмахнулся Акрам,— после.

Ему стало вдруг душно. Он приподнялся на локте и растегнул ворот рубахи.

Город давно остался позади, и его огни рассеянно мерцали вдали, на отдаляющемся горизонте. Далеко впереди темнели очертания невысоких холмов.

В последний военный год Акраму исполнилось тринадцать лет. Он работал погонщиком в ишак-караване.

Каждое утро на рассвете несколько мальчишек, навьючив на ишаков по паре мешков зерна, отправлялись в дальний путь. Они шли, каждый за своим ишаком, по степному бездорожью, густо усеянному мелкими острыми камешками и заросшему верблюжьими колючками. Миновав холмы и лощины, маленькие погонщики приходили в город после полудня, сдавали зерно на заготпункт и в сумерках возвращались обратно. В дороге они так изматывались, что не оставалось сил даже на то, чтобы выпить касу ячменной похлебки. Попадав на раскаленную за день и твердую, как камень, землю, они тут же засыпали, чтобы на рассвете снова подняться и снова тащиться в город — каждый за своим ишаком.

Когда Акраму было шестнадцать лет, он ездил по этой же дороге на арбе, запряженной парой лошадей. Летом возил зерно, осенью — хлопок.

С тех пор много воды утекло. Акрам отслужил в армии, окончил институт, защитил диссертацию и женился на девушке редкой красоты. И все-таки ему часто казалось, что самым счастливым в его жизни было то трудное время, когда он жил здесь, в кишлаке, был влюблен в соседскую девушку

Хамиду и от зари до зари колесил на арбе по этим бесконечным пыльным дорогам, распевая грустные песни. Иногда он даже думал, что, пожалуй, сменил бы свою нынешнюю жизнь на те нелегкие годы юности, когда вместе с теперешним председателем колхоза Турабджаном Икрамовым они лазили в колхозный сад, воровали персики и виноград, а потом угощали своих подружек Хамиду и Малохат.

Каждый раз на рассвете, когда они с Турабджаном отправлялись в далекий путь, Хамида и Малохат встречали их у арыка, разворачивали цветастые платки и угощали свежими лепешками или самсой с тыквой. После этого и дорога казалась не такой дальней, и степь не пыльной, и солнце совсем не жгучим.

Он любил Хамиду и много раз оставался с ней наедине, но ни разу не решился даже коснуться ее руки. За один лишь нежный взгляд, за одно ее ласковое слово он готов был отдать свою жизнь!

Если бы его потом не забрали в армию...

Когда он вернулся, Хамида была уже замужем.

Потом он встретил Хамиду лишь однажды, в год своей свадьбы. Вместе с Саярой он шел по главной улице кишлака в сторону озера. Неожиданно из боковой узенькой улочки показалась Хамида. Она шла со своим мужем и с маленькой дочуркой, у которой были такие же большие темные глаза, как и у матери.

Муж Хамиды, Садыквой, загорелый до черноты, высокий и ладный парень, шел чуть впереди в распахнутой рубашке, сдвинутой набекрень тубетейке. Он замедлил шаг, чтобы поздороваться с Акрамом, и, не оглядываясь, пошел дальше. Но, видно, не зря говорили, что Садыквой очень ревнив — Хамида прошла мимо, даже не подняв головы. Поравнявшись с Акрамом и Саярой, она чуть слышно поздоровалась и нервно дернула за руку дочку, которая все оборачивалась и пялила глаза на «тетю из города».

Хамида почти не изменилась. Тот же прямой красивый нос, длинные, чуть загнутые ресницы, та же стройная фигура. Акрам старался скрыть волнение, охватившее его при встрече с Хамидой, но Саяра все поняла и сказала с усмешкой:

— Если я правильно поняла, это ваша бывшая любовь? Не жаль, что упустил? Сейчас бы вы тоже могли расхаживать по кишлаку в тубетейке набекрень и в рубашке нараспашку.

Видно, кто-то уже успел посвятить Саяру в подробности его прошлой жизни. Акрам промолчал. Саяра продолжала дожимать:

— Скрытный вы человек, Акрам. Хотя и прикидываетесь простачком.

Акрам вздохнул, вспомнив Саяру, и сразу в памяти возникла та ужасная сцена: его вспышка, поднятая рука, глаза Саяры, полные слез...



Акраму стало не по себе. И вдруг обида с новой силой проснулась в нем. «Что ж,— подумал он, оправдываясь перед самим собой,— в конце концов она сама во всем виновата».

Машина нырнула в густые темные сады. В лицо ударил нежный аромат спелого урюка. За густыми ветвями замелькали неяркие огоньки.

— Вот и приехали,— сказал Нартаджи.

Акрам проснулся рано. В саду еще было тенисто и прохладно, и лишь верхушки высоких тополей, росших вдоль арыка, нежно золотились на солнце.

Жена Нартаджи в длинном красном платье и яркой цветастой косынке прошла мимо сури, шлепая калошами, доить корову. Махира-хола, мать Акрама, боясь разбудить сына, тихо возилась у тандыра. Начинался день.

Акрам встал, набросил на плечо полотенце и, миновав сад, спустился в лощину.

И лощина, и раскинувшиеся вдоль нее сады были еще погружены в тень. Но видневшиеся вдали могучие чинары и карагачи уже купались в светлых лучах. Солнце осветило и большое трехэтажное здание, окруженное деревьями. Это и был Дворец культуры, детище Акрама, предмет его долгих размышлений и споров, первое, с чего началась перестройка кишлака по его, Акрама, генплану. Сейчас, в утреннем сиянии, дворец показался Акраму особенно красивым, величественным, будто парящим в облаках. Синие, багряные, голубые краски в лучах солнца принимали какие-то причудливые, сверкающие оттенки.

Полюбовавшись дворцом, Акрам спустился с крутого обрыва к роднику. Ледяная прозрачная вода пахла мятой и камышом. Акрам черпал ее пригоршнями и плескался до тех пор, пока не начало сводить пальцы.

Вот так же тем летом, когда они с Саярой только что поженились, он приходил по утрам умываться к этому роднику. Чуть погодя с ведром в руках появлялась Саяра — как будто за водой. В просторном платье из яркого хан-атласа, в лакированных калошах и накинутом на голову белом платке, она вроде бы ничем не отличалась от простой кишлачной девушки. Вроде бы!

Акрам опять поймал себя на том, что думает о Саяре, и рассердился: в конце концов, почему он все время вспоминает ее! Приехал к себе домой, в родной кишлак, где прошло все детство и юность, разве нет здесь у него других воспоминаний? Почему он все время упорно возвращается к одному и тому же — вот они с Саярой идут по кишлаку, вот Саяра у родника набирает воду, Саяра разговаривает с его матерью, Саяра, Саяра!..

Он приехал к себе домой, при чем здесь Саяра?

Акрам решительно встал и направился к дому.

А она наверняка и не думает о нем. Да она никогда его не любила, теперь это совершенно ясно! Избалованная профессорская дочь! Думала, что станет женой заслуженного деятеля и будет развездаться на собственной «Волге», а стала женой скромного архитектора. Зачем ей это?

Акрам чувствовал, что несправедлив, но уже не мог остановиться.

— Кого вижу! Неужели Акрам?

Он поднял голову. Наверху, у самого обрыва, с большим кетменем за плечами стоял старик-сосед, отец его первой любви Хамиды, Дядя, как его звали все в кишлаке. Младшая дочь старика, Шахиста, училась вместе с Саярой в Ташкенте.

Акрам поднялся наверх, поздоровался с соседом. Расспросив о Шахисте, о ташкентской жизни, Дядя подозрительно посмотрел на Акрама:

— Что это ты такой грустный?

— Да так, вспомнилось детство.

— Должен тебе сказать, в те времена ты выглядел значительно веселее. И поседел! Я и то моложе выгляжу. Мать Шахисты<sup>1</sup>, а как ты считаешь? — обратился он к своей жене, которая, увидев Акрама, подошла к ним. В глазах «матери Шахисты», невысокой, моложавой женщины, вспыхнули озорные искорки.

— О, вы еще в самом соку, отец Шахисты! Самая пора взять, как в старину, молодую жену. Она будет ухаживать за вами, а я, старшая жена, буду отдыхать и повелевать ею!

— Ну, если ты настаиваешь, чтобы я женился на молодой, — изволь, женюсь. Только за теперешних девиц нельзя ручаться: то ли ты будешь сидеть на почетном месте и повелевать ею, то ли она тобой начнет командовать!

— Что же, отец Шахисты, для меня счастье служить не только вам, но даже вашей молодой жене!

— Вот молодчина! — восхитился старик. — Положила джигита на обе лопатки.

Дядя поднял кетмень на плечо.

— Ну, я пошел, Акрамджан, а ты, если и правда хочешь вспомнить детство, сними свою модную рубашку, надень что-нибудь попроще, возьми кетмень и приходи ко мне на поле. А?

Акрам с грустью посмотрел вслед «джигиту»: за последние годы старик заметно сдал. Сильнее сгорбились плечи, поседела голова... А все-таки молодец! Держится как ни в чем не бывало. Сколько бодрости, неподдельного веселья. И правда, настоящий джигит!

Весь день дом Акрама был полон гостей. Приходили родственники, друзья и однокашники, приходили учителя. К вечеру нагрнул сам председатель.

---

<sup>1</sup> «Мать Шахисты». — У узбеков супруги обращались друг к другу либо по имени старшего сына, либо по имени любимого ребенка.

Со времени их последней встречи Турабджан еще больше пополнил и раздался вширь, но благодаря своему высокому росту и сейчас не казался толстым. Крепкий, загорелый, в белой рубашке с отложным воротничком, он чем-то походил на отставного спортсмена.

Акрам услышал его голос еще из сада:

— И это называется архитектор, художник! Его творение, можно сказать, великое произведение искусства, давно готово, а он сидит себе в своем Ташкенте и в ус не дует! Да ты должен был на крыльях сюда прилететь! Не можешь на крыльях — лети на самолете.— Он шумно расцеловался с Акрамом.

На чай и разговор со стариками ушло ровно столько времени, сколько требовал этикет. Видно было, что Турабу не терпелось остаться с Акрамом наедине, поговорить, показать строительство.

В лощине, у обрыва, их ждала «Волга». Палван, шофер Турабджана, прозванный так кишлачными остряками за маленький рост и отнюдь не богатырское сложение, радостно встретил Акрама.

— Сколько лет, сколько зим, Акрам-ака! Да будет благословен день, когда вы приехали!

Тураб открыл дверцу машины, пропустил Акрама вперед.

— Едем смотреть дворец,— сказал он торжественно.— Завтра будем праздновать его открытие. Приедут представители райкома, обкома, все председатели колхозов! Собрание, банкет, все как полагается! Пусть почувствуют размах Тураба Икрамова! — Председатель размахисто вскинул руки.— Ну, что скажешь?

Акрам кивнул. Тураб помолчал и вдруг сказал деловито:

— Да!.. Возможно, придется кое-что изменить в генплане поселка, начальство требует. Но об этом потом. Видишь, — опять оживился он, — все сровняли, можно и здесь начинать строительство.

Машина подъехала к старому кишлаку.

Акрам вышел из нее и не поверил глазам своим. Перед ним расстился пустырь. Ни высокой глинобитной стены, окружавшей старый кишлак, ни узких извилистых улочек, осторожно пробирающихся между низкими дувалами, ни домов, ни лавочек — ничего не осталось от древней крепости. Не осталось даже самого холма, на котором древний кишлак располагался. Все было снесено, сровнено с землей. Лишь мечеть с высоким, крытым белым железом куполом одиноко возвышалась слева от пустыря.

По генеральному плану улицы, разбивающие поселок на четыре части, должны были соединиться здесь, на месте снесенной старой крепости. Тут же планировалась большая площадь с фонтаном, цветами, аллеями. А Дворец культуры, с которого началось строительство, был как бы завершением всего этого комплекса.

Акрам вновь огляделся. Странно! На генплане его идея казалась интересной, оригинальной. А теперь, когда он увидел этот пустырь вместо старого кишлака, к которому так привык

с детства, в душе его что-то сжалось. Почему-то не хватало этих маленьких, узких улочек, старинных ворот, окованных железом, глинобитной стены. Так не хватало, что у Акрама защемило сердце.

Неужели Зафар был прав? Тогда, на обсуждении генплана в институте, Зафар высказал другую идею — оставить холм и старую крепость, а дворец — легкий, из стекла и металла, без старомодных украшений — построить рядом с ней. Тогда старая крепость и дворец будут контрастировать, дополнять и подчеркивать стиль друг друга.

Зафар только что вернулся из Москвы и был воодушевлен размахом строительства, интересными и смелыми архитектурными решениями столичных зодчих. На всех обсуждениях в институте он критиковал местные проекты за несовременность, излишнюю тягу к роскоши, за выбор дорогостоящих материалов — майолики, резьбы по ганчу. Но к его выступлениям не относились всерьез, даже малость посмеивались: одно дело Калининский проспект и гостиница «Россия» на фоне Кремля и Василия Блаженного, другое — наш, далекий от Москвы, узбекский кишлак!

Ультрасовременную идею Зафара, члена техсовета, как говорится, «забодали». А Турабджан, участвовавший в обсуждении, даже обиделся.

— Сейчас в колхозном кармане водятся деньжата. Не то что раньше. Зачем это нам воздух и стекло? Мы можем себе позволить построить настоящий дворец, такой, чтобы всем на зависть! А то, что вы говорите — воздух, стекло, ни к чему! Это просто смешно. Похоже на голую женщину! Нам это ни к чему! У нас все ходят одетые, и хорошо одетые!

Тогда члены техсовета смеялись над выступлением Тураба. Смеялись, но... соглашались с ним.

Так неужели Зафар в чем-то был прав?

Нет, все-таки прав он, Акрам, а не Зафар.

Акрам вырос в кишлаке и знает, что дехканам нужно. Тогда он настоял на своем и сейчас радовался этому. Улица, по которой они только что ехали, — главная улица кишлака, уже заасфальтированная и почти вся застроенная новыми одноэтажными домами, была подтверждением его правоты. Акрам знал, как довольны новоселы этими красивыми удобными домами, и сейчас, придирчиво рассматривая их, не мог ни в чем себя упрекнуть. Дома действительно отличные.

Так, то придираясь к себе, то защищаясь от собственных нападок, Акрам не заметил, как они дошли до озера Бака-Булак. Только когда перед ним заблестела зеркальная гладь воды, он поднял глаза и увидел дворец — ослепительный, сияющий свежими красками, его Дворец культуры. Светлые тонкие тона порталов подчеркивали роскошь черного мрамора, темных каменных плит, из которых дворец был построен, и Акрам опять, уже вблизи, удивился величественности, торжественности здания.

На площади перед дворцом вовсю кипела работа. Выравнивая землю, натужно ревел бульдозер; приминая горячий, дымящийся асфальт, двигались катки. Нескольким человек высаживали цветы вокруг фонтана, другие обкладывали дерном края арыков и аллей. Все спешили, торопили друг друга.

Лишь один человек выпадал из этой картины радостного оживления. Не обращая ни малейшего внимания на происходящее, он лежал на ступеньке клуба, постелив под себя чапан, и прямо, не мигая, глядел перед собой. Его лицо, испещренное морщинами, с двумя-тремя волосинками на подбородке, выражало полное равнодушие. Это выражение не изменилось и тогда, когда председатель и Акрам, поздоровавшись со стариками, подошли к нему.

— Ну что, куса, — обратился к нему Турабджан, — все лежишь себе, поплеывая?

Куса прищурил хитрые глазки, погладил подбородок.

— А что мне делать, как не лежать? Или кто утащит ворота Ходжи Насреддина?

Акрам невольно улыбнулся, вспомнив анекдот о том, как Ходжа Насреддин соорудил ворота еще до того, как у него были дом и забор. Но председателю шутка не понравилась.

— Тебе все равно, что Дворец культуры, что ворота! Только бы валяться на боку, бездельник!

Обойдя высокую восьмигранную колонну, Акрам не без труда открыл тяжелую, украшенную резьбой дверь.

Внутри дворец выглядел не менее роскошно, чем снаружи. Три мраморные колонны поддерживали высокий свод фойе. Такие же колонны высились по краям зрительного зала и по обе стороны сцены. Двери и окна были завешены зелеными бархатными занавесями.

Акрам растерянно огляделся. То же ощущение неудовлетворенности, появившееся еще на пустыре, на месте снесенного старого кишлака, опять явилось его душе. Что же это? Неужели он сомневается в своем проекте?

Акрам подошел к колонне, погладил холодный мрамор. Странно: когда он приезжал смотреть строительство, колонны не казались ему такими тяжелыми, давящими. И весь зал представлялся ему более легким, изящным, радостным.

Турабджан нажал кнопку в стене. Вспыхнула роскошная бронзовая люстра, и зал залил свет.

— Ну как? — гордо спросил председатель. — Не стыдно будет перед гостями? Чем хуже дворца Хамракула Турсункулова<sup>1</sup>?

Акрам не ответил. Он еще раз прошелся по залу и фойе, заглянул в боковые комнаты и кабинеты. М-да... Здание роскошное. Но какое-то тяжелое, холодное, даже мрачное.

---

<sup>1</sup> Хамракул Турсункулов (1892—1965) — зачинатель колхозного строительства, председатель колхоза «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»). Трижды Герой Социалистического Труда.

Акрам знал, что между проектом и его практическим воплощением существует некоторая разница. Он, конечно же, знал об этом. Но он и не предполагал, что разница может быть столь разительна.

Смутное, неясное раздражение росло в душе Акрама. Как же это получилось? Ведь он мечтал порадовать односельчан, а не подавлять тяжелой роскошью. Хотел, чтобы они чувствовали себя во дворце легко, свободно, не стесненно!

Неужели Зафар хоть в чем-то прав?

Одно понравилось ему безусловно: украшения из ганча на стенах фойе и зала, выполненные мастерами-резчиками. Легкие, ажурные, они радовали изяществом и строгостью линий, красотой рисунка. Стены и потолки читального зала на втором этаже тоже были украшены ганчевой резьбой. Но там, на втором этаже, еще шла уборка.

— Недаром говорят: «Даже мать родную не показывай отцу без украшений!» Посмотришь завтра.— Турабджан испытующе взглянул на Акрама.— Что нахмурился? Или не нравится?

— Нет, дело не в этом,— ответил Акрам, не зная, что сказать.

— А может, вот это тебя развеселит? — Турабджан взял Акрама за руку и подвел к стене, завешенной шелковой занавесью.— Внимание! — Он торжественно поднял руку и высоко приподнял край шелка.

Блеснула белая мраморная плита с золотыми буквами:

«Это здание сооружено по проекту славного сына кишлака Бака-Булак кандидата наук архитектора Акрама Халикова».

Сразу вспомнились слова Нартаджи: «Огромное дело вы сделали, брат, огромное!»

— Ну зачем все это?

Турабджан обнял Акрама.

— Вот за скромность я тебя и люблю, дорогой! Ну что ж, пойдем, что ли?

— Куда?

— Ко мне, куда еще? Малохатхон готовит такую шурпу, какой ты еще не пробовал, ручаюсь! Посидим, поговорим, отведем душу!

Акраму не хотелось сейчас ничего: ни шурпы, ни шумного застольного веселья. Остаться бы одному, разобраться в своих впечатлениях.

— А если мы сделаем так,— предложил он.— Сейчас ты отвезешь меня к Гортепе. А когда шурпа будет готова, крикнешь, и я спущусь.

Акрам сам не знал, почему сказал это. Захотелось ли ему забраться на высокий холм и оттуда еще раз взглянуть на кишлак, еще раз представить свой проект осуществленным? Или просто потянуло к любимой скамейке под старой полувысохшей чинарой у могилы святого, месту, где хорошо было

посидеть одному, подумать, почувствовать тишину и покой сельского кладбища?

— Если тебе захотелось принести пожертвование святому, лучше отдай мне, купим пол-литра! — грубовато пошутил Турабджан. — Ну что ж, поехали?.. Да что с тобой? Может, заболел? Или с женой поругался?

— Да нет...

— А если и поругался, нечего расстраиваться! Милые бранятся, только тешатся. Кстати, — Турабджан снова оживился, — говорят, около сестренки Хамиды в Ташкенте вертится какой-то поэт. Это правда?

— Да, как будто.

— Кто он?

— Я его не очень хорошо знаю. Кажется, славный парень. И дальний родственник моего тестя.

— Ну нет, — возмутился Турабджан, — хоть он и родственник твоего тестя, Шахисту мы ему не отдадим!

Акрам вспомнил сцену около кафе, Муратджана, его жалкое лицо, плаксивый голос, и улыбнулся.

— Я-то здесь при чем? Не хочешь, не отдавай, только посоветуй это прежде всего своему брату!

— Моему брату нечего советовать! Он слишком скромн, слишком тих для нашего времени. Сейчас такие не в моде. Особенно у вас, в Ташкенте. Вот и вырывают у него добычу прямо изо рта.

— Ну, если можно назвать Шахисту добычей... Все-таки для порядка, наверное, можно и ее спросить, — рассмеялся Акрам. Ему все казалось, что Турабджан шутит.

— Дело не в Шахисте! У них все шло хорошо. А сбила ее с толку твоя старая любовь — Хамидахон! Но ты запомни, — голос председателя задрожал и рука резко разрубила воздух, — ты запомни — дураков здесь нет! Если я не женю на ней своего брата, пусть меня больше не зовут Турабджаном!

Акрам удивленно посмотрел на друга. Нет, Турабджан не шутил. Акрам не верил своим глазам. Да тот ли это Турабджан, справедливый, прямой парень, лучший друг его юности? Трудно было узнать его в этом заносчивом, властном человеке.

— Ну, чего раскрыл рот? — уже остывая, сказал председатель. — Я говорю правду, вот и все. Дураков теперь нет, все стали умные. И Шахисту мы никому не отдадим.

Акрам хотел было возразить, но в это время машина подъехала к подножию холма и остановилась перед высоким забором кладбища.

Поднимаясь по узкой извилистой тропинке, поросшей мелкой колючкой, на Гортепу, Акрам вспомнил детскую полузабытую сказку, которую рассказывала бабушка.

Давным-давно из-за далеких гор в кишлак прилетел страшный дракон. Сорок дней и сорок ночей тиранил он жителей

кишлака, каждую ночь требовал кровавую дань — красивую девушку.

И вот осталась лишь одна девушка, прекрасная дочь хаkana — властителя кишлака.

И тогда обратился хакаn к людям: «Кто убьет дракона, за того я отдам свою дочь!»

Тридцать девять лучших джигитов всей округи тридцать девять дней и ночей сражались с драконом. Дракон победил тридцать девять джигитов и пожрал их.

И только последний, сороковой, джигит, простой пастух, на сороковой день зарубил дракона.

Зарубил — зарыл под кладбищем Гортепа.

Простой пастух женился на дочери хаkana, и сорок дней и сорок ночей праздновали свадьбу в кишлаке.

В детстве, рассказывая сказку, бабушка каждый раз говорила:

— Дракон до сих пор лежит под Гортепой, и если ты совершишь какой-нибудь нехороший поступок, дракон оживет, и случится несчастье.

И по ночам маленький Акрам часто просыпался и прислушивался: не ожил ли еще дракон оттого, что Акрам набрал тюбетейку персиков в чужом саду или подрался с соседским мальчишкой? Неужели из-за такой безделицы оживет страшный дракон и с кишлаком случится несчастье?

И Акрам клялся себе, что это последнее нехорошее дело в его жизни.

От этих воспоминаний потеплело на душе. А сколько их еще, смешных, детских историй, связано со старым кладбищем!

Как и все кладбища на свете, Гортепа имела своих святых и своих юродивых. Вот маленький Акрам со сверстниками везет в кишлак дыни. Летом жители кишлака сажали дыни в степи, за холмами, а ребяташки на ишаках привозили поспевшие дыни в кишлак. Жарко, ребята устали, но главное препятствие впереди — сумасшедший Хашим, страшный, заросший волосами до самых глаз. И жутко, и все-таки хочется его встретить, увидеть, как неуклюже будет он бегать за мальчишками, выпучив безумные глаза, ругаясь и грозя им. «Кем это он заколдован? — думал маленький Акрам. — Точно заколдованный. Как бы его расколдовать?»

...Наконец, Акрам увидел свою любимую чинару и скамейку под ней. Отсюда как на ладони виден весь кишлак, расположенный по обе стороны ложины, утопающий в садах.

Когда Акрам работал над генпланом, он часто поднимался сюда. Именно здесь родилась идея разбить кишлак четырьмя улицами и подвести их к площади с выстроенным на ней новым Дворцом культуры. Акрам отыскал глазами среди густых садов центральную улицу. Потом пустырь, где находился старый кишлак. Пустырь напоминал сейчас высохшее дно огромного



водоема, а дворец, расположенный рядом с озером, отсюда казался причудливой скалой.

Вспомнилась мраморная доска.

«Это здание сооружено по проекту славного сына кишлака Бака-Булак кандидата наук архитектора Акрама Халикова».

Акрам усмехнулся. Так что же все-таки получается? Если он сам уже сейчас почувствовал несовременность здания, на которое потрачено столько сил, то что же тогда лет десять спустя скажут другие? Не получится ли так, что его собственная дочка Назира, увидев надпись на мраморе, будет стыдиться своего отца? Выходит, он все-таки отстал от времени? Значит, прав Зафар? Но... прав ли?

Вот дом дехканина: впереди айван — терраса, по обе стороны передней — две большие комнаты, без окон на улицу. Почему? Зафар ответит: «Чтобы женщины никогда не видели чужого мужчину!» И станет доказывать необходимость другого планирования.

Но ведь Акрам знает, что объяснение совсем другое. В такой жаркой, щедрой на солнце стране, как Узбекистан, у домов должно быть как можно меньше окон — так легче сохранить прохладу.

А их спор о количестве комнат? Для многодетного узбекского дехканина гораздо удобнее две большие комнаты, чем четыре комнатки городского типа. Большой семье нужен простор. Жизнь доказала, что и в этом вопросе прав он, а не Зафар.

Но он, Акрам, не прав в чем-то другом, тоже очень важном. Почему... Почему Султан Касымов вдруг встал на его сторону? Сперва вызвал Зафара из Москвы, добился его назначения главным архитектором института, а теперь вот пишет на него докладные записки в министерство...

Жить по старинке легче, да и, в случае чего, за старомодность архитектурных решений спросят меньше, чем за подражание Западу. Вот и не сработались...

«Я уважаю тебя за принципиальность, прямоту», — вспомнил Акрам слова Зафара.

Не-ет... Пора во всем разобраться! Если в нем действительно есть хоть немного принципиальности и прямоты, он должен честно признать свои ошибки и немедленно заняться переработкой генплана. Пока еще не поздно. Надо обдумать все еще раз, придираясь к проекту даже в мелочах. Он обязан это сделать, чего бы это ему ни стоило. Или так — или действительно, как говорил Дядя, вернуться в кишлак и взяться за кетмень.

Акрам тяжело поднялся со скамьи и побрел вниз. Признать ошибки! Решиться на это нелегко. Но где-то в глубине души он понимал, что решение уже принято, и от этого вдруг стало легче.

У ворот кладбища, в карагачевой роще, он увидел арбу на высоких колесах. Около арбы стояли несколько женщин в белых

платках и маленький сторбленный старичок. Старичок сволок с арбы большого черного барана и потащил по тропинке к маза-ру. Увидев Акрама, старичок подозрительно на него посмотрел и свернул на соседнюю тропинку. Женщины тоже пошли за стариком. Лишь одна из них стала в тень карагача.

Акрам решил скорей пройти мимо, но, поравнявшись с ней, невольно вздрогнул: женщина, стоявшая в тени карагача, была... Хамида! Ее большие глаза горели, лицо было бледно...

— Хамида! — Акрам сам не думал, что встреча с Хамидой может так его взволновать.

— Нет, нет, идите, идите...

Акрам послушно отступил на тропинку, но успел заметить, как Хамида кивнула в сторону дома председателя и прошептала: «Малохат».

Или это показалось Акраму?

Когда Акрам пришел к Турабджану, во дворе, под высокими подпорками виноградника, Малохат разжигала самовар. Каждый раз, встречаясь с ней, Акрам удивлялся тому, как мало меняют ее годы: черные, без единой сединки волосы, насурмленные брови и ресницы, да и манера держаться ничуть не изменилась с юности. Кокетливо подав маленькую пухлую ручку, Малохат шепнула:

— Видели Хамиду? — и не дожидаясь ответа, сунула ему в руку записку.

— Спрячьте. Она, бедная, так хочет увидеться с вами. — Помолчав, добавила не то в шутку, не то всерьез: — Или, может быть, забыли о старой любви?

— Кто же забывает старую любовь? — в тон ей ответил Акрам, с трудом скрывая растерянность.

— Ну, слава богу!

— Эй, товарищ ученый кандидат! Почему это вы шепчетесь с чужой женой? Это вам не городской парк, а кишлак Бака-Булак! Будь вы не только кандидат, а даже академик, я повешу вас за ноги на тал!

В полосатом шелковом халате, не закрывающем волосатую грудь, Турабджан стоял посреди двора, уперев руки в бока, и хохотал, довольный своей шуткой.

— Я укоряю Акрама-ака. В кои-то веки собрался к нам и не захватил с собой молодую жену, — почтительно обратилась к мужу Малохат.

— Все они такие, эти интеллигенты. Нас, бедных кетмен-щиков, клеймят позором, обзывают феодалами, а сами своих жен держат в четырех стенах.

— Поэтому и говорят в народе — делай то, что говорит домулла, но не делай так, как он делает, — поддержала мужа Малохат.

— Молодец жена, всыпала кандидату!.. Ну пойдем, дорогой друг, гости заждались.

— Сейчас, я догоню...

Акрам отошел к арыку, присел на корточки, умылся. Не вставая, раскрыл записку.

«Акрам-ака! Мне необходимо с вами увидеться. Это очень и очень важно. Назначьте время и место. Хамида».

Так, значит, это не шутка Малохат? Что же это? Акрам на обороте записки быстро написал ответ:

«Хамидахон! Мы можем встретиться у знакомой вам джидовой роши. Сообщите Малохат время. Акрам».

Малохат ждала его под виноградным навесом. Она взяла записку и заговорщически рассмеялась. Акрам тоже улыбнулся, но на душе у него было невесело.

Зачем все эти мучения с архитектурным проектом? Не лучше ли простая, беззаботная жизнь в кишлаке, труд кетменщика, простая, преданная жена Хамида? Не лучше ли все это — живое и осязаемое, чем призрачная птица счастья, все ускользающая, ускользающая из рук?..

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Последние дни Саяра совершенно не выходила из дому. Ей казалось, что о ее ссоре с Акрамом знает весь город и стоит ей появиться на людях, как знакомые кинутся расспрашивать о том, что случилось, утешать.

Чтобы избежать всех этих сочувственных разговоров, вздохов и взглядов, Саяра решила вовсе никуда не выходить и, обложившись учебниками, дни и ночи занималась, готовясь к государственным экзаменам.

Но в конце недели рано утром позвонил Убай. Он защищал диплом и просил Саяру прийти на защиту. Ссылаясь на занятость, Саяра пыталась отказать. Но Убай был настойчив:

— Я вас очень прошу, Саяра. Вы же знаете, какой шум подняли вокруг моей дипломной работы. Если бы не Абид Юнусович, меня, возможно, не допустили бы к защите. Приходите, думаю, вам будет небезынтересно.— До Саяры доходили слухи, что Убая обвиняли в оригинальничанье и еще в каких-то «смертных грехах».

— Прямо не знаю, как быть...— все еще колебалась Саяра.

— Если вы не придете,— бросил последний козырь Убай,— не придет и Шахиста. Вы же знаете ее...

— Хорошо, я постараюсь.

Первыми, кого увидела Саяра, придя в институт, были Шахиста и Нилуфар. Они прогуливались под руку во дворе института. Саяра тут же пожалела, что согласилась на уговоры Убая. У нее даже мелькнула мысль, не скрыться ли, но Нилуфар уже заметила ее и бежала навстречу.

— Бедная Саяра! — едва успев поздороваться, затараторила

она. — Неужели это все — правда? Кто бы мог подумать! Я всегда знала, что Акрам — человек со странностями, но дойти до такой низости!.. А еще мнит себя интеллигентом!

Широко раскрытые, с чуть накрашенными ресницами глаза Нилуфар выражали неподдельный ужас и сочувствие.

— Не огорчайтесь, Саярахон. Этот человек не стоит ваших слез! Если бы Зафар-ака поступил со мной так, как Акрам с вами, я не знаю, что бы сделала...

Почему-то именно эти слова задели Саяру больше всего. Пожалуй, стоило повернуться и молча уйти. Именно так она бы и поступила, если бы не Шахиста.

— Я вас прошу, Нилуфар, не беспокоиться, — обрезала Саяра, — мы с Акрамом сами разберемся.

Большой зал филологического факультета был переполнен. Даже длинный узкий коридор набит студентами. По тому оживлению, которое здесь царило, было ясно, что к сегодняшней защите многие проявляют особенный интерес.

Винючник торжества в сером в полоску костюме стоял в конце коридора в кругу друзей. Ему, видно, льстило такое внимание, и в то же время было боязно. Скуластое лицо его то расплывалось в широкой улыбке, то хмурилось.

Заметив Саяру, он поспешил ей навстречу.

— А я опасался, что вы не придете, — сказал он, улыбаясь и подавая ей руку.

— Как же я могу не прийти, Убайджан, — улыбнулась в ответ Саяра, — когда вы защищаете диплом?

— Спасибо, — сказал Убай. — Но я еще не знаю, удастся ли мне его защитить. — При этом он бросил многозначительный взгляд на Нилуфар. Нилуфар засмеялась.

— Вы совершенно напрасно опасаетесь папу.

— Вай! — вдруг вскрикнула Шахиста и спряталась за Саяру. — Я говорила, что он придет.

Все оглянулись.

— А! — протянул Убай. — Красавец Муратджан, собственной персоной. Пришел поделиться своими соображениями по проблемам любви и брака. Да, кстати... — Убай отвел в сторону Саяру и спросил шепотом: — Я понимаю, вопрос этот, конечно, очень деликатный, но мне сегодня хотелось бы сказать о вас и о вашем муже.

— Что вы! Что вы!.. — замахала руками Саяра.

— Я не собираюсь называть фамилию. Просто приведу пример.

— Нет, нет, ни в коем случае!

— Бойтесь?

— Боюсь, — честно призналась Саяра.

— Ну, что ж, дело ваше...

Прозвенел звонок. В другом конце коридора показались преподаватели.

— Садитесь рядом с Шахистой, — торопливо сказал Убай. —

Если растеряюсь, буду смотреть на вас и искать поддержки, как Антей у земли.

— Хорошо. И не забывайте, что случилось с Антеем, когда его оторвали от земли!

Саяра отыскала Шахисту и села рядом. Та даже не взглянула — так волновалась. Будто не Убая, а ей самой предстояло выдержать трудное испытание.

Саяра сжала ее руку.

— Все будет хорошо, вот увидишь!

Впрочем, она и сама волновалась. Но как только услышала голос Убая, на душе стало спокойнее. Облегченно вздохнула и Шахиста и, глянув на Саяру, улыбнулась.

Убай говорил о теме любви в узбекском рассказе последних лет. Саяра слышала краем уха о разговорах, возникших вокруг дипломной работы Убая, но не знала, из-за чего разгорелся сыр-бор. Слушая ровный глуховатый голос Убая, недоумевала: в чем же он не прав?

Убай говорил о том, что многие молодые герои современного узбекского рассказа по уровню мышления и по взглядам на жизнь напоминают скорее людей прошлого, чем нынешнюю молодежь. И хотя многие из тех книг, которые упоминал Убай, Саяра не читала, но то, что он говорил, было убедительно, и она ему верила.

— Если прочесть внимательно некоторые произведения наших молодых прозаиков,— говорил Убай,— то мы увидим, что из одной книги в другую кочует некий бритоголовый, неуклюжий, застенчивый парень, который постоянно краснеет, прячет от других свои мозолистые руки, а свои чувства к любимой девушке выражает непременно в письменном виде. Девушка, которой изумительно застенчивый парень пишет застенчивые письма,— тоже застенчива, до того, что и вздохнуть-то не может, не залившись помидорным румянцем. При этом она, конечно же, носит за плечами сорок косичек. Правда, в некоторых рассказах попадают отклонения от этой схемы. Патологически застенчивая девушка с сорока косичками вначале ошибается и, недооценив застенчивого парня, отдает свои симпатии стилиге — конечно же, длинноволосому и не застенчивому. Но вскоре она разоблачает его грязные помыслы и возвращается к своему бритоголовому идеалу...

Убай говорил остроумно. В зале часто раздавались аплодисменты и смех.

Саяра, невольно поддаваясь этому веселью, поглядывала туда, где сидели преподаватели. Некоторые из них тоже смеялись. Абид Юнусович мягко улыбался, время от времени поглаживая ладонью блестящую лысину. Только отец Нилуфар глядел в зал исподлобья и нервно барабанил пальцами по столу.

Убай, уже полностью овладевший аудиторией, как умелый оратор, подождал, пока утихнут аплодисменты, и вдруг весело

глянул на Саяру. Она почему-то решила, что вот именно сейчас он и расскажет об Акраме. Она вся замерла, внутренне жалась.

Но Убай продолжал свою тему — о примитивности характеров некоторых литературных героев, и еще не раз заставил смеяться аудиторию.

— Недавно я прочел рассказ одного молодого прозаика, — говорил Убай. — Герой этого рассказа, человек, с точки зрения автора, вполне положительный, придя домой, видит, что жена его, вместо того чтобы готовить обед, наводит красоту. Это настолько возмущает героя, что он устраивает шумный скандал и вспоминает свою первую жену, которая, хотя и не была такой красивой, как вторая, но постоянно заботилась о нем и, когда он приходил с работы, бежала к нему навстречу, неся медный кувшин с водой, чтобы он вымыл руки. И герой, разочаровавшись в своей второй жене, возвращается к первой, которая все эти годы терпеливо ждала его с кувшином в руках.

Убай снова подождал, пока стихнет смех.

— Разумеется, в жизни встречаются, и довольно часто, люди, которые разводятся с женами из-за остывшего чая или из-за того, что жена отказалась вытирать пыль с его сапог. Вся беда в том, что автор рассказа, вместо того чтобы посмеяться над этим героем, обливается горячими слезами вместе с ним.

Убай еще не кончил говорить, как из зала раздался высокий (прерывающийся) дрожащий голос Муратджана:

— А ты бы хотел, чтобы все писатели в своих книгах проповедовали свободную любовь?

В зале наступила тишина. Все взоры устремились на Убая. Он отыскал взглядом Шахисту, видно, ожидая поддержки, но она сидела, низко склонив голову.

Убай пожал плечами.

— Вообще-то вопрос не по теме. Я говорил о сапогах, а не о свободной любви. Но все же попробую ответить. Мне лично кажется, что между проповедью свободной любви и проповедью уважения к женщине есть некоторая разница. Женщина полноправна, как и мужчина. Зачем же заставлять ее чистить мужу сапоги и мыть ноги?! Многие великие люди не только на Западе, но и на Востоке называли женщин лучшей частью человечества. И мне кажется странным стремление некоторых наших молодых писателей и их поклонников запереть женщину в четырех стенах и закутать в выгащенную из музейного хлама паранджу.

Под гром аплодисментов Убай сошел с трибуны и сел рядом с Шахистой. Саяра хотела пожать ему руку, но Нилуфар опередила ее. Громким шепотом она поздравляла Убая, говорила лестные слова, смеялась.

Уже по реакции зала было ясно, что защита проходит успешно. Саяре сразу стало скучно. Так бывает на спектакле, когда заранее знаешь конец. Она рассеянно слушала оппонентов. Но когда слово взял отец, насторожилась. То и дело поглядывая на

дочь, Абид Юнусович говорил о высоком смысле любви, предостерегал против легкомысленного отношения к этому чувству.

Саяра невесело усмехнулась. Ну да, конечно, отец имел в виду ее разрыв с Акрамом. Есть поговорка: «Говорю тебе, дочь, а пусть слушает невестка». Сейчас он говорил залу, чтобы слушала дочь. «Напрасны ваши речи, отец,— мысленно возражала Саяра.— Того, что произошло, я Акраму простить не смогу. Никогда!»

Абида Юнусовича на трибуне сменил отец Нилуфар.

— Дорогой Абид Юнусович,— сказал он, сияя довольной улыбкой.— Вы сказали то, что лежало у меня вот здесь.— Он приложил руку к груди.— Честь и слава вам, домулла, что не боялись показаться ретроградом и честно высказали все, что посчитали нужным. Действительно, сегодняшний доклад является достаточно красноречивым сигналом опасности. Эта опасность состоит в том, что среди нашей молодежи распространяются весьма сомнительные представления о нравственности, какая-то, я бы сказал, нечеткость позиции по отношению к проблемам морали.

— Я хотел сказать не совсем то, что вы говорите,— с места поправил Абид Юнусович.

— Понимаю,— поспешно кивнул головой отец Нилуфар.— Я говорю в общих чертах... Совершенно не обязательно сваливать в одну кучу все старые обычаи, ибо среди них есть и не такие уж плохие, как может показаться с первого...

Он смешался.

— То есть... вообще я хочу сказать, что дипломант высказал много правильных мыслей. И безусловно, мы должны помнить о равенстве женщины с мужчиной не только на словах. Только в некоторых вопросах морали... В общем, я оцениваю диплом положительно.

Как только окончилась защита, все кинулись к Убаю, наперебой поздравляли и обнимали его. Среди поздравляющих была Саяра. Кто-то тронул ее за плечо. Она вздрогнула и обернулась — отец.

— Дочка,— сказал он не то всерьез, не то в шутку, вежливо улыбаясь.— Если ты собираешься куда-нибудь сегодня пойти... ну, скажем, отметить успешную защиту Убайджана, постарайся не очень задерживаться... Да-с. Несмотря на сверхсовременные представления о жизни.

Саяре вовсе не хотелось идти на вечеринку. И все же она пошла — чтобы не обидеть Убая.

Собирались в кафе, напротив института. Убай на радостях заказал пломбир, минеральной воды, разных соков.

Первыми пришли несколько молодых поэтов и журналистов, по выражению Убая — «будущие звезды на небосклоне узбекской литературы». Затем появился Шавкатджан с маленькой, элегантно одетой женщиной. Увидев еще издали Саяру, он

помахал ей рукой. Наскоро угостив свою спутницу мороженым и распрощавшись с ней, подошел к столику Убая.

Шавкатджан похудел, осунулся и загорел. Мягкая рыже-вато-каштановая борода отросла и выгорела на солнце.

— Что с вами, Шавкатджан? — удивилась Саяра. — Вас не узнать!

— Плохо выгляжу?

— Нет, наоборот. — Саяра вдруг смутилась от невольного сказанного комплимента. — Вы похожи на путешественника.

— А я и есть путешественник. Выбирал натуру, ездил по республике, мало мылся, редко брился — и вот результат.

Он говорил в той бойкой шутовливой манере, которая располагает к веселой застольной беседе.

— У меня к вам есть разговор. — Шавкатджан, прищурив большие навывкате глаза, внимательно смотрел на Саяру. — Но прежде я хотел бы задать вам невинный вопрос: почему вы такая грустная?

— Я грустная? С чего это вы взяли?

— Мне показалось. Но если не хотите, не отвечайте. Можем перейти сразу к делу. — Шавкатджан положил свою ладонь на руку Саяры. — У меня к вам есть серьезное предложение, и я прошу вас не отказываться, прежде чем вы не обдумаете все хорошенько.

Саяра забеспокоилась, почувствовав, как Шавкат многозначительно сжал ее руку.

— Вот вы смеялись в тот вечер, когда я советовал вам стать киноактрисой. Вероятно, вы думали, что я шучу. Теперь у меня конкретное предложение. Я действительно хочу предложить вам главную роль в моем фильме.

— А я говорила в прошлый раз: дайте главную роль Шахисте. Она молода и красива. — Саяра была польщена предложением и в то же время отнеслась к нему недоверчиво.

— Эта роль Шахисте не подходит. Шахиста для нее слишком молода. Вы словно созданы для моего будущего фильма!

Саяра, зардевшись от смущения, попыталась обратить разговор в шутку:

— Дорогой Шавкатджан, ну подумайте сами, какая из меня артистка? Не хотите пригласить Шахисту, есть Нилуфар. Она спит и видит себя в кино.

— Именно это меня в ней и не устраивает, — засмеялся Шавкат. — Но если вы никак не можете обойтись без Нилуфархон, я найду и ей какую-нибудь роль. Обещаю. Ну, согласны?

— Право, не знаю, — все еще колебалась Саяра. — Для того чтобы сниматься в кино, нужны особые способности, а у меня...

— У вас они есть, — нетерпеливо перебил Шавкат. — Я в этом совершенно уверен. Кроме того, в вас есть искренность и настоящая чистота, качества, которые так необходимы моей героине. Саярахон, я умоляю вас.



Шавкат говорил так просто и искренне, что она заколебалась.

— Да... Но ведь у меня скоро государственные экзамены.

— Пожалуйста, сдавайте госэкзамены. У нас пока еще достаточно других дел. А через две недели начнем пробу актеров. Фильм обещает быть интересным.

— Может, вы дадите прочитать сценарий?

— Вот это уже деловой разговор! — обрадовался Шавкат. — Завтра же получите сценарий. Это о молодой женщине из горного кишлака... Я убежден, что сценарий вам непременно понравится. Сниметесь, станете знаменитой на всю страну.

— Ну уж! — улыбнулась Саяра.

— Вот посмотрите. — Шавкат вновь пожал Саяре руку. В это время в кафе вошел Зафар. Он заехал за Нилуфар. Им надо было ехать к друзьям на свадьбу.

— Вот и хорошо, — обрадовалась Саяра. — По дороге подбросите меня домой.

Убай огорчился.

— Сразу две красавицы нас покидают! Что же мы будем делать без женского общества? Зафар, может, вы отвезете сперва Саяру, а Нилуфар побудет пока здесь?

— Мы торопимся, — нахмурился Зафар.

— Он просто не хочет оставлять ее с нами, — сказал кто-то.

— Докажи, что не так, Зафар, — улыбнулась Нилуфар, — отвези Саяру, потом заедешь за мной.

Зафар поддался общим уговорам, но за рулем был хмур и полдороги проехал молча. Лишь однажды спросил, нет ли каких вестей от Акрама.

Саяра пожалала плечами, как бы говоря: «Акрам меня совершенно не интересуется».

— Простите, Саярахон, — неуверенно сказал Зафар, — может, и не следовало вмешиваться... Акрам поступил нехорошо. И все-таки я считаю, что он человек хороший и честный.

«Поступил нехорошо!» Ну и формулировочка. И откуда он знает? Саяра поежилась. Вот уж поистине шила в мешке не утаишь. Хороший? Честный? Да, разумеется, Акрам раскаивался. Он попросил прощения. Хороший!.. Хорошие не пускают в ход кулаки. Мало ли хороших и честных? Убай, Шавкат... Режиссер предлагает ей главную роль в своем фильме. А что сделал для нее Акрам?

— Нет, Зафар-ака, — покачала она головой, — вы не знаете этого человека.

— Знаю, Саярахон. Очень хорошо знаю. В нем есть некоторая прямолинейность и грубоватость, он может вспылить, и все же...

К счастью, они уже приехали, и Саяра была рада, что можно не продолжать этот неприятный для нее разговор.

— Благодарю вас, Зафар-ака, — улыбнулась она, выходя

из машины.— За то, что довели, и за совет. Только вряд ли я смогу им воспользоваться.

И дома, не давая утихнуть обиде, она еще долго мысленно спорила с Зафаром.

Она подошла к зеркалу поправить волосы и задержалась перед ним. Что ж, ей говорят комплименты не без основания. Она действительно... В самом деле, почему бы ей не сняться в фильме?

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительное все же существо — человек!

Казалось бы, все просто. Ты сделал большую работу, и она нравится тем, для кого ты ее делал. Будь же доволен собой и своей работой.

Акрам не был доволен. Чем больше он смотрел на дворец, чем больше размышлял, тем меньше нравилось ему это грандиозное сооружение, этот современный храм.

И разве только дворец? Только начинали строительство правления колхоза и новой гостиницы, но уже и сейчас ясно, что и они будут отличаться той же помпезностью. Ах, если бы все сначала!.. Воображение Акрама рисовало легкие, простые и удобные конструкции.

Если бы все сначала!..

Но когда начались торжества по поводу открытия дворца, Акрам несколько приободрился. Еще бы! Имя его было у всех на устах. Представитель обкома взял его под руку, вывел на сцену и усадил в президиуме рядом с собой. Когда Турабджан, открывая вечер, объявил, что здесь, в президиуме, находится автор проекта, уважаемый односельчанин, ныне известный ученый и архитектор, Акрам Халиков, жители кишлака поднялись и стоя рукоплескали ему.

И Акрам невольно подумал, что все-таки, наверно, неплохое он сделал дело, если так горячо приветствуют его.

Во время банкета в колхозном саду в адрес Акрама было сказано столько лестных слов, в его честь поднято столько тостов, что он под конец порядочно захмелел, чего с ним почти никогда не бывало.

На банкете же, в самый разгар веселья, к нему подседа Малохат и с заговорщической улыбкой незаметно сунула сложенный вчетверо листок. В записке было всего несколько слов: «Акрам-ака! Завтра, как только стемнеет, я жду вас в джидовой роще на обрыве у мельницы. Хамида».

Несколько слов, написанных торопливым почерком, до того взволновали Акрама, что весь следующий день он бесцельно слонялся по дому или валялся в саду в ожидании встречи с Хамидой.

Теперь, протрезвев после вчерашнего, он думал, что на банкете его слишком вознесли, но тут же старался отогнать

от себя эту неприятную мысль. «Но ведь,— убеждал он себя,— односельчанам незачем кривить душой, и если они говорят, что дворец им нравится, значит, он им действительно нравится. Пусть критикуют его изощренные гурманы вроде Зафара. Важно, чтобы дворец пришелся по вкусу тем, для кого он строился. Хм... Возможно, грядущим поколениям мои проекты покажутся устаревшими. Но кто знает, что примут люди будущего? Кто может сейчас гарантировать, что не устареет творчество Зафара или других, пусть даже самых расталантливых архитекторов. Из тысячи произведений искусства история оставляет лишь единицы. Как сказал мудрец: «Некоторые произведения становятся шедеврами... благодаря любезности времени!» Да, это так, и незачем мучиться и думать о том, что свершится в далеком будущем и чего так или иначе не угадаешь. Гениев мало, каждый в меру своих сил должен делать то, что он может».

Акрам вспомнил слова Турабджана, сказанные на банкете. Правда, Турабджан был уже сильно под хмельком, но предложение его (так, во всяком случае, показалось Акраму) было вполне серьезным.

— Послушай,— сказал Турабджан, положив руку на колено Акрама,— ты, конечно, человек большой и ученый, все это правильно. Но жизнь твоя мне непонятна. Разве это жизнь? Как ты мог сменить наш замечательный кишлак на городскую клетушку, в которой могут жить только куры? Сам видишь, дела в нашем колхозе идут хорошо. Я построю тебе большую мастерскую и зарплату дам ту же, что в городе. Жена кончает институт, и ей здесь найдется работа. У нас тут работает врач. Этаким хлюпик. Спит и видит, как бы укатить обратно в свой Саратов. Пускай едет. На его место возьмем Саярухон. Вдвоем вам положу рублей четыреста-пятьсот в месяц. Ха!.. Через год-полтора будете разъезжать на собственной «Волге», не будь я Турабджан Икрамов!

Вспоминая сегодня эти слова, Акрам пытался, но не мог представить свою жизнь в кишлаке. Разумеется, было бы совсем неплохо поселиться здесь, вдали от городской суеты, пустых телефонных звонков, и работать, работать... Как тебе хочется! Но вряд ли из этого может что-нибудь выйти. Он уж слишком отравлен той жизнью, чтобы вернуться к этой.

Несколько раз Акрам доставал из кармана записку Хамиды, перечитывал и волновался все больше. Не дождавшись сумерек, вышел из дому и, чтобы растянуть время, не торопясь, спустился к ложине. Сады на одном краю ее были уже погружены в тень, другой склон еще купался в красноватых лучах предвечернего солнца. Острый и влажный запах мяты, тонкий и терпкий аромат базилики и персиков-скороспелок, шум детворы, ожидающей стада, бляение овец, горький привкус синего

кизячного дыма, тянувшегося от очагов,— все это чувствовалось сейчас особенно остро, тревожило душу.

Наконец солнце зашло, и вечерняя тень легла между деревьями. Мальчишки с веселым гиканьем погнали овец по улочкам кишлака, в густой листве замелькали первые огоньки.

Чем ближе подходил Акрам к мельнице, тем сильнее волнение охватывало его. Что же все-таки заставило Хамиду назначить ему это свидание? Память о прошлом или что-то другое? Но если что-то другое, то зачем назначать свидание именно в джидовой роще? А если она вспомнит прошлое, что он сможет ответить ей? У каждого из них сейчас своя судьба, и многое их теперь разделяет. Юность не воротить.

Пока Акрам дошел до рощи, уже совсем стемнело. На небе зажглись первые звезды. Между листьями тополей, над мельницей висел тонкий молодой месяц.

Глухо шумела вода, стекающая по желобу, и бормотали что-то невнятное лопасти колеса старой мельницы. Временами легкий ветерок пробежал по ветвям джиды, еще хранившей медовый аромат недавнего бурного цветения.

Где-то сверху послышались приглушенные голоса женщин и тихий смех. Вглядевшись, Акрам увидел два силуэта, темневшие в лунном свете, и вышел из-за скрывавшей его джиды.

— Это, кажется, он...— Акрам по голосу узнал Малохат.

Хамида пришла не одна. Акрам почувствовал облегчение.

Выйдя навстречу женщинам, он поздоровался. Лицо Хаமிды усталое, исхудавшее. Рука большая, огрубевшая от тяжелой работы. Словно догадавшись, о чем думает Акрам, Хамида торопливо вырвала руку и опустила голову.

Малохат засмеялась.

— Ну вот, все как прежде. Только на этот раз вы почему-то пришли на свидание без своего друга.

— Ты имеешь в виду Турабджана? — усмехнулся Акрам.

— О, этот Турабджан! Он стал таким большим человеком, что может взять себе вторую жену,— мрачно пошутила Малохат.— Однако мне пора. Не буду мешать вашему разговору.

Хамида испуганно схватила ее за руку.

— Подожди, поговорим вместе.

— А у тебя что, языка нет? — засмеялась Малохат.— Довольно того, что я твои записки носила.— Она высвободила руку и стала медленно взбираться вверх по тропинке.— Акрамджан! — прокричала она уже откуда-то сверху.— Верьте всему, что скажет вам Хамида.

Акрам уже полностью овладел собой. Теперь ему казалось даже странным и смешным, что весь день он воображал себе невесть что.

— Я слушаю вас, Хамидахон,— сказал он, своим обращением на «вы» как бы подчеркивая тот факт, что встретились чужие, ничем не связанные между собой люди.

Хамида искоса бросила быстрый взгляд на Акрама. Потом

опустила голову и, теребя пуговицу кофты, надетой поверх атласного платья, тихо произнесла:

— Вы, наверное, были очень удивлены, когда получили мою записку...

Ее печальный взгляд, грустный голос вдруг так напомнили прежнюю юную Хамиду, что сердце Акрама сжалось от боли. Он быстро заговорил:

— Да, конечно... Я был удивлен, но я рад. Мне самому хочется с тобой поговорить. Расскажи, как ты живешь.

— Акрамджан-ака, я пришла вовсе не для того, чтобы жаловаться на свою жизнь. Хотя, если сказать правду, хорошего мало. Садыквой очень ревнив. Сколько времени прошло, а он все попрекает тем, что было и чего не было...— Голос ее задрожал, казалось, Хамида вот-вот расплачется.

Акрам молчал, не зная, что сказать. Почему-то опять вспомнилась Саяра, ее широко открытые, полные ужаса глаза, ее отчаянный крик: «Мало тебе? Бей еще!»

Хамида вытерла слезы и грустно улыбнулась.

— Ну вот. Сказала, что пришла не для того, чтобы жаловаться, а сама жалуюсь. У меня к вам, Акрам-ака, просьба есть. Может, вы слышали, до недавнего времени я работала завклубом и библиотекарем. Мне эта работа нравилась, я к ней привыкла, но меня уволили.

— Кто?

— Кто же еще может уволить, как не председатель!

— Но почему?

— Все началось с того, что муж мой, никого не спросив, обещал выдать мою сестру Шахисту за председательского брата. А я — против, потому что Шахиста не любит Муратджана. Кроме того, я однажды выступила на собрании с критикой Тураба-ака.

— Неужели ты думаешь, что Турабджан мог уволить тебя за критику или за то, что твоя сестра не выходит замуж за его брата?

— Именно так,— вздохнула Хамида.— Особенно ему, конечно, не понравилась моя критика. Понимаете, наш колхоз живет по поговорке: на брюхе шелк, а в брюхе щелк. Воздвигаем всякие дворцы, а сколько-нибудь приличного помещения под детский сад нет. О яслях и говорить нечего. Пойдите в бригады, увидите: все тутовые деревья увешаны люльками. Дети пекутся на солнце. Матери прямо на солнцепеке кормят детей грудью. Дети болеют, у кого дизентерия, у кого рахит...

Хамида взглянула в лицо Акрама, как бы пытаясь понять, какое впечатление произвели на него ее слова, но Акрам стоял, опустив голову.

— Нет, вы не думайте,— сказала Хамида,— я вовсе не против того, чтобы строить дворцы и гостиницы, просто я хотела сказать, нельзя ли начать с другого конца — построить детский сад и ясли, а потом уже и все остальное.

— Почему ты не обратилась в правление или в партбюро?

— В партбюро? — переспросила Хамида. — Там у нас совсем зеленый парень, только недавно на этой должности. Он боится слово поперек сказать председателю. Вы знаете, Тураб-ака всех держит в кулаке. Каждый год колхоз перевыполняет план заготовок хлопка, имеет хорошую прибыль. Председатель он, что и говорить, толковый. Только слишком уж рвется к славе и почестям. Все соревнуется с Хамракулом Турсункуловым. Газету получит, первым делом ищет свою фамилию, а не найдет — полдня ходит мрачный. Обожает принимать иностранные делегации, хочет, чтобы и за границей знали, что есть такой человек — Турабджан Икрамов.

Акрам был взволнован.

— Скажи, пожалуйста, Хамидахон, — начал он, медленно подбирая слова, — что же, по-твоему, случилось с Турабом?

— Откуда мне знать? — вздохнула Хамида. — Слава и не таким, как наш Тураб-ака, голову туманила. До последнего времени я его считала хорошим человеком, думала, он такой, каким был тогда, когда мы вместе... — Она смутилась. — В общем... Я обратилась именно к вам, потому что ваше слово для Турабджана значит многое. Он не посмеет ослушаться вас.

Акрам долго молчал, поглядывая на потупившуюся Хамиду. Вот зачем она его позвала. А он-то думал... Не смешно ли? Весенний тюльпан дважды не расцветает. Лепестки, засушенные между страницами книги, могут только напомнить весну, но не повторить ее.

Ему хотелось обнять Хамиду, успокоить, как сестру, как ребенка.

Хамида по-своему истолковала его молчание.

— Может быть, я сказала что-то не так. Вам не хочется портить отношения с председателем, простите...

— Хамида! — Акрам посмотрел ей в глаза. — Как тебе не стыдно!

Она закрыла лицо руками. Акраму послышались странные звуки. И в ту же секунду он понял, что Хамида плачет.

— Что с тобой? — Он схватил ее за руки, пытаясь заглянуть в лицо.

— Нет! Нет! — Хамида вырвалась и отпрянула. — Простите меня, Акрам-ака, за то, что я плохо о вас подумала. За последнее время я разуверилась в людях. Простите... и спасибо вам, спасибо за все.

Хамида повернулась и побежала вверх по тропинке.

Неужели Турабджан мог дойти до такого — за критику уволить с работы честного человека? Неужто это тот самый Турабджан, который в шестнадцать лет среди своих ровесников слыл не только самым горячим, но и самым справедливым парнем?

Теперь все поведение Турабджана и все слова, сказанные им в эти дни, приобрели для Акрама иное значение.

Если бы Хамида рассказала о ком-нибудь другом, вероятно, Акрам не удивился бы. Не каждый человек может выдержать испытание властью. Многим она вскружила голову, многих сломила. Но Турабджан!.. Тот самый, с которым они когда-то разъезжали на арбе. Несмотря на молодость, а может быть, благодаря ей, Турабджан тогда смело выступал против малейшей несправедливости. А как доставалось от него тогдашнему председателю? В конце концов тому пришлось все же уйти из колхоза. И вот прошло много лет, и сам Турабджан наступает на горло людям, не желающим петь с его голоса.

Акрам долго и беспощадно мысленно ругал Турабджана. И вдруг его поразила мысль. Ты ведь сам не последняя пешка во всем этом деле! В том, что в кишлаке строительство детсада и яслей запланировано в последнюю очередь, виноват не столько Тураб, сколько он, Акрам. Именно Акрам и никто другой подсказал Турабджану, с чего начинать строительство. А когда Зафар критиковал его за излишества и помпезность — он обвинил Зафара в незнании жизни кишлака...

Подойдя к своему дому, Акрам остановился. Домой идти не хотелось, и он, решив еще прогуляться, направился к хлопковому полю. Оно начиналось сразу за садами. Давным-давно, когда Акрам был еще маленьким, оно засевалось клевером. В клевере водилось множество перепелок. Мальчишки и старики беданабазы всегда ставили здесь силки. Потом на поле стали сеять пшеницу, и дети гремели медными тазами и бросали камни, отгоняя прожорливых воробьев. Теперь поле отдали под хлопок.

Акрам постоял над арыком, питающим поле. Тихо журчала вода. Сады и бахча по левому краю лощины слились в одну темную полосу. Залитые лунным светом серебристые тополя были похожи на всадников с пиками, которые скачут неизвестно куда. Все дышало покоем. И даже кладбище, на вершине Гортепы, окруженное могучими карагачами, не вызывало сейчас мрачных мыслей.

Когда-то в этой лощине Акрам с Турабджаном, стреножив лошадей, засыпали мертвым сном, подложив под голову по охалке сена. Сюда же по висячему мостику иногда приходили Хамида и Малохат. Мог ли Акрам представить себе тогда, что у него будет другая жена, а Хамида выйдет замуж за другого!

«Старею, что ли? — рассердился вдруг на себя Акрам. — Говорят, чем человек ближе к старости, тем чаще ему вспоминается юность. А мне еще, кажется, рано жить воспоминаниями».

Идя вдоль широкого арыка, Акрам вскоре увидел заросли туютника с обрубленными верхушками, услышал хлюпанье воды и тут же заметил неясные очертания двух женских фигур.

— Вай! — неожиданно вскрикнула одна из женщин и, спотыкаясь, побежала по грядке.

Другая кинулась следом за первой.

— Что там случилось? — донесся из темноты знакомый спокойный голос. Это был голос Дяди.

— Там... там... — испуганно заговорила одна из женщин. — Там кто-то ходит.

— Ну и что? — сказал Дядя. — Зачем панику подняли? Может, бригадир или председатель проверяют, не затопило ли грядки. — Он прислушался. — Кто там?

— Это я, Дядя, — успокоил Акрам.

— А, Акрам, — обрадовался старик. — Что это ты по ночам бродишь, людей пугаешь?

— Прогуляться решил.

— Прогуляться? А я подумал, что ты нам помочь собираешься. Доченьки, — крикнул он в темноту, — примете мощника?

В темноте раздался тихий смех, но девушки не вышли, продолжая прятаться в тутовнике.

Акрам удивленно спросил:

— Неужели до сих пор девушки работают поливальщицами?

— Как видишь.

— Я помню, во время войны женщины тоже этим занимались, но тогда было все же другое дело. Есть же мужчины.

— Есть, да не очень, — сказал Дядя. — Мужчины нынче ищут, чтоб работа была не пыльная, но денежная, а у нас... Правда, толкуют, будто цену на хлопок должны повысить. Тогда, может быть, вернуться к нам и мужчины. А пока... — Дядя хитро посмотрел на Акрама. — Сидеть у себя в кабинете и перебирать бумажки приятней, чем махать кетменем или пасти овец.

Акрам улыбнулся.

— Ну что ж, Дядя, вы меня почти убедили. Бросаю свою архитектуру и перехожу в пастухи. Могу и кетменем поработать. Есть лишний?

— Зачем лишний? Могу тебе свой одолжить. Обойди грядки с той стороны, укрепи дерн, чтобы вода не снесла. Да возьми мой чапан, — добавил он насмешливо, — а то как бы не замарался.

Акрам снял туфли, подвернул брюки выше колен, а поверх рубашки надел старый, пропитанный потом Дядин чапан. Ступил в арык. Ледяная вода словно иглами пронзила босые ноги. Захотелось тут же выскочить из нее, но Акрам удержался и пошел дальше.

— Эй, гляди, насморк не прихвати! — крикнул ему Дядя.

— Ничего, — отозвался Акрам, — будет повод отдохнуть в больнице.

Вода была искусно распределена по грядкам, дерн уложен аккуратно, только в двух местах его немного подмыло. Акрам подправил его и пошел обратно, чувствуя дрожь во всем теле. Дядя за это время успел обойти поле и теперь мыл руки в арыке.



— Ну, как дела, поливальщик? — встретил он Акрама веселым вопросом.

— Дела идут, контора пишет, — попробовал отшутиться Акрам.

— Да у тебя, я смотрю, зуб на зуб не попадает, — удивился Дядя. — Потомственный дехканин, а выглядишь как мокрая курица. Вот что, парень, беги-ка скорей домой, к тандыру, и обогрейся. А то, не дай бог, что случится, скажут — загубил большого ученого.

Самолюбие заговорило в Акраме.

— Нет, Дядя, пожалуй, я не уйду. Переночую здесь с вами, а утром потягаемся и посмотрим, кто из нас лучший поливальщик.

— Значит, заговорила в жилах дехканская кровь, — удовлетворенно отметил Дядя. — В таком случае — вон под шелковицей ватное одеяло и сено. Будь как дома. Себе я постелю овчину и укроюсь чапаяном. Если хочешь есть, в платке лепешки, в арыке горшок с супом. А я, пожалуй, уж лягу. Был у меня к тебе большой разговор, да ладно, в другой раз. Ты к нам надолго?

— Пару дней еще поживу, — сказал Акрам.

— Недолгий гость. А почему бы тебе не пожить недельку-другую? Родственники у тебя здесь... помянул бы умерших. Родными местами не брезгуй, они тебе еще пригодятся. Не зря говорится: «Куда бы конь ни удрал, все равно к своему стойлу вернется».

В темноте Дядя нашарил овчину, расстелил ее и вернулся в чапан. «Слава тебе, аллах, ниспославший нам этот спокойный день!» — слышалось его бормотанье.

Когда Акрам, умывшись в арыке, вернулся, Дядя уже мирно посапывал. Акрам нашел в узелке две лепешки, принес из арыка горшок с похлебкой и, как в детстве, предвкушая удовольствие, поднес его к пересохшим губам. Но есть не смог — от похлебки с айраном шел неприятный запах, наверное, она прокисла, а лепешки были тверды, как камень.

Акрам расправил сено, лег и накрылся одеялом. И опять почувствовал, что совсем отвык от этой жизни. В юности он засыпал мгновенно, стоило только упасть на землю, а сейчас сон не приходил. Акрам лежал на спине и широко открытыми глазами глядел в небо, полное мерцающих звезд. В тишине торопливо журчала в арыке вода, изредка доносилось от плотины кваканье лягушек.

Было жестко, мешали кочки под сеном, затекла рука, потом показалось, что кусаются блохи.

Чуть в стороне безмятежно посапывал Дядя. Счастливый человек! Разменял седьмой десяток, а до сих пор бодр, полон сил. И отчего бы ему стареть? Никаких ненужных забот, никаких мучительных мыслей, которые так терзают душу. Было бы что есть и на чем спать, и он доволен.

Акрам вспомнил недавний спор в молодежном кафе. Для многих, в том числе и для него самого, как бы ни улучшалась жизнь, казалось, все мало. А вот рядом с ним спит человек, который довольствуется самым необходимым. Кто прав? Какой из этих двух взглядов на жизнь вернее? Справедливо ли заставлять всех жить так, как живет Дядя? Справедливо ли идеализировать его жизнь? И вообще, можно ли навязывать людям жизнь, им совершенно чуждую?

Акрам плотно закутался в одеяло и повернулся на другой бок.

В ту ночь он видел странный сон. Будто в лощине возле плотины кто-то справляет свадьбу. Народу видимо-невидимо. Гремит дойра, ревут карнаи, сурнаи. Певцы во весь голос распевают веселые песни, и отовсюду доносятся крики: «Яшанг!», «Улманг!», «Дод!» Кто-то разжег огромный костер. Его пламя слепит глаза. Жара такая, что нечем дышать. Акрам пытается отойти в сторону, как вдруг откуда-то появляется Саяра. Она ведет за руку дочку Назиру. Девочка кричит: «Папочка! Папочка, где же ты, я хочу к тебе!» Она вырывается из рук матери навстречу Акраму. У Саяры искажено злобой лицо: «Не смей называть его папочкой!» И, размахнувшись, она бьет Назиру по щеке.

Акрам бросается к ним, но Саяра с дочерью вдруг исчезают за плотиной.

Акрам проснулся в поту. Солнце поднялось уже над тополями, и его горячие лучи били прямо в глаза. Где-то недалеко слышался детский плач.

Акрам отбросил одеяло и приподнялся на локте. Картина, которую он увидел, изумила его: ветки тутовника были увешаны детскими люльками, как новогодняя елка игрушками. Дети кричали на все голоса. «Вот они, карнаи, которые мне снились», — усмехнулся Акрам.

Смуглая до черноты, сухощавая старуха не спеша разжигала огонь под большим баком с водой. Неподалеку от нее троечетверо женщин, прикрывшись платками, кормили грудью детей.

Заметив, что Акрам проснулся, старуха оставила бак, подошла к люлькам и стала их раскачивать по очереди. Некоторые женщины отвернулись, другие прикрыли лица ладонями, но Акрам видел, что они тайком продолжают за ним наблюдать.

Он подошел к старухе.

— Скажите, а нельзя ли перенести эти люльки на полевой стан?

Даже не взглянув на него, старуха зло проворчала:

— А что там им делать, на полевом стане? Здесь удобнее, и к матерям поближе.

Акрам посмотрел на женщин, но только одна из них, самая молодая, дерзко встретила его взгляд. В ее глазах Акрам про-

читал явную насмешку. «Много вас тут таких было,— говорили ее глаза,— а как вешали люльки на деревья, так вешают и до сих пор».

— Где ваш бригадир?

— А где же ему быть, как не на полевом стане? — усмехнулась молодая женщина.— Лежит, наверное, на террасе, несчастный, мучается. Мухи заели, а отогнать некому.

Женщины засмеялись. Акрам не ответил на шутку и пошел к полевому стану.

Позади себя он услышал голос молодой женщины. Видимо, считая, что Акрам отошел достаточно далеко и не слышит ее, она сказала:

— Еще один проверяльщик на наши головы. Выспался под ватным одеялом, теперь ходит в скрипучих ботинках и шелковой рубахе, бригадира ищет.

— Наверное, какой-нибудь уполномоченный из района,— отозвалась другая.

— Какой там уполномоченный. Это же сын тети Махиры. Говорят, большой ученый.

— Много теперь ученых развелось!

Акрам усмехнулся. Языкастые!

Он уже был совсем близко от полевого стана, когда оттуда вышел Дядя с кетменем через плечо. За ним показался высокий красивый мужчина со смуглым, темным лицом и тонкими усиками. Одет он был не по-рабочему: пестрая шелковая рубаха, соломенная шляпа и блестящие хромовые сапоги. Только пройдя еще несколько шагов, Акрам узнал Садыквою. Увидев Акрама, Садыквой нахмурился, но тут же, изобразив на лице приветливую улыбку, приподнял шляпу.

— Рад видеть вас, уважаемый.

Дядя весело рассмеялся.

— Ну как, ученый, отогрелся после вчерашнего? Больше нет желания поливать хлопок?

— Отчего же? — улыбнулся Акрам.— Я собирался потягаться с вами и от своих слов не отказываюсь.

Он пожал руки Дяде и Садыквою. Рука у Садыквой была большая и сильная, он сжал пальцы Акрама, словно тисками, и еще раз повторил:

— Рад видеть вас, домулла, спасибо, что осчастливили своим приходом.

Уловив в его словах иронию, Акрам отшутился:

— Для того и пришел, чтобы осчастливить.

Садыквой рассмеялся.

— А вам, домулла, палец в рот не клади.

Садыквой пригласил Акрама осмотреть полевой стан. Акрам согласился. Они шли рядом. В тени тутовника, у арыка, протекавшего посреди небольшого зеленого садика, двое поваров варили в казане шурпу. Здесь же кипели два огромных, в рост человека, самовара. Заметив приближавшихся Акрама

и Садыквоя, повара оторвались от своих дел и застыли в полупоклоне. Садыквой ответил им небрежным кивком и бросил на ходу:

— Кок-чаю!

В конце сада стоял домик с двумя дверями. Садыквой толкнул правую дверь и посторонился, пропуская Акрама. Войдя в комнату, Акрам остановился, пораженный. Это была просторная квадратная комната с большими окнами, обращенными к долине. Но не размеры комнаты поразили Акрама, а то, с какой роскошью она была убрана. Стены и пол покрыты коврами, на полу поверх ковра лежали атласные одеяла, а маленький столик — хан-тахта, стоявший посередине, буквально ломился от фруктов и сладостей, как будто здесь давно ожидали каких-то очень важных гостей.

Садыквой не спеша повесил шляпу на вешалку и распахнул окно. Свежий ветерок качнул шелковые занавески.

— Проходите, пожалуйста, сюда садитесь, на почетное место,— пригласил Садыквой. Приглаживая густые, черные как смоль волосы, он присел на корточки и, посмотрев сквозь раскрытую дверь в садик, кивнул кому-то головой.

Тут же в комнату вошел Дядя, а за ним повар с грудой пышущих жаром лепешек.

— Чтоб шурпа была как шурпа,— сказал Садыквой, беря лепешки из рук повара.— Не ударь в грязь лицом перед почетным гостем. Понял?

— Понял,— торопливо кивнул повар.

Акрам посмотрел в окно и увидел хлопковое поле, женщин, мерно взмахивающих кетменями, и люльки, развешанные на ветвях тутовника. Ему не хотелось сейчас обострять отношения с Садыквоем, но, увидев люльки, он не сдержался:

— Коли нет яслей... Разве нельзя перенести эти люльки сюда, к полевому стану?

— О каких люльках вы говорите? — Садыквой сделал удивленное лицо.— Ах, об этих.— Он улыбнулся.— А зачем их, собственно говоря, переносить? Там тенисто и прохладно.

— Думаю, не прохладнее, чем здесь,— холодно ответил Акрам.— Дети лежат в пыли, обжигаются на солнце, многие из них нездоровы.

— Все же там им лучше,— мягко, но настойчиво сказал Садыквой, как бы давая понять Акраму, что он хотя и почетный, но все-таки гость, а хозяин здесь Садыквой.— Кроме того, так удобнее матерям,— добавил он.

— Почему же?

— Потому что кормящие женщины избавлены от необходимости бегать туда-сюда. Заплачет ребенок — мать тут как тут. Накормит его и снова продолжает работу. Да и сами женщины так привыкли. Попробуйте перенести люльки, они начнут жаловаться, до самого секретаря обкома дойдут.

Акрам внутренне взорвался.

— Вы сначала освободите для детей эти комнаты, а потом я посмотрю, будут ли женщины писать жалобы.

— Вы, оказывается, очень любите детей, домулла,— прищурился Садыквой. Он еще пытался сохранить на своем лице выражение почтения, но глаза его уже говорили другое.

— Дорогой Акрамджан,— неожиданно вмешался Дядя.— Ты говоришь вещи правильные. Женщинам тяжело. Но для того чтобы им было легче, надо не люльки переносить с места на место, а вообще освободить женщин от кетменя. Даже в старое время, хотя и трудно жилось дехканину, женщина никогда не работала кетменем. Она сидела дома, ухаживала за детьми, доила коров и готовила мужу обед.

«Молодец старик»,— подумал Акрам.

— Зачем говорить о прошлом? — поморщился Садыквой.

— Чтобы лучше понять настоящее,— улыбнулся Дядя.

— Ах, Дядя,— покачал головой Садыквой.— Лишние слова говорите. Если бы это были не вы, я бы на эти слова ответил.

— А ты не стесняйся,— разрешил Дядя.— Можешь ответить и мне. Я не обидчивый, стерплю.

— Ну что ж...— Глаза Садыквой мстительно блеснули.— Если разрешаете, скажу. В последнее время вы так заботитесь о женщинах, что, сдаётся мне, забываете о своем преклонном возрасте.

— Неужели? — притворно удивился старик.— Вот уж не думал. Но все же, мне кажется, что лучше старику говорить по-молодому, чем молодому думать по-стариковски. Подумай над этим, сынок.

Дядя вышел. Акрам расхохотался. Садыквой вежливо улыбнулся, но тут же ладонью стер с лица улыбку.

— У старика острый язык,— сказал он с грустью.— Но одним языком жизнь не поправишь. Собирается освободить женщин от кетменя и не замечает, что случилось с его родной дочерью Шахистой.

— Что же с ней такое случилось?

— Вы, ака, знаете это не хуже меня. Мое мнение — женщину надобно держать в узде.

— То-то я вижу, как вы держите в узде Хамиду! — неожиданно вырвалось у Акрама.

Потом он себя много раз ругал за эти слова.

Садыквой потемнел лицом.

— Вот что, уважаемый домулла,— сказал он, медленно выговаривая слова.— Вы, конечно, человек ученый и живете по другим законам, но будь вы хоть трижды ученым и мудрецом из мудрецов, я не позволю вам вмешиваться в мои семейные дела. Возьмите сначала в руки свою жену, а потом поучайте других.

Акрам смутился.

— Я не хотел вмешиваться в ваши семейные дела, я только...

— Спасибо за совет,— наклонил голову Садыквой.— Но ваши советы для нас не подходят. В прошлом году мы с председателем приезжали к вам и имели удовольствие наблюдать, как некоторые мужчины распускают своих жен. Если на то пошло, я бы на вашем месте...

— Хватит! — резко оборвал Акрам.

Он стремительно встал и, пинком отворив дверь, вышел наружу.

Весь этот день Акрама одолевали противоречивые мысли и чувства. Он опять побывал во Дворце культуры и сходил на площадку, где строились здания правления и гостиницы. Потом долго сидел в председательском кабинете перед макетом генплана. Он твердо решил поговорить с Турабджаном и убедить его, приостановив строительство правления и гостиницы, возвести прежде детский сад и ясли. И вообще пересмотреть весь генплан. Но Турабджана не было, он с утра уехал в район. Не дождавшись, Акрам вышел на улицу и, повинуясь какому-то неуловимому внутреннему чувству, снова пошел к Гортепе.

Странно, но почему-то именно после встречи с Садыквоем Акрам не находил себе места. Хотелось тут же уехать, увидеться с Саярой и поговорить с ней обо всем. Если бы не проект, он бы уехал отсюда немедленно.

Встреча с Садыквоем перевернула в нем многое. От того приподнятого настроения, которое было у него в день открытия дворца, не осталось и следа. В самом деле, взялся за строительство роскошных зданий, забыв о том, что люди в первую очередь нуждаются в самом необходимом. К чему здесь это великолепие? Все равно что украсить плохо одетого человека брильянтами, вместо того чтобы дать ему хотя бы какую-нибудь одежонку. Зафар, видимо, все-таки прав. Надо строить здания не помпезные, а красивые, удобные, а главное — дешевые. И это не мода, а требование времени. Уже сейчас во многих колхозах поддерживают проекты Зафара. А какое будущее ждет проект Акрама? Да, он думал подчинить генплан поселка представлениям и вкусам жителей кишлака, а не города, но объективно получилось так, что он равнялся на вкус Садыквой и таких, как Садыквой.

Мысли его прервало тарахтение мотора. Справа, из-за карагачей, выскочил мотоцикл и, обдав Акрама запахом бензиновой гари, на бешеной скорости понесся вниз, к лощине. Позади парня сидела девушка, обхватив его руками за талию, и громко хохотала. Ветер развевал ее волосы и поднимал вверх короткое платье. Увидев Акрама, девушка хотела поправить подол, но чуть не свалилась и, снова вцепившись в парня двумя руками, еще громче захохотала. Они, как два черта, появились перед Акрамом и тут же исчезли, оставив за собой облако пыли и медленно исчезающий запах дыма.

«Вот уже и такое можно увидеть возле Гортепы»,— невольно подумал Акрам.

Лет пятнадцать назад такая картина была бы немыслима в здешних местах. И не только в здешних. В начале пятидесятих годов, когда Акрам поступил в институт, на их курсе было всего лишь две девушки-узбечки. В те времена далеко не каждая девушка могла решиться пойти в ресторан, веселиться и танцевать в компании мужчин. Пятнадцать лет не такой уж большой срок, а многое изменилось. И, пожалуй, ему, Акраму, надо теперь подумать, как жить дальше.

Вновь и вновь он мысленно возвращался к своему проекту. Если бы он мог начать все сызнова! Неужели были напрасны все его бессонные ночи? Отказаться от проектов — значит перечеркнуть какую-то часть своей жизни, признать свое поражение. Допустим, он даже на это решится. Но какой шум поднимется в институте! Ведь правильно поймет его далеко не каждый. Будь он рядовым архитектором, еще так-сяк. Но он руководитель большой мастерской. У него есть подчиненные, ученики и последователи — его школа. Значит, ему надо перечеркнуть не только свою работу. А поймут ли они, согласятся ли? Наверняка найдутся такие, которые назовут его ренегатом. Только вчера выступал против Зафара, а сегодня идет к нему же на поклон. И поверит ли Зафар искренности своего недавнего противника?

«Глупости,— прервал он себя сердито.— Не с того конца начинаю узел распутывать. Почему меня так заботит, кто что думает? В первую очередь я должен решить все для себя».

Кишлак теперь был далеко внизу. На Гортепе сады не жились в лучах нежаркого горного солнца, и ряды джиды казались окутанными тончайшими белыми кружевами. В воздухе стоял крепкий запах кисловатых горных яблок и маленьких дынь-скороспелок. Акрам долго разглядывал сады, бахчи, хлопковое поле и грядки, которые отсюда, сверху, были похожи на стеганый ватник. А в душе опять скребли кошки, и вчерашняя тоска поднималась с новой силой, затопляя все его существо. Он думал о том, что пошел по неверному пути, цеплялся за него и сам осложнил свою жизнь. Может быть, он просто взялся не за свое дело? В таком случае, не лучше ли быть простым арбакешем или работать с Дядей на поливке хлопчатника? Да, у него есть работа, довольно заметное положение в обществе, обеспеченная жизнь... Но сейчас Акраму казалось, что он может, не колеблясь, сменить все это на трудную, но простую, без суеты, жизнь своих земляков. Ведь это так достижимо. Вон зеркально блестит та самая плотина. Как в детстве. Вон, возле мельницы, стоит тот же белый тополь. Как в детстве. Вон та самая джидовая роща, где они с Турабджаном треножили лошадей. Все как будто на месте и все-таки не то. И Акрам понял, что он пытается обмануть самого себя, что свою теперешнюю жизнь он уже никогда не обменяет на эту. В один миг он понял, что его воспоминания о прошлом навеяны

сожалением об ушедшей молодости. Ему выпала иная дорога, и, как бы ни было трудно, надо идти по ней дальше. Возврата к прошлому нет.

Турабджан встретил Акрама шумно.

— А мы уж здесь объявили всесоюзный розыск и подняли на ноги всю милицию. Куда запропал? Или отыскал какую-нибудь молодую вдову?

Довольный своей шуткой, Турабджан засмеялся. Акрам тоже улыбнулся.

— Голодной курице просо снится. Я слышал, что здесь есть более опытные специалисты по молодым вдовам.

— Один-ноль в пользу «Пахтакора»,— развел руками Турабджан.— Ладно, шутки в сторону. Собирайся, поедем в гости.

— К кому?

— К одному приятелю.— Турабджан стал убирать со стола бумаги и укладывать их в ящик.— Устал как собака. Был в районе. Опять бюро, опять взбучка. Надоело до чертиков. Поедем, немножко развеемся. Не бойся, не пожалеешь. Отличное местечко.

— У вдовушки?

— О аллах, спаси и помилуй заблудшего раба твоего. Спаси меня, боже, от моих друзей, а от врагов я и сам отобьюсь.

— При этом главное — не перепутать, где враги, где друзья,— улыбнулся Акрам.— Погоди. К вдовушкам мы успеем, а пока поговорим немного о деле.

— О деле потом. Завтра на правлении будут обсуждать генплан, там самое место говорить о деле.

— Нет, я хотел бы поговорить сейчас,— стоял на своем Акрам.

— Ну, если ты настаиваешь...— Турабджан закрыл ящик стола и подсел к Акраму.— Для начала советую тебе подумать вот о чем. Как ни печально, придется, видно, приостановить строительство правления и гостиницы, вернее, перестроить их под детский сад и ясли. Я буду говорить об этом завтра на правлении. Ну как, ошеломил? Что годилось вчера, не годится сегодня. Еще два года назад люди требовали в первую очередь строить клубы, гостиницы и магазины, а сегодня они хотят, чтобы строили ясли и детский сад. Вот и пойми их! Хотя в общем-то они правы. Тяжелая работа у наших женщин. Они заслуживают того, чтобы им были созданы приличные условия. Я подумал об этом и решил, что с гостиницей и зданием правления можно подождать.

Акрам удивился.

— Сам решил или это и есть результат взбучки?

— Сам решил... в результате взбучки. Словом, придется тебе малость потрудиться.

— Ну что ж, за эти поправки я возьмусь с радостью,— сказал Акрам.— Только ответь мне по возможности откровенно.



— О чем ты?

— Почему, когда эти же очевидные вещи тебе говорила Хамида, ты был против?

Слово «Хамида» подействовало на Турабджана как удар кнута. Он вскочил и нервно зашагал по кабинету.

— Значит, не зря говорят — старая любовь не ржавеет, — колко заметил он.

— Перестань. Я говорю тебе об этом как другу.

— И я тебе скажу как другу: очень жаль, что я до сих пор не выгнал твою Хамиду из колхоза.

— Она не моя.

— Все равно. Твоя или не твоя, она только тем и занимается, что мутит воду. И вообще это бабье...

— Ого, уже бабье! Ты же только что говорил, что женщинам надо помочь.

— Во всяком случае, не тем, у кого язык длиннее ума. Пускай она думает обо мне все, что угодно, это ее личное дело. Но скажи мне, зачем она на каждом перекрестке кричит, что председатель — твердолобый истукан и консерватор?

— А что же, председателя и покритиковать нельзя?

— Критикуют, и еще как! — выкрикнул Турабджан. — У меня критика вот уже где сидит. — Он похлопал себя по холке. — Председатель стал для всех козлом отпущения. Все валят на председателя. Выдалось засушливое лето — виноват председатель. Дождливое лето — опять виноват председатель. В газете, чтобы публике посмешить фельетоном, пишут о ком? О председателе. О ком комедии сочиняют — опять о председателе. Председатель — и консерватор, и бюрократ, и зажимщик критики... Поработай пару недель на моем месте, узнаешь, что такое председатель.

Акрам сдвинул брови.

— Занимать твое место не собираюсь, знаю, что работа у тебя не из легких, но при этом вовсе не обязательно вымещать зло на других.

— Да что я такого сделал?

— Я тебе скажу — что, из-за того, что тебя покритиковали, и не так уж несправедливо, уволил с работы женщину... По-дожди, не перебивай. Мне тоже несладко живется. Я многое напутал в жизни. Но ты... Помнишь, во время войны был у нас председатель... забыл фамилию...

— Ну и что?

— Ничего, мне просто вспомнился один случай. Старушка после жатвы собирала колоски. Делала она это не от хорошей жизни. А мимо ехал председатель верхом и замахнулся на старушку плетью. Тогда один мальчишка бросился под председательского коня и выхватил плеть. Мальчишку этого звали Турабджан Икрамов.

Турабджан нахмурился.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, как странно меняются люди. Если бы тот Турабджан встретил нынешнего, пожалуй, им трудно было бы понять друг друга. Отчего ты так загордился, нынешний Турабджан? Оттого, что поднял колхоз? Но разве ты один его поднимал? Почему же ты топчешь людей, которые вместе с тобой делили все трудности?

— Если ты имеешь в виду свою бывшую любовь, пусть поменьше треплет языком.

— Ах, Турабджан,— покачал головой Акрам.— Ты забыл поговорку, что друг бранит, а недруг льстит. Видно, успех слишком вскружил тебе голову.

Турабджан опустил на диван и сжал ладонями виски.

— Ты многого не знаешь,— тихо сказал он.— Ты ничего не знаешь, Акрам.

— Может быть, я ничего не знаю, но многое вижу,— возразил Акрам.

— Перестань, я тебя прошу! — Турабджан поморщился как от зубной боли.— Есть хочу как собака. С утра не было во рту ни крошки. Да еще в райкоме устроили сегодня такую головомойку, что пронеси и помилуй. И теперь ты бьешь лежачего. Если у тебя есть еще ко мне претензии, поедем туда, куда я тебя зову, а там уж добьешь на месте.

Акрам посмотрел на его усталое лицо, на провалившиеся глаза и кивнул головой.

— Ладно, поехали.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Сквозь сон Саяра чувствовала, что чья-то рука гладит ее лицо и тихо, кончиками пальцев, проводит по прядям волос. Рука маленькая, нежная и ласковая. Саяре показалось, что это ее дочь, и она рассмеялась. Ей захотелось обнять и поцеловать Назиру. Она открыла глаза и тут же зажмурилась: из открытого окна прямо в лицо били шелковые теплые лучи солнца.

Никого! Просто приятный сон. Ей не хотелось вставать, и она долго лежала, потягиваясь на мягкой постели. Она имела на это право: вчера был сдан последний государственный экзамен.

Закрыв глаза, лежала Саяра на постели и улыбалась. Как хорошо быть молодой, здоровой и сильной, как хорошо сознавать, что институт позади, а впереди — отдых и только те дела, которые она сама выберет!

Сейчас она пойдет на киностудию, а вечером, если пожелает, на вечеринку однокурсников. Какое счастье распорядиться собой и своим временем! Пусть семейная жизнь не получилась. И не надо! Хватит, она сыта по горло. Семь лет бесконечных хлопот по хозяйству, семь лет возни на кухне. Постоянные

заботы о большом ребенке Акраме, сцены ревности и регулярные стычки из-за мелких неурядиц в быту.

Мысли Саяры прервал голос отца, донесшийся со двора. Абид Юнусович, должно быть, умывал Назиру, потому что слышно было его добродушное ворчанье:

— Не шали, Назира, стой смирно, а то вся обольешься. Шалунья ты эдакая, долго еще будешь издеваться над дедом!

Саяра встала и подошла к зеркалу. Волосы ее были не убраны и падали до пояса. Получилась самая модная прическа. Саяра повернула голову вправо, потом влево. Сделала обиженное лицо. Улыбнулась ослепительно. Придала лицу высокомерное выражение. Протянула руку для поцелуя. Из зеркала на Саяру смотрела очаровательная молодая женщина. Настоящая актриса. Недаром такой талантливый режиссер, как Шавкатджан, пригласил ее на главную роль! Недаром предпочел ее даже профессиональным актрисам! Как жаль, что в юности Саяра не знала цену своей красоте. Вот результат этой глупости — брак с человеком, который не может оценить ее по заслугам, ребенок, который будет расти без отца...

Ну, да ладно! Зачем столько переживать из-за прошлых ошибок? Лучше подумать о будущем, тем более что сейчас оно, кажется, улыбается ей. Диплом врача! А с ним доступно многое...

А что касается мужа, бог с ним. Не так уж велика потеря.

Саяра еще раз улыбнулась своему отражению в зеркале и вышла из комнаты.

На столе под виноградным навесом кипел самовар. Мать Саяры, Мавжуда-хола, кормила внучку из ложечки, а отец в пижаме, напялив на нос очки, просматривал свежие газеты.

Четырехлетняя Назира вырвалась из рук бабушки, кинулась к матери и повисла у нее на шее.

— Мама,— сказала она,— а правда, что люди, которые не едят вареную тыкву, навсегда остаются маленькими?

— Правда, правда,— рассеянно улыбнулась Саяра и, поцеловав дочь, снова водворила ее на бабушкины колени.

Абид Юнусович кивнул дочери и подвинулся.

— А мы уже позавтракали,— сказал он.— Решили тебя не дожидаться.

Он перевернул газету, пробежал глазами спортивные заметки, несколько дольше задержался на программе телевидения и прогнозе погоды. Потом отложил газету в сторону, встал и внимательно посмотрел на Саяру.

— Дочка, я ухожу. Мама передаст сейчас тебе одно письмо. Как ты к нему отнесешься, дело твое. Я ни на чем не настаиваю, но прошу тебя об одном: прежде чем принять окончательное решение, подумай.

Отец ушел. Мать, подождав немного, вынула из-под скатерти конверт и протянула Саяре.

— От Акрамджана,— сказала она значительно.

— Акрамджан! Акрамджан! — захлопала в ладоши Назира.— Мой папа — Акрамджан!

— Не болтай за столом,— сказала Саяра, вскрывая конверт.

— Акрамджан — мой папа, мамин муж и бабушкин дедушка,— не унималась Назира и сама засмеялась, довольная собственной сообразительностью.

— Сиди смирно! — прикрикнула на нее Саяра.

«Саяра! — увидела она крупные, так знакомо падающие влево буквы, что невольно сжалось сердце.— Саяра! Вот уже неделя, как я вернулся из кишлака. Там, в кишлаке, я много думал о нашей с тобой жизни. Я перед тобой виноват. Я часто бывал к тебе несправедлив, слишком мало уделял внимания. Особенно тяжело вспоминать последний случай. В письме всего не напишешь, поэтому прошу тебя: давай встретимся, поговорим по душам, как это бывало раньше, когда мы ссорились. Время и место встречи зависят от тебя.

Я бы пришел сам, но неловко перед отцом. Жду ответа. Акрам».

Саяра представила лицо Акрама, на минуту даже услышала его глуховатый голос. «Я виноват перед тобой... Особенно тяжело вспоминать последний случай». Каждый раз после семейных ссор стоило Саяре увидеть по-детски виноватые глаза мужа, какую-то беззащитность на его лице,— она забывала все свои обиды и готова была броситься в его объятия. Но сейчас почему-то вспомнился именно «последний случай» — сцена в кафе, безобразное ее продолжение здесь, в присутствии отца. Нет, примирение невозможно.

Саяра сложила письмо и встала.

— У меня сегодня много дел, мама, я ухожу.

Мать вопросительно посмотрела на дочь.

— А что пишет твой муж?

— Что он может написать,— сдержанно улыбнулась Саяра.— Кажется, спохватился.

— А ты?

— Я? — Саяра поморщилась.— А что я?

— Просто хочется знать, что ты собираешься ответить ему.

— Ах, мама,— раздраженно отмахнулась Саяра.— У меня сейчас нет ни времени, ни желания думать обо всем этом.

Мавжуда-хола печально взглянула на дочь и тяжело вздохнула. Она очень переживала разлад Саяры с мужем. Когда-то она была против этого брака. Ей не нравились в Акраме его простота, кажущаяся ей неотесанностью, вспыльчивость, резкость. Но сейчас, когда дело зашло так далеко, она испугалась. Кто знает, сумеет ли Саяра устроить свою жизнь, найти человека по душе? И потом ребенок, Назира...

— А что я скажу отцу, доченька? — схитрила мать.

— С папой я поговорю сама,— решительно сказала Саяра. И, как бы давая понять, что разговор окончен, отодвинула недопитый чай и пошла в дом одеваться.

Саяре всегда казалось, что работа в кино — это не работа в истинном значении этого слова, а интересная увлекательная игра. Первое знакомство с киношниками не изменило ее представления.

Утром, придя к проходной, она увидела автобус, на котором было написано: «Киностудия». В автобусе сидели Шавкатджан, Нилуфар и еще с десятков девушек и молодых людей. Все они были модно одеты: девушки в брюках и темных очках, парни в белоснежных рубашках, и почему-то все, как один, бородастые. В подражание своему режиссеру, что ли? Саяру встретили, как старую знакомую, приветливыми улыбками, шутками, остроумиями. Шавкатджан усадил ее рядом с собой и крикнул шоферу: — Поехали!

Шофер включил скорость. За автобусом двинулись две странные машины с не менее странными названиями «Тонваген» и «Лихтваген», как объяснили Саяре, — машины для звукозаписи и освещения. Саяре казалось, что она стала вдруг центром всеобщего внимания: прохожие, умирая от любопытства, вытягивали шеи, чтобы разглядеть ее получше, то же делали и шоферы встречных и попутных машин, но уже с некоторым риском для жизни. Поставые отдавали ей честь. Саяре стало весело.

Автобус выехал из города и полетел по гладкому шоссе. Не отставали от него и «Тонваген» — «Лихтваген». Так, на полной скорости и влетели они в кишлак, где была намечена съемка. Сидевшие на задних местах музыканты спохватились, и выставив в окна карнай и сурнай, грянули веселую песню. Из ворот домов, из-за дувалов высыпали жители кишлака. Ребятишки бежали рядом с автобусом, размахивая руками и что-то выкрикивая.

Машина остановилась около конторы. Приехавших встретили директор картины и председатель колхоза. Председатель пригласил дорогих гостей в колхозный сад. В саду, у водоема, их ждало угощение: в огромном казане, распространяя вокруг божественный запах, варился плов, шумно кипели самовары. Именно в этом саду Шавкатджан и предлагал снять сегодняшний эпизод: сбор яблок и встречу влюбленных.

Гости выпили только по пиале чаю. Остальное, несмотря на уговоры председателя, перенесли на вечер.

— Мы сюда приехали не отдыхать, а работать, — пояснил Шавкатджан. — Тем более сейчас самое хорошее освещение.

Пока операторы налаживали аппаратуру, подошли местные девушки, которые должны были участвовать в массовке, Шавкатджан подозвал к себе Саяру и Нилуфар:

— Посмотрите-ка на них. Вы должны выглядеть точно так же. Идите к гримерам, пусть они вам помогут.

Шавкатджан не ошибся в своем выборе: превратить Саяру в молодую девушку из кишлака оказалось совсем не трудно.

Парикмахер сплел ее мягкие каштановые волосы в две длинные косы, гримеры подкрасили брови, подвели сурьмой глаза, набросили на голову белый шелковый платок — и произошло чудо. Городской девушки, профессорской дочки Саяры как не бывало. Из зеркала на Саяру смотрела миловидная, похожая на нее, но совершенно другая женщина. Шавкатджан был вне себя от восторга.

— Ну что? — Он чуть не прыгал от радости. — Я же говорил, что это ваша роль! И я оказался прав. Советую вам всегда слушаться старших. А теперь за дело. Возьмите сценарий и повторите вашу роль в сегодняшней сцене.

Сценарий понравился Саяре с первого же чтения. Тема его была близка ей... Кишлак. Кишлак у горы. Молодая женщина, героиня фильма, подавлена обстановкой в своей семье. Муж ее ревнив, груб, деспотичен. В собственном доме она чувствует себя одиноко. В героиню влюбляется молодой инженер, приехавший в кишлак. Постепенно и она начинает понимать, что любит его, хотя до последней минуты страшится этого чувства, не признается в нем даже самой себе. Наконец, поборов все сомнения, она решает порвать со старой жизнью. Но на ее пути встают непреодолимые препятствия: муж, родня, древние нравы и обычаи, оказывающиеся сильнее ее. У героини не хватает сил для борьбы.

Многое в сценарии напоминало Саяре ее собственную судьбу.

«Вот это про меня, — думала Саяра, читая сценарий, — и это тоже у нас было. Эта женщина — я, а ее своенравный муж — Акрам».

Сегодня в колхозном саду предстояли съемки очень ответственной сцены — первого свидания героев. Инженера должен был играть молодой грузинский актер, не очень, правда, похожий на узбека, но зато, как говорили, очень талантливый. Красивый, высокий, статный такой, каким и должен быть киногерой, исполнитель главной роли прогуливался сейчас в глубине сада с Нилуфар. Саяра уже несколько раз перехватывала его внимательный, изучающий взгляд. Никто до сих пор не догадался их познакомить, и им оставалось только рассматривать друг друга издали.

Наконец все приготовления были закончены. Шавкатджан, с рупором в руках расхаживающий по площадке, пригласил Саяру и грузинского актера в виноградник. Знакомя их, режиссер пошутил:

— Смотрите, не переиграйте и не влюбитесь по-настоящему. Любовь мешает работе.

Пока актеры репетировали свои роли, а операторы налаживали технику, выплывшие из-за гор облака заслонили солнце. Снимать было невозможно — пришлось ждать. Ждали солнца до вечера, но не дождались и, похвалив хозяйский плов, отправились обратно.

На съемку — с дублями — этого короткого эпизода ушла целая неделя. Саяре казалось, что его можно снять за несколько часов. Порой ей надоедало, стоя перед камерой, неустанно повторять одно и то же. Но все-таки ей все нравилось. Нравилась роль, нравилось (что греха таить!) восторженное отношение мужчин, одобрение Шавкатджана, ежедневно просматривавшего отснятые кадры.

Однажды на съемки приехал Зафар. Целый день ходил по съемочной площадке, рассматривал, расспрашивал, шутил с актерами и Шавкатджаном, но Саяра видела, что веселье его несколько нарочито, а на самом деле ему невесело и тревожно. Прощаясь с Нилуфар и Саярой, Зафар пошутил:

— Завидую вам. Может, и мне податься в артисты? Прямо не жизнь, а малина!

— Малина? — обиделась Нилуфар.

— Напрасно вы на меня нападаете, Нилуфархон.

Зафар покраснел и, быстро попрощавшись, сел в машину.

— Все они такие, эти мужчины, — презрительно скривила губы Нилуфар. — Я ведь вижу его насквозь. Он думает, работа в кино отразится на нашем поведении.

Саяра усмехнулась. Можно себе представить, что думает об этом Акрам!

Это произошло в тот день, когда съемка первого эпизода была наконец закончена. Автобус довез Саяру до самого дома. Улица сразу наполнилась шумом, смехом: веселая компания никак не могла с ней распрощаться — кто-то кричал ей вдогонку, кто-то выводил на сурнае печальную мелодию. А когда автобус, заслонявший дом, отъехал, Саяра увидела, что у ворот стоят отец и Акрам. Кровь бросилась в лицо, ноги сразу отяжелели, но через секунду она уже овладела собой и быстро прошла мимо них в ворота.

На веранде столкнулась с матерью.

— Ты видела Акрама?

— Видела.

— Как похудел, как плохо выглядит! А Назира? Повисла у него на шее и так плакала, что еле оторвали! — Мать явно вызывала ее на разговор, но Саяра молча прошла в гостиную.

Минуту спустя на пороге появился Абид Юнусович. Саяра взяла полотенце и хотела выйти, но отец настойчиво сказал:

— Сядь, поговорим!

Никто из них, однако, не сел.

Саяра с полотенцем в руке подошла к окну. Не решаясь взглянуть на отца, она смотрела на цветник перед домом, смотрела не отрываясь, боясь повернуть голову и встретиться с отцом взглядом.

Абид Юнусович нервно ходил из угла в угол.

— Ты решила, что ответишь Акраму? — нарушил он наконец молчание.

— А что мне решать? Вы же знаете...

— Да, я знаю! — перебил он. — Но, во-первых, он понял свою вину, мучается, места себе не находит, а во-вторых, насколько мне известно, у него сейчас неприятности по работе. Как же можно в трудную минуту...

— У него всегда трудные минуты, вся его жизнь состоит из трудных минут! — Саяра посмотрела на отца, но, встретив его строгий, неприязненный взгляд, опустила голову.

— Сколько тебе лет, дочка? — вдруг спросил Абид Юнусович.

«Началось воспитание!» — подумала Саяра с тоской.

— Вы говорите так, будто сами не знаете, сколько мне лет!

— Я спрашиваю потому, что ты ведешь себя как взбалмошная девчонка, а не как взрослая женщина, мать четырехлетней дочери.

— Вы имеете в виду кино?

— Да, и кино тоже! Я думаю, чтобы стать кинозвездой, надо обладать очень многим и прежде всего настоящим талантом. Ты уверена, что он у тебя есть?

Саяра смутилась и покраснела.

— Я не собираюсь становиться кинозвездой. Я просто так хочу попробовать.

— Просто так. Ты и в семейной жизни поступаешь «просто так»? — Абид Юнусович замолчал, а потом с неожиданной нежностью сказал:

— Вот что, дочка. Я не хочу вмешиваться в твою личную жизнь. Но я бы хотел, чтобы ты была справедливой и человеческой. Твоему мужу сейчас очень тяжело, он страдает, места себе не находит. Кто же, если не ты, поддержит его, поможет почувствовать твердую почву под ногами? Жизнь сложна. И надо не только уметь быть требовательной, надо еще уметь и прощать. Подумай об этом, дочка!

Саяра ничего не ответила. Ей и самой было жаль Акрама. Но... «Уметь прощать!» Легко сказать — «Уметь прощать»!

Не дождавшись ответа, Абид Юнусович вышел из комнаты.

Несколько дней Саяра переживала встречу с Акрамом и разговор с отцом. В памяти возникало похудевшее, осунувшееся лицо мужа, и сердце сжималось от боли. Она уже совсем было решила помириться с Акрамом, но опять вспоминался тот вечер, унижение, пережитое в кафе, поднятая рука Акрама...

И все-таки права она, а не отец. Так жить нельзя, все равно это должно было кончиться.

В конце недели позвонил Шавкатджан. Веселый, полный планов, он обрушил на Саяру каскад поздравлений, шуток, комплиментов:

— Молодец, Саярахон! Вы утерли нос дюжине профессиональных актрис, претендовавших на роль! Художественный совет студии единогласно постановил, что вы просто созданы для этой роли! Да, кстати. Мы отыскали чудесный кишлак.



Называется он Бака-Булак. Вчера я облетел его на вертолете. Это райский уголок, Саярахон! Стоит у подножия горы, кругом сады, родники, плотины. И председатель — отличный парень. Получите громадное удовольствие. Так что готовьтесь, Саярахон, через три-четыре дня выезжаем!

Саяра положила трубку. Это было уж совсем некстати. Она представила себе, как приедет в кишлак, встретится с родными Акрама... А что скажут все знакомые, соседи? Ведь надо же было случиться такому совпадению! Саяра вконец расстроилась. Но, с другой стороны, не отказываться же от роли только из-за этого? Получится уж совсем глупо. И вообще, какое ей до них дело? Она им теперь не родственница!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Акрам не застал Зафара в институте. Он тоже уехал в свой подшефный колхоз, над генпланом которого сейчас работал.

Впрочем, Акрам не особенно огорчился. Он хотел еще раз проверить себя, обдумать свое решение. За неделю он просмотрел много проектов детских садов и яслей. Познакомился с работами Зафара и снова убедился, что выводы, к которым пришел в Бака-Булаке, в общем правильны.

Но вот что было самым удивительным. Одно и то же стремление Акрама — учесть все особенности жизни дехкан, их вкусы и представления, принесло ему успех в строительстве жилых домов — и явную неудачу в строительстве общественных зданий. Как это могло случиться? Акрам хотел во что бы то ни стало найти разгадку и выбрать наконец для себя истинный путь.

Все эти дни он сидел в мастерской, не разгибаясь, не отвечал на телефонные звонки, а вечерами забирал работу домой. Ему необходимо было докопаться до истины.

И еще — это спасало от мыслей о Саяре.

Последняя встреча только сильнее разбередила душу Акрама. Саяра выглядела так, будто несколько не переживала их ссору. Изменила прическу, помолодела, похорошела. А ее решение сниматься в кино? И надо же было этому режиссеру выбрать для съемок именно Бака-Булак!

Акрам боялся даже подумать, какую бурю насмешек и сплетен вызовет появление в его кишлаке Саяры в компании киношников, как расстроится мать, как длинно и нудно будет разглагольствовать Нартаджи. Конечно, можно считать себя выше всего этого. Можно. Но как уйти от этих мыслей?

В ту ночь Акрам почти не спал. Ворочался с боку на бок, принимался читать, но мысли все время возвращались к одному и тому же.

Проснулся он разбитый, с большой головой, но полный решимости. Что он, собственно, так раскис? Надо же прийти

к какому-то решению. Не может быть, чтобы Саяре было совершенно безразлично, чем все это кончится. Нужно еще раз попробовать объясниться. И покончить с этой неопределенностью раз и навсегда!

Акрам быстро встал, принял холодный душ, даже навел порядок в квартире и, чувствуя былую легкость, вышел из дому. Такси нашлось быстро, и через несколько минут Акрам уже несся по висячему мосту через Бозсу к киностудии. Только одно волновало его сейчас: где и как ему найти Саяру? Но на его счастье, когда такси остановилось около ворот киностудии, он тут же увидел Саяру и Шавкатджана, выходящих из другой машины.

— Саяра! — громко крикнул Акрам и покраснел, чувствуя на себе удивленный и несколько насмешливый взгляд Шавката.

Саяра остановилась, сказала что-то режиссеру. Потом перешла улицу и направилась в сторону Бозсу, к озеру.

В легком коротком платье, по-девичьи стройная, Саяра быстро шла по улице, гордо и независимо поднимая голову. Ее каблучки стучали тоже гордо и независимо. Мужчины провожали ее внимательными взглядами, а женщины не менее внимательно осматривали ее платье, ища в нем секрет успеха. Акрам шел немного поодаль, исподлобья наблюдая за ней и волнуясь. Минутами ему казалось, что впереди идет не та женщина, с которой он прожил шесть с лишним лет, а та прежняя Саяра, которую он встретил первый раз в жизни.

Саяра миновала мост и, свернув влево, остановилась у речки, под низко склоненными вербами.

— Я слушаю тебя... вас.— Она произнесла это тихо, еле слышно, но в ее глухом голосе таилась угроза.

Акрам смотрел на ее тонкие руки, шею, покрытую нежным пушком, на знакомую маленькую родинку у плеча и молчал, забыв все продуманные слова.

— Я пришел покончить с этой... неопределенностью,— резко, чтобы не выдать своего волнения, сказал он наконец.— Надо решить.

— О каком решении вы говорите? — повернулась к нему Саяра.— Разве вы не решили все в тот день, когда ударили свою жену, как уличную женщину?

Глаза Саяры потемнели, наполнились слезами, Акрам невольно потупился, боясь увидеть, как Саяра плачет.

— Я... Я горько раскаиваюсь, Саяра. Тысячу... Десять тысяч раз... Я готов просить прощения...

— Спасибо! — с горькой иронией бросила Саяра.— Для вас это всего лишь... пощечина, а для меня — логическое завершение наших отношений. Что хорошего я видела в жизни с вами? Кроме кухни, ребенка и забот о вас? Ну скажите, что я увидела хорошего, выйдя за вас замуж?

Акрам быстро взглянул на нее, на ее дрожащие, как у обиженного ребенка, губы, отвел глаза.

— Что же делать, если так складывается жизнь. Я был занят работой, диссертацией. Я думал...

— Да, вам нужна была диссертация! Вы только и думали о вашей диссертации, о вашем высоком творчестве. А о том, что у вас есть жена, которая тоже живой человек, у которой есть свои мечты, желания... Вы об этом хоть раз подумали?

Саяра закрыла лицо руками и отвернулась.

Акрам молчал. Он понимал, что во многом она права, что он не должен сейчас быть резким, но что-то в ее словах больно его задело, и он не сдержался:

— Неужели ты думаешь, что в кино для тебя наступит райская жизнь?

— Нет, я так не думаю. Но и хуже не будет! — Саяра повернулась и решительно пошла обратно.

Акрам долго стоял под вербой. Он смотрел на людей, катающихся в лодках, на загоревших до черноты детей, на женщин в ярких купальниках.

Ничего не решилось, все осталось по-прежнему. Больше того, Саяра говорит уже не только о том последнем вечере, она говорит обо всей их жизни. В глубине души Акрам был уязвлен. «Ну что ж, если со мной ей было так плохо, пусть попробует без меня. Пусть поищет кого-нибудь получше. А-а!..»

После этой встречи Акрам несколько дней не выходил из мастерской. Работой он хотел заглушить тоску. Он работал днем и ночью. Он выкурил сотни сигарет. Он начертил десятки набросков и почти все изорвал на мелкие части. Очнулся он только после того, как до него дошли слухи, что его назначают главным архитектором института, на место Зафара. Эта весть была для него как ушат холодной воды. К чему, к чему, а к этому он сейчас никак не был готов. Акрам немедленно отправился к Султану.

Султан выглядел как полководец, одержавший крупную победу. Акрама он встретил с распростертыми объятиями.

— Дорогой мой, куда ты пропал? Тебе надо гоголем ходить, а ты залег в какой-то берлоге, и никто тебя не может разыскать! Или ты до сих пор ничего не слышал?

— Слышать-то слышал, но...

— Никаких «но». Твой доклад очень понравился министру. Я подчеркиваю слово «очень».

— Я не про доклад, а про слухи, которые ходят по институту.

— Если ты имеешь в виду твое назначение на место Бабаева, то это совсем не слухи. Вопрос уже решен, и решен положительно.

Султан откинулся на спинку кресла, ожидая, какой эффект произведут на Акрама его слова. Его гладкое, сияющее, как у искупавшегося ребенка, раскрасневшееся лицо расплылось в улыбке.

— Все согласовано во всех инстанциях, осталось только утвердить на коллегии. Но это уже простая формальность.

Султан продолжал сиять. Он так искренне ждал горячих слов благодарности, что Акрам растерялся. Как сказать о том, что это назначение сейчас совсем ему не нужно, что лучше бы все осталось на своих местах?

Султан по-своему понял его растерянность. Он засмеялся и обнял Акрама.

— Скромничаешь? Это неплохо. За это я тебя люблю. Скромность украшает человека. Но, говорю тебе, к черту эту скромность, если она открывает дорогу всяким проходимцам и карьеристам. Будем работать вместе.

Султан опять просил, считая, что Акрам достаточно поскромничал и теперь может выразить свою радость в полной мере. Но Акрам молчал, и молчание это с каждой минутой становилось все тягостней. Наконец он сказал:

— Мне очень жаль, но я не могу стать главным архитектором института.

Султан одной рукой схватил папку, другой взял под руку Акрама и направился к выходу.

— Сейчас я тороплюсь на коллегию. Потом поговорим обо всем подробней. Но,— он шутливо угрожающе поднял руку,— запомни: с твоими возражениями я считаться не собираюсь. Я бы тоже хотел сидеть в мастерской и создавать гениальные произведения для потомства. Но не все получается, как хочешь, надо кому-то и руководить. Вот и будем тянуть упряжку сообща.

В тени тополей перед зданием института Султана ждала черная «Волга». Садясь рядом с шофером, Султан еще раз сказал Акраму:

— Выкинь всю эту ерунду из головы. Пора тебе быть руководителем. Будь здоров!

На следующее утро, едва Акрам появился в своем кабинете, его вызвали к главному архитектору.

Зафар стоял, склонившись над длинным столом, заваленным макетами, чертежами, фотокопиями проектов. Лицо у него было усталое и хмурое, но, увидев Акрама, он улыбнулся, вышел из-за стола, протянул руку.

— Поздравляю с повышением!

В его голосе Акрам не заметил иронии. Зафар подвинул Акраму стул и сел сам.

— Честно говоря, я очень рад,— сказал он, помолчав,— что именно тебя назначили на мое место. Мы с тобой можем спорить сколько угодно, можем резко расходиться во взглядах, но наши споры всегда чисто творческие, всегда по существу.

— Погоди...

— Нет, уж ты, пожалуйста, выслушай сначала меня. Я все равно не смог бы сработаться с Султаном. Не потому, что

я лучше тебя или что-нибудь в этом роде. Просто у нас с ним слишком разные характеры и представления об архитектуре. Я сам собирался уходить и даже написал заявление. Вот оно.— Зафар придвинул к Акраму лист бумаги.— Вот так. А теперь все получается само собой, как я и хотел.

— Если уж разговор пошел начистоту, выслушай и меня. Я не желаю занимать твоего места. Я действительно не хочу этого, не имею морального права. Там, в кишлаке, я о многом думал, пересмотрел проекты твои и свои и понял: в главном ты был прав. Моим проектам не хватает современности, они тяжеловесны, отстали от жизни...

— Не надо,— смутившись, перебил Зафар.— Зачем уж так все перечеркивать? В них тоже есть много для будущего, а не для прошедшего полезного. Но иногда, мне кажется, ты забываешь, что мы строим.

— Да, да,— торопливо согласился Акрам.— Именно в этом все дело. Я оказался в плену отживающих обычаев и вкусов дехкан, дехкан вчерашнего дня. Теперь я многое понял, хотя и сейчас не считаю, что абсолютно все здания обязательно надо одеть в бетон и стекло...

— Кто же спорит? Во всем нужно чувство меры.

— Вот именно, чувство меры! Я думаю, что перспективнее всего сочетание современной архитектуры с нашими национальными традициями.

— Точно! — кивнул Зафар.— Но для этого у нас в институте нужна настоящая творческая атмосфера. Каждый проект должен широко обсуждаться. А Султан боится споров как огня. И я лично в такой атмосфере работать не могу. Не хватает ни терпения, ни нервов.

— Но ведь, кроме Султана, есть еще большой коллектив!

— Увы! — вздохнул Зафар.— Директор у нас решает все. Для того чтобы этот самый коллектив мог работать по-настоящему, надо убрать с дороги Султана, надо бороться...

— Ну и борись! — подхватил Акрам.

Зафар печально покачал головой.

— Нет, Акрам, я устал. Чтобы свалить Султана, необходимо доказать, что он не соответствует своему месту, надо потратить на это, по крайней мере, год жизни, а жизнь, как тебе известно, дается человеку только один раз. На борьбу с Султаном надобно затратить столько усилий, что если бы даже мне удалось его победить, я бы к тому времени, вероятно, кончился как архитектор.

— Значит, место на ковре ты уступаешь мне? — засмеялся Акрам.— А сам переходишь на скамейку для зрителей?

— Не место красит человека, а человек — место,— улыбнулся Зафар.— Кстати, как у нас успехи в области киноискусства?

— Ты имеешь в виду Саяру? Меня ее теперешняя жизнь совершенно не интересует,— сказал Акрам, краснея от неискренности своих слов.

Зафар смущенно улыбнулся.

— Я тебя понимаю. Сейчас каждый живет как хочет, и это, наверно, правильно. Умом я с этим согласен, а вот сердцем... Похоже, что даже я, вроде бы не такой уж консерватор, все-таки не могу смириться с мыслью, что моя невеста ведет себя не так, как мне того хочется. Ревную, что ли? Или старею?

Акрам рассмеялся.

— Уж если ты стареешь, то тогда я и вовсе древний старик.

В это время открылась дверь, и секретарша директора просунула голову в кабинет.

— Акрам Халикович, Султан Касымович приглашает вас к себе.

— Сейчас он придет,— ответил за Акрама Зафар и, видя, что секретарша все еще мнетя на пороге, повторил: — Я же вам сказал: сейчас придет.

Секретарша скрылась. Зафар подошел к Акраму, протянул ему руку.

— Ну что ж, Акрамджан, я считаю, что все недоразумения между нами устранены. Спасибо тебе!

Акрам горячо пожал протянутую руку.

Проводив его до дверей, Зафар напомнил:

— Еще раз прошу, если тебе эта должность интересна, не отказывайся от нее хотя бы из-за меня.

Султан вышел из-за стола навстречу Акраму, положил ему руки на плечи.

— Вот теперь я готов тебя выслушать. Но предупреждаю заранее: вопрос уже решен, мы можем обсуждать только детали. Так что прежде всего прими от меня, как полагается в таких случаях, поздравления.

Осторожно освободившись из объятий Султана, Акрам присел на диван.

— Но ведь только вчера ты говорил, что необходимо еще утверждение коллегии.

— Насчет этого можешь быть спокоен, коллегия утвердит.

Гладко выбритое лицо Султана выражало такую радость, что Акрам снова почувствовал непреодолимую неловкость, оттого что придется разочаровать директора.

— Что же ты молчишь? Неужели и в самом деле не рад?

Как хорошо представлял себе Акрам, обдумывая предстоящий визит к директору, что скажет ему, как яснее ясного докажет, что именно Зафар — идеальный главный архитектор института! Но стоило только взглянуть на сияющее лицо Султана, как улетучились все слова. Проклятая нерешительность! Красный, вспотевший от неловкости, стоял Акрам перед Султаном и мямлил что-то невразумительное.

Султан слушал его снисходительно, как слушают несмышленного ребенка. Затем сказал:

— Дорогой мой, будешь ты главным архитектором или не будешь, дело, конечно, твое. Насильно заставлять не станем. Но о талантах Зафара больше ни слова. У нас уже был разговор, и я не изменил своего мнения. Допускаю, что у него есть способности, но небольшие. Главному архитектору этого мало-вато. К тому же надо еще иметь талант организатора, руководителя, надо, если хочешь, иметь безупречную репутацию, быть в высшей степени принципиальным человеком. А твой Зафар...

Султан так уверенно рассуждал о принципиальности и безупречной репутации, что Акраму стало смешно. Султан заметил это и нахмурился, но только на миг. Он тут же взял себя в руки.

— Извини меня, дорогой, но ты чудишь. Этот Зафар... Или ты действительно его не знаешь, или вместе с ним играешь в какую-то игру! Я уже не знаю, что и подумать.

Акрам удивленно посмотрел на Султана, но не сдержался.

— Ты очень критичен к другим. А сам?.. Ведь дела в институте идут из рук вон плохо. А ты занят расстановкой фигур на шахматной доске. Боюсь, что нам придется скоро услышать: «А вы, друзья, как ни садитесь...»

— Так...— нервно перебил Султан.— Кое-что я начинаю понимать. Заварили всю эту кашу — и в кусты! Может быть, не ты критиковал недавно позицию главного архитектора? Или, может быть, я заставлял тебя это делать?

— Нет, ты меня не заставлял,— покачал головой Акрам.

— Так куда же ты клонишь?

— Понимаешь,— медленно подбирая слова, сказал Акрам,— в последнее время я много думал о своей работе и работе института. И я понял, что мы совершили много ошибок.

— Не обобщай,— перебил Султан,— говори о себе.

— Хорошо. Я совершил много ошибок...

Султан испытующе посмотрел на Акрама.

— ...И самую главную совершаешь сейчас. Кажется, я начинаю догадываться, чем продиктовано твое мнимое благородство. Неужели ты мог поверить слухам, будто у Зафара в министерстве рука надежнее, чем у меня? — Султан выпрямился и посмотрел прямо в глаза Акрама.— Знай, если Зафар Бабаев ходит по бревну, то Султан Касымов шагает по крепкому мосту. Ошибка, которую ты сейчас совершаешь, может стать непоправимой! У меня есть люди и повыше министерства, так и передай своему Бабаеву!

Акрам оторопел. Вот как, оказывается, можно истолковать его нерешительность! А он-то деликатничал, подбирая слова... Это было уж слишком.

— Не меряй всех на свой аршин!

— Что ты имеешь в виду?

— В мире еще есть честные люди! — Хлопнув дверью, Акрам вышел из кабинета.

— Сам заварил кашу, сам иди в министерство и ее раскле-  
бывай! — услышал он уже из коридора голос Султана.

Акрам нервно ходил по коридору.

Ну что ж, он пойдет в министерство! И неужели не найдутся там люди, способные разобраться в обстановке? Неужели Султан действительно всесилен? Он, Акрам, пойдет в министерство, а если понадобится, и дальше, и будет добиваться справедливости, чего бы это ни стоило! Пусть он потратит год жизни, хоть жизнь и дается только один раз. Остричь всегда легче.

Акрам почувствовал в себе такой прилив силы и энергии, что несколько не сомневался сейчас в успехе. Решено. Он пойдет в министерство и добьется своего. Они еще поработают вместе с Зафаром.

Не заходя в мастерскую, Акрам отправился домой. Еще на лестнице он услышал из своей квартиры звонки. Перепрыгивая через ступеньки, добежал до двери и кинулся к телефону.

— Акрам-ака, это вы? Хорошо, что я застал вас! — Акрам узнал взволнованный голос Убая и с трудом подавил волнение.

— Слушаю вас, Убайджан.

— Я хотел только узнать, нет ли вестей от Саяры?

— Нет... А что-нибудь случилось?

— Я получил телеграмму от Шахисты.

— Ну?

— С ее сестрой произошел несчастный случай, она лежит в больнице, и Шахиста просит, чтобы я немедленно выехал.

— С какой сестрой? С Хамидой, что ли?

— По-моему, да, ведь у нее есть сестра по имени Хамида? Я подумал, может быть, вам через Саяру что-нибудь известно?

— Нет. А что за несчастье?

— Не знаю, в телеграмме не сказано.

— И когда вы поедете? — Акрам устало облокотился о стену.

— Сегодня я дежурю в газете. А поутру смогу выехать.

— В таком случае к вам большая просьба: как только приедете, дайте мне телеграмму. Я должен знать, что случилось.

— Хорошо.

— Ну, доброго вам пути. — Забыв положить трубку, Акрам долго стоял в раздумье.

Странная телеграмма. Что могло случиться с Хамидой? Авария какая-нибудь? И почему Убай спросил про Саяру? А вдруг это с ней что-нибудь случилось? Нет, не может быть, ему бы сообщили. И все-таки надо бы поехать в кишлак... Если бы не история с Зафаром...

В конце концов Акрам решил дождаться телеграммы Убая, а пока, на случай если придется срочно уехать в кишлак, подготовить подробное письмо на имя министра.

Он переоделся, поставил на плиту чайник и сел за письмо.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После замужества Саяра лишь однажды побывала в Бака-Булаке, но родственники Акрама, особенно его мать, младший брат Нартаджи, и председатель колхоза Турабджан со своей женой Малохат частенько приезжали к ним, и отношения у них были самые лучшие. Как теперь будет держать себя Саяра при встрече с ними, особенно с матерью Акрама, тетушкой Махирой? Что скажут эти люди, узнав об их разрыве, и что она ответит им?

Как ни убеждала себя Саяра, что все это не имеет серьезного значения, как ни отгоняла от себя неприятные мысли, по мере приближения к кишлаку росло ее смутнение. Больше всего пугала встреча со свекровью — как она сумеет объяснить ей свой приезд в кишлак? Подумав о тетушке Махире, Саяра на первом же привале переделалась: узкие брюки и модный свитер сменила на атласное платье.

Девятиместная компактная «Латвия», вышедшая из города рано утром, въехала в Бака-Булак к исходу дня. Когда машина остановилась перед правлением колхоза, на всех столбах уже горели лампочки. Саяра вышла из машины последней и сразу же увидела среди встречающих Турабджана.

Саяре хотелось сейчас его видеть примерно так же, как и свою свекровь. Турабджан — друг ее мужа и, конечно, во всем будет на его стороне. Хотя и к ней он относился всегда хорошо. Приезжая в Ташкент, Турабджан сваливался на них как снег на голову и сразу же переворачивал вверх дном всю их жизнь. Он появлялся, нагруженный с ног до головы пакетами, свертками, ящиками с подарками, и сейчас же принимался строить невероятные планы... Тащил в ресторан, и в театр, и в гости, и все это надо было делать немедленно, сейчас же. Саяра поддавалась его настроению, и они вместе торопили Акрама, и бежали куда-то, и спешили, и боялись не успеть.

Турабджан нравился Саяре этим напором, энергией, веселостью. Но встречаться с ним сейчас...

Саяра инстинктивно спряталась за чьи-то спины, но было уже поздно. Шавкатджан, желая представить председателю свою главную героиню, уже громко звал ее, приглашая подойти. Увидев Саяру, Турабджан остолбенел:

— Кого я вижу, Саярахон! Каким ветром занесло вас в наши края? — Затем добавил в шутку: — Или стали киноактрисой?

— Да вы, оказывается, знакомы? — в свою очередь удивился Шавкатджан. — Саяра не просто актриса, она исполняет главную роль в нашем фильме, раис-ака!

Председатель улыбнулся словам режиссера, как хорошей шутке.

— Не знаю, как насчет главной роли в вашем фильме, а у меня ей приготовлена очень хорошая роль — место врача

в нашей больнице. Да, да, Саярахон, этот вопрос я уже согласовал с вашим повелителем, так что привыкайте постепенно к этой мысли.— Он повернулся к Шавкатджану.— Ну, товарищ режиссер, вы устраивайте своих людей, а о Саярехон мы позаботимся сами. Палван!

Палван вырос перед председателем как из-под земли.

— Слушаю вас, хозяин!

Саяра испуганно вздрогнула, будто Палван сейчас же по приказу председателя мог потащить ее куда-то, связав по рукам и ногам.

— Узнаешь Саярухон? Молодец! Машину нашему будущему врачу к подъезду и прямо ко мне!

Ища спасения, Саяра посмотрела на Шавкатджана, но поняв, что нужно отказаться самой, мучительно покраснела.

— Спасибо, Тураб-ака. Я должна остаться здесь, с ними.

— Да что, в самом деле, происходит? — Председатель растерянно переводил взгляд с Саяры на Шавката.— Почему вы должны остаться здесь?

— Не спрашивайте меня сейчас, Тураб-ака. Потом я вам все объясню.

— Ну что же, поступайте, как вам удобней.— Турабджан помрачнел и быстро распрощался.

Вечером в колхозном саду в честь приезда киногруппы был накрыт праздничный стол. Турабджан появился всего на несколько минут и, сославшись на занятость, ушел, даже не взглянув на Саяру.

А утром Саяру разбудила Нилуфар и сказала, что ее спрашивают. Саяра выглянула в окно: во дворе под чинарой стоял Нартаджи и нетерпеливо поглядывал на дверь гостиницы. Саяра всегда несколько иронически относилась к младшему брату мужа, к его попыткам наставить всех окружающих на путь истинный. Бывало, он пытался поучать и ее. Тогда, не желая обострять отношений, она деликатно слушала его, не спорила, переводила все на шутку. Но выслушивать его наставления сейчас — это было уже слишком.

— Ну, Нартаджи.

— Я поражен, Саярахон. Разве вам негде остановиться в кишлаке? Почему вы живете вместе с этими безусыми юнцами? Или мы сделали вам что-нибудь плохое? Что скажут люди, прослышав о вашем поступке?

Не желая затягивать неприятный разговор, Саяра холодно оборвала его:

— Простите, но нас теперь не связывают родственные узы. Я разошлась с вашим братом.

Лицо Нартаджи сразу вытянулось, глаза растерянно заморгали.

— Но если это так, зачем же вы приехали в наш кишлак?

— Так получилось, это не зависело от меня. А потом, ведь этот кишлак не является вашей собственностью?

— Я не говорю, что он моя собственность. Но... если случилось такое несчастье,— жалкая улыбка мелькнула на лице Нартаджи,— если уж это произошло, зачем вам понадобилось позорить нас перед всеми?

— Чем это я позорю вас?

— Не прикидывайтесь наивной! Будто вы не понимаете, как выглядит в глазах людей ваше новое занятие! Ни одна женщина из нашей семьи еще никогда...

— Не знала, что, став актрисой, опозорю вас и вашу семью! — вспыхнула Саяра.— Можете объяснить людям, что мое непристойное поведение больше не имеет никакого отношения к вам и вашей семье. Все. Прощайте!

Она повернулась и быстро вошла в гостиницу.

Странно, именно разговор с Нартаджи успокоил Саяру, утвердил в своей правоте. Младший брат, конечно, пошел дальше старшего. И откровенней гораздо. Но в главном они сходятся, это у них семейное. Правильно она сделала, что не пошла на очередное примирение с Акрамом. Правильно, что не отказалась от съемок и приехала сюда. Она во всем совершенно права.

«Я совершенно права»,— твердила себе Саяра, проезжая по кишлаку вместе с киногруппой, занятой «поиском природы». Она спускалась в лощину и задерживалась у родника, подолгу вглядываясь в свое отражение, как тогда, шесть лет назад, когда впервые была здесь с Акрамом. Вода была холодная и прозрачная, как и тогда. На Гортепе так же тихо, и та же скамейка стояла у могилы святого.

«Я совершенно права»,— твердила Саяра, глядя на кишлак с вершины холма, с того места, где любили стоять они с Акрамом. Но глаза застилала какая-то пелена, и комок подкатывал к горлу.

Как страшилась Саяра всех этих встреч в кишлаке: с родственниками, друзьями, соседями мужа! Как страшилась и готовилась к ним, обдумывая заранее каждое свое слово. Но самой трудной оказалась другая встреча — та, которую она не могла предусмотреть: встреча с самой собой, девятнадцатилетней Саярой, прошедшей здесь самый счастливый месяц в жизни.

Воспоминания подстерегали ее на каждом шагу. Любая улочка, тропинка, скамейка приобретали вдруг над ней какую-то страшную, непонятную власть. Она останавливалась перед ними, пронзенная воспоминанием, таким ярким, будто все это было только вчера. И становилось больно, и опять наворачивались слезы, и хотелось не думать об этом, забыть, но они вновь приходили и приходили, эти воспоминания, и уйти от них было некуда.

...Вот на второй день свадьбы, сыгранной в городе, они приехали сюда, в кишлак. Вечером вся лощина звенела от музыки. Тетушка Махира и Нартаджи устроили большой той. Саяра важно восседала на разряженном иноходце. Ее сопровождали не менее разряженные девушки.

Вижу тебя — душа в огне,  
Сердце поет, ёр-ёр,  
Ты улыбнись, моя песня, мне,  
Сердце мое, ёр-ёр! —

разносится по всему кишлаку.

Костер на берегу лощины, натянутая через дорогу веревка, пригоршни монет, сыплющиеся на голову Саяры...

...Ты улыбнись, моя песня, мне,  
Солнце мое, ёр-ёр!

А вот их любимый уголок в саду матушки Махиры. Только теперь Саяра поняла, как беден и ограничен был мир без Акрама, без его влюбленного, немножко смущенного взгляда, без его грубоватых и нежных рук, без этого неба...

В те темные ночи Саяра впервые по-настоящему ощутила дурманящий запах дынь, доносящийся с бахчей, и тонкий аромат базилики, и таинственную тишину уснувшего сада, время от времени нарушаемую кваканьем лягушек. И это кваканье казалось Саяре замечательной музыкой.

Если бы тогда Саяре сказали, что через шесть лет она будет вот так стоять около этого сада и со слезами на глазах вспоминать прошедшее, она ни за что бы не поверила.

«Все проходит», — хоть это и утверждал мудрейший из мудрых, но это не про них. Их любовь не похожа ни на какую другую. Она — на всю жизнь. И вот — неужели и правда «все проходит»?

Почувствовав, как комок вновь подступает к горлу, Саяра торопливо пошла вперед.

— Что с тобой, Саяра? — окликнула ее Нилуфар.

— Ничего, не беспокойся, Нилуфар, наверное, немного устала.

— А-а, все понятно, вспомнила медовый месяц! Не переживай, Саяра, не мучай ты себя. Никто из них не стоит наших переживаний. Пойдем-ка лучше к роднику, Шавкатджан ждет нас, там приготовлен роскошный завтрак! — Нилуфар, не отставая, шла за ней и говорила без умолку.

— Хорошо, хорошо, я приду, — пообещала Саяра, чтобы поскорее остаться одной.

Вот ведь что получается. Саяра и не подозревала, что все эти годы память о лучших днях, обо всем хорошем, что было у них с Акрамом, жила в ней, жила где-то далеко, незаметно, так далеко, что она и сама об этом не догадывалась. А сейчас, охраняя их любовь, память выплеснулась из тайников, заставив устраситься потери. Только теперь Саяра поняла, как трудно, как невозможно трудно жить без Акрама. Всего, всего, что она вспоминает сейчас, больше уже никогда не будет.

Чувствуя себя совершенно разбитой, Саяра добрела наконец до гостиницы. Здесь ее ожидал новый сюрприз. На ступеньках гостиницы сидела ее свекровь, матушка Махира. Знакомое ситцевое платье, белый кисейный платок, руки с синими про-

жилками устало сложены на коленях. Увидев Саяру, она торопливо поднялась со ступенек, подошла к ней, обняла.

— Как ты жива, как здорова, доченька моя? — спросила она робко. — Как там поживает моя Назирочка?

Саяра чувствовала, что старуха хочет спросить об Акраме, но боится начать разговор.

— Ладно, мама, что случилось, то случилось, что теперь говорить!

— Да что вы не поделили, доченька моя? А он-то, он-то, наверное, ходит сам не свой. Я знаю его, он и ссорится с тобою только потому, что очень любит, ревнует...

— Не надо, мама.

— Хорошо, хорошо, не надо. Ты у нас умная, образованная, сама все понимаешь.

Саяра думала, что после этой встречи Махира-хола больше не придет. Но она приходила каждый день, и только в то время, когда Саяры не было в гостинице. Возвращаясь со съемок, Саяра всегда находила на своем столе кукурузные початки, испеченные на углях, и кувшин холодной как лед похлебки из проса. Это были ее любимые блюда.

Уже неделю Саяра жила в кишлаке. Дни летели незаметно. Съёмки шли с утра до ночи.

В тот вечер Саяра вернулась в гостиницу усталая. Она устала от жары, от суеты на съемочной площадке, от окриков Шавкатджана. С тех пор, как началась работа, Шавкат очень переменялся. Он стал властным, нетерпеливым, раздражительным. Саяра решила не идти на плов, который устраивал сегодня Шавкатджан в честь актеров группы, и рано легла спать. Где-то далеко за полночь ее разбудил стук в дверь.

Нилуфар, только что вернувшаяся с вечеринки и еще не успевшая заснуть, недовольно пробурчала:

— Кого там еще принесла нелегкая?

— Нам нужна Саяра-апа. Если дома, пусть выйдет! Ее просит раис!

— Зачем это раису понадобилась Саяра-апа? Что за свидания в полночь?

— Сестрица, спросите об этом самого раиса!

Саяра узнала голос Палвана и, чтобы положить конец этому ненужному разговору, ответила:

— Передайте, сейчас приду!

Турабджан ожидал ее под уличным фонарем. Заложив руки за спину, он нетерпеливо ходил по дороге.

— Простите, что нарушил ваш сон, Саярахон, — взволнованно проговорил председатель. — Если не трудно, пойдите со мной. Тут недалеко. Вы должны помочь в одном деле, неотложном деле.

— Какие могут быть неотложные дела в такое время?

— Я вас зову не на плов! — вспыхнул Турабджан, но тут же осекся и заговорил, с трудом подбирая слова: — Видите ли, один человек, вероятно, хотел пошутить с женой и неудачно... Или у него рука сорвалась, или она сама случайно наскочила... Да что там толковать! Произошел несчастный случай. Надо срочно оказать помощь. А тут, как нарочно, врач нашей больницы в отпуске. Я вспомнил, что вы окончили мединститут, и вот пришел за вами, Саярахон. Выручайте.

— Но что я могу сделать? Мне еще не приходилось вот так, неожиданно...

Тураб нетерпеливо прервал ее.

— Вы врач или актриса?

— Хорошо, — покорно сказала Саяра, — сейчас оденусь.

— Вот это другой разговор!

В узком коридоре одноэтажного приземистого здания больницы царил полумрак. Там Саяру встретила Шахиста. Ее была нервная дрожь. За спиной Шахисты стояла неестественно высокая пожилая женщина в халате. Шахиста со слезами бросилась к Саяре. Она не могла говорить и только бессвязно повторяла:

— Беда, ой какая беда!.. Сестричка моя родная, что же делать?

Саяра, успокаивая, обняла ее за плечи и быстро прошла в палату.

На железной кровати, в просторной, но такой же полумрачной, как и коридор, комнате, лежала женщина с закрытыми глазами. Голова ее была наскоро перевязана. Женщина тихо стонала.

— Почему здесь так темно? Настольную лампу, и поскорее! — неожиданно для себя твердо распорядилась Саяра.

Она склонилась к изголовью кровати. Лицо женщины показалось ей знакомым. Вглядевшись, Саяра невольно вздрогнула: перед ней лежала... Хамида. Обескровленные губы, еле слышное дыхание, беспомощно запрокинутая голова.

Так вот над кем «пошутил один человек»!

Только теперь до сознания Саяры дошел смысл слов Шахисты. Беда!

Она присела на край кровати, взяла руку Хамиды, нащупала едва слышную ниточку пульса.

Хамида открыла глаза и тяжело вздохнула. Взгляд ее, бессмысленно скользивший по комнате, вдруг остановился на лице Саяры. С минуту она сосредоточенно смотрела на нее, затем, должно быть, узнала, беспомощно заметалась по кровати.

— Успокойтесь, сестрица. Успокойтесь. Все будет хорошо.

Саяра была подавлена. Она с трудом вывела из комнаты плачущую Шахисту, усилием воли заставила себя откинуть с больной одеяло, разбинтовать раны...

Хамида была жестоко избита. На голове, на лице, на всем теле зловещие кровоподтеки. Но больше всего Саяру испугала ножевая рана в боку. Пострадавшая потеряла много крови, и Саяра понимала, что положение больной серьезное. Требовалось срочное хирургическое вмешательство.

В немом ожидании на Саяру смотрела пожилая медсестра.

— Прежде всего — противостолбнячную! К ранам тампоны, следите... Я сейчас вернусь.

Саяра быстро вышла во двор.

Турабджан тут же подошел к ней:

— Что там такое, Саярахон?

— Рана серьезная, нужна операция, и как можно быстрее. Надо срочно вызвать из города хирурга.

Турабджан протяжно свистнул:

— Хирурга, говорите... Срочно...— Он насупился, почесал затылок.— Задачу вы мне задали. Пока дозвонюсь, пока хирурга разыщут, пока он сюда доберется... Далековат город-то от нас...— Председатель просительно посмотрел на Саяру: — А может, сами управитесь? Ведь говорите — время не ждет?

— Боюсь,— по-детски призналась Саяра.— Первый раз с таким сталкиваюсь...

— Когда-то надо в первый раз, Саярахон. Придумайте что-нибудь. А я расшибусь, а достану все, что вам потребуется. Решайтесь, вы же врач!

Раис говорил так убежденно и настойчиво, что Саяра заколебалась.

— Господи! Справлюсь ли? Пойду узнаю, есть ли в больнице все необходимое...

Турабджан удовлетворенно кивнул и вежливо подтолкнул Саяру к двери.

От волнения у Саяры слегка кружилась голова, ладони стали влажными. Ею владели страх и отчаянная решимость. Вновь наткнувшись в коридоре на плачущую Шахисту, она повелительно крикнула:

— Хватит! Кончай реветь. Возьми себя в руки.— Потом порывисто обняла девушку, прижалась к ней и сказала почти шепотом: — Иди к медсестре. Хирурга нет. Мы с тобой сами будем зашивать раны. Поняла?

Уже после операции, вспоминая эти минуты, Саяра удивлялась, откуда у нее появилось столько хладнокровия и выдержки. Сначала она попыталась мысленно представить себе весь ход операции, чтоб ничего не забыть, не выпустить из виду. Главное — она должна справиться с раной в боку, а потом уже все остальное. Все время следить за давлением, за пульсом. Лишь бы у Хамиды хватило сил. С какой благодарностью она думала сейчас о медсестре. Честно признаться, если бы не ее умелые руки, Саяре пришлось бы туго. Эта пожилая женщина не только подавала нужные инструменты, не только подбадривала советом, но и сама приходила на помощь, когда

видела, что Саяре трудно. Шахиста, не отрываясь, наблюдала за Хамидой.

Окончив операцию и поручив медсестре следить за больной, она сразу вышла к Турабджану...

— Нужна консервированная кровь...— Выслушав Саяру, раис облегченно вздохнул и неожиданно своими огромными ручищами обхватил Саяру.

— Не только литр, десять литров достану! Ай да Саяра! Ай да молодчина!

— Рано радоваться, раис-ака! Рано! — устало, одними глазами улыбнулась Саяра.

Турабджан ринулся к машине, но Саяра жестом остановила его:

— Подождите. Чуть не забыла главное. Захватите, пожалуйста, все анализы для лаборатории и список лекарств, которые необходимы на первый случай.

— Есть,— по-военному отрапортовал Турабджан. Через минуту его машина скрылась из виду.

Тураб сдержал слово. Утром, часам к шести, Палван привез в ампулах кровь для переливания и все заказанные Саярой лекарства.

Саяра и ее помощницы провели тяжелую ночь у постели Хамиды. У больной поднялась температура, она бредила, металась, не раз пыталась сорвать с себя повязки. Саяра проклинала себя, что поддалась на уговоры Турабджана и согласилась самостоятельно оперировать. Увидев во дворе больницы машину, она тут же отдала распоряжение подготовить больную к переливанию крови.

В это время к ней подошла Шахиста и с испугом прошептала:

— Саяра-апа! Режиссер приехал! Вас спрашивает!

С минуту Саяра смотрела на Шахисту, ничего не понимая, потом отрывисто бросила:

— Скажи, что сейчас у меня нет времени, пусть заедет попозже!

Занятая Хамидой, Саяра совершенно забыла о Шавкатджане. Когда же Шахиста, чуть робея, вновь напомнила о режиссере, с удивлением спросила:

— Разве он еще здесь?

— Да, он не ушел, дожидается.

Шавкатджан стоял, нахмутив брови, и нетерпеливо тербил свою бородку.

— Долго же вы заставляете себя ждать, Саярахон! Похоже, что раис переманил вас. Откройте секрет, как ему это удалось? — Видно было, что этот шустрый тон дается ему с трудом.

Саяра стояла, прислонившись к косяку двери, и было видно, что она еле держится на ногах. Лицо ее осунулось, глаза запали.



Шавкат внимательно посмотрел на нее.

— Да что здесь, собственно, происходит?

— Разве Шахиста вам ничего не сказала? Ночью привезли... одну женщину в тяжелом состоянии. Муж искалечил ее! Еще счастливо отдалась. Могло быть хуже. А врач, как назло, оказался в отпуске. Вот я и приняла свое первое боевое крещение.

— М-да-а... Печальный случай...

Шавкат помолчал и, не глядя на Саяру, медленно спросил:

— А как же со съемками теперь?

— Разрешите мне пропустить один день. Только один. От меня сегодня вряд ли будет толк.

— Вы знаете, что значит сорвать целый съемочный день! Не говоря уже о том, что массовка, чуть ли не в сто человек, сидит без дела. Вы же не маленькая, Саяра, все сами отлично понимаете.

Саяра беспомощно оглянулась на дверь, как бы ища поддержки, и чуть слышно проговорила:

— Но ведь здесь больной человек!

Шавкат поморщился.

— Только, пожалуйста, без сантиментов.

Взглянув на побелевшее лицо Саяры, осекся:

— Простите меня, Саярахон. Похоже, нервы сдают... Идите к больной. Только постарайтесь закончить все как можно быстрее.

Саяра молча вернулась в палату. Сначала ее возмутил тон Шавката, но, немного остыв, она поняла, что и ему не сладко. Шутка ли сказать, сто человек сидят без дела и ждут, когда она появится. Срывается план, не говоря уж о деньгах. Сегодняшний день Шавкату влетит в копеечку.

Убедившись, что переливание крови прошло благополучно и Хамида заснула глубоким и спокойным сном, Саяра, пересилив усталость, все же пошла на съемку.

На площадке уже устанавливали декорации для нового эпизода. Увидев Саяру, Шавкат облегченно вздохнул и, еще раз сдержанно извинившись за резкость, которую позволил в больнице, попросил через полчаса быть готовой к съемке. Стараясь наверстать упущенное, на площадке суетились ассистенты режиссера. Слышались негромкие команды. Актеры заняли свои места. Началась съемка. Саяра отлично знала этот эпизод. Но как только вспыхнули юпитеры, все, что было продумано и пережито вместе с героиней, вдруг куда-то исчезло. Саяра произнесла первую реплику и беспомощно замолчала. Шавкат попросил повторить. Саяра начинала снова и снова — безуспешно. Слова звучали фальшиво и неискренне, движения были вялыми и невыразительными. Трудная ночь не прошла бесследно, видно было, что Саяра измучена и не может играть. Безнадежно

махнув рукой, Шавкат прекратил съемки. Все восемь дублей были загублены. Чтоб не сорваться, Шавкат резко повернулся и быстро ушел с площадки. Десятки глаз были устремлены на Саяру. Одни смотрели с сочувствием, другие с сожалением, некоторые с плохо скрытой насмешкой. Вскоре вернулся Шавкат.

— Вы сами видите, Саярахон. Так у нас дело не пойдет. Отдохните. Перечитайте сценарий. Мы пока снимем эпизоды без вашего участия.

Хамида медленно поправлялась. Состояние ее заметно улучшилось, температура спала, раны уже не так тревожили ее. Теперь Саяру беспокоило только одно — Хамида молчала. Целыми днями она лежала, неподвижно уставившись в потолок, углубившись в круговерт только ей одной ведомых горьких мыслей. Она не отвечала на вопросы медсестры, с немым безразличием переносила мучительные перевязки. Не только Шахиста, но даже отец с матерью не могли вывести ее из этого оцепенения. Сначала Саяра надеялась, что это последствие нервного потрясения скоро пройдет. Но дни шли за днями, а больной не становилось лучше. Саяра стала не на шутку опасаться, что у Хамиды серьезное нервное заболевание и без вмешательства невропатолога и психиатра ей не обойтись.

Перед тем как принять окончательное решение, Саяра еще раз заглянула к своей пациентке.

Хамида лежала одна в небольшой прохладной комнате с открытым настежь окном. Те же печальные, неподвижные глаза, плотно сжатые губы, вместо лица — застывшая маска спокойствия.

Саяра придвинула поближе к кровати стул и осторожно взяла перебинтованные руки Хамиды — борясь с мужем, она схватилась за нож...

— Хамидахон, вам плохо? Скажите. Почему вы молчите? Попробуйте рассказать, что вас тревожит. Помогите мне поставить вас на ноги. Или вы мной недовольны?

Хамида долгим и испытующим взглядом посмотрела на Саяру, тяжело вздохнула и отвернулась к стене. Ее длинные загнутые ресницы стали влажными от слез. Саяра порывисто прижала к себе руки больной.

— Умоляю вас, скажите, что с вами? Зачем так упорствовать? Поверьте, это очень плохо, когда больной человек молчит. Вся медицина бессильна, если вы не придете нам на помощь. У вас же дети, Хамидахон!

Хамида судорожно глотнула и, не поворачивая головы, произнесла внятно и тихо:

— Оставьте меня. Слышите?

Саяра облегченно вздохнула. Наконец-то. Несмотря на боль и горечь, голос больной звучал здраво и ясно.

— Хамидахон, милая! Нельзя так мучить себя. Все самое страшное позади. Этот человек ответит, за все ответит сполна.

— Ответит? Перед кем? Уж не вы ли призовете его к ответу?

В словах женщины было столько ненависти и отчаяния, что Саяра испугалась.

— О чем вы говорите, сестра? Неужели вы думаете, что... это может остаться безнаказанным! Опомнитесь!

— Что вы знаете о наших порядках! Обычная история. Хозяин семьи наказал свою рабу. Все они одним миром мазаны! Увидите, как они горой поднимутся на его защиту. Да что вам говорить! Все равно ничего не поймете.

— Кто это «они»? Кто поднимется на его защиту? Я действительно ничего не понимаю.

Хамида порывисто приподнялась. Лицо от возбуждения покрылось пятнами. Все, что накопилось в ее измученной душе за эти долгие, одинокие ночи, вдруг прорвалось, хлынуло наружу. Она говорила торопливо, сбивчиво, боясь, что ее не поймут.

— В чем моя вина? В том, что я, слабая женщина, осмелилась поднять голос против председателя? В том, что искала помощи и защиты у вашего мужа? В этом моя вина?!

«Помощи и защиты у вашего мужа» — эхом отдалось в душе Саяры.

— Моя вина в том, что в молодости мы с Акрамом-ака были друзьями. В этом нет ничего плохого! Видит бог, это была прекрасная юношеская дружба. И теперь я всю жизнь расплачиваюсь за нее. Сколько я приняла мук! Сколько несправедливых упреков! Десять лет я несу этот крест. Крики, побои, ругань... Я не помню ни одного светлого дня! И вот чем все это кончилось.— Она протянула перебинтованные руки.

Саяра подавленно молчала. Что она могла сказать этой измученной женщине, чем могла помочь ей? Она понимала, что должна дать Хамиде выговориться. Это как нарыв, который долго зрел и наконец прорвался.

— Но почему, почему вы все эти годы терпели? Почему не развелись с мужем?

Хамида уже потухла, силы оставили ее. Она откинулась на подушку и еле пошевелила губами:

— Дети!.. Чем виноваты дети? Я пыталась сохранить им отца...

И вдруг грустно добавила:

— Вы счастливы, Саярахон, и молоды! Ох, как молоды! А я, мне кажется, прожила уже тысячу лет. Где нам понять друг друга? Мы как будто на разных планетах!

— Счастлива,— повторила Саяра.

В палате наступило молчание. Каждая думала о своем. День догорал. Тени от гор становились все длиннее и гуще. Из закрытых глиняными дувалами дворики слышались плач и смех детей, громкие голоса женщин, блеяние овец. Воздух

был напоен горьковатым запахом кизяка, жареного лука, перца...

Странные звуки вывели Саяру из оцепенения. Хамиду была дрожь, она с трудом сдерживала рыдания. Саяра знала, что такая нервная реакция неизбежна, и ждала ее.

— Сестрица! Не надо меня стесняться... Ради бога... Расслабьтесь... Да не стесняйтесь же вы своих слез! Вам сейчас станет легче.— Саяра поднялась со стула, быстро накапала в стаканчик капель, подошла к Хамиде.— Выпейте.

Хамида послушно, как ребенок, выпила, зубы цокали о стекло. Саяра ободряюще улыбнулась:

— Не думайте сейчас ни о чем, не бередите раны. Поверьте мне — все устроится.

Хамида горько изогнула уголки губ.

— Что устроится? Как мне жить дальше? Неужели вы думаете, что раис даст его в обиду?!

Дыхание Хамиды вновь стало трудным. Саяра предостерегающе подняла руку:

— Только не говорите сейчас о муже. Постарайтесь уснуть. Вам надо набраться сил...

Саяра вышла из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь.

Как бы ей хотелось узнать, что произошло между Турабом и Хамидой и при чем здесь Акрам! Она вспомнила, как нервничал Тураб в ту ночь, как упорно не хотел вызывать из города хирурга, как благодарил ее за операцию. И ни слова о муже Хамиды! Ни возмущения, ни угрозы в его адрес. Но ее-то он не заставит молчать. Пусть и не пытается.

Саяра быстро шла по улицам кишлака. Больше всего хотелось бы ей сейчас очутиться дома, прижаться к нежному и родному телу дочки, услышать ее лепет... Господи, она устала, просто устала! Сколько свалилось за эти дни на ее бедную голову! Но она знала, что не уедет из кишлака, не уступит. Что-то новое и еще не знакомое рождалось в ней в эти минуты.

У Турабджана шла летучка бригадиров. Девушка-секретарь вежливо попросила подождать и исчезла за дверью кабинета. Вскоре люди стали расходиться. Не ожидая приглашения, Саяра направилась к кабинету, но тут дверь открылась, и на пороге показался щеголевато одетый смуглый мужчина.

— Садыквой? — Саяра невольно остановилась.

Садыквой стоял на пороге, широко расставив ноги, и, прищурив глаза, рассматривал Саяру. Неожиданно, сняв шляпу, поклонился.

— Приветствую вас, дохтур-апа!

Саяра молча отвернулась, ожидая, когда он уступит ей дорогу. Садыквой шумно вздохнул:

— Значит, брезгуете, не хотите удостоить своим вниманием. Напрасно, дохтур-апа! Напрасно.

Пытаясь скрыть волнение, Саяра ухватилась за спинку стула.

— Вы всегда такой храбрый, когда воюете с женщинами?

Садыквой передернулся, как будто его ожгли кнутом. Черты лица исказились, он сделал шаг вперед навстречу Саяре. С трудом владея собой, произнес:

— Зачем так, ападжан! Что вы понимаете в нашем деле? Сначала надо выслушать...

— Слушать ничего не хочу!

— Не слишком ли круто берете, Саярахон? Режьте меня на куски, но сначала выслушайте. Знаю, что вы погибли хотите моей.— Садыквой истерично вскрикнул, рванул ворот рубахи и медленно пошел на Саяру. В это время открылась дверь, на пороге показался Турабджан.

— Опять? А ну марш отсюда! Да побыстрее! Слышишь?! — В голосе Турабджана звучала угроза.

И тут же мягко и предупредительно — Саяре:

— Прошу вас! Заходите.

Саяра прошла мимо присмирившего Садыквою. Большой и жалкий, он походил на побитую собачонку.

В кабинете председателя было нечем дышать от едкого табачного дыма. Турабджан открыл окно и, взяв полотенце, стал разгонять эту дымовую завесу. Саяра опустилась на диван.

Тураб сел рядом. Секретарь на большом подносе принесла угощение: инжир и виноград, чай с лепешками.

Турабджан, как вежливый и радушный хозяин, протянул Саяре пиалу.

— Прошу вас. Разрешите заметить, что врачевание вам явно пошло на пользу. Вы еще больше похорошили. А почему бы вам вообще не взять больницу в свои руки? Как смотрите на это, а? Только моргните, завтра же заявку сочиню. Вот жили бы отлично! Акрам — архитектором, вы — врачом. Я ведь вам уже говорил об этом. Ну, что хмуритесь? Сегодня — поссорились, завтра — помирились... Долго ли — умеючи?

— Я пришла к вам по делу,— не поднимая головы, сказала Саяра.

— Пожалуйста.— Турабджан широким жестом раскинул руки.— О деле так о деле, поговорим. Я как председатель очень доволен вашей работой. Только одна просьба: нельзя ли чуть постroje со всякими справками да бюллетенями!

— Я же не главный врач и бюллетенями не распоряжаюсь,— сухо заметила Саяра.— Просто... Раз присматриваю за Хамидой, не могу же других больных палкой гнать. Вот и помогаю по мере сил.

— Да нет, вы очень правильно делаете! Спасибо вам, Саярахон. Просто я хотел напомнить, что время сейчас — горячее! Рабочих рук не хватает.

— Значит, по-вашему, можно заставлять работать с кетменем беременных женщин?

— Ну и попал в переплет! Разве я сказал такое? Только боюсь, чтобы лодыри не воспользовались вашей неопытностью.—

Турабджан раскатисто рассмеялся.— Беда с вами, с интеллигентами, да и только. Просто невозможно разговаривать!... Слово неосторожное скажешь, и тут же угодишь на скамью подсудимых. Да я шучу, простите, Саярахон. Слушаю вас.

— Я пришла к вам поговорить насчет Хамидыхон.

— Так, так...— Тураб выжидающе замолк.

— Я хочу знать, почему этот человек — вы знаете, о ком я говорю,— как ни в чем не бывало расхаживает по кишлаку? Почему не вмешалась милиция, почему до сих пор дело не передано в суд? Я, наконец, начинаю просто сомневаться, существует ли здесь общественное мнение. Может быть, все боятся гнева раиса?

Тураб нахмурился.

— Не беспокойтесь, милиция уже интересовалась. Просто я взял его на поруки.

— Вы? Взяли на поруки? Выходит...

— Не торопитесь с выводами. Сначала ответьте мне на один вопрос, Саярахон...— сказал Турабджан.— Мысль о наказании Садыквой пришла вам самой в голову или она исходит от Хамидыхон?

— Разве не все равно, от кого исходит эта мысль? Ведь речь идет о...

— Нет, не все равно!

— Предположим, что это моя мысль.

— Я так и знал. Но одобрит ли Хамида ваше требование?

— У Хамиды сейчас нет сил бороться. К чему мучить больного человека? Разве и так не ясно, что Садыквой преступник? А потом... если хотите знать, и Хамида потребовала бы наказания Садыквой, если б не боялась гнева влиятельных покровителей мужа,— выпалила Саяра и смолкла.

Турабджан резко поднялся. Саяра ожидала, что он сейчас сорвется, наговорит ей грубостей. Но Турабджан сумел взять себя в руки. Он подошел к окну, несколько раз вдохнул воздух всей грудью и, грустно покачав головой, сказал:

— Выходит, это я, друг Садыквой, мешаю восторжествовать справедливости?

— Выходит так, Тураб-ака! — смело выдохнула Саяра.

— Ну и отчаянная жена у нашего Акрама,— проговорил Тураб примиряюще.— Эх, Саярахон, Саярахон! — Председатель придвинул свой стул к дивану и сел напротив Саяры.— Неужели вы действительно считаете меня таким дурным человеком? Мы ведь знакомы не первый день! Поверьте, если я хочу не предавать широкой огласке эту историю, то тому есть тысячи причин! Да, я согласен с вами, Садыквой совершил ошибку. Но мы вправе задать себе вопросы: «Как он дошел до такой жизни? Почему этот энергичный бригадир вдруг стал таким?» Как вы думаете?

— Пускай анализируют психологи или судебные эксперты, а не мы с вами,— буркнула Саяра.

— Напрасно вы так говорите. Даже аллах не безгрешен. Во всем надо разобраться не горячась. Легче всего рубить сплеча. Всем нам свойственно ошибаться,— сказал он и многозначительно посмотрел на Саяру.

— Как вы снисходительны и красноречивы. Даже преступление норовите назвать ошибкой!

— Хорошо! — произнес Турабджан и нетерпеливо мотнул головой.— Хорошо, пусть он совершил преступление. Но какая польза от того, что мы засадим Садыквою в тюрьму? Только оставим его троих детей без отца!

— Странная логика! Может быть, его следует наградить за то, что он еще не убил Хамиду?

— Заладили одно... Хамида, Хамидахон!..— взорвался Тураб.— Если хотите знать, эта Хамида не такой уж ангел, как вы себе представляете! В конце концов женщины, которые берегут свою честь, не станут в укромных уголках встречаться с чужими мужьями.— Турабджан вдруг умолк и странно посмотрел на Саяру.— Да, да, есть и такая причина... Из-за которой я не могу рассказать вам всю правду.

«Господи, неужели он намекает на Акрама?» — Саяра густо покраснела, сердце ее забилося так громко, что казалось, удары его слышны во всех уголках комнаты.

— Наконец вы перестали ходить вокруг да около и сказали правду. Вы просто не любите Хамиду... А то, на что вы намекаете, мне давно известно,— храбро схитрила Саяра.— Сама Хамида мне об этом рассказала.

— Не знаю, что рассказывала вам сама Хамида. Недавно я видел один французский фильм. Улицы Парижа. Набережная Сены. Там под каждым деревом, в каждом укромном местечке сидят в обнимку молодые парни и девушки — и целуются. А люди?.. Идут себе мимо, и ноль внимания. Никто даже не оглянется. Может быть, спустя сто лет и мы будем смотреть на такие вещи равнодушно. Но сейчас, простите, мы еще «не доросли» до этого. У нас, к счастью, не Париж.

— Перестаньте! — в отчаянии крикнула Саяра и зажала ладонями уши.— Зачем вы все это мне рассказываете? При чем здесь Париж? При чем Хамида? Ведь у нас с вами разговор совсем не об этом. Вы нарочно сбиваете меня!

Турабджан пожал плечами.

— Простите, если что не так. Я только хотел сказать, насколько каждое дело запутано и сложно...

Саяра поднялась с дивана.

— Я поняла только одно: вы не желаете, чтобы преступник был наказан.

— А я спрашиваю вас: какая польза от того, что мы накажем Садыквою?

— Люди будут верить, что существует справедливость. Хотя для вас, видимо, это такая малость!.. Я тут у вас много чего навидалась!

Саяра понимала, что надо остановиться, но это было не так просто.

— Что же вы видели? — спросил Тураб, задетый за живое ее тоном.

— Я никогда не думала, что в таком передовом колхозе, где председателем — друг моего мужа, во всем выезжают за счет женщин.

— О, аллах! — воскликнул Турабджан и шлепнул руками по бедрам. — Странные вы люди — интеллигенты. Ровным счетом ничего не смыслите в жизни, а нос суете повсюду! Скажите, зачем вы беретесь судить о том, о чем не имеете никакого представления?

— При чем тут интеллигенция? Просто вам правда глаза колет...

— Хватит, Саярахон, — нетерпеливо перебил Турабджан... — Всегда виноват не тот, кто лаган плова слопал, а тот, кто остаток слизал. Беретесь меня учить, а сами на слепого кутенка похожи. — Турабджан зло прищурился. — Я вас слушал, теперь вы меня послушайте, не отворачивайтесь, пожалуйста. Разве бы вы бросили такого парня, как Акрам, если бы имели хоть малейшее представление о жизни? Разве бросили бы свою прекрасную специальность?.. Связались с желторотыми птенцами, которые годятся вам в младшие братья?..

У Саяры от обиды выступили слезы.

— Вы несправедливы ко мне, Турабджан... — Чувствуя, что сейчас расплачется, она бросилась вон из кабинета.

Всю дорогу до больницы Саяра, не переставая, мысленно спорила с Турабом. Она не могла себе простить, что спасовала перед ним, не поставила на место. Сбежала, как нашкодившая девчонка. Она шла, не разбирая дороги. Скорее бы очутиться в спасительных четырех стенах, никого не видеть и не слышать! Попадись он ей сейчас, она бы уж не пощадила ни его возраста, ни положения. Как он смел вмешиваться в ее личную жизнь, читать нотации! Этот тон распоясавшегося бая!.. Возмутительные намеки!

Неожиданно перед ее глазами всплыло усталое и грустное лицо Акрама.

А что, если в этих намеках?.. Но разве ей теперь не все равно, что было между Хамидой и Акрамом? А если все равно, то почему так сжимается сердце при одном только имени мужа? И это неправда, неправда! Этого не могло быть.

Саяра даже остановилась и до боли прикусила губу. Нет, нет, это им не удастся. Они специально хотят поссорить ее с Хамидой. Тогда Тураб легко возьмет верх в их споре о Садыквове. «А если правда?» — нашептывал чей-то голос.

Ну и пусть, пусть! Ей нет до этого никакого дела.

Почти бегом она бросилась к больнице.

Пусть председатель не надеется. Она не отступит. Куда обратиться, откуда ждать помощи? Ведь она здесь никого не



знает! Ей уже, как Хамиде, начинало казаться, что все в сговоре с райсом. Неожиданно она вспомнила об Убае. Вот кто выручит! Надо срочно попросить Шахисту дать телеграмму. Он заставит с собой считаться, ведь за ним стоит газета...

Саяра почувствовала, как тяжесть, давившая ей на плечи, отпустила. Она облегченно вздохнула, как будто уже выиграла сражение.

Около ворот больницы стояла знакомая «Латвия». Саяра замедлила шаг и перевела дух. Она поймала себя на желании незаметно юркнуть в ближайший переулок, но было поздно, ее уже заметили. Из машины навстречу выпрыгнул ассистент режиссера. Его голос, радостно-возбужденный и громкий, наполнил всю улицу.

— Где же вы пропадаете? Нельзя заставлять столько муж-чин ждать себя. Мы просто с ног сбились. Без вас велено не появляться.

Увидев, что Саяра пытается что-то возразить, протестующе замахал руками.

— Н-никакие отговорки сегодня не принимаются. Мы вас похищаем, и точка. Прошу в машину.

Саяра не успела опомниться, как машина уже несла ее по улицам кишлака. Сзади длинным шлейфом поднималась пыль.

— В честь чего такой переполох?

— Сразу видно, что вы от рук отбились. Первая часть картины позади. У нас не принято пропускать такие события. А то дальше удачи не будет.

Саяра поняла, что возражать поздно и бесполезно.

Резко затормозив, машина остановилась у гузара — на самом оживленном перекрестке кишлака. Здесь же была местная чайхана. Шум, веселые возгласы доносились из внутреннего двора. В общем хоре голосов она отчетливо различила звонкий голос Нилуфар. Саяра и ее спутник вошли внутрь. У небольшого водоема прямо на деревянных помостах, в тени могучих карагачей, сидели люди. Здесь расположилась не только их компания. Неподалеку, степенно потягивая из пиал зеленый чай, чинно сидели длиннородые старики. По выражению их лиц трудно было понять, по душе ли им этот веселый той. Зато молодые парни не скрывали своих чувств.

— Вот жизнь! Красивые женщины, музыка!.. Это тебе не кетменем махать.

— Интересно, что они про наш кишлак наснимают!

— А-а!..

— Больно ты скор акать! Сам небось в кино любишь ходить!

— Посмотри!.. Наша новая дохтур-апа!

Чувствуя на себе пристальные взгляды, Саяра невольно ускорила шаг.

Ее появление новые друзья встретили радостным криком. Пир был в разгаре.

— Жар-птица поймана,— хорошо поставленным голосом провозгласил спутник Саяры.

Все дружно заплодировали. Шавкат, сидевший на самом почетном месте за низкой хантахтой, поднялся.

— Внимание! Минуточку тишины. Друзья, я хочу поднять тост за вновь прибывших. Все мы знаем, что успех фильма во многом зависит от таланта и обаяния нашей главной героини. Так выпьем же за очаровательную женщину, будущую звезду экрана — Саярухон Халикову!

Саяра смущенно хлопала ресницами. К ней тянулись руки с бокалами, каждый хотел сказать что-то ласковое, доброе.

— Подруга, за тебя! — услышала она голос Нилуфар.

— За будущую кинозвезду!

— Ура, Саярахон!

Зажмурившись, Саяра разом осушила бокал. Шавкат подвел ее к хантахте и усадил рядом. Теплая волна захлестнула Саяру. Она обвела взглядом собравшихся. Зачем она сопротивлялась? Почему не хотела сюда ехать? Как здесь легко и свободно дышится. Тяжесть, которая последнее время сжимала сердце, отступила, пришло ощущение молодости, легкости, радостного озорства. Рядом сидели молодые люди и девушки почти ее возраста, ее товарищи по работе. Загорелые, смеющиеся лица, пьянящий запах миндаля, влетающий в общее веселье говор падающей воды. Какими далекими и преувеличенными показались Саяре все заботы и волнения последних дней!

Шавкат, придвинувшись ближе, шепнул:

— Очнитесь, наша царица — Ширин! <sup>1</sup> Я рад, что вы сегодня с нами. И, ей-богу, не считайте меня пьяным, я действительно очень привязался к вам.

— Спасибо,— рассмеялась Саяра.

— Ну вот. Вы и засмеялись. Только я ведь не шучу. Вы не знаете себе цены.— Шавкат слегка сжал ее локоть.— Вы такая... милая, гордая и... прекрасная. Именно такие женщины мне нравятся... Давайте выпьем только вдвоем. За нашу дружбу! Мы ведь друзья, не так ли? — Шавкат настойчиво вложил в руку Саяры пиалу с сухим вином. Саяра молча кивнула. От вкрадчивого голоса, выпитого вина у нее кружилась голова. Взгляд Шавката, полный нескрываемого восхищения, смущал и волновал.

Какой он славный, она несправедлива к нему.

— Так не годится! Когда пьют за дружбу, надо смотреть друг другу в глаза.

Саяра заставила себя поднять голову и неожиданно наткнулась на колючий и недобрый взгляд Нилуфар. Саяра невольно отшатнулась. Как она могла забыть? Нилуфар сидела по другую сторону от режиссера, сидела не шевелясь, с напряженным лицом. Молоденькие девушки-гримерши украдкой наблюдали за

<sup>1</sup> Ширин — героиня фольклорного и литературного памятника народов Востока «Фархад и Ширин». Трагическая история любви; ее герои соотносятся с реальными прототипами, жившими в VI—VII вв.

ними. Молнией мелькнула догадка: «Ревнует! Нилуфар ревнует!» Саяра опомнилась, обвела всех взглядом.

Смятый шелк одеял, остатки пищи, и среди них, как распавшиеся бусы, влажные крупные виноградины.

Господи, что она делает здесь, среди этих далеких, в сущности, чужих ей людей? Все, что минуту назад казалось таким привлекательным,— предстало в ином свете. Вдруг Саяре показалось, что на нее в упор, осуждающе смотрит Турабджан: «Разве связались бы с желторотыми птенцами, которые годятся вам в младшие братья?»

Саяра покраснела, как будто ее уличили в чем-то нехорошем, и попыталась поставить пиалу на столик.

— Саярахон, так нельзя,— шутливо взмолился Шавкат и попробовал удержать Саяру за плечи. Саяра резко отстранилась.

— Нельзя же быть такой строгой! Иногда можно позволить себе и отдых, отвести душу. Ведь мы с вами вполне современные люди. Без таких разрядок мир может показаться пресным и бесцветным! Молодость дается только один раз. Это не банальность, а мудрость, поверьте мне.— Шавкат продолжал острить, не замечая изменившегося настроения Саяры.

Бросив быстрый взгляд на Нилуфар, Саяра неожиданно встала.

— Давайте выпьем за мою подругу, за Нилуфар! Природа наделила ее красотой, талантом, умом! Мне кажется, она нашла свое призвание. А это так важно. Мне хочется пожелать ей большого плавания. За твой успех, Нилуфар! — Саяра повернулась к подруге и, не садясь, выпила всю пиалу до дна.

Как будто кто-то окропил Нилуфар живой водой. Она вся засветилась, потянулась к Саяре, крепко обняла ее.

Шавкат внимательно посмотрел на Саяру, добавил:

— Вы правы, Саярахон, Нилуфар молодчина. Она сегодня так играла, что буквально изумила всех. Пожалуй, у нее действительно природный талант, а мы только скромно помогаем ему проявиться.

Саяра громко крикнула:

— Итак, прощай, доктор Нилуфар! Да здравствует Нилуфар-актриса!

Вокруг Нилуфар образовался веселый кружок, она стала центром всеобщего внимания. Кто-то из парней даже попробовал поднять ее на руки. Нилуфар торжествовала.

Саяра стояла чуть в стороне и с легкой грустью наблюдала за происходящим. Какие они разные, как многое их уже разделяет! Тысячу раз прав отец! Разве не легкомысленно в двадцать шесть лет, имея семью и ребенка, с дипломом врача, все бросить, разрушить во имя пустой химеры. Если разобраться всерьез и быть честной перед собой до конца,— какая она актриса! Что общего между ее легкомысленным стремлением к славе и настоящим призванием! Сейчас она даже не могла понять, как такая идея пришла ей в голову. Еще не начав по-настоящему

работать в кино, она уже охладела к своей роли. Ее не трогают переживания героини, безразлична ее судьба. Саяра почувствовала свою вину перед Шавкатджаном, Нилуфар, перед группой. Для них сейчас нет ничего важнее фильма. А для нее?.. Среди шума и смеха Саяра еще острее ощутила свое одиночество.

Никто не обращал на нее внимания. Шавкат, как опытный дирижер, руководил общим весельем. Один за другим следовали тосты. Весело пили за успех каждого актера и за успех картины, за мир и за молодость. Саяра незаметно выскользнула из круга.

Кишлак спал. Тихие улочки были пустынно и просторны. Луна еще не взошла. Мягкое бархатное небо нависало так близко, что, казалось, звезды запутывались в ветвях деревьев. Земля отдыхала от дневного зноя. Хотелось побыть наедине с собой, со своими невеселыми мыслями. Просто посидеть у арыка, вслушиваясь в его журчанье. В конце концов пора во всем разобраться. Задумавшись, Саяра не услышала за своей спиной шагов и вздрогнула, когда кто-то властно взял ее за руку.

— Саярахон, вы опять сбежали, — узнала она приглушенный голос Шавката. — Простите, но вот уже несколько дней я хочу серьезно поговорить с вами. Вы не возражаете?

Шавкат, не ожидая ответа, пошел рядом.

— Что с вами случилось, Саярахон? Вы так переменялись за последнее время. Ваше отчуждение, этот срыв на съемках, я начинаю не на шутку беспокоиться! Куда девалась ваша прежняя воодушевленность, та легкость и вдохновение, с которыми вы работали над ролью?

Саяра подавленно молчала. «Надо собраться с силами и сказать ему правду,» — подумала она. Но вместо этого проормотала что-то невнятное.

— Вы же знаете, Шавкатджан, этот случай с женщиной...

— Нельзя же принимать все так близко к сердцу. Эдак любая чужая беда может надолго вывести вас из колеи. Первая заповедь — актриса не должна поддаваться своим чувствам. Неужели я в вас ошибся? Честно говоря, Саярахон, я был просто восхищен вашим мужеством, узнав, как решительно вы порвали с мужем, когда он попытался навязать вам свои правила жизни.

— Прошу вас, об этом... не надо, — вздрогнула Саяра.

— Вы меня не так поняли. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в вашу личную жизнь. Просто как режиссер я хотел дать вам несколько советов. Во-первых, вы должны извлекать все лучшее из своего положения...

— А именно? Что вы имеете в виду?

Шавкат остановился и взял Саяру за плечи.

— Я хотел вам напомнить, что вы молодая, красивая, полная сил женщина!

— А во-вторых?

— Во-вторых... будьте женщиной, в лучшем смысле этого слова. Тогда и работа наша с вами пойдет на славу. Поймете, как я был прав. О, какое это сложное искусство — быть актрисой,

быть женщиной! Вы должны увлечь людей, покорить их не только своим талантом, но и обаянием...— Шавкат стиснул руку Саяры. Она мягко, но настойчиво высвободила ладонь.

— Я не могу воспользоваться вашим уроком. Я просто... Я не актриса.

Странное дело, то, что волновало Саяру совсем недавно: его прозрачные намеки, комплименты,— теперь ее почти не трогало. Решительно, даже жестко, она проговорила, глядя прямо ему в лицо:

— Я поняла, что не справлюсь с ролью, и прошу вас освободить меня от съемок.

Шавкат изменился в лице.

— Что, что вы сказали? — спросил он резко.— Вы хотите, чтобы из-за ваших капризов я поставил под удар работу всего коллектива? Выкиньте эти мысли из головы.

— Я очень виновата перед вами, но я не могу больше сниматься! Шавкатджан, попробуйте вместо меня Нилуфар. Она отлично справится с ролью.

Шавкат пропустил замечание Саяры мимо ушей.

— Прошу вас, Саярахон, забудем этот разговор. Вы же знаете, что это моя первая картина. У меня с ней связано столько планов, надежд... Это как первые шаги, когда человек учится ходить. Понимаете... Ваш отказ — это удар в спину... А потом, если я вас чем-то обидел — простите. Обещаю, что отныне у нас будут только официальные, деловые отношения. Вам не в чем будет меня упрекнуть... Вот мы уже почти и пришли. Не смею дольше навязывать свое общество. До завтра. Ровно в восемь я жду вас на площадке.

Шавкатджан повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь.

Саяра растерянно смотрела ему вслед. Ее испугала категоричность слов Шавката. Неужели ей действительно не выбраться из этого капкана? Где найти выход?

До поздней ночи Саяра ворочалась в постели, не в силах уснуть.

Саяра проснулась от сильного шума во дворе больницы. Кто-то ругался и громко кричал. Она прислушалась. Калитка с треском хлопнула один раз, второй... Потом раздался сердитый голос старика сторожа:

— Ты что, с ума сошла, старая? Перепугаешь мне всех больных!

Саяра торопливо накинула халат и вышла в коридор. Медсестра предостерегающе шагнула навстречу, испуганно шепнула: «Не выходите, от этой злобной старухи всего можно ожидать...» Не дослушав, Саяра открыла дверь.

Посреди двора стояла дочерна иссушенная солнцем старуха с распущенными волосами и в сбившемся головном платке. К ее ногам боязливо жались двое детей — мальчик лет шести

и девочка чуть постарше. Они стояли не шевелясь. Широко раскрытые глаза их были полны страха.

Саяра спустилась с крыльца.

— Что здесь происходит, отец?

— А, вот ты где, наша погубительница! Смотрите, люди добрые, все смотрите! — истерично завизжала старуха. — Прочь с глаз, безмозглый старик! — С неожиданной силой оттолкнув сторожа, старуха бросилась к Саяре. — Не смотри, что я старая, я еще сумею постоять за своего сына! Лучше меня засади в тюрьму, чем его... Ишь чего захотела, бесстыжая!

Старик сторож поспешно встал между Саярой и старухой.

— Зачем вы привели сюда детей? — бледнея от волнения, проговорила Саяра.

— Еще спрашиваешь, зачем привела? Чтоб сиротки знали, видели, кто их обездолил! Ишь чего захотела — кормилица в тюрьму... Сама теперь с ними нянчиться будешь! — Старуха схватила за руку мальчика и толкнула его к Саяре. Мальчик споткнулся о камень и, падая, обхватил руками колени Саяры. Не успела Саяра опомниться, как старуха бросила к ее ногам девочку. Задохнувшись, Саяра прижала к себе плачущих детей, востыкнула возмущенно:

— Вас на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям! Вы искалечите их, безумная женщина!

Старуха рванула платок с головы.

— Вот как ты заговорила, наглая! Слушайте все, как оскорбляют мои седины. Внучата мои бедные, сиротки бесприютные! Разлучить нас задумали, — запричитала она плаксиво.

Все молча наблюдали за этой сценой. Саяра первая пришла в себя, смело шагнула к старухе:

— Хватит, кончайте спектакль. Здесь больница, и людям нужен покой. Уходите.

Старуха потянулась к детям, но Саяра загородила их.

— Нет, нет, дети пока останутся здесь.

Рядом с Саярой встали сторож и медсестра. Старуха на мгновение растерялась. Но в это время в ворота больницы ввалился Садыквой. Лицо красное, волосы растрепаны, рубаха нараспашку, в руках длинная плеть. Увидев подмогу, старуха с новой силой заголосила.

— Вайдо! — завопила она, хлопая руками по иссохшим бедрам. — Мусульмане! Что вы смотрите? Аллах покарает вас. Среди бела дня отнять у беззащитной старухи внучат? Вайдо!

Садыквой стоял, силясь понять, и ничего не понимал. На всякий случай он угрожающе взмахнул плетью, со свистом рассек воздух. Воспользовавшись замешательством, старуха рванулась к детям и, цепко ухватившись за них, поволокла к воротам.

Плач детей заставил Саяру очнуться. С отчаянной решимостью она крикнула старухе:

— Оставьте детей, немедленно оставьте. Или я вызову из района милицию!

Старик сторож пришел ей на подмогу и загородил путь:

— Пусти детей, добром тебя прошу. Не вводи в грех... Слышишь... Кончай, старая, над ними измываться. Пошутили, и хватит!

— Отец, присмотрите за малышами! — сказала Саяра. — А я сейчас позвоню в милицию.

Яростно наскაკивая на сторожа, старуха и не думала отступать. Наконец угроза Саяры дошла до Садыквой. Ни на кого не глядя, он угрюмо произнес:

— Не вмешивайтесь не в свое дело, мать.

— Вы слышите этого безумного, мусульмане! Как он разговаривает с родной матерью! Есть ли правда на земле?

— Придержите язык, мама! — Садыквой, побледнев, шагнул к старухе. — Чтоб жалеть потом не пришлось!

— Придержите язык, говоришь? Это мне-то, родной матери!.. Грозишься еще... Вместо благодарности. Глаза бы мои тебя не видали. По мне хоть снова сходишь со своей шлюхой! Палец о палец не ударю больше, чтоб твою беду развести!

Накинув на распустившиеся волосы платок, путаясь в длинном подоле платья, старуха засемила прочь.

Садыквой отбросил в сторону плетъ, тяжело вздохнул.

— Ладно уж, ападжан, с горя это мать. Пошли, что ли, домой, малыши...

— Нет, Садыквой. В таком состоянии я вам их не отдам. Куда вы их возьмете? Пусть лучше побудут у матери Хамиды. Шахиста отведет их к ней.

— Эх, ападжан. Если бы не дети! Если бы только не дети... — Садыквой, как пьяный, мотнул головой.

Перехватив жалобный и растерянный взгляд ребят, Саяра прервала его:

— Опомнитесь, Садыквой. Мы здесь не одни, будьте мужчиной!

— Вам легко говорить — «будьте мужчиной»! — Садыквой криво усмехнулся. — Если бы не ваш уважаемый супруг, жили бы мы все мирно и спокойно... Чего так смотрите, будто в первый раз меня увидели? Лучше это письмоцо почитайте, ападжан! — Садыквой широко раскрыл ладонь. На ней лежал смятый лист бумаги.

Тупо заныло сердце. «Неужели — правда?»

— Я передам это письмо прокурору! — сказал Садыквой и, обхватив руками голову, стал раскачиваться из стороны в сторону... — Десять лет крутили любовь. Десять лет!..

Земля рванулась из-под ног Саяры. Она почувствовала, будто что-то липкое и скользкое коснулось ее тела. Вытянув вперед руку, словно защищаясь от удара, вымолвила скороговоркой:

— Хватит! Избавьте меня от всей этой чужой грязи!

Садыквой сжал руками голову, присел на корточки.

— Кому — чужое, кому — свое! Скоро же оно у вас, горожан, чужим делается. А у меня душа горит. Если бы вы могли заглянуть ко мне внутрь. Не сердце, а кровавая рана!

На мгновение Саяре даже стало жалко этого недалекого измученного человека.

— Послушайте, Садыквой. Возьмите себя в руки. Гнев слепит вам глаза и сердце. Идите домой. Не к лицу так раскисать.

Садыквой поднялся, с тоской взглянул на детей и вновь невнятно забормотал:

— Эх, ападжан, ападжан! Знали бы вы, как мне тяжело! Кто бы только знал...— И, махнув рукой, пошатываясь, пошел к воротам.

Саяра смотрела ему вслед, пока Садыквой не скрылся за калиткой, оглядела двор — из всех окон выглядывали больные, прижавшись друг к другу, у забора стояли дети.

— Шахиста не приходила? — спросила Саяра у медсестры.

— Нет еще.

— Накормите, пожалуйста, детей и присмотрите за ними. Когда придет Шахиста, пусть зайдет ко мне.

В кабинете главврача Саяра навзничь упала на диван и закрыла глаза... Тут же она увидела раскрытую ладонь Садыквой и в ней — скомканное письмо. Откровенные намеки Туррабджана, Садыквой и теперь... это письмо. Неужели они правы и Акрам столько лет обманывал ее?! Но Хамида... Можно ли сомневаться в ее искренности? Умом Саяра понимала, что все грязные намеки — вздор, что если она даст волю своему чувству, — ловушка захлопнется. Но сердце, выйдя из-под контроля, продолжало ныть... И зачем только, на свою беду, она решилась сниматься в фильме! Судьба сыграла с ней такую злую шутку — занесла в кишлак Акрама. Ей страстно захотелось бросить все и уехать из Бака-Булака, забыть всех, попробовать начать новую жизнь.

— Апа, ападжан!..

Шахиста, глотая слезы, стояла у дверей. Поборов свинцовую усталость, Саяра поднялась, нехотя спросила:

— Что еще?

— Сестра, — произнесла Шахиста. — Сестра все слышала. Она зовет вас.

— Умоляю тебя, только без слез. У меня нервы и так натянуты до предела... Лучше позаботься о племянниках... Да, кстати. — Саяра посмотрела в упор на Шахисту. — Дай срочную телеграмму Убайджану. Пусть приезжает. Начинающему журналисту полезно посмотреть, что здесь происходит. Без него мы, пожалуй, не справимся.

Шахиста кивнула головой, опустила глаза.



— Я и сама думала об этом. Каждый день... Муратджан засылает сватов, дома нет покоя...

Саяра улыбнулась.

— Вот и прекрасно. Пусть соперники встретятся.

На съемки Саяра опоздала на целый час. Но, как всегда, еще ничего не было готово: плотники что-то колдовали вокруг декораций, операторы спорили друг с другом, помощник режиссера кричал на ассистента, тот в свою очередь — на гримера; словом, царил обычная предсъёмочная суматоха. Только один Шавкатджан молча расхаживал по площадке, заложив руки за спину, как генерал перед решающим сражением. Губы плотно сжаты, брови насуслены. Он встретил Саяру долгим изучающим взглядом.

— Ну, как настроение? Вид у вас неважный. Опять что-нибудь стряслось?

— Все нормально, — сдержанно ответила Саяра. Ей не хотелось ничего рассказывать о скандале в больнице.

— Вот и хорошо, — кивнул Шавкат и, взяв ее под руку, повел в сад.

Некоторое время они шли молча. Саяра настороженно ждала, что скажет Шавкат. Чего ожидать от этого неумемного человека — новой вспышки гнева или еще одной попытки сдержанного ухаживания? И то и другое в равной степени страшило ее. Шавкат шел, думая о чем-то своем, словно не замечая Саяры. Наконец он знаком попросил ее присесть на скамейку. Заговорил медленно, подбирая слова:

— Несклько слов, чтоб больше не возвращаться ко вчерашнему. Поверьте, я был с вами искренен во всем. Постарайтесь забыть мелкие обиды. Вы должны помнить одно: успех фильма действительно зависит от вас. Если не хотите подвести нас всех, выбросьте из головы сомнения и нерешительность. Вас единогласно утвердил худсовет студии. Так что отступать некуда. — Он ободряюще улыбнулся Саяре и, как бы читая ее мысли, добавил: — Попалась птичка!.. Ну, хватит выяснять отношения! До чего же это трудная и неблагодарная работа. Прошу вас, милая Саярахон, возьмите себя в руки. Сосредоточьтесь. Давайте еще раз вместе подработаем сегодняшнюю сцену.

Саяра покорно, с чувством обреченности открыла сценарий. Шавкат весь подобрался, на глазах превратился в другого человека.

— Итак, сегодня у вас маленький эпизод. Всего два-три слова. Но в этом скрывается вся трудность. Важны не слова, а состояние героини. Постарайтесь найти убедительные краски, чтоб передать ее переживания. Я — зритель, и я должен поверить вам. Быстро восстановим экспозицию.

Цветущий сад. Здесь устраивается званый ужин. Приглашен молодой инженер. Он влюблен в вас. Вы, усталая, хлопчете, стараясь как можно быстрее и лучше приготовить ужин. Гостю

хочется помочь вам, но правила этикета не позволяют ему, постороннему человеку, вмешиваться. Неотрывно следит он за каждым вашим движением. Наконец не выдерживает и, обращаясь к вашему мужу, говорит: «Давайте распределим обязанности: вы помогайте готовить, а я буду накрывать на стол». Дальше следует реплика вашего мужа: «Вы что-то перепутали, дорогой друг. Разве сегодня Восьмое марта?!» Вот, собственно, и вся нехитрая сцена. Но от вас потребуется многое. Вы в кадре крупным планом. Попробуйте точнее и многостороннее передать все движения души героини. Вас обидели, оскорбили в присутствии человека, который вам далеко не безразличен. Гордость, уязвленное самолюбие, наконец, боль. Смотрите, какая огромная гамма чувств! Помните, внимание зрителя сосредоточено только на вас. Вот ваша единственная реплика:

— В своем остроумии вы сегодня превзошли самого себя!

Еле сдерживая слезы, вы выбегаете из комнаты... Понятна ваша задача в этом эпизоде?

Саяра кивнула.

— Давайте попробуем.

Саяра встала, сделала несколько нерешительных шагов и еле слышно произнесла:

— Разрешите мне самой еще раз продумать эту сцену.

— Ну, что ж. Попробуйте сосредоточиться. Но учтите, скоро начинаем съемки.

Шавкат оставил Саяру одну.

Месяц назад, когда Саяра прочла этот сценарий, ей все казалось в нем естественным и правдивым. Как живо она представляла себе сцену, которую ей предстояло сейчас сыграть! Она видела сад, мужа, развалившегося на супе, узнавала в молодом инженере чьи-то знакомые черты. Как искренне ей было жаль героиню... и... себя! А теперь? Что с ней случилось? Саяра закрыла сценарий и вновь опустила на скамейку. Нахлынули воспоминания.

Там, в городе, осталась дочка, Акрам. Жизнь, еще недавно так хорошо налаженная, сломана. Она не знает, что ждет ее впереди. Рядом, в больнице, лежит женщина, судьба которой странным образом слилась с ее судьбой... А она, Саяра, должна почему-то сочувствовать героине, у которой придуманная жизнь и придуманная беда. По сравнению с тем, что пережила Хамида, все, что происходит в сценарии, и впрямь выглядит детской забавой.

Саяра вышла на съемочную площадку смятенная и растерянная. В чем она может убедить зрителей, когда в душе нет ни капли жалости к героине? Шавкат терпеливо, снова и снова пробовал объяснить ей смысл сцены... Но Саяра была глуха ко всему. Она лишь старательно повторяла слова, заученно улыбалась, с ученической прилежностью и з о б р а ж а л а страдания. Измученные жарой люди вновь и вновь повторяли сцену.

И все напрасно. Окончательно выбившись из сил, огорченный Шавкат отпустил всех и объявил перерыв до вечера.

Саяра чувствовала себя разбитой и несчастной. Больше всего она была рада наступившей передышке. Но ее ждало еще одно испытание. Не успел Шавкат уйти, как Саяру со всех сторон окружили девушки.

— Что с тобой происходит?

— Тебя будто подменили!

— Может быть, на тебя так действует жара?

Саяра зажала уши и бросилась прочь. Она перевела дыхание, когда съемочная площадка осталась далеко позади. Неожиданно наступившая тишина и мерное жужжание пчел подействовали на Саяру успокаивающе. Она обхватила руками ствол яблони, прижалась лбом к ее прохладной коре.

«Так дальше нельзя! Я просто пропаду. Надо найти выход. Надо! Но какой?»

Внезапно Саяра почувствовала, что она не одна. Затравленно оглянулась и увидела недалеко от себя тонкую фигурку Нилуфар. Девушка молча стояла в стороне, видно не решаясь подойти. Заметив, что Саяра смотрит на нее, Нилуфар несмело двинулась к ней навстречу.

— Апа, ападжан! — Нилуфар на полуслове смолкла.

Саяра видела, что Нилуфар очень взволнованна. Наступила неловкая пауза. Наконец Нилуфар выпалила:

— Отдай мне эту роль!.. — Саяра удивленно подняла брови.

— Саярахон, я сама не знаю, что я говорю, но мне так хочется сыграть... Я не сплю ночами, я просто извелась... Я понимаю, то, что я говорю, ужасно, но ничего не могу с собой поделать...

Нилуфар говорила все сбивчивее и тревожнее. Она торопилась, боясь, что Саяра не поймет ее.

— Знаешь, когда ты играешь, я каждое слово повторяю за тобой. Мне так и хочется крикнуть тебе: «Не так, не то... Она совсем другая!..» Посмотри, как я сыграла бы последний эпизод.

Нилуфар торопливо отбежала в сторону, легко провела рукой по лицу, распрямилась... Застенчивая, чуть усталая улыбка, руки, проворно наводящие порядок на мнимом дастархане. Вот она накрывает скатерть, проходит мимо безразличного к ее хлопотам мужа, вот, оглядываясь через плечо, ловит взгляд гостя... Саяра невольно залюбовалась подругой. Пораженная, она словно впервые видела свою подругу. Тонкие, искусно подкрашенные брови, длинные ресницы, гибкая, ладная фигурка. Нилуфар играла со страстью, словно перед ней была не Саяра, а целая комиссия придирчивых экзаменаторов, решающих ее судьбу.

«Да, да, — думала Саяра, наблюдая за подругой. — Все решается само собой. Эта роль написана для Нилуфар».

Возбужденная и уставшая, Нилуфар опустилась прямо на траву под деревом. С надеждой заглянула в глаза подруге.

Саяра подошла, села рядом, обняла, сказала с чуть грустной улыбкой:

— Ты просто молодчина! Кто знает, может быть, из тебя действительно получится настоящая актриса? Сегодня же поговорю с Шавкатджаном.

Нилуфар испуганно отпрянула.

— Нет, нет, только не это. Если он откажет, я не знаю, что сделаю с собой!

— Что же ты хочешь?

— Я буду с тобой откровенна до конца. Я вижу, что тебе тяжело здесь, ты мне ничего не рассказываешь, но я ведь не слепая. Уезжай отсюда, умоляю тебя! Так будет лучше и тебе и мне.

Нилуфар ткнулась лицом в грудь Саяры, со стоном проговорила:

— Я просто схожу с ума!.. Я не могу без него... без Шавкатджана.

Только теперь Саяра начала кое-что понимать. Она невольно отодвинулась от Нилуфар.

— А как же Зафар?

Нилуфар вскочила, нервно прикусив губу.

— Что с ним станет, с твоим Зафаром? Долго горевать не будет, не волнуйся!

Саяру поразила жесточенность в голосе подруги.

— С тех пор как я познакомилась с Шавкатом, Зафар перестал для меня существовать.

Подавленная, Саяра молчала. Что она могла сказать подруге? Неожиданно Нилуфар побледнела и стала суетливо протыкаться.

— Вот он, идет сюда. Сам! Я не могу с ним сейчас встречаться. Не в силах,— прошептала девушка и быстро скрылась за деревьями.

Саяра осталась одна. Растерянно оглянулась. Шавкат был уже совсем близко. Она попыталась собраться с мыслями. Сейчас она скажет ему все, а дальше — будь что будет.

Шавкат подошел, приветливо улыбнулся:

— Вот вы куда скрылись, беглянка!

Он был мягок и предупредителен. Саяре казалось, что он разговаривает с ней, как с тяжело больной.

— Я опять по вашу душу. Ну-ка пойдемте, попробуем еще разок. Вот увидите, сейчас у вас все прекрасно получится.— Он протянул ей руку, словно приглашая следовать за собой.

Саяра покачала головой.

— Опять за свое! — искренне огорчился Шавкат.— Скажите честно, что вам мешает работать?

— Я не актриса.

Шавкат даже крикнул от досады.

«Не то», — поморщилась Саяра.

— Возьмите лучше вместо меня Нилуфар.

— Что вы так заботитесь о Нилуфар? Каждому свое. Нилуфар никто не обижает. Но она не может быть героиней в этом фильме. Я это вам уже говорил не раз. Что вы упорствуете, Саярахон? — Видно было, что Шавкат дал себе слово не срываться.

Саяра проклинала себя в душе. Неужели она так беспомощна, что не может членораздельно объяснить Шавкату, что права?

Режиссер выжидающе смотрел на нее. Наконец Саяра решилась.

— Вы не однажды говорили, что друг мне.— Шавкат утвердительно кивнул головой.— Если так, наберитесь терпения, выслушайте и попробуйте понять меня. Еще и еще раз я убеждаюсь, что я не актриса. Это ошибка. Мое место не здесь. Лучше сказать об этом честно, чем мучить себя и вас. Ведь результаты все равно будут один — я не справлюсь. Хорошо хоть, что съемки только начались.

На этот раз в голосе Саяры было что-то такое, что заставило Шавката со страхом понять: она говорит серьезно.

— А потом...— Саяра помедлила,— я совершенно охладела к сценарию,— решилась она наконец сжечь за собой все мосты.

Она перевела дух, как после тяжелой работы, взглянула на Шавката. Он стоял, опустив голову, глубоко задумавшись.

— Я здесь за эти дни повзрослела на десять лет. Таково насмотрелась!.. Горевать вместе с моей героиней над ее игрушечными бедами... Увольте, просто не могу... Простите меня...— окончательно сбилась Саяра, видя, как убит Шавкат.— Я... Простите...

Шавкат вздохнул, трудно пошевелил плечами, как скованный.

— Да!.. Задали вы мне задачу. Я и сам многое вижу. Но изменить сценарий, увы, не в моих силах. Я подумаю... Но давайте еще вернемся к нашему разговору. Не будем считать его окончательным.

Неожиданно он ободряюще улыбнулся.

— Может быть, попробуем еще, Саярахон?

Саяра испуганно отступила.

— Не могу.

— Ну, что ж.— Шавкат вздохнул и взглянул на часы.— Мне пора. Хочется все же верить, что я не ошибся в вас. Надеюсь, до скорой встречи.

«Кажется, я выполнила свое обещание. Нилуфар будет играть в этом фильме главную роль»,— с грустью подумала Саяра, провожая взглядом быстро удаляющуюся фигуру Шавкатджана.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Убай приехал в Бака-Булак. Узнав историю Хамиды и Садыквою, он возмутился. «Непременно выступлю в газете,— решил он.— И позлей! С фельетоном! Надо проучить него-дяев!»

Но Хамида отнеслась к его словам равнодушно. Встретила она Убай тепло. Когда он склонился над ее койкой и назвал свое имя, улыбнулась, тихо сказала: «Слышала. Знаю...» Но едва Убай заговорил о газете, о публичном осуждении тех, кто покрывает ее мужа, перебила:

— Не вмешивайтесь, Убайджан! Будет только хуже!

Убай недоуменно посмотрел на Саяру. В этот раз она удивила его. Чем именно, он, пожалуй, сам затруднился бы сказать. Саяра похудела, устала, у глаз легли тонкой паутинкой морщинки, и в то же время во всем ее облике появилась какая-то зрелая завершенность, значительность.

— Объясните, Саярахон. Ничего не понимаю!

— Я тоже еще не очень разобралась... Но, увы, уже настроена не так оптимистично, как несколько дней назад.

— Да перестаньте говорить загадками! Я привык белое называть белым, а черное — черным. А тут все как-то шиворот-навыворот. Можете объяснить толком, что происходит?

— Могу. Один человек искалечил жену, а кое-кто пытается спрятать концы в воду.

— Вот я и хочу знать — почему?

— Попробую объяснить, но трудно... Как вы думаете, хороший тут колхоз или плохой?

— Хороший, растущий... Во всяком случае, так принято думать.

— Верно. И председатель его — тоже растущий. А сбивать с ног тех, кто растет, не положено. За это не похвалят. Скажут, за деревьями леса не разглядели.

Хамида слушала, прикрыв ресницами глаза.

— Так зачем же меня позвали? — угрюмо спросил Убайджан.— Выходит, Садыквою благодарность надо выносить?

— Я уж сама как-нибудь, без газеты разберусь,— промолвила Хамида.— Не хватало, чтоб на меня еще ополчились соседи. За клевету на колхоз... Тогда уж совсем выживут из кишлака.— Хамида устало прикрыла глаза.— Я уже навоевалась, сыта по горло... Сначала с райсом — он мне указал на дверь. Потом решила просить помощи у мужа Саярыхон — и очутилась в больнице. Дальше?.. С меня хватит!

Убай растерялся.

— Значит, я ничем не могу помочь?

— Поговорите с райсом,— вмешалась Саяра.— Может, вам больше повезет.

Хамида протестующе махнула рукой.

— Оставьте. Пусть Убайджан за свою Шахисту воюет. И ему

раис может стать поперек дороги. Нечего из-за меня осложнять с ним отношения.

Убай вышел из палаты в замешательстве. Какой-то заколдованный круг! И что еще за всемогущий раис, во владения которого он попал?

Во дворе больницы, в тени под алычой, его ждала Шахиста. Она молча выслушала Убая и тихо сказала:

— Бедная сестренка. Она боится не за себя, а за детей. Ты еще не все знаешь.

— Может быть, не все. Но достаточно, чтоб понять, что она волнуется не только за детей, а еще кое за кого.— Убай выразительно посмотрел в глаза Шахисты.— И сейчас ты мне объяснишь — почему? Что тут происходит?

Шахиста густо покраснела.

— Сваты дома каждый день...

— С чем тебя и поздравляю!

— Спасибо.

— Ну а родители?

— Сваты не от кого-нибудь, от брата самого раиса. Ты думаешь, родителям легко отказать раису?

— Опять этот раис! Прямо владетельный бай какой-то! Да что вы здесь, крепостные все у него, что ли? — Убай помрачнел.— С меня хватит. Сейчас же пойду к этому типу!.. А вечером — жди в гости. Буду говорить с твоими родителями!

Шахиста искоса, с лукавинкой посмотрела на Убая.

— Мой отец привык беседовать с женихами!

— И отлично! Только не забудь приготовить плов... Твой плов, Шахиста, твоими руками приготовленный! — Убай хотел притянуть Шахисту к себе, но та ударила его по руке и, выскочив из-под алычи, легко взбежала по ступенькам больничного крыльца.

— Не забывайтесь, Убайджан! Это вам не молодежное кафе! Здесь совсем другие порядки, и устанавливает их Турабджан-ака, наш раис. А строптивым он сворачивает шею. Так-то!

Убай шутливо поклонился, приложив руку к груди.

— О мудрейшая из женщин, сколь ценен твой совет! Я буду впредь скромн и благочестив. Может быть, хозяин здешних мест сжалится надо мной и подарит мне в жены лучший цветок, который когда-нибудь произрастал на его земле!

Шахиста со смехом скрылась за дверь.

Хоть и шутил Убай, но рассказы о всеильном раисе все-таки смущали его. Не то чтобы он испугался, нет. И все же чем ближе он подходил к правлению, тем чаще опускал руку в карман и ощупывал журналистский билет. Еще поглядим, кто кого!

Но в правлении было пусто, жарко и сонно. Скучающий бухгалтер меланхолично сообщил: «сам» уехал на бюро райкома, совещание кончится поздно, и раис, очевидно, заночует в районе. Словом, сегодня ждать его нечего. Невольно Убай почувствовал облегчение: «Это хорошо, что его нет. Огляжусь, разузнаю все

толком, отберу факты поувесистей, явлюсь во всеоружии: «Асса-лам алейкум!»... Тогда посмотрим, кто кого!»

Выйдя из правления, он постоял, обдумывая, куда сейчас идти, с какого конца начать. И решил встретиться с Садыквоём.

Улочка, ведущая в бригаду Садыквоё, была настолько узкой, что нельзя было понять, как по ней ездят, едва ли тут могли разминуться две встретившиеся арбы. Верхушки джиды, орешника и серебристых тополей, растущих по обе стороны улицы, соединялись между собой и образовывали плотный шатер. Было тенисто, свежо и влажно. Через распахнутые двери, через проемы дувалов виднелись уютные, политые водой дворики. Глиняные помосты окружены яркими цветами и застелены столь же яркими одеялами. У таңдыров хлопотали женщины, и по улице тянуло сладковато-сочным запахом испеченных лепешек. Он так и видел их перед глазами — румяные, обжигающие, хрустящие. Невольно рот наполнило слюной. От всего веяло извечным, прадедовским покоем. Хотелось войти в один из этих двориков, лечь на сури, глядеть в небо и ни о чем не думать.

Пройдя с километр, Убай остановился: улочка внезапно оборвалась, и перед ним открылась ласкающая зеленью, невыгодная лощина, по которой протекала горная речушка — сай... Дальше, по ту сторону лощины, до самого холмистого взгорья, тянулись густые сады. Слева от пыльной дороги виднелось хлопковое поле... Лощина суматошно жила... звучала голосами. В ожидании стада весело кричали и носились в пыли мальчишки. Из садов доносилось мычание телят. А блеяние овец почему-то навевало светлую грусть.

Убай прошел мимо мальчишек, игравших в чиллак, остановился на обрывистом берегу речушки. От хлопкового поля навстречу ему шел невысокий, подобранный, опаленный солнцем до густой лиловости человек с седеющей бородкой. Он остановился около мутного, бежавшего неподалеку арыка, положил на землю огромный, не по росту кетмень и, засучив рукава на крепких, казалось, состоящих из одних перекрученных сухожилий руках, стал не торопясь, со вкусом умываться. Убай подошел, поздоровался, спросил, как отыскать бригадира.

— Бригадира... Гм-м... — Старик влажными пальцами разгладил брови и бороду. — Кроме девчат-поливальщиц, сейчас никого на поле нет.

— Но где же все-таки бригадир?

Старик сморщился в улыбку и оглядел с ног до головы Убая.

— Вижу, вы не здешний... Может, показать его дом?

— А-а, ладно! — махнул рукой Убай и осторожно, следя за выражением лица старика, спросил: — Не скажете ли, где здесь сад Маткабула-ака?

Старик значительно поднял лохматые брови, не спеша снял с себя шелковый белбаг, не спеша вытер им лицо и руки и вдруг почему-то рассмеялся.



— Сад его недалеко. И сам Маткабул рядом с тобой, сынок. Маткабул по прозвищу Дядя. А почему «Дядя» — аллах его ведает. Так, значит... Горный козел сам наскочил на барса.

Он положил на сухое плечо свой кетмень, сморщился все в той же лукавой улыбке:

— Кто спросил про сад, должен отведать с него плодов! «Веселый человек мой будущий тесть!..» Убай почему-то представлял старика Маткабула именно таким. Невольно улыбаясь, он двинулся вслед за ним.

Старик и Убай пересекли маленький, огороженный колючкой, собранной на корм для скота, дворик и очутились в саду — большом и очень густом; все здесь росло в полном беспорядке: яблони и шелковицы, карагачи и урючины, джиды и тополь, слива и тал. Деревья переплетались, теснились, обнимались друг с другом. В этой беспорядочности и веселой одичалости чувствовалась эдакая вселенская щедрость: живи и радуйся, что с тобой рядом кто-то другой, непохожий на тебя.

И опять Убай с тихим счастьем почувствовал — именно так оно и должно быть, так, а не иначе.

В глубине сада виднелся глинобитный домик, весь увитый виноградом. Из домика вышла худенькая, невысокая, загорелая, как весельчак Дядя, женщина. И в то же время во всем ее облике угадывалось что-то неповторимо милое и родное для Убая, присущее одной лишь Шахисте. Завидев Убая, она прикрыла платком улыбающийся рот.

— Ассалам алейкум, мать Шахисты, — произнес старик. — Все ли в порядке?.. И слава аллаху. А теперь большая к вам просьба: постелите одеяла на супе, чтоб я и сынок могли малость отдохнуть.

Чуть опустив платок, женщина приветливо рассматривала Убая.

— Шахиста уже приготовила вам место на супе. Никак только в толк не возьму, откуда она узнала о вашем желании?

Убай улыбался так широко и так радостно, что у него запылились скулы. Он силился быть серьезным, но из этого ничего не получалось.

За домом, под виноградными лозами, несколько девушек в атласных платьях, с маленькими зеркальцами в руках, наводили на брови усыму. С преувеличенно испуганным визгом они повскакали с мест.

— Сидите, доченьки, сидите, — сказал старый Маткабул, но девушки, толкаясь и бросая быстрые лукавые взгляды, закрываясь рукавами, кинулись в дом.

Шахиста проворно хлопотала под старым тутовником.

— Эх-хе-хе! Ну вот и добрались до нашего рая! — Подсунув пальцы под шелковый белбаг и хитро посмеиваясь, Маткабул повернулся к Шахисте. — А в раю-то не мешало бы вкусить райское. Чем порадуешь нас, доченька?

— Я уже обжарила для плова мясо и морковь! — Шахиста кинула Убаю смущенную и счастливую улыбку и убежала.

— Мой дом — ваш дом, — сказал старик гостю. — Можете прилечь, можете пройтись по саду. Не стесняйтесь, сынок! Чувствуйте себя свободно.

Убая очень хотелось вновь увидеть Шахисту, пусть мельком, ненадолго: Лишь бы увидеть! Лишь бы услышать ее голос!

— Спасибо. Если можно, я отдохну здесь.

— А я чуток поброжу. Везде хозяйский глаз нужен. Отдыхай, сынок. — Он заговорщически подмигнул и, твердо, уверенно ступая, удалился в сад.

Убай растянулся на мягком ватном одеяле, замер... Базилика вокруг супы лила свой сладкий запах.

Ракеты, космос, думающие машины, пропахшие бензином города — двадцатый суетный век, мечущийся в поисках счастья!.. А оно, оказывается, одно — вечно и неизменно — в отдыхе после работы, в запахе цветов, в руках любимой, разливающей чай или качающей ребенка, в доброте тех, кто с тобой рядом!

На дорожке показалась Шахиста с большим подносом в руках. Увидев Убая одного, она нерешительно остановилась.

— Ты что, боишься меня? — шепотом спросил Убай и протянул к ней руки.

— Отцу что скажешь?

— Скажу, что я умный, веселый, красивый, смелый, талантливый, что за такого феноменального парня не грех отдать не одну дочь, а по крайней мере — десяток. Но я исключительно из скромности прошу только одну. — Он сделал торжественное лицо и многозначительно поднял вверх палец.

— Распустил перья! Смотри, как бы этакий павлин от ворот поворот не получил, — рассмеялась Шахиста и поставила поднос. Изловчившись, Убай попробовал схватить Шахисту за руку, но она ловко, с легкостью горной серны, отскочила.

— Жаль, что косы остригла! Теперь только начинаю понимать, для чего они нужны женщине.

— Потому и остригла, чтоб не потакать молодым феодалам. — Шахиста проскользнула мимо Убая и помчалась к дому.

А небо было густое-густое, перенасыщенное синевой, и в нем уже затеплились первые блеклые звезды. От нежности у Убая перехватило дыханье. Он вспомнил время, когда Шахиста носила длинное, до пят атласное платье и прическу «кырк-кокил» — сорок косичек с неизменной шитой золотом тубетейкой. Право, это ей очень шло. Каким он был глупцом, что сам заставил ее остричь длинные, падающие ниже колен волосы! Но все равно, с косичками или без косичек, — кто может сравниться с его милой Шахистой! Нежная, застенчивая, гордая! А ведь и старое лицо ее матери еще красиво. В нем живет та же одухотворенная доброта, что светится в Шахисте...

Из сада вернулся Маткабул, его шелковый белбаг был набит яблоками, сливами и персиками. Рассыпав фрукты на дастархане, сказал:

— Угошайся, сынок, дарами аллаха,— присел на край супы, осторожно спросил: — Вы, значит, работаете в газете?

— Да.

— Еще один.

— Что — «один»? — не понял Убай.

— Еще одного прислали пастись на поле старого Маткабула. Сколько вас, сынок, у меня перебывало! Не сочтешь. Все кругом вытоптали. Писали-переписали...

— Я приехал по делу вашего зятя Садыквоя.

Улыбка в глазах старика потухла, густые брови нахмурились.

— Беда у нас большая, сынок,— глухо сказал старик.— Что поделаешь, сама выбирала... Старая песня каждый раз на новый лад поется. Свой ум молодому не вложишь. Садыквой — бешеный. Не для таких смиренных мусульман, как мы. Говорили ей. Упрашивали... Не слушают молодые родителей. Да что теперь на следы головой кивать?

Убай с сочувствием смотрел на осунувшееся лицо старика, жалел его и робел перед ним.

— Я приехал, чтобы добиться справедливости,— сказал Убай.— Говорят, что раис защищает его... бешеного. Почему? Почему молчат ваши односельчане? Отчего ваша дочь, Хамида-апа, уходит от откровенного разговора? Помогите мне во всем разобраться, Маткабул-ака!

Старик сидел, опустив голову, и не спешил с ответом. Наконец он промолвил:

— А чего удивляться, сынок? Допустим, ваша газета прочит этого ошпаренного джигита... Попадет он в тюрьму. А что дальше, позвольте вас спросить?

— Вас дети волнуют?

— И о детях подумать не вредно, каждый пальцем укажет, что отец за решеткой... Но я не о внуках сейчас,— тихо произнес старик.— Ты, сынок, приехал и уехал. А нам в кишлаке жить. У этого джигита есть мать, отец, есть родня, друзья, близкие... Много жалельщиков найдется. Что сделано, того не вернешь, скажут: «А человека погубили». О Хамиде плохо говорить станут. Кишлак не город. У нас свои законы, хоть и неписанные. Раис — что? Он сам их побаивается.

— Уютно, должно быть, живется здесь негодяям, а? — горячо выпалил Убай.

Маткабул-ака невесело взглянул на него, вздохнул.

— Не торопись, сынок. За советом пришел, имей терпение выслушать. Я сам не хочу, чтобы муж дочери в тюрьме оказался. Его позор на голову Хамиды падет. Кишлак не город. Ты говоришь — раис! Несправедливо он поступает, ох как несправедливо! Всю вину задумал на дочь свалить! А этот басмач —

невиннее голубки получается! — Видно было, что старик заговорил о самом больном.

Еле сдерживая гнев, Убай сказал:

— А вы, ака, еще оправдываете председателя!

— Не оправдываю, а просто вижу глубже тебя. Садыквой — верный слуга раиса. — Старик разглядывал Убая, будто решая, продолжать ему дальше или не стоит.

— Прошу вас, я должен знать все.

— Видишь ли, у раиса есть брат младший, в женихах ходит. Ему дочь моя, Шахиста, приглянулась. Вот Садыквой и обещал председателю дело уладить. Шахиста-то сама упрямится. Чего, честно говоря, не знаю. Брат раиса — парень неплохой, в городе учится и не чета Садыквой — добр, даже слишком добр. А у нас все не славу богу, дочери городской приглянулся. Неизвестно кто. Мы его и в глаза не видели. Может, проходи-меч какой? Собьет с пути младшую да бросит.

«Вот так да-а! Похоже, отец ничего не знает», — заерзал на одеяле Убай. — Я-то думал, старик хитрит, делает вид, что не догадывается...» И совсем смутившись, вставил невпопад:

— Сейчас не прежние времена, чтоб насильно замуж вы-давать.

— Что верно, то верно, — кивнул старик. — Вот я жену-то свою увидел только в чимилдике. А как живем? Не то чтобы замаяхнуться на нее, пальцем не тронул. Можно сказать, на руках по жизни пронес. А нынче... Сегодня Лейли и Меджнун, а завтра — кошка с собакой!

Убай чувствовал, что надо как-то начинать разговор, но язык не поворачивался.

В дверях показалась Шахиста.

— Можно плов подавать, отец?

— Подавай, дочка, подавай, — ответил Маткабул-ака.

Слегка развалившись, Убай краем глаза следил за Шахистой. Она поставила лаган с пловом, украдкой взглянула на Убая и вновь скрылась в доме.

Все было хорошо — и вечер, и собеседник-старик, и плов, приготовленный руками Шахисты.

Но надо было начать настоящей разговор. Сватовство! Видит аллах, как это было сложно!

— Шахиста... ваша дочь... отличная хозяйка!

— На дочь не жалуюсь. Она у меня редкий человек — и умом бог не обидел, скромная... Пусть аллах пошлет ей хорошего жениха!

— Да сбудутся ваши слова, отец! — воскликнул Убай, наверно, излишне горячо — от смущения, от распиравшей его любви к Шахисте, к старику, ко всему удивительному миру. — Отец... Я хочу... Разрешите уж сразу! Вы говорили о городском парне, который вскружил голову вашей дочери?

— Ну?... — Глаза старика блеснули и спрятались за густыми бровями.

— Вы тут нелестно о нем отозвались...

Старик сощурился.

— А ты что же, под защиту его берешь? Случаем, не дружок твой?

Убай раскрыл было рот, да так ничего и не сказал.

— Что как конь после дальней дороги дышишь?

— Так вот... Может, тот парень и не очень хорош...— Убай вновь хватил ртом воздух и замолк.

Старик разлил по пиалам кок-чай. На небе высыпали крупные звезды, воздух был прохладен и свеж, как ладони девушки. О чем-то своем шептала вода в ближнем арыке.

— Дочка у меня редкий человек! — повторил старик.

— Да,— эхом отозвался Убай.

— Отдыхай, сынок. Утро вечера мудренее. А мне еще на полив надо...

Старик захватил с собой блюдо с остатками плова. Убай опрокинулся на спину, раскинул руки. Небо качнулось и застыло.

А базилика лила, лила свой сладкий, хмельной запах.

— Вставай, соня, вставай, лежебока! Не стыдно так долго спать?

Убай открыл глаза и тут же закрыл их, ослепленный яркими лучами солнца.

— Ну и засоня, пушками не разбудишь! — смеялась Шахиста и теребила его, и дергала за руку, боясь, что он снова заснет.— Вставай, в лощине тебя ждет председатель!

— Какой председатель?

— А ты что, не знаешь?

— Ах, да, брат твоего возлюбленного!

— Вот именно!

— Ты смотри у меня!

Убай быстро вскочил, умылся и направился к лощине. В лощине оказался не председатель, а его шофер. Сам председатель дожидался гостя в правлении, в своем кабинете. Увидев Убая, Турабджан поднялся ему навстречу.

— Кому хорошо живется в наше время, так это вашему брату, журналисту. Даже в командировке спят до полудня! А тут встанешь с первыми петухами, работаешь как вол, и все равно шишки на тебя валяются!

— Что-то вы не похожи на человека, на которого валяются все шишки!

— Да на мне столько шишек, что их уже просто не видно!

Турабджан шутил, скрывая растущую тревогу. Неспроста приехал к ним этот журналист, ох неспроста! И зачем он, Турабджан, ввязался в эту историю с Садыковым? Но, с другой стороны, как было и не ввязаться? На карту поставлена репутация колхоза. Что бы сказали в райкоме, в обкоме, узнав об этом

щекотливом деле? Нет, эту историю нельзя предавать огласке. Турабджан сразу понял, едва узнал о случившемся. Поэтому и поспешил договориться с участковым, взял Садыквою на поруки... А может, он действительно поторопился? Парторг, молодой парень, раньше слова поперек не говорил, а сейчас возражает, грозил даже прокурору сообщить. И еще вот этот журналист... Каким-то неуловимым чутьем Турабджан чувствовал, что Убай приехал по поводу именно этой истории. Пока приезжий молчит, не торопится карты выкладывать. Ну что ж, и у Турабджана есть свой козырь: журналист-то оказался тем самым парнем, который отбил Шахисту у его младшего брата! Так что, если сильно заартачится, можно и припугнуть — не своди личные счета. И все-таки надо держать ухо востро.

— Ну что ж, начнем знакомство с кишлаком,— бодро сказал Турабджан.— Что осмотрим сначала — поля или новостройки?

— Да я, право, не знаю,— замялся Убай.— Приехал-то я по другому делу.

— Если вы даже приехали, чтобы повесить вашего покорного слугу за ноги, все равно надо начать знакомство с жизнью кишлака. А там — авось и передумаете! Писатель должен изучать жизнь, разве не так?

— Вам бы стать председателем Союза писателей,— рассмеялся Убай.

Турабджан тоже усмехнулся.

— Я догадываюсь, по какому делу вы приехали, ука. И все же я считаю, что вы сначала должны познакомиться с нашими делами, с нашими планами, узнать об успехах колхоза. Иначе статья ваша может получиться необъективной. Нельзя знать только одну сторону жизни своих героев. Надо знать о них все.

— Здорово вы научились ограждать себя от критики! Ну, что ж, поедем, посмотрим с разных сторон на вашу жизнь, чтобы не допустить необъективности, а точнее — очернительства.

— Вот это другой разговор!

Вдоль широкой асфальтированной улицы, по которой они ехали, стояли новые кирпичные дома. То и дело машина останавливалась. Турабджан с кем-то разговаривал, что-то проверял, что-то показывал Убаю. Чувствовалось, что эти новые дома приносят ему настоящую радость. Заходили они и в квартиры. Люди встречали их приветливо, предлагали чай, сладости, радостно суетились. Но раис в гостях не засиживался.

— Знаю вас, хотите отделаться пиалой чая. Ничего не выйдет! Вот зарежете барана, тогда и позовете,— отшучивался он.

Чем больше присматривался Убай к председателю, тем больше он ему нравился. И тем больше удивляло: как мог такой человек взять под свою защиту Садыквою? Как мог обидеть Хамиду и ее отца? Неужели из-за Шахисты?

Только один человек не обрадовался, увидев председателя в своем дворе. Когда они вошли к нему, он лежал, свернувшись

клубком на сури посреди двора, и равнодушно смотрел перед собой. Столь же равнодушно посмотрел он и на председателя и, поглубже завернувшись в свой халат, повернулся на другой бок.

— Ну, что, куса, теперь чем недоволен? — спросил Турабджан. — Получил дом, лежишь, отлеживаешь себе бока и все бурчишь. Ну и дела!

— Я отработал сорок лет и сам знаю, что теперь делать — отлеживать бока или плясать под бубен!

— Да, уж ты заработался!.. Кто-нибудь есть дома? — Турабджан прошел во двор, а старик опять повернулся на другой бок и внимательно посмотрел на Убая.

— Можно подумать, что дом построили на его деньги, — кивнул старик в сторону председателя. — Извините, откуда будете?

— Я приехал из города.

— В гости?

— Нет, по делам. Я из редакции газеты.

Не успел Убай окончить фразы, как куса проворно вскочил, сошел с сури, почти вплотную приблизился к Убаю:

— Напишите фельетон про этого выскочку, — горячо зашептал он. — Всыпать ему надо! Пусть научится разговаривать с людьми, ценить их! Я тоже мог бы работать с ним, но унижаться, кланяться ему в ноги не намерен! Напишите, напишите про него! — Увидев приближающегося председателя, куса вновь улегся на помосте и свернулся клубком. Взгляд его опять выражал полное равнодушие.

— Ты что, безбородый, опять за кляузы? — Несмотря на столь успешное притворство кусы, Турабджан сразу догадался, в чем дело. — Эх, старик! Тебе же все равно никто не поверит! Прошли твои времена! Кто поверит лежебоке?

— Мои времена прошли, но и ты не вечен! Проходит слава и у настоящих властелинов мира.

— Эх, куса! Недаром говорят — горбатого могила исправит! — Турабджан махнул рукой и вышел на улицу. — Этот куса был когда-то правой рукой прежнего председателя. Сидит парень на пенсии и поливает всех грязью. Не хочет видеть наших успехов, во всем ищет одни недостатки.

Заметив легкую усмешку на лице Убая, Турабджан побледнел.

— Зря смеетесь! Конечно, в нашей работе много недостатков. Очень много. Но, как говорится, за мечту не корят, и я верю, что кто-нибудь да скажет нам спасибо!

Убаю стало неловко. Некстати усмехнулся! Действительно, он увидел много хорошего, а до сих пор не сказал председателю ни одного доброго слова.

— Прощу прощения, я не хотел вас обидеть. Домá действительно у вас просто замечательные... И, я слышал, построен еще какой-то грандиозный дворец. Успехи налицо. Но... у меня к вам дело...

— Сейчас перейдем к этому делу. Можете быть спокойны, дорогой. Садыквой никуда не убежит. Но сначала я бы хотел поговорить с вами.

— Пожалуйста.

— Ну и отлично.— Турабджан коротко бросил палвану: — Домой!

В просторной комнате было сумрачно и прохладно. Убай уселся в предложенное кресло, с удовольствием вытянул ноги, огляделся. Политый водой пол, опущенные шторы, бесшумно работающий вентилятор — какая благодать среди этой изнуряющей жары! Турабджан придвинул поднос с фруктами. Казалось, он в чем-то сомневался, во всяком случае, не торопился начинать разговор. Так и есть. Вот он встал, подошел к окну. Открыл его. Из сада вдруг донеслись пьяные выкрики. Турабджан поморщился, закрыл окно, включил свет.

— Ну что, начнем?

— Да, разговор серьезный.— Турабджан заложил руки за спину и остановился перед Убаем.— Вы взяли за очень тонкое дело, ука. Поэтому я и хочу спросить вас об одной вещи, которая на первый взгляд не имеет к делу никакого отношения. Но это только на первый взгляд. Поэтому не удивляйтесь. Вы действительно любите Шахисту?

— Странный вопрос.

— А что здесь странного? Вопрос очень важный. Вы, наверное, знаете моего брата. Он, может, и несовременный парень, но зато я знаю наверняка, что он был бы хорошим, верным мужем Шахисте.

Убай пожал плечами.

— Что я могу сказать? Тут все решает сама Шахиста.

— Нет, дело не в Шахисте, все зависит от вас!

— Это почему же?

— Не прикидывайтесь наивным, дорогой! Шахиста — простая кишлачная девушка. А вы — журналист, писатель с прекрасным будущим.

— Что-то уж больно высоко вы меня возносите. Писатель, прекрасное будущее...

— Ничего, я еще спущу вас на землю,— вежливо улыбнулся Турабджан.— А может, вы — человек избалованный, столичный — просто кружите девушке голову, а потом бросите, как надоевшую игрушку?

— Какие у вас основания так говорить?

— А самые простые. Шахисту трудно узнать. Она отрезала свои чудесные косы, вырядилась так, будто она заморская киноактриса, а не девушка из кишлака. Неужели парень, который действительно любит девушку и хочет на ней жениться, может пососоветовать ей такое?

— Послушайте, раис-ака.— Обвинения председателя были



так нелепы, что Убай не сразу нашелся, что ответить.— Неужели дело в прическе и одежде?

— Да, и в прическе, и в одежде!

— А я, когда утром увидел вас, подумал: «Вот это современный председатель!» Теперь я вижу, что, видимо, ошибся.

— Вот как! Один-ноль в вашу пользу! — Турабджан расхохотался. Но тут же вновь стал серьезным. Передвинув стул на середину комнаты, тяжело опустился на него.

— Нет, дело совсем не такое простое, как вы говорите. Что это вообще такое — современный человек? Объясните мне, вы ведь литератор! У нас существуют старые обычаи, традиции, которые вошли в нашу плоть и кровь с молоком матери. Как быть с ними? Отбросить и смеяться над ними или придерживаться их?.. Нет, погодите, я знаю, что вы сейчас скажете: хорошее надо взять, а плохое отбросить. Но это просто сказать, а в жизни получается иначе. Мы тут как раз недавно спорили об этом с Акрамджаном. Может быть, я и был в чем-то неправ, слишком держался за старое. Может, и так. Но вот через несколько дней к нам нагрянули эти... с киностудии, и среди них — кто бы вы думали? — Саярахон, собственной персоной! Нет, я был тысячу раз прав, когда говорил Акрамджану: он слишком разбаловал свою жену, слишком «современно» подошел к семейной жизни! И вот вам результат! Убай улыбнулся.

— Вам почему-то смешно! А вы посмотрели бы на этих киношников! Девушки ходят в брюках, мужчины в этих... как они называются...

— Шорты,— подсказал Убай.

— Ну да, словом, в трусиках. Обнимаются при всем честном народе. На стариков — ноль внимания. Куда это все приведет?

— Мне вспомнился один случай, раис-ака. Едут в трамвае два старика и спорят. Одному из них лет восемьдесят, другой помоложе, за шестьдесят. Восемидесятилетний качает головой, говорит: «У современных девушек совсем не осталось стыда. Тьфу, смотреть стыдно! Носят платя выше колен. Тьфу, тьфу!» А тот, который помоложе, отвечает: «Вам уже перевалило за восемьдесят. Чем смотреть на колени девушек, не лучше ли перебирать четки и думать о боге, таксыр?» Конечно, это шутка, но зачем же все смешивать в одну кучу? Безусловно, есть незрелые юнцы, и, возможно, они совершают недостойные поступки. Но неужели из-за них надо цепляться за отжившие обычаи, позволять унижать женщину? И еще... по-моему, пора вернуться к нашему разговору.

— Да...— Турабджан задумчиво потер лоб.— Не думайте, ука, что этими рассуждениями я хочу выгородить себя. Просто вопрос этот очень сложный. Давайте вернемся к нашему разговору. Почему я решил взять Садыквою на поруки? Прямо скажу: не хотел я выносить сор из избы. Но почему?.. Личных интересов у меня в этом деле нет. Просто хотел оградить честь семьи Садыквою... Всего колхоза, наконец!

— При чем тут колхоз?  
— Наш колхоз один из передовых в районе. А такой безобразный случай мог бы очень повредить нам.

— Вот как!

— Что, хотите сказать, что уличили меня? А я, как видите, и не очень скрывал. Все так делают, не я первый, не я последний. Поработаете с мое, поймете, что я прав. А что касается Садыквоя... мне его тоже судить трудно. Вы знаете, из-за чего все произошло?.. Если Хамида такая хорошая и порядочная, то зачем ей понадобилось встречаться с прежним возлюбленным, да еще в укромном месте? У нее муж, дети, семья. Зачем было ворошить прошлое!

— Вы намекаете на ее встречу с Акрамом-ака?

— Да, я говорю именно об этом! Пусть даже она и не имела в виду ничего... такого. Пусть просила о встрече только для того, чтобы пожаловаться на меня. Но тогда зачем было назначать свидание вечером, таясь от людей? Почему нельзя было просто прийти в правление и выложить правду?

— Но ведь за эту самую правду вы и уволили ее с работы, разве не так? Зачем ей было идти в правление? А встретиться с Акрамом-ака на людях — потом света не увидишь от Садыквоя!

— Ну знаете, опять я виноват!.. Хорошо, пусть все будет так. Но ответьте мне откровенно: что бы вы сказали, если бы узнали, что ваша девушка встречается тайно от всех, в укромном уголке с человеком, которого она раньше любила?

Убай развел руками.

— Не знаю...

— И на том спасибо. А я думал, вы скажете: «Был бы очень рад!» В конце концов Садыквой ведь мужчина! Разве он виноват, что любит и ревнует свою жену?

— Ничего себе любовь! Пырнуть ножом!.. И вообще, разве честно — замечать все это, поскольку колхоз передовой!

— Ну, ладно! — Турабджан неожиданно встал, взял со стола тюбетейку. — Я сказал все, что думал. Сказал откровенно, а там — решайте, как знаете! Садыквоя мы накажем и сами. Остальное решайте сами. Все!

Кивнув Убаю, он направился к дверям, но в это время из сада опять послышались пьяные голоса. Чей-то тенорок затянул полузабытую песню:

Зачем-зачем со мной ты повстречался,  
Зачем нарушил мой покой?

— Вот дураки! — Турабджан остановился, потом пинком ноги открыл дверь.

Посреди двора, у водоема, стоял, покачиваясь, Муратджан и с ним еще двое парней. Раскачиваясь, как молодые деревца на ветру, еле шевеля языками, они «пели». Увидев на пороге Убая, один из парней рванулся вперед:

— Вот он, стихоплет!.. Сбил с пути Шахисту и еще смеет расхаживать по нашему кишлаку!

Муратджан пьяно мотал головой:

— Эх, Шахиста, Шахиста!..

Еле сдерживаясь, Турабджан шагнул, схватил брата за ворот:

— Эх ты, глупец, размазня! Где твоя мужская гордость? Не слышал разве: насильно мил не будешь!

— Оставьте меня, акаджан! — простонал Муратджан, пьяно мотая головой. — Что вы понимаете в любви?

— Надо быть мужчиной. Вот что я понимаю! — Турабджан неожиданно поднял брата на руки и понес в дом.

Друзья Муратджана растерянно переглянулись и повернули к воротам.

Турабджан догнал Убая на улице. Открыл дверцу машины, нервно закурил.

— Палван! — устало обратился он к шоферу. — Жены дома нет, посиди с Муратджаном. Как бы он чего с собой не сделал! Ума-то у него как у малого ребенка!

Турабджан, нервничая, давил на газ, резко поворачивал руль.

— Может, вы и правы, — сказал он наконец, когда машина вывернула на большак. — Нашел бы себе Муратджан девушку, женился... А то ходит, хнычет, ждет, когда брат уговорит родителей отдать дочь за него! А что может сейчас брат, будь он хоть трижды раис!

Краешком глаза Убай незаметно следил за Турабджаном. Следил и невольно улыбался. «А все-таки он ничего — этот раис!»

Проехав по сморенной жаром, пыльной улице, машина выскочила к лощине и, минова густые сады, свернула к зеленеющим полям хлопка. С гребня холма хлопковое поле, разделенное туговником на квадраты, и полевой стан, видневшийся вдали, — все казалось миниатюрным, похожим на архитектурные макеты, но с каждым километром пути они становились реальнее, четче, приобретали свои действительные размеры. Черные жучки, ползавшие по грядкам, оказались тракторами, а спичечный коробок превратился в небольшой дом. Вскоре Убай смог разглядеть и женщин, трудившихся на поле.

Сидевший за рулем Турабджан чему-то про себя усмехнулся и круто повернул машину к полевому стану. Первым их встретил Маткабул-ака. Неизменный кетмень за плечами, брюки засучены выше колен.

— Чему обязаны посещением таких высоких гостей? — спросил он с едва заметной иронией. — К нам, девушкам, редко джигиты заглядывают. Сыро тут, да кетмени тяжелые. Чего доброго, еще работать можем заставить! — Старик озорно подмигнул девушкам-кетменщицам.

— Просто боимся, как бы грозный владыка гарема не разгневался,— легко включился в игру председатель.— Смотрите, как вы тут расцвели, уважаемый Маткабул. Вас прямо не узнать.

— И то верно. Надо же как-то положение спасать. Теперь молодые джигиты бензином пропахли. Не только к девушкам, к скакунам редко подходят.

— Сдаюсь, отец, на обе лопатки положил.— Турабджан со смехом поднял руки.— Нам с вами, стариками, тягаться трудно.

И тут же, меняя тон на деловой, спросил:

— Бригадир был сегодня?

— Был, да весь вышел,— нехотя ответил Дядя.— Объявился милиционер и увел вашего бригадира. В кишлачном Совете ищите.— Маткабул явно не хотел называть зятя по имени.

— Гм...— Турабджан озадаченно почесал за ухом.— Увели, говорите. Ну что ж, и туда сейчас заглянем.

— На несколько слов, раис, задержать хочу вас.— Старик шагнул вперед и стал на пути у Турабджана.— Хочешь не хочешь, и я к этому отношению имею. Неплохо бы и мое слово вам услышать,— сказал он мягко, но настойчиво.— Может, устарел я, однако... Не по мне это, чтоб зятя в тюрьму сажали. Дочке от этого легче не станет.

Турабджан вспыхнул:

— Это вы своей дочке скажите, а не мне!

Голос старика дрогнул.

— Без малого сорок лет провел с кетменем я на этих полях. Из уважения к моей старости, к моему труду тебе бы не худо повнимательнее прислушаться к моим словам, сынок.— Маткабул перешел на «ты».— Несправедлив ты к моей дочери. Видит аллах, несправедлив! — почти выкрикнул он на высокой ноте.

Турабджан молчал. Только было видно, как на скулах играли желваки. Наконец он овладел собой, отрывисто бросил:

— Простите, отец! — Выразительно глянув на Убая, не пригласил — приказал: — Поехали!

У входа в кишлачный Совет их встретил пожилой мужчина в форме лейтенанта милиции. Турабджан язвительно заметил:

— Как видно, мое слово для тебя ровным счетом ничего не значит. У нас же был уговор насчет Садыквоя. Или я уже не могу никого взять на поруки?

Лейтенант густо покраснел:

— Ничего не поделаешь. Закон есть закон, председатель.

— Ладно, не оправдывайся,— примиряющим тоном сказал Тураб.— Повидаться хоть с арестованным позволишь? Какие твой закон на этот случай указания дает?

Лейтенант облегченно вздохнул:

— Другим бы не разрешил, а уж вам как председателю уважение оказать можно.

— И на том спасибо.— Турабджан, не дослушав, толкнул ногой дверь.

Убай вошел следом и остановился на пороге. В маленькой полутемной комнатке было прохладно. Глиняный пол тщательно полит и выметен. Убай сощурился, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку.

— Я думал, ты горюешь. А он гляди как устроился. Чисто, прохладно, как в раю. Лежит себе да в потолок поплеывает! А ну-ка, встань, поздоровайся с человеком! Как-никак специально, чтоб на нас с тобой поглядеть, журналист из Ташкента прикатил. Прославил ты нас, ничего не скажешь!

В дальнем углу комнаты скрипнула кровать, и Убай наконец увидел Садыквой. Он сидел, лениво опершись руками о матрац, недобро поглядывая в их сторону.

— Разрешите оставить вас наедине? — церемонно произнес председатель. — Мне в поле пора, дел по горло. Вы уж тут сами решайте, фельетон ли писать или как по-другому... Ты, Садыквой, очень уж не трясись. Хоть он и газетчик, а скоро свояками будете. По всему видать, к тому дело идет.

Турабджан усмехнулся и быстро вышел.

Мельком взглянув на журналиста, Садыквой отвернулся. Убай с нескрываемым интересом рассматривал этого человека. Он представлял его себе совсем не таким. Смуглый, почти черный, он был скорее похож на цыгана, чем на узбека. Чернобрый, черноглазый, нос с горбинкой, весь какой-то ладный, статный, по-своему красивый. Садыквой сидел, плотно сжав губы, уставившись в одну точку, всем своим видом давая понять, что незваный посетитель пришелся ему не по вкусу.

Убай попытался завязать разговор.

— Давайте познакомимся. Я действительно работаю в газете. Меня зовут Убай... Председатель, конечно, пошутил, когда говорил о фельетоне. Я приехал, чтоб разобраться, на месте разобраться во всем случившемся. Попробовать понять, что побудило вас совершить этот... поступок. — Убай говорил медленно, с трудом подбирая слова. Садыквой был совершенно безучастен к разговору. — Я уже разговаривал с вашим раисом, был в больнице. — Садыквой недобро повел черным глазом в его сторону. — Теперь я бы хотел услышать вас. Словом, мне надо выяснить правду.

При слове «правда» Садыквой неожиданно заговорил:

— Пусть мои слова вас не обидят, но правды вам не понять.

— Почему же?

— Потому что у правды сто лиц. Для вас, молодых, любить — все равно что семечки щелкать. Сегодня с одной, завтра с другой, — говорил Садыквой, все больше ожесточаясь. — А для меня это мука! — Он стиснул зубы и застонал. — Вся моя вина в том, что я люблю свою жену и отомстил за свою честь!

— Ножом?

— Да! Вам этого не понять! — Глаза его сверкнули ненавистью. — Лучше бы этот нож я вонзил себе в грудь!

«Вся моя вина в том, что я люблю свою жену»,— мысленно повторил Убай с неожиданным для себя состраданием к Садыквою. В этих словах он весь — с его пониманием любви, жизни, чести. Он так ничего и не понял. Любовь и нож! Слышал ли он когда-нибудь, что со словом «любовь» должны соседствовать другие слова: «нежность», «уважение», «ответственность»? Убай видел, что этот человек мучается. И все-таки решительно отказывался понять и, тем более, оправдать его.

— Да, нам, видно, трудно договориться,— наконец со вздохом сказал он.— Что бы вы ни говорили, принять вашу сторону невозможно. Вы же все еще пытаетесь оправдаться в своих глазах, ищите несуществующие улики. Напрасно.

— А письмо, которое я нашел у нее?.. Письмо от любовника! Это тоже «несуществующая улика»?

— Я бы хотел взглянуть на него.

Садыквой вновь потерял интерес к разговору, устало махнул рукой.

— Ни к чему все это! Все равно вы скажете, что в письме нет ничего особенного.

— А если в нем действительно нет ничего особенного?

— Давайте кончать! Я с самого начала знал, что мы не пойдем друг друга. Я не из трусливого десятка. И если бы не дети, то, поверьте мне, знал бы, что с собой делать!

В эту минуту в дверях показался лейтенант.

— Товарищ корреспондент, вас к телефону.

Убай с облегчением выскочил из комнаты.

Убай сразу же узнал говорившего.

— Акрам-ака, неужели это вы! Уже приехали?

— Я, я,— услышал он в трубке спокойный, чуть глуховатый голос Акрама-ака.— Мы приехали с Зафаром. Как дела?

— Мы должны увидеться. Немедленно. Откуда вы говорите?

— Мы в правлении колхоза. Турабджан вам на глаза не попадался? Если по дороге наскочите на него, скажите о нашем приезде.

— Будет сделано,— с облегчением сказал Убай и добавил: — Как хорошо, что вы приехали. Вы даже не представляете, как хорошо!

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Через несколько дней после того, как Акрам отправил письмо на имя министра, в кабинете раздался телефонный звонок. Его просили срочно зайти в управление кадрами министерства. Акрама встретила худощавая пожилая женщина. В углу ее тесного кабинета сидел молодой, хмурого вида человек. Акрам узнал его — это был доцент архитектурного факультета политехнического института. Женщина представила мужчин друг другу и тут

же пододвинула Акраму папку в красном переплете. Там было лишь два документа — заявление Зафара и письмо Акрама на имя министра. В углу письма красным карандашом стояло размашистое: «Комиссия»...

Начальник управления кадрами долго и изучающе рассматривала Акрама и вдруг, улыбнувшись, сказала:

— Вот вы какой! Давно у нас не было подобных писем...

Акрам поморщился.

— Видите ли, я и сам не любитель этого «жанра». Но в институте создалась такая атмосфера, что волей-неволей пришлось взяться за перо.

— Вы меня не так поняли,— пояснила женщина.— На Султана Касымовича и раньше были жалобы. Я имела в виду другое. Редко кто по собственному желанию отказывается от столь высокого поста.

Акрам смущенно потер лоб.

— Дело не во мне. Тут надо разобраться в принципе. Институт лихорадит уже не первый год. Что ж, может быть, комиссия сдвинет что-нибудь с мертвой точки. Будем ждать. Только у меня одна просьба: мне надо на несколько дней выехать в кишлак.

— Пусть решает председатель комиссии.— Женщина кивнула на молчаливого доцента.

Не глядя на Акрама, тот сказал неожиданно сухим и официальным тоном:

— Работу начинаем завтра же, и присутствие автора письма считаю необходимым.

— Давайте начнем работу, а уж потом видно будет,— примиряюще сказала женщина.— Если возникнет такая необходимость — поедете. Только и у меня к вам просьба. Пусть до поры до времени наш разговор останется между нами. Для пользы дела. Не надо, чтоб в институте знали о решении министра... А то как бы не возникли кривотолки.

Акрам молча кивнул и откланялся. Последние слова начальника управления кадрами пришлись ему явно не по вкусу. Он решил, не откладывая, поговорить с Султаном.

В коридоре института у дверей директорского кабинета Акрам столкнулся с одним из сотрудников. Этого немолодого человека, отца многочисленного семейства, сохранившего, однако, юношеские замашки, все запросто называли Камильджаном, но мало кто помнил его фамилию. Он постоянно находился в суете и хлопотах — собирал деньги кому-то на день рождения, организовывал передачу в больницу, доставал путевки и, конечно, все институтские новости узнавал первым. Увидев Акрама, он не бросился со всех ног к нему навстречу, как это делал прежде, а вдруг с поскучневшим лицом загляделся на кого-то и прошел мимо. Акрам понял: решение министра в институте известно

всем — от директора до уборщицы. Султан изволит гневаться, и все верят, что он и на этот раз выйдет сухим из воды.

Акрам решительно вошел в директорский кабинет.

Всегда гладко выбритое круглое лицо Султана было бледно, щеки чуть отвисли. Он сидел, нервно постукивая по столу позолоченной авторучкой. На приветствие Акрама дернул головой, будто его свело судорогой, потом рывком поднялся с кресла, подошел к окну и долго молча смотрел на улицу. Наконец, овладев собой, обернулся к Акраму и, скрестив на груди руки, сказал с обидой в голосе:

— Вот от кого не ожидал, так это от тебя! Выходит, верно говорит пословица, что не враг, а друг набьет твою шкуру соломой!

Акрам терпеливо выждал, пока директор выскажется. Ответил:

— Знаю и другую пословицу: друг бранит, а недруг льстит.

— Это ты брось. Друг бранит прямо в глаза, а не пишет заушательские письма на имя министра!

Акрам пожал плечами.

— Разве это наш первый разговор? И жаль, что ты так все понял.

— А как прикажешь еще понимать? — вдруг взорвался Султан. — Думаешь, я так наивен, что не уловил, что кроется за всей этой возней? Ну что ж! — В голосе его звучало нескрываемое злорадование. — Поживем — увидим, не окажешься ли ты лишним на чужом празднике! Боюсь, как бы твой гениальный дружок не оставил тебя с носом!

Акраму было неловко за директора. На какую-то долю секунды ему захотелось повторить все, что он говорил Султану прежде, — без дипломатии, резко и прямо. Но в следующее мгновение он понял, что это будет разговор двух глухонемых. Султан все равно перевернет все с ног на голову.

Акрам устало махнул рукой и спросил:

— Я свободен?

Задохнувшись от злости, Султан жестом указал на дверь. Акрам последний раз оглянулся. Директор стоял посередине кабинета, скрестив руки на груди, в позе оскорбленной добродетели. Таким он его и запомнил — надутым, обиженным и... жалким.

На следующий день в институт явилась комиссия — целый «ревизионный взвод» из двенадцати человек. Никто не ожидал такой оперативности со стороны министерства, такого внушительного отклика.

— Не одного прислали, не двух! — шептались во всех углах.

— Глядите, какая сила! Ох, неспроста!

Улучив момент, в коридоре навстречу Акраму сломя голову кинулся Камильджан, улыбающийся, счастливый.

— Акрам-ака! Невероятно!.. Только в старину в нашем



народе были такие подвижники, как вы. Как жаль, что вы раньше не посоветовались со мной. Камильджан все знает, да не каждому скажет. Ведь если и с другой стороны заглянуть — совсем незавидная картинка!.. Хан в быту... Моральный облик оставляет желать лучшего. Мне даже известно имя последней его любовницы, — перешел он на доверительный шепот.

Камильджан так искренне и преданно глядел в глаза Акрама, что не было сил оборвать его, пройти мимо.

Акраму стало тяжело в стенах института. Стараясь ни с кем не встретиться, он поспешил уйти.

Оказывается, у Султана не так уж много друзей. Как легко все отшатнулись от него, не говоря уж о таких, как Камильджан. Значит, только страх заставлял людей молчать. И, если б не Зафар, толкнувший Акрама выступить, Султан до сих пор варил бы безнаказанно свое дурно пахнущее варево и никто не снял бы с казана крышку. Немного отдышавшись, Акрам вновь повернул к институту. Там он отыскал председателя комиссии и положил перед ним телеграмму Убая.

— Как хотите, а мне нужно ехать.

Доцент долго вчитывался в текст, хмурился, вздыхал и, наконец, неожиданно сказал:

— Хорошо. Я поговорю. Сделаю все, чтоб вы поехали. С вами мы всегда успеем встретиться.

Когда Акрам уже складывал вещи, позвонил Зафар.

— Слышал, ты едешь к себе в кишлак? Не прихватишь ли с собой попутчика?

Он с минуту помолчал и добавил:

— От Нилуфар письмо получил...

Автобус мчал по шоссе, и горячий ветерок врвался внутрь. Время от времени Акрам косился на Зафара. Вот как, оказывается, теперь все просто. Нет, он, Акрам, так не умеет. На месте Зафара он бы сейчас корчился от боли, и, пожалуй, каждый встречный мог бы легко прочесть, что творится у него в душе. А Зафар бесстрастным тоном сообщил, что Нилуфар написала в своем письме ни больше ни меньше: «Наши характеры и интересы не сошлись, мы должны расстаться». И Зафар спокоен. Даже способен еще иронизировать.

— Раньше мужчины бросали жен, сейчас этим занимаются невесты. Результаты эмансипации. В письме уведомляет, не очень заботясь о форме, что дает отставку...

Акрам был озадачен. Вновь и вновь он поглядывал на спокойное лицо Зафара. «Должно быть, вот он — настоящий герой нашего времени», — решил Акрам для себя и усмехнулся.

Турабджан, увидев Акрама с Зафаром, начал с места в карьер:

— Ну и влип же я в историю по милости твоей первой любви! Сначала ты схватил меня за горло. Потом твоя жена

читала мне тут душеспасительные проповеди! Мало! Прислали корреспондента из газеты... А теперь вижу — привезли еще одного на подмогу. Ничего не скажешь, дружно взялись. Обложили, как волка, со всех сторон.

Помолчав, добавил:

— Сдаюсь без боя. Уж не из Верховного ли суда будете? — спросил, щурясь, Зафар.

— Бери выше! — подзадоривал Акрам. — Из Союзной прокуратуры товарищ.

— Бедная моя голова! — полушутя, полусерьезно принялся причитать Тураб.— Оставишь меня в покое, если председательское кресло добровольно отдам твоей Хамиде?

— Смотри, каким покладистым стал. Председательское кресло — бог с ним! Хорошо бы, хоть сам чуть образумился.

— Это кому же из нас образумиться? — удивился Турабджан.— Будьте беспристрастным свидетелем, уважаемый гость! Сам кашу заварил, а нам — расхлебывать... И мы еще виноваты! Как вам нравится!

Турабджан был явно в ударе. Он так разошелся, что его трудно было остановить, особенно когда он узнал, что Зафар архитектор и приехал не по делу Садыквоя, а просто захотел на месте познакомиться с генпланом кишлака.

Неожиданно он предложил:

— Вот что, отдаю в ваше полное распоряжение машину, катайтесь, смотрите, что душе угодно. А то потом скажете, что Турабджан вам только центральную улицу показал. А я закончу свои дела и вечером загляну к Акрамджану. Там и поговорим обо всем.

Прощаясь, он не утерпел, извинившись, отозвал Акрама в сторону и с укоризной зашептал:

— Как же ты такую чудесную женщину из рук выпустил? Ведь ей цены нет!

— Оставь! — оборвал Акрам.

— Шалишь! Так просто от меня не отделаешься. Ишь как заговорил — оставь! Поделом тебе досталось, а то совсем от рук отбился. Молодчина Саярахон! Хватит, раньше ты учил меня уму-разуму, а теперь, видно, пришла моя пора. Скажи Нартаджи, пусть индюка зарежет да где-нибудь найдет пару бутылочек армянского — в гости загляну.— Не дав Акраму опомниться, он помахал рукой и ушел.

Наступил вечер, дразнящий аромат плова плыл над домом, но Турабджан не появлялся. Зафар, еще днем договорившись встретиться с Нилуфар, отправился к ней и пока не вернулся. Акрам, вконец измаявшись от своих невеселых дум, тоже решил выйти из дому, немного размяться.

Уже у выхода его остановил Нартаджи.

— Я бы хотел поговорить с вами, брат,— сказал он с неожиданной твердостью и, посмотрев на жену, которая в это время

вошла с самоваром, добавил: — Пойди присмотри за детьми. И скажи матери, что я прошу ее зайти к нам.

Акрам молча повернул назад и нехотя опустил на сури. Меньше всего ему сейчас хотелось начинать разговор. Но он понимал, что это неизбежно, и смирился. К тому же где-то втайне он надеялся хоть что-нибудь услышать о Саяре.

В комнату тихо вошла мать, села на самый краешек сури, ласково и печально посмотрела на Акрама. В ее глазах он все время читал немой укор: «Что же ты натворил, сынок?» Но пока он не услышал от нее ни слова упрека. Только утром, едва он переступил порог дома, она не удержалась и заплакала.

Вид Нартаджи был торжествен и суров. Вероятно, он изрядно готовился к своей обвинительной речи. Долго примеривался и, наконец, начал:

— Я позвал вас, мама, так сказать, на семейный совет. — Он откашлялся, почувствовав смущение. — Трудно, конечно, младшему брату выступить в такой роли, но, как говорят, стыд сильнее смерти. Нам надо решать, как жить дальше. — Нартаджи многозначительно посмотрел на Акрама.

«Нам надо решать, как жить дальше!» — машинально про себя повторил Акрам. — Какая нелепая фраза. Почему ему обязательно надо решать, как мне жить дальше?»

— То, что случилось, ложится позором на весь наш род. — Брат чувствовал себя все увереннее. — Мы оказались посрамленными перед всем кишлаком. До чего мы дожили! Нельзя выйти на улицу. За нашими спинами шушукуются, на нас указывают пальцами. Вы хотели жить по-своему — ваше дело! Оторвались от своей родни, стали у нас редким, дорогим гостем, — Нартаджи церемонно поклонился Акраму. — Но все-таки нельзя забывать, что здесь могилы наших предков, и мы должны с уважением относиться к их законам!

«Был ли этот человек когда-нибудь молодым? — с удивлением вслушиваясь в его слова, думал Акрам. — Ему в пору в мечети проповедовать. Жил ли он когда-нибудь полной жизнью, любил ли?»

Раньше Акрама забавляла нарочитая степенность младшего брата, его рассудительная, выпрямленная речь. Сейчас он словно увидел брата впервые: высокий, чуть сутулый, в глазах фанатичный блеск, опущенные уголки рта, дряблые щеки — на всем печать преждевременной старости.

Рядом тяжело вздохнула мать. До Акрама вновь стал доходить смысл слов Нартаджи.

— В нашем роду никогда не было неверных жен. Неужели вы не могли не доводить до позора! Надо бы первым расстаться с ней!

Акрам нервно застучал пальцами по колену. С каждой новой фразой в нем росло раздражение против брата.

— Женщина должна знать свое место в доме, слишком

много воли дали вы своей жене — и вот что из этого получилось, — не унимался Нартаджи.

«Дай такому волю — он может искалечить не одну жизнь!.. И эта непоколебимая уверенность в своей правоте! Воистину, невежество и глупость всегда живут рядом».

Акрам понимал, что происходит непоправимое — он навсегда теряет брата.

— Раз вы сами не можете как следует проучить свою жену, разрешите вмешаться мне.

Акрам всем телом рванулся вперед и тут же почувствовал легкую руку матери на своем плече.

— Уж больно ты много тут говорил, — сказала она сердито младшему сыну. — Без нужды и муха не летает. В семейной жизни бывает всякое. Жена с мужем побранится да стихнет, прежде чем кисейный платок на ветру высохнет! А ты, сынок, смотри, уж какую стену высокую построил!

— Оставьте ваши присказки, мама! — обиделся Нартаджи. — Вечно вы стараетесь всех выгородить. И вот вам результат...

— Не горячись! Не судьи мы им, а только погоревать над их бедой да раздором можем... Вдруг и ты, Акрамджан, в чем виноват... Давайте подумаем вместе... Я разговаривала с ней. Видела, как ей трудно, бедняжке! Что смотришь, сынок? Ходила к ней в больницу. Навещала ее. — Акрам с жадностью ловил каждое слово матери, но Нартаджи вновь заговорил:

— Не о том вы толкуете, мама, не о том! Сразу видно, что образование не пошло ей впрок. Вы мне скажите, чего ей еще не хватало? Дом — полная чаша. Белоручка! Жизни веселой ей захотелось! В корень смотреть надо. Я так считаю: если б она была порядочной женщиной, не бросила бы мужа и не связалась с этими... Знаем мы, для чего становятся артистками!

— Помолчи, сынок! — крикнула Махира-хола, но было уже поздно.

Мелкая дрожь, родившаяся где-то внутри, охватила Акрама с ног до головы.

— Не слишком ли долго испытываешь ты мое терпение? Хватит! Знай меру! Будь ты мне отцом родным, я и тогда не позволил бы тебе...

— Я забочусь о нашей чести!

— Оставь в покое наш род и нашу честь! Кто дал право тебе говорить от лица рода? Если ты так хорошо знаешь все обычаи и порядки, то знай и свое место младшего. Чем читать мне мораль, лучше подумай о своей семье. Посмотри, в кого ты превратил жену! Даже рабыня не так забита и бесправна!

— На ее плечи легло все хозяйство, оставленное нам от отца и деда, — с глухой обидой выдавил Нартаджи. — Что стало бы с нашим домом, с матерью, если б я тоже захотел стать образованным?

Это была любимая песня Нартаджи, и Акрам понял, что сгоряча угодил в свою же ловушку.

Вмешалась мать:

— За меня не беспокойся, сынок. Я уж как-нибудь доживу свой век. Зря ты на Акрама нападаешь. Без его помощи нам бы трудно пришлось. Он прав, подумай лучше о детях, о своей жене. Без любви да тепла любой цветок засохнуть может!

— Вот вы как заговорили! — Нартаджи круто повернулся и, хлопнув дверь, вышел в сад.

Акрам и Махира-хола остались сидеть на сури. На душе у каждого было невесело. Под окном в саду упало яблоко, в открытое окно, громко гудя, влетел шмель. Надо бы встать и зажечь свет. Но ни мать, ни сын не двигались с места.

— Я так боялась этого разговора... Глупый! Сам тогда не поехал учиться, а теперь ищет виновных!

Мать легким движением провела по волосам Акрама.

— Пойди к ней, сынок. Чует мое сердце, что она ждет тебя. Мужчина должен быть сильнее...

— Ладно, мама, может, как-нибудь образуется все... Отдохните... Я немного пройдуся.

Акрам вышел из дому и тут же окунулся в удивительный мир. Громко и зазывно квакали лягушки на плотине, с чувством исполняя свою нехитрую песню. Стреноженные лошади с хрупаньем жевали траву, на тысячи звенящих осколков рвали тишину цикады. Акрам ступал осторожно, стараясь не нарушить гармонию ночных звуков. Он остановился у плотины, долго смотрел в звездное небо, отпечатанное на темной глади водоема. Мерно работали лопасти мельницы.

Они любили приходить сюда вдвоем с Саярой. Подстелив сухое сено, садились вон под тем талом. Как тогда Саяра радовалась всем ночным шорохам, как доверчиво и пугливо прижималась к его плечу! Акраму временами казалось, что весь этот зачарованный и звенящий мир с завистью смотрит на него!

Когда же это оборвалось? Где пролегла та невидимая трещина?.. Мелочные обиды, мелочные уколы самолюбия... Нельзя, нельзя быть рабом своих страстей. Завтра же он пойдет к Саяре в больницу, поговорит с ней открыто, начистоту. Не может быть, чтоб они не поняли друг друга... Кстати, и с Хамидой надо поведаться. Мог ли он предположить, что его записка сыграет такую роковую роль в ее жизни.

Акрам облегченно вздохнул и повернул к дому. Он уже подошел к темнеющим невдалеке садам, как от зарослей тала отделился силуэт и направился в его сторону. Акрам остановился.

— Зафар, неужели ты?

Зафар подошел почти вплотную. Спросил вроде бы шутя:

— Чего расхаживаешь по ночам, как привидение? Прошлое покоя не дает?

— Ты, я вижу, тоже не лопаешься от счастья,— в тон ему ответил Акрам.

— Ошибаешься. Я счастлив,— нервно рассмеялся Зафар.— Видишь, специально ищу тебя, чтоб пригласить на свадьбу.

— На свадьбу? — чуть оторопело переспросил Акрам.

— Да, брат... Нилуфар выходит замуж за Шавката...

Черная листва сада изнемогала от ночной духоты. Над уснувшей землей стоял оголтелый звон, на тысячу голосов кричали лягушки, то басами, то альтами.

Акрам не знал, как быть. Право же, обескураживающе легко все у Зафара: любил — не скрывал, что счастлив, отвернулась — тоже хорошо, смеется...

Неожиданно темная фигура Зафара стала оседать. В лягушачий неистовый хор вплелся еще один звук, скорее похожий на стон.

— Зафар...— шагнул к нему Акрам.

Зафар сидел на земле, опустив голову.

— Зафар!..

— Не надо. Отойди.

И Акрам отступил. Перед ним вдруг открылся Зафар. Что он знает об этом человеке? Всегда цветущ, весел!.. Как же глубоко он прятал свое горе и боль! И вот этот человек сидит у твоих ног сломленный, прямо на земле, и ночь надежно скрывает мужские слезы.

— Поднимись, Зафар...

Молчание.

— Ты слышишь меня?.. Поверь моему слову, не стоит так травить, мучить себя.

— Что же делать, знаю. И... люблю!

Акрам опустился с ним на теплую траву, обнял за плечи. Над спящей землей, не умолкая, кричали лягушки.

Хамида и Саяра узнавали почти все кишлачные новости едва ли не первыми. Они уже знали, что Акрам с Зафаром находятся в кишлаке и председатель отдал им свою машину. Много было желающих доложить Саяре, где они были, с кем встретились...

Весть о свадьбе Нилуфар с Шавкатджаном поразила Саяру. Она вдруг с новой силой ощутила, насколько все в ее жизни перепуталось. Еще вчера готовилась к новому, неприятному разговору с Шавкатом, представляла себе, как твердо и спокойно произнесет свое последнее «нет». А сейчас? Что с ней?.. Неужели ей жалко, что связь с кино потеряна безвозвратно? Может, ей завидно, что Нилуфар получила ее роль, что та станет актрисой, получит известность? Оказывается, не так просто рвать даже с такой, в сущности, пустой затеей.

Кинематография! Эта романтическая профессия не для нее. А право, в ней есть что-то праздничное! Расставаться с праздниками всегда грустно. Впереди ждут будни, врачебная работа, ночные дежурства — ответственность за чужую боль, чужую жизнь...

Все-таки как, в сущности, легко смогли обойтись без нее. А она-то мучилась, что подводит товарищей, срывает Шавкату его первую картину!

Саяра поняла, что больше уже ничего не связывает ее с кишлаком. Пора домой. Хамида уже начала ходить, через несколько дней ее можно выписывать.

Саяра принялась укладывать вещи...

Где-то рядом — Акрам! Приехал и даже не дал о себе знать. Выходит, что и ему ты не так уж нужна!.. Наверное, тоже найдет замену, как Шавкат вместо нее нашел Нилуфар...

Саяра собирала чемодан, и все валилось у нее из рук. Машину у Турабджана она все равно просит не станет. А рейсовый автобус в город отходит только утром.

Ночь легла на кишлак. Даже сюда, в больницу, ветер доносил шум воды у плотины, звонкий хор лягушек. Где-то рядом находится ее муж. Что-то он делает сейчас? Наверное, веселится с друзьями. Нет, в этом большом, чужом ей мире есть только одна точка опоры, одно родное существо — дочь!

Саяра тряхнула головой, возвращаясь к реальной жизни. Больше всего она хотела бы сейчас исчезнуть незаметно, ни с кем не встречаться, никому не говорить ненужных слов. Туда, в большой светлый дом, где в кожаном кресле отдыхает отец. А мать... мать, заглядывая в глаза, будет подавать чай, суетливо раскладывать вещи. За стеной, в кроватке, тихо посапывая, спит дочь.

Саяра решила пойти к Хамиде проститься. Судьба этой женщины многое открыла ей, многому научила.

Хамида приветливо встала навстречу Саяре.

— Как хорошо, что вы зашли, Саярахон. Давайте вместе поужинаем. Как бы мне хотелось принять вас дома,— сказала она и погрузстнела.

Со двора послышался веселый голос Турабджана:

— Можно войти или нужно специальное разрешение?

— Я сейчас узнаю, раис-ака,— ответил женский голос.

— На аппетит ваших больных не жалуетесь? А то тут один ташкентский гость свое лекарство привез. Проверенное средство. Только вот бутылки в аптеке подходящей не нашлось. Так вы уж не ругайтесь, пришлось в коньячную налить,— продолжал Турабджан.

Услышав слово «ташкентский гость», Саяра вздрогнула.

— Разрешите нарушить ваше уединение, дорогие женщины.— Турабджан уже входил в комнату.

Саяра резко обернулась. В дверях рядом с раисом стоял смущенный Зафар. Саяра безвольно откинулась на спинку стула.

Постепенно способность наблюдать возвращалась к Саяре. Она заметила, что Турабджан хоть и держится в своей обычной манере, но сегодня мало походит на обычного самоуверенного раиса. Он был, пожалуй, излишне многословен и суетлив, смущенно поглядывал на Хамиду.

— Милая Саяра, какой же вы главврач больницы,— не унимался председатель,— если на ночь глядя едите простой борщ. Надо было намекнуть повару, он бы живо приготовил отменный плов! А уж куриный суп, кажется, всем больным не противопоказан.

— Научите, как это у вас делается,— нехотя откликнулась Саяра, здороваясь за руку с Зафаром.

— Сейчас попробуем,— сказал Турабджан, но, увидев, что Хамида собирается выйти, жестом преградил ей дорогу.

— Останьтесь, Хамида, прошу вас.

Хамида остановилась, в нерешительности переводя взгляд с Саяры на Зафара.

— Может, отложим до другого раза?..

— Нет, нет. Я именно хочу поговорить с вами в присутствии наших гостей.— Любимым жестом он потер лоб и усмехнулся.

— Вот призываю вас в свидетели. Пришел, так сказать, с повинной... Публично попросить у вас, Хамида, прощения. Кстати, вам небезынтересно будет узнать, что Садыквой понесет наказание по всей строгости закона. Чего вы, собственно, и добивались,— закончил он тихо.

Хамида изменилась в лице.

— Я не добивалась этого....

— Ладно, Хамидахон. Не будем начинать все сызнова. Я виноват во многом и прошу у вас прощения.— Он взглянул в глаза Хамиде.

— Зачем вы затеяли все это, раис? — срывающимся голосом прошептала Хамида.— К чему?

— О, аллах! — искренне огорчился Тураб.— Опять не угодил! Я честно пришел сказать вам, что был неправ! — Видя, что Хамида собирается возразить, запротестовал: — Только, ради бога, не будем сейчас выяснять отношения! Поговорим в другой обстановке. Не тут, не в больнице. У нас еще будет время. Сейчас вам надо запомнить одно: поскорее выздоравливайте, набирайтесь сил и приступайте к своей любимой работе. Может быть, я и плохой председатель, но у меня еще хватает мужества признавать свои ошибки,— добавил он, маскируя свое смущение смехом.

Хамида ничего не ответила. Порывисто собрала со стола посуду и вышла из палаты.

Турабджан растерянно посмотрел на Саяру.

— Неужели опять провинился?

У него был такой озадаченный вид, что Саяра рассмеялась.

— Если таково ваше смирение, то я не хотела бы иметь с вами дело во гневе.

— Скажите на милость, а я старался изо всех сил! Ну, да хватит об этом! Скажите, как ваши дела, Саярахон?

— Уезжаю,— сказала она отрывисто. Больше всего она боялась, что ее сейчас начнут расспрашивать о кино, давать советы или, что еще хуже,— уговаривать остаться.



Но Турабджан только спросил:

— Когда едете?

— Утром, с рейсовым автобусом.

Турабджан многозначительно хмыкнул.

— А вы знаете, что супруг ваш здесь, в кишлаке?

Саяра взглянула на Зафара и покраснела.

— Это меня не касается.

— Жаль, что не касается. А он... каждую ночь кружит вокруг больницы. Да, видно, напрасно... Он тоже завтра уезжает. Пришла срочная телеграмма. Его вызывают в город. Есть опасность, что ваш муж станет директором института. Правильно я говорю? — обратился Турабджан за поддержкой к Зафару.

Зафар кивнул.

Саяра вспыхнула.

— Можно подумать, что меня когда-нибудь интересовал его чин!

— Позвольте вам заметить, что — жаль. А мне вот, грешному, лестно, что столь высокий пост занимает мой друг. Между прочим, в машине места на всех хватит. Ваш приятель Убай тоже в город собрался. Вот все вместе и поехали бы, а?

— Спасибо. Сама как-нибудь доберусь.

— Что ж! Не смею больше навязывать свое общество. Помните, Саярахон, что мы всегда рады видеть вас у себя. Да и место врача я не зря предлагал. Спасибо... за все.— Турабджан прошелся по комнате.— И последняя просьба: передайте Хамиде, что я говорил все искренне. Пусть на меня больше зла не держит. Ну, пожалуй, мне пора. До свидания, еще раз! — Он неуклюже обнял Саяру.— Зафара я вам оставляю. Может, он будет более удачливым, чем я.

— Любопытный человек этот раис,— сказал Зафар, прислушиваясь к шуму отъезжающей машины.— А ведь он прав, Саярахон. Поедем завтра все вместе? Мне здесь тоже больше нечего оставаться.— В голосе его слышалась грусть.

Саяра умоляюще подняла руки.

— Неужели у них действительно свадьба?

— Сами в тень, а меня на солнышко. Ловко у вас получается,— принужденно засмеялся Зафар.— Вы же все отлично знаете сами!

— Простите, ради бога, Зафар. Действительно, такая нежданность! Мне Нилуфар говорила, что ей нравится наш эжиссер. Но свадьба, и такая скоропалительная?..

Зафар поморщился.

— Увы!.. Меня — в отставку.

Зафар смутился и постарался сменить тему:

— А вы... Дали отставку кинематографу? А ведь говорили, что дебют ваш был таким многообещающим!

— Мало ли что говорят? Я поняла, что не рождена быть кинозвездой. Видно, не судьба...

— Мне раис-ака рассказывал, как вы мужественно боролись

с ним за справедливость! Молодчина. Позвольте только один совет?

— Опять про Акрама?

— В общем-то, да!

— Прошу вас... Мне ведь тяжело. И потом, если б он хотел что-нибудь изменить, то нашел бы ко мне дорогу сам, без сватов.— Чувствуя, что может расплакаться, Саяра отвернулась.

— Все! Молчу! Извините меня.— Зафар торопливо вскочил со стула и начал прощаться.— До встречи в Ташкенте.

Саяра проводила его до ворот, вернувшись в кабинет, заперлась. Бессильно опустилась на диван.

Хватит, она сыта по горло чужими советами, пусть даже добрыми. Она не может больше видеть сочувственные взгляды. Зачем он только приехал... Скорее бы утро!

Она заставила себя встать, пройтись по комнате. Надо собраться с мыслями, подготовить все к отъезду, отдать последние распоряжения. Она села за стол, открыла историю болезни Хамиды. Первая ее больная! Где-то внутри жила гордость, что она не отступила в ту тяжелую ночь, не сдалась.

В дверь постучали. Весть об отъезде Саяры быстро разнеслась по больнице. На пороге кабинета стояла медсестра. Из-за ее плеча выглядывали знакомые лица больных. Все пришли ей сказать теплые слова, поблагодарить, пожелать счастливого пути.

— Не забывайте нас, дохтур-апа,— сказал старик сторож.

У Саяры потеплело на сердце. Значит, она нужна людям. Не безразлична. Ей верят. Ее здесь будут помнить.

Последней пришла Хамида.

— Не помешаю вам? Вы не устали? Нам тогда так и не дали поговорить.

Саяра с удивлением смотрела на Хамиду. Ее нельзя было узнать. Она распрямилась, похорошела. Глаза спокойные и ясные.

— Мне нужен ваш совет, Саярахон.

— Да, пожалуйста.

Хамида села, расправила халат, смахнула со стола несуществующий мусор.

— Я знаю, вы меня правильно поймете, вот и пришла к вам,— и, набравшись решимости, боясь, что ее перебьют, скороговоркой выпалила: — Решила окончательно. Я развожусь с мужем.— Словно освободившись от непосильной ноши, она облегченно вздохнула. Победно глянула на Саяру.— Ухожу совсем. Буду жить самостоятельно. Как-нибудь подниму детей на ноги. Сейчас не война, да и люди помогут.

— Ну вот, теперь я уеду спокойная. Вижу, что вы у меня совсем молодчина.

Хамида сидела смущенная и торжественная.

— Вы знаете, я хотела бы вам рассказать о себе, о своей жизни, хотя бы в нескольких словах... И об Акраме тоже. Между нами не должно остаться ни единого облачка.

У Саяры кольнуло сердце.

— Вы знаете, что мы с Акрамом вместе учились? И Турабджан тоже учился с нами. Хорошая это была пора!

Хамида задумчиво смотрела куда-то вдаль.

— Да... Мы договорились не расставаться никогда в жизни.— Она смущенно, словно извиняясь, глянула на Саяру.— Потом он ушел в армию. Я окончила восемь классов и устроилась на работу в правление. Меня выбрали комсоргом. Много молодежи в колхозе было. А Садыквой уже отслужил и работал у нас шофером. Часто мне приходилось в город на разные совещания ездить. Куда бы ни пошла — он всегда машину, как коня, поперек дороги ставил. А вечером, из города возвращаясь, обязательно до самых ворот довозил... Как я ни противилась, все по-своему делал. Вот людская молва и соединила нас вместе. Вы знаете, в кишлаке все люди как на ладони. Разговоры пошли, пересуды. Кто-то из доброхотов постарался Акраму сообщить. А Акрам, не разобравшись толком, написал мне письмо, горячее и несправедливое. Да и я не лучше была. Обидно мне показалось, что он не мне поверил, а сплетникам. Вот я и дала согласие на свадьбу...

Хамида протяжно вздохнула. Помолчала.

— Скоро поняла, что ошиблась. Да сделанного не вернешь. Молодая. Перед людьми неловко было... Потом дети пошли. Так своими руками и загубила жизнь. Даже винить некого. Вот такая нехитрая история, Саярахон. Беде надо случиться, чтоб поумнела!

«Странно сплелись наши жизни,— думала Саяра.— Она и я — обе любили Акрама. И теперь обе одиноки. Только она, кажется, мужественнее, чем я. Решила — точно отрезала».

— У вас все будет хорошо, Хамидахон, не может быть, чтоб у такого, как вы, человека жизнь не наладилась.

— Спасибо, Саярахон. Трудно мне объяснить, что вы для меня сделали. Не красноречива я.

Она как-то удивительно молодо улыбнулась.

— Знаете, что-то раис уж чересчур ко мне внимателен. Во дворе встретился, все просил забыть старое. Так и жду подвоха... Ну, отдыхайте. У вас завтра трудный день.

Нет, видно, в этот вечер ей не суждено было отдохнуть. Не успела закрыться дверь за Хамидой, как раздался телефонный звонок. На Саяру с упреками накинулась Нилуфар. Неужели она способна так обидеть подругу — не прийти на свадьбу!.. Ее просит не только она, Нилуфар, но и Шавкатджан. «Не поздно ли вспомнили обо мне?» — невольно подумала Саяра, но ничего не сказала. Она лишь ответила, что завтра уезжает. Это решено, и она ничего изменить не может. Ей показалось, что Нилуфар облегченно вздохнула, довольным голосом пожелала Саяре счастливого пути.

Неожиданно трубку взял Шавкатджан.

— Счастливым вы человек, Саяра. Всегда знаете, что хотите в жизни.

Саяра так и не поняла, что он имел в виду.

— Желаю вам успеха,— сказала она искренне.

Телефонистка дала отбой.

Скорее бы утро! Не раздеваясь, она легла на диван, забылась в тревожном сне.

На рассвете Саяру разбудил стук в дверь. Густые сумерки еще висели в комнате. Саяра задохнулась, вскочила. Сердце билось почти у горла.

— Кто там?

— К вам пришли...— Голос сторожа спокоен.— Говорит, что больной.

Комната покачнулась. «Он! — стучало в мозг.— Он!..»

Она зачем-то подошла к окну, поправила распустившиеся волосы, сказала нарочито бесцветным голосом:

— Пусть войдет!

Похудевший и осунувшийся, он смущенно остановился на пороге.

— Здравствуй, Саяра... Я пришел за тобой.

Вместо ответа она сглотнула подступивший к горлу комок.

Акрам шагнул к ней, сильным, как в молодости, движением, отнял ее руки от лица.

— Я пришел за тобой, Саяра!

1970



АДЫЛ ЯКУБОВ

## ДАВРОН ГАЗИЕВ- ГВАРДИИ КАПИТАН

*Перевод Ю. Суровцева*

1

Мы прибыли в Монголию в знойный летний день сорок пятого года. Мы — это эшелон молодых ребят, новобранцев. Нас выгрузили в холмистой желто-зеленой степи у мелководной речушки. На ее берегу разбили палаточный лагерь. Потом стали подходить и разгружаться эшелоны чуть ли не прямо из-под Берлина. Было чему позавидовать: бывалые солдаты горделиво позвякивали своими орденами и медалями перед нами, необстрелянными салажатами.

Наша часть еще находилась в резерве, и военная наука продолжалась. Стреляли по дальним мишеням, лихо прокалывали чучела, по-пластунски, нос в пыли, доползали до позиций «врага» и забрасывали их гранатами. Ну, и прочее такое — в степную жару малоприятное... Вернее сказать, тяжесть или легкость наших уроков целиком зависела от командиров рот. «Жестокие» лейтенанты были требовательны, а «добрые» без особого усердия водили нас в штыковые «атаки».

Лейтенант, приставленный к нам, был из «добряков». Заставит попотеть часа два, а потом, давай «закалять организм» на солнышке. А солныце шпарат всюю. Степь с высушенной, какой-то искореженной травой — словно раскаленный тандыр; кажется, лепешки можно печь прямо на земле. Сбросив гимнастерки и ботинки, полуголые, мы нежмся на горячем, каменно-твердом пляже.

За два-три дня тело становится медно-красным, блестит, как хорошо смазанное оружие. Даже Вася, второй номер моего пулеметного расчета, из по-рыбы белесого превратился в черно-бронзового...

Лежу однажды рядом с ним и своим земляком Арсланом, подреываю. Вдруг громкий голос лейтенанта: «Рота! Встать! Смирно!»

К нам направлялась группа офицеров, впереди — высокий худощавый капитан. Орденов у него — как у Рокоссовского! Когда он подошел поближе, я невольно подумал: «Не узбек ли?» Правда, не смуглый, скорее даже белолицый, нос с кавказской горбинкой. Но черные густые брови, несколько враскос прорезанные карие глаза, заметные скулы, — словом, что-то в лице было такое, что выдавало его узбекское происхождение.

Арслан (в шеренге всегда стоит рядом со мной), кивнув на капитана, улыбнулся: «Земляк вроде, а?» Мне близка его радость. За свои первые солдатские месяцы впервые видим узбека-офицера. Да еще с таким количеством боевых орденов и медалей!

Наш добряк-лейтенант, любитель солнца, на бегу одергивая гимнастерку, летит к капитану.

— Товарищ гвардии капитан! Рота...

— Вольно! — Капитан, заложив руки за спину, неторопливо обошел строй. — Расположились, точно на берегу Черного моря... Курортники!..

Лейтенант неловко прокашлялся, попытался пошутить:

— Надо же закалиться перед тяжелым походом...

— С такой закалкой, боюсь, все твои солдаты полягут в степи!

Неожиданно резко вскинув голову, капитан скомандовал:

— Рота! Слушай мою команду! Фронтвики! Шаг вперед, марш!

Фронтвики — и постарше и помоложе — вышли вперед.

— Остальным — направо!

Капитан, четко вышагивая по сухой каменной земле, остановился перед новобранцами и, заслонив ладонью глаза от солнца, взглянул вдаль на желтовато-коричневые холмы.

— Вон те холмы видите?.. Видите! Отлично... Если видите... туда и обратно бегом... марш!

«Туда» было больше версты. У меня ручной пулемет, ствол его обжигает руки. Не пробежав и половины пути «туда», я взмок, будто побывал в бане. А многие ребята уже добежали до холмов и повернули «обратно». Среди них Арслан и Вася, сильно загоревший, с совершенно белыми волосами и ресницами. Вася Колбаскин весело кричал, пробегая мимо меня:

— Как самочувствие, поэт? А ну, дай пулемет и держи диски — с тебя хватит и дисков!

Арслан, как всегда, язвит:

— Оставь его, Вася. Пусть сбросит жирок. Это ему не каптерка!

Арслан намекает на то, что одно время я был каптенармусом.

Пришлось проглотить насмешку. Спорить нечего — выглядел я, должно быть, жалко. Что теперь скажет о солдате-узбеке капитан, похожий на узбека?

К счастью, когда я наконец возвратился к роте, то вместе со мной к ней выскочила — из какой-то лоцины справа — машина-амфибия.

— Рота! Смирно! — Гвардии капитан, тот самый, похожий на узбека, направился к машине, четко печатая шаг.

Моего опоздания вроде бы не заметили. Все смотрели на невысокого седого полковника, на груди которого блестела Золотая Звезда. Фронтвики зашептались еле слышно: «Командир полка... полковник Белобородов... Герой...»

Полковник выслушал рапорт, снял фуражку, неторопливо-усталым движением стер пот со лба.

— Что, солдаты, тяжело в ученье?

Я локтем подтолкнул Васю. А он, точно ждал этого толчка, вдруг выкрикнул своим тонким голоском:

— Так точно, товарищ полковник! Не дают нам разжиреть! А как же без жирка воевать с самураями, товарищ полковник?

Полковник удивленно вскинул седые брови, улыбнулся:

— Молод, видно, еще солдат. Нужен жирок на войне или нет, спроси-ка у этих гвардейцев! — Полковник обернулся к фронтовикам, которые все еще стояли отдельно (везет людям — и бегать не бегают, и стойку «смирно» выдерживают без натуги). — Ну, как дела, старики? Снова придется нам воевать.

Опять раздался пронзительный голосок Васи Колбаскина:

— Обязательства перед союзниками, товарищ полковник?

Все засмеялись. Все, кроме полковника.

— Нет, не только обязательства, сынок. Пока у наших границ стоит миллионная Квантунская армия, нам не будет покоя никогда. Помните озеро Хасан, Халхин-Гол?

Стоявший рядом капитан вдруг весь напрягся, побледнел и глухо проговорил:

— А интервенция двадцатых годов? А Сергей Лазо? Помните?

— Помним, товарищ гвардии капитан! — снова, уже в третий раз, закричал Вася.

Полковник широко открыл глаза.

— Вот это солдат! Сам с ноготок, а голосом камень про-сверлит! — Посерьезнев, обернулся к капитану: — Ну, что ж, Газиев, принимай молодежь в свой батальон. Пусть твердо усвоят: отныне они будут служить в Сто семнадцатом гвардейском ордена Суворова десантном полку!..

И, сев в свою амфибию, Белобородов покатил по ровной степи дальше, к другим — их и отсюда было видно — ротам и батальонам «курортников».

Гвардии капитан Газиев — теперь, когда полковник назвал его фамилию, я не сомневался в том, что он узбек, — еще раз прошел вдоль нашего строя. Чуть загорелое, горбоносое лицо его со сжатыми губами было строго, замкнуто. Около нас с Арсланом он остановился. Вид у меня был, наверное, глуповато-радостный: свой командир — узбек, черт возьми! Капитан неожиданно обратился ко мне:

— Чему это ты улыбаешься, солдат?

— Никак нет, не улыбаюсь, товарищ гвардии капитан...

Карие глаза офицера чуть сузились, уголки тонких губ дрогнули.

— Откуда будешь тогда, не улыбочивый?

— Из Чимкента, товарищ гвардии капитан.

— Из Чимкента, говоришь? Из самого города?

— Нет. Кишлак Карасув. Оттуда буду, товарищ капитан.

— Карасув? — переспросил он, как мне показалось, растерянно.— Из Карасува... Как фамилия?

— Мурадов. Мансур Мурадов, товарищ капитан.

— Вон как...— Капитан помолчал с секунду.— А ты хорошо говоришь по-русски. Где учился?

— Раньше жили в городе, товарищ капитан. До шестого класса учился в русской школе.

Капитан оглядел меня с головы до ног и спросил:

— Ну, а с почерком у тебя как? — Газиев вытащил из своего планшета карандаш, толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете, протянул мне. Я сунул пулемет Весе, расписался.

— Так.— Капитан обернулся назад и позвал: — Харитонов!

Из группы офицеров вышел молоденький русоволосый старший лейтенант. Тоже вся грудь в орденах, а ямочки на щеках — как у девушки.

— Этого солдата переведешь в распоряжение Дмитрия Михайловича.— Пожилой, вроде как наш мираб из Карасува, старшина с обвислыми седеющими усами кивнул. Капитан снова обернулся ко мне.— Будешь писарем в штабе батальона... Не возражаешь? — добавил он вдруг по-узбекски.

Меня опередил Арслан.

— Станет он возражать — он у нас поэтом считается, товарищ капитан. День и ночь строчит и строчит...

— Так нет возражений?

В знак согласия я молча склонил голову.

## 2

В прибывшем в Монголию большом эшелоне было всего четверо узбеков и один казах. Мы с Арсланом попали в первый батальон, Шоюсуф, тоже из нашего кишлака парень, и казах Серкабай — в третий. А вот кому здорово повезло, так это Мирхайдару. У длинного, на редкость неуклюжего, за что и прозван он был Верблюдом, детины была одна-единственная забота — насыщение своего чрева, и как раз Верблюду-то на удивление всем попал на службу в продовольственные склады полка.

Услышав про это, мы от смеха чуть животы не надорвали.

— Послали волка овечий загон стеречь,— сказал Арслан.— Какой глупец додумался до такого решения?

— Почему же глупец? — Мирхайдар сморщил мясистый нос.— Спросили, чем я до армии занимался. А я в рабкоопе был. Тогда спросили, хочу ли в ПФС<sup>1</sup>. А что, по-твоему, мне надо было отказаться? Ну, уж нет,— это вы в бой рветесь, особенно Арсланшер<sup>2</sup>, так на то он и лев, а я сказал, что с удовольствием буду работать... с продовольствием...

<sup>1</sup> ПФС — продовольственно-фуражная служба.

<sup>2</sup> Арсланшер.— В узбекском языке словз «арслан» и «шер» обозначают «лев».



— Ты-то, конечно! Только что будет с нами, бедными, если ты будешь заправлять складом?

Мирхайдар хохотнул.

— Не бойся, браток. Будет полон мой котел, не останется пустым и твой черпак!

Ну ладно, у каждого, как говорится, свой путь в жизни. Пятеро земляков, мы обнялись, расцеловались, да так крепко, будто и не увидимся больше...

Вечером, после того как Белобородов и Газиев устроили смотрины новобранцам, я сдал свой ручной пулемет Васе и, затолкав небогатые свои пожитки в вещмешок, направился в штаб, со страхом ожидая того, что мне там приготовила судьба.

Штаб батальона тоже размещался в палатке, только палатка эта стояла чуть выше наших, солдатских, на гребне еще не окончательно выгоревшего под солнцем холма.

Арслан провожал меня до штаба. Он никак не мог успокоиться из-за того, что капитан Газиев, оказывается, знал о нашем кишлаке. То и дело обтирая пилоткой голову, «лев» удивлялся:

— Откуда он знает наш Карасув, а? Может, он из соседнего кишлака? А вдруг он тоже карасувец?

— Ну и что, если так?

— Как «ну и что»? Вот ты уже писарек! Если и дальше так пойдет, глядишь, выскочишь в ефрейторы. А дальше, что тебе стоит, и в генералы.

— Буду генералом, возьму тебя в денщики! — отбивался я.

— Ну, такой генерал, как ты, будет мне самому сапоги чистить! — острил Арслан.

Вот и палатка. Над входом в нее табличка — «Штаб». Арслан, крепко пожав мне руку, снова не удержался:

— Не задирай своего начальственного носа, о писарь-визирь, не забывай о нас, простых смертных...

— А ты заходи, заходи... Начальник я не из строгих, может быть, тебя и пропустят ко мне, — отшучивался я, жалея в эту минуту, что не будет теперь рядом ни красно-белого Васи, ни этого задиристого «льва».

Арслан повернул назад. А я вступил в палатку, откинув дверь-полог.

Вступил и, как говорят в романах, застыл от неожиданности.

В центре палатки, за походным столиком, сидела, глядясь в маленькое круглое зеркальце и расчесывая распущенные по плечам рыжевато-золотистые волосы, девушка лет двадцати. Судя по погонам, младший лейтенант. Оторвав глаза от зеркала, девушка удостоила взглядом и меня. У нее были необычайно большие и голубые-голубые, как наши карасувские родники, глаза. Мне показалось, что вся палатка залита мягким голубым светом — так хороша она была, девушка-пери с погонами младшего лейтенанта.

Младший лейтенант сначала удивленно уставилась на меня,

потом, перехватив мой взгляд, невольно задержавшийся на ее оголенных коленях, одернула юбку и быстро встала.

— Что должен делать солдат, когда видит командира?

Голос прозвучал решительно, но зеркальце, которое она, боясь уронить, держала в руке, распущенные волосы, и еще орден и медали, смешно топырящиеся на ее по-молодому высокой груди,— все это противоречило строгому голосу, и я еле удержался от улыбки. Но вытянулся:

— Виноват, товарищ младший лейтенант!.. Рядовой Мурадов прибыл в штаб по приказу гвардии капитана!

— А, ты и есть тот солдат, о котором говорил капитан? Значит, он подобрал себе писаря из земляков!

Ее слова задели меня. Младший лейтенант, почувствовав это, слегка сощурила свои роскошные голубые глаза и протянула мне руку.

— Ну, будем знакомы. Оля... младший лейтенант Куприянова.

Улыбаясь, я пожал ее маленькую узенькую ладонь.

— Солдат Мансур Мурадов.

Она снова нахмурила брови.

— Что тут смешного?.. А ну, смирно!

Я снова покорно вытянулся.

— На фронте был?

— Нет, товарищ младший лейтенант.

— Пороху не нюхал, а загадочно улыбаешься... Молод еще! Понятно?

— Понятно, товарищ младший лейтенант.

— Ладно... Будем вместе работать... Вот этот сундук — твой. В нем штабные документы. По ту сторону сундука будешь спать ты, по эту — я... Все, я пошла. Спросит капитан, скажешь, что я в первой роте. Понятно?

Она быстро, я моргнуть не успел, заплела косы, как-то по-особому сложила их на голове, надела пилотку, которая сразу сделала ее очень похожей на лихого молодца-офицера, и решительно шагнула к пологу-выходу.

Откинув эту палаточную дверь, Оля чуть не столкнулась с внезапно возникшим у входа высоким мужчиной. До черноты смуглый офицер — я сразу заметил: капитан! — тоже бросался в глаза какой-то особой лихостью — фуражка набекрень, из-под нее кудрявый, пышный чуб, вид подтянутый и озорной.

Капитан быстро отступил перед Олей на шаг назад, молодцевато приосанился.

— Здравствуйте, товарищ младший лейтенант.

— Здравствуйте.

Оля остановилась. Черные глаза капитана изумленно расширились, под тоненькими, очень эффектными усиками засияла восторженная улыбка.

— Будем знакомы, товарищ младший лейтенант,— энергичным мужским жестом он протянул Оле руку.— Артем.

— Оля.

Капитан, кажется, сразу и целиком вобрал в себя младшего лейтенанта: его глаза не отрывались от Оли, белые, как сахар, зубы сверкали.

— Вот так здорово! Такая очаровательная девушка в нашем полку, а я не в курсе дела.

Младший лейтенант тоже засмеялась.

— И вправду странно. Я не первый день в части и тоже не видела вас.

— Исправляйте ошибку, хотя она и не удивительна: всего три дня, как я прибыл в ваш полк, Оленька. Прямо с Кавказа,— сказал он, сделав, как мне почудилось, загадочное ударение на слове «Кавказ».— Никак не могу привыкнуть к этой жаре. И вам, наверное, трудно, Оленька?

— Да нет, привыкаю...

— Ах, оставьте! Что вам в этой степи? Вам бы жить и цвести у нас в горах...

Оля обернулась и бросила на меня лукавый взгляд.

— Вы говорите так, будто сейчас же увезете меня на Кавказ.

— С великим удовольствием, если вы согласитесь...

— Договорились. Сразу поедем, как только получите разрешение начальства.— Оля выбралась наконец из палатки и, постукивая каблуками брезентовых сапожек, побежала в сторону речки.

Капитан заморожено следил за ней, потом кашлянул и посмотрел на меня.

— Хороша девка, а, солдат? — Помолчав, подмигнул и добавил: — М-да, комбат, видно, не дурак.

— Что? — Я сделал вид, что не понял намека.

— Что, что, простак ты, вот что.— Капитан по-свойски надвинул пилотку мне на глаза.— Комбат-то где?

— Не знаю...

— Придет, скажи, пусть позвонит в полк, капитану Ногаеву, Артему Ногаеву. Понятно? — Он еще раз посмотрел в ту сторону, куда ушла Оля, вздохнул и, звеня шпорами, тоже удалился. Его путь был в лощину, где виднелись громадные палатки полковых ПФС.

«Артем Ногаев... а почему не Ногаидзе? Не Ногаян? Наконец, не Ногай-заде, если кавказец?»

Я попробовал растянуться на соломенной циновке, покрывавшей земляной пол около сундука... «По ту сторону сундука будешь спать ты, а по эту — я...» Сундучок-то довольно низенький. Я невольно усмехнулся: поживем — увидим, товарищ кавказский капитан.

В палатке с приподнятыми краями и откинутым пологом было прохладно, да и дневная жара несколько спала. Повеял вечерний ветерок.

Отсюда, со склона холма, на котором стояла палатка комбата, все вокруг просматривалось как на ладони. До подножия гряды

далеких плоских то ли гор, то ли опять же холмов раскинулась коричневая, уже выгоревшая, степь. Ближе к нам она была перечеркнута рядами бесчисленных палаток, а поодаль палаток не было; там виднелись накрытые брезентом пушки, танки, какие-то брички, паслись лошади. Вились дымки походных кухонь. Слышался гомон солдат, где-то попискивала гармошка. И все это, слившись в единую картину и в единый звук, парящий над степью, напоминало временную стоянку войск из каких-то древних-древних сказаний... Здесь и впрямь стоянка была временной, но только войска были другие, совсем не древние.

В этой знойной легендарной степи создавались новые соединения Забайкальского фронта. Через несколько дней они должны были стремительным маршем двинуться к границам Маньчжурии...

— А, Мансурбек! Пришел?

Я вскочил с циновки.

— Товарищ гвардии капитан! По вашему приказанию...

— Сиди, сиди... Вольно...— Бросив на сундук блестящий кожаный планшет, капитан начал снимать с себя амуницию.

— Вот что, Мансурбек. Начштаба нашего батальона заболел, лежит в медсанбате. Пока он нас догонит, ты будешь заправлять тут всей писаниной. Что будет непонятно, спросишь у младшего лейтенанта Куприяновой или у старшины Сало... Чего улыбаешься? — Это он спрашивал сегодня в третий раз. Я покраснел.

— Виноват, товарищ капитан. Вы сказали: Сало... Смешная фамилия. А в нашем взводе есть солдат Вася Колбаскин...

— А-а...— засмеялся капитан.— У нас, узбеков, тоже бывают такие фамилии, что не дай бог... Значит, будешь работать со старшиной. Ну а теперь давай поедим, что аллах через ПФС нам послал...— Капитан достал откуда-то из-за сундука котелок каши, обмотанный чистой тряпичей, чтобы не остыла («Женская рука в доме»,— подумал я), буханку ржаного хлеба, завернутую в газету, и, пригладив свои густые каштановые волосы, подсел к столику.

— Бери ложку, садись!

Смущаясь, я сел напротив комбата. С аппетитом уничтожая жесткий хлеб и все-таки холодную кашу, капитан неожиданно спросил:

— А этот... Карасув, Мансурбек, хороший кишлак?

Опять Карасув!.. Я удивленно уставился на комбата.

— Ой, что вы, товарищ капитан! Весь в садах. На каждом шагу у нас родники, голубые-голубые...

— Вон как,— произнес капитан и почему-то нахмурился.— А ты... случаем... не знаешь мельника Саидикрама?

Я даже растерялся. Что за вопрос?!

— Да как же не знать? Всегда молот пшеницу на его мельнице...

— Тогда ты должен знать и его дочь... Саломатхон.

Я почувствовал, как вдруг бешено заколотилось сердце. — Знаю. Но вы... Вы-то откуда знаете ее, товарищ капитан?

Газиев стоймя воткнул ложку в кашу. Поднялся.

— Я ее знаю потому... — произнес он, — потому что учился вместе с ней в техникуме...

— Правда? Тогда вы, наверное, должны знать, что Саломатхон...

— Как там старик? — перебил меня капитан. — Как он себя чувствовал, когда вы из кишлака выехали?

— Неплохо, только... после извещения о смерти старшего сына немножко сдал... А после того, как я был уже в армии... — Я не договорил: резко зажужжал полевой телефон.

Капитан взял трубку, на секунду приложил ее к уху и, тут же сказав: «Есть, товарищ полковник», — стал поспешно собираться.

— Я буду в штабе полка. Возможно, вернусь поздно. А ты пока отдыхай... Гляди-ка, чуть мы с тобой земляками не оказались! — Комбат подмигнул мне и, надев фуражку, вышел из палатки.

Я вспомнил про визит Ногаева.

— Даврон-ака! — крикнул я вдогонку Газиеву, опять нарушив устав (не по правилам обратился!). — Какой-то Ногаев просил вас позвонить.

— Кто? — остановился комбат.

— Ногаев. Капитан Ногаев.

Даврон-ака нетерпеливо махнул рукой и быстро зашагал прочь.

«Карасув. Мельник. Саломатхон... Кто же он им, капитан Даврон-ака Газиев?..»

### 3

...Теплый летний вечер тысяча девятьсот сорокового года. Во дворе нашей школы стоит четырехколесная арба, доверху нагруженная пахучей сухой соломой. Я лежу на этой соломе.

В тот исторический день мне в пятку воткнулась иголка. Воткнулась, сломалась и оставила кусочек в пятке. Меня отправляют в городскую больницу. На той же самой арбе вместе со мной должна поехать целая группа окончивших семилетку. Я останусь в городе. А они сядут в поезд, который повезет их в Ташкент, — будут учиться дальше.

Две арбы, отправляющиеся в город, окружило чуть ли не все население кишлака. Ребята нарочито громко смеются, храбрятся, девчата не могут отойти от матерей и бабушек, то и дело утирающих слезы... Ждут Саломатхон. Наконец слышатся голоса: «Идет, идет!.. Вот она... Ну, где ты там пропадала, милая?..»

Я приподнимаю голову: ах, Саломатхон, Саломатхон... яркое атласное платье, златотканая тюбетейка, букетик райхона — базилики в руках... Она подбегает к арбе и бросается в объятия подруг... Я не должен смотреть... Я не могу оторвать от нее взгляда.

Неделю назад, на вечере выпускников, я впервые услышал ее пение и с тех пор не могу понять, что со мною происходит, когда думаю о ней, а думаю о ней я теперь всегда, все время... Вот и сейчас думаю: не успела появиться она, как все вокруг вдруг посветлело, засияло, будто наступило полнолуние.

Отец Саломат, густобровый, красивый старик (борода и усы у него вечно в мельничной пыли), целует дочь в лоб и подводит ее к «моей» арбе. Я весь съезживаюсь от какого-то сладостного страха, от предчувствия чего-то удивительного.

Саломат первой из девчат залезла на арбу, села у моего изголовья на палас и, поправив платье, нагнулась ко мне, распростертому, несчастному инвалиду.

— Это вас поранила иголка?

— Да...

— Болит нога?

— Нет, пустяки, — отвечает храбрец, и впрямь не чувствуя боли. Если бы не паника соседок и не страх мамы («Игла, оставшаяся в пятке, дойдет вместе с кровью до сердца!»), я, может быть, и в самом деле не поехал бы в больницу, а может быть, поехал бы все-таки...

Саломат, не поверив моему храброму «нет», покачала головой:

— О, какой вы терпеливый! Если бы это со мной случилось... Наверное, я лежала бы и орала сейчас во всю мочь! — Она гладит рукой мои волосы. Ее смеющиеся глаза, сияющее счастьем лицо, ласковые теплые пальцы — все в ней кажется мне таким прекрасным, что я, точно заколдованный, смотрю на нее. Затем, смутившись, отворачиваюсь. Мужчина называется. Что это я, влюбился, что ли?

— Хочешь яблоко? — вдруг обращается ко мне на «ты» Саломат и вынимает из своего хурджуна большое белое яблоко. Протягивает мне. Я послушно беру его, забыв произнести «спасибо». Я не хочу смотреть на Саломатхон, не должен смотреть. А она, с хрустом откусив другое яблоко, пересаживается к подругам. Начинаются девчоночьи перешептывания, хихикания.

Зажав яблоко в ладонях, я подношу его к носу. Приятный аромат яблока, смешанный с тонким запахом базилики. Это от букета райхона, что держала в своих руках Саломатхон... Или от ее рук, таких нежных...

Я закрываю глаза, и мне чудится, что я не на арбе, а в легком челноке, плывущем по большой и тихой реке. Сквозь эту странно-блаженную дрему слышу, как парни — ну да, они ведь там, на другой арбе, впереди — заводят длинную и печальную песню о разлуке, о вечной любовной тоске.

Будь сердце словно лед, но и оно  
От мук моих, конечно бы, растаяло.  
Но что они тебе? Не все ль тебе равно?  
Покинула меня, страдать оставила.

Мне кажется, что джигиты поют для одной Саломат: она уезжает, покидает их, такая девушка...

Точно подтверждая мою мысль, из темноты позднего вечера звучит, слышу, чей-то басок:

— Саломатхон! Спойте разок! Как знать, доведется ли нам еще раз услышать ваш голос?

— Ой, почему это вы так говорите? — с упреком отвечает Саломат.

— А кто его знает? Вы едете в большой город, покидаете родное раздолье... Спойте!

Девчонки на моей арбе поддержали басовитого джигита, защебетали:

— Спой же, спой, Саломатхон!.. Не заставляй просить их снова... Спой для всех нас...

Мне тоже очень-очень хочется, чтобы Саломат спела, почему я не догадался попросить ее об этом первым?

Услышать ее голос, изумивший меня чистой красотой недавно, на выпускном вечере, в школьном саду, — разве это не счастье?

Саломат предлагает:

— Девушки, давайте вместе споем «Ёр-ёр»! — И, не дожидаясь ответа, тихо начинает:

Цель далека, а мой конь изнемог.  
Не осилю пути, ёр-ёр, не осилю пути.  
Река глубока, и поток валит с ног,  
Не могу перейти, ёр-ёр, не могу перейти...

Девчата подхватывают:

Река глубока, и поток валит с ног,  
Не могу перейти, ёр-ёр, не могу перейти...

Светлое и грустное чувство переполняет меня. Я приподнимаю голову и вижу, как широкая степь, закутанная в темную одежду надвигающейся ночи, и холмы, подремывающие, будто сытые ягнята, и казахские аулы, мерцающие где-то вдали редкими огоньками, и звездное небо — как все вокруг слушает девичью песню. Слушает — и чудится мне — желает счастья, одного только счастья нашим ласточкам — так называли этих девушек старушки в кишлаке, ласточкам, впервые улетающим в дальние края.

Я снова опрокидываюсь на спину. И снова мне кажется, что не арба покачивается подо мной, а легкая лодка плывет по тихой реке и вдали мерцает не свет казахских аулов, наших соседей, а огни пароходов, то зажигающиеся, то гаснущие,

и оттуда, с этих далеких пароходов, несется светлая и грустная мелодия:

Цель далека, а мой конь изнемог.  
Не осилю пути, ёр-ёр, не осилю пути.  
Река глубока, и поток валит с ног,  
Не могу перейти, ёр-ёр, не могу перейти...

Я закрываю глаза. Я заснул, но нет, я не сплю, ведь я чувствую, как чьи-то пальцы гладят мои волосы, мое лицо. Я просыпаюсь.

Девчата уже не поют больше. Саломат разостлала ватное одеяло рядом со мной.

— Не холодно? — спрашивает она, услышав, как я заворочался.

— Нет...

— К утру падет иней.— Саломат кладет поверх моего толстого одеяла верблюжью войлочную накидку, затем сама закутывается, смеясь от удовольствия, в свое одеяло. Минуту спустя я различаю шепот одной из подружек:

— Саломатхон, а Саломатхон? Ты не спишь?.. Не боишься ты?.. Города, говорю, не боишься?

— Города?.. А ты?

— Мне-то что!

— А мне?

— Ну, ты красивая! К таким, как ты, все парни пристают.

— Скажешь тоже!

...Утром меня разбудил арбакеш. Арба стояла около больницы, и не было рядом ни Саломатхон, ни ее подружек.

Долго еще тосковал я по той теплой летней ночи, по грустной песне Саломатхон. И, видно, поэтому, когда по кишлаку прошел слух, что «Саломат с кем-то сбежала из техникума», я несколько дней ходил сам не свой.

Да, слухи о девушке были один другого страшнее.

«Саломатхон сошлась с негодяем...»

«Джигит, с которым сбежала Саломатхон, выгнал ее из дому...»

«Саломатхон попрошайничает...»

Были первые дни войны. Как-то, проходя мимо гузара, я услышал громкую брань, несшуюся из чайханы. Я заглянул в чайхану и увидел на сури под чинарой группу молодых парней в белых шелковых рубашках. Это были те самые ребята, что уезжали из кишлака на учебу, а с началом войны вернулись обратно. Перед ними стоял старый мельник, отец Саломат. Как обычно, мучная пыль покрывала его бороду и усы. Рубя ладонью воздух, мельник хрипло кричал:

— Кто скажет про вас, что вы джигиты? Усы-то вон растут, но были бы вы джигитами, разве допустили бы, чтобы мою дочь украл чужак? Упустили из рук, а теперь распространяете подлые сплетни о ней! Хвала тому, кто увел из-под носа таких растяп мою дочь,— вот он мужчина!



Парни сидели, опустив головы, да и что они могли сказать? Мельник бранил их, ругал Саломатхон последними словами, но ведь по лицу старика катились слезы.

Я молча повернул назад.

Прошло два года. Мое полудетское чувство к девушке с чудесным голосом выветрила война, ее заботы и трудности. Да и о самой Саломат не было ничего известно. Только изредка, когда мне приходилось отвозить пшеницу на мельницу и видеться с отцом девушки, вспоминалась давняя тихая летняя ночь, звездное небо, песня «Ёр-ёр». Старый мельник сиднем сидел в полутемном, сыром и ветхом помещении, опустив голову, закрыв руками белое от мучной пыли лицо. На полу перед ним всегда стоял чилим. Старик не обращал внимания на приходивших и уходивших людей. Лишь изредка он бросал им: «Забери. Оставь». Женщины шептали: «Несчастный! Как лишился любимой дочери, так и разум помутился у него».

Прошел еще год. Было начало октября, но в школе занятия не начинались. Все мы — и те, кто подрос, и помоложе — работали в колхозе. Я и Арслан — арбакешами.

Как-то Арслан повез хлопок в город на хлопкозавод и вернулся оттуда вечером возбужденно-радостный.

— Знаешь, кого я доставил из города?

— Ну?

— Дочь мельника. Помнишь? Саломатхон, которая перед войной сбежала с чужим джигитом в Фергану. Вот ее... Ну и красавица, я тебе скажу. Недаром страдали по ней наши ученые джигиты...

— Ты что, втюрился, что ли?

— Я? Скажешь тоже... Мне-то что, вот ты, поэт, поберегись! Увидишь — сразу с ума сойдешь!

Я сделал вид, что смеюсь над словами Арслана, но втайне всей душой рвался к Саломатхон. Несколько раз на мельницу наведывался, вдоль их сада патрулировал, но Саломат так и не встретил.

А слухи, самые разные, поползли опять по кишлаку.

«Муж бедняжки на фронте погиб...»

«Брат мужа хотел жениться на ней, а она, видишь, не захотела, обычай нарушила».

«Родственники мужа заперли ее в ичкари, но Саломат сбежала»...

Неожиданный случай помог мне увидеть ее.

Однажды к нам в бригаду заявился секретарь кишлачного совета.

— Вечером в колхозном саду состоится встреча с героем войны. Берите дутары, и чтоб без опозданий!

Группа юношей и девушек организовала тогда кружок художественной самодеятельности; в длинные зимние вечера мы, как могли, развлекали людей своими концертами.

Герой войны был уроженцем соседнего кишлака, он вернулся с фронта раненым, и вот уже неделя, как по всему району одна встреча с ним сменяла другую. Вечером художественная самодеятельность без опозданий пришла в колхозный сад; там вокруг столов, на которых лежали одни фрукты, уже сидели человек тридцать колхозников из районного актива.

Герой, вопреки моим ожиданиям, оказался молодым застенчивым парнем. Он сидел на почетном месте, рядом с председателем райисполкома, потупив взгляд, стесняясь своей известности. Только было председатель поднялся со стула, намереваясь открыть торжество приветственной речью, как начался среди присутствующих какой-то легкий переполох. Я оглянулся на калитку: с улицы в сад входила группа женщин, и среди них — Саломатхон... В ярком атласном платье и в белых, довоенной моды, туфлях на высоких каблуках она выглядела так же молодо и прекрасно, как в далекий выпускной вечер. Смущаясь и робея, она пряталась за другими женщинами, потом торопливо опустила на крайнюю скамейку.

Арслан саданул меня в бок: «Ну, как?» И вздохнул: «Ох, заем мать Арслана не родила его на пять лет раньше?»

Женщин пропустили вперед, поближе к герою и председателю райисполкома. Председатель все-таки произнес речь, затем предоставил слово виновнику торжества. Молодой парень-тракторист, краснея и заикаясь, рассказал нам о фронте, о боях, в которых он участвовал. После него очередь была за нами, музыкантами. Но не успели мы взять в руки дутары, как со всех сторон послышались просьбы: «Пусть Саломатхон спое что-нибудь!»

Саломат согласилась не сразу, но и отнекивалась недолго. Помню, первой была моя любимая песня «Вечно ищущая», а вторая — недавно появившаяся песня о фронтовиках — «Жду не дождусь». Голос ее не потерял звонкой чистоты, но лишь стал сильнее и, как мне показалось, печальнее. «Жду не дождусь» она спела так, что растрогала всех, а женщины, конечно, всплакнули... Певица стояла рядом с музыкантами, немного впереди их, по правую сторону от меня, держась за спинку стула и чуть подавшись вперед. Я не видел лица Саломат, только длинные каштановые косы, падавшие по спине до подола платья, видел я и ощущал тонкий аромат базилики. Всклипывали солдатки, и у меня тоже защищало что-то в глазах.

Когда встреча закончилась и я, с дутаром под мышкой, направился к воротам, Арслан придержал меня за руку и отвел в сторонку.

— Постой-ка, проводим девушек сначала.

— Это еще зачем? — удивился я.

— Так надо! — сказал Арслан. — Потом поймешь...

Минуту спустя мимо нас, тихо переговариваясь, прошли женщины. Кто-то грузно протопал вслед за ними. Знакомый голос секретаря кишлачного сельсовета позвал:

— Саломатхон!

Женщины остановились.

— Лаббай? <sup>1</sup>

— Вы идите, бабоньки, идите. Мне надо кое-что сказать Саломатхон...

— Нет уж, постойте, сестрички.— Голос Саломат звучал довольно решительно.— Или у вас, товарищ секретарь, какой-нибудь секрет?..

— Н-н-нет... то есть да... там у нас, в одном месте, собирается компания, красавица,— заюлил секретарь.— Мы приглашаем вас, Саломатхон...

— Спасибо.

— Председатель лично просил... Посторонних не будет. Интимно, так сказать.

— Скажите председателю, что я не хожу в интимные компании.

— Подождите, Саломатхон, да постойте же.— Секретарь, видно, взял ее за руку.

Послышался резкий оклик Саломатхон:

— Уберите руку!

Арслан громко кашлянул. Секретарь, видно, струсил. Свидетели ему не были нужны. В темноте послышался смех удалявшихся женщин. А секретарь выругался сквозь зубы и затопал обратно.

Арслан шепнул мне:

— Ну, понял теперь, зачем я тут остался? Вот она какая, Саломатхон! Молодчина!

Долго в ту ночь мы с Арсланом, оба в прекрасном настроении, точно выиграли крупный приз на улаке, бродили по безмолвным улочкам кишлака и говорили, говорили друг другу о Саломатхон, об ее красоте, чистоте, голосе и уме.

А через два месяца, в конце декабря, нас призвали в армию. Среди призванных была и младший сын мельника, братишка учительницы Саломатхон (она стала работать в нашей школе, преподавать литературу в пятых-шестых классах). Вместе с другими кишлачными женщинами она до самого вокзала шла за арбами, нагруженными вещами новобранцев. На ней было поношенное пальто с бобровым воротником, голову покрывал старый свалевшийся пуховый платок. Помню, на перроне Саломатхон стояла в стороне от всех и держала братишку за руку, как учительница — первоклассника. Она не голосила, подобно другим женщинам, не рыдала, только часто утирала глаза.

Вместе с ее братом мы несколько месяцев прослужили в запасном полку. Не раз я хотел расспросить его о том, что

---

<sup>1</sup> «Слушаю вас», обращение к спрашивающему.

же случилось с Саломат в городе, но так и не решился. Как-то он получил письмо из кишлака и разоткровенничался сам. Все слухи и сплетни о Саломатхон были вздорной бабьей болтовней. А правда была в том, что от ее мужа, офицера, вот уже год как нет писем. Пропал без вести.

Брат Саломатхон попал в другой эшелон. Их довели до Читы, затем направили на Дальний Восток, а мы повернули в Монголию...

...Неужели мой комбат, Даврон-ака Газиев, и есть тот самый джигит, который отбил Саломатхон у парней нашего кишлака, и это о нем, размазывая слезы по морщинистому лицу, старик-мельник сказал: «Молодец джигит. Настоящий мужчина!»? Или капитан лишь один из тех меджнунов, что косяками ходили вокруг красавицы Саломат, да так и остались ни с чем?..

Воспоминания и вопросы разбредили меня. Я накинул на плечи шинель и вышел из палатки.

На степь опустилась прохладная летняя ночь. Бесконечные ряды палаток, машины, танки, пушки — все, что было видно днем и поражало воображение, окутано мягкой темнотой, ровной, одинаковой, такой, какая бывает только в пустыне. Даже вокруг редких огоньков нет мерцания: желтые точки — словно проколы на черном занавесе.

Я ложусь на жесткую чахлую траву, гляжу в небо. Такие крупные и белые звезды могут быть только в небе над степью... Вон — семь братьев-разбойников, еще выше — россыпь Млечного Пути, будто золото, рассыпанное по бархату... А ниже Млечного Пути — крупная звезда, Венера.

Мне опять вспоминается кишлак... Год назад, точно в эти дни, мы вдвоем с Арсланом косили пшеницу в нашей чимкентской степи. С необычайной остротой я представляю себе золотистое пшеничное поле, грубо загорелые лица женщин и девушек в цветастых платках, дымок тандыра, где пекутся вкусные лепешки.

Сердце стеганула пронзительная боль: далеко, ох как далеко от родной земли забросила меня война!

Хорошо бы мой комбат и впрямь оказался тем джигитом, которого полюбила Саломатхон!

Я встал, почувствовал ночной холод.

Погасли уже все огоньки лагеря, свет горел только в штабной палатке. Моей палатке. Я подошел к ней, но, услышав сначала звонкий смех Оли, а потом — раскатистый — гвардии капитана, невольно остановился.

— Если он интендант... то почему же носит форму офицера кавалерии? — Это спросила Оля.

— Он такой же кавалерист, как и кавказец, — это Даврон-ака. — Знал я еще одного такого же: не грузин, не армянин, не из Дагестана, а как увидит красивую женщину, сразу про «сол-

нечный Кавказ» намекает. Видно, вам перед Кавказом устоять трудно. А?

Оля весело засмеялась. Затем смех перешел в шепот. Послышался звук, похожий на поцелуй. Он, этот звук, словно фугаска, взорвал созданную моей фантазией причудливую сказку о любви неизвестного джигита к известной мне Саломатхон. Чувство непонятого стыда было так сильно во мне, что я весь съежился и на цыпочках опять ушел от палатки...

#### 4

Итак, я писарь штаба первого батальона гвардейского ордена Суворова десантно-штурмового полка...

Бумаг было много. Списки личного состава (от формы номер один до формы номер десять), всякие там перечни продуктов питания и обмундирования, вплоть до ложек и мисок, тысячи пунктов и сведений, которые надо было подавать в штаб полка. Занимались всем этим хозяйством в основном я и старшина Сало. Иногда — с помощью младшего лейтенанта Куприяновой. Она была фельдшером батальона, но солдаты здоровы, как... солдаты, поэтому у нее свободного времени было много, и Оля охотно помогала мне.

Днем комбат проводил в степи занятия, нередко отлучался он и в штаб полка на разные совещания, а в минуты отдыха или читал, или учился у Оли немецкому языку. Вечерами собирались в палатке офицеры, пели песни, вспоминали фронт: командир первой роты, старший лейтенант Харитонов, розовощекий, с ямочками как у девушки, балагурил вовсю. О нем я узнал, что был отчаянным смельчаком — разведчиком. От него же наслышался я таких «боевых эпизодов», рассказов о встречах с немцами в их тылу, что дух захватывало.

Иногда, оставшись один, капитан Газиев вынимал из планшета тетрадь в блестящем переплете из коленкора и принимался что-то в нее записывать.

Я тогда — тайно от всех — сочинял стишки, и, должно быть, поэтому меня очень интересовало, что это пишет в тетради комбат. Очень хотелось полистать как-нибудь толстую тетрадь в черном переплете. Бывало, Оля спрашивала шутливо:

— Когда дадите нам прочитать свое великое творение, товарищ гвардии писатель?

На что капитан, улыбаясь, отвечал:

— Великие творения, товарищ младший лейтенант-медик, годами пишутся. Потерпите немножко. Прочитаете, когда мое сочинение потрясет мир.

И оба начинали смеяться.

Что скрывать, я завидовал комбату. Оля держалась со мной просто, по-товарищески. Она не требовала, чтобы я стоял перед ней навтыжку, и это, конечно, мне льстило. Правда, другое

удручало: Оля была со мной ласкова, как бывают ласковы старшие с каким-нибудь совсем уж молоденьким пацаном. Самолюбие солдата и мужчины страдало! Я, кажется, тайно ревновал ее и к Даврону-ака, и к этому Ногаеву, который вился вокруг Оли, словно муха вокруг банки с медом.

Однажды — это было вечером перед ужином, я шел, барабаня в свой котелок, на кухню — наткнулся я на Мирхайдара — «верблюда», того самого земляка, который, на удивление нам всем, устроился в ПФС. Ого, было от чего раскрыть рот в удивлении: Мирхайдар красовался в новенькой — офицерской! — гимнастерке, на голове у него лихо сидела свеженькая, без единой пылинки и пятнышка, пилотка, а вместо солдатских ботинок поскрипывали хромовые сапоги. Всегда ходивший будто в воду опущенный, мой карасувец выглядел сейчас словно бравый генеральский ординарец.

— Ба, Мирхайдар! Ты ли это, верблюжонок мой!

— Он самый! — Лицо Мирхайдара расплылось в улыбке.

Опустив на землю набитый чем-то вещмешок, он протянул мне руку.

— Как поживаешь, браток?

— Да, так, служим помаленьку. А ты, я вижу, процветаешь?

— Твоими молитвами и всемогуществом аллаха.

— Куда путь держишь, генерал?

— Во-первых, хотелось тебя повидать, проконтролировать, как там наш карасувский писарь выполняет долг перед родиной. Ну, и еще есть одна задача. — Мирхайдар вдруг подмигнул глазами-бусинками, сначала левым, потом правым, улыбнулся странной улыбкой и спросил: — У вас есть такая... Оля Куприянова?

— Какая это такая?.. Младший лейтенант Куприянова?.. Есть. А что?

— Да так... мой хозяин послал меня кое-что передать ей.

— Какой твой хозяин?

— Э, чудак! У меня один хозяин — капитан Ногаев... Оляхон в штабе?

— Ну?

— Если в штабе... — Мирхайдар протянул мне вещмешок, — занеси-ка, отдай ей... тут подарки...

— Нет уж, кому нужно, тот пусть сам занесет. Только ему надо бы поостеречься, а то вдруг она этим вещмешком да по роже... дарителю.

— Дуралей ты мой! — Мирхайдар откровенно рассмеялся. — Такой офицер, как мой хозяин, капитан Ногаев, подарки шлет, а Оля твоя еще будет отказываться? Эх ты, молокосос. Не знаешь ты женщин!

— Давай, давай, проваливай. Поживем — увидим, «кавказец»! — сказал я, вспомнив ночной разговор Оли и комбата с лжекавказском лжекавалеристе.

Мирхайдар молча направился к штабной палатке.

Я пошел было своей дорогой, но что-то удержало меня, заставило обернуться. В пяти-шести шагах я услышал, как Мирхайдар проворковал: «Можно, товарищ младший лейтенант?»

— Пожалуйста! — донесся из палатки глуховато-мягкий голос.

Мирхайдар взглянул на меня, подмигнул еще раз и юркнул внутрь.

«Возьмет или нет? Неужто возьмет?»

Я ждал, я был почти уверен, что вот сейчас Оля с позором выгонит вон Мирхайдара, а за ним вслед вышвырнет ногаевские подарки. Но шли долгие минуты, а ничего подобного не происходило. Наконец из палатки показался улыбающийся до ушей Мирхайдар. Вещмешка у него не было. Я резко повернулся и зашагал к полевой кухне.

Мирхайдар нагнал меня у самой кухни, черти резвились в его глубоко посаженных глазах-бусинках.

— Ну, что я говорил?

Я грубо сказал:

— Давай, говорю, проваливай отсюда!

— Петушок, — засмеялся Мирхайдар. — Все еще не набрался ума-разума? А пора бы!

— Тоже мне умник нашелся!

— А что ж, дурак? — Мирхайдар притворно вздохнул. — Вот и работенку нашел себе — трудную, конечно, но не без удовольствия... Послушай-ка, поэт, — он вдруг обнял меня за плечи прямо-таки дружески. — Хочешь, я поговорю с хозяином? И для тебя найдется что делать на ПФС...

— Вот уж спасибо тебе, благодетель....

— Ты-то и есть дурак! — беззлобно, точно ребенку, сказал Мирхайдар. — Пока не поздно, подумай, браток. Поход скоро. Ой-ой-ой! До самой Маньчжурии пешком топать!

Я еле отвязался от землячка.

Что же это такое? Младший лейтенант, такая чудесная девушка, приняла подарок от этого «кавказца», над которым сама же смеялась? Зачем? А комбат как же? Или все они такие, женщины? Или Оля такая?

Когда с котелком каши в руках я зашел в палатку, нежный запах духов ударил мне в нос.

Младший лейтенант прибирала постель. Одета Оля была, как и обычно, в гимнастерку, в грубоватую, словно железную, юбку, но на голове... Голову ее украшала шелковая цветастая, пестро-розовая косынка! А на складном стуле в середине палатки — куча шоколадных конфет! Настоящих шоколадных конфет, которых я не видел уже сто лет!

Оля обернулась, выпрямилась и поправила шелковую косынку. Счастливо улыбнулась:

— Ну как, идет?

Конечно, идет, лопни мои глаза! Оля вся расцвела, голубые глаза, казалось, еще больше заголубели, а рыжеватые пряди стали совсем золотистыми! Но этот мерзавец, наглец, кавалерист — да как он посмел сделать свой подарок?! Я молчал.

— Что с тобой, Мансур? — удивилась Оля. — Не нравится? А ну-ка, садись, будем пить чай с конфетами! Чистый шоколад!

— Рахмат, товарищ младший лейтенант! Вот — каша. Разрешите идти?

Оля озадаченно замолчала. Потом сказала: «Ребенок ты, ребенок...» — и надвинула мне на лоб пилотку. Забыв, что передо мной офицер, я резко отстранился.

И в это мгновение послышался нарочито веселый голос:

— К вам можно, Оля?

## 5

Перед нами возник Артем Ногаев, «сын кавказских гор», капитан интендантской службы в форме кавалерийского офицера.

— Здравствуйте, Оленька... Можно?

Оля исподлобья взглянула на меня и почему-то покраснела:

— Здравия желаю, товарищ капитан...

Капитанская фуражка, лихо надвинутая на правую бровь, по причине восторга своего хозяина переместилась к нему на затылок.

— О-о, вы расцвели, как наш кавказский тюльпан, Оленька!..

Оля что-то пробормотала смущенно и торопливо взялась за котелок с кашей. Капитан перехватил ее руку.

— Прошу вас, Оленька, не ешьте вы эту... лошадиную еду!

— А что же нам есть, товарищи интенданты? — При слове «интенданты» Оля опять исподлобья посмотрела на меня. — Это ведь вы нас кормите лошадиной едой.

Ногаев развеселился еще больше.

— Отныне я буду подавать вам блюда лично, и чего душа ваша пожелает. Сегодня, например, мы угостим вас кавказским шашлыком.

— Неужели? Настоящим кавказским?

— Самым что ни на есть натуральным! С перцем и лучком... Не откажите, Оленька, специально для вас приготовили эту райскую еду. Посидим немножко, поговорим. Потом на танцы сходим.

Оля, тоже повеселев, обратилась ко мне:

— Мансур, может, пойдём попробуем кавказский шашлык?

— Солдату мы пришлем, — быстро и испуганно сказал Ногаев. — Кебаб делает его земляк. Он и принесет... Ну, так собирайтесь, Оля!



— Ну, что с вами сделаешь. Соблазн слишком большой! — усмехнулась Оля. Стянув косынку, она стала сооружать из длинной косы узел на затылке. — Вы подождите меня там, пожалуйста. Я сейчас выйду.

— Есть, товарищ младший лейтенант! — Ногаев с шутливой покорностью отдал честь и, звеня шпорами, вышел из палатки. Поправив волосы, Оля подошла ко мне.

— Ты почему так смотришь, Мансур, бука ты этакий?

— Как я смотрю? Что значит «бука»?

— Ну, хмуро. Злишься на что-то. Что мне делать с капитаном, видишь, пристал, как репей!

Я хотел сказать: «Да пошлите вы этот репей к черту», но не решился и буркнул:

— Да мне-то что? Идите, раз вам хочется идти.

— Ребенок ты. — Оля ласково растрепала мои волосы и ушла.

Не сняв сапог, я завалился на циновку.

Правду говоря, я не знаю, было мое чувство тогда настоящей ревностью или наивным гневом молодой души, принимающей за оскорбление все то, что не похоже на ее идеальные воздушные замки. Мне, восемнадцатилетнему парнишке, тайно сочинявшему стишки о любви, хрустально чистой и высокой, как небо (Лейли и Меджнун, разумеется, упоминались чуть ли не в каждой строчке), мне показалось кощунственным, что Оля, красавица Оля, только вчера хохотавшая над «кавалеристом интендантской службы», пошла есть с ним шашлык и танцевать.

Я лежал ничком и мучительно переживал женское коварство, когда раздался голос Арслана:

— А ну, поднимайся, поэт, земляков встречай!

— Кого еще?

— Ишь ты, не успел стать писарьком, а уже и земляков забыл, — сказал Арслан. — Давай собирайся. Джигиты заждались.

Земляки ждали нас внизу, в долине, у мутной мелководной речушки. Казах Серкабай тоже, можно сказать, земляк. Сын колхозного чабана, он жил совсем неподалеку от нашего кишлака, в самых горах. Ну, а второй, смирный и тихий Шоюсуф, женившийся перед самым уходом в армию и потому служивший предметом постоянных острот Арслана, был настоящий карасувец.

На душе у меня сразу полегчало. Расстелив шинели на желтой, но еще густой прибрежной траве, мы разместились поудобнее, и пошел разговор о том о сем. Тут, откуда ни возьмись, явился Мирхайдар.

— Ассалом-алейкум, землячки!

Лицо «верблюда» сияло загадочной улыбкой. Бросив на землю тугой вещмешок и чертовски многозначительно подмигнув мне, Мирхайдар пробасил:

— А ну, навались! Пользуйтесь моей добротой.

Шашлыка, конечно, не было и в помине, но зато консервов, булок, конфет хватало. Арслан, открывая перочинным ножом консервы, завел обычную свою аскию:

— Ну, как живет на складе, о могучий нар? Насытились ли там глаза твои, или по-прежнему приходится подбирать крохи со стола?

Мирхайдар потер масистый нос и ответил:

— По-моему, и тебе перепадает от того, чем глаза мои насытились. Или не так, непобедимый лев Арслан?

— Не спорю: неплохо, что ты попал в ПФС. Останься в роте, опозорил бы нас, воруя картошку из котла.

Все невольно рассмеялись, вспомнив происшествие с картошкой.

Запасной полк, куда мы попали из кишлака, стоял в густом лесу, поблизости не было ни одной деревни. Жили мы в землянке. Вдоль стены был поставлен сколоченный из досок, длинной во все помещение, «стол». Большинство ребят довольствовалось пайком, но некоторые с первого же дня стали выказывать странные привычки. Среди них был и Мирхайдар. В течение двух-трех дней он продавал весь паек хлеба солдатам, а затем, на собранные деньги, покупал сразу целую буханку и уплетал ее в один присест. А потом снова, глотая слюну, тарасился два дня на чужие обеды и ужины. Мирхайдар сдружился с тремя-четырьмя такими же оригиналами. Вечерами, когда солдаты в свободные часы читают или пишут письма домой, эти собирались на «кухне» и без конца говорили про еду, затевали меняловку. Кусок сахара — на горсть махорки, махорку — на пайку хлеба, ну и так далее. Солдаты смеялись: «Вон Алайский базар<sup>1</sup> пошел шуметь.»

Как-то вечером группа солдат — среди них были я и Мирхайдар — отправились за едой в полковую столовую. Было холодно так, что, по пословице, птица замерзала на лету. Еле-еле притащили, то и дело скользя и спотыкаясь в темноте, пятнадцатые ведер борща, два ведра каши и два мешка хлеба. На всю роту. Старшина имел обыкновение, приняв ведра, помещать в них ковшом, проверить, так сказать, содержимое. То же самое проделал он и в тот раз. Во всех ведрах все было в норме, кроме двух, где не оказалось ни мяса, ни картошки! Я был старшим среди тех, кто ходил за ужином, поэтому и недоумение старшины надо было рассеять мне. А как его рассеять?

Смущенно пожав плечами, я заявил:

— Повар ошибся...

— Повар? А ну, глянь-ка туда!

В углу землянки, позади всех, стоял, ссутулившись, Мирхайдар, а из кармана его шинели валил пар, будто из котла.

— Солдат Нарбутаев, шаг вперед! — приказал старшина.

---

<sup>1</sup> Алайский базар — один из старинных базаров Ташкента.

Мирхайдар, словно кошка, ждущая побоев, вобрал голову в плечи и шагнул вперед. И тут уже все солдаты увидели пар, струившийся по его бокам. Поднялся дикий хохот!

— Выворачивай карманы!

Что делать? Бедняжка Мирхайдар начал медленно выкладывать из кармана на стол картофелины и куски мяса. Порядочная горка получилась. Каждый раз, когда на свет божий появлялся новый кусок, раздавался новый взрыв хохота. Под эту канонаду, я думаю, даже этот толстокожий верблюд захотел провалиться сквозь землю...

Арслан, напомнив про этот случай, решил продолжить свое остротное слово, но Серкабай сказал недовольно:

— Оставь, Арслан, хватит. Мы пришли сюда не ради твоих острот. Соскучились друг по другу, душу хочется отвести, а ты...

Арслан, осведомленный о душе каждого из нас, сразу переменял направление атаки.

— Вай, ты прав, Серкабай! Как там твоя душа Чипаргул поживает? Не променяла еще тебя на какого-нибудь другого бая — Йилкибая, Туябая? <sup>1</sup> А?

Серкабай был не из тех, кто за словом лезет в карман:

— Ничего, сбежит Чипаргул, возьмем Паршагул, сбежит Паршагул, возьмем Сапаргул...

Он растянулся на шинели, подложил руки под голову и, глубоко вздохнув, произнес:

— Эх, ребята! Что-то сейчас происходит в Туяташе? Наверное, девушки и джигиты аула гуляют на джайляу, песни поют, пляшут...

А и в самом деле, как забыть родные места? Вот он перед глазами моими — наш небольшой горный кишлак, утонувший в садах, узенькие улочки спрятались под тузовыми деревьями, вот старая мечеть с гнездами горлинок под куполом, а там джайляу Туяташ, откуда, я знаю, снежные вершины кажутся близкими, рукой достать, а на джайляу юрты точно опрокинутые пиалы, а вокруг юрт смуглые черноглазые девушки бегают, звенят украшениями. Милый край!..

Глубокая тишина, опустившаяся на степь, усилила вдруг нахлынувшую тоску: далек родной край, ох, как далек!..

Тишину нарушил наконец Серкабай.

— Если живым-здоровым вернусь в аул,— проговорил он мечтательно,— сделаю той. Козлодранье в степи устроим, эх, и скакать же будем! Покажу я тогда своей Чипаргул, что за джигит Серкабай!

Арслан (вот привычка) толкнул его в бок, засмеялся:

— У тебя-то свадьба впереди. А вот Шоюсуфу трудно будет отчитываться перед женой... Кстати, есть письмо от нее, браток? Или, может быть, ей там другой парень приглянулся, побойчее, а?

<sup>1</sup> *Йилкибай, Туябай.*— Здесь герой обыгрывает баев, имеющих несметные стада: йилки — лошадь, туя — верблюд.

— Оставь ты свои насмешки, ну что за язык у тебя! — сказал Шоюсуф так жалобно, что опять наступила, теперь уже неловкая, тишина.

Примерно двадцать парней было призвано в армию из нашего кишлака. Все холостяки, один женатый — Шоюсуф. Наивный простака, он еще по пути в запасный полк подробно рассказал нам про свою первую брачную ночь. Успехов он тогда не достиг, и по этому поводу подтрунивали над ним. Шоюсуф страдал от насмешек и намеков, а когда задерживались письма от жены, вообще ходил будто прибитый. И теперь, видно, письма запаздывали; когда Арслан попытался продолжить свои шутки, Шоюсуф вскочил на ноги и с дрожью в голосе воскликнул:

— Когда ты оставишь меня в покое? Послушать тебя, так в этом мире нет ни одной верной женщины!

— О-о, верность, верность! — произнес Арслан. — Ты еще не успел выехать из кишлака, а твоя жена пошла секретарем к раису! А ты, растяпа, согласился, не подумав...

— Недаром женщин называют шайтанами в юбках! — захотел Мирхайдар своим верблюжьим басом.

Я почему-то вспомнил Олю и разозлился. Не получилось, видно, «отвести душу» друг перед другом. А коли так — надо разойтись.

— Да, пора, — сказал Мирхайдар. — Завтра-послезавтра в поход, я-то в курсе дела. Надо готовиться.

Мы опять обнялись, а Мирхайдар взял меня под локоть:

— Может, пойдем ко мне? Я там настоящий шашлык сделал... — сказал он и ехидно добавил: — Между прочим, младшему лейтенанту очень наш шашлык понравился.

— Иди ты знаешь куда со своим шашлыком! — Круто повернулся и побегал, чтобы не слышать его смешков.

В моей штабной палатке никого не было. Оля еще не вернулась. Опять нахлынула на меня обида, и я залег за сундучок с намерением выбросить все это из головы и заснуть. Долго ворочался, слушал звуки далекого баяна, посвист солдат, затеявших пляску где-то внизу. Потом все-таки задремал и, как показалось, тут же проснулся. Глухой, нервный голос капитана Газиева требовал:

— А ну, попроси извинения! Слышишь?..

— Странный ты какой-то, Газиев... — Это был капитан Ногаев. Он, видно, пытался отшутиться.

— Извинись, говорю.

Я приподнял повыше край палатки. Лицом к лицу стояли Даврон-ака и Ногаев. Несколько поодаль от них я увидел Олю. Ногаев, с видом человека, сильно и несправедливо оскорбленного, стоял, выпятив грудь и уставившись куда-то в небо; комбат пригнул голову, весь съежился, напрягся, будто готовился к прыжку. Оля закрыла лицо ладонями. Плакала, наверно.

— Послушай, Ногаев! — отрывисто бросил комбат. — Последний раз говорю: или сейчас же извинись, или я...

— Хорошо! — Ногаев гордо поднял голову.— Простите, товарищ младший лейтенант! Я не знал. Простите! — Он слегка поклонился Оле и, резко повернувшись, пошел от палатки, протестующе-громко звеня шпорами.

Даврон-ака подошел к Оле и осторожно обнял ее за плечи. Я опустил край палатки, откинулся на циновку.

— Оля, дорогая моя,— услышал я глухой голос комбата,— не стоит тебе плакать из-за этого мерзавца...

— Ты был послушал его,— проговорила Оля.— Будто ты... будто я твоя...— Оля не смогла продолжать, я услышал, как она всхлипнула...

— Оля, оставь ты это. Ты такая, такая, что... никакая грязь не пристанет к тебе, если даже клеем приклеивать... Не надо, не плачь. Ну, дай я сотру слезы. Пойдем пройдемся по степи. Посмотри на звезды. Правда, похожи на белые яблоки?.. Я где-то читал...

## 6

Утром я принес завтрак, а следом за мной в палатку вошел старшина Сало. Он прятал правую руку за спину и улыбался в пышные — подковой, как у Тараса Бульбы,— усы.

— Придется вам раскошелиться, товарищ капитан.

— Письмо! От кого? — Даврон-ака почему-то вдруг побледнел.

— Нет, нет, сперва склянку-банку на стол, потом письмо получите.

Старшина хотел отступить за дверь палатки, но капитан проворно обнял его и выхватил письмо.

— Поллитровку на стол, а я сейчас закусточку...

Но с закусточкой, видно, старшина поторопился. Как только Газиев взглянул на треугольник, чувство радости мгновенно слиняло на его лице. Насупив брови, он отошел от нас в угол. Старшина смущенно крякнул, потоптался секунду-другую и вышел из палатки. Я тоже почувствовал себя неловко: то ли мне тоже уйти, то ли приняться за еду, то ли спросить Даврона-ака, откуда письмо. Я посмотрел на комбата. Он стоял, уставившись в одну точку. В прищуренных глазах, в сжатых, словно бескровных, губах была и печаль и даже беспощадность.

— Слушай, Мансурбек,— сказал он, так и не оборачиваясь ко мне,— сколько месяцев прошло, как ты выехал из кишлака?

— Почти год... Осенью прошлого года...

— Осенью прошлого года... Тогда, может быть, ты успел увидеть Саломатхон?

Я встрепенулся.

— Конечно, Даврон-ака. Видел ее. Она преподавала в школе... А когда мы уезжали, провожала брата.

— Хош! Хош!

Я вдруг почему-то вспомнил события прошедшей ночи, его стычку с капитаном Ногаевым, ласково-успокаивающий разговор с Олей... «Кто же этот человек? Тот самый джигит, с которым бежала Саломатхон? Ее муж? Если да, то почему же он с Олей?..»

— Товарищ капитан,— вымолвил я, пытаюсь совладать с волнением.— Я давно хотел спросить вас... Перед войной, когда Саломатхон-апа училась в Ташкенте, один джигит из Ферганы...

— Подожди! — капитан нетерпеливо перебил меня.— Ты сказал, что Саломат работала в школе... Когда она приехала? Как ей жилось в Карасуве? Плохо, хорошо?

Я, заикаясь, рассказал ему все, что знал о Саломатхон, вплоть до того, как она проводила нас на вокзал. Рассказывая, я невольно вспомнил ее беззвучный плач там, на перроне. Сказать об этом? Или не надо?

Капитан стоял, опустив голову, молчал, думал о чем-то своем. Мне показалось, что мои возвышенные слова не очень-то понравились ему, и тут меня будто осенило: «Ну да, он муж Саломатхон, но...»

— Товарищ гвардии капитан!

— Ну? — по-прежнему не глядя на меня, произнес капитан.

— Вы не ответили на мой вопрос: вы тот самый джигит, с которым она... сбежала перед войной, или...

— Не «или». Тот самый.

— А если тот самый, почему же тогда...— я с трудом перевел дыхание.— То почему же тут с Олей...

— Ну?

— ...вы целуетесь-милуетесь? — с трудом договорил я.

Каждый раз потом, вспоминая эту минуту, я краснел и злился от стыда и боли. Но тогда... тогда я был всего лишь восемнадцатилетний парень, сочинявший стишки и начитавшийся дастанов о возвышенной любви Меджнуна к Лейли.

— Что?! — Комбат вскинул голову. Он был бледен.— Повтори, что ты сказал?

Я мгновенно раскаялся — чушь сказал, чушь какую-то,— но отступать было поздно. И некуда!

— Думаете, я ничего не вижу, да? Или вы считаете меня за простофилю-кишлачника, которому на все наплевать? У меня тоже есть глаза...

— Довольно! — Голос Даврона-ака прозвучал так гневно и жестко, что я оборвал свое бормотание.

— Ты... откуда у тебя эти гадкие подозрения? Эти грязные мысли, подслушивания, подглядывания? — Капитан хотел сказать еще что-то, но тут послышались легкие шаги, и в палатку вошла Оля.

— Что такое? Что-нибудь случилось?

— А ну, собирай свои манатки!

Оля растерянно смотрела то на капитана, то на меня.

— Зачем ты... Зачем вы его гоните, товарищ капитан? Что произошло, Мансур?

Я торопливо начал собираться.

— Не возись, живее! — крикнул комбат. — Все собрал? Марш отсюда! И старайся не попадаться больше мне на глаза!

Я пулей выскочил из палатки.

## 7

...Полковник Белобородов оказался прав. Это был действительно невиданно тяжкий поход, которому, казалось, нет конца.

Перед нами лежала необозримая пустынная степь; безостановочно сменяли друг друга пологие холмы — сначала такие же зеленовато-желтые, как на нашей стоянке, а чем дальше мы шли, тем все больше пепельно-черные. Зелень вся уж давно выгорела, превратилась в темный прах. Изредка встречались лощины, на дне которых еще желтели, даже этой желтизной радуя глаз, стебли высокой травы. Там, у берегов мелких речушек, попадались стада и юрты. Они напоминали мне о наших горных джайляу, и тоска по дому опять охватывала душу... А потом — снова коричневое беспредельное пространство, голое и пустое, если не считать стервятников, застывших в безоблачном небе, да порой сусликов и ящериц, стремглав исчезающих из виду.

Пехотные колонны сверху, видно, напоминают собой муравьев; справа и слева от нас тянутся тягачи с тяжелыми, захчеленными брезентом пушками; сотрясая землю, проходят — точно по ниточке, в затылок друг другу — танки. Полуголые, распаренные танкисты торчат в люках боевых машин, весело глядят на нас, машут руками, галдят:

— Эй, царица полей! Не отставай! Выше голову! Шире шаг!

Мы завидуем этим жизнерадостным, здоровым парням, которым не надо трудить ног: вот она была тут, танковая колонна, а не успеешь моргнуть — уже и скрылась за горизонтом. Но порой, особенно в полдневной зной, приходит очередь торжествовать и пешеходной царице. В этой раскаленной степи железо не выдерживает испытания. Моторы скрежещут и задыхаются, из радиаторов машин фонтаном бьет мутный горячий пар, и тягачи, студебеккеры и даже танки застревают на холмистых склонах. Живая сила надежнее, черт возьми! Правда, не всякая. Огромные, как слоны, немецкие трофейные лошади — у каждой копыто величиной с узбекский тандыр — валяются в изнеможении на обочинах дорог, беспомощно скалятся, задыхаются, будто рыба, выброшенная на сушу... Только матушка пехота — издавна привычная и к зною, и к холоду, и к дорогам, и к без-

дорожью — мерно продвигается вперед, и никакая степь не может остановить наши колонны...

Мерно, неостановимо движется армия, только вот фляжка с водой, которой мы запасаемся на рассвете, слишком уж быстро нагревается, и каплю теплой солоноватой воды приходится ценить на вес золота. Горе тому бойцу, который сделает глоток не в крайнем случае, не тогда лишь, как совсем пересохнет в горле: командиры зададут взбучку! Правда, старшина Сало, назначенный нам в командиры взвода, помягче других, такой мягкий, что молодых солдат называет «сынками», а сверстников-фронтовиков величает по имени и отчеству, но вволю пить на марше не разрешает ни тем, ни другим.

Вернувшись в родную роту после стычки с капитаном, я вновь стал хозяином ручного пулемета, а два заряженных диска, вместе со своим карабином, опять несет на себе Вася Колбаскин. Волосы, брови, глаза и даже ресницы у него совсем выцвели на солнце, а лицо — и впрямь как вареная колбаса. Да и облупившийся длинный нос Васи так похож на колбасу, что то и дело слышишь:

— Эх, братцы, сейчас килограмм колбасы навернуть бы с хлебцем!

— Вась, а Вась! Колбаса-то твоя совсем закоптилась! Давай кусочек отрежем!

Вася тоже острит:

— Подбери слюнки! На чужой не зарься, свой вырасти, а моя колбаска самому пригодится!

За веселый нрав все в роте любят Васю. Даже комбат иногда во время привала подхватывает шутку:

— Ну как, не весь жирок солнце растопило, Колбаскин?

Васе нравится комбат. Моргая белесыми ресницами, он отвечает:

— Спросите лучше у старшины, товарищ гвардии капитан. На таком солнце салу труднее, чем колбасе.

Все хохочут.

Иногда капитан шутит и с Арсланом, но со мной не заговаривает, делает вид, что не замечает меня.

Мне обидно. Я невольно краснею, вспомнив наш разговор. И чтобы забыть жгучий стыд, вновь и вновь вспоминаю Саломатхон. И тогда стыд переходит в злость...

Когда степь погружается во тьму и на небе зажигаются первые звезды, мы останавливаемся на склоне какого-нибудь холма. Часто не в силах даже заставить себя поесть, мы расстилаем плащ-палатки и падаем, как подкошенные. Головой на вещмешок — и, не ощущая ни холода ночи, ни каменной твердости земли, тут же засыпаем. Спишь, кажется, всего мгновение. На раннем рассвете, когда еще мерцают звезды, — «подъем!».

И вновь медленно тянется мимо нас степь, которой нет ни конца, ни края.



Сейчас уж не помню, когда точно, кажется, на восьмой или девятый день похода, нас настигла беда, страшнее которой не может быть ничего в пустынной степи: достигнув отмеченных на карте колодцев, мы увидели, что они высохли!

Солнце стояло в зените. Пламя лилось на нас сверху. Ни пятачка тени. После марша километров в сорок донельзя усталые роты повалились на горячую землю, около бесполезных теперь колодцев. На растрескавшихся губах одно слово: «Вода!» На жирную мясную кашу никто смотреть не может. В воспаленных глазах, на почерневших лицах — крик: «Воды! Воды!»

Через полчаса после начала привала — приказ:

— Всю посуду в ротах: бидоны для еды, фляги, котелки — вручить старшинам!

Между тем к подножию нашего холма подъехали два бензовоза.

— Вода прибыла! Вода!

Оба бензовоза в мгновение ока окружены солдатами: откуда силы взялись! Никто не слушал распределявших воду. Вдруг высокий красивый сержант-грузин из третьей роты — неизвестно по какому поводу — начал перепалку с нашим тихим «крестьянином» Сало. К ним присоединились солдаты обеих рот. Кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то ударил, кто-то сшиб с ног сержанта-грузина, я тоже с кем-то схлестнулся, но в это время подбежал наш комроты Харитонов. Выхватив пистолет, он одним прыжком вскочил на бензовоз.

— Прекратить гвалт! Солдаты — по местам!.. Каждому взводу подходить по очереди.

Шум быстро прекратился, все выстроились. Нашей первой роте на девяносто человек дали двадцать котелков. Вода была мутной, пахла бензином и почему-то тиной. Запрокинув голову, я глотал мелкими, осторожными глотками эту мутную воду, когда услышал, как рядом остановились два студебеккера и раздался басовитый окрик по-узбекски:

— Эй, поэт, как поживаешь?

В кузове первого студебеккера на каких-то мешках восседал предовольный собой Мирхайдар.

Опершись руками о борт, он спрыгнул на землю. На нем была уже другая, но тоже новая гимнастерка, а вместо пилотки — офицерская фуражка. «Верблюды» вроде как потолстели, посолоднели. Если б не обильный пот на лице, можно было бы подумать, что он не в походе, а так себе — разъезжает, развлекается.

— Эге, браток, вон ведь как тебя скрутило... Говорил же, что намучаешься! Заупрямился, что ишак, и вот, пожалуйста...

Он с сочувствием оглядел меня с головы до ног и поморщился. И сам я невольно поморщился, увидев, будто впервые,

свои несуразно большие ботинки, брюки, ставшие белыми и желтыми от пыли, пота и соли. Поморщился, покраснел и ответил грубо:

— Пошел ты к...! От моего упрямства мне и терпеть, тебе то что!

Мирхайдар, пропустив мимо ушей ругательство, спросил, улыбаясь:

— Пить хочешь? — и с этими словами начал было отстегивать флягу от ремня. Но тут послышался знакомый глуховатый голос:

— Что в этих машинах?

Около первого студебеккера вместе с начальником штаба батальона — пожилым старшим лейтенантом с проседью в волосах — стоял комбат.

Мирхайдар вытянулся струной.

— В машинах макаронны и мука, товарищ гвардии капитан.

— Сгрузить мешки! — приказал комбат.

Мирхайдар какое-то мгновение постоял, разинув рот, затем с отчаянием в голосе закричал:

— Товарищ гвардии капитан! Ведь я... без приказа своего хозяина... гвардии капитана Ногаева...

Газиев нетерпеливо махнул рукой:

— Машины поедут сейчас за водой, понял? И не шуми! — сказал он жестко. Потом повернулся к подошедшему Харитонову, кивнул на машины: — Начинай!

Повторять приказ не надо было. Солдаты, услышав от комбата слово «вода», с нескрываемой радостью ринулись к машинам. Растерявшийся Мирхайдар, бормоча себе что-то под нос, носился между капитаном и машинами.

— У меня есть хозяин! Я хозяину скажу! — крикнул он наконец и побежал вниз с холма к видневшейся поодаль от нас автоколонне.

Солдаты, тяжело дыша, торопливо сгружали тяжелые мешки и складывали их в штабеля.

— Товарищ комбат! Ногаев бежит! — крикнул в разгаре работы Харитонов, показывая рукой на лошину.

Капитан Ногаев и Мирхайдар мчались вместе, словно одной веревочкой связанные. Ногаев на бегу то насовывал свою фуражку поглубже, то поправлял портупекю, то одергивал полы гимнастерки, видно было, что готов сейчас полезть в драку.

Комбат стоял, чуть наклонив голову. Он всегда так стоял — неподвижно, сурово, — когда волновался, а хотел казаться спокойным. Эту позу я уже успел изучить у него; знал я — по прищурю глаз, по сжатым челюстям, — что он весь напрягся, готов к отпору. Ногаев, сменив бег на шаг, миновал громоздившиеся на земле мешки и остановился перед Газиевым. В горбоносом, и вправду похожем на кавказское, лице его не было ни кровинки, ноздри раздувались, глаза сузились.

Стало тихо.

— Товарищ Газиев! — Ногаев не прибавил слова «капитан». — Кто вам разрешил так поступать?

Комбат поднял взгляд, выпрямился. И тихо, видно не желая, чтоб другие слышали, сказал:

— Отойдем-ка в сторону, Ногаев!

— Нет, простите! — Голос Ногаева зазвенел громче, угрожающе. — В отличие от других, за мной нет грехов, чтобы о них шептаться в сторонке! Я повторяю вопрос: кто вам разрешил отдать приказ о разгрузке чужих машин?

— Обстановка разрешила, — сказал, растягивая слова, Газиев. — Поняли вы, обстановка! — повторил он. — Сейчас нужна вода! Больше всего на свете нужна.

— Если нужна, то дело командира — обеспечить ее. А вы самовольно разгружаете машины, которые не находятся в вашем распоряжении...

Тут Ногаев увидел Олю, которая шла к нашей группе, на миг будто поперхнулся, затем договорил:

— За этот поступок вы ответите, Газиев! Перед командиром полка и, может быть, не только перед ним!

— Ну, довольно! Не пугай! — грубо оборвал его комбат. — Я никогда не отказывался нести ответственность за свои поступки! Готов и за это отвечать.

— Ну что ж, хорошо. Нам есть о чем поговорить и кроме машин... Продолжим у Белобородова! — Ногаев круто повернулся и, спотыкаясь на ровных местах, побежал с холма. За ним покорно затрусил и Мирхайдар...

Комбат, пройдя мимо приумолкших солдат, взобрался на первую машину. Почерневшие солдаты, облизывая засохшие губы, придвинулись ближе.

— Ребята!.. — Капитан снял с головы фуражку, всей пятерней стер пот со лба. — Солдаты! В двадцати километрах отсюда, впереди нас, саперы роют колодец. Туда брошена техника. Через час-два вода будет! Но мы не можем, ожидая ее, длить свой привал, полеживать тут, безвольно глядя в небо! Мы пойдем вслед за машинами! — Комбат передохнул, оглядел приумолкших людей. — Эта обстановка ничем не уступает самой суровой боевой... И вообще, наш поход, каждый километр пройденного пути есть удар по Квантунской армии. Ясно? Поэтому от вас сейчас требуется такое же мужество и такое же терпение, как в бою, в жестоком бою. Я верю в вас...

Капитан взмахнул рукой — стряхнул с нее пот — и хриплым голосом скомандовал:

— Батальон! В маршевую колонну, по ротам стройся!

## 9

И снова та же дорога, все те же сменяющие друг друга пологие холмы, белесые разводы солончаков — беспредельная до самого горизонта коричнево-черная степь.

Шум и смех утреннего подъема давно выветрились из головы. Солдаты идут тяжелым, чугунным шагом, слегка покачиваясь, облизывая губы,— жажда доконает.

Еще один холм остался позади, а за ним еще один, а там вырастает третий... Стиснув зубы, собрав последние силы, я пытаюсь взобраться, но — не помню, влез я все-таки на него или не смог? Помню только, как Арслан вдруг подхватил из моих рук пулемет... Когда я открыл глаза, увидел, что лежу на склоне; мне на голову падает укороченная, величиной с тюбетейку, тень от солдатской плащ-палатки. А надо мной стоит младший лейтенант Куприянова и озабоченно глядит куда-то поверх меня.

Увидев, что я шелохнулся, Оля опускается на колени.

— Ну, как ты, Мансурчик? — Она с трудом усмеяется иссохшими губами.— Я-то, дуреха, думала, что вы, земляки комбата из Средней Азии-то, выносливей к жаре, чем мы, а вы, оказывается, слабей нас!

Усмешка Оли поднимает меня; опираясь руками о землю, я сажусь перед ней, вытянув ноги: это все, на что у меня хватает сил.

Солнце, хотя и начало скатываться к горизонту, все еще обжигает... По всей степи, вплоть до самых дальних холмов, раскинулись плащ-палатки. А из ближайших к нам я вижу высунувшиеся ноги солдат; они, как и я, пострадали от солнечного удара.

— Ложись в тень и лежи, не двигаясь,— говорит Оля.— Раз уж свалился, нечего стесняться. А я пойду посмотрю, как у других дела...

Тут до моего слуха доносится что-то вроде отдаленного гула, какое-то тарактение. Мы с Олей одновременно оборачиваемся в сторону странного звука. Вдали ползет, приближаясь к нам, что-то похожее на жучка. Нет, это не грузовая машина. Жучок движется быстрее, хотя то и дело останавливается у палаток по обочинам дороги...

— Полковник Белобородов! — Оля торопливо поправляет пилотку, потом расправляет складки гимнастерки на груди.

«Опозорился на весь мир!» — думаю я про себя и закрываю глаза. Через некоторое время амфибия останавливается совсем близко. Глухой, усталый голос спрашивает:

— Сколько человек из батальона пострадало?

— Двадцать, товарищ полковник. Большинство молодые солдаты...

Осторожно приоткрываю глаза. Полковник Белобородов — с Золотой Звездой на вылинявшей, пыльной гимнастерке, седой и осунувшийся — кажется мне сейчас еще более старым, чем в тот день, на учебных занятиях. Глаза впали, лицо почернело от солнца, щеки отвисли. Я снова с усилием поднимаюсь и сажусь, подпирая себя руками.

Полковник подходит ко мне, молча опускается на корточки.

— Что случилось-то, солдат?

Слово «солдат» он произнес мягко, ну, как старшина Сало слово «сын» и может, из-за этой мягкости пожилого человека мне становится стыдно своей слабости.

— Сам не знаю, товарищ полковник...

Полковник отстегивает свою фляжку, протягивает мне.

— На-ка, попей, солдат!

Вода теплая, но тиной не пахнет, не то что бензовозная. Сладкая вода — по телу живительный бальзам будто разливается. С трудом оторвав флягу ото рта, я молча смотрю на полковника.

— Ну, как? — чуть улыбается он.

— Спасибо, товарищ полковник! — Хоть ноги и дрожат, я медленно поднимаюсь.

— Сможешь идти?

— Постараюсь, товарищ полковник!

— Вот это другое дело! — Белобородов с шутливым укором качает седой головой. — Ты посмотри-ка на младшего лейтенанта. Девушка, а эдакое пекло выдерживает, а ты вот растянулся.

Оля, покраснев, играла пуговицей гимнастерки.

— Садитесь на машину, Оленька, — сказал полковник. — Посмотрим батальон. А где Газиев?

— За водой поехал, товарищ полковник.

— Слышал, солдат? Ну, иди потихоньку, иди...

Амфибия трогается с места и катит вниз-вверх по бездорожью, с треском ломая кусты колючки и явшана.

Я тащусь туда, где на гребне невысоких обугленных холмов виднеются разбросанные плащ-палатки. Прямо на меня катит грузовик. Только бы не капитан Газиев!

Я ни за что не хотел сейчас встречи с капитаном. Не хотел, чтобы он застал меня в таком жалком состоянии. Я торопливо поворачиваю налево и шмыгаю в какую-то яму, похожую на воронку от авиабомбы. Но машина тоже сворачивает налево и останавливается. Кто-то выпрыгивает из нее. Я вылезая из укрытия. Ну, конечно, это — комбат! Ворот гимнастерки расстегнут, грудь открыта, на черном худом лице крупные капли пота, в больших серых глазах — удивление.

— Ты что это прячешься, как суслик в норе?

— Да так... лежу!

— Нашел место, нечего сказать! — произнес капитан с издевкой. — А где пулемет?

— Пулемет... У Арслана, товарищ капи...

— Как это у Арслана? — перебил комбат. — Кто тебе дал право отдать свой пулемет другому бойцу?.. — Он не договорил: где-то рядом надрывно взревел мотор, и из-за ближайшего холма выехал студебеккер. В кузове его стоял, привалившись к кабине, Ногаев!

Заскрипев тормозами, студебеккер остановился напротив машины комбата. Ногаев лихо перескочил через борт и распахнул дверцу кабины. Оттуда вышел молодой густобровый, подтяну-

тый, хоть и полноватый для своего высокого роста, подполковник в узких интендантских погонах.

Ногаев, странно шевеля красивыми черными усиками, быстро заговорил:

— Пожалуйста, товарищ подполковник, вот он — герой!

Подполковник молча оглядел комбата. Газиев торопливо застегнул ворот гимнастерки, поправил фуражку и, чеканя шаг, подошел к подполковнику.

— Товарищ подполковник! Командир третьего батальона...

Подполковник нетерпеливо дернул плечом:

— Я знаю, что вы комбат! Вы лучше ответьте: кто вам разрешил отнять тыловые машины?

— Товарищ подполковник...

— Отвечайте!

— Обстоятельства, товарищ подполковник. Сами видите, положение тяжелое. Вода...

— Положение тяжелое, значит, можно самовольничать, вышвыривать грузы?

— Товарищ подполковник! — Голос комбата взволнованно зазвенел. — Поступая так, я думал не о себе, а о солдатах. Посмотрите...

— Вы слышите, товарищ подполковник? — Ногаев развел руками, нервно засмеялся. — Он, выходит, болеет за советского солдата, а нам с вами на него наплевать.

Комбат бросил гневный взгляд на Ногаева и, побледнев, сказал:

— Если бы ты думал о солдате, то не стал бы поднимать весь этот шум. Подвезем воду и тут же отдадим тебе машины. Сами поможем...

— Поднимать шум! Формулировочка! — перебил Ногаев. — Я обязан думать о том, что поручено именно мне!

— Да, но ты же советский офицер. Ты же видишь, что происходит в этой пустыне... — Комбат не договорил. Вмешался подполковник:

— Вот что, комбат! Не я придумал поход через пустыню Гоби! Он осуществляется на основе стратегического плана командования...

— Да! Но план этот осуществит опять тот же солдат. Должны же мы ценить его, заботиться о нем. Большинство из них прошло всю войну! Им столько выпало на долю, что...

— Вот! Вы слышите, товарищ подполковник? — саркастически и как-то обрадованно воскликнул Ногаев. — Ему, видите ли, не нравятся стратегический план нашего командования. Солдату, видите ли, тяжело. Может, вы вообще против этой войны, товарищ Газиев?

Комбат всем корпусом обернулся к нему, сжал кулаки, но подполковник опять не дал ему возможности ответить.

— Хватит! Разговоры отставить! — приказал он и взглянул исподлобья на солдат — видно, почувствовал, как нетактично

препирательство командиров на глазах у подчиненных им людей.

— Капитаев Газиев! Следуйте за мной.

Офицеры отошли в сторонку. Разговора теперь не разобрать; доносились к нам только приглушенные, охрипшие голоса.

Издали наблюдая за комбатом, я впервые подумал о том, что ему тоже нелегко. А ведь до тех пор он казался мне рожденным под счастливой звездой.

Комбат вернулся через четверть часа. Он, казалось, почернел еще более. Проходя мимо меня, бросил коротко:

— Взбирайся на машину! И чтоб немедленно после прибытия в роту найти пулемет. А вечером вместе с Арсланом и со старшиной Сало — ко мне. Ясно?

— Ясно, товарищ гвардии капитан!

## 10

Прошло уже несколько дней, как Газиев отдал мне суровый приказ, а ни Арслана, ни пулемета я не нашел. Из-за меня попало и старшине Сало, и командиру отделения — вечно сердитому сержанту, который и без того невзлюбил меня, называя писарьком. Попало даже красно-белому Васе — моему второму номеру. Комбат еще раз приказал хоть из-под земли достать Арслана и пригрозил — если он и пулемет не найдутся — военным трибуналом. Пока же я не вылезал из внеочередных нарядов.

Мы стояли на берегу какого-то соленого озера. В солдатских разговорах и настроениях чувствовалась близость чего-то большого и грозного. Однажды в полночь (я только-только вернулся с кухни, где колол дрова), лег и начал было засыпать, прозвучала тревога. Вся темная степь пришла в движение.

— Первая рота, стройся!

— Третий взвод, стройся!

У озера, около шеренги студебеккеров, нас встретили комбат и незнакомый офицер. Они показали нам выделенную для взвода машину. Боясь попасть на глаза комбату, я первым взобрался в кузов машины и юркнул в уголок. Вскоре прозвучала команда «трогай!». Мы двинулись молча, настороженно. Это — все понимали — был последний походный бросок перед боями.

На горизонте висела зеленоватая ущербная луна. Под ее холодным сиянием вся степь, — плоские коричневые холмы, блестящее зеркалом озеро, машины и танки, — приобрела таинственный, сурово-величественный вид. Солдаты хранили глубокое молчание. Только один Вася, не находя себе места, суетился и шептал мне в ухо:

— Смотри-ка, смотри, танков-то сколько, а? Силища! Расшибут самураев, а? Без нас, как ты думаешь? Подвигайся поближе, соснем, может, а?

Куда там соснуть? Под надрывный рев моторов я все думал и думал о том, что стало с Арсланом. Неужели я лишился друга? А что будет со мной, если он не объявится и не найдется пулемет?

Рассвело. Таинственность ночной степи исчезла. Мы были среди барханов. словно застывшие зеленоватые волны громоздились друг за другом высокие барханы, катясь все дальше к горизонту, и сливались там с небом.

Остановка! Идущие впереди машины — тяжелые тягачи и легкие вездеходы — застряли в этих сыпучих волнах. Солдаты с лопатами в руках уже принялись корчевать кусты тальника, рубить ветви невысоких колючих деревьев.

— Взять лопаты! — Старший лейтенант Харитонов выпрыгнул из кузова.

Солдаты нашей роты, работая топорами и лопатами, переговаривались:

— Хватит, братцы, накатались!

— Эх, не везет пехоте!

В самом деле, на участке барханов вся тяжесть похода снова пала на царицу полей.

Артиллеристы недавно подтрунивали над нами, а теперь сами стали нуждаться в нашей помощи. Тяжелые тягачи, которыми, казалось, нипочем было любое препятствие, студебеккеры, своим ревом сотрясавшие пустыню, даже могучие танки, — вся техника буксовала, застревала в песках. Мы подкладывали тальник и саксаул под колеса и траки, привязывали к тяжелым машинам арканы и с криками: «Эй, взяли! Еще раз взяли!», — волокли их вверх — на каждый бархан, на каждый холмик — и с еще большим трудом, держась за веревки, до крови обдирая ладони, осторожно спускали вниз.

Пескам не было конца. Будто весь мир обратился в сыпучие барханы, и начинало казаться, что люди и техника никогда не выберутся отсюда! Долгие часы продолжалось это медленное движение войск по пескам Хингана, изредка отдыхали солдаты в заброшенных глиняных строениях, в полуразрушенных буддийских пагодах. Встречались и населенные дворики, обнесенные плетеными заборами; в них жили одни старики, в длиннопольх, до пят чекменях, и дети с косичками на бритых головенках. Чабаны безмолвно встречали и безмолвно провожали нас.

Вечером третьего или четвертого дня, когда мы взбирались на не знаю какой уж по счету высокий бархан, я столкнулся лицом к лицу с комбатом. Вместе с начальником штаба батальона он шел по обочине, а когда нужно было, тоже подставлял плечо под какую-нибудь застрявшую машину, тоже тянул за канат. Увидев Колбаскина, комбат заулыбался:

— Эй, Василек! Что-то сник, будто целый месяц колбасы не ел...

— Колбаса-то у меня есть, — улыбнулся Вася, потрогав свой



облупленный багровый нос.— Плохо, что целый месяц мы ищем самурая и никак не можем полюбоваться на него, товарищ капитан!

— Не спеши, не спеши! Самурай — не девушка, чтобы топотаться на свидание с тобой.

Я хотел незаметно отодвинуться за других бойцов к дальнему от капитана борту машины, но он окликнул:

— Солдат Мурадов!

Я вынужден был выпрыгнуть из кузова, подойти к нему. Комбат, отведя в сторону покрасневшие от бессонницы глаза, сказал:

— Младший лейтенант заболела, зовет тебя... Она вон в той машине.— Он кивнул на студебеккер, втянутый на вершину бархана.— Иди, я скажу Харитонову, где ты будешь.

По колено увязая в песке, я пошел туда. Взошел наверх и чуть не ахнул. Впереди внизу лежала небольшая, необычно зеленая долина. А за ней, там, где сквозь вечерний мягкий туман виднелись невысокие горы, краснело в закатных лучах солнца причудливое здание монастыря. Построенный будто из красного мрамора, он весь полыхал — красные стены, удивительная красная крыша с резными карнизами, все красное.

С трудом оторвав взгляд от этой фантастической картины, я подошел к одной машине и взобрался в кузов.

Оля, закутанная в шинель, калачиком свернулась меж штабных сундуков и мешков. Глаза были закрыты. Ее, видно, мучила температура: лицо полыхало, губы потрескались.

Я опустился на дно кузова и, не зная, что делать, спросил:

— Товарищ младший лейтенант, может, воды подать?

Младший лейтенант открыла и снова закрыла глаза. Облизнув губы, прошептала: «Холодно». Ее бил озноб.

Я снял шинель и накрыл ею Олю.

— Малярия, наверное,— сказала она, не открывая глаз.

Машина тронулась. С тряской проскочив мелкую речушку, мы достигли стен древнего монастыря. Остановились в тени высокой чинары. Отсюда монастырские строения уже не казались огненно-красными.

Другие машины подходили одна за другой и тоже останавливались на площадке перед пагодой.

К нам в кузов влез комбат. Не глядя на меня, он опустился у изголовья Оли, потрогал ее лоб.

— Может, в медсанбат поедешь, Оленька?

Оля открыла глаза, взяла Газиева за руку.

— Не надо, Даврон, пройдет... Холодно только!

— Я приказал разжечь костер. Сойдешь?

— Да...— Оля, плотнее запахнув на себе шинель, с трудом поднялась.

Солнце зашло за горизонт. Монастырь, только недавно полыхавший багрянцем, стал коричневым. Около железных решетчатых его ворот два старых монаха в длинных бархатных

одеждах, улыбаясь, низко и часто кланялись солдатам, но за ограду никого не выпускали.

Под чинарой и вправду запылял костер. Комбат показал на высокий стог у речушки, которую мы переехали, и приказал мне принести сноп сена. Я побежал туда. Пробираясь между грузовиками, услышал: «Мансур!» Гляжу — Мирхайдар! Стоит беспечный, фуражка в руках полна яблок, с сочным хрустом уминает, видать, не первое из них.

— Яблоки? — удивился я. — Откуда?

— Для нас это не проблема, браток! — Мирхайдар хвастливо засмеялся. — На, возьми... А ты, вижу, все еще топаешь на своих двоих... Э, недотепа! Говорил — не послушался... А ну, пойдем, пропустим по маленькой! — вдруг сказал он и поволок было меня к одной из машин. Тут только я заметил, что он уже навеселе.

— Некогда, Мирхайдар. В другой раз как-нибудь.

Я с трудом отделался от «верблюда».

Когда я притащил охапку сена, комбата около машины уже не было. Оля, все так же закутанная в шинель, сидела, согнувшись, перед костром и подкидывала в огонь сухие сучья. Я вынул из кармана и протянул яблоко младшему лейтенанту.

В глазах Оли вспыхнула детская радость.

— Ой, яблоко? Настоящее? Откуда взял?

— Нашел... для вас! — сказал я смущенно.

Оля погладила яблоко ладонью, понюхала его.

— Ароматное, запах чудесный. — Задумчиво поглядела на костер и вдруг тряхнула головой. — Эх, сейчас бы глоток вина!..

— Спирту хотите?

— Нет! — Оля брезгливо поморщилась. — Вина, говорю... Когда мы стояли в Австрии, такие вина там были!

Я сорвался с места.

— Куда ты, Мансур?

— Сейчас вернусь!

Мирхайдар должен быть в одной из грузовых машин, выстроившихся у берега речушки; большинство из них, судя по грузам, принадлежало ПФС. Но машин было много, как найти Мирхайдарову машину в такую темень? Стоп! Не он ли это храпит, дорогой Верблюд? Храпит своим знаменитым, не дававшим нам уснуть в землянке храпом? Вот так удача! Мирхайдар удобно примостился в кабине крайнего студебеккера. Я бесцеремонно растолкал его.

— Ты? Чего тебе?.. Какое вино? — Потягиваясь, он нехотя вылез из кабины. — Я же недавно предлагал, а ты не захотел... Спирт нужен?

Я еле втолковал ему, что нужен не спирт, а вино.

— А зачем? А-а... К той красавице подъехать? Хе, а ты, я вижу, не дурак... Ну, ну! Шуток не понимаешь!

Мирхайдар пьяно засмеялся, обнял меня за плечи и спросил, где мы стоим.

— Вино-то есть,— вернулся он к моей просьбе.— Но без разрешения хозяина не могу дать. Ты иди к себе. Капитан придет, я тебе сам тогда доставлю бутылочку... для такого дела не жалко...

Костер почти потух. Оля, совсем обессилев, полулежала на плащ-палатке.

— Ну, где ты ходишь, Мансурчик? — сказала она, приподняв голову.— Я тут одна-одинешенька...

Мне не хотелось говорить, что я ходил за вином. Подкинув в костер сухих стеблей, я молча присел на краешек палатки, брошенной на солому.

— В котелке еда, поешь... Наверно, остыло...— не отрывая взгляда от искр, почти прошептала Оля. Потом помолчала и спросила: — Мансур! Ташкент... хороший город?

Я почувствовал, как в груди у меня екнуло: приятно было услышать это слово — «Ташкент».

— Еще бы, товарищ младший лейтенант! Замечательный.

— Там есть институт иностранных языков? Не знаешь?

— Этого не знаю, но университет там есть. Это точно.

Оля вздохнула.

— В июле, когда бывших студентов освобождали от службы... Мне тоже надо было демобилизоваться. А я... почему-то сюда поехала... Теперь вот... лежу у буддийского храма... Надо было демобилизоваться тогда... Зачем я поехала сюда?..

В ее голосе была какая-то тихая тоска.

— Товарищ младший лейтенант,— сказал я, чувствуя, что задыхаюсь от жалости к ней.— А вы сами... откуда будете? И вообще...

— И вообще, что за человек, да? — Оля тихо засмеялась: — А сколько тебе лет, Мансур?

— Восемнадцать. По документам девятнадцать, а на самом деле...

— А на самом деле прибавил год, чтобы взяли в армию, да? — Голубые глаза ее вспыхнули нежно и понимающе.— Мне тоже, Мансур, когда началась война, было восемнадцать... Ты читал про девушку по имени Таня?.. Может, слышал о ней?

— А как же! Это Зоя Космодемьянская.

— Ну да... Я была тогда на первом курсе института иностранных языков. И мне захотелось стать такой же, как Таня... Я ушла на фронт... Не знала, что не смогу такой стать.

— Почему вы так говорите, товарищ младший лейтенант?

— Почему да почему... Фамилия не такая красивая! — опять засмеялась Оля.— Ольга Куприянова! Нет, не звучит!

— А дальше? Дальше что было?..— спросил я, не обращая внимания на ее иронический тон.

— Дальше?.. Дальше в штабе дивизии, в разведотделе переводчицей была. Потом и радисткой работала, и на медсестру выучилась. Потом... уже с Давроном... с комбатом была в десантных частях... Нас в тыл врага в словацкие горы сбросили.

Он тогда ногу вывихнул, ходить не мог. Отряд не имел права ждать, ушел на задание. А я с комбатом осталась. В каком-то старинном замке... Нас окружили немцы. Жуть. Представляешь?

«Да, да, товарищ младший лейтенант, представляю, все понимаю. Идиот я, дурак бестактный, правильно меня комбат выгнал!»

— Ну а дальше, дальше... — взмолился я, — дальше что с вами случилось?

— Здравствуйте, Оленька! — Послышался звон шпор, и у костра возникла высокая фигура капитана Ногаева. Он положил на землю какую-то коробку, присел рядом со мной. — Не удивляйтесь, пожалуйста. Я получил донесение, что вам нездоровится. В надежде, что это поможет, принес вам эликсир бодрости и еще кое-что, полагающееся к нему.

Чертов Мирхайдар! Верблюд! Я хотел было встать, но Оля удержала меня:

— Куда ты? Попробуй вина, раз и ты, и капитан проявили такую находчивость... и взаимовыручку.

Ногаев, хмурия густые черные брови, раздраженно посмотрел сначала на меня, потом — совсем иначе, словно умолял о пощаде, на Олю.

— Оленька! Еще раз прошу вас извинить меня за ту... грубость... тогда в степи...

— Не надо об этом, не поднимайте мне температуру, — Оля нетерпеливо отбросила со лба прядь волос. — Лучше наливайте ваше вино...

Ногаев обрадованно вынул из бумажной коробки большую бутылку, похожую на бутылку из-под шампанского, затем ловко опрокинул содержимое коробки на свободное место плащ-палатки: целая гора печенья, пять-шесть яблок и две рюмки...

— Рюмки? — удивилась Оля, взяла одну из них и стала рассматривать ее. — Хрусталь. Каково, Мансуру?

Ногаев ласково отнял рюмку и, наливая в нее вино, заулыбался.

— Ногаев никогда не был неудачником, Оленька. Только однажды... Ну, да ладно... Итак, пусть принесет вам исцеление это вино! Настоящее французское! За вас, Оленька!

— А Мансуру?

— И Мансуру нальем!

Ногаев чокнулся с Олей, выпил свою рюмку, затем налил ее снова и протянул мне. Я заколебался, но Оля протянула рюмку, чтобы чокнуться со мной.

Была не была! Я выпил. Ногаев передышки не признавал. После второго-третьего тоста по телу, с непривычки, разлилась благодатная слабость. Я довольно плохо стал разбираться в событиях. Но и сквозь туман было все хорошо слышно.

— Оленька! Поверьте, с тех самых пор, как я увидел вас, не нахожу себе места!

— Не надо, — почти жалобно произнесла Оля.

— Подождите, Оленька. Дайте хоть боль высказать. Можете мне, конечно, не верить, но, слово чести, я впервые встречаю такую девушку, как вы. Видит бог, до сих пор ни одна женщина не отвергала мою... мои ухаживания. Пойдите, не перебивайте меня, умоляю вас. Я знаю, что говорю пошлости. Но только увидев вас, я понял, что до сих пор был пошляком. Вы, словно путеводная звезда, вывели меня...

— Капитан Ногаев! — крикнула Оля.

— Хорошо, хорошо, не буду! — Ногаев, тяжело вздохнув, замолк. Оля тоже вздохнула.

— Ну что ж, молчим? Говорите о чем-нибудь, только не обо мне, пожалуйста.

— Но я говорил искренне. Я только теперь...

— Спасибо. Но... хватит.

— Почему хватит? — нетерпеливо и протестующе перебил Ногаев. — Потому что у вас на жизненном пути встретился этот... грубиян? Неужели вы любите его?.. Да у него же еще и жена...

— Вы снова становитесь пошляком! — жестко сказала Оля. И с болью добавила: — Да что вы знаете, капитан Ногаев?!

— А вы что знаете? — с ожесточением крикнул Ногаев. — Вот письмо от его жены! В штабе лежало... Он обманывает вас... Оля привстала.

— Уйдите, Ногаев, сейчас же... или я уйду... — Оля словно поперхнулась. — Комедиант вы...

Ногаев вскочил на ноги, постоял, глядя на потухающий огонь, потом сказал: «Эх, Оля, Оля!» — и медленно зашагал от костра в темноту.

Оля долго сидела, обняв колени руками, в одной из них было зажато скомканное письмо. «От Саломат?» — пронеслось у меня в голове. А что же Оля?.. Тонкое лицо ее, смутно освещенное слабейшим пламенем, глаза, уставленные в одну точку, были печально-безнадежны...

— Что тут у вас происходит?

Комбат стал прямо надо мной и с хмурым недоумением глядел на разбросанные по сену рюмки, бутылку, еду.

Оля взглянула на него снизу вверх.

— Был Ногаев. Угощал нас вином. Кстати, принес тебе письмо... из штаба...

Комбат взял письмо и, присев у костра, взгляделся в адрес. Потом резко бросил клок сена в огонь, торопливо развернул треугольник.

— Это то самое, что ты ждал? — Голос Оли дрогнул.

— Что?.. Да, то самое... то самое.

Оля встала и пошла вниз, к реке.

— Оля!

Она не ответила. Я невольно поднялся.

— Оля! — громче повторил комбат. Из темноты послышалось негромкое:

— Оставь, Даврон!..

Комбат растерянно взглянул на письмо, на меня. Глухо сказал:

— Иди за ней! Я сейчас...

Я почти побежал за Олей в темноту, туда, откуда слышались ее вдруг ставшие торопливыми шаги. Потом шаги пропали, и я чуть не наткнулся на нее.

— Товарищ младший лейтенант.

— Не надо, Мансур, иди...

— Товарищ младший лейтенант!..— повторил я.— Оля!..

— Уйди же! — словно отрубил Оля и добавила тихо: — Прошу тебя...

Я покорно повернул обратно...

Знай я, что случится через неделю, я не повернул бы обратно! Не повернул бы? Нет, даже знай я о том, что произойдет в бою, вернее, после жестокого боя за Халанганский укреп-район, я не смог бы не послушаться Олю. Да и чем я утешил бы ее в ту ночь? Есть горе, не подвластное утешениям.

Так и не досказала мне Оля свою историю. А потом уже не было случая. Да и увидел я ее после этого уже в бою, вернее, в самом конце боя.

А бой начался на рассвете...

## 11

...Высоченные, будто целующиеся с небом барханы внезапно кончились. В полночь мы спустились в какую-то долину. Автомашины, тягачи с артиллерией, танки остались сзади нас, в складках холмов.

Мы двигались в зарослях гаоляна, и хотя пока еще противником не пахло, но по тому, что приказы отдавались шепотом, а солдаты ступали тихо и осторожно, я почувствовал, что бой вот-вот развернется.

Неприятная дрожь охватила меня. Понимаю, что предстоящий бой — дело моей жизни и смерти: не о смерти от вражеской пули думаю, а о том, что если хорошо сумею показать себя, то, возможно, капитан простит потерю пулемета, а струшу — тогда уж и не знаю, что со мной будет. Как нарочно, нет рядом и Васи — комбат взял его к себе связным,— хоть пошутит бы Колбаскин!

Сухо шелестят высокие, словно камыш, стебли густого гаоляна, листья его царапают нам лица. Вокруг — тьма, будто вошли мы не в гаоляновые заросли, а в дремучий лес, только на чистом небе сверкают крупные белые звезды. Где-то вдали, за зарослями, затарахтит вдруг пулемет, затем снова наступает тишина, которую нарушает только тихий хруст стеблей под ногами.

Внезапно, кинжально прорезав ночную тьму, к небу взлетели голубые и красноватые ракеты. Это далеко, где-то слева от нас. Поэтому, должно быть, мы не обращаем внимания на ракеты

и проходим еще с версту, затем гаоляновые заросли расступились, и впереди в низовье сверкнула, как серебряный пояс на черной одежде, ртутная лента реки. В лицо пахнуло приятной прохладой, послышался тихий влажный шелест.

Противника все еще нет.

На берегу реки, среди камышовых джунглей, саперы, шлепая по воде и постукивая топорами, наводят мост, оттуда доносятся негромкие команды, приглушенная ругань... Настланые на надувные лодки ветви и набросанное сено ходят ходуном под ногами...

Сразу за рекой опять начались поля гаоляна и проса. Ракеты вспыхивали теперь совсем близко, прямо по пути нашего движения. «Не останавливаться, бегом, марш!» Мне кажется, что топот солдат, их тяжелое дыхание заполнили всю долину.

На макушке какого-то холмика, засеянного просом, нас встретил — будто выскочил из-под ног — комроты Харитонов.

— Ложись! — скомандовал он.

Небо все еще полно звезд, но тьмы уже нет — в каком-то странном зареве вдали проступали темные массы холмов.

Неожиданно холм, на котором мы лежали, тряхнуло. Да еще как! Заткнув пальцами уши, я лежал — носом в землю; рядом кто-то восторженно прошептал: «Смотри, братцы, «катюши!» Гвардейские минометы расположились, наверное, на левом берегу реки: оттуда рванулся огненный вихрь. Разрывая ночную тьму и сполохами освещая долину, он падал на плоские холмы впереди нас, на какие-то насыпи, склады, вышки. Вот в одном, втором, третьем месте там возникли пожары. Теперь видно стало, что загорелись строения, заборы, обнесенные проволокой, доты. Заполыхали вроде и сами холмы, обнажая окопы, ходы сообщения, какие-то пещеры-укрытия. И среди огня и дыма забегали, закопошились люди-муравьи. Вот они, вот они, японцы!

Страх, полчаса назад заставлявший меня невольно дрожать, сразу притупился. Но вместе с ним исчезла и мысль свершить что-нибудь такое, что искупило бы мой проступок: бой несколько не был похож на то, что я представлял себе и к чему готовился. За нас воевала артиллерия!

Заполыхали две вышки на левом фланге самурайских позиций. Я увидел, как за каменными стенками какого-то двора заматались, забились, бросаясь в разные стороны, лошади. Жалостное ржанье на миг заглушило, как показалось, даже гул минометов и пушек.

— Эх, жаль бедняжек!

— Беги! Спасай!

Знакомый, слегка хриловатый — простужен он, что ли? — голос спросил:

— К атаке готов, Дмитрий Михайлович?

— Готов, товарищ комбат!

— Харитонов! Бери левее намеченного. Ближе к берегу!

— Есть, товарищ капитан!

— Осторожней, на берегу много дотов и дзотов! В атаку идти за шквальным огнем и за танками. Понял? Все!.. Вон они: танки! — крикнул комбат и, пригибаясь, побежал по склону к другой роте.

Танки рванулись откуда-то сзади, из лощин. Сотрясая холм, на котором мы лежали, они выскочили на ровное место перед рекой. Танки шли, стреляя на ходу, подбавляя своего огня и грохота в бушующую впереди преисподнюю.

Старшина Сало вскочил:

— Вперед!

Я зачем-то дал очередь из автомата и кинулся за ним с вновь пробудившимся в душе страхом и восторгом одновременно. Но стоило только нам подняться, как притихшие было насыпи и укрепления ожили, засверкали огненными точками, струйками. В воздухе жутко завизжали пули.

— Ложись! — крикнул кто-то.

Я бросился на землю и чуть не вскрикнул от боли и внезапного ужаса. Ах, черт, проволока! Оборванная минометной и артиллерийской стрельбой, колючая проволока обожгла, как раскаленное железо.

— Огонь!

Приподняв голову, старшина полулежа застрочил из автомата, потом снова вскинулся, побежал, крича во все горло: «Вперед, орлы!» Орлы тоже побежали вперед, обгоняя его. Маленький сержант, командир моего отделения, бежал в трех шагах впереди меня. Вдруг он начал медленно падать. Я подскочил, приподнял его, но тот, уронив голову, обвис на моих руках.

— Пронкин? — Старшина Сало, тяжело дыша, помог уложить сержанта на землю.— Ах, черт! Отчаянный парень!.. Идут санитары! Вперед, сынок!

Вот они, позиции самураев. Пустые?

Траншеи, глубиной в человеческий рост, были завалены разбитыми пулеметами, винтовками, катушками проводов, ящиками от дисков. И трупами! Отовсюду слышались стоны раненых.

Мы отдышались немножко. Стрельба не прекращалась, особенно жаркой она была на левом фланге, как раз у каменной ограды, где были заперты кони. По траншее мы двинулись налево. Перед последним поворотом, который выводил к каменной ограде, кто-то прыгнул на меня, прижав к стенке окопа, и хрипло заорал:

— Ложись, дуралей!

Мне показалось, будто земля перевернулась вверх дном. Окутанная дымом и копотью каменная ограда взорвалась, тысячи осколков просвистели над головой.

Из-за ограды вырвалась лавина коней! Опрокинув железные ворота, перескакивая через остатки заграждения, топчя и опрокидывая друг друга, с отчаянным ржанием мчались лошади. Некоторые падали в окопы и траншеи, другие, обезумев в едком



дыму, налетали на них. К счастью, потом лавина, видно, подчиняясь инстинкту, вдруг повернула к реке.

— Эх, вот это кони! — восхищенно произнес кто-то. Я обернулся. Старший лейтенант Харитонов! Тут только я догадался, что человеком, который минуту назад прыгнул на меня, спасая мою жизнь, был командир роты.

Внезапно перед нами возник запыхавшийся Вася Колбаскин.

— Товарищ старший лейтенант! Комбат приказал с занятой позиции не двигаться. Снова пойдут танки...

— Дмитрий Михайлович, — окликнул старшину Харитонов, — приказ слышал? Видишь вон ту высоту у берега, — под ней дот. Захватить!.. Ясно? — Старший лейтенант выполз из траншеи.

Вася по-свойски стукнул меня по плечу:

— Ну, как ты, Мансур? Еще не умер от страха?

— А ты?

— Нам-то что? Мы, брат, батальоном командуем, — засмеялся Вася. — Вон они, танки!..

Теперь танки были не сзади нас, как перед началом боя, а сбоку. Они шли вдоль речного берега, то исчезая в дыму горящих строений, то появляясь вновь. Долину снова охватил огненный смерч. Снова запылали плоские прибрежные холмики, опрокинутые вышки, каменная ограда — все запылало, все заволоклось дымом.

Разделившись на две группы, побежали и мы по траншеям.

— Мансур!

Я замер на месте. Кто зовет?

— Серкабай!

В низком кустарнике у развороченной траншеи лежал Шоюсуф. Серкабай забинтовывал ему ногу.

— Что с Шоюсуфом? Как вы тут очутились?

— Как, как... Ты что, один воюешь с самураями? — зло проговорил Серкабай.

Шоюсуф, увидев меня, запричитал:

— Мансур! Друг! Если что случится со мной...

— Да оставь ты! — еще пуще рассердился Серкабай. — Что с тобой случится? Рана с ноготок, а слез целый поток... Мансур, помоги-ка!

Оставаться или бежать? Секунду я стоял в нерешительности, а уже из-за поворота траншеи показалась Оля; сумка с красным крестом билась у нее на спине.

— Товарищ младший лейтенант!

— Ой, — выдохнула Оля, не слушая меня. — Смотри!

У берега, сквозь утренний туман и дым, забелели какие-то флажки. Из обвалившихся пещер-блиндажей, из черных пастей дотов, из окопных ям один за другим появлялись самураи — оборванные, грязные, окровавленные, с почерневшими лицами. Сдаются самурай! Хромая и поддерживая друг друга, они выходили из укрытий. Среди них бросился в глаза офицер; побрякивая

навешанными на грудь медалями, он не шел, а как-то странно передвигался, притоптывая, словно отплясывая незнакомый дикий танец... В том, как он это делал, звякая шпорами сапог, как, обнажая зубы, смеялся, было что-то жуткое.

— Епирай!<sup>1</sup> Что это с ним? С ума сошел? — Серкабай от удивления даже выпустил бинт.

— А ну, помоги, Мансур! — сказала Оля. Она стала на колени около Шоюсуфа.

Кончился бой! Я так и не выстрелил ни разу ни в одного самурая. И впрямь за нас повоевали, выходит, «катуши», пушки да танки!

Выйдя из траншеи, я заметил десяток конных, которые объезжали с левой стороны изрытый снарядами «наш» холм. Среди всадников... был и Арслан! С автоматом за плечом, он небрежно развалился в седле; гнедой гарцевал под лихим солдатом.

— Арслан! — не помня себя, закричал я и бросился к нему. Всадники остановились. Арслан поскакал ко мне.

— Поэт, ты жив? — Он соскочил с коня и раскрыл объятия. Я впился радостно-укоризненным взглядом в его скуластое лицо, на котором озорно посверкивали глаза, и, глотнув почему-то подступивший к горлу комок, сказал:

— Где же ты был, Арслан-лев?

— Э-э! — Арслан залихватски присвистнул. — В походе еще повстречался с разведчиками, побывал с ними в таких переплетах, что и за год не перескажешь!

Подошла Оля. Она с обидой посмотрела на Арслана.

— Что ты за человек? Оставил товарища в беде, а сам геройствуешь... Где Мансуров пулемет?

— Да ничего не будет Мансуру! Не бойтесь, товарищ младший лейтенант! Пулемет я сдал на склад. Все в полном порядке!

— Разве так друзья поступают? — сказала Оля, бледнея. — Ты бы видел, как его комбат...

— Да что мне ваш комбат! — иронически хмыкнул Арслан. — Наш лейтенант с генералом говорил обо мне. Все уже решено!..

В этот момент один из всадников позвал:

— Арслан! Поехали...

— Простите, братцы! Мне — в разведку!

Арслан попрощался с Шоюсуфом, с нами и, стегнув своего гнедого, поскакал за конным отрядом.

Оля презрительно скривила губы.

— Разве так поступают настоящие друзья? — еще раз сказала она.

И мне почему-то особенно запомнились эти ее слова... А через час... Уже четверть века прошло, а я помню все, что случилось, до мельчайших подробностей...

---

<sup>1</sup> Боже мой!

Похоронив сержанта Пронкина и двух молоденьких солдат, мы — молодые ребята из взвода старшины Сало, — подавленные, усталые, собирались отдыхать после боя. Но прибежал Серкабай.

— Раненых увозят. Шоюсуф еще раз хочет попрощаться с тобой, Мансур. Пойдем к земляку.

Получив разрешение старшины, мы побежали вдоль обугленных и застекленевших песчаных насыпей, мимо разрушенных дотов и спустились к речке, где у камышовых зарослей высотой с верблюда расположилась вторая рота нашего батальона. Солдаты, сложив оружие в козлы, отдыхали; многие спали прямо на земле, прижавшись друг к другу. Поодаль, в тени, стояли два студебеккера. Перед одной машиной, разложив карту на капоте, разговаривали наш комбат и пожилой командир второго батальона, худющий, точно высохшее дерево, майор. А со второй машины спрыгнула Оля. С ее лица струился пот, пуговицы гимнастерки расстегнулись, обнажив белое, нетронутое солнцем тело.

— Ну-ка, взбирайся, — сказала она мне. — Твой земляк тут. Если комбат разрешит, вместе съездим в медсанбат. За час обернемся.

— Спросить разрешения?

— Не надо. Я за водой сбегаю и сама скажу.

— Дайте я принесу воды, товарищ младший лейтенант. — Серкабай взял из рук Оли флягу и скрылся в высоких камышах.

В кузове, выстланном соломой, лежало с десятков перевязанных солдат. Они тихо переговаривались, некоторые даже смеялись чему-то, один только пожилой фронтовик, чья забинтованная голова казалась похожей на огромную чалму, постанывал, закрыв глаза. Шоюсуф сидел, прислонившись к кабине спиной, глаза его сузились, покраснели, курносый нос вроде еще сильнее вдавился в пухлые щеки.

Стоило ему увидеть меня, как в глазах снова заблестели слезы.

— Друг! — произнес он, чуть ли не рыдая сдавленно. — Спасибо, что пришел, до смерти не забуду твоей доброты.

— Чего ты плачешь? — удивился я. — Рана твоя не тяжелая.

— Говоришь, не тяжелая, а вдруг отрежут ногу? А жена у меня, сам знаешь, молодая...

— Кто сказал, что отрежут? Младший лейтенант?

— Нет, она, наоборот, подбадривает меня... Ты бы поговорил с ней. Пусть она врачам скажет, что жена у меня...

Послышались грузные шаги, и раздался голос комбата.

— Поехали! Садись в кабину, Оля!

— Ты тоже поедешь, Даврон?

— До штаба подбросите. Садись...

— Нет, я буду с ранеными! — Оля с флягой в руке взобралась в кузов. — Кто хочет пить?

Пожилой солдат кивнул головой-чалмой. Отложив в сторону автомат, Оля опустила перед ним на колени.

Над бортом грузовика показалась голова Серкабая.

— До свидания, Шоюсуф! Попадешь на родину, передавай всем нашим привет, в Туятасе, в Карасуве...

— Прощай, друг! — У Шоюсуфа дрогнули губы.

Машина тронулась вдоль берега реки. Дорога была неровная, с ухабами, вырытыми снарядами. Грузовик, ревя мотором, то преодолевал подъем, то медленно тряся по прибрежным колеям вдоль камышей.

Проехали мы, наверное, километра два, не больше: стоянка нашего батальона еще была видна. Другие же части ушли вперед сразу после боя.

Вдруг редко и беспорядочно захлопали выстрелы, и машина, точно уткнувшись в препятствие, стала.

Убаюканный качкой, я так и не понял сначала, что к чему, и, только увидев Олю, которая вскочила во весь рост с автоматом наперевес, очнулся.

Дверь кабины с грохотом распахнулась. Комбат прыгнул на заднее колесо грузовика.

— Есть автомат? Давай сюда! — Весь бледный, он выхватил у Оли автомат. — В камышах — засада. Взять оружие в руки! Ты чего разинул рот? — крикнул он мне по-узбекски. — Бери автомат!

Комбат спрыгнул на землю, и мы сразу услышали снизу первую очередь.

Я перепрыгнул через борт и подполз под кузов.

Машина стояла боком к зарослям. Расстояние до них — несколько шагов. Можно стрелять в упор. Но самураев не видно. Только по слабому шевелению камышей можно было понять, где они.

Я дал очередь по заколыхавшимся зарослям — и тут услышал отчаянный окрик комбата:

— Оля! Стой! Назад!

Оля бежала к другому студебеккеру, остановившемуся шагах в пятидесяти от нас, почти рядом с камышовым клином. Оля еще бежала к машине, когда густые заросли вдруг раздвинулись и прямо к машине выскочили два самурая. В руках одного была граната, у другого кинжал! Обляпанные грязью, с перекошенными какой-то холодной решимостью лицами, они остановились, будто поджидая младшего лейтенанта.

— Оля! — вскрикнул я. По нашей машине хлестнула очередь.

Комбат дал очередь в ответ.

— Смертники! Ложись, Оля!

Услышала ли она голос комбата? Самурай, который держал гранату, размахнулся. Но бросить гранату в машину он не успел. Оля успела подскочить к нему и ударом приклада выбила гранату из его рук.

— Оля! — Комбат, как мне показалось, кубарем покатился

по откосу вниз. Я выскочил вслед, но, еще не успев прицелиться, увидел, как второй самурай замахнулся кинжалом. Я кинулся вперед, зацепился за что-то, покатился вниз. Самурай с окровавленным кинжалом в руке, скользя по грязи, медленно отступал назад, в камыши.

Комбат обернулся ко мне. Лицо его было страшно. Крикнув по-узбекски: «Держи негодяя!» — он одним рывком выскочил на дорогу и помчался ко второй машине.

Его могли убить очередь из зарослей. Я побежал наперерез смертнику, ломая телом камыши. Но смертник, вдруг что-то прокричав — хрипло и жутко, перекосив свое обляпанное грязью лицо, вонзил кинжал себе в живот. Острие сверкнуло на солнце, и самурай с диким и страшным выражением в глазах схватился за живот обеими руками, покачался секунду, потом упал ничком в истоптанный, поломанный камыш.

Я бросился назад. Со стороны каменной ограды на холме к нам бежали солдаты. Комбат донес Олю на руках до машины и бессильно опустил на землю у задних колес нашего студебекера.

— Оля!

Даврон-ака, услышав мой голос, обернулся; в лице его не было ни кровинки; большие серые глаза умоляюще зывали о помощи.

Оля — должно быть, раненная в бок — лежала на спине, глаза ее были закрыты, мягкие волнистые волосы рассыпались по плечам.

— Товарищ младший лейтенант! — Я не смог дальше выговорить ни слова.

Оля открыла глаза, мне показалось, что она хотела что-то сказать мне, но не смогла.

Прибежали солдаты. Оттеснили меня. Вперед вышли старшина и Харитонов.

Оля застонала:

— Дмитрий Михайлович...

— Потерпи, доченька... — Старшина взялся за ворот Олиной гимнастерки и тут же убрал руку: весь верх гимнастерки был в густой крови.

У старшины дрогнули усы, он обернулся к комбату.

— Надо скорее в медсанбат...

Оля услышала, отрицательно покачала головой. Она не стонала, лежала неподвижно, угасая на глазах. Потом вдруг мучительно содрогнулась, открыла глаза и, будто прощаясь со всеми, обвела нас взглядом.

— Оля! Товарищ младший...

— Мансур, — тихо, но отчетливо сказала Оля. — Даврон! — и, не договорив, застонала. Глаза ее словно задернулись кисеей.

— Оля! — Комбат приподнял ее голову и стал целовать лоб, глаза, волосы. — Оля! Оленька!

Старшина положил руку на его плечо.

— Товарищ капитан!

Комбат взглянул на старшину, потом на меня: он ничего не видел!

— Товарищ капитан!

— Да, да... Правильно. В медсанбат... Скорее! Скорее! — Комбат быстро встал, поднял Олю на руки.

В этот момент с грохотом подкатила какая-то легковушка. Я увидел выскочившего из кабины Ногаева.

— Что случилось? Что такое? — Ногаев, отодвинув плечом молчащих солдат, прошел вперед и увидел комбата с Олей на руках.

— Оля? Когда? Что случилось?

Комбат с помощью Харитонова протянул тело девушки старшине, уже влезшему в кузов, обернулся к Ногаеву.

Харитонов взял Ногаева под локоть:

— Послушай, капитан...

Но Ногаев оттолкнул его.

— Как это случилось, я спрашиваю?! Не сберег такую девушку! Что молчишь? Я тебе говорю: такую девушку не сберег! — Ногаев, весь дрожа, с горящими от ярости глазами надвигался на комбата. Мне показалось, что сейчас он ударит Газиева. Опустив голову, комбат еле слышно проговорил:

— Да, не сберег.

Ногаев, побледнев, сжал кулаки.

— Не сберег! Эх ты, герой... Как это могло случиться после боя? Кто ответит за нее?

Комбат резко отвернулся. Не глядя на нас, вскинул голову.

— Старшина Сало! Ты повезешь Олю в медсанбат! — жестко проговорил он и обернулся к Харитонову: — Старший лейтенант Харитонов! Твоей роте прочистить весь берег! Каждый вершок!.. Нет, стой, я сам!

— Разрешите мне, товарищ капитан... — сказал Харитонов.

Комбат не ответил ему.

— Рота! Слушай мою команду. Направление — камыши. Интервал три метра, оружие взять на изготовку. Цепью, вперед! — И, выхватив из кобуры пистолет, он первым двинулся к камышам.

Обойдя застывшего Ногаева, с автоматами и винтовками наперевес, мы вошли вслед за комбатом в густые камыши.

### 13

Через час на пологом холме, где взошло просо, к десятку свежерытых могил прибавилась еще одна.

Олю привезли на грузовике медсанбата. В кузове стояли две медсестры, в кабине сидел полковник Белобородов. В глубоком молчании опустили мы гроб с телом Оли в могилу. Старшина Сало, то и дело вытирая влажные глаза, высоким срывающимся голосом приказал салютовать. Дали три залпа из автоматов и винтовок. Положили на могилу букет цветов, принесенный мед-

сестрами. Когда мы строим спустились в лощину, мимо нас промчался грузовик медсанбата. В кабине сидел, опустив голову, полковник Белобородов. Комбата на машине не было. Я невольно обернулся назад.

Даврон-ака сидел на гребне холма, чуть повыше могил, и глядел куда-то вдаль. В моей памяти почему-то всплыли Олины слова: «В июне, когда бывших студентов освобождали от службы, я трже могла демобилизоваться. А я почему-то сюда приехала. Зачем?»

Чувствуя, как рыдание перехватывает горло, я до боли стиснул зубы.

## 14

Прошло еще несколько дней.

Мы в Маньчжурии, преследуем врага. Почти не встречаем сопротивления. Гарнизоны японцев, не выдерживая ударов передовых танковых частей и артиллерии, спешно отступают, бросают укрепления, оставляют небольшие города, сдаются в плен целыми полками.

Однажды вечером, когда мы, остановившись на ночлег на краю какого-то рисового поля, только было принялись за ужин, явился связной комбата, мой бывший второй номер Вася Колбаскин.

— Ну, что ж, пойдём, братец.— Василек был явно взволнован.— Тебя в штаб вызывают. Харитонов я уже предупредил. Скорее собирайся. Комбат ждёт!

Васин вид меня насторожил.

— Чего паникуешь? Что-нибудь случилось?

— Не знаю,— Вася отвел глаза.— Кто-то пришел в штаб, из военной прокуратуры, кажется.

— Из военной прокуратуры?

— Да не трусь ты! — рассердился Вася.— Не о паршивом твоём пулемете речь... А вопросы там задашь. Понял? Иди.

Штаб был недалеко от нас, сразу за рисовым полем, на гребне холма (почему комбат любил выбирать для штаба возвышенное место — этого я не знаю, но путешествовал штаб только с холма на холм,— благо, их тут до черта). Было еще светло, хотя солнце уже зашло. Но пока я добрался до штаба, начало темнеть. Вот наконец и знакомая палатка все с той же табличкой — «Штаб». Оттуда вышел начальник штаба, пожилой старший лейтенант с проседью в волосах. Увидев меня, он кивнул — входи, мол,— и, нахмутив косматые брови, заторопился куда-то. Я оправил гимнастерку и с бьющимся сердцем уже собирался было откинуть полог и представиться по всей форме, как услышал гневно-хриплый голос комбата, и невольно остановился.

— Вот что, товарищ старший лейтенант. Сколько надо, расспрашивайте о том, что случилось, я готов отвечать. Но, пожалуйста, не касайтесь наших с ней отношений.

— Почему же? — Человек, задававший вопрос, говорил мягко, даже как-то ласково.

— Потому что все это оскорбляет...

— Вас?

— Не только меня. Память ее.

— Простите меня, товарищ капитан, но ваш ответ довольно наивен...

— Как вам угодно, только об этом я говорить не стану.

— Зря! Но — как хотите. Помните только: ваше молчание осложнит дело.

— Пускай! Можете обвинить меня в отсутствии бдительности в тот день. В растерянности даже. Но не трогайте того, что касается только нас с нею.

— Что ж, хорошо.

Внутри палатки что-то затрещало. Поправив пилотку, одернув гимнастерку, я шагнул внутрь.

— Товарищ капитан! По вашему приказанию...

— Вольно! — Комбат, стоявший в середине палатки, обернулся к высокому, плотному человеку, который освещал ручным фонарем походный стол, какие-то бумаги на нем.

— Вот солдат, вызванный вами.

Высокий, плотный человек осветил мне лицо лучом. Встретившись глазами с его суровым, как мне показалось, испытующим взглядом, я уставился в землю.

— Ну, я пошел, — сказал комбат, направляясь к выходу.

Офицер прокуратуры оглядел меня с головы до ног.

— Русский язык хорошо знаешь? — спросил он. — Если знаешь — напишешь объяснение о событиях, которые произошли после боя на речке Халанган. О смерти младшего лейтенанта Куприяновой и нескольких раненых.

О том, что там погибло еще несколько раненых, я не знал.

— О смерти раненых?

— А ты разве не знаешь? — сказал человек, строго и отчетливо выговаривая каждое слово. — Ну, напишешь обо всем, что знаешь, и вручишь написанное начальнику штаба батальона. Будем разбираться. Понятно?

— Понятно, товарищ старший лейтенант!

— Хорошо! — старший лейтенант аккуратно уложил бумаги в свой большой портфель, щелкнул замком и твердой поступью вышел из палатки.

Хоть я и сказал «понятно», но мне ничего не было ясно. «Что, собственно, происходит? Неужели Даврон-ака виноват в том, что произошло в тот день? Или тут что-то другое? Что я должен писать? Как писать?..» Я вышел вслед за офицером в полной растерянности.

Все вокруг было погружено в темноту, только внизу, в ложине, горели костры.

Около палатки, скрестив руки на груди, стоял комбат.

— Товарищ капитан...



— А? — Комбат оборотился.— Ты, Мансур? Хош?

— Старший лейтенант поручил мне написать объяснение о том... ну, о том, что произошло в тот день... но я не знаю, что и как писать...

— Я тоже не знаю,— проговорил комбат, потом добавил сухо: — Что знаешь, о том и напиши!

— Да. Но... неужели за то, что произошло в тот день, должны отвечать вы?

Даврон-ака не ответил, снова уставился в темноту.

— Если бы дело было только в одной ответственности!..— сказал он после долгого молчания.— Эх, какие же люди еще бывают на свете...

Комбат тяжело вздохнул, скинул шинель на землю, прилет на нее:

— Садись-ка, Мансурджан.

Впервые за все время нашего знакомства он назвал меня так.

Чувствуя, что он сейчас в таком состоянии, когда человеку хочется поделиться с кем-то своим горем, я сел рядом. И действительно, этот суровый, молчаливый человек о многом рассказал мне в ту августовскую ночь.

Вот его рассказ, как я запомнил...

## 15

«...Впервые я увидел Олю год назад. Как раз в конце августа. Мы стояли тогда в лесах Западной Украины, готовились к выброске в тыл противника. Все было готово. Отряду нужен был только еще один боец, чтоб знал немецкий и чешский. И сверх того радиодело и медицину.

Приглашает меня начальник разведотдела и говорит: «Ну, Газиев, нашел я тебе замечательного бойца». А сам улыбается. Подошел к двери, открыл ее, позвал:

— Куприянова!

В комнату вошла девушка в форме младшего лейтенанта, представилась полковнику. Мы познакомились. За три года войны я перевидал многое. Видел женщин, даже совсем молодых девушек, которые в мужестве не уступали самым бывалым солдатам. Но эта — с длинными ресницами и удивительно чистыми голубыми глазами — показалась мне слишком юной и хрупкой для нашей операции, так что я исподлобья взглянул на полковника. Полковник опять усмехнулся, потом разрешил Оле выйти и сказал мне коротко:

— Бери, Газиев! Не будешь раскаиваться!

Это была наша первая встреча. Через несколько дней наша группа, девять человек, вылетела в тыл противника. До сих пор я помню этот полет во всех деталях.

Простились с друзьями, с представителями из Москвы, с командиром полка полковником Белобородовым, сдали свои

документы, письма, написанные домой, прихватили все необходимое: рацию, автоматы, гранаты, взрывчатку, продукты, одежду, — словом, все, что надо. Поднялись в воздух. В самолете темно — ничего не видать. Только на двери кабины летчиков мерцают голубые и красные огоньки. Оля свернулась калачиком, прижалась ко мне, будто ребенок. И другие, прижавшись друг к другу, казалось, спокойно дремлют. Но я-то знал, что никто не спит, думают о предстоящей операции. Нет, дело не в страхе. Каждый из тех, кто был в самолете, не раз попадал в самые тяжелые переделки. Выдавшие виды, отчаянные, мужественные ребята. Но раньше, как бы трудно ни было, десантник действовал на родной земле, — хоть она и была под врагом. Каждый человек, каждый кустик, каждое дерево на ней помогали разведчикам. А в тот раз все было иначе. Лишь один человек со странной для нас фамилией Немец, поручик чешского антифашистского корпуса Ладислав Немец, знал землю, на которую мы должны были спуститься.

Вот скоро откроется самолетная дверца, и в проеме покажется темная, мрачная пустота. И вся девятка должна нырнуть в эту бездонную пропасть, навстречу полной неизвестности... Тебе, Мансур, еще не понять этих чувств перед прыжком, этих вопросов, которые знакомы разведчику-десантнику: благополучно ли он приземлится или его расстреляют снизу, еще в воздухе?.. И что ждет его на незнакомой земле, если прыжок будет благополучным? И как потом связаться с местными партизанами?

Из кабины вышел один из летчиков.

— Мы в намеченном квадрате, старший лейтенант (я тогда был старшим лейтенантом).

Не успел я дать команду, как Оля первой вскочила на ноги — и к двери.

Дверь открыли. Внизу, в густой, как клей, темноте, замелькали тени быстро летящих облаков; в самолет с шипением ворвались волны холодного воздуха.

— Приготовиться! — приказал я и в темноте неожиданно увидел глаза Оли. Ее большие голубые глаза, которые уже очаровали весь наш отряд. Они не отрывались от темного провала.

Я тихонько пожал руку девушки: мол, все будет хорошо. Оля бросила на меня быстрый взгляд и, видно, поняв по-своему мой жест, нагнулась вперед, но Ладислав преградил ей путь. Он нырнул в темноту первым, за ним Оля, за Олей старшина Сало...

Я не впервые прыгал в тыл врага. Но когда, попрощавшись с летчиком и стоя у дверцы, увидел, как там, в зияющей пустоте, замелькали обрывки черных облаков, на мгновение холодная дрожь пробежала по спине. Может быть, у профессионального парашютиста этого не бывает, но будто какая-то страшная сила, наперекор моей воле, схватила меня за шиворот и оттягивала от пропасти. Я знал, что стоило чуть дольше мгновенья

поддаться этой инстинктивной силе, и уже ничто, никакие доводы разума не заставят меня выпрыгнуть. Я хорошо это знал, помнил бывалых людей, которые поддавались этому холодному страху за себя. Я закрыл глаза и нырнул вслед за бойцами, за побратимами своими.

К счастью, немцы не перехватили нас в воздухе и потом обнаружили не сразу. Но лично для меня начало оказалось не очень удачным. Я шлепнулся на какое-то громадное дерево, кажется, это был дуб. Всей массой тела я упал на листву, она, как амортизатор, смягчила удар, но вот левая нога попала в развилку двух ветвей и зацепилась там. Боль полоснула так резко, что показалось, будто из глаз искры посыпались. Как потом выяснилось, я вывихнул ногу в щиколотке.

Преодолевая боль, стиснув зубы, я кое-как спустился с дерева и, прихрамывая, отправился искать других десантников. Мы спустились на склон горы — в густой сосновый лес. С помощью условленных знаков нашли друг друга, собрались в одном месте...

Судя по сведениям, добытым нашей разведкой заранее, в пяти-шести верстах от места приземления, у подножия горы, находился важный в военном отношении железнодорожный узел. Одно из наших заданий было связано с этим железнодорожным узлом. Но вначале, перед самой операцией, нам необходимо было войти в контакт с действовавшими где-то в горах чешскими партизанами. Решили, не теряя времени, сразу же заняться поисками. А как мне идти? Попробовал было, да куда там! Опять посыпались искры из глаз, так что товарищам пришлось подхватить меня с обеих сторон и тащить за собой. Нет ничего труднее, чем идти ночью по незнакомому месту. То наталкиваешься на густые кустарники, то по оврагам чуть ли не катишься, то натыкаешься на какие-то нагромождения камней, и приходится обходить их. А тут еще я со своим вывихом! Было и обидно, и стыдно мне, командиру, что стал обузой для отряда. Надо было как можно скорее и как можно дальше уйти от места приземления, замести следы, а я еле-еле двигался.

Когда прошел примерно час, впереди в темноте послышался лай собак. Мы остановились. Я отправил Ладислава вперед. Он скоро вернулся и сказал, что там, у подножья горы, небольшая деревенька. Решили взять левее, мимо нее. А меж тем сквозь ветви сосен небо уже побелело, звезды начали меркнуть.

Свернув налево и пройдя еще с километр, мы увидели что-то громадное, как скала, возвышавшееся перед нами. «Скала» оказалась каким-то полуразрушенным дворцом. Ладислав и Сало опять пошли вперед, вернулись, доложили, что в нем никого нет. Обсудили ситуацию и решили до вечера спрятаться во дворце, отдохнуть, прийти в себя.

Это был старинный готической архитектуры и действительно совершенно заброшенный дворец. Потом мы узнали, что в середине прошлого века им владел какой-то граф, и об его

мрачном особняке ходило много легенд. Через проломы в стенах и перегородах мы пробрались в подвал, похожий на темную холодную пещеру, прошли по узким сырым коридорам и по разрушенным ступеням поднялись вверх. Дмитрий Михайлович и Ладислав поддерживали меня, я ковылял, стиснув зубы и сдерживая крик боли. Наконец остановились в какой-то мрачной комнате под самым чердаком. Тут Оля нашла какие-то дощечки и крепко перевязала мне ногу.

Ладислав поднялся на чердак — понаблюдать за окрестностями: к тому времени уже совсем рассвело. Оставался он там недолго.

— Немцы! Приближаются с той же стороны, откуда и мы пришли.

— Сколько?

— Человек двадцать...

Что было делать?

— Дмитрий Михайлович! — сказал я. — Командовать отрядом поручаю тебе! Немедленно выбирайтесь из дворца — тем же ходом, через подвал — и в лес!

Сало посмотрел на мою ногу.

— А если примем бой тут?

— Старшина Сало! Выполняй приказание!.. До свидания, друзья!

Солдаты быстро бросились вниз по ступеням. Одна Оля да еще старшина остались стоять. Побледнев, Оля просительно заговорила:

— Товарищ старший лейтенант! Разрешите, я останусь с вами...

— Младший лейтенант Куприянова! Выполняйте приказание! — Я повысил голос.

Оля опустила глаза и, кусая губы, тихо повторила:

— Я останусь здесь, если даже... расстреляете...

В разговор вмешался старшина:

— Ладно, товарищ старший лейтенант, пусть она останется с вами. С рацией сами справимся. — И, сбегая по ступенькам, добавил, показав рукой вверх: — На чердак залезайте. На чердак!

Я подождал, пока он скрылся, и обернулся к Оле. Она почему-то смутилась.

— Товарищ старший лейтенант! Ведь я же... медсестра...

— Ладно. А ну, залезай на чердак.

Я подставил плечо. Оля встала на него, ловко, как кошка, перебралась на чердак и протянула мне оттуда ремень. С ее помощью я дотянулся до края стены и перевалился через него.

Чердак был захламлен всяким старьем: тряпками, обрывками бумаги, какими-то медными люстрами, разбитыми шкатулками и невесть еще чем. Вокруг нас — полумрак, и если бы не отверстие под крышей, на чердаке была бы полная тьма.

Я только подумал про это, как где-то внизу застучали автоматные очереди. «Неужели наших заметили?» Подложив

под ноги какие-то банки, ящички, шкатулки и балансируя на этой шаткой подпорке здоровой ногой, я приник к отверстию. Перед моими глазами мелькнули — словно вот они, рядом — чистые снеговые вершины с зелеными елками. Внизу, под дворцом, на противоположной от нас стороне какой-то речушки зеленел густой ельник. Немцы, стреляя из автоматов, бежали к ельнику, но наших не было видно, — значит, они успели скрыться в лесу.

Я вздохнул облегченно, будто гора с плеч свалилась. Соскочил со своего сооружения из банок и ящичков, оно тут же рассыпалось, но его шум перекрыли другие, более громкие звуки. Где-то внутри дворца раздался взрыв ручной гранаты, и гулкое эхо отозвалось в пустых помещениях. Совсем близко затрещали автоматы, послышались нервные крики. И здесь немцы! Хотят обыскать дворец!

«Надо закрыть отверстие!» — осенило меня.

— Оля! Давай сюда тряпки, доски, все, что есть, давай.

Я пригнулся. Оля встала мне на спину, и мы кое-как прикрыли отверстие. Потом в темноте мы перебрались за каменную печную трубу в углу чердака. Внизу еще дважды рвались гранаты, сотрясая старые, словно гнилые зубы, стены. Обычная манера немецких солдат; прежде чем войти в незнакомое место, швырнуть туда пару гранат.

Через несколько минут послышались грузные шаги кованых сапог по ступенькам, и тут же раздалась автоматная очередь... Страх не было, я опасался только одного: собак. Если с ними собаки, тогда нам конец.

Нет, ни лая, ни рычания слышно не было. Я быстро глянул на Олю: «Не бойся, Оленька». Она прижалась к моему плечу и так же, как я, приготовилась... «Тихо!» Даже в темноте блестели ее глаза. «Я не боюсь», — говорили они.

В комнате, которую мы недавно покинули, загрохотало — ручной пулемет. Со стен посыпалась штукатурка, обломки кирпичей. Затем над лестницей показалась голова в каске. Немец на чердак не полез. Он осмотрелся, повернулся к своим: мол, никого нет.

Я знал немецкий, конечно, не так хорошо, как Оля, но догадывался, что они там говорят.

— Убежище дьявола! — сказала голова в каске.

— Швырни гранату, — посоветовал кто-то, стоявший внизу.

— Нет больше гранат. У тебя есть?

— Одна. Сейчас...

Я почувствовал, как по плечам Оли пробежала дрожь. Я взял ее руку в свою. Девушка припала головой к моему виску...

Внизу что-то громыхнуло, упало на пол.

— О, черт! — выругался немец. — С запалом что-то случилось. Да ты стрельни из автомата во все стороны и залезай, ничего не случится.

Шальные пули срикошетили и в нашу печную трубу, мелкие кирпичные осколки брызнули фонтаном. Мы затаили дыхание.

Немец поднялся наконец в комнату. За ним показалась еще одна голова в каске.

— Э, да тут еще чердак. Ну, на него теперь полезешь ты!

— Почему я?

— Твоя очередь.

— А ты что — дрожишь? Заглянуть ведь только.

— Если ты не дрожишь, загляни сам!

— Не тяни волюнку. А то как дам прикладом по заднице, так быстро отправишься в преисподнюю!.. А ну, лезь, говорю тебе, молокосос.

Немец, стоявший внизу на ступеньках, выругался; «молоко-сос» бесприцельно выстрелил в потолок чердака, подошел к стене, резко поднялся на руках и на животе вполз к нам. Встал на ноги, огляделся.

— Кто тут есть? Не хочешь сдохнуть, выходи.

Наши глаза уже привыкли к темноте. Мы видели все. Вот он, в двух шагах от нас, немецкий солдат. Это длинный, худющий, как жердь, паренек: не больше девятнадцати—двадцати лет. Боязливо замер, будто прислушивается к чему-то. Поднял голову, осмотрел потолок и заметил пробивающийся сквозь щель светлый лучик. Взмахнув автоматом, он выбил тряпье, люстру, все то, чем мы заткнули отверстие. На чердаке сразу стало светло.

Солдат пинком отшвырнул люстру, которая с дребезжанием отлетела в сторону, повернулся лицом к углу — и увидел дула двух автоматов, направленных прямо на него из-за печной трубы.

— Ну, что ты там умолк? Золото, что ли, нашел? — закричал немец внизу. Скопив глаза, я отметил, что он так и не поднялся в комнату. Не снимая палец правой руки со спускового крючка автомата, левую руку я приложил к губам: «Молчать!»

Солдат-«молокосос», вытаращив синие, удивительно чистые, совсем невинные глаза, стоял остолбенело, как вкопанный.

— Жив ты там или помер?

Солдат испуганно вздрогнул:

— А? Да, да, жив... Я тут... Сейчас...

Я сделал ему знак: «Проваливай, откуда пришел!»

Парень покорно закивал головой, затем неожиданно улыбнулся, показав молодые крепкие зубы.

— Да ну тебя к черту! Что ты там нашел?

— Мешок золота. Хочешь, поделюсь... Залезай-ка сюда! — «Молокосос», все кивая и кивая головой, начал осторожно пятиться к краю чердака.

— Еще чего захотел, буду я там мараться! — крикнули снизу.

«Если только пикнешь — смотри...» Я вышел из-за трубы. Солдат опустил ноги с края чердака, еще раз, блеснув зубами,

кивнул — понятно, мол, — прыгнул вниз. «Как бы эта сволочь не натворила бед!» — подумал я.

Но нет, через мгновение оба солдата загромыхали по лестнице, спускаясь вниз. Я взглянул на Олю. Она глубоко вздохнула, будто сильно уставший человек, и, закрыв глаза, тихо всхлипнула. Она вдруг показалась мне маленькой, перепуганной девочкой. Поправив ей волосы, я обнял ее за плечи, прижал к себе...»

## 16

На этом месте комбат прервал свой рассказ: его вызвали в штаб полка.

Через две недели при других тяжелых обстоятельствах в руки мне попала толстая тетрадь в черной коленкоровой обложке. Перелистывая ее, я вдруг наткнулся на следующие строчки:

«Вчера пришел старший лейтенант из военной прокуратуры. Кто-то написал на меня грязный донос. Ногаев? Не знаю точно. Сотрудник прокуратуры, конечно, не сказал мне, кто. Будто гибель Оли была не случайной. Будто я сожительствовал с ней и теперь, чтобы отвязаться от нее, чуть ли не сам толкнул на гибель... И еще много такого же — волосы становятся дыбом...»

Написать все это может или полный идиот, или самый последний подлец. И обидно не то, что кто-то мог написать все это (мало ли на свете подлецов?), нет, обидно то, что эту гадость всерьез проверяют, а стало быть, верят, что такое с моей стороны возможно.

Я ни на миг не сомневаюсь, что правда и в этом случае победит. Другая мысль причиняет нестерпимую боль: мне кажется, что чувства Оли ко мне были гораздо серьезней, чем я предполагал. Оля пыталась скрывать это. Она была очень гордой девушкой. Но все-таки временами сила ее чувства прорывалась. А я... Люблю ли я ее так же сильно? Любил ли?.. Нет, я не ханжа. Чего только не приходилось видеть за четыре года войны! И величие души, и страдания, и грязь. Я узнал, какие разные бывают женщины. Но Оля... Обмануть такую девушку, воспользоваться ее молодостью, неопытностью, а потом бросить — этого я не мог и на минуту себе представить. Я потянулся к ней и полюбил ее. Так ли, чтобы моя любовь была достойна ее? Не знаю! Она была особенная. Она была человеком такой душевной чистоты, что даже за четыре долгих, нелегких, порою жестоких, года войны не потеряла высокой красоты души... Но если б в Оле не пробудилось это чувство, она еще летом демобилизовалась бы из армии, не поехала бы в эти далекие края. Тогда не случилось бы и этой трагедии! Каждый раз, когда я думаю об этом... становится страшно. Я виноват, виноват во всем...»

...Повторяю, я прочитал эти строчки из толстой черной тетради комбата недели через две после его рассказа, прочитал при тяжелых обстоятельствах, о которых речь еще впереди. А в тот вечер, когда приходил следователь, Даврон-ака не говорил мне о доносе. Он рассказал мне только о том, что пришлось пережить им с Олей в тылу врага. И я снова горел от стыда за свою дурацкую вспышку там, в степи, вспышку, которая еще подлила масла в огонь переживаний этого человека — и без того мучительных и острых.

Написав «объяснение», я отдал его начальнику штаба батальона и ушел к себе в роту, не дождавшись возвращения комбата.

## 17

Прошло еще несколько дней.

Снова однажды сквозь сон услышал беспорядочную стрельбу из пулеметов и автоматов. «Тревога? Бой?» — подумал я, продолжая какое-то время лежать, не в силах сразу разомкнуть веки.

Всю ночь перед этим мы шли без отдыха, почти без остановок. И так целую неделю: чтобы не отстать от опередивших нас танковых частей, мы двигались днем и ночью, делая по семьдесят — восемьдесят километров за сутки.

Особенно тяжелыми были последние две ночи. Но эта стрельба... Нет, что-то не похоже на тревогу.

Я с трудом открыл глаза. Пулеметы и автоматы строчили где-то близко; трассирующие пули прорезали небо, оставляя за собой голубые и красные следы.

«Что это за стрельба? Неужели... конец...»

От внезапной догадки учащенно забилось сердце. Я хотел было встать, но тут услышал рядом с собой голос комбата:

— Не буди его, Вася, пусть поспит!

— Неужели и впрямь кончилась, товарищ капитан? — будто за меня, спросил Вася.

— Слышишь же, салютуют!

— Что-то не верится, товарищ капитан! Уж очень быстро все кончилось!

Капитан засмеялся.

— Для того мы и перенесли столько тягот в пустыне Гоби и в горах Хингана, чтобы побыстрее покончить с войной. Сам же видел, сколько танков и артиллерии было с нами!

— Теперь домой, товарищ капитан?

— Конечно, домой.

Голоса пропали. Наверное, капитан и Вася зашли за студебеккер. Я хотел встать, подойти к ним, но волною нахлынули на меня мысли, воспоминания, какие-то неясные и сладкие образы. Я опять закрыл глаза. «Кончилась война. Теперь вернемся домой, в Карасув!..»



Проснулся я снова от чьего-то разговора поблизости. Было все еще темно, в небе горели звезды, а на земле костер. Около костра с кружками в руках стояли комбат и старшина Сало.

— Ладно, не мучайтесь так, товарищ комбат. Война ведь!..

— Да, война! — тяжело вздохнул комбат. — За неделю до конца войны!.. Такую девушку не уберегли!

— Будет вам, товарищ капитан. Слезами горю не поможешь... Не вернешь Оленьку. Дай бог, чтобы больше не было войны. За победу!

— За победу!

Послышался звук стукнувшихся кружек, потом поцелуй.

— Ну, пойду я, отдохайте, товарищ капитан.

— Спасибо, Дмитрий Михайлович..

Даврон-ака подождал, пока стихли шаги старшины, затем прилег около костра и вытащил из планшета знакомую мне тетрадь.

Минуту поколебавшись, я тихо поднялся со своего места.

От близости гор ночь была прохладной, сыроватой. Солдаты спали повзводно, поотделенно, тесно прижавшись друг к другу, а издали доносились песни.

Капитан, скрестив ноги, сидел на разостланной по земле плащ-палатке. Рядом посапывал Вася.

— Товарищ комбат! Поздравляю с победой!

— А, Мансурбек! — Капитан подвинулся, освобождая и мне местечко на плащ-палатке. — Я думал, ты спишь. Слышал, значит?

— Слышал, товарищ комбат. Но тоже, как Вася, не могу поверить.

— Утром поверишь, когда начнется настоящий праздник.

— А потом и вправду вернемся в родные края?

— Конечно!

— Снова по той же дороге?

— Зачем же? Несколько дней будем тут отдыхать, потом пойдем через вон те горы, которые ты видел днем! — Комбат улыбнулся. — Не бойся, хинганские мученья теперь не вернуться. Всего тут километров сто — сто пятьдесят. Пройдем их не торопясь, вразвалочку, выйдем к железной дороге, сядем в поезда и — махнем в родные края. В Узбекистан, в Карасув! Соскучился по Карасуву?

— Как же не соскучиться, товарищ капитан?

— Да... Все стосковались по родному дому. Саломат вот написала такое письмо, что... — Газиев не договорил, плотно сжал губы.

Саломатхон! Он сам первый вспомнил о ней.

— Товарищ капитан!..

Комбат снова невесело усмехнулся.

— Хочешь знать, как я украл ее? — вдруг развязно, как это бывает у человека, когда он навеселе, спросил Даврон-ака. — Хочешь?.. Да не крал я, а, наоборот выручил тогда вашу Саломат-

хон, спас, можно сказать, от тех, кто ее хотел украсть! Не веришь? Или считаешь, что в Карасуве нет таких негодяев?

Я вспомнил понурых парней в чайхане и мельника, который проклинал их тогда сквозь слезы, текущие по его морщинам.

— Да, брат. Из-за вашей Саломатхон я и в тюрьме побывал... Или, думаешь, легко было вырвать Саломат из рук твоих однокишлячников? — Глаза его при свете костра сверкнули. — Выпьем по маленькой? — вдруг предложил капитан.

— Выпьем! — сказал я.

## 18

— А сколько тебе лет, Мансурбек?

— Восемнадцать, товарищ капитан.

— Значит, ты еще не знаешь, что такое любовь! — С комбата в конце концов спало напряжение. — А твой покорный слуга, Мансурбек, в далекие времена, когда ты изволил пешком под стол путешествовать, только что закончил институт и работал в молодежной газете. Литературным сотрудником в отделе культуры! Не шутка, а? День и ночь сей литературный сотрудник рыскал по всему городу, приносил пятнадцать строк информации, и если их пускали на газетную полосу, то ходил он гордый-прегордый, будто сотворил величайший роман. Однажды один из наших внештатных корреспондентов сообщил: студентки женского педтехникума ставят «Проделки Майсары»<sup>1</sup>. В роли Майсары выступает студентка по имени Саломат. Играет, мол, блестяще... Услышав про Саломат, я насторожился. Неделю назад из техникума пришла в редакцию девушка с таким именем, принесла несколько стихотворений. Одно из них было даже напечатано. Девушку я видел еще раз, и, понимаешь ли... — Даврон-ака почесал затылок. — Улыбаешься? Значит, понял?.. Словом, я знал Саломатхон, но о спектакле она мне не говорила... В тот день была, оказывается, премьера...

В маленьком зале женского педтехникума яблоку негде упасть. Зал до отказа набит молоденькими студентками и женщинами, только что сбросившими паранджу (ведь пьеса-то именно о таких женщинах, ты знаешь). Все было готово, можно вроде и начинать, но... не было, как выяснилось, главной героини. Спектакль должен начаться в шесть, часы пробили уже семь, а Саломатхон все нет и нет. Я, как представитель печати, прохожу за сцену. Вижу, все волнуются, перешептываются. Спрашиваю режиссера: в чем дело? Он отвечает — вот, мол, в сельскохозяйственном техникуме учатся несколько парней из того же кишлака, что и Саломат. Они были против ее участия в спектакле. Не предприняли ли они что-нибудь против девушки?.. Несколько человек пошли к Саломатхон. Пошел и я.

---

<sup>1</sup> «Проделки Майсары» — комедия народного поэта, драматурга, общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи (1889—1929).

Оказывается, Саломат жила не в общежитии, а с двумя подругами на частной квартире в одном из тесных переулков Шайхантаура<sup>1</sup>. Саломат не было и дома. Судя по словам хозяйки, она ушла еще утром и не возвращалась. Может быть, она все-таки в техникуме? Вернулись обратно. Нет ее! Спектакль отменили. Режиссер поехал в сельскохозяйственный техникум.

Я жил за вокзалом, в районе так называемого «Тезикового базара». Расстроенный, я не стал садиться в трамвай и пошел пешком. На остановке «Пиянбазар», смотрю, много народу. Я намеревался было топтать дальше, как вдруг в подошедшем трамвае мелькнуло лицо Саломат. Я — на переднюю площадку, с трудом пробираюсь внутрь трамвая. Гляжу — точно. Саломатхон. В простом ситцевом платье, с чемоданчиком в руке стоит на задней площадке. Окружили ее четверо франтовато одетых джигитов, она от них отвернулась, смотрит через стекло на улицу, но видно, что с ней рядом — не случайные попутчики.

Я протиснулся поближе к ней.

— Здравствуйте, Саломатхон!

Саломат быстро обернулась, узнала меня и как будто смешалась; лицо, смотрю, заплаканное.

— Почему на спектакль не пришли? Что с вами, Саломатхон?

Молчит Саломат. Я хотел подойти к ней, но высокий чернолицый парень, стоявший рядом... Не знаешь его? С золотым зубом во рту? Здоровый, плечистый такой...

(«Был такой в чайхане? Вроде нет, не помню...»)

— Не знаешь? Жаль... Но он из вашего кишлака, это точно. Хашимом его зовут. Хашим Халматов... Словом, парень этот преградил мне дорогу и процедил сквозь зубы:

— Слушай-ка, друг. Какое тебе дело, пришла Саломатхон на спектакль или нет? Проваливай, если жить не надоело!

И приятели его насупились, готовы к драке. Саломат проглотила слезы и сделала мне знак: лучше, мол, не связываться с ним...

В те времена красивые девушки с открытыми лицами нечасто встречались даже в городских людных местах. Вот мужчины стоят и глядят на Саломат, догадываются, что замышляется что-то недоброе. Но союзников мне, вижу, тут не будет.

Я отодвинулся в сторону, решил выждать. Когда трамвай подходил к привокзальной площади, чернолицый взял чемодан из рук Саломат и кивнул, мол, «выходи!».

Саломат смятенно взглянула на меня и, снова проглотив слезы, стала пробираться к выходу из вагона. Вслед за Саломат вышел чернолицый с золотым зубом, за ним его приятели.

«Они насильно увозят Саломат! Что делать? Искать милиционера? Кричать о помощи?» Я прыгнул вслед за ними.

— Саломатхон, подождите. Мне надо поговорить с вами...

Чернолицый парень, побледнев от ярости, подошел ко мне. Размахнулся. Ударил меня в лицо с такой силой, что я полетел на землю. Все, что дальше случилось, заняло одно мгновение.

<sup>1</sup> Шайхантаур — район в старой части Ташкента.

Помню, что чернолицый хотел ударить меня еще раз, ногой, обутой в здоровенный сапог, но я, изловчившись, пнул его ногой в живот. Тут дружки его подскочили. Стукнули меня по голове. На секунду я потерял сознание. А когда пришел в себя, вижу: чернолицый лежит на трамвайных рельсах, глаза его закрыты, изо рта струйкой течет кровь! Быстро собралась толпа. Два милиционера скрутили мне руки. Саломат плакала, что-то объясняла им. Но никто ее не слушал, все были заняты Хашимом, которого рвало кровью. Тут с воем примчались две машины. В одну положили почти бесчувственного Хашима — в больницу повезли, а в другую втолкнули меня — в милицию... Вот так и угодил в тюрьму твой покорный слуга...

## 19

— Почему вас посадили? Никто не сказал правду?

— Да как тебе сказать... — Комбат подбросил хворост в костер, едко усмехнулся. — Когда Хашим упал, он, оказывается, стукнулся головой о рельсы, потом два месяца пролежал в больнице. Это ведь тоже правда... А я был так уверен в своей правоте, что с первого дня вступил в пререкания со следователем. И все пошло скверно.

— А Саломатхон?

— От Саломатхон, от того, как она поведет себя, не испугается ли, все зависело. Ведь она осталась в окружении дружков Хашима... Был выходной день. Я лежал на нарах, мысленно продолжал препираться со следователем. Приносят передачу, завернутую в скатерку. Развернул дастархан: лаган плова, накрытый большой лепешкой. Разломил лепешку на две части и вижу: записка. От Саломатхон! Начинается словами: «Из-за меня вы попали в беду, простите меня...» А в конце спрашивает совета: «Я боюсь, вас не выпустят, пока этот басмач не встанет на ноги. Подскажите, что мне делать, куда идти, к кому обратиться?»

На обратной стороне записки я нацарапал, чтобы она сходила в редакцию и поговорила с нашим редактором, и вернул записку вместе с дастарханом и хлебом — мол, отдайте тому, кто принес, ничего от нее не беру.

И как раз в те дни до нас дошла страшная весть: «Война. Гитлер напал!» Я тут же написал заявление с просьбой отправить меня на фронт добровольцем. Но прошла еще неделя, а меня все держат, на заявление не отвечают.

В следующее воскресенье снова принесли передачу. Снова блюдо плова, с пловом два больших яблока и разломанная пополам лепешка. «Неужели обнаружили записку Саломатхон?»

Взял яблоко, понюхал. Яблоко очень ароматное, бело-розовое, величиной с пиалу. Как потом узнал, оно было из вашего Карасува, называется «дастор-алма»<sup>1</sup>. Так я говорю?

<sup>1</sup> Яблоко-чалма.

— Так точно, товарищ капитан! — На миг перед глазами возникла арба, теплый летний вечер в степи. Я вспомнил пропитанное запахом базилики яблоко, протянутое мне певуньей Саломатхон.

— У второго яблока был длинный отросточек, — продолжал капитан. — Я взялся за него, отросток оторвался, и в узеньком отверстии я увидел скатанную в комочек бумажку. Записка Саломат... «Я сделала все, что вы сказали, встретилась с редактором, он сказал, что поможет. Но все равно я сегодня-завтра пойду к товарищу Ахунбабаеву...»

Комбат посмотрел на меня. Его глаза хмельно сияли, на губах играла восторженная улыбка.

— Когда я вышел на свободу, Саломатхон рассказала, как она попала к Ахунбабаеву, Председателю Верховного Совета... Она пошла раз — не пустили, второй раз пошла — снова не пустили. «Занят председатель. Война идет, девушка». Если есть жалоба, говорят, оставь в секретариате. Пришла третий раз и видит, что женщинам с открытыми лицами куда трудней попасть к президенту, чем женщинам в паранджах. Эти поджидают Ахунбабаева у ворот и, как только он появляется, с громкими рыданиями бросаются к нему. На четвертый день рано утром Саломат тоже пошла на «прием», закутавшись в паранджу своей квартирной хозяйки. Стала ждать Ахунбабаева у ворот. И когда появилась его машина, Саломат с плачем бросилась к нему. Председатель остановился и со словами: «Не плачь, доченька, не плачь, сейчас разберемся», — повел к себе. В кабинете Саломат сняла покрывало и выложила начистоту всю историю. Председатель долго хохотал над ее прачкой, потом поручил кому-то заняться моим делом.

Не знаю, насколько помогло вмешательство Ахунбабаева, но, видно, помогло; началось новое дознание, и уже через несколько дней меня выпустили на белый свет, и я увидел солнце!.. — Комбат опять хмельно засмеялся. — Я говорю про солнце не на небе, а на земле!.. Сменил я одежду, получил документы, выхожу за ворота, гляжу, на улице с букетом цветов ждет меня Саломатхон! А сама слез не может удержать...

Ну, подал я еще раз заявление, чтобы на фронт меня отравили, а Саломатхон отвез в Фергану; мы договорились, что до возвращения с фронта она будет жить у нас в кишлаке с моей матерью. Кто тогда думал, что война продлится так долго? Казалось, что она продлится два-три месяца от силы... Вот так я похитил вашу Саломатхон.

— Вон оно как! И после этого больше не виделись с ней?

— Виделись. Еще один раз виделись. — Даврон-ака насупился. Шутливо-хмельное выражение лица словно растаяло.

— Был конец сентября. Нас, молодых лейтенантов, окончивших в Семипалатинске двухмесячные курсы командиров взводов, отправляли — целым эшелонам — на фронт. За два дня до отъезда из Семипалатинска, когда стало известно, что поедем

мы через Алма-Ату и Чимкент, я дал телеграмму Саломат, мол, если сможет, пусть приедет попрощаться на станцию Арысь. До сих пор не могу понять, зачем так жестоко поступил, не подумал, как тяжело молодой женщине добираться по военным дорогам из Ферганы в Арысь!.. Наш эшелон прибыл в Арысь к вечеру, когда уже начало темнеть. Стою у открытой двери вагона, гляжу во все глаза. На перроне людей мало, в основном солдаты да милиционеры. Саломат вместе с мамой я увидел, когда вагон наш поравнялся с перроном. Они стояли у почтового окошка и что-то горячо доказывали милиционеру,— просили, видно, пропустить их на перрон. Саломат увидела меня, когда эшелон остановился. Я спрыгнул вниз. С узелком в руках, с развевающимися волосами, спотыкаясь на ровном перроне, Саломат добежала до вагона и повисла на моей шее почти без чувств. А мама все рвалась, но ее не пускали... Я хотел успокоить Саломат, хотел было побежать к матери, но тут загромыхали вагоны. Эшелон дернулся... Ты знаешь, что значит отстать от эшелона во время войны! А тут Саломат увидела, что эшелон трогается, и снова повисла на мне, не отпускает, не слушает, что я говорю ей. А уже приближается последний вагон... Я в отчаянии вывернулся из ее объятий и побежал к своему вагону. Ребята подхватили меня, когда я впрыгнул на подножку...

Комбат поморщился, как от зубной боли.

— До сих пор не могу простить себе... зачем я их вызвал? Как вспомню...— Он не договорил, махнул рукой.

— А потом, товарищ капитан? — осторожно спросил я.

— Потом?... Потом фронт. Госпиталь. Снова фронт... Последние два года служил в десантных частях.

— Поэтому от вас не было писем целый год?

— Да. Я написал домой после того, как мы вышли из вражеского тыла к нашим войскам. Ну, я тебе рассказывал о нашей чешской операции... Через месяц получаю ответ: Саламатхон из Ферганы уехала к вам в Карасув. У нас в кишлаке разные сплетни о ней ходят... Я тут же написал ей. Но еще до ее ответа выехали сюда...

Даврон-ака приподнялся, сел прямо. Костер бросал блики на его загорелое, будто медное, лицо. В сужившихся глазах Газиева запеклись тоска и недоумение.

— Ведь вы получили письмо от Саломатхон?

— Получил... Ногаев принес. Ночью. У монастыря...

Я вспомнил ту светлую, звездную ночь, надрывное объяснение Ногаева, печальные глаза Оли. Комбат, видно, тоже вспомнил эту ночь. Его лицо снова стало замкнутым, строгим.

Неожиданно из-за студебеккера появился старший лейтенант Харитонов. Ворот гимнастерки расстегнут, глаза блестят какой-то пьяной решимостью.

— Товарищ капитан.— Широко расставив ноги, Харитонов встал около костра.— Что, собственно, происходит? Почему вы все скрываете от нас?

— Что я скрываю? — Комбат неторопливо поднялся, одернул гимнастерку, поправил ремень.

— Там пришел этот... высокий здоровяк, такой плотный... Из военной прокуратуры, говорит. Вас спрашивает.

— Где он?

— Там сидит. — Харитонов махнул рукой в сторону реки. — Что случилось, товарищ капитан? В День Победы не дают покоя... Если что, разрешите нам поговорить с ним!

— Что такое?! — резко перебил комбат. — Застегнись!

— Простите, товарищ капитан!

Комбат исподлобья взглянул на меня, потом обернулся к Харитонову и с неожиданной теплотой в голосе сказал:

— Не говорил вам потому, что все это грязно. Гадко... Ногаев разболтал... Будто я с Олей... ну, сожительствовал, что ли. А потом, чтобы отвязаться от нее, чуть ли не нарочно подтолкнул ее на гибель...

— Как в такую чушь можно верить?..

— Да еще... помнишь, в степи, я отобрал две машины ПФС, и мы с Ногаевым попетушились?

— Ну!

— Он потом приводил заместителя командира полка по тылу. И мы снова сцепились. В сердцах я сказал, что солдаты дороже машин ПФС. Что наши люди заслуживают большей заботы, ну, и еще что-то в этом роде...

— Так что?

— А то, что Ногаев сочинил, будто я говорил — нет у нас заботы о людях... Что я высказался чуть ли не против стратегического плана Верховного командования, и все такое прочее.

Харитонов поморщился.

— Да как он смел, подлец!.. А вы бы написали командиру полка, товарищ капитан.

— Написал, да вот, видишь, пока не оставляют в покое... Ну да ладно, пойдем, Саша... — Тяжело вздохнув, комбат взял Харитонova под руку, и они пошли вниз, к реке.

Не в силах сидеть на месте, я тоже встал.

Уже рассвело, сквозь утренний прозрачный туман просматривались далекие горы...

«Пройдем через эти горы, выйдем к железной дороге. А там... родная страна, Узбекистан, Карасув!» Ну, куда я сейчас пойду? Да и можно ли идти? Не подождать ли здесь? Ведь следователь вызывает и меня.

Но на этот раз следователь меня не вызвал.

## 20

Минуло дней десять.

Перед заходом солнца мы остановились в широкой долине, окруженной высокими горами. Это была совсем другая долина, непохожая на те, что остались за нами, — вся в яблоневых

садах по склонам, с веселыми, словно игрушечными, домиками, крытыми причудливо изогнутыми красно-розовыми черепичными скатами. По правую сторону от нас возвышалась пагода, она горела в лучах заката и казалась высеченной из единого каменного монолита.

Мы остановились, и сразу же долина наполнилась полуголыми детишками. Сверкая глазенками-бусинками, они протягивали к нам руки с оттопыренными большими пальцами и беспрерывно кричали:

— Шанго! <sup>1</sup> Руси солдат, шанго!

Вслед за детьми явились какие-то маленькие старушонки со сморщенными, будто сушеный персик, лицами, и важные, хотя согбенно-дряхлые, старики. Эти дымили длинными камышовыми трубками, молчали, настороженно и величаво наблюдали за нами. Худые крестьяне с загорелыми дочерна лицами улыбались из-под широких плоских соломенных шляп и тоже приговаривали: «Шанго! Руси солдат, шанго!..» Женщин и девушек видно не было.

Вскоре долину залил прозрачный легкий туман; над яблоневыми садами заструились дымки очагов, ветер принес горьковатый, с детства знакомый запах горящего кизяка. На мгновение показалось, что я не в далекой Маньчжурии, а в своем кишлаке, и в душу опять хлынула щемящая грусть.

Мы с Васей Колбаскиным, установив штабную палатку, расположились было перед ней поесть, но трапезу нашу прервали старшина Сало и два китайца. Босоногие, по пояс голые крестьяне — у одного я заметил широкий шрам от угла губ до уха — были очень взволнованы.

— Комбат здесь?

Старшина вошел в палатку и через мгновение вышел обратно вместе с комбатом и начальником штаба.

— Я их не очень-то понял, товарищ капитан. Но мне кажется, что они говорят о японцах...— Старшина повернулся к пришедшим и спросил: «Джапон? Да? Джапон?»

Крестьяне дружно закивали:

—Джапон, джапон!

Кивая в сторону пагоды, они стали загибать пальцы на руках и торопливо, захлебываясь, повторяли: «Джапон! Джапон!»

— Их, говорят, много! — сказал начальник штаба. Он также быстро-быстро стал сгибать и разгибать пальцы:

— Много джапон? Вот столько, да? Много?

Крестьяне закивали головами, ребра ладоней они приставляли к горлу.

— Кажется, они говорят, что японцы режут, убивают, — сказал комбат. Нахмутив лоб, он посмотрел на часы, затем на небо. Зарево заката над вершинами гор погасло, и пагоду уже совсем заволочло туманом.

<sup>1</sup> Хорошо!



— Вот что! Сегодня воевать уже поздно. К тому же местности мы не знаем. Главное — не выпустить их оттуда. — Комбат знаками изобразил окружение и восход солнца. Крестьяне, показав желтые зубы, заулыбались, опять закивали согласно: мол, завтра так завтра.

— Но... От этих самураев можно всего ожидать. — Комбат обернулся к начальнику штаба. — Просьба к вам: лично обойдите роты. Усиьте посты. Костры потушить!.. Дмитрий Михайлович, передай Харитонову: пусть тоже проверит все свои посты!

Старшина с крестьянами направился в сторону домиков, начштаба — в роты. Комбат, заложив руки назад, несколько раз молча обошел палатку. Потом медленно пошел вниз, к шумливой горной речушке.

— Что это с ним? — спросил Вася. — И есть не стал...

— Откуда мне знать? Ты его адъютант, ты и должен знать.

— Куда же он пошел? — Перекинув автомат за плечо, Вася зашагал вслед за Газиевым.

«Переживает комбат», — подумал я. Мы уже больше не разговаривали с ним ни об Оле, ни о Саломатхон, ни о чем другом. Я знал только, что Даврон-ака написал письмо-объяснение полковнику Белобородову и с тех пор стал каким-то задумчивым, вообще малоразговорчивым. За неделю нашего уже мирного марша я ни разу не заметил, чтобы он улыбнулся.

Все вокруг погрузилось в темноту, только вершины гор с обеих сторон долины едва проявлялись на выцветшем небе. Мягкий шум речки лишь подчеркивал какую-то нежилую тишину, будто здесь, в этой окутанной ночью местности не было никакого войска. Лежа под шинелью, я чутко вслушивался в эту тишину, взглядываясь в сторону речки. Никого!.. Чтобы заглушить тревогу, я завернулся в шинель и вскоре задремал.

Проснулся мгновенно. Голос Арслана? Во сне это или наяву? Нет, наяву. Около палатки, окружив комбата, стояло несколько человек. Арслан сыпал скороговоркой:

— Мы напали на их след вчера вечером. Человек триста будет. Не меньше, товарищ капитан. И все офицеры.

— Вооруженные?

— Еще как! У большинства автоматы. Есть и пулеметы.

— А как вы узнали, что они намереваются взорвать мост?

— Это наш лейтенант предполагает.

В разговор вмешался еще один солдат.

— Напротив моста, на краю города — склады продовольствия и оружия. Видно, они не на мост, а на эти склады нацеливаются. Жрать-то им нечего: за неделю успели разграбить все деревни вокруг!

— Это настоящие самураи! Не капитулировали! — сказал Арслан.

— А комендатура городка? — спросил Газиев.

— Там, наверное, не более взвода, товарищ капитан.

Арслана дополнил тот же солдат:

— Танкисты уже ушли. В городке только медчасть. Человек двадцать раненых и охрана. Из дивизии только ваш батальон близко.

Комбат нетерпеливо кашлянул:

— Дорога хорошая? Не заблудимся в темноте?

— Нет! — решительно сказал Арслан. — Речка выведет. Отсюда до них будет верст семь-восемь от силы.

— Гмм...

Я встал с места и подошел к кружку. Арслан увидел меня и, молча пожав руку, вскочил в седло. Натянул поводья, подбоченился, он всем своим видом показывал: «Я не пехотинец. Я разведчик!»

— Ну хорошо! — Комбат всем корпусом повернулся к начальнику штаба. — Вы с третьей ротой останетесь здесь. Пусть и замполит останется с вами. Утром прочешите местность, китайцы помогут. Будьте осторожны! Чтоб ни одной жертвы. Война кончилась... Я с двумя ротами пойду к мосту. Предупредите людей. Выход через полчаса!

Комбат ушел, а я кинулся к Арслану. Он, как мне показалось, и впрямь словно вырос за время своей службы в разведке, возмужал. Впрочем, важничал он недолго, рассказал все просто и ясно.

По его словам, самураи, на след которых напали разведчики, — из самых преданных императору.

— Одни генералы и офицеры, — почему-то шепотом сообщил мне «лев». — Приказу о капитуляции не подчинились, ушли в горы и грабили китайцев. Почему не капитулировали? Да потому, что жили здесь, сволочи, как цари! У каждого — прямо дворец, роскошные сады. Увидишь, как войдешь в город! Только смотри в оба: каждый второй — камикадзе.

Ровно через полчаса две роты, поднятые по тревоге, вышли в путь. Солдаты спросонья ворчали:

— Что за черт? Опять война?

— Когда ж она кончится?

— Нету покоя и после войны!

Мы двигались — быстро, как позволяла темнота, — вдоль шумливой речушки. Горные склоны то отступали перед нами, и долина становилась тогда неожиданно просторной, то вновь двигались к нам, теснили берег, и тогда вверх оставалась узкая полоска неба, светлевшая крупными белыми звездами.

Вместе с Арсланом и вторым разведчиком комбат поскакал вперед.

— Эх, пехота, пехота... Влачишь ты жалкое существование! — сказал Вася Колбаскин, прислушиваясь к удаляющемуся топоту коней. — Повезло Арслану. Разведчик! Вот жизнь! И себя можно показать, и спотыкаться на своих двоих не надо.

— Если все будут учеными, кто будет пасти овец? — съязвил я.

— Вот ты и паси овец!

Мы вышли из долины. Впереди — подъемы, подъемы. И глухая тишина, будто никакой опасности. В садах изредка твкнет собака или рвкнет осел, ну, точь-в-точь как бывает ночью в наших узбекских кишлаках.

Опять конский топот, а затем раздался голос Арслана:

— Товарищ старший лейтенант!

— Слушаю,— откликнулся Харитонов из темноты.

— Комбат приказал поторопиться. Дорога каждая секунда, товарищ старший лейтенант...

И словно подтверждая его слова, где-то впереди резко затарахтел пулемет.

Харитонов обрадованно скомандовал:

— Автоматы наперевес! Рота! За мной, бегом, марш!

Я бежал рядом с Васей Колбаскиным. Не знаю, почему это вдруг меня охватило какое-то темное предчувствие. Такую тревогу, помню, я испытывал в детстве, среди ночи, когда раздавался крик совы... Пробежали с километр. Не заметили даже, как отступили горы. Потом — стоп! Перед нами — что-то громадное, темное. Ага, это мост. Висячий мост над довольно широкой в этом месте рекой. Стрельба доносилась с той стороны реки, из-за моста.

Когда мы, тяжело дыша, приблизились к мосту, то опять увидели всадников. Из темноты прозвучал властный голос комбата:

— Ведерников!

— Слушаю, товарищ комбат!

— Перейдешь через мост... Самураи напали на продовольственные склады. Их около роты. Два взвода пошлешь на помощь охране. Вот разведчик вас поведет. А с третьим взводом займешь берег и отрезешь противнику путь к мосту... Задача ясна?

— Ясна, товарищ комбат.

— Выполняйте, если ясно!.. Харитонов! Ты будешь на этом берегу. Если самураи бросят своим подмогу выше по реке, преградишь им путь! Арслан! Показывай дорогу!..

Вскоре на противоположном берегу сильнее застрочили пулеметы, автоматы, захохотали разрывы гранат. А мы опять побежали вперед, вдоль берега. Затем послышалось: «Ложись!»

Мы улеглись цепью. Тут река несколько суживалась, камыши поредели, и видна стала темная рябь воды со светлыми полосами струй. Справа от нас круто забирали вверх какие-то скалы, подступавшие к реке...

Со стороны моста послышались грузные шаги. Это комбат и — как он успел? — Вася.

— Харитонов? Ты тут?

— Тут.

— Где лейтенант разведчиков?

В темноте прошуршал взволнованный шепот:

— Потихе, товарищ капитан. Выходят... Видите? Из-за

скалы. На реку посмотрите... Ну, видите теперь? Три лодки. Вон еще две...

Чуть подняв голову, я посмотрел на реку, но ничего не увидел.

— Ну и глаз у тебя, лейтенант, беркут позавидует! — восхитился Газиев. — Их там много? Что «язык»-то показал?

— Если бы их мало было, мы сами справились бы как-нибудь. Там за скалами целая рота у них в запасе.

— И все пойдут к складам?

— Кто их знает? Возможно, и в горы отступят, если почувют засаду.

— Мы не должны допустить, чтобы они улизнули. Крестьянам житья не дадут!.. Они в горах или в ложине?

— В ложине. Верней, в тупике. С трех сторон — скалы.

— Надо сверху ударить! — сказал комбат. — Как думаешь, Харитонов?

Харитонов с радостью поддержал:

— Точно!

— Сделаем вот как... — В голосе комбата зазвучал азарт. — Здесь оставим один взвод... Дмитрий Михайлович!

Старшина Сало бесшумно подполз.

— Ты останешься здесь. Подпустишь этих — видишь, на лодках плывут на подмогу тем, что на складах, — подпустишь и откроешь огонь. Ни одного не пропустить! Напрасных жертв чтоб не было. Понятно?

— Понятно, товарищ комбат!

— Харитонов! Давай команду — поднимемся повыше и пойдем вёрхом к ложине.

— Товарищ комбат, вы оставайтесь, я поведу!

— Поведешь со мной и за мной, ясно? — перебил комбат. — Ну, давай, лейтенант, веди.

Через минуту наш взвод остался один. Старшина тихо приказал продвинуться вперед. Мы поползли по какой-то слякоти, плечами раздвигая камыши, и залегли у самого берега.

Черные точки на середине реки, что появились из-за скал, медленно увеличивались.

— Без команды не стрелять! — Приказ старшины шепотом передали по цепи, справа налево.

Вот лодка прошла мимо меня, поравнялась с третьим отделением слева, вот и следующая. В лодке по три-четыре силуэта, были заметны наклоненные к берегу штыки винтовок.

— Огонь!

Почти тридцать винтовок, автоматов и несколько ручных пулеметов «заработали» одновременно. Лодки, вытянутые в длинном ряду, вдруг остановились, почти вздыбились, как вспугнутые кони, и закачались на вспененной от разрывов реке; несколько человек упало в воду; через секунду и над нашими головами беспорядочно засвистели пули ответной стрельбы.

— Огонь, ребята! — снова глухо приказал старшина.

Самураи, отчаянно орудуя веслами, повернули лодки к другому, противоположному берегу, но и оттуда застрочили пулеметы, полетели гранаты. Две лодки перевернулись у самого берега. Японцы попрыгали в воду, кинулись в камыши.

— Прекратить огонь!

Мы с облегчением вздохнули. Теперь и пошутить можно, перекинуться крепким словечком.

— Вот тебе и смертники, так их растак!

— Смертник смертником, а шкура-то своя дорога...

— Задрожали от такой теплой встречи!

— А что они ерепенятся? Капитуляция так капитуляция!

Все еще томимый неясной тревогой, я чутко прислушивался в темноте. У склада огонь затихал, но на смену ему отдаленно загрохотало у скал. «В долине самураев добивают!» Старшина замер, приподняв голову. Я тоже привстал. Вокруг стало вроде бы светлее. Осколком льда повис в небе лунный серп. Хорошо, стрелять удобнее!

Вдруг послышался конский топот. Кто-то во весь опор мчался оттуда, от скал, где разворачивался бой. Всадник осадил коня. Арслан!

— Кто-нибудь здесь есть из разведчиков?

— Есть! — В темноте возникла тень вставшего во весь рост солдата.

— Арслан! — крикнул старшина. — Что случилось? Окружены самурай?

— Окружены, товарищ старшина... А где наша машина?

— У моста.

— Бегом за машиной, заводи и вверх! Скорей! — хрипло закричал Арслан; он прищпорил было коня, но старшина подскочил, ухватился за поводья:

— Что случилось? Почему не отвечаешь?

— Комбат ранен...

— Что?

— Комбат... говорю... ранен...

— Тяжело?

— Не знаю... Мы их зажали, а какой-то смертник со скалы бросился ему под ноги, с гранатами... Комбата вместе с Васей... — Не договорив, Арслан стегнул коня и помчался к мосту.

Я застыл на месте.

## 21

В полдень из городка, видневшегося вдали, прискакал Харитонов. Гимнастерка взмокла от пота, русые волосы прилипли ко лбу, глаза смотрят хмуро.

Кинув поводья взмыленного коня первому солдату, бросившемуся навстречу, старший лейтенант подошел к нам:

— Как дела, Дмитрий Михайлович?

— У нас все в порядке. Вы лучше о комбате скажите...

— Состояние комбата тяжелое... Очень тяжелое, Дмитрий Михайлович...— Харитонов исподлобья взглянул на меня.— Комбат тебя спрашивает, Мансур. Готовься. Сейчас поедем... Третья рота прибыла?

— Прибыла.

— Где штаб? Мне начальник штаба нужен.— Харитонов побежал вдоль берега к расположению третьей роты.

Мы с утра нетерпеливо ждали Харитонова: ведь кроме того, что выкрикнул ночью Арслан, о комбате ничего не было известно. Но Харитонов тоже не сказал ничего определенного, и в этой неопределенности чудилось что-то ужасное; даже не хотелось расспрашивать о подробностях.

Старшина молчал долго. Потом вдруг проговорил:

— Из девяти человек десанта нас вернулось тогда только трое. Оля, комбат, я... Все удивлялись, когда он звал меня Дмитрием Михайловичем, а мы с ним как отец и сын...

Его белые усы дрогнули, я отвернулся, стал торопливо рыться в своем вещмешке, будто искал что-то.

Вскоре Харитонов прибежал обратно.

— Как нарочно, машина ушла в город. Вот невезенье. Как же нам быть?

В это время вдали на дороге показалась машина, шедшая к мосту. Харитонов приободрился.

— Не штабной студебеккер?

— Нет, на штабную не похожа,— сказал старшина.

В кузове кто-то стоял, облокотившись на кабину. Мирхайдар! Вот тебе на!

— Товарищ старший лейтенант, это машина ПФС.

— Верно,— подтвердил чуть позже старшина.— Ногаев в кабине, узнаете?

— Останови! — Харитонов, побледнев, пошел навстречу машине.

Мы выбежали на середину дороги.

Мирхайдар, увидев меня, заулыбался во весь рот и, сорвав с головы фуражку, замахал ею в воздухе. Машина остановилась в трех шагах от Харитонова. Ногаев высунул голову из кабины.

— В чем дело?

Он похудел, почернел, зарос кудрявыми волосами. Не кавказец, а цыган!

Харитонов весь подобрался, подошел поближе.

— Дай на полчаса машину, Ногаев, пусть нас подкинут в город.

Тонкие красивые усы Ногаева шевельнулись.

— Я еду вон к тем складам...— Он кивнул на противоположный берег реки, на каменные строения, огороженные высоким забором, там ночью шел бой.— Я должен срочно принять, что там есть. И вообще... Что вы все время пристааете к моим машинам? Своих, что ли, нет?

— Слушай, Ногаев.— Харитонов прижал руки к груди.— В бою за эти склады несколько человек из батальона тяжело ранены...— Старший лейтенант почему-то промолчал о комбате.— Мы должны, понимаешь, должны навесить их.

— Пожалуйста, кто вам мешает. Но...

— Никаких «но»! — Харитонов одним прыжком вскочил на подножку грузовика и схватился за ручку кабины.— Слезай, прошу тебя, слезай, по-хорошему прошу. А то... выкину... Потом... можешь и на меня писать, как и на комбата!

Ногаев спокойно вылез на дорогу. Но прежде чем уступить место Харитонову, сказал дрогнувшим вдруг голосом:

— Если я и написал о вашем комбате, то принципиально!

— Принципиально! — передразнил его Харитонов.— Что ты считаешь принципиальным? Грязные намеки насчет младшего лейтенанта Куприяновой?

— Ты помолчи об этом, Харитонов.— Глаза Ногаева сузились, ноздри большого горбатого носа задрожали.— Я никогда ни одного плохого слова об Оле не произнес... Если хочешь знать... я любил ее.

— Ты? Любил?

— А что?

— Нет! Человек, который любит, не может опуститься до такой низости, до поклепа!

— А он? — неожиданно горячо вскрикнул Ногаев.— А Газиев? О его поступках ты забыл? Как он чуть ли не перед всем полком оскорблял меня, будто последнего пешку-солдата? А как он издевался, заставляя меня извиниться перед Олей... Я ошибся, не за ту ее принял, но это не значит, что меня можно унижать! Нет, прошу прощенья, Ногаев никогда не забывает обид, ему нанесенных!

— Так какого же черта болтаешь о высоких принципах? Сказал бы лучше, что клеветал, чтобы отомстить ему!

— Зачем вмешиваешься в то, чего не знаешь? — с обидой в голосе воскликнул Ногаев.— И людей ты не знаешь. Тебя же не было, когда твой любимый комбат выступил против стратегического плана командования, говорил, что у нас наплевали на человека!

— Это комбат-то? Капитан Газиев, который четыре года на фронте без передышки, по колено в крови?...— Харитонов задыхался от ярости.— Ты сколько раз смотрел смерти в глаза, а? Ты хоть знаешь, что такое десант?.. Ты где был, когда мы воевали, мы — пешки, по-твоему, мы — солдаты?! — Сжав кулаки и вобрав голову в плечи, он пошел на Ногаева. Тот, держась левой рукой за борт кузова, а правую выставив защитным жестом вперед, начал отступать:

— Ты не очень-то нажимай на фронтовые заслуги, старший лейтенант! Понятно? Война кончилась. Мирная жизнь началась, мы все в ней равны, несмотря на погоны...

— Тебе не нравится, когда говорят о подвиге? О боевых

заслугах? Ладно! Лишь бы с комбатом что-нибудь не случилось, ну а если случится!.. — Не договорив, Харитонов резко рванул к себе дверцу кабины, кивнул мне: «Залезай в кузов!»

Я птицей взлетел на грузовик. Мирхайдар съезжился, испуганно искривил лицо, не зная видно, то ли слезать ему, то ли нет.

А машина сильно тряхнула нас и рванула с места. Ногаев что-то крикнул Мирхайдару, но мы не расслышали.

Я исподлобья взглянул на земляка. «Верблюды» встряхнулись и, будто ничего не произошло, снова широко заулыбались.

— Удивляюсь этим офицерам! Из-за пустяков клюют друг друга, вот петухи!.. Ну, как дела, браток? Как поживаешь? Жив, значит!

— Как видишь!

— Ну, и слава аллаху! Была бы голова цела. Глянь на меня. Вчера был простой солдат. Обмотки, овсянка, ну и так далее. А нынче? — Не переставая скалить крупные желтоватые зубы, Мирхайдар провел ладонью по тяжелому подбородку, потом разгладил гимнастерку, поправил фуражку на голове.

Действительно, гимнастерки из такого сукна и хромовых удобных сапог не было не то что у Харитонова, но и у комбата! Злость вдруг комком подступила к горлу, мне захотелось, непреодолимо захотелось вышвырнуть его вон! Но надо было сдержаться. Я отвернулся от «землячка».

Мы мчались по шоссе на дороге. По обеим ее сторонам тянулись поля проса и гаоляна. Вдоль реки, в низинах, среди рисовых всходов работали голые по поясу крестьяне. Навстречу нам, запряженные ослами и мулами, катили маленькие двуколки на колесах, обтянутых резиной; на двуколках сидели сморщенные старики и детишки с косичками на бритых головках. При виде машины детишки поднимали восторженные крики.

Ближе к городку мимо нас замелькали маленькие пагоды, руины каких-то древних каменных стен.

Мирхайдар, видно, не чувствовал моего настроения и продолжал «философствовать»:

— Удивляюсь тебе, Мансурбек. Чего ты кичишься, чем важничает? Не послушался совета. А получилось что? Сам себя извел, да и только!.. Вот возьми меня. Ни шагу пешком не сделал.

И степь и пески — все на машине! А почему? Потому, что нашел подход к человеку, сумел расположить его к себе. После взятия Халангана какие только товары не побывали в наших руках!.. Если бы разрешали отправлять посылки, миллионером бы стал, клянусь аллахом!.. Ну, да ничего! Была бы голова цела, а товар найдется... Что ты на это скажешь, браток?

Я снова промолчал — боялся сорваться!

Перед въездом в город мы обогнали колонну самураев, взятых в плен вчера. Они медленно пылили по обочине шоссе. В рванье, заросшие волосами, большинство без шапок и босые, они зло и сумрачно поглядывали на нас.



— Странно! — проговорил Мирхайдар.— Недавно вот такую же колонну мы с хозяином видели. Откуда они берутся? С неба, что ли, попадали?

Я не выдержал:

— Ну да, с неба, с облаков!.. Это смертники, дубина ты! Преданные солдаты императора, отборные вояки, наплевали на капитуляцию и скрывались в горах! Грабили крестьян, потом хотели разграбить склады, которые ты ехал «принять»... На готовенькое приехал, купец! — Я задыхался от ярости, и почему-то слезы выступили на глазах.— Ты что, думаешь, просто было заставить их сложить оружие? Этой ночью они убили нескольких наших. Несколько ранили. Не таких, как ты с Ногаевым, понял?.. Понял, говорю, откуда они появились?

Мирхайдар, шмыгнув носом, чуть испуганно отодвинулся к краю кузова.

— Что же делать, раз война, то не без этого...

— Не без этого! Легко тебе так трепаться!.. Одни оказываются, не жалея жизни, воюют с врагом, другие катаются себе на машинах... А иногда клевету этих бездельников приходится еще опровергать...— Сжав кулаки, я придвинулся к Мирхайдару, он торопливо забормотал:

— Что ты, что ты? Какая клевета?

— Спроси у своего «хозяина».

Стукнуть бы его, разве примешь эту верблюжью шкуру? Руки только пачкать!

Мы въехали в город. Потянулись одноэтажные, почерневшие, будто сажей заляпанные дома под причудливыми черепичными крышами. В узких улочках у многочисленных лавчонок кишел народ. Мирная жизнь! Кончилась война — и открылись лавочки! И — всюду детвора! Узкоглазые, голопузые, с косичками на бритых головах, дети кричали: «Шанго, шанго!» Группки накрашенных, будто куколки, девушек в длинных, до пят, платьях толкали друг друга локотками и, показывая на нас пальцами, смеялись. Безбородые сморщенные старики и облысевшие старухи с мундштуками во рту сидели около лавчонок молча, словно изваяния.

Многолюдные узкие улочки с лепившимися друг к другу домишками будто оборвались — началась часть города, где жили японцы. По-другому выглядели и улицы — мощные, прямые как стрела, и добротные дома с верандами, окрашенными в белые, голубые, розовые и желтые тона. Каждый дом был огорожен зеленой изгородью и елками. Здесь дома и улицы были пустынные, стояла мертвая тишина...

Наконец мы въехали на большую площадь и остановились у решетчатых ворот сада, обнесенного высоким каменным забором. В глаза бросилась знакомая амфибия командира полка.

Даже не кивнув Мирхайдару, я выпрыгнул из кузова. Харитонов показал стоявшему у ворот солдату-часовому свое удостоверение и махнул мне рукой: «Пойдем!»

Чувство щемящей тревоги охватило меня с новой силой, когда мы вошли в сад. От ворот нас повела широкая аллея, с двух сторон обсаженная высокими елями, которые, казалось, только что подстригли и даже вымыли — до того яркой была их зелень. Замыкало аллею красивое двухэтажное здание из желто-золотистого камня, оно тоже блестяло, как вымытое.

Около мраморных ступенек стояли полковник Белобородов и толстый широкоплечий человек в белом халате и белом колпаке. Старший лейтенант и я, отдав честь, остановились неподалеку.

Белобородов искоса взглянул на нас, но разговора с человеком в халате не прервал:

— Знаменитый, говоришь, нейрохирург?

— Знаменитейший!.. Самый известный в армии, товарищ полковник. Лауреат!

— А ты объяснил ему все как следует?

— Объяснил. И он обещал приехать. Но... время-то не ждет, товарищ полковник.

— Вот что... — Белобородов вдруг обратился к Харитонову. — Возьми-ка мою машину — и немедленно в армию! В госпиталь. За нейрохирургом... как его фамилия?

— Левитанус, — сказал белый халат. — Подполковник медицинской службы Левитанус.

— Разыщешь и привезешь. Два часа тебе срока. Хоть из-под земли достанешь и привезешь! Понятно?

## 22

— Далеко не уходи, солдат, — сказал мне майор в белом халате, проводив Белобородова и Харитонова. — Сейчас к капитану нельзя. Но когда можно будет, позовем.

— А солдат Колбаскин? Его можно увидеть?

— Нет, — сказал майор. — И его нельзя... Впрочем, пойдёмка, узнаем...

Мы поднялись по мраморным ступеням, вошли в широкое фойе первого этажа. Золоченые люстры под потолком, зеркальные ореховые двери, диваны и кресла, обитые желтой кожей, — все здесь сверкало. Будто бедняк, неожиданно попавший в ханский дворец, я оробел, не решаясь ступить на роскошный паркет.

Майор приоткрыл дверь с правой стороны зала:

— Роза Моисеевна!

Появилась болезненно-бледная женщина-капитан.

— Роза Моисеевна! Пришел солдат, которого Газиев просил пустить к нему. Что будем делать? Пустим?

Роза Моисеевна пожала хрупкими плечиками.

— Не знаю... не думаю.

— Сейчас я выясню, как там и что, — сказал майор. — А вы дайте ему халат, пусть зайдет к Колбаскину...

Лицо женщины-капитана удивленно вытянулось, но майор махнул рукой: «Пусть, мол, идет».

Девушка-сестра накинула на меня белый халат и повела в большую, обращенную окнами в сад, комнату. На двух кроватях, поставленных близко друг к другу, лежали два человека: один с перевязанной головой, другой с перевязанной правой рукой, а на третьей кровати — она стояла у окна — лежал... Вася...

Я с трудом узнал его. Лицо его, с кулачок, стало до того бледно-белым, что казалось вылепленной из алебастра маской. И знаменитый нос торчал точно кусок длинного школьного мела! Только глаза его лихорадочно блестели.

Почувствовав острый укол боли в груди, я остановился посредине палаты.

— Ну, чего испугался, Мансур? Иль не узнаешь? — Вася тихо застонал. Я подошел к нему и сел в кресло рядом с кроватью. Вася дрожал, будто в лихорадке.

— Девушка, милая, водички, — попросил он. — Один глоток!..

Сестра взяла с тумбочки серебристый, с золотой каймой чайник и поднесла к его губам.

— Видишь? — Вася облизнул губы. — Из генеральского чайника пью... Чего глаза прячешь? Плохи дела мои, да? Ничего, брат, ничего... Только полжелудка отрезали. Нельзя, говорят, теперь есть колбасу и сало. Нет, говорю, хоть через мясорубку, но колбасу есть все равно буду...

Даже в таком состоянии Вася оставался Васей! Не зная, как реагировать на его шутку, я уставился в пол.

— Что случилось-то? Гранату швырнули?

— Если бы только одну... Мы их уже окружили, «сдавайтесь», кричим, а один самурай-смертник, сволочь, обвязанный гранатами, как бросится... Его самого — на куски, а нас с капитаном... тоже, видишь, покалечил. — Вася перевел дух и грубоко запавшими глазами беспокойно впился мне в лицо.

— Видел комбата?

— Нет еще...

— Эх, Мансур... Комбат! — Вася закрыл глаза. — Такой человек...

— Хватит разговаривать. Нельзя, солдат, — сказала сестра.

Я тихо поднялся, стараясь не смотреть на Колбаскина.

— Я пойду, Вася... Будь здоров...

— И ты будь здоров, Мансур, — сказал Вася, не открывая глаз. — Передай привет ребятам. Если не увидимся, то — прощай, друг...

Спазма перехватила мне горло. Я вышел в коридор и бесильно опустился в кресло, что стояло под лестницей. На ступеньках послышались шаги. Я поднял голову.

— Это еще что такое? — сказал майор. — Слезы льешь? Как же тебя пустить к земляку? Утри слезы, пойдем со мной.

На втором этаже был точно такой же зал, как и на первом. Открыв дверь справа, мы очутились на большом балконе, полном каких-то неизвестных мне нежных желто-розовых цветов. Потом майор открыл еще одну стеклянную дверь. С похолодевшим сердцем я двинулся вслед за ним.

В глубине громадной темноватой комнаты, в окна которой заглядывали ветви ели, на просторном кожаном диване лежал, вверж лицом, комбат Газиев. Голова, огромная, словно подушка, сплошь забинтована: не видно ни лица, ни глаз, ни даже носа. Только запеченные губы. И руки, бессильно вытянутые поверх одеяла, тоже забинтованные до локтей...

У изголовья дивана, за столиком, уставленным какими-то пузырьками, пинцетами и шприцами, сидела немолодая медсестра. Как только мы вошли, она неслышно поднялась.

Майор на цыпочках приблизился к дивану.

— Капитан Газиев!

— А?.. Дда, дда... сслушаю...— Голос комбата звучал знакомо и в то же время с какими-то новыми непривычными придыханиями.

— Пришел вызванный тобою солдат.

— Мансурбек? — спросил комбат, заикаясь.— Где ты, ббрат?

Когда я услышал это «брат», спазма снова сжала мне горло, слезы выступили на глазах, но, встретив насупившийся взгляд майора, я подтянулся.

— Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию явился.

— П-по вашему... приказанию? — выдохнул комбат.— Что это ты т-так официально, ббрат?.. А ну, поближе... Анюта, сстул ему...

Анюта подвинула обитое кожей кресло к дивану.

Комбат молчал. Он то дышал тяжело с присвистом, то погружался в тихое, словно полубморочное состояние.

— Капитан Газиев! — позвал майор.

— А?.. Дда...— Капитан будто проснулся и опять, задыхаясь, заикаясь и свистя, заговорил:

— Сслушай меня, брат... С-сам видишь, пположение мое нне-важное. Я ххотел сказать тебе... Нно нне рразрешают. Нночью рразрезали всего, ххотят еще что-то... дделать... А?.. Ч-что я гговорил? Ах дда... Анюта, ддай ппланшет!..

Анюта достала из тумбочки знакомый планшет комбата.

— Ддостала? Отдай солдату... В ппланшете ттетрадка, Мансурбек. Возьми ее... Ппусть на всякий сслучай она будет у тебя... А тто может ппотеряться... Ппонял?

Это была тетрадь в черном коленкором переплете.

— Понял, товарищ комбат! — Увидев, как майор кивнул на дверь, я встал.

— Ххорошо... Не сердись, Кк-котельников. Видишь, р-разговаривал не больше трех минут...

Вслед за майором на цыпочках я вышел из комнаты.

— Что? Снова в слезы? — сказал мне майор на балконе.  
— Товарищ майор. Неужели он... Он ведь... земляк мой!  
— Вот и учишь у своего земляка, каким должен быть человек!

## 23

В садовой беседке я раскрыл тетрадь капитана — сразу на самом страшном месте.

«21 августа 45 года.

Два дня не брал в руки перо. Самое страшное, что только могло произойти для меня сейчас на этой войне, произошло: спасая раненых от неожиданно напавших на нас самураев-смертников, погибла Оля...

Мы похоронили ее на склоне холма, засеянном гаоляном.

Я долго сидел, не в силах покинуть ее могилу...

Мы уйдем, а Оля останется на чужбине, под этим чистым, безоблачным, но все равно неродным небом! Жестока жизнь, свершившая то, чего больше всего боялась она, человек необыкновенной чистоты и честности, — погибнуть вдали от родины...»

Я не мог читать это и перевернул несколько страниц, слева направо.

«6 августа 45 года.

Наконец от Саломатхон пришло письмо, которого я ждал почти три месяца!

Я уже давно забыл, что такое слезы. Но в горле застрял комок, когда читал ее письмо: столько боли, радости и тоски было в этих двух страничках!.. Милая! Не бойся, война эта не затянется надолго. Близок день, когда мы свидимся. Будет праздник и на нашей улице»...

Стиснув зубы, я хотел закрыть тетрадь, но взгляд упал на мое имя.

«7 августа 45 года.

Вчера строго наказал солдата Мансурбека, земляка Саломатхон. Ночью, когда мы шли по степи, он передал, оказывается, свой ручной пулемет Арслану, а сам укатил на машине артиллеристов! Что для необстрелянных, непривычных к трудностям войны отдать боевое оружие!

Я видел, что Мансурбек — парень, как видно, честный и добрый, тяжело переживает свой проступок. Но я не мог со своей стороны поступить иначе.

Бывали уже у меня случаи, когда, желая сделать «добро» землякам, я приносил им вред. До сих пор не забуду... Декабрь сорок второго года. Я — командир роты сто четырнадцатой стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Однажды к нам в полк (и в мою роту) прибыло пополнение. Среди них человек двадцать солдат из Ферганы! Я воевал тогда уже больше полутора лет, стосковался по родной стороне, по узбекскому краю,

по языку родному. И когда я увидел земляков, когда заговорил с ними по-узбекски, показалось, будто побывал в Фергане! Ну, и земляки мои тоже не нарадуются встрече со мной. Это были простые ребята, вчерашние колхозники — садоводы, хлопкоробы, чабаны. Они попросили, чтобы я их выделил в отдельный взвод, чтобы все они были вместе.

Офицеров у меня было мало, и в этот взвод я назначил командиром прибывшего вместе с ними сержанта, тоже узбека. И до первого боя в тяжелых окопных условиях я, как мог, старался облегчить им непривычную фронтовую долю.

И вот — первый бой. Было так холодно, что плевков замерзал на лету, не успев упасть на землю. После артподготовки рота пошла в наступление. Я шел сзади и вдруг вижу: упал один из земляков, а другие, все двадцать, с криками и причитаниями вдруг кидаются к нему. Окружили убитого, рыдают над ним. Ну, и накрыло минами всех, хотя я кинулся к ним и, угрожая пистолетом, разогнал в разные стороны!

С тех пор я дал себе зарок: к землякам больше всего строгости!

Солдаты, прибывшие в Монголию, хоть и не из моей Ферганы, но... — бывают же такие совпадения! — оказались земляками Саломатхон! И я обрадовался, очень обрадовался им. Но не показал, не стал подпускать их к себе, хоть и чувствовал, что они так и тянутся к офицеру-земляку.

Ничего, пусть только война кончится, и я как-нибудь соберу их вместе, объяснюсь, и, надеюсь, они простят мне эту холодность...»

Я закрыл тетрадь и сжал руками голову.

Неужели Даврон-ака и сейчас думает, что мы в обиде на него? Даврон-ака, дорогой мой, брат мой, поправляйтесь только, поправляйтесь. У нас в душе нет никакой на вас обиды! Мы любим вас! Мы гордимся вами, Даврон-ака! Слышите, гордимся...

Услышав тихие легкие шаги, я поднял голову. По аллее шла медсестра Аня.

— Пойдем-ка, солдат, — сказала она. — Тебя опять капитан просит...

## 24

В саду уже стемнело. В окна комнаты, где лежал комбат, плыло какое-то зеленоватое сияние.

Комбат по-прежнему лежал вверх лицом, его забинтованная голова и руки тоже будто окрасились в зеленовато-голубой свет.

— П-пришел, Мансурбек? — сказал комбат, учащенно дыша. — Садись! Я т-тебя ззамучил? И вообще — ммного обижал...

— Товарищ капитан! Неужели вы думаете...

— По-с-стой! Я говорю нне для ттого, чтобы ппросить прощения. И нне п-перебивай меня, лладно? А то и так мысли ппутаются... Что я ххотел сказать? Да!.. Ппомни, каждый солдат в армии — это представитель своего ннарода! Какие бы ттяготы ни выпали нна вашу ддолю, не ххнычьте! Ввот мое ззавещание всем ммоим землякам в ббатальоне!

— Товарищ капитан! Да почему завещание, зачем вы...

— Пперестань,— перебил Даврон-ака, тяжело дыша.— Я тебя зз-звал сюда не для того, чтобы ты мменя утешал!.. Анята! Ввода у тебя есть?

— Есть, есть...— Анята, поправив бинты вокруг губ капитана, поднесла ему чайник ко рту.

Комбат, стуча зубами о чайник, сделал глоток и тихо, видно, от нестерпимой боли, простонал.

— Анята, пподай мой планшет солдату. Пподала?.. Там письмо... Письмо Саломатхон... Ппомнишь, Мансурбек, я получил его в те дни, когда ты ппулемет потерял? Оля ппринесла... Ннашел?

— Нашел, товарищ капитан! — сказал я, нащупав в планшете толстое треугольное письмо.

— Ммолодец! Ппрошу тебя, брат, ппрочитай...— Комбат не закончил. Открылась дверь, и в комнату вошли майор Котельников и полковник Белобородов, с халатом на плечах. Я вскочил с места.

— Это к-кто ттам? — недовольно пробурчал комбат.

— Я, Даврон, я...— Полковник на цыпочках подошел к дивану и сел на мое место. Комбат заволновался.

— Мстислав Владимирович! В-вы?

— Я третий раз прихожу, Даврон,— сказал Белобородов.— Вот Котельников не пускал.

— К-котельников... ббеспощадный ччеловек.— Комбат попытался пошутить.

— Ну, как ты чувствуешь себя? Лучше?

— Александр ФФедорович, ннаверное, ссказал, ккак я чувствую ссебя?

— Да, сказал. Он говорит, что ты поправишься.

— Праз Александр ФФедорович сказал, ззначит, ппоправлюсь. Но... Х-хорошо, что вы пришли, Мстислав Ввладимирович. Очень ххорошо. Я ххотел ккое-что с-сказать вам. Боялся, что нне успею, ттак и унесу с собой.

— Даврон! — Белобородов невольно наклонился к комбату, который не увидел его движения.— Да о чем ты думаешь? Не узнаю тебя...

— Пподождите, товарищ пполковник... Сперва сскажите: недовольны этим ббоем, а? Нно... пповерьте: нне было другого выхода. Крестьяне п-пришли с ппросьбой, тттоварищ полковник, к-крестьяне. Их эти ссмертники разоряли, убивали...

— Кто сказал, что я недоволен? Будь я на твоём месте, я бы тоже так поступил! Только... не сберег ты себя, Даврон.

— Не сберег,— согласился комбат и нетерпеливо пошевелил рукой.— Ну что ж, война... Лучше с-скажите, товарищ полковник, вы получили мой ррапорт?

Белобородов погладил пальцем свои седые брови.

— Получил, Даврон, получил. Ты прав: все клевета, гнусный вымысел.

— Товарищ пполковник!

— Даврон! Успокойся, дорогой... Не стоит...

— Нет, ттоварищ пполковник, стоит! Эта ссамая кклевета отравила мне жжизнь! — Комбат глухо простонал, шевельнулся всем телом и, вдруг перестав заикаться, заговорил быстро и страстно: — Вы сказали, не стоит, клевета, мол! Но если клевета, то почему возбуждают дело против меня? Почему допрашивают меня?

— Даврон, дорогой! — сказал полковник.— Ты не тревожься. Все будет в порядке.

— Мне больно не потому, что боюсь! — воскликнул комбат.— А потому... что меня взяли под подозрение. Поверили не мне, а этой гнусной лжи...

— Дело не в недоверии. Раз кто-то написал, надо, значит, проверить, правду выяснить надо, Даврон!.. Чтоб потом защищать ее...

— Правда! Почему для выяснения правды проверять надо меня? Почему не начать с того, кто не гнушается низкой ложью? Или то, что я четыре года воевал, не считается достойным внимания? Получил три ранения, не остался в тылу. И после всего этого, оказывается, еще надо проверить меня... Меня, а не Ногаева... Где доверие к солдату, к боевому советскому офицеру, товарищ полковник?

Белобородов молчал. Он нагнул свою большую седую голову, освещенную голубовато-зеленым светом, и ничего не говорил. А комбат, выложив все, тоже замолчал и опять задышал тяжело, с присвистом. Майор, замерший у двери, на цыпочках подошел к полковнику и положил руку на его плечо.

Белобородов вздрогнул.

— Товарищ пполковник! — снова заикаясь, прервал тишину комбат.— Ппочему ммолчите?

— Даврон, дорогой! — Полковник коснулся руки Газиева.— Ну, что я могу тебе сейчас сказать?.. Потерпи... Знай только твердо: все, что ты сказал, я доведу до сведения командования. Можешь не сомневаться в этом.

— Спасибо, Мстислав Владимирович!

— Капитан Газиев! — строго-официально обратился к комбату майор.

— Ппо-с-стой, Александр Ффедорович! Еще одно слово. Товарищ п-полковник...

— Слушаю, дорогой...

— Ппомните, как в этом году в-весной, ппосле десанта, ккогда мы ссоединились с полком, я хходатайствовал о при-



своении Оле... м-младшему лейтенанту... и старшине Сало звания «лейтенант»...

— Помню.

— Младший лейтенант погибла, но сстаршина Сало... его заслуги вам известны, товарищ полковник.

— Хорошо, напишем, напомним...

— И последнее, товарищ полковник...

— Слушаю тебя, Даврон.

— Ха-Харитонов...— сказал комбат.— Это один из ссамых лучших офицеров в полку. Он должен расти, Мстислав Ввладимирович.

— Хорошо. Еще какая у тебя есть просьба?

— Никакой. Только, чтобы после м-меня... ттакие, как Ногаев, не грязнили мое имя. Это единственная моя просьба о себе, Мстислав Владимирович...

— Газиев! Хватит разговаривать, пора гостям уходить,— сказал Котельников.

Белобородов неожиданно опустился на колени и приложился губами к забинтованной голове комбата.

— До свиданья, Даврон. Сейчас приедет знаменитый нейрохирург. Ты выздоровеешь, дорогой...

— Прощай, Мстислав Владимирович,— едва слышно проговорил комбат.

Белобородов, ни на кого не глядя, вышел. За ним — и майор, строго посмотрев на меня, «не разговаривать, мол».

В комнате воцарилась тишина. Не лишился ли сознания комбат? Я нагнулся было к нему, но в это время Даврон-ака тихо позвал меня:

— М-мансурбек!

— Слушаю, товарищ капитан.

— Я не к-кажусь тебе странным, как ребенок?

— Нет, нет, что вы...

— Котельников прав! Я веду ссебя, как ребенок. Нно... Я ххотел, чтобы тты прочитал письмо Саломатхон... Зачем?... Оно у тебя?

— Да.

— Не надо читать. Я ззнаю его наизусть. Лучше... если что случится, ты ррасскажешь ей, что я...— Он не договорил; дверь широко, бесцеремонно распахнулась, и в комнату вместе с Котельниковым влетел быстрый старичок с бородкой клинышком. Старик сверкнул на меня золотыми очками и строго сказал:

— Что за солдат тут? Освободить помещение!

Я с отчаянием посмотрел на Котельникова, потом на комбата.

— Товарищ комбат... Даврон-ака!..

— А-ладно! — устало и безнадежно проговорил комбат.— Иди... Если что... передашь ей... Словом... Прощай, брат.

— До свиданья, товарищ капитан. Да будет операция успешной...

— Рахмат... рахмат, ука.

Боясь зареветь, я кинулся вон...

В полумраке коридора, освещенного зелеными лампочками, стояли Харитонов и перед ним весь съжившийся Ногаев. Сбегая по ступенькам, я услышал надрывный голос Ногаева и невольно замедлил шаг.

— Почему ты не сказал, что Газиев ранен?

— А ты что, попросил бы у него извинения? Признался бы, что клеветал?

Ногаев шумно вздохнул.

— Да, извинился бы, если бы знал...

Я не стал слушать дальше.

Сад утонул во мраке. С гор дул прохладный ветер, и в неярком свете разбросанных лампочек раскачивались и тихо гудели, будто жалуясь на что-то, стройные ели. Я бежал по безлюдной аллее. Куда, зачем — не знаю. Потом гляжу — очутился в той же самой беседке, в которой я листал недавно дневник комбата.

## 25

«Даврон-ака! Милый мой!

Почти год ты молчал, и каждый день этого года казался мне тысячью дней. Наконец сегодня вечером я получила твое письмо.

Ты жив! Жив! Любимый мой, единственный мой, дорогой мой, ты жив! Жив!..

Письмо твое пришло ночью. Его принес, несмотря на позднее время, почтальон, инвалид войны, который знал, что мы все ждем вестей от тебя! Я прочитала письмо и, сама не знаю, почему так сделала, пошла на кладбище.

Когда приедешь, увидишь, за нашим садом, над старой мельницей, есть кладбище. А посреди кладбища стоит могила святого Гайиб-бобо. Когда нашу семью постигало какое-нибудь несчастье или случалась большая радость, покойная бабушка, (она, бедная, одинаково боялась и счастья и несчастья!), приходила сюда, читала молитву, зажигала свечку и к рогам архара над могилой привязывала белую тряпку.

Я — такая пугливая и суеверная, пошла по мрачному кладбищу и опустилась на колени перед могилой святого бобо. Что я там говорила, не помню. Да и что я могла говорить? Кажется, плакала, молила, не знаю уж кого, о том, чтобы ты уцелел на войне. Затем, привязав к рогам архара подаренный тобой в день нашей свадьбы шелковый платок (после твоего отъезда я хранила его в сундуке), вернулась домой.

Ты жив. Жив, милый мой, дорогой. И это одно слово развеяло все мои страдания за долгие годы войны, бессонные ночи, которые я пережила, думая о тебе! И не хочется в этот радостный день говорить о страданиях. Ведь ты жив! Жив!..»

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Через неделю мы собрались в путь на родину. Накануне отъезда вечером мы со старшиной Сало и с Арсланом пришли на площадь, чтобы последний раз почтить память комбата и Васи. В большом цветнике, посреди которого выросли две могилы, возился с мотыгой в руках пожилой китаец в дырявой соломенной шляпе.

Мы положили букеты цветов на могилы, постояли под елью в молчании. Китаец подошел к нам, сняв шляпу, опустился на корточки. Я заметил широкий шрам во всю щеку на его лице и узнал пожилого китайца. Он, видно, тоже узнал старшину и горестно закивал головой. А потом, показывая то на мои волосы, то на могилу, он что-то спросил. Я понял его вопрос — земляк ли «руси капитан» мне? Я знаками объяснил, что да, земляк, что все мы, советские, земляки.

Китаец опять закивал головой и несколько раз повторил: «Руси солдат, шанго!» А когда мы пошли с площади, китаец о чем-то горячо заговорил, показывая на свежие цветы, которые мы принесли, и на себя, и я снова легко понял его. Он говорил, что никогда не увянут цветы на могилах «руси капитана», что он будет присматривать за ними.

На следующее утро наш эшелон двинулся к Порт-Артуру.

\* \* \*

...Прошло двадцать пять лет с тех пор. Я много раз брался за перо, чтобы рассказать об этой истории, но каждый раз откладывал, боясь, что рассказ мой не будет достойным памяти комбата, Оли, всех тех, кто погиб в войне с самураями. А в последние годы не раз острая боль подкатывала к сердцу: сохранились ли их могилы в том далеком китайском городе в Маньчжурии? Но вспомнив старого крестьянина в дырявой соломенной шляпе, печально склонившего голову у могилы комбата, я обнадеживаю себя: сохранились!

Ташкент, 1971



## ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

*Айван* — веранда, терраса, навес.

*Анаша* — наркотик.

*Арбакеш* — возница.

*Аргамак* — старинное название породистых верховых лошадей в странах Ближнего и Среднего Востока.

*Аския* — остроота, остроумная шутка, сказанная экспромтом, обычно построенная на игре слов. Состязание в остроумии.

*Бакаул* (и с т.) — кухмистер, повар, лицо, ведающее дворцовой кухней.

*Балахона* — легкая надстройка над первым этажом.

*Беданабаз* — любитель перепелок.

*Бейт* — двустишие в поэзии народов Ближнего и Среднего Востока, обычно содержит законченную мысль. Из бейтов составляются газели, касыды, месневи, рубай и произведения других жанров классической восточной поэзии.

*Белбаг* — кушак, пояс, мужчины-узбеки перепоясываются платком, сложенным вдвое.

*Бешик* — деревянная колыбель.

*Вайдог!* — о, ужас! Крик о помощи.

*Ганч* — вид алебастра.

*Гармала* — растение, применяемое при некоторых заболеваниях нервной системы. Считается, что дым гармалы оберегает от дурного глаза.

*Гортела* — географическое название (*гор* — кладбище, *тела* — холм) возвышенность).

*Гузар* — оживленное, бойкое место на дорогах, перекрестках; маленький базар; место, где расположены чайхана, несколько лавок, парикмахерская.

*Дарвазахана* — крытое помещение, непосредственно примыкающее к воротам.

*Даругу* — градоначальник.

*Дастан* — поэма, эпос, сказание.

*Дервиш* — отшельник, аскет, блаженный, не от мира сего.

*Джайляу* — летнее пастбище.

*Джейхун* (а р а б.) — бешеная, так арабы прозвали Амударью.

*Джигда* — дерево с мучнистыми съедобными плодами.

*Диван* — 1) сборник стихотворений одного поэта; 2) государственный совет; государственная канцелярия, управление в средневековых государствах мусульманского Востока.

*Дивана* — юродивый, одержимый, сумасшедший.

- Диван-беги** (и с т.) — 1) один из высших чинов при дворе; 2) лицо, ведавшее финансами во дворце крупного феодального правителя Средней Азии.
- Дог!** — караул! Крик о помощи; крик, стон, вопль.
- Дойра** — бубен.
- Домла** (домулла) — учитель; почтительное обращение к человеку в знак уважения к его знаниям.
- Дубби акбар** — Большая Медведица.
- Дувал** — стена, глинобитный забор.
- Ёр-ёр** (яр-яр) — припев к свадебной песне.
- Заргар** — золотых дел мастер; ювелир.
- Имам** — 1) руководитель богослужения в мечети; 2) светский и духовный наставник общины.
- Ичкари** (и с т.) — женская половина дома, куда мужчины не имели доступа.
- Ишан** — высший мусульманский духовный сан.
- Кавуши** (кауши) — кожаные калоши национального образца.
- Казий** — судья, судивший по законам шариа.
- Карабаир** — название породы лошади.
- Карагач** — лиственное дерево с густой кроной.
- Карнай** — духовой музыкальный инструмент в виде длинной медной трубы.
- Каса** — большая чаша.
- Касыда** — ода.
- Кетмень** — род мотыги с широким лезвием.
- Кеш** — старинное название города Шахрисабза.
- Кок-чай** — зеленый чай.
- Кукнар** — мак; наркотическое средство в виде сиропа, приготовленного из сухих коробочек мака.
- Кулох** — конусообразная шапка дервиша.
- Курпача** — узкое ватное одеяло, подстилка.
- Куса** — безбородый.
- Кяфир** — неверный, нечестивый, богоотступник.
- Лаган** — большое блюдо с плоским дном; поднос.
- «Лугат ат-тюрк»** — словарь тюркского языка.
- Мавляна́** (и с т.) — букв.: господин наш; титул мусульманских богословов и ученых.
- Магдох** — рьяный последователь и восхвалитель веры.
- Махалля** — квартал.
- Махарам** (и с т.) — смотритель дворца.
- Махфихона** — потайная комната.
- Межлис** — совет, собрание, съезд.
- Мираб** — лицо, ведающее распределением воды в оросительной системе.
- Мударрис** — наставник, преподаватель медресе.
- Мурсак** — верхний халат с короткими рукавами, который обычно носят старухи.

**Муфтий** — толкователь шариата, законовед, дающий заключение по духовным и юридическим вопросам.

**Мюрид** — последователь, ученик ишана.

**Мюршид** — духовный руководитель, наставник.

**Навои** — мелодичный.

**Нар** — одnogорбый верблюд; в литературе — символ выносливости и силы.

**Нукеры** — дружинники на службе феодальной знати, правителей.

**Пир** — духовный наставник мусульман, глава религиозной общины, глава религиозной секты.

**Рабиулаввал** — название третьего месяца мусульманского лунного календаря.

**Рагжаб** — название седьмого месяца мусульманского лунного календаря.

**Раис** — председатель.

**Регистан** — дворцовая площадь.

**Сай** — горная река.

**Саламхана** — комната для приемов, в которой правитель давал аудиенцию и принимал челобитные.

**Самса** — треугольный или круглый пирожок, обычно с мясом, который пекут в особой печи.

**Сангал** — сооружение для согревания зимой. В земляном полу есть выемка, куда кладут горячие древесные угли, сверху ставят квадратный столик — хантахту, накрывают его большим ватным одеялом. Потом садятся вокруг столика и прячут ноги под одеяло.

**Сахибкиран** — 1) рожденный при счастливом сочетании планет, под счастливой звездой; 2) счастливый, счастливчик — один из титулов владетельных государей в странах Востока.

**Сеид** — потомок пророка Мухаммеда.

**Сель** — грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий вследствие резкого паводка, вызываемого бурным снеготаянием или сильными ливнями.

**Сетара** — трехструнный музыкальный щипковый инструмент.

**Супá** — глиняное возвышение, устраиваемое в саду или во дворе, рядом с арыком.

**Сурú** — широкая деревянная кровать, которая летом стоит в саду или винограднике.

**Сурнай** — музыкальный духовой инструмент типа флейты.

**Суфú** — набожный человек, праведник, аскет.

**Суфизм** — мистическое течение в исламе. Учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию бога и слиянию с ним.

**Табиб** — лекарь, врачеватель.

**Таксыр** — господин.

**Талиб** — учащийся духовного училища — медресе.

**Танбур** — струнный музыкальный инструмент.

**Тангыр** — глиняная печь, где пекут лепешки.

**Таньга** — серебряная монета в 15 или 20 копеек.

**Тарикат** — путь духовного совершенствования. Согласно учению мистиков, состоит в глубоком «внутреннем» соблюдении законов религии, в отличие от *шариата*, требующего внешнего исполнения религиозных обрядов и правил.

**Тархан** — высокопоставленный вельможа, освобожденный от всех налогов.

**Тельпек** — мохнатая папаха из каракуля со свисающими завитками, которую носят туркмены.

**Ука** — младший брат, братец, обращение к младшему по возрасту.

**Улак** — конноспортивные состязания; участники вырывают друг у друга козлиную тушу. Побеждает тот, кто принесет тушу к финишу.

**Улем** — представитель высшего мусульманского духовенства.

**Улманг!** — живите долго! Возглас одобрения.

**Уста** — мастер.

**Устог (устоз)** — учитель, наставник.

**Усьма** — трава, соком которой женщины красят брови.

**Фарсанг** (п е р с.) — мера длины, равная примерно 7—8 км.

**Фетва** — решение по какому-либо юридическому вопросу, вынесенное духовным лицом на основании догматов религии и *шариата*.

**Хадж** — паломничество к мусульманской святыне в Мекку, к храму Кааба.

**Хаджи** — человек, совершивший паломничество — хадж.

**Хадис** — предание о поступках и изречениях пророка Мухаммеда.

**Ханака** — странноприимный дом.

**Хассакаш** — родной или близкий покойного, шествующий перед погребальной процессией с посохом.

**Хиджра** — начало мусульманского летосчисления, 16 июля 622 г. пророк Мухаммед, спасаясь от преследований врагов, бежал из Мекки в Медину.

**Хола** — тетка, сестра матери; обращение к старшей женщине.

**Хош** — ну так, ладно.

**Хурджун** — переметная сума из ковровой ткани.

**Хутба** — проповедь имама в мечети по пятницам и праздникам.

**Чанг** — струнный музыкальный инструмент типа цимбал.

**Чапан** — теплый стеганный халат, заменяющий пальто.

**Чекмень** — верхняя одежда типа халата из грубого сукна верблюжьей шерсти.

**Чилим** — прибор для курения типа кальяна.

**Чиллак** — узбекский вариант игры в «чижик».

**Чимилдик** — занавес, полог из белой ткани, закрывающий угол комнаты, в которой находятся новобрачные в первый вечер свадьбы.

**Шагбан** — десятый месяц мусульманского лунного календаря.

**Шагирд** — ученик, последователь.

**Шаир** — поэт.

**Шаш** — древнее название Ташкента.

**Шейх-уль-ислам** — глава духовенства в государствах Средней Азии.

**Шурпа** — бульон, суп, преимущественно картофельный.

**Яшанг!** — букв.: живите долго! Возглас одобрения.

## СОДЕРЖАНИЕ

Л. Теракопян. День вчерашний — день нынешний . . . . .	3
Сокровища Улугбека. Роман. Перевод Ю. Суровцева . . . . .	11

### ПОВЕСТИ

Крылья птицы. Перевод В. Тендрякова . . . . .	273
Даврон Газиев — гвардии капитан. Перевод Ю. Суровцева . . . . .	405
Пояснительный словарь . . . . .	492

АДЫЛ ЯКУБОВ

### СОКРОВИЩА УЛУГБЕКА

Редактор Р. ФАТКУЛЛИНА  
Художественный редактор В. СЕРЕБРЯКОВ  
Технический редактор А. КОРОТЕЕВА  
Корректоры Е. ИВАСЮК, Г. НЕНАШКО

ИБ № 4370

Сдано в набор 13.09.85. Подписано в печать 27.05.86. Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага офсет.  
№ 1. Печать офсетная. Гарнитура «Балтика». Усл. печ. л. 31,0. Усл. кр.-отт. 31,5.  
Уч.-изд. л. 35,46. Заказ 5-384. Изд. № IV-2175. Тираж 50 000 экз. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».  
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

310012, Харьков-12, Энгельса, 11. Харьковская книжная фабрика «Коммунист».